Живое прошлое

Нина Молева

Баланс столетия

Библиотека мемуаров

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Баланс столетия» — это необычайно интересное мемуарное повествование о судьбах той части русской интеллигенции, которая не покинула Россию после Октябрьского переворота, хотя имела для этого все возможности, и не присоединилась к «исходу 70-х годов». Автор книги — известный искусствовед, историк и писатель Н. М. Молева рассказывает о том, как сменявшиеся на протяжении XX века политические режимы пытались повлиять на общественное сознание, о драматических, подчас трагических событиях в жизни тех, с кем ассоциировалось понятие «деятель культуры».

- Нина Михайловна Молева
  - Часть первая
  - Часть вторая
  - Часть третья
  - Часть четвертая
  - Иллюстрации

Нина Михайловна Молева
Баланс столетия

Часть первая
Корни

Груз лет —
он у новорожденного
такой же,
как у старика.
Это не годы,
не месяцы,
не жизнь.
Это время,
которое надо прожить.
Время надежд и суеты,
время разочарований,
которое задано человеку
каждой клеточкой
его тела.
Как крест,
оно ложится
на его плечи,
и никто не поможет
его нести —
этот груз
жизни.

Элий Белютин.

Из цикла «Осколки» (1984)

«Гриневская крепость» — московское обиходное название местности между улицами Красносельской и Краснопрудной и товарным двором Ярославской ж.д., на землях засыпанного Красного пруда (ныне — 2-й, 3-й, 4-й Краснопрудные переулки). По имени домовладельца. Известна с середины XIX в. (из записей историка Москвы П. В. Сытина. 1921).

Село Красное раскинулось на высоком берегу пруда, названного Великим: площадь его равнялась площади Московского Кремля. Вытекавшая из пруда речка Чечёра с каскадом маленьких запруд пересекала самый древний тракт, соединявший Московскую Русь с Суздальской землей — через

село Стромынь, Юрьев-Польский, Суздаль — к Владимиру. После Мамаева побоища в том же направлении будет продолжена другая дорога, Владимирка, — через Богородск. Более короткая, но и опасная: до кружного Стромынского тракта не доходили никакие иноземные нашествия.

В летописях пруд упоминается с 1423 года, село — с 1462-го. Красносельцы были людьми очень состоятельными. Может, потому и вмешивались постоянно в московские дела, первыми приняли посланцев Самозванца с «прелестными письмами», направились вместе с ними свергать Годуновых и продолжали бунтовать всё Смутное время. Согласно первой московской переписи 1620 года в селе насчитывалось 138 тяглых дворов и была деревянная церковь Всемирного Здвиженья.

Через Красное село лежала дорога в Преображенское, и остаться равнодушным к зеркалу Великого пруда юный царь Петр не смог. Он любил ходить здесь под парусом, поставил свой загородный двор. Вслед за ним сюда переехала царевна Наталья Алексеевна, позже — полковой боярин Алексей Семенович Шеин и Автоном Головин, участвовавшие в осаде турецкой крепости Азов в 1696 году, обер-сарваёр, иначе — главный кораблестроитель, Иван Михайлович Головин, сподвижник Петра Александр Меншиков и доверенейший кабинет-секретарь Макаров, наконец, князь Яков Долгорукий (после того, как бежал в 1711 году из шведского плена, прихватив с собой шведский фрегат) и князь-кесарь Ф. Ю. Ромодановский. Под покровительством царевны Натальи завела в Красном собственный двор еще не венчанная супруга царя будущая Екатерина I.

Была еще одна причина, привлекавшая Петра в Красное село. На Троицу — в Семи́к сюда приезжали на гулянья не только со всей округи, но и из Москвы. Жизнь вокруг Великого пруда била ключом. На западном берегу стоял Новый пушечный, иначе — Полевой артиллерийский двор, где после первой своей заграничной поездки, Великого посольства, Петр казнил стрельцов. Некоторых — собственноручно. На южном — теснились балаганы, качели, увеселительные заведения.

В 1716 году умерла сестра Петра Наталья Алексеевна, и село лишилось своей главной покровительницы, однако осталось развлекательным центром. В то время как Елизавета Петровна строила Оперный дом в Лефортове на пять тысяч мест, итальянский антрепренер Джованни Локателли возводил собственный театр на четыре тысячи зрителей в подлинном, по его выражению, театральном центре Москвы — у Великого Красного пруда. В 1758 году для этого театра из Италии были

выписаны танцовщики, машинисты, декораторы. Наряду с итальянской труппой здесь два раза в неделю выступала студенческая труппа Московского университета, в которую входили Фонвизин, Плавильщиков, Я. Булгаков, будущий университетский профессор П. П. Страхов и др. На эти — русские — спектакли билеты и, соответственно, ключи от лож следовало получать в университете. Но москвичей не смущали представления и на итальянском языке, среди которых особенно шумным успехом пользовалась опера «Граф Карамелла». Здесь же Д. Локателли познакомил московскую публику с первым «машкерадом». Вскоре деревянное здание театра разрушилось, как свидетельствуют документы, от «великого поспешения» при строительстве и от не менее «великого напору» местных театралов.

Локателли оказался не очень удачливым антрепренером. К концу жизни он разорился, но на родину не вернулся, а уехал в Петербург, где стал преподавать в театральной школе французский и итальянский языки, как и некоторые члены его труппы, которые обосновались в окрестностях Красного села, к этому времени совершенно изменившегося. Когда дворцовые слободы, к числу которых принадлежало село, освободили от натурального тягла, многие красносельцы стали купцами и перебрались в Москву. Стромынский тракт теперь был исключительно грузовым: по нему доставлялись товары на Нижегородскую ярмарку. Хозяева же товаров предпочитали ездить по Владимирке. Дворы соратников Петра давно были перепроданы.

> Гриневы — русский дворянский род. Происходит от Сергея Гринева, пожалованного за московское осадное сидение (1608) вотчиною. Потомство его внесено в VI часть родословной книги Орловской губернии (Гербовник, VII. 39).

Пожар 1812 года коснулся и Красного села, уничтожив прибрежную его часть. Тогда-то и пришли на опустевшие земли новые владельцы и среди них Гриневы. «Исторический путеводитель по Москве» 1831 года сообщал, что место это «точно походит на село: дома рассеяны, малы, деревянные и совсем без плана расположены, но зато при многих домах имеются сады или обширные огороды». Здесь и начал возводиться Алексеевский женский монастырь, переведенный из Чертолья в связи с задуманным Николаем I строительством храма Христа Спасителя.

У этой обители трагическая судьба. Когда-то митрополит Петр основал ее на будущей Остоженке для своих сестер, чтобы

доказать, что после возведения, по его совету, оборонного вала на пути от Крымского брода к Кремлю место это стало безопасным. Нашествия с этой стороны на самом деле прекратились, но монастырь вскоре сгорел и был перенесен в Кремль. Покончив с опричниной, Иван Грозный запретил упоминать о ней и даже снес дома опричников в Чертолье, а на их место решил перенести Алексеевскую обитель (где жил и был погребен Малюта Скуратов).

Только память о безотказных исполнителях лихой царской воли всплыла снова. В монастырь перевели Пытошный двор для женщин. Сюда привозили на допросы боярыню Морозову. Здесь поднимали на дыбу ее сестру княгиню Евдокию Урусову. Казалось, тем легче было императору Николаю I распорядиться об очередном переносе монастыря: архитектору Константину Тону предстояло придать новый облик Москве — в Кремле новый дворец, по одну сторону от него грандиозный храм-колокольня в Симоновом монастыре, по другую — храм Христа. Ансамбль охватывал город по излучинам Москвы-реки. Местом для древней обители было назначено Красное село. Точнее, место храма Всемирного Здвиженья.

Выделенный участок земли оказался очень мал. Никто не предполагал, что монастырь так быстро разрастется. С 1850-х годов здешние дворы стали дробиться на все более мелкие. Среди домовладельцев сократилось число дворян, преобладали представители духовенства и купеческого сословия, хотя все еще продолжали жить служилые и иностранцы. Чтобы увеличить территорию монастырского кладбища, Гриневы (сначала Георгий Васильевич, позднее его сын Иван, называвший себя Егорычем, и дочь Ираида Георгиевна, по мужу Попова) передали ему несколько участков своей земли «на вечное поминовение родных».

Впрочем, и на этом месте Алексеевскому монастырю не суждено было сохраниться. В начале 1930-х годов часть построек была разобрана в связи с реконструкцией города, а на месте кладбища по решению Н. С. Хрущева разбили Детский парк Железнодорожного района. Остальное было уничтожено во время строительства Третьего транспортного кольца.

Служивший «по судебному ведомству» Георгий Васильевич Гринев поставил дом в стороне от шумного тракта, на заросшем лещиной берегу пруда, где в дымке осеннего ненастья его не раз будет писать скромный московский пейзажист Лев Каменев. Эти места с легкой руки Саврасова художники признают едва ли не самыми живописными в Москве. Одинокие черные домики. Отсыревшие деревья. Тусклое зеркало воды. Туман…

Об увлечении своих первых наставников расскажет в гриневском доме много лет спустя Константин Коровин… Дом был длинным, одноэтажным, с крохотными антресолями со стороны просторного, окруженного хозяйственными службами двора: конюшня, каретный сарай с сенником, поварня, просторная погребица, собачья будка у тесовых ворот, лавочка у калитки с тяжелым чугунным кольцом вместо звонка. Шестнадцатилетняя Люси Познякова (в замужестве Гликерия Николаевна Федотова) — ее будущий свекор, судебный следователь, был в приятельских отношениях с Георгием Васильевичем — запишет в дневнике, что жили эти люди в Москве совершенно как помещики средней руки в деревне — открыто и гостеприимно, у них хотелось гостить.

«Милый друг Иван Егорович! — писала Г. Н. Федотова И. Е. Гриневу в 1896 году. — Спасибо за письмецо и ласку, что не забываешь старуху. Думать о своем прошлом после кончины Саши (ее мужа, А. Ф. Федотова) нету сил, а ты приписал: „Мадемуазель Люси Позняковой“, и так сразу на душе потеплело. Вспомнился домик Филиппа Александровича и Варвары Владимировны у Пресненских прудов, где мы так славно в 16 лет у елки веселились, и сад у Михаила Семеновича [Щепкина] в Мещанской, где в горелки бегали и малину щипали. И матушку твою красавицу как сейчас перед глазами вижу… Твоя Гликерия Федотова».

Матушку, супругу Георгия Васильевича, звали Анастасия Федоровна. Ее почти миниатюрный портрет хранился в кабинете сына. На обороте стояла авторская подпись «П. Федотов». (О родстве художника с Федотовыми «с Пресни» неизвестно. Вероятно, они просто однофамильцы.)

Юная женщина в глубоком трауре. Почти суровый открытый взгляд. Припухшие губы. Широкий разлет бровей. Темные, чуть раскосые глаза. Высокий чистый лоб. И единственная дань моде — у виска завиток черных, как вороново крыло, гладко зачесанных волос. Чувство затаенной обиды. И растерянности.

Вдовушка. Сходство с другим портретом кисти этого же художника было неотразимым. По образу. И по деталям — так же написан завиток на портрете поэтессы Евдокии Растопчиной, который называется «Вдовушка». Художник в тот раз вынужден был приехать в Москву из-за вдовства любимой сестры, «востроглазой Любочки». Внезапная кончина мужа, мелкого чиновника Сиротского суда Василия Ильича Вишневского, оставила ее без средств к существованию. С малолетним сыном и на последнем месяце беременности.

Судьба Анастасии Федоровны оказалась сколком с судьбы

Любочки. Замужество в шестнадцать лет. Первенец Василий, родившийся в 1843 году. Иван, появившийся на свет тремя годами позже. Дочь Ираида, не успевшая увидеть отца.

Георгий Васильевич и покойный В. И. Вишневский могли знать друг друга по службе. А повторившаяся в Гриневской семье трагедия сестры вряд ли оставила равнодушным художника. Сам Павел Андреевич Федотов год спустя умер в больнице для душевнобольных. Из последних ясных воспоминаний сохранялись долгие разговоры с Гоголем в доме Ростопчиных: «Приятно слушать похвалу от такого человека! Это лучше всех печатных похвал!»

Федотовы «с Пресни» и Гриневы «с Красносельской» несколько раз в году наносили друг другу визиты, брали с собой детей. У Федотовых Иван Егорович увидел свою ровесницу Люси Познякову, ученицу театрального училища, которую на правах невесты сына привозила в свой дом на праздники Варвара Владимировна. Ее сценическое будущее никого не пугало. Наоборот, в театре супруги Федотовы видели единственное спасение для своего сына Александра Филипповича. Его участие в студенческих волнениях могло оказаться роковым.

Осенью 1861 года он стал одним из организаторов сходки протеста московских студентов по поводу закрытия правительством Петербургского университета и манифестации на могиле Грановского. Вместе со своими товарищами Александр Федотов был арестован, а затем исключен из университета. Выступившие в защиту арестованных без малого шестьсот студентов были жестоко избиты полицией. Александру едва исполнился двадцать один год.

Союзу юных влюбленных, против которого не возражали родители жениха, мешало лишь одно обстоятельство: Люси Познякова еще не закончила училище и потому не могла рассчитывать на необходимое для актрисы казенной сцены разрешение начальства на брак. Ни родителей своих, ни родных Люси Познякова не знала. В ее памяти сохранились лишь тень отца и некая красивая богатая дама, определившая ее в немецкий дорогой пансион «под именем Позняковой». Реальностью оставалась лишь няня Мавра Егоровна. Деньги на обучение перестали поступать только в момент зачисления молодой актрисы в труппу с очень высоким окладом, о котором хлопотал сам Щепкин. Люси с капризной ноткой отметила в дневнике, что в доме у Пресненских прудов переднюю называют лакейской, хотя никаких лакеев нет, а две служанки и некрасивы, и неопрятны.

В ту зиму 1862/63 года, перед выпуском Люси, Ваня Гринев бывал у Федотовых и без Анастасии Федоровны. Весной Люси и

Александр обвенчались, перебрались в собственную маленькую квартирку в Глинищевском переулке, а потом уехали за границу. В бумагах Ивана Егоровича сохранились афишки бенефисов Гликерии Николаевны Федотовой: 5 октября 1864-го — «Ромео и Джульетта», 15 октября 1865-го — «Много шума из ничего», 4 ноября 1866-го — «Ересь в Англии» П. Кальдерона.

А спустя сто с лишним лет внук И. Е. Гринева нашел среди вещей домашнего музея бархатную коричневую душегрейку с приколотой запиской о том, что в этой душегрейке отыграла в последний раз Гликерия Николаевна свою Катерину в «Грозе» А. Н. Островского. Роль была любимой. Расставалась с ней актриса трудно. Может быть, не захотела больше видеть костюма. Рядом лежали концертные перчатки и веер, с которым, как свидетельствовала другая записка, она играла 19 ноября 1869 года в пьесе А. Дюма-отца «Мадемуазель де Бель-Иль». И две шитые гладью потертые наволочки с подушек, которые для удобства подкладывали не оставлявшей уже кресла парализованной актрисе.

Внук передал эти вещи в Бахрушинский музей. К дару прибавилась и черная кружевная концертная блузка Федотовой, приобретенная Гриневым на благотворительном аукционе в пользу приюта для престарелых актеров.

«…Вспомнила рассказы о празднике Монте-Кристо каком-то, — писала Г. Н. Федотова И. Е. Гриневу в 1896 году, — где наш добрейший Федор Карлович [Вальц] отличился. Вас по молодости туда не пустили, и вы из экипажа сквозь решетку смотрели. Кто-то из братьев Саши [А. Ф. Федотова] тебя туда возил».

Праздник назывался «Ночь графа Монте-Кристо» и был устроен Москвой в честь впервые приехавшего в старую столицу Александра Дюма-отца в саду «Эльдорадо» (в конце улицы Новослободской). После выхода в свет романа «Учитель фехтования» (о декабристе Анненкове и француженке-модистке Полине Гебль) Николай I запретил пускать Дюма в Россию. Но когда императора не стало, исчез и запрет на «Учителя фехтования». Москва могла дать волю своим восторгам. А. Дюма признался сыну, что если бы раньше попал в эту удивительную страну, иначе написал бы своего «Монте-Кристо».

В «Эльдорадо» было всё. Несколько оркестров и в том числе военных. Разнообразные хоры — русские, тирольские, цыганские и пр. На пруду гондолы с итальянскими певцами. Но главное — световые и пиротехнические эффекты, придуманные не знавшим соперников в своем деле «машинистом»-постановщиком московской казенной сцены Федором Вальцем: впервые в Москве загоревшиеся электрические лампы (шел 1858 год),

фантастический фейерверк с вензелями писателя и сценами из его романа. Юный Ваня Гринев окончательно и бесповоротно решил пойти по стопам Федора Вальца.

В ремесленническом по существу своему обучении возраст не был помехой. Всего четырьмя годами раньше приглашенный из Петербурга в Москву для оборудования сцены отстраиваемого после пожара Большого театра Федор Вальц сразу по переезде отправил своего восьмилетнего сына Карла в Дрезден: одновременно с занятиями в общеобразовательном пансионе брать уроки театрально-декорационной живописи у профессора Отто Рама из Королевского оперного театра. В десять лет Карл Вальц стажировался у профессора Берлинского королевского театра Карла Гроппиуса, а в пятнадцать был принят в штат художником-декоратором Большого театра. Ваня Гринев стал помогать второму машинисту московской казенной сцены — Тимофееву. У Вальца-старшего удавалось учиться только издали, а вскоре он умер; в 1869 году его место главного машиниста занял Карл Вальц, по-приятельски относившийся к своему московскому сверстнику.

Но при всем том, что Иван Егорович был связан с Конторой императорских театров, он не находился на положении служащего. Полученные после смерти отца средства позволяли сохранять независимость, которой Гринев очень дорожил. Унаследованная им земля росла в цене: Москва менялась, заметно менялись и окрестности Красного пруда. В 1862 году рядом с Николаевским вокзалом появилось первое здание Ярославского вокзала, которое в начале XX века сменило другое, построенное по проекту Ф. О. Шехтеля. В конце 1870-х годов от площади вокзалов до Красносельской была высажена аллея из двухсот специально привезенных голландских лип. От Гаврикова переулка до нынешней Стромынки ее продолжили садовые дорожки, обсаженные шестью с половиной сотнями берез вперемежку с редкими липами. Через десять лет по бывшему тракту пошла конка — от Сухаревой башни до Богородского, а в начале XX столетия — трамваи. Появились булыжная мостовая, керосиновые фонари. Гриневы не расставались с принадлежавшими им земельными участками — откуда и пошло название «Гриневская крепость» — и стали строить на них доходные дома. Поэтому Иван Егорович мог себе позволить так сближавшее его с Карлом Вальцем увлечение — собирательство.

В 1885 году К. Вальц подарил ему книгу П. П. Семенова (Тян-Шанского) «Этюды по истории нидерландской живописи на основании ее образцов, находящихся в публичных и частных собраниях Петербурга» (с надписью «Доброму другу Ивану

Егоровичу Гриневу с наилучшими пожеланиями на день Ангела»), Подобно большинству искусствоведческих изданий того времени, в книге не было иллюстраций, их заменяли превосходные литературные описания картин и наброски портретов художников. Но главное, в ней были факсимильные подписи.

Может быть, даритель откликнулся на увлечения Гринева, а может, на обстановку старого Гриневского дома — во 2-м Краснопрудном переулке. Брат и сестра Ивана Егоровича обзавелись собственными домами по соседству, сам он предпочитал жить с матерью. Первый брак с сестрой кондитерских фабрикантов Абрикосовых не сложился. Супруги почти сразу разошлись, но не разводились. Причины этого в семье не обсуждались. Иван Егорович счел себя вправе по-новому устроить свою жизнь только после кончины супруги, когда он уже разменял шестой десяток.

В комнатах по-прежнему царил полумрак. Густая тень кружев на окнах. Навощенные до зеркального блеска полы. Мягкая мебель под полотняными чехлами. Тканые дорожки. Кадки с раскидистыми латаниями в гостиной. Этажерки с нотами у маленького прямострунного рояля. И на стенах небольшие, потемневшие до черноты голландские пейзажи в позеленевших от старости золоченых рамах. Это на них оказались две воспроизведенные в книге подписи.

«Ночной базар» Эгберта Ливена Ван дер Пуля — освещенные жарким внутренним светом лавчонки с толпами покупателей под затянутым грозовыми облаками, едва тронутым проблесками луны небом. По словам Семенова-Тян-Шанского, художник написал картину под впечатлением от взрыва порохового склада в Дельфте в 1654 году.

И снова вид ночного Дельфта, но уже в спокойном лунном свете, кисти Яна Меерхуда — художника, только что открытого немецкими специалистами и чрезвычайно редкого даже для западных собраний. Радость открытия и азарт поиска оказались непреодолимыми. Тем более что их разделяли многие товарищи Гринева по театральной службе.

Правда, сам Карл Вальц предпочитал все, связанное с «театральной машинерией», — чертежи, эскизы, макеты, модели, инструменты, необходимые для создания сценических чудес, в том числе модель противопожарного устройства собственного изобретения, когда нажатием одной кнопки воздвигалась водяная стена по всему периметру сцены Большого театра. Были в его коллекции и эскизы театральных декораций.

Другое дело ставший в конце 1880-х годов главным художником Московской конторы императорских театров

постоянный гость гриневского дома Анатолий Васильевич Гельцер. Иван Егорович много работал с ним и помогал оформлять драму И. В. Шпажинского «Чародейка», которая стала либреттной основой одноименной оперы П. И. Чайковского. Постановка оказалась настоящим откровением для театральной Москвы благодаря необычайно убедительному воспроизведению обстановки и быта Новгорода XV века, когда каждая мелочь была выверена по музейным собраниям.

В начале нового столетия современники Анатолия Гельцера разойдутся в оценках его работ. Затеявший реформы новый администратор казенной сцены Теляковский начнет с отставки Гельцера как «присяжного декоратора Большого театра». Ю. А. Бахрушин, видевший «Спящую красавицу» в оформлении Анатолия Васильевича, напишет в воспоминаниях: «Бессмертная панорама Гельцера заставила меня забыть, что я в театре». Но несмотря на капризы художественной моды, Анатолий Гельцер коллекционировал именно живопись, как и его старший брат Василий Федорович, который и в шестьдесят лет танцевал в балете Большого театра характерные партии, вроде феи Карабос в той же «Спящей красавице».

Профессиональное долголетие, как и азарт к собирательству, унаследовала от отца и дяди знаменитая прима-балерина Екатерина Васильевна Гельцер (ей было уже за семьдесят, когда она исполняла концертный номер в зале Чайковского — единственную сложность для примы представляла лестница, с которой ее бережно сводили два партнера). Екатерина Васильевна рассказывала, каким неуступчивым при покупке понравившейся ему картины бывал «этот огромный Гринев», когда они с ним сталкивались в Леонтьевском переулке — центре антикварной торговли Москвы. А в поздравительных пасхальных и рождественских открытках они желали друг другу удачных приобретений. И побольше!

Поддерживал Ивана Егоровича и в его театральной работе, и в своеобразном увлечении человек, который представлялся Гриневу душой Малого театра, во всяком случае, на протяжении всей второй половины XIX века, — Сергей Антипович Черневский.

Это время породило блестящую плеяду актеров: Щепкина и Южина, Самарина и Ленского, семьи Садовских и Музилей, Медведеву, Ермолову, Федотову — всех не перечесть. Все они играли в постановках Черневского. Создавая спектакль, этот режиссер первым начал разрабатывать массовку, добиваться от каждого ее артиста активного и осмысленного соучастия в действии. И это были принципы если не подсказанные, то, во всяком случае, одобренные Щепкиным: Сергей Антипович был

женат на внучке великого артиста Александре Петровне Щепкиной, четверть века игравшей на сцене Малого театра.

Через много лет другая Шурочка Щепкина, праправнучка Михаила Семеновича, оказавшись в гостях у Гриневых-Белютиных на Никитском бульваре, будет рассказывать о полузаветах-полуприказах прадеда: в искусстве важен только труд, отчаянный, до седьмого пота, о добросовестности которого только сам и можешь судить. Именно судить. «Ведь аплодисменты — что? Хорошо человек пообедал, известие приятное получил, сделку выгодную устроил — вот ладошки и отбивает, а ты-то ведь знаешь: недотянул. Мог, да недотянул. Какие уж здесь „браво“. Иди домой потихоньку и казнись. И хвост распускать в искусстве нечего. Такое только бездарям дано. По хвостам их и видишь».

Однако скромного и очень требовательного к себе Михаила Семеновича в его семьдесят с небольшим лет администрация казенной сцены держала в постоянном страхе расторжения контракта. Когда же в восьмидесятых годах XX века умерла последняя из знаменитой династии Щепкиных, скромнейшая Александра Александровна, всю жизнь прослужившая в Малом театре, на ее панихиду пришли всего несколько актеров. Новая администрация Дома Щепкина не сочла нужным отдать ей последние почести.

В 1852 году Сергей Антипович Черневский стал режиссером Малого театра, а с 1879 по 1901 год служил главным режиссером этой сцены. Именно он подал Гриневу идею об антрепризе, позволявшую осуществить Ивану Егоровичу давнюю мечту — возродить театральные представления XVII столетия, прежде всего «Пещное действо», которое предполагалось ставить в подлинных костюмах и с соответствующим реквизитом, с текстами, восстановленными профессором Московского университета Петром Осиповичем Морозовым.

Впервые Иван Егорович взялся за самостоятельную антрепризу в начале 1890-х годов, арендовав под нее театр «Скоморох», стоявший тогда на месте особняка Морозовых (ныне — Дом дружбы народов). Постановки стоили баснословно дорого. Довести сезон до конца не удалось. Второй раз Гринев предпринял такую попытку в начале 1900-х. В качестве художника он пригласил только что окончившего Московское училище живописи, ваяния и зодчества Константина Федоровича Юона, после того как его акварель «Новодевичий монастырь» приобрела Третьяковская галерея.

Кипучая деятельность Юона сделала его знаменитой фигурой в художественной жизни Москвы. Будучи членом студенческого дискуссионного клуба в Стрелецком переулке, он предложил тут

же на столах экспонировать и продавать эстетствующим любителям студенческие работы. Через два года после окончания Московского училища он вместе с художником И. О. Дудиным открыл на Арбате школу живописи и рисования. И хотя оба художника не могли предложить учащимся стройной, академически выверенной системы обучения, они выигрывали в том, что принимали учеников независимо от степени подготовки и одаренности, распределяли их по группам в зависимости от их способностей и занимались с каждой отдельно. Предложение Гринева пришлось Юону по душе. Однако и эта постановка продержалась в «Скоморохе» всего один сезон.

По-настоящему же Юон связал свою судьбу с театром только через десять лет. В 1910 году он оформил спектакль по пьесе Островского в театре Незлобина, несколько спектаклей в Большом театре, в том числе ставших классическими «Бориса Годунова» и «Хованщину». В советские же годы много лет работал главным художником Малого театра.

Между тем ко времени второй самостоятельной антрепризы у Ивана Егоровича появился круг близких ему по духу людей. Среди них библиотекарь Московской казенной оперы Николай Федорович Мамонтов, макетчик Большого театра Георгий Васильевич Кичин, над барскими замашками которого подтрунивали друзья: Кичин снимал огромную квартиру в одном из роскошнейших доходных домов Москвы, на углу Большой Дмитровки и Столешникова переулка. Самым молодым членом этого круга был Михаил Михайлович Мордкин (или просто Миша) — талантливый танцовщик, вскоре получивший место помощника балетмейстера и начавший преподавать. Особо почитаемым был Василий Петрович Шкафер, выдающийся певец, соперничавший в «Борисе Годунове», где исполнял роль Шуйского, с самим Шаляпиным. Василий Петрович перешел на казенную сцену из мамонтовской Русской частной оперы одновременно с художником Константином Коровиным. В годы Первой мировой войны он исполнял обязанности главного режиссера Большого театра. В записных книжках Ивана Егоровича сохранился и его адрес (Шкафер жил в одном доме с Антониной Васильевной Неждановой) — Никитский бульвар, дом 8, и телефон — 290–21.

После неудачи с антрепризой Иван Егорович решил осуществить другую свою мечту — превратить коллекцию западноевропейской живописи XV–XVII веков в музей. В те годы такие проекты вынашивали многие московские собиратели — в частности, Афанасий Васильевич Бурышкин, глава Торгового дома мануфактурных товаров, купивший ампирный особняк в

Антипьевском переулке для фамильного музея истории Москвы. Правда, настоящую ценность собрание фабриканта приобрело только после присоединения к нему коллекции хранителя Эрмитажа, видного искусствоведа князя В. А. Аргутинского-Долгорукова. Тем не менее Бурышкину не суждено было воплотить свой замысел. Хотя город получил бы по завещанию и сам дом, и значительный капитал на его содержание, городская управа отвергла дар, не согласившись с главным условием фабриканта — чтобы собрание не покидало особняка. Уже после Октября, существенно разрозненное, оно поступило в фонды Государственного исторического музея.

После долгих колебаний Иван Егорович решил построить на собственной земле здание для экспозиции своей коллекции. Проект заказали известному московскому архитектору Владиславу Густавовичу Пиотровичу, который к тому времени построил для семьи Гриневых целый ряд загородных домов в Богородском и Лосиноостровской. Пиотрович был другом семьи и знал историю Гриневского собрания едва ли не с момента его зарождения.

* * *

> Владения наследников Гринева Георгия Васильевича — Василия Георгиевича, Ивана Егоровича, Ираиды Георгиевны: по Краснопрудной ул. — участки 128, 129, 130, 155; по Красносельскому тупику — участки 613, 614, 726; по 2-му Краснопрудному пер. — участки 895, 898; по 4-му Краснопрудному пер. — участок 858; по Ему Красносельскому пер. — дом № 5; по 2-му Красносельскому пер. — дом № 12. По 2-му Красносельскому пер., 12 Строительным отделом принято новое каменное жилое строение — владелец И. Е. Гринев (из Межевых книг Москвы. 1904).

Дети Анастасии Федоровны мало в чем походили друг на друга. Ираида Георгиевна сама присмотрела себе жениха — старшего маклера Московской хлебной биржи Семена Попова. Но «на хозяйстве и пеленках», по ее выражению, не засиделась. Сумела выделить свой приданный капитал и затеяла собственное дело — стала едва ли не первой в России женщиной-маклером по продаже предприятий. Не поладив с мужем, учредила над ним опеку и одна растила детей — сына, окончившего Кадетский корпус, и дочь, ставшую акушером-гинекологом.

Василий Георгиевич стал присяжным поверенным и начал заниматься городскими делами. Многие годы был гласным городской думы, неоднократно переизбирался председателем сословия. Его присутствие находилось в Георгиевском переулке рядом с Благородным собранием. Василий Георгиевич покровительствовал самой большой в Москве Покровской мещанской богадельне на 1100 мест. Каждый воскресный и тем более праздничный день начинал с посещения приютов и тюрем, для обитателей которых дома пеклись особые калачи.

Под влиянием моды на дачную жизнь Василий Георгиевич и Ираида Георгиевна начали застраивать подмосковную Лосиноостровскую и благоустраивать новый поселок. Сегодня от былых просторных, украшенных резьбой дач, с паркетными полами, огромными верандами, непременными клумбами, зеркальными шарами и фонтанчиками в палисадниках, осталась всего одна — у самого железнодорожного полотна, получившая статус памятника архитектуры — признание мастерства Владислава Пиотровича.

Иван же Егорович сосредоточился на будущем музее. Окончание строительства совпало с его женитьбой на княжне Марии Никитичне Курбатовой.

Доживя без малого до ста лет, она иногда подшучивала над унаследованным от отца титулом: княжна Мария Курбатова! Князья — без княжества и состояния!..

Семейное благополучие закончилось вместе с отменой крепостного права. Мария Никитична родилась на следующий год после указа Александра II и смутно помнила поместье под Харьковом. Просторный дом с навощенными до зеркального блеска полами. Ходившие по комнатам теплые сквозняки. Парусом на ветру вздувавшиеся полотняные шторы на открытой террасе. Огненные плети настурций, свисавших из деревянных вазонов по краям широкой пологой лестницы. Уходившая в поля аллея пирамидальных тополей.

Со слов родителей знала, что отец, князь Никита Иванович Курбатов, увлекся модными тогда железнодорожными концессиями, лишился последнего имущества и в виде своеобразной компенсации получил место начальника станции Ромодань. Не жаловался. Не искал иного выхода: трое детей принуждали к осторожности.

> Ромодань — станция железной дороги Полтавской губернии Миргородского уезда. Значительная торговля хлебом. Элеватор. Почтовое отделение, сберегательная касса. Жителей 2000 (Энциклопедический словарь

Брокгауза и Ефрона).

Мать, княгиня Татьяна Ольгердовна, выпускница Харьковского института благородных девиц, нового уклада жизни не приняла. Ни хозяйством, ни детьми не занималась. В памяти младшей дочери осталась вечно сидящей в камышовом кресле-качалке с последним номером какого-нибудь журнала в руках — выписывалось их множество. И с неизменной тоненькой дамской папироской — пахитоской. Княгиня оживлялась только тогда, когда закладывали бричку для поездки в гости или кто-то из соседних помещиков заглядывал на огонек.

Историю в курбатовском доме вспоминали часто. О временах Ивана Грозного, когда ездил в составе московского посольства к польскому королю дьяк Тарас Курбат Григорьевич, награжденный царем за верную службу большим поместьем. О Смутном времени, когда сын Курбата — Иван Тарасьевич Курбатов — ездил с разными посольствами, был думным дьяком при всех быстро сменявшихся на московском престоле правителях: Лжедмитрии, боярском царе Василии Шуйском, первом из Романовых — Михаиле Федоровиче.

Только с патриархом Филаретом, подлинным правителем Московского государства, Курбатов-младший почему-то не поладил. «За непослушание, упрямство и самовольство» его сослали. Но сразу после кончины владыки он был возвращен в Москву царем Михаилом Федоровичем, получил в свое ведение Посольский приказ — все иностранные дела государства — да еще и государственную печать, стал «печатником».

Умер Иван Тарасьевич в великом почете. Перед смертью постригся под именем Иоиля в Троице-Сергиевом монастыре. Душеприказчиками его стали ближайшие родственники царицы Марьи Ильичны Милославской, первой супруги царя Алексея Михайловича, — отец и дед государыни.

В каждый свой приезд в Москву князь Никита Иванович непременно отправлялся в Троице-Сергиеву лавру, служил литию у погребения инока Иоиля, почитавшегося заступником всей семьи, поминал и остальных похороненных в монастыре предков.

Кстати, оба первых Курбатова носили прозвище Грамо́тиных. Дома в Ромодани на самом почетном месте в маленькой гостиной висела потемневшая копия хранившегося в Московском архиве иностранных дел портрета со старинной надписью на обороте: «Курбатов — Грамотин».

Но интересовала Никиту Ивановича и совсем недавняя история. Недалеко от Ромодани находились знаменитые Кибинцы, поместье екатерининского вельможи Дмитрия

Прокофьевича Трощинского, женатого на родной тетке матери Гоголя.

> Кибинцы — село Полтавской губернии, Миргородского уезда, при речке Харпачке. Дворов 300, жителей 3003. Церковно-приходское училище, 2 лавки, 3 маслобойни, 39 ветряных мельниц (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона).

В свое время вельможа постарался устроить у себя все как во дворце императрицы. Строгий распорядок дня. Торжественные выходы к толпам соседей и приживальщиков — вместо придворных. Огромное собрание живописи, скульптуры. Библиотека. Домашний театр.

Трощинского давно не было в живых. Собрание мало-помалу таяло. Когда очередные наследники решили пустить с молотка последнее движимое имущество, оказалось, что это жалкие крохи. На объявленной распродаже больше всего охотников нашлось на обстановку барского особняка. Никита Иванович потратил все свободные средства на «домик Гоголей».

Родители писателя, малоимущие, многодетные, всегда стесненные в средствах, месяцами жили на хлебах у родственника, участвовали в его развлечениях — любительских представлениях. Отец Гоголя сам писал пьесы, сам их ставил и «разыгрывал». Марья Ивановна Гоголь-Яновская считалась хорошей актрисой. Чтобы подольше задерживать своих любимцев, Трощинский отвел им отдельный флигелек, где можно было разместиться с четырьмя детьми.

Обстановка флигелька не отличалась богатством. Но ведь она была гоголевской! Никита Иванович увез в Ромодань огромный кабинетный диван под кожей, сделанный крепостным умельцем овальный стол для гостиной — «под красное дерево», ореховый шкафчик с вышитой картиной на дверце, ломберный столик, пару потрепанных стульев и главную ценность — рабочий столик Марьи Ивановны, служивший ей и гримировальным туалетом «для убирания» в дни спектаклей.

Сегодня столику нет цены. Но в 1989 году министр культуры РСФСР Ю. С. Мелентьев отказал правнуку Никиты Ивановича в праве подарить туалет Мемориальным комнатам Н. В. Гоголя в Москве, на Никитском бульваре. Формально — чтобы не вносить изменений в утвержденную начальством и подготовленную к юбилею писателя экспозицию. В действительности же обвинявшийся партией в формализме правнук-живописец не должен был выступать, тем более упоминаться в качестве дарителя. Как-то забылось, что все представленные в мемориале

подлинные гоголевские вещи, вплоть до чернильницы, игольницы из дорожного несессера, альбомов нот, были переданы мемориалу тем же дарителем раньше. В результате столик стал музейным экспонатом в восстановленной на Полтавщине «Васильевке», получившей статус музея-заповедника: за ним специально приехали в Москву директор музея и первый секретарь Полтавского обкома партии.

Еще переехали из Кибинцев в Ромодань вышитые шерстью картины, считавшиеся делом рук Марьи Ивановны, — романтическая «Турчанка, играющая на лютне», и «Невеста с подругой, выбирающие свадебный венок». Не о них ли думал молодой Гоголь, сочиняя своего «Ганса Кюхельгартена»?

Домашнее хозяйство и книги. Множество книг. Так сложилась юность младшей из дочерей Курбатовых. Старшая, Виктория Никитична, сразу была определена в харьковскую гимназию с пансионом и домой приезжала только на каникулы. Владимир Никитич по окончании харьковской гимназии поступил на медицинский факультет Московского университета. Оба мечтали о самостоятельной работе. Виктория станет преподавателем гимназии, Владимир — земским врачом. Дело было не столько в стесненных материальных обстоятельствах, сколько «в осмысленном существовании», как любила говорить Мария Никитична.

Против ее отъезда из дома возражали и отец, и мать. Дом требовал присмотра, а у нее это получалось с детства. Мария Никитична знала народный календарь, приметы. Ловко затирала тесто на калачи и лепила вкуснейшие полтавские котлеты, умела отстирать любое пятно. До конца своих дней вспоминала вкус ярко-синей глины, которую брали на окраине Ромодани, — жевала глиняные комочки вместе со всеми ребятами в округе, — колеи в жирно чавкающем черноземе, бесконечные дожди в ненастном июне, жгучие потоки солнца на исходе лета.

О своем образовании отзывалась с насмешкой: «Домашнее!» Всего-то уроки местных учителей, матери и главным образом сестры и брата, приезжавших на лето в Ромодань. После смерти матери она взбунтовалась. Понимая, что отец не отпустит из домашнего гнезда, схитрила — отпросилась навестить родных в Москве. Оказавшись под опекой множества тетушек и кузин в старой столице, заявила о желании готовиться к экзамену, чтобы стать домашней учительницей. Никто не возражал: ничего другого бесприданнице не оставалось.

Кончина Никиты Ивановича разрешила затянувшийся спор. Дом в Ромодани ей не достался. Единственным наследством княжны Марьи стали вещи из Кибинцев. Экзамен она сдала.

Начала искать работу. О материальной поддержке со стороны родных не хотела и слышать.

Марии Никитичне посчастливилось побывать на открытии памятника Пушкину на Тверской площади и даже получить билет в Колонный зал Благородного собрания («Только на балкон!»), где выступал со своей знаменитой речью Тургенев. В конце жизни она скажет: «Знаете, они не были классиками, обреченными на бессмертие. Они — воздух моего поколения. Мы им дышали».

Еще она вспоминала красавца Южина и романтического Ленского в спектаклях Малого театра, постановку «Царь Федор Иоаннович» в театре сада «Эрмитаж», с которого начинал свою историю будущий МХАТ, в то время еще Художественный общедоступный. Все вечера и воскресные утренники были расписаны, дни отданы учительской работе в благотворительных учреждениях великой княгини Елизаветы Федоровны. Благотворительность, милосердие — для Марии Никитичны это были не пустые слова.

«Ох уж этот мне Даль, — говорила она иногда, — все-то вы на него, как на икону, молитесь. А язык чувствовать надо самим. Самим!» В ее старом красного дерева комоде можно было найти открытки: Дворцовая площадь Кремля, подсвеченный — «иллюминованный» памятник генералу Скобелеву на фоне гостиницы с затейливой вывеской «Дрезден», Воскресенский монастырь за Кремлевской стеной, Кузнецкий Мост с лихачами… И везде гриф «Издание Общины Святой Евгении» и знак Красного Креста. «А как же иначе? Чтобы каждый грош шел на дело милосердия. Об этом было принято думать».

«Было принято»… Иначе говоря, общественное мнение формировало убежденность каждого.

«За примером ходить недалеко. На углу Скатертного и Хлебного переулков на фасаде дома была надпись: „Милосердие есть движение душевное, подвигающее на доброе действие“. Конечно, это было прежде. Когда дом принадлежал церкви Бориса и Глеба, что на Поварской. Там клир жил. И богаделенка приходская была рассчитана то ли на шестерых, то ли на четверых старушек. Мысль хорошая была: чтобы весь приход одной семьей жил. В семье ведь и здоровые, и хворые, и молодые, и старые — все перед глазами. Из памяти не вычеркнешь. Нет, не из памяти — из совести…»

«Кто занимался благотворительностью? Не думайте, что одни миллионеры или очень состоятельные люди. Те наоборот — чаще жались». В руках Марии Никитичны очередная открытка из комода. Мясницкие ворота. Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Через дорогу — окруженный конными

упряжками Почтамт. Под поздравительными строками подпись: «С. Тютчева» и обратный адрес: Средний Спасский переулок, дом Носова.

«Вот возьмите — Софья Ивановна Тютчева, дочь Ольги Николаевны Путяты, которая в приданое получила Мураново. Они там все вместе жили — Ольга Николаевна, Федор Иванович, Николай Иванович и сама Софья Ивановна. У всех придворные чины, а деньги совсем небольшие. Все равно благотворительностью занимались.

Федор Иванович, камер-юнкер, состоял в Попечительстве над учащимися в Москве славянами. Было такое после Русско-турецкой войны. Николай Иванович, церемониймейстер, — в Совете Иверской общины сестер милосердия, что в начале Большой Полянки. А Софья Ивановна — в Московском комитете Красного Креста. Мы с ней постоянно в Елизаветинском благотворительном обществе встречались.

Елизаветинское — по имени великой княгини Елизаветы Федоровны, родной сестры императрицы. Сколько она детских приютов устроила по всей Москве и Московской губернии! И для младенцев, и для дошкольников, и для школьников. Я работала в Елизаветинском приюте имени великой княжны Ольги Николаевны — в Староконюшенном переулке. Ребят по тихомировской методе грамоте учила, Божьему миру, что вокруг нас. За рукоделием следила — ему с самого малого возраста девочек обучать начинали, чтобы в плоть и кровь вошло.

Еще одна тютчевская сестра, Екатерина Ивановна, замужем была за секретарем великой княгини, Василием Евгеньевичем Пигарёвым. Сын их потом много лет в мурановском музее директорствовал. В Трубниковском переулке находилось Общежитие Елизаветы Федоровны для юных добровольцев — попечителем его Василий Евгеньевич выступал. Там приют давали мальчикам — участникам войны, помогали к родителям вернуться, сиротам — получить образование, занятие…»

На замужество княжна Марья решилась поздно, когда ей было далеко за тридцать. В отношении Ивана Егоровича Гринева не колебалась. Ни службе, ни увлечениям его мешать не стала. Разве что прибавила к коллекции все собрание вещей из Кибинцев: «А говорите — бесприданница!» В отстроенном им музейном доме они к месту пришлись. В 1905 году у супругов Гриневых родилась их единственная дочь — Лидия.

* * *

> Лавровы — русский дворянский род. Восходит к началу XV века и происходит от польского выходца Григория Ивановича Лаврова. Внесен в VI часть Родословной книги Орловской, Тульской и Калужской губерний (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона).

На Орловщине Лавровых множество. Издавна служили они на южных рубежах Московского государства, на засеках и в крепостцах. В качестве поощрения получали тамошние земли, поместья. Только на то, чтобы по-настоящему хозяйствовать, у них, видно, времени не хватало. А хозяйствовать стоило: жирный чернозем, бескрайние поля ржи и овса. Леса были сведены давно. Заниматься огородами и скотиной не повелось, ремеслами тоже. Хлебопашцы не оставляли своего исконного занятия даже перед наступлением промышленности.

Лавровы были обычными помещиками-степняками. О достатке говорили дома́ в поместьях — из тесаного известняка. Впрочем, другого строительного материала просто не было. Почти все дома, в том числе и крестьянские, строились на фундаментах из камня-жерновика, который развозили продавать по всей России, или из железной руды. Половина бань и лавок в Орловской губернии была каменная.

Ныне от тех Лавровых остались дагеротипы. Они похожи на отретушированные салонные портреты, с непременными, почти потерявшими позолоту виньетками, с написанными именами фотографов. На одном из снимков запечатлен молодой мужчина: худой, со светлыми волосами и кротким взглядом, в крахмальной сорочке с крупными запонками на манжетах и в наглухо застегнутом сюртуке.

Женихом Стефан Львович Лавров считался завидным, хотя на службе не состоял, ничем особенным не увлекался, разве что чтением. Просто был хозяином Богдановки, которая в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона называлась центром рудного месторождения. Может быть, в брак вступил больше по воле невесты, чем по своей.

В семье поговаривали, что в свои шестнадцать лет Ниночка — Антонина Илларионовна Мудрова — проявила завидную настойчивость, убеждая вдовца-отца отпустить единственную дочь. Все знали — Мудровы отличались упорством и деловитостью. Антонина Илларионовна призналась, что если бы родилась позже, когда появились женские учебные заведения, то пошла бы по стопам дальнего родственника — знаменитого врача Матвея Яковлевича Мудрова.

Это он в начале XIX века учился и в Гамбурге, и в Гёттингене, и в Вене, четыре года стажировался в Париже. Перед Отечественной войной 1812 года заведовал отделением Главного военного госпиталя в Вильне, а после войны основал медицинский факультет в Московском университете. Первое издание его «Краткого наставления о холере и способе, как предохранить себя от оной», экземпляр которого хранился среди личных книг богдановской помещицы, вышло в свет во Владимире. Сам же пренебрег всеми предосторожностями и умер в 1831 году от той же холеры в Петербурге. (Эта эпидемия «обрекла» Пушкина на Болдинскую осень.)

«Наставление» не лежало без дела. Антонина Илларионовна успешно пользовалась им в начале 1920-х годов в Воронеже, вылечила многих и в том числе мужа своей внучки.

В шестнадцать лет не было нужды торопиться с замужеством, но Ниночка имела слишком независимый нрав и хотела быть сама себе хозяйкой. Мягкий характер Стефана Львовича разгадала и подчинила себе сразу. В дела Богдановки вошла без промедления. Из родительского дома захватила с собой только няньку. У нее училась, ею же и командовала.

С первых дней замужества стала вести записи — не о событиях и домашних делах. В них были рецепты на все случаи жизни: как и что лучше делать — чистить медь, стирать старинные кружева, оберегать от плесени кадки с солеными огурцами. И как лечить — с подробным описанием, что и насколько помогло.

«Синие тетради» Антонины Илларионовны… Кто только не прибегал к их помощи! Что ни день с утра к Лавровскому дому в Богдановке сворачивали подводы с хворыми. Хозяйка никем не брезговала и конкуренции местным врачам не составляла — ее пациентам нечем было расплачиваться. Они отблагодарят ее иначе. В водовороте революции. Гражданской войны, военного коммунизма бывшей помещицы не коснется ничья карающая рука: а вдруг еще пригодится?! Только переселилась, по их же совету и с их же помощью, из Богдановки в Воронеж.

К двадцати трем годам Антонина Илларионовна родила четверых детей — сначала дочь Сонечку, потом сыновей Федора и Павла и еще дочку Сашеньку. Она все успевала делать, занималась хозяйством, врачеванием и говорила, что до всего дошла сама — «мудровскими дорожками». Было у нее и азартное увлечение — карточная игра. В Богдановке она обычно продолжалась до рассвета. А вот к литературе, которой так увлекался Стефан Львович, оставалась равнодушной. Среди выписывавшихся ею журналов были медицинские,

сельскохозяйственные — не литературные.

Время от времени она ездила по делам в Ливны. По железной дороге, единственной в России тех лет узкоколейке. Обычно ее экипаж опаздывал на полустанок, но ради Антонины Илларионовны поезд задерживался. С обер-кондуктором Антонина Илларионовна всегда здоровалась за руку (вещь неслыханная!).

Антонина Илларионовна разрешила Сонечке учиться в соседней ливенской гимназии. Дочь настояла на том, чтобы закончить и впервые открывшийся восьмой, так называемый педагогический класс. Она мечтала об университете, хотя знала — родители не отпустят ее из дома.

Но на помощь пришел отец. Переспорить жену Стефан Львович не пытался. Поддержал свою любимицу по-другому. Антонина Илларионовна заранее побеспокойлась о женихе для выпускницы гимназии. Единственный наследник владельцев богатейших ливенских элеваторов должен был обеспечить ее будущее. Сонечка отдала предпочтение своему дальнему и старшему по годам родственнику — всего-навсего штабс-капитану Ивану Гавриловичу Матвееву, не имевшему за душой ничего, кроме офицерского жалованья и должности в Штабе западных войск в Варшаве.

Штабс-капитан был хорош собой, имел мягкий характер, серьезно увлекался литературой. Родственники знали, что он давно неравнодушен к троюродной племяннице. Со временем Сонечка расскажет, что ее желание продолжить образование его не возмутило. К тому же Варшава была куда ближе к западным университетам, где только и разрешалось учиться женщинам.

При крутом нраве Антонины Илларионовны выход оставался один: бегство из дома и тайное венчание. Вместе со Стефаном Львовичем его подготавливал двоюродный брат Сонечки, местный степняк-помещик Владимир Васильевич Тезавровский. К тому времени он был актером только что образовавшегося в Москве Художественного общедоступного театра Станиславского и Немировича-Данченко. Более того — вложил в новое предприятие основную часть унаследованного состояния. В церковь Тезавровский приехал с другом-актером Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом, который выступил в качестве второго свидетеля.

После венчания молодые сразу же уехали в Варшаву. А семейные нелады у Матвеевых приняли драматический оборот. Антонина Илларионовна так и не пожелала видеть молодых и не простила мужу его пособничества. Стефан Львович предпочел хотя бы на некоторое время перебраться к родственницам в

Спасское-Лутовиново.

В письмах к старшей дочери Стефан Львович сообщал, что нашел большой барский дом в Лутовинове разоренным. Для него с трудом отыскалось старенькое канапе, на котором, впрочем, ему «устроили преудобную постелю».

Стефан Львович писал и о таких милых сердцу мелочах, как сладковатый запах густо навощенных полов, скрип старых половиц. Сокрушался о безнадежно зарастающем саде, «чудесном во всех своих аллейках и кустиках». Но все это были сущие пустяки по сравнению с той тишиной и «благостным покоем, коими можно здесь совсем по-старому пользоваться».

Пользоваться довелось всего две недели… Жестокий сердечный приступ свел помещика Богдановки в могилу. Антонина Илларионовна не стала противиться последней воле мужа — быть похороненным в Спасском-Лутовинове. Шел 1900 год.

Софья Стефановна ждала первого ребенка. Ее собирались известить о случившемся позже, но необычное обстоятельство не позволило ничего скрыть.

Ночью в варшавской квартире она очнулась от страшного сна: чужая, почти пустая комната и умирающий на диване отец. Сон продолжался и после пробуждения, под плотно сомкнутыми веками: клетчатый плед, столик с упавшим стаканом, оплывшая свеча в стеклянном подсвечнике, отцовская Псалтырь, открытая на первом листе. И родной голос… Это было продолжение недавнего разговора со Стефаном Львовичем. Отцу показалось, что Сонечка «пошатнулась в вере», что «прилежание к науке посеяло в ней сомнительные мысли». И он обещал дочери явиться ей в минуту своей кончины, чтобы «утвердить существование Господа»…

В запоздавшем письме С. П. Лихнякович (родственница и наследница И. С. Тургенева) писала: «К тому времени Стефан уже перебрался с кресла на диван, дышал тяжело, хрипловато и часто вздыхал. Из всех разговоров его больше всего занимал разговор о книгах. Он беспокоился, как они разошлись и удастся ли их собрать, если придется восстанавливать Спасское. Он напоминал также, сколько у него сохранилось книг от батюшки с собственноручными пометками многих родственников, которые имели, как он выразился, „родственный обычай“ оставлять повсюду свои автографы. У самого же в руках я заметила Псалтырь с надписью на титульном листе: „1896 г. 1 мая с. Волово Орловской губернии Ливенского уезда“. Значит, приобрел он ее совсем недавно во время тамошней ярмарки. Псалтырь эту родительскую посылаю тебе и не могу удержаться от замечания.

Обложка Псалтыри, несмотря на недавнее появление ее в нашем доме, сильно потерта: Стефан Львович не иначе часто и подолгу ее читал…»

Через несколько лет, когда почему-то встанет вопрос о лутовиновской библиотеке, Софья Стефановна ответит: «О книгах не беспокойтесь: все ли, нет ли, но кое-какие переехали на Королевскую [улица в Варшаве, на которой жили Матвеевы]. Если будет в них нужда в связи с музеем, Иван Гаврилович найдет способ их переправить. Никаких трудностей не будет. Две из них (с надписями Лавровых) мне показались особенно интересными. Это „Пояснение к произведениям живописи, скульптуры, архитектуры с девятью гравюрами, портретами ныне живущих художников, выставленных в музее Наполеона 1 ноября 1812“ и „Кавалер Мезопрут“ Александра Дюма. Париж, 1852. Издание Мареск и К. Дюма — это целый фолиант с богатыми иллюстрациями из издания собрания сочинений. Мне кажется, обе книги куплены во Франции. Но есть и русская — инструкция, как морить клопов, 1842 года. На ее полях заметки от руки — может быть, кого-нибудь из старших?»

Первая и единственная дочь Матвеевых — Татьяна Ивановна родилась в начале сентября 1900 года.

* * *

> Ковров — уездный город Владимирской губернии, на возвышенном берегу реки Клязьмы. На начало 1895 г. жителей мужчин 5372, женщин 3814. 2 церкви. 770 домов. 33 питейных заведения, городское училище и 2 приходских. Больница (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона).

Первое упоминание о селении, находившемся на месте этого города, относится к XII веку. Это была деревня Елифановка, получившая название от имени основавшего ее зверолова. После строительства здесь церкви стала называться селом Рождественским. В XVI веке его получили во владение князья Ковра, одна из ветвей князей Стародубских. Василия Ковру, умершего в 1531 году, здесь знали все — как-никак с 1505 года первый наместник Великой Перьми. Один из его потомков, князь Иван Ковра, подарил село суздальскому Спасо-Евфимиевскому монастырю, служившему тюрьмой ставших неугодными мужьям московских великих княгинь: отвергнутой Василием III Соломонии Сабуровой, «опостылевшей» Ивану Грозному Анны

Колтовской, ненавистной Петру I Евдокии Лопухиной.

Впоследствии в самом городе Коврове появились то ли ссыльные, то ли переселенцы — словены и сербы. От них в деревне Аграфенино Ковровского уезда пошла фамилия Молевых — Моле.

Ничем иным переселенцы не выделялись. Уезд жил главным образом разработкой широко известных с незапамятных времен известковых ломок — от города до устья Нерехты. Почти у всех крестьян были сады — у одних яблоневые, у других вишневые со знаменитой сладкой «владимиркой». Летом после обложных июльских дождей здесь взбухали бесчисленные ручьи, речки, даже озера, заливались до болотной прели дубовые рощи. Из Аграфенина к сородичам в Кидекшу ездить приходилось, по ступицу утопая в размытых колеях.

Одна из первых семейных молевских бумаг на владение землей была подписана председателем Владимирского магистрата Иваном Никифоровичем Грибоедовым — дедом драматурга со стороны отца. В его сельце Федоровке, Митрофаниха тож, обосновался сын Сергей Иванович с женой Настасьей Федоровной и двумя детьми — дочерью Марьей и сыном Александром.

Кроме двух деревушек с сотней душ крепостных умерший в 1813 году Сергей Иванович Грибоедов оставил наследникам кучу долгов. Настасья Федоровна убедила находившегося в армии сына отказаться от земли в пользу сестры с тем, чтобы переписать на нее и все долги. Александр Сергеевич Грибоедов согласился, долговые обязательства остались у самой Настасьи Федоровны. Сын же лишился всякого состояния. Добровольно.

Эту историю знали все питомцы Ковровского училища — от своих учителей. Жаль, что владимирские корни автора «Горя от ума», а вместе с ними Владимирщиной подсказанные образы и ситуации литературоведы упорно игнорируют. Смоленская Хмелита представляется более удобной и импозантной для устройства юбилейных шоу.

В середине XIX века один из Молевых, Алексей, сын Михаила Молева и Зданки Ивлич, окончил городское училище Коврова, поступил в механические мастерские Московско-Нижегородской дороги и вскоре получил возможность продолжить образование. Существовавшее в Москве Общество помощи учащимся славянам выделило ему стипендию — для дальнейшего «обучения по механической части».

* * *

> Беллуно — одна из самых северных провинций Итальянского королевства, составляющая часть Венецианской области. Того же имени главный город провинции… Из 14 церквей особенно примечателен собор, построенный по плану Палладио. Кроме того, в Беллуно находятся два монастыря, академия наук и художеств, прекрасный театр, замечательный водопровод, снабжающий город чистою горною водою, мраморные фонтаны и триумфальная арка. Жителей 15 660 человек (1881). Родина папы Григория XII и живописца Тициана (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона).

Белесая лента дороги. Бледно-зеленые поля и виноградники в волнах утреннего тумана. Раскидистые деревья. Лохматые ели. Остовы каменных домов с черными глазницами окон. Призрачную белизну берез подчеркивают оранжево-красные плоды хурмы. Древние храмы с неизменной приставкой к названию «дель Фельтре» — «в лугах».

А луга — это море нарциссов и золотых анемонов. Вокруг горы, доломитовые скалы. Они образуют чашу, которую озаряют ослепительные солнечные лучи. Над головой — прозрачная, не знающая непогоды синева. Переливающиеся всеми цветами радуги снежные вершины. Это древняя земля Венето — Венецианские Альпы. Северная Италия.

За поворотом соскальзывает в ущелье чуть наклонившаяся кампанилла XIII века. За ней видна паутина узких средневековых улочек. Карабкающиеся на склоны дворцы купаются в цветущих садах. Негромкий, растекающийся звон колокола. День святого Мартина в Беллуно.

Того самого епископа Мартина из Тура, апостола Галлии, который основал там первые монастыри, особенно почитаемого во Франции отшельника из Пуатье. Здесь — покровителя города.

С незапамятных времен 14 ноября все беллунезцы выходят на улицы, чтобы почтить святого патрона. Мессы. Концерты. Выставки. Шествия. Со статуей святого, хоругвями, знаками монашеских орденов. И «действом» — разыгрывающимся представлением об обращении Мартина в христианство.

В 1992 году праздничные выпуски местных и венецианских газет пестрели заголовками с именем Элия Белютина, «нашего соотечественника». «Сеттеджи Доломити»: «В этом году ежегодные торжества в честь патрона нашего города святого Мартина были отмечены совершенно необычным событием — презентацией произведений живописца Элия Белютина, русского

художника беллунезского происхождения… Его дед Стефано Паоло Беллучи, музыкант, композитор, дирижер международного художественного уровня, был потомственным беллунезцем, родился в Беллуно». «Ла Газета деле Доломити»: «В субботу в зале Боранга дворца Крепадона состоялась церемония вручения полотен, которые великий русский художник итальянского происхождения принес в дар Коммуне Беллуно и епископату Беллуно-Фельтре. Элий Белютин — выходец из семьи художников и музыкантов, которая была достаточно известна с XIV века в Венецианской республике и не одно столетие связана с городом Беллуно. Его дед уехал, потому что был приглашен графами Потоцкими в камерный оркестр города Кракова». «Культура» [Венеция]: «Приветствовать Элия Белютина от имени города будут мэр Беллуно Бресса и епископ монсеньор Маффео Дуколли…»

У входа во дворец Крепадона Белютина встречает епископ Маффео Дуколли: «Это голос ваших предков: они здесь жили с XIV века, судя по погребениям в храмах диецезии. А дом у Нового моста? Вы его только что проезжали — „Дом Беллучи“».

Его предки — обыкновенные ремесленники. Музыканты и художники. Антонио Беллучи (его мифологические полотна есть во всех королевских дворцах Европы) полвека прожил в Тревизо и Венеции. В 55 лет стал придворным живописцем императора Иосифа I. Потом занимал такую же должность у курфюрста Пфальцского и у флорентийского герцога Козимо III Медичи. Затем отправился в Англию, где без малого сотня его полотен украсила Букингемский дворец. В преклонных летах он вернулся к родным доломитам — белым известковым скалам. Сын же его Джанбаттиста надолго задержался в Ирландии, стал там любимейшим и известнейшим портретистом.

Их потомок Джузеппе Беллучи добился признания на Международной выставке 1867 года в Париже, где выставлялась его картина «Смерть Александра Медичи». Он-то доводился прямым родственником обрусевшему правнуку, вернее, его деду — Стефано Паоло Беллучи. У них даже виноградники были рядом — в Пьяве ди Солиджо.

Полистав историю музыкальной жизни Венеции, можно узнать, что Стефано Паоло родился в Беллуно. Был скрипачом, оперным дирижером, композитором. Окончил местную консерваторию — она и сегодня стоит рядом с Крепадоной. Начинал работать в местном оперном театре — здание театра тоже цело, и летом в нем обычно гастролирует венецианская оперная труппа. Продолжил в Венеции — в знаменитой опере «Фениче».

На талантливого дирижера обратило внимание семейство Потоцких, проводившее зиму на берегах лагуны. После более близкого знакомства музыканта пригласили в Краков, где у польских магнатов были собственные камерные оркестры. Теперь же их увлекла идея создания краковской оперы.

Вскоре после приезда в Краков Стефано Паоло женился на одной из «кузи́нек» — родственнице приглашавших — Анеле Потоцкой.

…Даже в ясные летние дни солнце заглядывало сюда как будто украдкой. Его лучи скользили по стенам домов, не рассеивая настоявшегося сумрака комнат, густо побеленных, с почерневшими балками. Желтые каменные плиты узкой мостовой не оставляли места для тротуаров — разве что на одного прохожего. Пиярская улица. Здесь начиналась жизнь супругов Беллучи.

Стефано Паоло приехал в Краков в разгар споров, где строить здание театра. В конце концов все сошлись на том, что возводить его надо в центре старого города. Театр всем представлялся непременно очень большим, не уступающим по великолепию парижской Гранд-опера. О таком мечтали многие города Европы. Краков принес этой мечте самую большую жертву — ансамбль средневековых построек древнейшего в Европе госпиталя.

Историки и хранители старины яростно сопротивлялись. Ян Матейко хотел на собственные средства привести в порядок весь разрушающийся госпитальный городок. Когда отцы города отвергли его предложение и пренебрегли протестами общественности, художник сложил с себя звание почетного гражданина Кракова и вернул городскому совету жезл «Владыки культуры».

Госпиталь снесли. В 1891 году началось строительство. 21 октября 1893 года состоялось торжественное открытие театра, где теперь начал работать итальянский дирижер. Огромный купол над зрительным залом, двойные пандусы для фойе, обилие лепнины и позолоты. Архитектор Ян Завейский создал роскошное здание. Чуть позже появился занавес, расписанный Генрихом Семирадским. Но главное для музыкантов — превосходная акустика.

Став дирижером театра, Стефано Паоло переехал с семьей на Флорианскую улицу. К двум старшим дочерям в феврале 1900 года прибавился сын — Микеле для отца, Михал для матери, в будущем Михаил Стефанович Белютин.

* * *

Из дневника «Записи о днях» Лидии Ивановны Гриневой-Белютиной: «Прочла в воспоминаниях о Блоке Андрея Белого необычное определение: „В 1898 и 1899 гг. прислушивались к перемене ветров и психической атмосфере; до 1898 г. дул северный ветер под северным небом; ‘Под северным небом’ — заглавие книги Бальмонта; оно отражает кончавшийся XIX век; в 1898 г. подул иной ветер; почувствовалось столкновение ветров северного и южного, и при смешении ветров образовались туманы сознания…“ Надолго или навсегда? Завтра мой день рождения. Еще один год». Апрель 1934-го.

Часть вторая
От императора до вождя

ИДЕЯ КВАДРАТА —
это идея власти
с равными углами
дозволенности и недозволенности,
с верой, что квадрат —
идеальная форма существования для всех.
Ибо сама власть находится в центре,
а мы — у стен.
Это ортодоксальность
и смерть мысли.
Никакие чувства не могут существовать
в квадрате:
они нарушают его симметрию.
Никто не должен любить, надеяться,
ибо все это уже предусмотрено квадратом:
и все знания, и все истины, и все возможные чувства.
И потому уничтожение квадрата —
это единственный путь людей к себе,
к своей неповторимой сущности.

Элий Белютин.

Простые формы (1991)

NB

1901 год. Февраль. Полиция не позволила студентам Петербургского университета отметить день открытия своего учебного заведения. Избиения и аресты студентов вызвали волну протестов по всей стране. Двести выступивших в их поддержку студентов Московского университета были арестованы и содержались в послужившем временной тюрьмой Манеже.

Петербургских студентов поддержали демонстрации рабочих Цинделевской, Прохоровской, Трехгорной и Даниловской мануфактур в Москве.

На Тверском бульваре в Москве была сооружена первая баррикада.

Ноябрь. А. М. Горький — В. А. Поссе. Москва.

«Антон Павлович Чехов пишет какую-то большую вещь и говорит мне: „Чувствую, что теперь писать нужно не так, не о том, а как-то иначе, о чем-то другом, для кого-то другого, честного и строгого“. Полагает, что в России ежегодно, потом ежемесячно будут драться на улицах и лет через 10–15 додерутся до конституции. Вообще Антон Павлович очень много говорит о конституции… Вообще знамения, знамения, знамения, всюду знамения. Очень интересное время…»

Здание Сорбонны выглядит неприступным. Мощные, бесшумно отворяющиеся двери. Каменные полы. Огромная гулкая галерея с теряющимися в предвечерних сумерках сводами. Широкие, до зеркального блеска отполированные скамьи у стен…

Стайка студентов приподнимается навстречу моему вопросу — здесь по-прежнему не принято разговаривать со старшими сидя. «Как пройти в канцелярию? Вернее, в архив канцелярии?» Еще одни двери. Квадратный, вымощенный булыжником двор. Вход — без пропусков и окриков. За считаные минуты архивариус выводит на компьютер данные о русской студентке. «Да, приехала в первые годы XX столетия — мадам Софи Матвеефф. Из Варшавы. Предъявила гимназический диплом из города Ливны. Регулярно занималась. Данные матрикула. Диплом — магистр математики».

Для архивариуса в этом нет ничего удивительного: в Сорбонну приезжали учиться со всей Европы. Хотя… женщина на физико-математическом отделении… почти сто лет назад… Но — девушка за компьютером улыбается: «Разве славянки не отличались своеобразием?»

Может быть. Но Софья Матвеева не была исключением. На снимке 1899 года — выпускницы ливенской гимназии с гладко причесанными головками, их больше тридцати; перед ними в таких же строгих форменных платьях и мундирах учителя и классные дамы. Полученных в уездном российском городе знаний оказалось достаточно, чтобы продолжить образование в одном из самых престижных университетов Европы: слушать лекции, участвовать в семинарах и сдавать экзамены — на французском языке.

Младшая из сестер Лавровых после той же гимназии закончит естественное отделение Бестужевских курсов. Братья — ливенское реальное училище. Федор станет студентом Петровского сельскохозяйственного института (ныне

Тимирязевская академия), Павел — одним из первых русских военных летчиков. Он пройдет стажировку во Франции и погибнет в годы Первой мировой войны. Магистру физико-математического отделения Сонечке Лавровой очень хотелось применить полученные знания на практике. Первые публикации в математических бюллетенях Франции и Германии не отвлекли от изучения ремесел. «Математический принцип» моделирования одежды Матвеевой получил парижский диплом. Потом она увлеклась бытовой электротехникой — каких только новшеств не появлялось в варшавской квартире! И еще — слесарное дело, переплетное, плетение из камыша. Зачем? Время покажет.

NB

1902 год. 27 марта. О. Н. Покотилова — А. П. Чехову. Москва.

«Уважаемый Антон Павлович! Последние события, вероятно, небезызвестные Вам, как писателю, следящему за жизнью своей родины, загнали моего сына, мальчика 22 лет, в Восточную Сибирь на три года. Стоит помочь тем людям, которые, не задумываясь ни на минуту, несут свои молодые, жаждущие жизни и счастья головы под нагайки и штыки казаков и жандармов…»

(Добиться поддержки О. Н. Покотиловой не удалось. Она продала все свое имущество и на вырученные деньги собрала для ссыльных студентов библиотеку, организовывала питание, лечение, но через год умерла, не выдержав местных условий.)

* * *

Настоящая зима начиналась со Святого Мартина. Еще без снега. Но с ранними сумерками. Со звонким хрустом подмерзающих луж. С туманным небом, словно приподнятым штопором дымков из сотен краковских труб. У Сукенниц цветочницы меняли живые цветы на бессмертники, букеты из перьев и елей. К костелу Святого Войцеха по вторникам и пятницам привозили кур, индеек, домашние колбасы. Ближе ко Дню святого Мартина — гусей.

В своем увлечении литературой Микеле родителям не признавался. Он начал пробовать силы в гимназическом журнале — слишком много было кругом легенд и преданий. Первый по-настоящему самостоятельный опыт — «Маэстро». Так в средневековом Кракове обращались только к палачу. «Маэстро»

обязан был еще и подметать улицы, чистить отхожие места и — лечить тех, у кого не хватало денег на врачей.

Литературную премию принесла «Поэма о Мариацком костеле». «Романтическая проза», как отозвался один из местных критиков. Два брата-каменщика подрядились построить две башни костела. Старший был искуснее и прилежнее. Он первым закончил свою башню и увенчал ее стройным шпилем. Мастера ждал очередной заказ, и он поспешил уехать, а когда вернулся, увидел, что младший брат все еще далек от завершения работы. Только его башня величественнее и мощнее.

Не выдержав унижения, старший брат убил младшего и сам бросился с недостроенной башни на мостовую. Городские советники приказали зачеркнуть в городских книгах имена обоих каменщиков, потому что оба строили храм не с мыслью о Боге, а ради тщеславия. Незаконченную башню просто прикрыли навершием, чтобы горожане всегда помнили страшную историю и не давали воли своим страстям. О том же должен был им напоминать братоубийственный нож, который и поныне висит в одной из аркад Сукенниц.

Так гласило предание. Микеле Беллучи не согласился с ним. Младший брат имел право соревноваться со старшим, искать собственное решение…

NB

1905 год. 3 ноября. В. Д. Поленов — жене брата. Поместье Борок.

«Настоящее положение тяжело, главное — все той же продолжающейся ложью и обманом сверху и донизу. Наверху петербургская дворня состоит из хищников и идиотов, вокруг нее — шайка грабителей.

Все реформы, которые дает теперь правительство, вынужденные, но, к сожалению, и очень запоздалые. Все это должно было бы совершиться двадцать восемь лет назад. Если бы во главе государства стояли умные и честные люди, то это произошло бы сейчас после болгарской войны.

Когда начались поражения, Александр II, чтобы свалить ответственность за войну на общество, совсем уж собрался дать конституцию, но как только счастье повернулось на его сторону, он изменился. Если бы это совершилось тогда, то не было бы нелепого убийства его, не было бы „царства тьмы“ Александра III, не было бы отупляющего убаюкивания и мошеннических передержек дальнейшего царствования; может быть, не было бы

колоссальной бойни Дальнего Востока и ужасающих по дикости теперешних погромов… Мерзавец никогда не станет порядочным человеком, а дурак ни от чего не поумнеет. Одно меня утешает, если это может быть утешением, что весь ужас обрушивается пока не только на наших детей, но и на меня, а я уверен был, что до этого не доживу. Может быть, у них, если они уцелеют, будущее будет светлее, чем наше недавнее прошлое…»

Декабрь. Из дневника В. Д. Поленова. Москва.

«10-го. Суббота. Началась постройка баррикад; на Тверской ружейные залпы…

11-го. Воскресенье. На улицах движение. Из части выезжают два извозчика с гробами, у одного сидит женщина. Прохожий замечает: „Это вчера много их развезли по частям, ну, родные приходят, узнают; им отдают, не препятствуют — бери, коли твой!“…

Начались пушечные выстрелы…

12-го. Понедельник. Кто-то насчитал 102 пушечных выстрела. За садом к Пресне сильный пожар… Какие-то взрывы…

13-го. Всюду баррикады, всюду пальба… С трех часов громят Пресню, стрельба по Садовой…

14-го. Среда. Драгуны и пехота начинают обстреливать Бронную и Спиридоновку…

15-го. Четверг. Стрельба по нашему двору и саду с каланчи. Офицер стоит и смотрит в бинокль. Два солдата стреляют по его указанию. Был Сережа (Мамонтов)… про Шаляпина рассказывал, как он хотел запеть и повести за собой толпу, но предпочел уехать домой, за что получил звание уж не солиста его величества, а социалиста его величества.

16-го. Пятница. На нашем дворе ребятишки начали строить гору. В них стали стрелять с колокольни, одного ранили.

17-го. Суббота. Семь часов утра, пальба из револьверов, винтовок, пушек… пули попадают в окошки и ставни… В десять часов пожарные стали обливать керосином деревянные флигеля за садом и поджигать.

18-го. Воскресенье. В семь часов вечера начинается стрельба…

20-го. Вторник. На Спиридоновке застрелили старичка и его жену, которые не поняли команды, на соседнем дворе убили гувернантку и ранили девочку…»

Мать ушла из жизни Микеле неожиданно. Болезнь развивалась стремительно. И финал ее застал всех врасплох. Отец был на гастролях, и мать не разрешала ему телеграфировать: слишком долго он ждал возможности выступить в Вене. Сестры гостили у тетки Потоцкой во Львове. Слова доктора не доходили до сознания. Вызвать. Всех. Не теряя ни минуты.

Они собрались в последнее утро. Мать вдруг приподняла веки. Дрогнули пальцы, губы. И — все. Отец махнул рукой, чтобы дети вышли. До ночи оставался в спальне один. С ней.

Комната Анели перешла к сыну. Микеле копался в книгах, старых газетах. Удивлялся, чего только не было в кипах материнских вырезок. Борьба за всеобщее избирательное право — судя по газетным статьям, она началась в конце 1905-го и спустя два года привела к реформе. Кто-то писал матери: «Дорогая Анеля, пусть это не то, о чем мечталось, пусть не равное, но хотя бы всеобщее, всем доступное право выбирать!» Значит, для нее это было важно?

Среди записей матери была и такая: в Кракове, на рынке, Тадеуш Костюшко, избранный главой повстанцев, принес клятву: «…вверенную ему власть применять только во имя независимости Отчизны и всеобщей свободы». И еще — о кургане Костюшко в окрестностях Кракова: сюда привезли землю из тех мест в Польше и Америке, где шли бои за независимость…

Через много лет и далеко от Кракова в руки Микеле попадут записки брата матери (родственники давно потеряли друг друга из виду), которые прольют новый свет на слова, в гимназические годы казавшиеся такими скучными и напыщенными. Возраст примиряет с многословием.

NB

Из дневника Северина Мечислава Потоцкого.

«1911, май. Французские войска заняли столицу Марокко.

1911, 1 июня. В марокканский порт Агадир вошло германское судно. Военное. Война?

1911, 21 июля. Англия публично поддержала Францию, вплоть до объявления войны Германии. Поможет ли?

1911, 4 ноября. По соглашению Франции и Германии Франция получает Марокко и уступает Германии часть Конго, примыкающую к немецкой колонии Камерун. Неужели кайзер согласится?

1912, март. Сербско-болгарский союз. Под протекторатом русского царя. Сюда же примкнули

Греция и Черногория: слишком сильна и опасна Турция.

1912, октябрь. Война против Турции. Разгром. Юзек Бельчински конфиденциально передал: Россия предупредила Болгарию не пытаться захватывать Константинополь, на который та двинулась.

Слава Богу, ту же задачу выполнили сами турки, болгары остановлены. Другая сложность — передел около Адриатики. Сербам нужен выход к ней. Значит, север Албании. Россия согласна. Австрия нет. В обеих странах объявлена частичная мобилизация. Михал (Микеле) спросил: „Я тоже буду воевать?“ Ответил: за кого и зачем?

1912, декабрь. Международная конференция в Лондоне о Балканской войне. Россия и Сербия уступили. За Албанию схватка Австрии и Италии. Пример для Михала: что выберет?

1913, январь. Возобновление военных действий на Балканах. Русские грозят выступлением на Кавказе, Германия — выступлением на стороне Турции. Царь уступил. Война продолжается.

1913, май. Болгарские войска напали на Сербию и Грецию. К Сербии и Греции присоединились Румыния и Турция. Болгары разбиты наголову.

1913, 10 июля. Подписан в Бухаресте мирный договор. Сербы захватывают Албанию. Австрия начинает готовиться к войне при поддержке Германии. Россия отказала сербам в военной силе.

1913, октябрь. Сербы освободили Албанию под давлением военного ультиматума Австрии. Приезд в Санкт-Петербург наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда не улучшил отношений между Россией и Австрией. В русской печати пропаганда захвата Галиции — идея неопанславистов.

1914, 28 июня. В Сараеве убит эрцгерцог Франц Фердинанд. Австрия решила разгромить сербов. (Кайзер согласен.)

1914, 23 июля. Сербскому правительству предъявлен австрийский ультиматум — вмешательство во внутренние дела Сербии. Основание — борьба с антиавстрийской пропагандой. Срок — 48 часов.

1914, 25 июля. Сербия не согласилась (надежда на Россию?).

1914, 28 июля. Австро-Венгрия объявила войну Сербии.

1914, 30 июля. В России объявлена всеобщая мобилизация.

1914, 31 июля. Ультиматум Германии России: отменить мобилизацию. Отказ.

1914, 1 августа. Германия объявила войну России.

1914, 3 августа. Германия объявила войну Франции.

1914, 5 августа. Англия объявила войну Германии.

1914, 14 ноября. Русские войска подошли к Кракову. Боже, сохрани наши жизни!»

* * *

Эвакуация! Всего Западного края! Сразу после объявления всеобщей мобилизации. Все государственные учреждения — административные, судебные, финансовые, институты, все до единой гимназии, реальные училища и духовные и даже музыкальные учебные заведения. Софья Стефановна говорила: никто не верил в то, что придут немцы, и не допускал даже мысли оказаться под их правлением. Поезда из Варшавы и других польских городов направлялись преимущественно в Москву. «За образцовую организацию эвакуации» Иван Гаврилович Матвеев получил благодарственное письмо от самого императора. Семья генерала также оказалась в старой столице.

И это было тем большим чудом, что русская армия, хотя и готовилась к войне, в последний момент была захвачена врасплох. Как иначе объяснить, что в последних числах июля генерал Матвеев был отпущен в отпуск в Кисловодск, где его и застало сообщение о всеобщей мобилизации. До варшавского штаба ему с трудом удалось добраться лишь в день объявления Германией войны Франции.

Казалось, вся русская Варшава переехала в Москву. Впрочем, и польская тоже. Здесь было так много знакомых, образ жизни почти не изменился: встречи, визиты, чаепития, даже лекции и заседания всяческого рода обществ и кружков. О Варшаве старались не говорить. Как о тяжелобольном. Бог даст, пронесет грозу. Бог даст, все обойдется. Новостями обменивались коротко. Вполголоса. В доме Юрасовских чаще, чем у других. Ведь в этой семье все мужчины становились военными — из поколения в поколение. Даже мелькнувшая в истории семьи Сибирь, после 1831 года, ничего не изменила. К тому же для Лавровых это были соседи по Орловщине.

Станция Благодатная в пятидесяти верстах от Орла. От нее четырнадцать верст до села Мишково. Перед последней своей

поездкой на Кавказ Лермонтов побывал здесь у своего товарища М. П. Глебова. Бродил по берегам заросшей плакучими ивами речки Должанки. Глебов пережил приятеля всего на четыре года. В 1890-х годах Мишково стало собственностью одного из четырех братьев Юрасовских — Александра Константиновича.

Александр и Константин Константиновичи участвовали в Русско-японской войне. Капитан 2-го ранга Константин Юрасовский погиб 31 марта 1904 года на контрминоносце «Страшный». Воспитание двух его осиротевших дочерей взял на себя брат Иван, известный акушер-гинеколог.

По окончании кампании Александр Константинович вышел в чине штаб-ротмистра в отставку. Появление в его жизни Мишкова не было случайностью. Поклонник творчества Лермонтова, он окончил то же, что и поэт, Николаевское кавалергардское училище, где, кстати сказать, существовал лермонтовский музей. Сам Юрасовский еще в 1902 году издал в Орле в качестве иллюстрированного приложения к газете «Русское слово» очерки и рассказы под названием «Мелочи жизни», стал составителем «Краткого генеалогического описания рода дворян Юрасовских со времени переезда их в Россию в 1642 году». Были Юрасовские выходцами из Польши и числились дворянами Орловской губернии.

В 1909 году Александр Константинович заказал в Париже и поставил в орловском Мишкове бронзовый бюст Лермонтова. После его смерти в 1911 году поместье перешло к Ивану Константиновичу. Вместе с реликвиями — портретом и шапкой поэта.

Четвертый брат, Алексей Константинович, не уехал из Орла. Служил по финансовой части. Имел сыновей — Константина и Святослава. Их навсегда разделил Октябрь 1917-го. Константин, окончив Орловский кадетский корпус, воевал в Галиции, служил у Деникина и Врангеля. Осенью 1920-го бежал из Ялты в Константинополь. Погиб Кока, как его звали в семье, в 1938-м в Барселоне. Святослав стал военным врачом в Красной Армии и был убит в 1941-м под Вязьмой.

Дом доктора Ивана Константиновича Юрасовского на Арбате, в Большом Николо-Песковском переулке, стал первой московской квартирой Матвеевых. Выделявшийся среди других доходных домов, построенных в начале века, своей комфортностью, он был известен всей Москве. В нем находилось, занимая два этажа, «Образцовое родовспомогательное учебное заведение». Курс, пройденный у Юрасовского, служил лучшей рекомендацией для акушерок и повивальных бабок. На каждый очередной выпуск приезжали члены городской думы и даже генерал-губернатор. Не

обходила вниманием «доброго доктора» и великая княгиня Елизавета Федоровна, чьи приюты и ясли он бесплатно консультировал.

NB

1915 год. Май. Из письма И. Э. Грабаря. Москва.

«…Вы, верно, забыли о знаменитых „немецких“ погромах в мае 1915 года в Москве, когда все склады моего издателя Кнебеля, сорок лет служившего культурному делу России, но родившегося в Галиции, подверглись полному разграблению и уничтожению. Ведь потому-то я и вынужден был прекратить выпуск „Истории [русского искусства]“, что все негативы — до 20 000 штук, снятые под моим руководством, а в значительной степени и мною лично и мне лично принадлежавшие, были уничтожены. Среди них были не сотни, а тысячи драгоценнейших уник, документов, ныне уже не восстановимых, ибо я исколесил всю Россию, весь Север, все значительные усадьбы в центральных губерниях, а вы хорошо знаете, как много из всего этого богатства погибло от ветхости, огня и дурных инстинктов. Тогда же были приведены в негодность и клише. Молодые люди, „патриотически“ настроенные… пересматривали один негатив за другим, любовались ими и затем их растаптывали на мелкие кусочки, „чтоб немцу не склеить их“. И когда полуграмотные приказчики, со слезами на глазах, умоляли их пощадить хоть негативы, так нужные культурной России, они только неистовее принимались за свое сатанинское дело. Я плакал навзрыд, когда мне принесли в деревню, где я жил и работал, ужасное известие…»

* * *

Паоло Стефано казалось, что обычная, простая жизнь осталась в Беллуно. Хотя газеты говорили совсем об ином. «Но кто же верит газетам!» — записал дирижер в дневнике.

Конечно, Италия воевала. Воевала против Австро-Венгрии, но там все должно было выглядеть иначе. Кто бы на самом деле добрался до Вала Беллуно! В горах просто нет места для настоящих сражений. Музыка уже не могла занимать все его мысли. В записных книжках появились заметки о сообщениях с театра военных действий. Фронтов множество, важным

представлялся только итальянский.

В мае 1916-го австрийские дивизии двинулись на Азьяго — в тылы главных сил Италии. Это была карательная экспедиция. Азьяго пал. Если бы не прорыв русских войск у Луцка, это было бы полное поражение. По счастью, генерал Брусилов вынудил австрийцев перебросить главные силы в Галицию. Краков кишел военными. Постои. Контрибуции. Страх за дочерей. И подрастающего сына. Петля затягивалась.

Конец лета принес облегчение. Италия возобновила наступление, овладела Горицей, частью Карсо, двинулась на Изонцо. Немцы уже не могли рассчитывать на помощь австрийцев. Атаки на Изонцо стали в сентябре слишком серьезными. Только что это меняло? Итальянские фамилии у австрийских чиновников вызывали все большее подозрение. Дирижер стал реже выходить на улицу: выдавало произношение.

Противостоять происходящему не хватало сил. Австрийцы снесли средневековые стены и башни Вавеля, королевские здания, костелы только для того, чтобы сделать здесь плац для строевых занятий. Осмелились вынести из кафедрального собора все саркофаги и королевские гробницы, чтобы очистить место для солдатских богослужений.

Жители Кракова собрали немыслимую сумму — три с половиной миллиона австрийских крон, чтобы выкупить у австрийского правительства свой Вавель. В 1905-м солдаты наконец оставили замок, а спустя шесть лет и весь Вавель. Предстояло снова собирать средства — теперь уже на восстановление загаженной народной святыни. Паоло Стефано дал несколько благотворительных концертов.

NB

1917 год. 2 марта император Николай II отрекся от престола.

4 марта отречение Николая II было опубликовано.

13 марта в Большом и Малом театрах состоялись представления — «живые картины». В Малом театре под звуки «Марсельезы» поднялся занавес. Декорации на сцене изображали лазурное небо с горящим солнцем. Под солнцем — женщина в русском костюме, с разорванными кандалами. Это «Освобожденная Россия», которую изображала А. А. Яблочкина. У ее ног — лейтенант П. Шмидт, вокруг плеяда писателей: Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Гоголь, Некрасов, Достоевский, Толстой, Добролюбов, Чернышевский, Белинский, Писарев. Здесь же сидит, скрестив руки, Бакунин, стоит

Петрашевский, опустив голову, думу думает Шевченко, в черном платье Перовская, а вокруг них изможденные лица в серых арестантских халатах… Дальше в мундирах александровских времен — декабристы и среди них княгиня Волконская, княгиня Трубецкая. Дальше — студенты, крестьяне, солдаты, матросы, рабочие, представители всех классов и народностей России… Теперь они победно поют «Марсельезу». Впереди этой живой картины стоит комиссар московских государственных театров князь А. И. Сумбатов. Публика рукоплещет. У всех на глазах слезы.

6 марта. Б. М. Кустодиев — В. В. Лужскому.

«Было жутко и радостно все время… Как будто все во сне, и так же, как во сне, или, лучше, в старинной „феерии“, все провалилось куда-то старое, вчерашнее, на что боялись смотреть, оказалось не только не страшным, а просто испарилось „яко дым“!!! Как-то теперь все это войдет в берега…»

16 марта. В. Д. Поленов — К. В. Кандаурову.

«Да, я несказанно счастлив, что дожил до этих дней… То, о чем мечтали лучшие люди многих поколений, за что они шли в ссылку, на каторгу, на смерть, свершилось».

19–20 марта. А. А. Блок — матери. Петроград.

«Несмотря на тупость, все происшедшее меня радует. Произошло то, чего никто оценить еще не может, ибо таких масштабов история еще не знала. Не произойти не могло, случиться могло только в России… Для меня мыслима и приемлема будущая Россия, как великая демократия (не непременно новая Америка)».

21 марта. Ф. И. Шаляпин — дочери. Петроград.

«Необычайный переворот заставил очень сильно зашевелиться все слои общества, и, конечно, кто во что горазд начали работать хотя бы для временного устройства так ужасно расстроенного организма государства… я, слушая, как народные массы, гуляя со знаменами, плакатами и проч., к моменту подходящими вещами, поют все время грустные, похоронные мотивы старой рабьей жизни, — я тем не менее написал, кажется, довольно удачную вещь, которую назвал „Песня

революции“ и которую, в первый раз выступая перед публикой после революционных дней, буду исполнять в симфоническом концерте Преображенского полка в Мариинском театре».

23 марта. И. Е. Репин — В. Н. Черткову.

«А какое счастье нам выпало в жизни. Все еще не верится. Какое счастье…»

25–26 марта. К. С. Петров-Водкин — А. П. Петровой.

«Обо всем этом потом целые книги напишут, дети в школах изучать будут каждый из прошедших дней Великого Переворота… Поверь мне, чудесная жизнь ожидает нашу родину и неузнаваемо хорош станет народ — хозяин земли русской…»

26 марта. Е. Е. Лансере — Н. Е. Лансере.

«Завидуем теперь страшно вам, какие грандиозные события прошли перед вашими глазами. Поразительно хорошо и радостно на душе».

18 мая. А. А. Блок — матери. Петроград.

«В понедельник во дворце допрашивали Горемыкина, барственную развалину; глаза у старика смотрят в смерть, а он все еще лжет своим мягким, заплетающимся, грассирующим языком; набежит тень улыбки — смесь стариковского добродушия (дети, семья, дом, усталость) и железного лукавства (венецианская фреска, порфирная колонна, ступени трона, государственное рулевое колесо), — и опять глаза уставятся в смерть…

В перерыве Муравьев взял меня, под предлогом секретарствования, в камеры. Пошли в гости — сначала к Воейкову (я сейчас буду работать над ним); это — ничтожное довольно существо, не похож на бывшего командира гусарского полка, но показания его крайне интересны; потом зашли к кн. Андроникову; это — мерзость, сальная морда, пухлый животик, новый пиджачок… Князь угодливо подпрыгнул затворить форточку; но до форточек каземата не допрыгнешь. Прямо из Достоевского…

Потом пришли к Вырубовой (я только что сдал ее допрос) — эта блаженная потаскушка и дура сидела со своими костылями на кровати. Ей 32 года, она могла бы

быть даже красивой, но есть в ней что-то ужасное… Читал я некоторые распутинские документы; весьма густая порнография».

29 мая. Из «Записки И. Э. Грабаря о реформе Академии художеств».

«1) Академия художеств должна быть… неким верховным судилищем в делах искусства.

2) Действительные члены Академии избираются сроком на 25 лет… в количестве 60 человек.

3) Каждый член Академии художеств получает государственное содержание в размере 6000 руб. в год… сверх сего особые мастерские. <…>

10) По истечении 25 лет действительные члены Академии становятся ее почетными членами и получают сверх государственного содержания добавочное пенсионное довольствие в размере 3000 рублей».

Конец сентября. Германский флот на Балтике захватил острова Эдель и Даго. Временное правительство принимает решение перевести столицу в Москву и сдать немцам Петроград.

Микеле окончил гимназию, а это означало, что не за горами призыв в ненавистную австрийскую армию.

Об этом времени Микеле не любил вспоминать. Год он проучился в Ягеллонском университете Кракова — продолжал мечтать о литературе. Призыва в формировавшийся Галицийский корпус, наверное, можно было избежать. Отец надеялся на родственников покойной жены, на своих знакомых и почитателей. Микеле счел подобные попытки недостойными.

Отъезд в армию оказался настолько поспешным, что едва хватило времени проститься с растерявшимся отцом и набросать записку жившим при монастыре сестрам. Все были убеждены: война подходит к концу. Значит, Микеле скоро вернется. Он взял с собой лишь одну семейную памятку — фотографию виллы Потоцких на берегу озера Комо, где провел с матерью лето перед ее кончиной.

Будущее стало прорисовываться совсем иначе уже в эшелоне. Командование Галицийского корпуса собиралось помочь Петлюре, который теперь взаимодействовал с генералом Деникиным, стремительно продвигавшимся на юг. Газеты наперебой сообщали о его успехах: Полтава, Харьков, Одесса, Киев… Когда между Деникиным и Петлюрой возникли

разногласия, командование Галицийского корпуса встало на сторону генерала.

Наступление красных началось в конце октября. Часть Галицийского корпуса дошла с Деникиным до Новороссийска. Михаил, как стали называть Микеле, оказался среди тех, кто отправился с генералом в Крым. Тому была причина: жившие там в своем имении родственники матери давно не подавали о себе известий.

На полуострове власть менялась с немыслимой быстротой: в марте 1918-го — провозглашенная республика Таврида; с мая по ноябрь того же года — немецкая оккупация; затем правительство Антанты; в июне 1919-го Симферополь взяли войска Деникина.

NB

1917 год. 25 октября. Из дневника К. А. Сомова.

«Сегодня победа большевиков. События…»

Из воспоминаний А. П. Остроумовой-Лебедевой.

«Улицы были полны взволнованным народом. Часто проезжали грузовики и легковые автомобили с вооруженными людьми. Куда-то шли войска. Дома не сиделось. Хотелось слиться с людским потоком, пережить те же чувства радости и надежды на светлое будущее, как и весь народ. Все мои друзья-художники были в подъеме, бодры, энергичны».

Из воспоминаний С. Эрьзи.

«Я понял, что наконец-то прекратятся страдания моего народа, изменится моя жизнь и моих близких».

Из воспоминаний В. В. Каменского.

«Было жутко, ново и весело, мы дышали всеобъемлющей новизной будущего, горели энергией молодости».

Из дневника А. С. Голубкиной.

«Вот теперь у власти будут настоящие люди… Не надо предъявлять никаких требований к новой власти, нужно, чтобы она окрепла».

Из дневников С. Т. Коненкова.

«Когда мы вслед за первыми отрядами вошли в Кремль, из здания Арсенала вышел офицер с белой повязкой на руке, за ним юнкера с поднятыми руками. Пахло гарью и порохом. На земле лежали бездыханные тела героев, отдавших жизнь за победу революции. Красногвардейцы продолжали разоружать юнкеров. Я

смотрел на древние стены Кремля, на белокаменные дворцы его и соборы, и казалось мне, что вижу я, как заря алая, заря свободы поднимается над великой златоглавой Москвой. Рой стремительных мыслей закружился в моей голове. Как-то ты теперь развернешься, Россия?! Какой простор откроется многим и многим талантливым твоим сынам!»

* * *

В доме во 2-м Красносельском стояла тишина. Взгляды супругов на происходящее давно разошлись. Мария Никитична готова была поверить «здоровому началу» в новых лозунгах. Ходила на не слишком ей понятные митинги и демонстрации. Даже пыталась брать с собой маленькую дочь. Иван Егорович воспротивился до ссоры. И с первым же теплом заторопился отправить семью на дачу в Богородское. Оттуда Марии Никитичне было много труднее добираться до города, а известия доходили с опозданием, теряя первоначальную остроту.

Теперь знакомые забегали куда реже. Обычно по вечерам. Наскоро обменивались тревожными новостями и по возможности незаметно исчезали. Было и так понятно: захват германским флотом островов Эдель и Даго открывал немцам дорогу в Рижский и Финский заливы. Приготовления Временного правительства к сдаче им Петрограда не удалось сохранить в тайне. Тем более что в Эрмитаже стали готовить к отправке в Москву все экспонаты. Третьяковская галерея, Исторический музей, Румянцевский музей, Оружейная палата готовились разместить их в своих помещениях.

События развивались таким образом, что Иван Егорович понял: сохранность его коллекции под угрозой. Выход был один — убрать ее с глаз долой. Но сделать это было непросто. Нужна была помощь профессиональных реставраторов. От идеи пригласить для совета И. Э. Грабаря Иван Егорович отказался, считая деятельного художника ангажированным: слишком уж тот умел потрафить любой власти, слишком уж рьяно хлопотал о собственном материальном благополучии. Выбор пал на молодого реставратора Алексея Александровича Рыбникова, работавшего в Третьяковской галерее.

Рыбников согласился с идеей Ивана Егоровича снять все сколько-нибудь значительные по размерам полотна с подрамников, накатать их на валы, обеспечить безопасность скульптуры и спрятать всю коллекцию… на чердаке собственного

дома. Расставаться с ней Иван Егорович не хотел.

Под предлогом ремонта комнаты были освобождены от картин и скульптуры. Под покровом ночи их переносили на чердак, специально оборудованный, и сверху присыпали строительным мусором. В обновленных комнатах были оставлены лишь немногие полотна.

В свое оправдание Иван Егорович сказал жене, что единожды начавши махать оружием, русский народ не остановится перед широкомасштабным кровопролитием: «Мы можем выжить или не выжить — на все Господня воля, но дело рук художников обязаны сохранить. Это ведь лучшее и единственное, что остается от человечества». Мария Никитична досадливо пожала плечами, но не стала затевать ссору.

NB

1917 год. 3 ноября. Джон Рид. «Русский блокнот».

«После пятидневного боя был взят Кремль. Обозленные попы. Обозленные буржуазные художники и др. Несчастные обозленные бедняки, которые крестятся и что-то бормочут, глядя на Кремль. Обозленные толпы спорщиков на Красной площади. Эти последствия боев представляют опасность для большевиков».

1918 год. 30 января. Из письма В. Д. Поленова. Поместье Борок.

«…Одно время мне казалось, что настал нам конец. Как некогда развалились и кончились разные царства и наикрепчайшие государства, так и наше рассыпалось. А теперь мне кажется, что это скорее начало, а что рассыпалось — это нам на пользу, и мерещится мне, что будет лучше, не говоря уж о недавних временах самодержавия, Распутина и Протопопова, общего произвола, бесправия и всяческого порабощения… Возвращаясь к современности, не раз поблагодаришь решительных людей, уничтоживших много вековых глупостей: напр[имер], освобождение брака из-под ига попов, упразднение разных несправедливостей судьбы, уничтожение ехидного ять, который причинял гибель не одной сотне юнцов; даже перенесение числа на западный календарь есть хорошая перемена…»

3 марта. В Брест-Литовске Россия подписала мир с Германией. Одновременно немцы заключили отдельный договор с Центральной радой Украины. Австро-

венгерские и германские войска вошли на территорию Украины.

* * *

Врачи поставили диагноз: острая сердечная недостаточность. Болезненно пережить во фронтовых частях Февраль, Октябрь, ни с чем внутренне не соглашаясь, болея за русскую армию, бездарность командования, связывавшего руки всем сколько-нибудь дельным офицерам, оказалось невозможно. Матвеев был вынужден согласиться на предоставленный ему короткий отпуск, который решил провести в родных Ливнах с женой и дочерью, уже давно оставивших Москву ради тихого Путивля.

Вот только Ливны уже далеко не те, какими помнились с детства. Призрак голода. Того хуже — человеконенавистничество. Гонения на церковь… Человек верующий (генерал много лет был старостой церкви штаба, вел воскресные духовные чтения для солдат), Иван Гаврилович, лежа в постели, начал писать статью в местную газету «Пахарь».

Так появилась исписанная школьная тетрадка. Вот ее последние строки: «Так за что же в годину тяжких испытаний народа русского лишать его опоры и надежды и усугублять греховность неразумных деяний своих, поднимая руку на иконы и храмы? В потомках наших, в родех и в родех, отзовутся греховные поступки наши великим наказанием — потерей человечности, образа и подобия Божия. Иван Матвеев. Ливны. Апреля… дня 1918 года».

Статья в ливенском «Пахаре» напечатана не была. Спустя несколько дней Иван Гаврилович написал прощальное письмо жене:

«Дорогая Соничка! Не тревожься о моих телесных недугах. Они ничто по сравнению с сомнениями душевными, тем недугом духа моего, который не позволяет мне определить правильное относительно совести и долга дальнейшее земное существование мое. Я христианин и офицер, по Святому Крещению и Присяге, между тем все, в чем приходится волей или неволей участвовать, противоречит тому и другому. Расстаться же с армией и Россией для меня одинаково невозможно. Я бы не мучился так, если бы не вы с Танечкой. Что может ждать вас, дорогие? Но да буди на все его святая Воля…»

Во время очередного сердечного приступа генерал не принял лекарства и не впустил к себе врача…

Через неделю после торжественных похорон «красного

генерала» на городском кладбище Ливен, со всеми воинскими почестями, оркестром и салютом, в доме Матвеевых на Новоникольской улице появились представители органов. Из Орла. С ордером на арест.

Вдове и дочери удалось бежать из родного города — пришли на помощь давние пациенты Антонины Илларионовны, всеми почитаемой врачевательницы. Десятки верст проселочных дорог. Тряская телега. Женщины, переодетые в «простое» платье, под рогожами, среди полных мешков.

Софья Стефановна наотрез отказалась уезжать из России: «Но я же дома!» И еще: «У меня есть профессия и силы!» После вынужденного скитания по городам и весям пришло неожиданное решение: поступить вместе с закончившей гимназию дочерью в Новочеркасский университет.

NB

1918 год. Сентябрь. Из записей старшего адъютанта Савина, сопровождавшего наркома по военным делам Л. Д. Троцкого в поездке по воинским частям.

«Ночью 16 сентября было сообщено в штаб армии из поезда Троцкого, что завтра, то есть 17 сентября, он прибывает в Саратов.

В 9 час. 37 мин. утра под звуки народного гимна, исполненного духовым оркестром, поезд Троцкого подошел к перрону вокзала, где были выстроены части Саратовского гарнизона. Появление т. Троцкого было встречено громовым „Ура“…

На автомобилях кортеж проследовал на пристань. В 12.15 пароход прибыл в Покровск. На пристани был выстроен почетный караул шпалерами. С парохода Троцкий держал речь. В ответ — громовое „Ура“.

Затем Троцкий прибыл в Вольск. Тоже встречали народным гимном. Троцкий держал речь. В ответ — громовое „Ура“.

Прибыл в Балаково. Опять держал речь. Вновь шпалеры войск, держал речь из автомобиля.

Прибыли в Хвалынск. Опять встречали шпалеры войск. Держал речь. Построили интернациональный полк. Троцкий держал речь на русском и Линдов на немецком языке.

Затем отправился в Николаевск. Был почетный караул, шпалеры, „Ура“. За день проехали на автомобиле 200 верст.

При поездках т. Троцкого находились фотограф и

кинематограф, которые зафиксировали важные эпизоды поездки и отдельных лиц, представляющих из себя интерес для Российской Советской Республики и которые послужат политическим примером для других стран света, как борется пролетариат с игом капитала».

26 октября. Послание патриарха Тихона Совету Народных Комиссаров.

«…Не России нужен был заключенный вами позорный мир с внешним врагом, а вам, задумавшим окончательно разрушить внутренний мир. Никто не чувствует себя в безопасности, все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью, часто без всякого следствия и суда, даже без упрощенного, вами введенного суда…

Но вам мало, что вы обагрили руки русского народа его братской кровью: прикрываясь различными названиями — контрибуций, реквизиций и национализаций, вы толкнули его на самый открытый и беззастенчивый грабеж. По вашему наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду…

Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть, заглушили в нем сознание греха…»

1919 год. 23 февраля. И. Э. Грабарь — профессору Дерптского университета В. Э. Грабарю. Москва.

«Вы еще концы с концами сводить можете, а вот нам конец приходит… Для того чтобы нам, 15-ти ртам, кое-как просуществовать, надо иметь сейчас минимально 25 тысяч. Ощущаешь дозу? Ведь всего нашего общего жалованья — 3500 не хватает на хлеб, — по полфунта на душу… И главное — никакого просвета впереди…»

* * *

После Октября все начало слишком стремительно меняться: понятия, условия жизни, моральные нормы. «Национализация»,

«конфискация», «изоляция», «бывшие»… Может быть, старику Гриневу еще повезло, что зимой 1919-го он умер от сыпного тифа: конец естественный и далеко не самый мучительный. Когда его выносили из дома, чтобы положить на фуру, в горячечном бреду он просил жену об одном: не разобщать собрание, перетерпеть, если будет возможно, если удастся. Музей… Наш музей… Для Марии Никитичны и Лидии это был завет. На всю жизнь: «Перед смертью о пустяках не просят…»

Ивана Егоровича из сыпного барака сбросили в общую могилу. Так полагалось. И первой конфисковали дачу. В Богородском, где летом собирались актеры Малого театра, режиссеры казенной сцены. Ничего из вещей взять не разрешили. В первых рядах «национализаторов» был дворник, проработавший у Гриневых много лет.

Следующий на очереди был московский дом-музей. На первых порах «охранная грамота» спасла его от конфискации. Но все личные вещи подлежали изъятию. А может, и не подлежали. Кто бы стал заикаться о правах, когда в любую минуту мог начать разговор «товарищ маузер».

Люди в кожанках брали не только столовое серебро, посуду, белье. Их внимание привлекали и книги — «об искусстве» (все они были в сафьяновых переплетах с золотым тиснением) и детские с картинками. Все без исключения. И игрушки. В двенадцать лет Лидия еще от них не отказалась.

То, что не уместилось на возу, было растоптано во дворе. Под сапогами хрустели фарфоровые головки французских кукол.

«Вы не представляете себе этого звука!» — Через десятки лет Лидия Ивановна вздрагивала и прикрывала глаза. «А одна пищала. Несколько раз пискнула. Тоненько так. Я потом собрала. Осколки. В тряпочку. Пестренькую. Осколки…»

«Говорят, испанка заразна. Такая тогда появилась болезнь. Мама заболела на следующий день. В больницу ее не взяли: домовладелица, чуждый элемент. Я сама ее выхаживала дома. С водой было плохо. Водопровод не работал. С улицы, от колонки два ведра донести могла бы. Только ребята… Толпой собирались. Набрать воду дадут. И сзади идут. До крыльца. А там выльют. Думаешь, а вдруг успеешь — еще две ступеньки, дверь рядом… И ничего. Опять идти. А они ждут. Взрослые кругом смотрят. Дочь домовладельцев — чего там! Смеются… С тех пор плакать разучилась. Ноги в воде. Башмаки худые. И мама. За дверью. Пить просит…»

На что жить? Архитектор Пиотрович устроил четырнадцатилетнюю Лиду делопроизводительницей. Поручился, что ей шестнадцать. Днями над бумажками корпела. Вечером —

школа. По старой памяти — гимназия сестер Бот. Так и называлось — уроки для работающих.

О картинах на чердаке не думала. Они были словно залогом того, что все образуется, вернется, будет, как было. Пиотрович советовал о них забыть. Если кто догадается, что коллекция сохранилась, если припомнит, наверняка конфискуют. Под тем или иным предлогом. И сослать могут. Сколько кругом примеров.

«Молчала. И мама молчала. Совсем. После испанки много лет в себя прийти не могла. Самой соображать приходилось. Одна радость — литературные вечера. После работы сесть на 10-й трамвай и через весь город на Поварскую. Во Дворец искусств. Усадьбу Долгоруких все знали — ее Лев Толстой в „Войне и мире“ как дом Ростовых описал. Чтения в бывшем танцевальном зале проходили. Народу собиралось столько, что под конец не то что тепло, жарко в шубе становилось. Сидишь потом на работе и про себя строчки повторяешь. Даже улыбаться хочется…»

NB

1920 год. 6 февраля. Из рассказа члена Иркутского военно-революционного комитета.

«Вечером 6 февраля я был вызван в ревком, там уже находился предгубчека Чудновский. Ширямов, председатель Иркутского ревкома, вручил нам постановление о расстреле Колчака и Пепеляева. Мы вышли и договорились, что я подготовлю специальную команду из коммунистов… Во втором часу ночи я с командой прибыл в тюрьму. Мы вошли в камеру к Колчаку и застали его одетым — в шубе и в шапке. Было такое впечатление, что он чего-то ожидал. Чудновский зачитал ему постановление ревкома…»

Из воспоминаний А. Г. Бовшек (двоюродной бабушки Н. М. Молевой). Киев.

«…Огромные сугробы на тротуарах и мостовой. На улице мало прохожих, еще меньше проезжих… Изредка слышится тревожное цоканье копыт, проносится одинокий всадник или целый отряд конных. По тому, как выглядят всадники: в широких красных штанах, с оселедцами на головах и с пиками наперевес, в черных мохнатых шапках или серых шинелях и фуражках с пятиконечной звездой, — можно определить, чья власть в городе: петлюровцев, белых или красных. Сейчас в Киеве большевики…

Проходя мимо дверей Консерватории, я замечаю

прибитое четырьмя гвоздиками небольшое печатное объявление:

„Экономическое общество учащихся Консерватории. Семинарий по общим вопросам музыки А. К. Буцкого.

С. Д. Кржижановский. Чтения и собеседования по вопросам искусства. 6 чтений первого цикла.

1. Четверг 1 марта Культура тайны в искусстве.
2. Понедельник 5 Искусство в ‘искусстве’.
3. Четверг 8 Сотворенный творец (И. Эригена).
4. Понедельник 12 Черновики. Анализ зачеркнутого.
5. Четверг 15 Стихи и стихия.
6. Понедельник 19 Проблема исполнения

Чтения будут проходить в зале Консерватории. Начало в 8 ½ вечера“.

О Кржижановском, его лекциях, выступлениях по вопросам музыки я слышала не раз. Все говорили: интересно… Но я спешила в наробраз. Сегодня там решался вопрос о польском театре: организацию его предлагала известная польская актриса С. Э. Высоцкая. Я уже кое-что знала о ней, видела ее в Москве, когда она приезжала к Константину Сергеевичу Станиславскому побеседовать с ним, познакомиться с основными положениями его системы и режиссерским методом. Она не раз приходила на занятия студии театра, особенно в те дни, когда их вели Константин Сергеевич или его талантливый ученик Евгений Багратионович Вахтангов».

12 марта. К. А. Коровин — журналисту Н. С. Ангарскому.

«Помните мою квартиру-мастерскую, где я работал, что на Мясницкой, д. 48, кв. 10. Я там жил и жил мой сын — художник Леша, и жена — Анна Яковлевна… Опять хотят взять квартиру совсем. Комендант дома сказал: несмотря на охранные грамоты Наркомпроса, все же с квартиры уезжайте к 1-му апреля.

Куда же я пойду? Куда я дену обиход моих работ? Куда же я дену бедных и престарелых помощников моей жизни?.. Неужели так нужна квартира в пятом этаже?.. Мне нужен мой угол. Не лишите меня его. Прошу вас. Заступитесь за меня…»

Март. А. Г. Бовшек — С. Д. Кржижановском. Киев.

«…Я не умею воевать с жизнью и бороться за счастье, но, видит Бог, я умею любить, и я люблю Вас… Что

хотите, то и думайте. Если я этим огорчаю Вас, простите, если Вам радостно, то не бойтесь ни меня, ни жизни… Вверяюсь Вашей чуткости в остальном».

* * *

Софья Стефановна решила стать студенткой. Вместе с дочерью и неожиданно появившимся зятем. Она скрыла, что имеет законченное университетское образование — оно означало пребывание за границей, которое ставило любого человека под подозрение. Не разрешив и зятю признаться в том, что он имеет диплом инженера.

Как оказалось впоследствии, это решение спасло всю семью. Ведь теперь главной стала графа в анкете — о происхождении, точнее — о классовой принадлежности. Деление на чистых и нечистых, «бывших», в которое оказалось так легко втянуть «массы». Заполучить — и притом бесплатно! — понравившиеся у соседа вещи, избавиться от него самого, с кем-то свести счеты — все становилось возможным благодаря единственному колдовскому слову, которое достаточно было шепнуть кому надо и когда надо.

У складывавшегося режима было множество путей самоутверждения и среди самых верных — система домоуправлений. Схема отличалась предельной простотой.

Каждый человек должен иметь удостоверение личности (до паспортов еще дело не дошло). Удостоверение следовало предъявлять и отмечать «по месту жительства». Пресловутая прописка! Если она отсутствовала, при любой случайной облаве, при простом посещении квартиры участковым милиционером можно было оказаться в камере предварительного заключения — до «выяснения личности» и просто быть высланным неизвестно куда и на каких условиях. Зато желанная прописка в свою очередь предполагала представление вороха различных справок, прежде всего с места работы, и постоянный надзор.

К тихой, незаметной «домоуправленческой», как ее называли, паспортистке стекались и все сведения по внешнему наблюдению за жильцами — от дворников, уборщиц, слесарей. Только безукоризненно выполняя доносительские функции, все они могли рассчитывать сохранить за собой работу и — жилую площадь. У них самих тоже не было никаких прав — они тянулись в Москву со всех концов страны от беды. Раскулачивания, голода, несчастья, постигших по той же «классовой» причине родных.

Паспортистка ежедневно передавала собранные сведения участковому наблюдателю из милиции или ЧК. Ее рабочее место также зависело от доносительства, старательности и преданности — каждому начальнику, представителю власти. Какой смысл в этих условиях имела смена квартиры и места жительства?!

А биография Михаила Молева могла навредить положению семьи. Здесь была и связь с кубанским казачеством, и принадлежность к титулованному роду выходцев из Словении, располагавших землями в Галиции. Единственная надежда основывалась на том, что в Москве не знали подобных тонкостей, хотя время от времени и интересовались происхождением необычно звучавшей, русифицированной фамилии.

Михаил Алексеевич закончил Высшее мукомольное училище в Одессе, где жил у дальних родственников — в семье вице-губернатора Капишевского. Но бежать из России с Капишевскими не захотел. Был в армии — какой?.. Оказался в Москве. Как бы то ни было, жизнь продолжалась, и Софья Стефановна не стала противиться естественному ходу событий. Ее характер сказался в другом. Не Михаил взял на себя ответственность за юную супругу и ее мать — Софья Стефановна сочла своим долгом позаботиться об их будущем.

Сначала выбор пал на сельскохозяйственные специальности — там было меньше всего претендентов, студентов ждали. Их даже поддерживали продуктами — обстоятельство немаловажное в голодающем городе. Институт народного хозяйства к тому же находился сравнительно недалеко от квартиры, которую удалось получить. В заводском кооперативе инженер Молев, имевший к тому же с 1915 года права шофера и автомеханика, нашел место слесаря на авторемонтном предприятии. И в институт, и на работу надо было добираться пешком.

Учеба в институте позволяла в графе социальная принадлежность писать «учащийся». В новом государстве это многое объясняло и многое предоставляло.

На возраст Софьи Стефановны не обратили внимания — ей едва исполнилось сорок. В Стране Советов полагалось учиться всем: Софья Стефановна редко появлялась на лекциях, но без труда сдавала экзамены. После Сорбонны это было просто. Может быть, именно поэтому она предложила детям перейти на более интересный, с ее точки зрения, только что открывшийся энергетический факультет. Специальность инженеров-электриков увлекла молодых супругов. К тому же Софья Стефановна была давно знакома с профессором Карлом Адольфовичем Кругом, основавшим этот факультет. Они встречались на конференциях в Варшаве и Париже. Профессор бывал в ее доме и в Москве. В

семейной библиотеке хранились труды Круга по теоретической электротехнике с дарственными надписями профессора. Добившись, наконец, открытия самостоятельного Московского энергетического института, Круг распорядился принять в числе первых студентов чету Молевых. Теперь до института им приходилось каждый день добираться два часа: Замоскворечье — Лефортово.

NB

1920 год. Октябрь. Армия Врангеля потерпела поражение у Каховки и отступила к Крыму.

11 ноября. Красная Армия взяла последнюю полосу Юшуньских укреплений армии Врангеля. Врангель издал приказ об эвакуации.

Три дня на 120 судов грузили воинские части, семьи офицеров и гражданское население. Ни одно государство не предоставило пристанища русскому флоту. Исключение составил самый северный порт Туниса — Бизерта. 14 февраля 1921 года головной корабль эскадры «Георгий Победоносец» бросил там якорь.

Последующие четыре года корабли стояли в бухте Каруба. Эмигранты жили на самом «Георгии Победоносце», где находились русская церковь, школа и лазарет, а также в морском корпусе и лагерях.

6 декабря. Афиша: «Народный Комиссариат Просвещения. Дворец искусств. Большой зал Консерватории (Большая Никитская). В понедельник 6-го декабря Россия в грозе и буре. Вступительное слово А. В. Луначарский. Выступят: Адалис, Андрей Белый, Валерий Брюсов, Ада Владимирова, Сергей Есенин, Рюрик Ивнев, Михаил Козырев, Иван Рукавишников, Борис Пастернак, Иван Новиков, Д. Туманный, И. Эренбург. Артисты: А. Коонен, Церетели прочтут произведения А. Блока, Вяч. Иванова, Н. Клюева и др. Начало в 8 вечера».

* * *

Деникин продержался в Симферополе меньше года и вынужден был передать командование войсками Врангелю. Единственный снимок Микеле-Михаила, который останется в

семье, был сделан в лучшей «фотографической мастерской» этого города. Строгое тонкое лицо с неулыбчивым взглядом. Суконная косоворотка. Из тех, что носили русские студенты. На обороте — даты пребывания в Крыму: 5 октября 1920-го — 4 ноября 1921-го.

В семье говорили: был под Перекопом. Подробности стерлись из памяти. Бои за Перекоп развернулись в ночь с 7 на 8 ноября. Турецкий вал. Юшуньская позиция. 12-го — штурм Чонгарских позиций.

Бегство Врангеля было настолько стремительным, что о сколько-нибудь полной эвакуации говорить не приходилось. К тому же Михаил лежал с обмороженными ногами: в Крыму стояли 10-градусные морозы. С постели ему удалось встать через год. Дальше путь мог лежать только на север. Получилось — в Москву.

Но записная книжечка с золотым обрезом, в потертом сафьяновом переплете (скорее всего, захваченная из дома) выдавала интерес к тому, что происходило в Италии: прорыв фронта германцами, австро-венгерское наступление, переправа через Пьяву, на которой стоит Беллуно… А сама Беллуно? Что сталось с домом у Нового моста? И дальше — названия улиц (в Беллуно?). Дорога в Витербо. Набросок крестьянского дома среди виноградников. Неуверенный. По памяти…

Все уходило в прошлое. Физически ощутимо, как «берега за кормой парохода», — скажет впоследствии Михаил Стефанович Белютин.

NB

1921 год. Январь. В. Ф. Ходасевич. Письмо из Петрограда.

«Живем в „Доме искусств“… По разу в месяц полагается на каждого ванна — нечто мраморное, наполненное горячей водой… Я до сих пор не добился перевода своего пайка и за все время получил из „Всемирной литературы“ 17 ф[унтов] муки, 7 ф[унтов] крупы да 17 ф[унтов] мяса. Это за два месяца! У меня даже карточки хлебной нет!.. Здесь делают шоколад из подсолнечной шелухи и без сахара. Горький меня угощал им».

Весной в Москве состоялся III Конгресс Коминтерна. Рабочим языком Коминтерна был немецкий. На немецком же для делегатов была поставлена в цирке на Цветном бульваре «Мистерия буфф» Владимира Маяковского. По словам переводчицы Риты Райт,

«спектакль шел в море разноцветных огней, заливавших арену то синей морской волной, то алым адским пламенем. Финальное действие развернулось в победный марш нечистых и парад всех участников спектакля под гром „Интернационала“, подхваченного всей многоязыкой аудиторией».

Август. Записи Андрея Белого о кончине А. А. Блока. Петроград.

«В 6 ½ часов состоялась панихида по Блоку… народу было не больше, чем вчера; несколько десятков человек: почти никого из литераторов… Павел Елисеевич Щеголев сказал мне: „Ведь вот можно было думать, что Блок жил в палатах; из скромной комнатки выселяли его; сколько ему приходилось бегать по исполкомам!“

Еще штрих: Щеголев вспоминал, что в эпоху германской революции Блок был полон еще воодушевления; еще в 1920 году (весной) он верил только в „революцию духа“, говоря, что только она смоет мещанство, съевшее революцию; она и будет революцией собственно; а с лета 1920 года он уже угрюмо вообще замолчал; и слово „революция“ не произносил».

20 октября. Ф. И. Шаляпин — дочери. Рига.

«…Мои русские компатриоты, убежавшие из родной страны в самое тяжелое для народа время, как озорные верблюды, брызжут грязными выделениями слизистых оболочек носа куда и как попало. Жалко мне этих бедных, убогих эмигрантиков. Никогда еще так ярко они не показывали мне свое ничтожество, и я думаю, Россия совершенно ничего не потеряла с уходом из нее этих чучел с большими животами и маленькими головками!»

Ноябрь. Максим Горький по настоянию Ленина уехал в Италию для поправки здоровья.

3 апреля на пленуме ЦК ВКП(б) была учреждена должность генерального секретаря партии. По рекомендации Льва Каменева на этот пост назначили И. Сталина.

Часть третья
С вождем

ИДЕЯ ШАРА —
это полнота нашей жизни,
в которой всегда
чего-то
не хватает.
Ободранную оболочку шара
мы всегда лихорадочно латаем
и никогда не успеваем
починить.
Водопад новых неприятностей,
криков
и боли
врывается в наш мир.
И так всю жизнь.
Даже считая последние минуты
своего пребывания на земле,
мы будем заделывать щели,
в которые станут рваться
наши несбывшиеся надежды,
яростные глупости
и жалкие оправдания.
И шар исчезнет вместе с нами,
оставив
печальное ощущение
никчемности
человеческой
жизни.

Элий Белютин.

Простые формы (1991)

Профессор Круг первым узнал об опасности. Со слов библиотекарши, «кто-то» заинтересовался студенткой, читавшей без словаря французские математические бюллетени. Быть как все — на мгновение Софья Стефановна явно забыла главный завет выживания. Оставалось как можно скорее подать заявление о добровольном отчислении из института. По семейным

обстоятельствам. Надо же было искать средства для содержания двух учащихся — дочери и ее мужа.

Карл Адольфович предложил единственный, по его разумению, достойный выход — работу в школе. Учителей не хватало. Не касаясь законченного заграничного образования, Софья Стефановна могла сослаться теперь на несколько курсов советского вуза. Оставалось пройти испытание по политическому минимуму и собеседование при Городском отделе народного образования по социальному происхождению и благонадежности.

Недавние владелицы частной женской гимназии, превратившиеся в рядовых советских учителей, сестры Бот были предупреждены Кругом и со своей стороны препятствий не чинили. Самой большой трудностью оставался ежедневный путь из Замоскворечья в Сокольники. Промерзшие трамваи, часами тащившиеся по такой же мерзлой Москве.

Оставаясь наедине с новой учительницей, сестры Бот подсказывали, как вести себя с методистами и проверяющими, вспоминали такие недавние посещения гимназии императрицей Александрой Федоровной — в дни празднования 300-летия царствования дома Романовых. Нарядных гимназисток. Уроки пения, танцев. Французский щебет на переменах. Сестры знали: их будут терпеть ровно столько, сколько понадобится, чтобы найти им замену. Их уже предупредили. Только для Софьи Стефановны подобная развязка наступила гораздо раньше.

Учительница начальных классов — много ли от нее требовалось?.. Умение читать, хотя бы и по слогам, держать в руках ручку, считать в пределах четырех правил арифметики. Софья Стефановна применяет неслыханный метод скоростного чтения, целыми предложениями и страницами, — и через считаные месяцы к ребятам приходит абсолютная грамотность. Она размышляет над принципами развития математического мышления — и простая арифметика превращается для всего класса в самый увлекательный предмет. Никаких троек, как исключение — четверки.

Бесконечные комиссии, державшие под наблюдением всех учителей, не могут опомниться от изумления. На уроках странной учительницы появляются дополнительные инспекторы. За дверями класса начинаются допросы учеников: что им говорят, что́ заставляют делать. Нет ли во всем этом «вражеского влияния», формализма или, не дай бог, еще какого-нибудь «изма». Остается как можно скорее исчезнуть из поля зрения Сокольнического районного отдела народного образования.

Снова заявление об уходе. Снова по собственному желанию и по семейным обстоятельствам. На этот раз помощь приходит от

доктора Юрасовского. Его коллега доктор Крюгер оставался школьным врачом бывшей частной женской львовской гимназии, которая принадлежала и в которой преподавали княжна Ольга и княгиня Софья Львовы.

Снова густые зимние сумерки — занятия начинались в половине девятого утра. Скользкие тропинки между стенами домов и выраставшими под крыши особнячков сугробами. Настырный звон трамваев, которых, к счастью, больше не приходилось дожидаться: бывшая гимназия находилась в соседнем Климентовском переулке. Закутанные в немыслимые одежонки дети. И песни год от года все более воинственные. О боях и победах. О ненавистных врагах и вражьей смерти.

На Дону и в Замостье
Тлеют белые кости,
Над костями шумят ветерки,
Помнят псы-атаманы,
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки!..

У Страны Советов пока было два врага: белогвардейцы и поляки. Все без исключения. Об этом уже говорили приглушенными голосами: «Товарищ Сталин не любит поляков». Даже в рамках Коммунистического интернационала. Зато любит песню. Одну-единственную. Грузинскую. Короткую, по обязательной учебной программе, школьники должны были знать назубок, — «Сулико». Петь ее полагалось истово, благоговейно:

Я могилу милой искал,
В поисках уйдя далеко,
Долго я томился и страдал,
Где же ты, моя Сулико?

Школьный возраст не был помехой, чтобы пережить ответ соловья: «Вечным сном здесь спит Сулико».

NB

1922 год. 20 декабря в Большой аудитории Политехнического музея в Москве В. Маяковский выступил с докладом «Что делает Берлин?», содержавшим резкую критику писателей-эмигрантов.

27 декабря там же В. Маяковский выступил с

докладом аналогичного содержания «Что делает Париж?».

30 декабря. Из речи С. М. Кирова на I Всесоюзном съезде Советов.

«…О нас много говорят, нас характеризуют тем, что мы с быстротой молнии стираем с лица земли дворцы банкиров, помещиков и царей. Это верно. Воздвигнем же на их месте новый дворец рабочих и трудящихся крестьян, соберем все, чем богаты советские страны, вложим все наше рабоче-крестьянское творчество в этот памятник и покажем нашим друзьям и недругам, что мы, „полуазиаты“, мы, на которых до сих пор продолжают смотреть сверху вниз, способны украшать грешную землю такими памятниками, которые нашим врагам и не снились…»

Идея Кирова привела к созданию проекта Дворца Советов, для сооружения которого решено было снести храм Христа Спасителя и предпринять перепланировку всего центра Москвы.

За чугунными воротами «Дома Ростовых» кипела своя жизнь. Каждый вечер вереница людей тянулась через узкую калитку, мимо плотно засыпанных снегом старых лип, к главному подъезду.

Широко распахнутые крылья низких флигелей. Низкая дверь, словно под колоннаду фасада. Несколько ступенек вниз — к навсегда закрытому гардеробу (кто бы стал раздеваться в промерзшем здании?). Поворот мраморной лестницы к нарядному, под сенью колонн, вестибюлю. Длинный, вытянутый вдоль Большой Никитской улицы зал. Разнобой невесть откуда и невесть как собранных стульев, табуреток, длинных скамей. Затянутая кумачом стена за фанерной трибуной.

Днем тоненькая цепочка пешеходов торила тропку к левому флигелю. Там уже год работал Литературный институт. Дверь былой привратницкой, справа от ворот, чавкала редко, натужно. Низкие комнатушки, светлее — со стороны Поварской, совсем темные — от двора, утонувшего в вековой сирени.

Тесный коридорчик ломался под непонятными углами. За хлипкими перегородками теснились железные койки под солдатскими одеялами. Под койками и на подоконниках громоздились книги. Ни в чем другом обитатели привратницкой не нуждались, никакого имущества не имели. Общежитие Литературного института принимало и просто начинающих

литераторов. Михаил Беллучи оказался одним из них.

Ему повезло. Рекомендательное письмо к Александру Воронскому решило многие вопросы, в том числе недостаточное знание русского языка. Умение и давнее желание писать на польском в период всеобщего увлечения Коминтерном становилось даже известным преимуществом. Литературные опыты на итальянском делали начинающего писателя и вовсе ценным приобретением.

Происхождение, пути в Москву — Воронский понимал, что в них вряд ли имеет смысл разбираться. Но он занимал такое положение, что мог подобную вольность допустить. Как-никак ему доверяли работу с «попутчиками», теми литераторами, которые еще «не встали на платформу большевизма». С ними собирались «работать» и даже переубеждать.

С июня 1921-го Воронский стал главным редактором первого так называемого толстого, литературно-художественного и научно-публицистического журнала «Красная новь». Сначала идеологическое руководство партии сочло главным второй раздел — в нем печатался даже Ленин. Но уже после первых двух номеров Воронский обратился собственно к литературе. И незаметно отстранил от руководства самого Максима Горького. Воронский начал собирать писателей, не разделявших пролетарских тенденций.

В литературном архиве Михаила сохранится расчерканная его рукой статья Воронского: «Пролетарского искусства сейчас нет и не может быть, пока перед нами стоит задача усвоения старого искусства и старой культуры. На деле есть вот что: есть буржуазная культура и искусство, к которым впервые получил доступ пролетариат. То, что называется пролетарским искусством, есть прежнее искусство, имеющее, однако, своеобразную целевую установку: быть полезным не буржуазии, а пролетариату».

И в другой статье: «Никакого пролетарского искусства в том смысле, в каком существует буржуазное искусство, у нас нет. Идеологическая окраска нисколько не изменяет положения дел и не дает права на принципиальные противопоставления этого искусства искусству прошлого как самобытной, отличной культурной ценности и силы; речь идет только о своеобразном приспособлении, на деле пока есть культура, наука, искусство прежних эпох».

Все эти положения сохраняли за художником право на не связанное никакими идеологическими путами творчество. И не только. Воронский признавал за ним право на романтическое восприятие мира, поскольку в основе каждого творчества лежит

интуитивное начало. Увидеть окружающую действительность, природу во всей ее непосредственности, как она раскрывается для князя Андрея в «Войне и мире», очень трудно.

Михаил записывает содержание одной из лекций Воронского по-польски: «Лишь как далекое, смутное сновидение человек хранит в памяти неиспорченные, подлинные образы мира… Он знает о них благодаря детству, юности, они открываются ему в особые, исключительные моменты, в периоды общественной жизни. Человек тоскует по этим действительным образам, он слагает о них саги, легенды, поет песни, сочиняет романы, повести, новеллы. Неподдельное, подлинное искусство, иногда сознательно, а чаще бессознательно, всегда стремилось к тому, чтобы восстановить, найти, открыть эти образы мира. В этом главный смысл искусства и его назначение…»

На Воронского сначала не обратили должного внимания идеологические комиссары. Тем не менее собственно «пролетарская» литература со всеми ее принципами, которые со временем лягут в основу социалистического реализма, входит в другие литературные группы. В 1922-м они создают журнал «Молодая гвардия», который 75 лет верой и правдой будет служить большевизму, и группу «Октябрь», ставшую издавать одноименный журнал.

Михаил, безусловно, не принимает «пролетариев», хотя многое не может до конца понять и в стремлениях Воронского. Одно верно: литература становится его жизнью, средой жизни, профессией. Он не отдает себе отчета, как втягивается в нее. Перспектива на будущее? В одной из записей есть ответ на непоставленный вопрос. Неужели никогда не будет краковских Сукенниц? Отца за дирижерским пультом? Виноградников над Пьяве?.. Литературой можно заниматься везде — так ли это?..

NB

1923 год. Март. Группа пролетарских писателей «Октябрь», «Молодая гвардия» и «Рабочая волна» провела свою первую московскую конференцию. Лозунгом собравшихся были стихи Александра Безыменского:

Только тот наших дней не мельче,
Только тот на нашем пути,
Кто умеет за каждой мелочью
Революцию мировую найти.

Повестью Ю. Либединского «Неделя» и рядом произведений других писателей созданная на

конференции Московская ассоциация пролетарских писателей противопоставляла себя противникам пролетарской литературы, группировавшимся вокруг А. Воронского.

Через несколько месяцев на основе МАПП была создана Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП), которая под лозунгом партийности художественного творчества и общего развития культурной революции вела беспощадную борьбу с «воронинщиной» и писателями-«попутчиками».

Лето. Из дневниковых записей Л. Д. Троцкого.

«Каменев рассказывал мне, как они втроем — Сталин, Каменев и Дзержинский — в Зубалове (на даче Сталина) вечером 1923 (или 1924?) года провели день в „задушевной беседе за вином“ (связала их открытая борьба против меня). После вина на балконе заговорили на сентиментальные темы о личных вкусах и пристрастиях, что-то в этом роде. Сталин сказал: „Самое лучшее наслаждение — наметить врага, подготовиться отомстить как следует, а потом пойти спать“».

Сколок «мирного времени» — в этом было все дело. Дубовые стулья с соломенными сиденьями вокруг раздвижного стола. Письменный стол с тумбами и бронзовым чернильным прибором — из кабинета Ивана Гавриловича. Два ковровых пуфика — из гостиной. Высокое зеркало в темной раме, с узеньким подзеркальником — из прихожей. На Королевской. Резной с наборным деревом шкаф — из гардеробной. Палас и вышитые руками Софьи Стефановны шерстяные подушки. Фисгармония… У каждой вещи своя легенда. Свое место в блеклых фотографиях плюшевого выцветшего альбома. Иногда казалось — не они служат обитателям двух крошечных смежных комнат. Это люди живут для того, чтобы оберегать их существование. Натирать воском. Стирать пыль. Передвигать по блестевшим полам.

Полы тоже были памятью об исчезнувшей жизни. Паркетные. Дубовые. Упрямо сохранявшие восковое свечение. Как и окна. Почти во всю стену. С мраморными подоконниками. Медными, в полную высоту шпингалетами и бронзовыми узорными ручками. По сравнению с этими особенностями остальные неудобства квартиры на Пятницкой просто не имели значения.

Сумеречный свет — от слишком близко стоящего соседнего дома. Чужая жизнь, заглядывавшая через все занавески. Русская печь на крохотной кухне. Еще меньшая прихожая. Поскольку не

было ванны, умываться приходилось у единственного крана на той же кухне, дверь из которой вела к соседям. Повсюду ютились несуразные антресоли. Чтобы не слишком явственно слышать чужие разговоры, стену пришлось превратить в сплошные книжные полки, поглощавшие назойливые шумы.

По-своему дом был необычным. Софья Стефановна называла его «Ноев ковчег». Бывшие владельцы построили его перед самым Октябрем и почему-то оформили на подставное лицо. Василий Константинович и Вера Ивановна Исаевы были владельцами большой ювелирной фирмы. Исаевская контора помещалась на Красной площади, в Верхних Торговых рядах, магазины — по всей России.

Сами они жили на той же Пятницкой, в построенном модным архитектором особняке с садом, ставшем резиденцией президента Академии наук СССР. Официальной. Предназначенной и для жизни, и для приемов: нередко у подъезда выстраивалась вереница еще редких в Москве машин, и горничная в белоснежном передничке и крахмальной наколке услужливо распахивала перед гостями массивную дверь с тяжелым бронзовым кольцом, которое держал в пасти лев.

Наверное, приемы у Исаевых обставлялись не менее торжественно, но первые же революционные перемены побудили хозяев бежать. Бежать так стремительно, что им пришлось оставить заболевшего скарлатиной первенца Котю на попечение матери Веры Ивановны. Казалось очевидным, что бабушка перешлет его через границу сразу по выздоровлении. Кто может задержать ребенка?!

Граница замкнулась почти мгновенно. О выезде Коти не могло быть и речи. Бабушка записала его материнскую фамилию и поселилась в «Ноевом ковчеге». Но это оказалось первой и последней удачей в его жизни. Кончить школу сыну «бывших», да к тому же эмигрантов, не довелось. Думать об институте тем более не приходилось — дай бог устроиться рабочим. Неквалифицированным — в профессии мальчику тоже было отказано. Они так и жили, прямо над комнатами Софьи Стефановны, — худая, с восковым лицом старуха в черном платке и высокий, всегда горбившийся мальчик с хмурым взглядом темных глаз.

Когда весь мир будет восторженно рассуждать об исчезновении (наконец-то!) железного занавеса и толпы советских журналистов заполнят Запад, Котя Исаев ни о какой встрече с родными не сможет даже мечтать. Спасибо, что удалось выбиться в монтеры, а там и в лаборанты в Институте физики Земли. Он знал: «политического отбора» ему не удастся пройти.

По каждому личному делу приговор выносился однажды и обжалованию не подлежал.

Рядом с родственниками былых домовладельцев ютился доцент кафедры русской литературы Московского университета, в недавнем прошлом сельский учитель — «выдвиженец». Безупречная социальная репутация давала возможность «выдвигаться» как угодно высоко. Владимир Иванович Сахаров отличался, по крайней мере, трудолюбием и пытался хоть как-то соответствовать выпавшей ему должности.

Этажом ниже квартиру делили рабочая с соседнего завода и рижский коммерсант Моисей Аралович, сумевший «списать», по его выражению, «социальную ущербность» на еврейское происхождение. Евреи пользовались безусловным преимуществом перед другими национальностями. И даже лихие советские общественники, проводившие дни и ночи в поисках крамолы, предпочитали обходить их стороной, чтобы не заслужить обвинения в антисемитизме.

Араловичи единственные в многоэтажном подъезде имели телефон, но охотно позволяли им пользоваться и звали к нему жильцов со всех этажей. Просто хозяйке надо было оставлять столько же, сколько стоило пользование муниципальным телефоном-автоматом. Все три дочери Араловичей имели высшее образование. Одна была известным хирургом в Институте скорой помощи имени Склифосовского, другая — инженером, третья работала в Коминтерне и имела дочь от одного из руководителей компартии Англии — Квелча.

Нина Квелч жила у бабушки с дедушкой на том же низком полусыром первом этаже, дверь в дверь с дирижером Большого театра. За дирижером приезжала перед спектаклями машина. Его прислуга выходила гулять с великолепным рыжим доберманом-пинчером — явление совершенно необычное, потому что остальные жившие в доме собаки и кошки носились по двору совершенно самостоятельно.

В окне дома напротив, как в аквариуме, было видно — балерина Большого театра тетя Наташа упрямо упражнялась у заменявшего ей станок стула. Этажом выше корпел над бумагами известный партийный журналист Борис Каменский. В толстых очках, полуслепой, он тесно подсаживался к окну, чтобы воспользоваться хоть каплей дневного света. Еще выше показывался время от времени «красный латыш», живший с женой и дочерью. Сам из какого-то отряда особого назначения. Милиционеры. Молотобоец. Сталевар. Зубной врач. Тихие черные старушки, оставшиеся с маленькими внуками. Инженер. Торговка…

И надо всеми «мадам Кочеткова» — общественница в перетертой рыжей кожанке, коротких сапогах и красной косынке с детьми, названными в честь немецких революционеров Либкнехта и Люксембург: Карл и Роза. «Мадам Кочеткова» имела обыкновение (поручение?) врываться во все квартиры, невзначай распахивать без стука двери в комнаты, заглядывать на кухни. За ее зычным голосом могло последовать любое несчастье. Сочувствия и снисхождения она не знала. Пользовалась полным доверием властей.

NB

1923 год. На Соловецких островах, в Белом море, основан СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения. Плакат на пристани, куда доставлялись заключенные: «Железной рукой загоним человечество к счастью».

При журнале «Красная новь» образована литературная группа «Перевал».

Октябрь. В ЦК КПСС поступило письмо группы коммунистов — «Заявление 46»:

«Режим, установившийся в партии, совершенно нетерпим. Он убивает самодеятельность партии, подменяя партию подобранным чиновничьим аппаратом… Создавшееся положение объясняется тем, что объективно сложившийся после X съезда режим фракционной диктатуры внутри партии изжил самого себя».

Авторы письма обвиняли руководителей партии в потере связи с остальными ее членами, в проведении политики, гибельной для страны, и предлагали немедленно созвать расширенное заседание ЦК.

Созванный объединенный пленум ЦК и ЦКК объявил авторов письма фракционерами и обвинил, вместе с Троцким, в раскольнической деятельности.

Борьба. Конечно, борьба. Она нарастала день ото дня. Вскипала на бесчисленных дискуссиях и обсуждениях в программе литературных вечеров. Все становилось очевидным: творчество или агитационное мастерство (ремесло?), реальные человеческие мысли, ощущения или программа воспитания, разъяснения, убеждения.

Воспитания — без знания человеческой натуры, смысла культуры и причин существования искусства. Разъяснения —

того, что не было известно самим агитаторам, вера на слово. И по социальному признаку. Вера в вождей, которая не могла сравниться с религией, — приказная, ничем не обоснованная. Главное — слепая. Главное — не утруждающая рассудка и совести. Эдакие внечеловеческие права попрания любой морали.

Наконец, убеждения — в том, что так легче и проще жить, действовать. И — получать поощрения. Не овладев азами грамоты, становиться рабкором, перед которым бессильным оказывался любой интеллигент. Не прочтя ни одной книги, превращаться в писателя. Издаваемого. Одобряемого — на словах и страницах газет.

Деньги? Преимущественные условия существования? Нет, не это представлялось главным. Не только это. Власть! Сознание своей ни с того ни с сего возникшей влиятельности, силы, возможности в конечном счете вершить человеческие судьбы.

Они поймут это позже: выигрыш был невозможен. Через несколько лет. А пока еще ведь не было прямого окрика, насилия, угрозы уничтожения. В борьбе всегда остается надежда. Казалось, что могли выдвинуть собранные по заводам и фабрикам полуграмотные мапповцы против теории и концепции А. Воронского? Недаром рядом с ними остаются Михаил Пришвин, Андрей Платонов, Андрей Малышкин, Иван Катаев, Николай Зарудин, Петр Ширяев, десятки и десятки других профессионалов.

Достаточно Воронскому создать при своем журнале писательскую артель «Круг», как в нее войдут Борис Пастернак, Всеволод Иванов, Лидия Сейфуллина, Илья Эренбург, Борис Пильняк, Евгений Замятин, Константин Федин, Илья Сельвинский. Никто из них не сомневался в его словах: «Есть огромные, таинственные, пока мало исследованные области человеческого духа, в них, как в морских пучинах, таится своя, неприметная для взора, могучая жизнь; по временам эта жизнь прорывается, показывается на поверхности человеческого сознания, и тогда человек совершает поступки, какие он никогда не совершал, тогда неожиданно меняется обычный строй его мыслей и чувств, его характер, отношение к окружающему».

На языке политической практики это означало, что любая идеология способна подавлять, но не руководить сознанием художника и творческим процессом. «Классовое познание мира», на котором зиждилась так называемая философия пролетарских писателей, становилось бессмыслицей, безусловно противопоказанной тем, кто хочет и способен создавать подлинное искусство.

Михаил Беллучи сам не мог понять, как в пылу

непрекращающихся споров, издательских дел, молодой профессиональной запальчивости обратил внимание на девушку в стареньком гимназическом платье с узеньким кружевным воротничком. То ли из-за огромных внимательных глаз. Почти сурового — как у его собственных сестер — взгляда. То ли из-за черных длинных кос и сошедшихся на переносье широких бровей. Они с подругой приходили во Дворец искусств едва ли не первыми и уходили последними, сторонясь общего шума и суеты.

Протискиваясь по проходу, около которого она сидела, Михаил помог надеть девушке сложенную на коленях синюю шубку с каракулем. В другой раз прошел вместе до ворот и простился, прежде чем исчезнуть за дверью своего общежития. Потом была соседняя трамвайная остановка. И, наконец, долгий путь в Сокольники.

Тесный переулок среди заснеженных лип. Просторный двор. Обледеневшие ступеньки крыльца. Немолодая женщина у стола с самоваром. Что-то бесконечно близкое в стенах чужой комнаты. Память подсказала: театр! Фотографии актеров в ролях, на фоне декораций, с размашистыми надписями через весь снимок. Как у отца. В их доме. В Кракове.

Ноты на открытом пианино. Кажется, Шуберт. Томики книг повсюду. Книга на скатерти перед хозяйкой. Тарелочки с нехитрым угощением. Баранки. Комочек масла. Мармелад. «Морковный», — улыбается хозяйка. Озабоченный вопрос: не голоден ли? Может, налить супа — остался на плите? Положить картошки — тоже немножко есть? И пусть не думает — это им не в ущерб, а в радость.

И несколько картин на стенах. Превосходных. Итальянской школы. Заставивших вспомнить Беллуно.

Они поженились через месяц. Лидии не было положенных восемнадцати — возраст, назначенный для заключения брака в Стране Советов. Помогла работавшая в загсе подружка. Лидия и правда смотрелась моложе своего возраста, но она уже несколько лет работала и даже была членом профсоюза. Профсоюзный билет позволил усыпить бдительность местного начальства. Через год у супругов родилась дочь. Анечка. Аннушка. Анеля. Названная в честь матери Михаила.

NB

1924 год. 21 января И. В. Сталин телеграфировал в Москву:

«Передать т. Троцкому. 21 января в 6 час. 50 мин. скоропостижно скончался тов. Ленин. Смерть последовала от паралича дыхательного центра.

Похороны субботу 26 января. Сталин».
(Троцкий на похороны не приехал.)

Загадка, которую не представлялось возможным решить…

Тридцатиградусный мороз. Острый, секущий лица ледяной крупой ветер. Окоченевшие дома. Закутанные кто во что окоченевшие люди. Костры на нечищеных улицах. Костры из заборов, книг, мебели. И часы ожидания в нескончаемой очереди. К Охотному Ряду. К Колонному залу.

Чтобы хоть на мгновение, хоть краем глаза увидеть ЕГО. Непременно самому увидеть. Пусть ценой обмороженных рук и ног. Сердечных приступов. Тяжелых голодных обмороков.

И потом вернуться в свои коммуналки, подвалы, к жалкому пайку и старым лохмотьям, которые — кто знает, когда?! — удастся обновить. Без работы. С регистрациями на бирже труда. Под перекрестным досмотром всех видов властей. С безысходной неизбежностью утверждать и подтверждать собственную лояльность и скрывать социальную несовместимость.

Новая экономическая политика (нэп) просуществовала недолго и коснулась немногих. Кому было легче от роскошных лихачей и дорогих автомобилей, мчавшихся к ресторанам с цыганскими хорами и астрономическими ценами. К заводским столовым и пресловутым фабрикам-кухням, где выдавались обеды из нескольких блюд на всю семью, это отношения не имело.

Все так. Но людской поток тянулся изо дня в день. Внизу кто-то плакал. Безутешно. Навзрыд. Наверху — делили власть. Софья Стефановна видела разгадку именно в ней. Чудо-человека, оторванного от государства и страны. Почти двадцать лет проведшего в эмиграции. Освоившего жизнь только в параметрах публичных библиотек. Никогда не зарабатывавшего на жизнь собственным трудом. Не имевшего обыкновенной семьи и простых человеческих забот. Не имевшего и партии — что значили несколько десятков таких же пребывавших во взвешенном состоянии постоянной эмиграции человек?! Зато сумевшего по мановению руки развалить Российскую империю, отвергнуть веками складывавшиеся представления о человеческих и моральных ценностях. Залившего благополучную, процветающую страну морями крови, мгновенно обездолившего и лишившего надежды на будущее миллионы людей. Создавшего невиданные по размаху и жестокости концентрационные лагеря.

Да, в этом было чудо. И сила. Невиданная и неслыханная сила, прикоснуться к которой требовало рабское сознание. Чехов писал, что даже он всю жизнь, капля за каплей ВЫДАВЛИВАЛ из

себя раба. Но ведь у Чехова это была потребность, а остальные спокойно переходили от одного владыки к другому. От слабого к могущественному. При Николае II бунтовали, вынуждали власть идти на уступки, а теперь — полное повиновение. Египетская правовая формула: «Раб — это тот, которого следовало убить, но который остался жить» воплотилась в советской действительности сразу. Как будто ее только и ждали. О ней мечтали. И к ней готовились.

У квартиры на Пятницкой были свои преимущества. Никто из ее обитателей в те дни не вышел на улицы. Не мерз в очередях. Единственными соседями по коммуналке была семья Пóляк-Пигулевских. Юрий Маркович Пóляк еще до Октября отбывал ссылку в Сибири. Его жена Тамара Даниловна была дочерью тульского вице-губернатора. Сочетание невероятное, если бы не революция.

Даниил Пигулевский с семьей решил искать убежище в Сибири. Он умер в дороге. Дочь в Чите вышла замуж за ссыльного, который стал членом правительства Дальневосточной республики — министром финансов. В ноябре 1922 года ДВР перестала существовать. Спустя месяц семья вместе с сыном Михаилом и тещей переехала в Москву и поселилась в двух крохотных комнатенках с входом из кухни. Тамара Даниловна стала крестной матерью родившейся у соседей внучки Софьи Стефановны.

Это значило, что в квартире можно было себя чувствовать относительно свободно. Женщины отмечали все запрещенные церковные праздники. При тщательно закрытой двери на лестницу и завешенных окнах убирали комнаты, пекли куличи, терли пасхи, запекали в ржаном тесте окорок. Никто и теперь не обсуждал происходившего. Просто не принимали участия в «великом горе». Просто молчали.

Про себя недоумевали: кладбище в центре города.

На главной площади. Еще недавно торговой. Сначала огромная братская могила — ров для убитых в боях в ноябре 1917 года. Теперь мавзолей для НЕГО. Деревянный. Отделанный черным дубом и медью. Мавзолей был готов к 27 января — дню его похорон. Партийный культ получил материальное воплощение.

NB

СПОР О МАВЗОЛЕЕ

1999 год. Красная площадь. Разрушившийся Исторический музей («Были бы деньги, в два счета восстановим!»). Даже на фантастически роскошном

праздновании выдуманной даты — 850-летия Москвы — экспозицию удалось сделать в девяти из пятидесяти с лишним залах.

Возведенный заново (не восстановленный!) Казанский собор, посвященный избавлению Москвы от шведско-польских «интервентов» (факт, что королевич Владислав был приглашен на русский престол Боярской думой, не принято вспоминать). На месте, где когда-то существовал храм, в советское время поставили общественный туалет.

Построенные заново Воскресенские ворота Китай-города и Иверская часовня.

Громада давно ждущих ремонта Верхних Торговых рядов.

Погост вдоль Кремлевской стены. Существующий 80 лет. Переполненный. Чуть заслоненный Мавзолеем. Почетные захоронения в Кремлевской стене. Самые почетные — в земле, рядом с Мавзолеем. И гробницей Сталина.

Трибуны. В окружении покойников. И главная трибуна страны, а еще недавно всего коммунистического мира. Те, кто удостаивался, стояли в праздничные дни на прахе главного вождя — большего почета не существовало.

Сегодня… Единственный в своем роде театр под открытым небом. У музея — зрительские места. У Покровского собора — исполнители.

Во время Казанского похода Ивана Грозного каждая победа русского войска отмечалась сооружением деревянной церковки-однодневки. В благодарность Богу. И в память погибших. Когда поход завершился полной победой, деревянный городок заменили одним собором с таким же числом церковок-приделов. Девятую достроили над могилой московского юродивого — Василия Блаженного.

Принять на себя подвиг юродства значило отказаться от крова, одежды, пищи. Ради права и возможности говорить правду. Всем. И прежде всего самодержцам. Иван Грозный на коленях выслушивал обличения Василия Блаженного. Плакал от ужаса над собственными грехами. И — возвращался к пыткам и казням. Зато сам хоронил юродивого. Народ… Народ назвал Покровский собор собором Василия Блаженного. Недосягаемого в своем нравственном подвиге.

Мощи святых сохранялись нетленными. Мумию вождя семьдесят с лишним лет отчаянными усилиями поддерживает специальный институт. На ней защищают научные диссертации. Обеспечивают себе вольготную жизнь. Что дальше? Хоронить — не хоронить.

Если да, то где? В Петербурге или Симбирске? В момент кончины никаких разговоров о завещании, последней воле, желании лежать рядом с матерью не существовало. Сегодня смысл в другом: борьба с символом и борьба за символ.

Позволить ли сохранять надежду на некую единую общечеловеческую справедливость, отблеск которой, кажется, промелькнул перед глазами? Были же бесплатные школы и институты, больницы и квартиры и многое, многое другое. А судьбы тех, кто попал под колеса режима, это же не наши судьбы!

Или уничтожить всякие иллюзии? То и другое силой. То и другое немедленно. Чтобы не вступать в дискуссии, не доказывать. Принцип силы всегда представлялся единственно верным и целесообразным.

Это с мумией. Сам Мавзолей разобрать. Уничтожить. Голоса спорящих не просто делятся пополам. Год от года число сторонников несостоявшейся мечты сокращается. Но — тех, кто уходит из жизни, заменяют молодые. Господство доллара нужно не каждому.

Первое письмо отца нашло Михаила чудом во 2-м Красносельском переулке. Измятый, захватанный конверт, разделенный пополам вертикалью: слева польские буквы, справа русские. На обороте: Краков. Та же улица. Тот же отцовский бисерный почерк.

Жив! Главное — жив! Женат? Спасибо Лидии за первую внучку. Если получит ответ, тут же вышлет подарок. Из семейных реликвий. Подумать только! А газеты пишут, что в России…

Михаил не откладывал ответа ни на один день. Отец должен знать: Анельки нет. Дизентерия. Отсутствие лекарств. Только бы не высылал подарка. Обстоятельства жизни? Перспективы? Ни на один вопрос не существовало очевидного ответа. Хотя по-своему новая жизнь увлекала.

Вместо былых театральных знакомых в гриневском доме стали появляться писатели. Мария Никитична достаточно оправилась, чтобы вести дом. Со стола не сходил большой самовар. Вместо чая заваривались всякого рода листья. Вместо сахара обходились сахарином. С черным ржаным хлебом он

казался вкуснее пирожных. Из подмороженной картошки получались совершенно особенные лепешки. Изредка — привезенные кем-то с Украины кусочки сала, стоившие целого пиршества.

Вечерами без перерыва хлопала входная дверь. Кто-то раздевался в прихожей. Грел у высокой кафельной печки руки. Подсаживался к столу. Рассказывал. Читал странички, вытащенные из внутреннего кармана пиджака или старой шинели.

После неловкого минутного молчания вспыхивал разговор. Оживленный. Часто резкий. Иногда поднимавшийся до высоких тонов. Мария Никитична умела всех примирить. Вовремя пододвинуть чашку дымящегося чая. Того лучше — повторить на память десяток только что услышанных строк.

Оторопевшие спорщики притихали. Голос звучал ровно. Задумчиво. Как мысли вслух. И непременные слова: «А ведь хорошо…» Можно было верить или не верить, но успокоение приходило. Наступал «мир в душе», как говорил Рюрик Ивнев.

Даже Лидии Ивановне было трудно запомнить всех, кто приходил к Михаилу. Рюрик Ивнев, по-настоящему Михаил Ковалев, тот самый, что вместе с Александром Блоком и Владимиром Маяковским в первые дни революции предложил партийным вождям свои возможности поэта. И разочаровался в собственном порыве. Среди бумаг семейного архива сохранились написанные его рукой строки:

Окаменелые законы руша,
С традиций чопорных сорвать печать.
Смотреть в глаза, биенье сердца слушать
И руки теплые в своих руках держать…

Несколько раз мелькнул Маяковский — слишком большой и громкий. Стихов он не читал. О чем-то толковал с Воронским, оставлявшим раз от раза все больше бумаг в их доме.

Непросто все складывалось в «Круге». О «Красной нови» все чаще говорили в партийной печати. Только отрицательно. Казалось, после смерти Ленина отпустили какие-то тормоза. «Классовые» оценки вместо полемической остроты приобрели чисто политическую агрессивность. В записных книжках Михаила появлялось все больше недоуменных вопросов.

Сознание и интуиция. Интуиция, как представляется, не поспевает за временем. Это в гораздо большей степени доступно разуму. «Интуитивно проникнуться духом трудней, чем усвоить его рассудком. Для этого нужно вжиться сердцем и помыслом

войти в новую общественность». Таким путем художник приходит к истине, которая сама по себе не может быть «классовой».

«Классовое задание» навязывается писателю извне и неизбежно толкает на искажение действительности. Отсюда появление «псевдонауки и псевдоискусства», объективно бесполезных или просто вредных для людей. Сравнение — «огромный маховик без приводного ремня: завораживающее движение, размах и никакой человеческой пользы».

Конечно, это не были собрания «Перевала». Просто встречи. Вдалеке от недоброжелательных наблюдателей, слишком чутких ушей. Добраться до Верхней Красносельской, найти в паутине переулков затерявшийся в буйной зелени или в непролазных сугробах дом… Мария Никитична подшучивала над зятем, что он безнадежно запутался между гарибальдийцами и польскими повстанцами и не искать всеобщей справедливости просто не мог.

NB

1924 год. 19 декабря. Ф. И. Шаляпин — дочери. Миннеаполис. США.

«Новостей здесь в Америке особенно нет никаких, если не считать недавнего фарса — приезда в Нью-Йорк новой русской царицы, жены великого князя Кирилла, которую здесь похоронили, кажется, навсегда.

Что это за чертовщина! Какая-то несовместимая глупость — пора бы им всем заткнуться, а они тут разъезжают на посмешище. Ну и идиоты же эти цари и царицы! Впрочем, это выходит хорошо, потому что народу делается все яснее и яснее, что это за цацы…»

Время размышлений… Тем, кто в те годы жил, оно таким не представлялось. Скорее — временем действий. Но к теории и ее выводам обращались все. Развлечение сытых? Наоборот — недоумение разочарованных и голодных. Складывавшаяся из поколения в поколение теория, философские рассуждения, ставшие символом веры, ничем не оправдывались в реальности. Понять было необходимо, чтобы жить. Как человеку. Одному это становилось делать трудно, вместе собираться не стоило. Без формальных причин.

Церковные праздники отпали сразу. Тем более именины. Оставались «пролетарские торжества» — Май и Октябрь. Оглушающий рев репродукторов на уличных столбах. Обязательное участие в демонстрациях — собирались по спискам ни свет ни заря. Часами выстаивали в медленно двигавшихся по городу колоннах. Окоченевали до синевы — нарядные платья и легкие туфли у женщин независимо от погоды. Пели — на

каждом перекрестке располагались духовые оркестры или, по крайней мере, лихие баянисты-затейники. Плясали — ответственные за колонну каждого учреждения отвечали и за праздничный восторг, в котором следовало пребывать. Тащили на себе транспаранты, огромные, из ярко раскрашенных стружек, цветы.

Портреты вождей — членов Политбюро доставлялись на грузовиках и разбирались по рукам ближе к заветной Красной площади. После прохождения перед Мавзолеем портреты бережно грузились на те же машины — пренебрежение к ним было равносильно пренебрежению к тем, кто на них изображен.

Старательно собирались и транспаранты — выведенные на них слова партии были святы. Недаром за несколько дней до праздника все газеты опубликовали утвержденные самим Центральным Комитетом лозунги, по которым привычно угадывались некоторые (мельчайшие! измеряемые микронами!) изменения линии партии. Главным образом в международной политике (кто враг, кто друг), в вопросах культуры, в отношении к инженерно-технической интеллигенции (насколько допускается ее существование около настоящего пролетариата). Какой культуре быть, что утверждать, кого беспощадно разоблачать. Шаг вправо, шаг влево был равносилен побегу заключенного с выстрелами охраны на поражение.

Надрывались громкоговорители. Надрывались на трибунах Красной площади и в колоннах штатные «оратели», выкрикивавшие в мегафоны те же газетные лозунги, после которых «трудящиеся» хором вопили «ура!». Дикторы радио совершенно особенными, натужно восторженными, на грани слезного фонтана голосами повествовали о событиях на главной площади страны. С началом «перестройки» все они получат звания народных артистов Советского Союза и станут выступать по телевидению и в печати с прочувствованными воспоминаниями.

«Массы» надо было взвинчивать, доводить до кондиции партийно-патриотического восторга, ощущения причастности к неким, не во всем вразумительным, зато всеобщим и грандиозным событиям. Идея Сталина о винтиках в огромной государственной машине срабатывала безотказно, почему-то никого не задевая и не оскорбляя. Философия и психология толпы — партия никогда не упускала их из виду. Но главное — в толпе не могло сохраняться личностей.

Окончание демонстрации завершалось в домах праздничными столами. В каждом доме. В каждой семье. За этим тоже было кому проследить. Заранее пеклись пироги.

Намешивались кастрюли непременно кисло пахнущего винегрета. Выставлялись бутылки водки. Можно было не сводить концы с концами каждый день, но уж в свой — пролетарский день гулять до упаду.

Целые семьи в распахнутых пальто, с непременными красными отметинами в петлицах или на рукавах отправлялись друг к другу в гости. Из окон неслись песни. Сначала про «белых панов» и дальневосточные победы. Потом про Стеньку Разина с персидской княжной, про утес на Волге, про бродягу, который Байкал переехал… А уж пляски — с распахнутыми окнами, грохотом каблуков, женским визгом, — то «Цыганочка», то «Яблочко» с присядкой, то кадриль…

По вечерам драки во дворе. На кухнях груды грязной посуды. Загаженные скатерти. Разбитые табуретки. Время от времени приезд милиции или «скорой помощи».

NB

1925 год. Постановление ЦК ВКП(б) «О политике партии в области художественной литературы»:

«Высшая мера политической четкости, партийности и глубокая убежденность в победе социалистического строя — необходимые качества подлинно пролетарского писателя. Он сознательно делает свое творчество средством защиты завоеваний революции, раскрывает всемирно-историческое ее значение на показе существующих сторон общественной практики, предельно углубляет критику прошлого и его пережитков в современности. В сознании пролетарских писателей партия воспитывает ответственность за судьбы развития литературы в целом, партийное отношение к своей отрасли труда».

Осуждены позиции Троцкого — Воронского в вопросах пролетарской культуры и любые формы литературного «сектантства».

В состав руководителей РАПП входили Авербах, Киршон, Юрий Либединский, Александр Фадеев, Владимир Ермилов, Панферов.

Начал издаваться журнал «Новый мир», имевший целью объединить сумевших уже заявить о себе советских по идейным установкам писателей. Редактор А. В. Луначарский. Издатель — «Известия ЦИК СССР и

ВЦИК».

Создано объединение революционных композиторов и музыкальных деятелей — ОРКИМД.

Из воспоминаний Л. И. Беллучи-Гриневой. 1923–1925.

«Постоянными нашими гостями были „перевальцы“. Угощения почти никакого — один самовар. Дом был старый, одноэтажный, и на кухне для него вытяжка. Сергей Есенин — он тоже бывал у нас — очень любил, когда самовар пел. Мама начинала волноваться, вспоминать плохие приметы, а он смеялся и говорил, что без пения не получается настоящего чаепития.

Была в Сергее Александровиче удивительная ловкость и непринужденность. Все, что он делал — подвинет за спинку венский стул, возьмет из рук чашку, откроет книгу (обязательно просматривал все, что было в комнате), — получалось ладно. Можно бы сказать — пластично, но ему это слово не подходило.

Ладный он был и в том, как одевался, как носил любую одежду. Никогда одежда его не стесняла, а между тем было заметно, что она ему не безразлична. И за модой он следил, насколько в те года это получалось. Особенно запомнилось его дымчатое кепи. Надевал он его внимательно, мог лишний раз сдунуть пылинку. Мне этот жест всегда потом вспоминался в связи со строкой: „Я иду долиной, на затылке кепи…“

Читали у нас свои произведения многие, читал и Сергей Есенин. Ото всех поэтов его отличала необычная сегодня, я бы сказала, артистическая манера чтения. Он не подчеркивал ритмической основы или мысли. Каждое его стихотворение было как зарисовка настроения. Никогда два раза он не читал одинаково. Он всегда раскрывался в чтении сегодняшний, сиюминутный, когда бы ни было написано стихотворение. Помню, после чтения „Черного человека“ у меня вырвалось: „Страшно“. Все на меня оглянулись с укоризной, а Сергей Александрович помолчал и откликнулся, как на собственные мысли: „Да, страшно“. Он стоял и смотрел в замерзшее окно…

А вот строка „Голова моя машет ушами“ так и осталась жить в нашем доме. Сколько лет пережила, и все поколения ее повторяют… Это было одно из первых

чтений, как сказал Сергей Александрович. Он в тот раз и фотографию мне свою подарил с такой доброй надписью…

Меня всегда удивляла и трогала та бережная почтительность, с которой Сергей Александрович обращался к моей маме. Мама не была очень старым человеком — ей подходило к шестидесяти. Она недавно пережила тяжелую испанку, сильно поседела, и особенно исхудали у нее руки с длинными тонкими пальцами.

Когда мама входила в комнату, Сергей Александрович первым вскакивал и старался чем-нибудь ей услужить: подвинуть стул, поддержать пуховой платок, поправить завернувшийся уголок скатерти. А когда мама протягивала ему руку, Сергей Александрович брал ее, как хрупкую вещь, — обеими руками и осторожно целовал. Было видно, его до слез умиляло, что мама знала множество его стихов и начинала читать с любой их строчки. Мама вообще очень любила поэзию, но больше всех Лермонтова и Есенина. Я помню, как она радовалась, когда мой муж сказал, что у нас сегодня будет Есенин.

Мне всегда казалось, что мама видит в Сергее Александровиче больше, чем все мы. Она так о нем и говорила: „Светлый человек“. И что у него „колдовской язык“. Мама сказала как-то за чаем Сергею Александровичу, что слова у него обыкновенные, а звучат как заговор. Сергей Александрович внимательно посмотрел на маму, а потом рассмеялся и сказал: „Это как ручей журчит, Мария Никитична?“ — „Под кладкой“, — сказала мама, и оба начали смеяться».

Внук! Мария Никитична сказала, что будет заниматься им сама. Слишком трудно для всех ушла из жизни Анелька. А тут мальчик. Элигиуш…

Имя было выбрано только тогда, когда он появился на свет — в семье боялись загадывать. И самим Михаилом. Как воспоминание о Кракове. Там этого святого почитали — просветителя Фландрии, золотых дел мастера, пришедшего в VI веке в Париж и быстро достигшего большого влияния при дворе короля Дагоберта. Благодаря этому Элигиушу (в польском начертании) — Элигию удавалось поддерживать монастыри, церкви, бедных. Смерть царственного покровителя означала для него необходимость принять духовное звание и вскоре стать епископом Найонским. Это ему приписывались слова: «Не

полагайся на надежду, полагайся на собственные силы, и они удвоятся».

Все подробности остались в записных книжках Михаила. Он давно собирался написать рассказ о Найонском епископе. Дед из Кракова согласился с сыном: святой ремесленник — всегда хорошо. В Москву со случайной оказией поехала семейная реликвия Беллучи — картина неизвестного итальянского мастера рубежа XV–XVI веков «Святое семейство с Иоанном Крестителем».

Юная мать в роскошных одеждах на фоне темно-вишневого бархатного занавеса. Тяжело задумавшийся старик Иосиф под зыбкой листвой растущего за его спиной дерева. Младенец в ореоле золотых волос, берущий ягоду из чаши, которую ему подносит подросток Иоанн. И то, что итальянские мастера делали крайне редко, — длинный тонкий крест в левой руке Иисуса.

Михаил сразу заинтересовался коллекцией Гринева: «Святое семейство» казалось благословением на продолжение прерванного смертью Ивана Егоровича дела. Картин кругом продавалось множество. Люди нищали на глазах. Цены были самыми ничтожными. Как, впрочем, и собственные заработки. Чем-то приходилось поступаться.

Первая книжка Михаила вышла перед самым рождением Элигиуша. Выдержанные в духе позднего польского романтизма небольшие рассказы о крымских событиях. В переводе блестяще знавшего оба языка Сигизмунда Кржижановского.

Отдельные подробности касались пребывания в Крыму вдовствующей императрицы Марии Федоровны с родственниками, заточенных в поместье Дюльбер, — она уехала из Ялты пароходом в апреле 1919-го. И младшей ее дочери Ольги. В прошлом принцессы Ольденбургской. Сестры милосердия в прифронтовых госпиталях. С 1916-го жены бывшего адъютанта принца — Николая Куликовского. Последнее время Куликовский воевал в Карпатах, через Львов добрался до Киева, где супруги обвенчались. Куликовские не были причислены революционными матросами к царской семье, избежали заключения в Дюльбере и отправились из Ялты в Новороссийск. «Последний день Помпеи, но какой-то тихий. Внутри человека», — отзывался о рассказах Михаила впоследствии Кржижановский. Он не взялся бы за перевод того, что не имело в его глазах литературной ценности.

Книжку отмечали за чайным столом, и о ней почти сразу забыли за разговорами о переменах. На первый взгляд незаметных, происходивших исподволь и тем более опасных.

Вспоминались слова Ленина, сказанные еще в 1922 году: «Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры (хотя никто не может сказать, каков этот определенный

„уровень культуры“), почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя двинуться дальше догонять другие народы».

Воронский чувствовал опасность. Идея ускоренного развития культуры (значит, не органический процесс!). Завоевание революционных предпосылок — военная терминология предполагала казарменный распорядок и насилие над писателем или художником. Социально-политическая база культуры!

Запись в книжке Михаила: «Х сказал: вступаем в область потемкинских деревень. Пусть дохнет скот и люди — важен вид из окна императорской кареты». Обозначение «Х» говорило о многом: имена становились опасными. Былые цензурные гонения начинали казаться детскими играми. Только теперь каждое слово могло стать приговором по уголовно-политическому делу. Но сознание этого придет позже.

В гриневском доме появились и новые лица, почему-то связанные с РАППом. Среди них Юрий Либединский. Речь шла о «единении усилий», «взаимопонимании», «откровенности, без которой невозможна никакая литература, тем более сегодняшнего дня». Но в газетах впервые замелькало понятие «воронинщина».

Все чаще приходили от отца письма. Он настаивал на возвращении Михаила. Теперь уже в самостоятельную Польшу. Паоло Стефано не приходило в голову, что внук Элигиуш был гражданином Советского государства. Только при достижении совершеннолетия вопрос о подданстве мог быть поставлен иначе. Расти ему предстояло в СССР.

NB

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Первым известие пришло в кинотеатр на Арбатской площади. Шла премьера фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Кто-то встал перед экраном: «Погиб Есенин. В Ленинграде». Все обратили внимание — «погиб». Не покончил с собой. Потому что такой исход никого бы не убедил. Просто расстаться с жизнью? По собственной воле?

Потом на соседнем, Никитском бульваре на ограде бывшего особняка — Дома печати протянулось полотнище: «Здесь Москва прощается с Есениным». Просто горе? Лица товарищей говорили о чем-то ином. Гроб на руках пронесли по бульварам до памятника

Пушкину. Обошли бронзового поэта и двинулись на Ваганьковское кладбище.

Печать не скупилась на подробности. Пожалуй, была слишком многословной. Пьянки. Дурное общество. Сомнительные знакомства. Невнимание близких. И — чернила. Их не оказалось в номере гостиницы «Англетер». На Исаакиевской площади. Маяковский поставил официальную планку: «У народа, у языкотворца умер звонкий забулдыга-подмастерье». Всего-навсего. Хотя в таланте и не откажешь. Поставил именно потому, что люди думали иначе…

Мелочи. Но они-то запоминались. Настроение — в канун случившегося. Слова о тенях, которые не оставляют. О нарастающей тревоге. Уезжал из Москвы, надеясь с ней справиться. Вышло наоборот. Но что? Никто не спросил? Или знал и сохранил в тайне. Ради, как казалось, собственной безопасности. Слова Марии Никитичны: «Да он ведь жизнь во всех оттенках чувствовал. Так любил…»

Спустя полвека Юрий Юшкин, заведовавший отделом редакции газеты «Литературная Россия», выложил на стол огромные фотографии. Голова поэта. Огнестрельная рана в висок. Необычная триангуляционная линия на шее. Для врачей — говорил и с ними — типичная. Если появилась после смерти.

Юшкин собирал сведения о смерти. По крупицам. Официальная комиссия по наследству Есенина разразилась погромным материалом: нет поводов для сомнений — самоубийство и ничего кроме! Вскоре Юшкина не оказалось в редакции.

Дальше — поспешный снос здания гостиницы на Исаакиевской площади. Несмотря на массовые пикеты, круглосуточные дежурства горожан, транспаранты с призывами «отстоять», письма во все адреса с тысячами подписей. Власти боролись с домами, как с живыми. Победили. Никаких следов. Никакой возможности доследования.

Юшкин и Молева пытались сохранить последнюю московскую квартиру Есенина в Померанцевом переулке, в доме внучки Льва Толстого, из которого он направился на тогдашний Ленинградский вокзал.

В прихожей неуклюжая деревянная коробка допотопного телефонного аппарата. Массивный, один из первых, электрический звонок. Тяжелая дубовая вешалка

со стойкой для зонтов. В ванной комнате та же чугунная, на больших львиных лапах ванна. На кухне — сосновый столик у окна с видом на Москву-реку. Здесь Есенин любил пить чай. С прислугой. Иногда писал. С выходящего в переулок балкона выбросил в припадке гнева свой скульптурный портрет…

Здесь никто ничего не хранил. Просто не менял. Прямым потомкам Толстого не хотелось перемен. Мы вместе боролись за дом. На одном дыхании. И одинаково безрезультатно. Подлежащие капитальному ремонту квартиры уже были распределены между высокими должностными лицами. Толстых запугивали. Устраивали пожар. Оставили без воды, света, тепла. Наконец сломили. Немолодых одиноких супругов. Последняя квартира Есениных перестала существовать.

В октябре 1997 года в одной из передач Центрального телевидения сообщалось, что Есенин был убит в ЧК и затем доставлен в номер гостиницы «Англетер». Труп повешен. Доказательства? Удалось добраться до книг регистрации постояльцев «Англетера». Есенин в эту гостиницу не приезжал. В указанном номере не жил…

Сказанное в декабре 1925-го слово «погиб» заключало в себе единственную правду. «Светлый человек»…

1925 год. Опубликованы романы Д. Фурманова «Чапаев», Ф. Гладкова «Цемент».

В декабре XIV съезд ВКП(б) взял курс на индустриализацию страны. В своем докладе Сталин заявил: «Главное теперь состоит в том, чтобы сомкнуться с основной массой крестьянства, поднять ее материальный и культурный уровень и двинуться вперед вместе с этой массой по пути к социализму».

Определилось руководящее ядро партии: Молотов, Калинин, Ворошилов, Куйбышев, Фрунзе, Дзержинский, Каганович, Орджоникидзе, Киров, Емельян Ярославский, Микоян, Андреев, Шверник, Шкирятов, Жданов.

Прибавление семейства у Матвеевых-Молевых — девочка. Нина… Назвали в честь прабабки. Конечно, принимал новорожденную земляк — славившийся в Москве своим искусством доктор Юрасовский. Он же предложил няню —

эстонку Марию Тоон. Без няни было не обойтись. Родителям надо было защищать дипломы, Софья Стефановна пропадала в школе. О научной работе оставалось только мечтать, но в будущем Софья Стефановна рассчитывала с помощью необходимого и очень уважаемого в советской стране «трудового стажа» эту работу найти. О том, что годы уходят, она заставляла себя не думать. А внучка… Ей Софья Стефановна хотела передать то, что постигла сама, во что поверила и что проверила. Это не совпадало с окружающей действительностью. Но не подчиняться же обстоятельствам, и потом — в потоке времени все еще может измениться. В мыслях она определила для внучки университет, точные науки. Мало ли чем занимались и что исповедовали два ее кузена — Владимир Тезавровский и Сигизмунд Кржижановский, женившиеся на ученицах Студии Художественного театра, сестрах-чешках Евгении и Анне Бовшек.

Была еще Антонина Илларионовна с ее проектами будущего правнучки. Но в свое время она не захотела съехаться с детьми. Жила в Воронеже. Революционные события обошли ее стороной. Из жизни в Богдановке она вынесла умение хозяйствовать и врачевать. Лечила травами, гомеопатическими лекарствами. Когда в городе вспыхнула холера, справлялась и с ней. Однажды сказала старшей дочери: «Есть такая латинская поговорка: „Не пытайся, если нет надежды!“ Но эта римская мудрость — не для русских. Мы существуем, пока действуем, и наоборот». Радовалась внучке-тезке: «Пусть проживет лучшую жизнь, чем моя, но сопротивляется ей с моим упорством. Не помешает».

В одном из писем Антонина Илларионовна писала дочери: «Жизнь женщины — одни утраты. Она отнимает у каждой из нас все: свежесть лица, волосы, зубы, здоровье, способность радоваться, предметы нашей любви или увлечений, дом, любимые вещи. И что же? В конце подводишь такой баланс: было, было, было — когда-то? Есть другие ценности, которые остаются неизменными, не знают возраста и старения. Я имею в виду упорство и верность. Сколько бы лет ни прошло, если им не изменять, будешь по-прежнему чувствовать себя человеком, и притом более ценным, как выдержанное вино, чем в молодые годы. Можно сказать, сомнительное утешение. Но все-таки ты задумайся над этим. Стоит».

* * *

От Леонтьевского переулка Малый Чернышев скользит, словно в ложбину, и выбирается у церкви на Брюсовом. Какое

негородское слово: Овражки. Церковь Вознесения в Успенском Вражке.

Сугробы, отодвинутые от окон хрустящими тропками. Дым над трубами. Ветер. Всхлип гармошки у большого дома. Снежная пыль.

«Постой минутку. Это, кажется…» Дед почти бежит. Под дальним фонарем большой человек. Шуба. Меховая шапка. Протянутые руки. Минута разговора. На морозе. Две… На морозе все долго. Снова соединившиеся руки. Большой человек сворачивает на Брюсовский.

«Не узнала? Всеволод Эмильевич…» — «Он нездоров?» — «Почему? А, да, конечно…» — «Он кутался. И поднял воротник». — «Да? Может быть. Теперь все может быть…»

Дед не совсем настоящий — бабушкин двоюродный брат. Актер. И режиссер — с тех пор как Станиславский открыл Оперную студию. Актеры не вправе стареть. Поэтому не дед — дядя Володя. Самый красивый — с припорошенными сединой светлыми кудрями. Его старое прозвище в семье и в мхатовской труппе — «Белый мавр». Самый добрый. Ласковый. Для внучки во всем самый-самый.

Когда Станиславского переселят из любимой его квартиры в Каретном Ряду (единственный дом, совершенно необходимый для правительственного гаража!) в Леонтьевский переулок, он пригласит к себе жить деда. В едва переделанном под жилье подвале собирались помощники — на случай непредвиденного, в любую минуту возможного. Тем более дед вложил в свое время в Художественный общедоступный все, что имел средней руки помещик. Актерская гильдия была снисходительней к неискупаемой вине классово-чуждого происхождения. Особенно при дружественном покровительстве Станиславского.

Вход в подвал был со двора. Рядом с навощенной до зеркального блеска лестницей в бельэтаж. Квадратные сени с дощатым полом. Заросшие грязью оконца под потолком. Расходившиеся щелями по сторонам коридоры. В чугунных сливах капала вода. За ней приходили из комнат с ведрами. Непременно одетые и причесанные. Халатов, подтяжек, тапочек не было. Чуть пришепетывавший Кторов, кинозвезда 1920-х годов, смеялся: «Коммуна, знаете ли, ГОСПОД актеров». Где-то ревели примусы. Чавкали разбитые, под разноперой клеенкой двери. Хорошо поставленные голоса перебрасывались не всегда безобидными словами. Взрывались и затихали.

В бельэтаж приходили по приглашению. В подвал забегали на огонек. Расходились по комнатам. Кочевали табором из одной в другую. Театральные страсти кипели. Особенно в 1936-м, когда

властью получившего на откуп Комитет по делам искусств Платона Керженцева один за другим прекращали свое существование московские театры. Восемнадцать за один год. Среди них — МХАТ Второй и едва успевший определиться Московский Художественный рабочий театр в Чудовом переулке у Мясницких ворот. Бунтовавшей молодежи Первого и Второго МХАТа и театра Корша пришлось уступить место детской самодеятельности — первому Московскому городскому дворцу пионеров в особняке чаеторговцев Высоцких.

Не искали справедливости, не просили о помощи — недоумевали: переполненные залы, отличные рецензии, свой зритель. В чем же дело? Уже в 1950-х дед скажет: «Пожалуй, самое удивительное — даже не слишком боялись. Просто ждали». — «Чего?» — «Всего. Знаешь, когда у человека нет ни прав, ни воли… Все было решено теми пресловутыми сталинскими „винтиками“, каждый обязан себя осознавать винтиком грандиозной неслыханной коммунистической машины. Винтик одинаково можно пустить в дело или на переплавку, заменить или выкинуть. Особенно когда винтики были счастливы своей одинаковостью, непонятным образом даже самоутверждались в ней. Видела когда-нибудь физкультурные парады на Красной площади?»

Видела. В киножурналах. Бритые головы. Загар. Трусы. Мускулы. Метровый шаг. Один, как все, все, как один…

Рассказы о Художественном общедоступном были вместо сказок. Станиславский на репетициях: «не верю» до обмороков. Хлопоты с костюмами Марьи Петровны Григорьевой, которая могла их примерять актерам тоже до бесчувствия. Словечки Якова Ивановича Гремиславского — чародея от грима. Шутки Лужского… Самый любимый рассказ — о работе деда над ролью Кота в «Синей птице» Метерлинка. Самый грустный — о Мейерхольде в роли царя Федора Иоанновича. Мейерхольд готов был играть любую роль, но об этой мечтал. Не соглашался с драматургом. Царя видел по-своему.

«И все-таки дело было не в трактовке — во внутреннем конфликте с Немировичем. Немирович хотел оставаться учителем, указывать, подчинять себе. Мейерхольд шел своими путями и мог выиграть. Успех у него бывал разный. Иногда очень большой. Всеволода Эмильевича на сцене ждали. Прощали срывы. Он всегда оставался ярким. И на редкость органичным». — «Трудный характер?» — «Обывательское определение! От ограниченности и зависти. Трудный — потому что работающий. Ищущий. В своих поисках бескомпромиссный. В жизни предпочитают безразличных. Индифферентных, что ли.

У пришедшего ему на смену в спектакль Москвина был быт. Вкусный. Яркий. У Мейерхольда — анатомия призвания и возможностей. Власть, как нечто надчеловеческое, и человек. У его Федора какое-то нутряное существо самодержавия во всей его бессмысленности и жестокости. Противопоказанность, может быть. Или вырождение идеи. Это было гнетуще страшно».

«А Станиславский?» — «Может быть, считал, что не вытянуть на такой уровень весь состав актеров. Тут всем Мейерхольдами следовало быть. Всеволод Эмильевич выпадал, а начало театру и так давалось трудно. Чем-то приходилось поступаться». — «И позже? Через год-другой?» — «В вопросе о пайщиках театра он отстранился. Все оказалось в руках Немировича: кому быть пайщиками, кому не быть». — «Но Мейерхольд и Чехов…» — «На одном Чехове репертуара было не удержать. Это прекрасно понимал сам Антон Павлович. Хотя говорил: уход Мейерхольда — потеря одного из принципов Художественного общедоступного. О Херсоне, куда тому пришлось уехать, очень беспокоился. Город захолустный. Нетеатральный. А Мейерхольд в нем два чеховских спектакля при битковых сборах сделал. Мы же все в большей или меньшей степени понимали: Художественный остался, Общедоступный оказался недолговечным. Теперь бы сказал: производство заело».

Дед вертит в руках чайную ложку, то отодвигает, то придвигает блюдце. После стольких лет та давняя тема по-прежнему не оставляет безразличным.

* * *

Обрывки слов из-за неплотно прикрытой двери доносились в столовую. Собеседники повышали голоса. Сдерживали накипавшее раздражение. Михаил нервничал. Сидя у кроватки сына, Лидия Ивановна чувствовала приближение чего-то чужого и непонятного. Позже, оставшись наедине с записями мужа, она будет мучительно припоминать отдельные выражения, интонации, запоздало понимая их смысл.

1925-й. Прошел год со дня смерти Ленина — столько же соблюдался траур по усопшим европейским монархам. Наследники «человека из Мавзолея», как его называл Михаил, словно оправились от первого испуга и намотали вожжи на руки. Свист кнута… Именно так: свист и ожидание удара. Лидия Ивановна всегда недоумевала: зачем бить лошадей, даже просто пугать, когда они и так слушаются каждой команды, каждого окрика?

Михаил отмалчивался. Не сдержался, по собственному признанию, всего несколько раз, когда снова и снова поднимался вопрос о его вступлении в партию. Зачем? Объяснение было предельно простым: вы же хотите печататься? Значит, следует искупить национальность и факт пребывания родных за границей.

От Юрия Либединского исходило еще одно предложение: Коминтерн. Сотрудничество с Коминтерном. Тогда можно было бы отмахнуться от Польши и обратиться к Италии — вариант самый надежный, а здесь и просто желательный. Почему бы вообще не попробовать себя на итальянском языке?

Времени на размышления не оставалось. Переход из «попутчиков» в «коминтерновцы» сулил очевидные выгоды и главное — надежность положения: разве это не существенно при наличии семьи, сына? Наконец, соблазн — немедленное возвращение дачи в Богородском. Той самой, гриневской, превращенной в коммуналку. Вероятно, это обрадовало бы мать жены. Они с покойным мужем сами ее строили, столько о ней хлопотали…

На семейном совете не было разногласий. Все это сегодня, а завтра? После пережитого ничто не представлялось надежным. «Поступай, как находишь нужным». — Лидия Ивановна помнила, как Михаил поцеловал руку Марии Никитичны. В жене он не сомневался.

Спорили о новой повести Юрия Либединского «Комиссары». Он собирался выпустить ее вместе с двумя предыдущими, «Неделя» и «Завтра», в трилогии «Коммунисты».

Что-то в них было от символизма и прозы Андрея Белого, вплоть до глав, написанных ритмизированной прозой. Но рядом — жесткая логическая схема, подчиненная партийным установкам. Переделка «человеческого материала», оказавшегося непригодным для революционных целей. Именно такие формулировки пролетарские писатели применяли к самим себе. Все интеллигенты признавались отягощенными непомерным грузом «накладных эмоциональных расходов».

Около этого выражения Либединского Михаил делает несколько пометок. Ему понадобился для точного перевода их смысла словарь, к которому он все чаще прибегал. Впервые в литературе образы чекистов, «крепких рабочих-партийцев» и даже «приспособленцев». Их хвалила критика, поддерживало множество восторженных статей. В тщательно отстраивавшейся пролетарской культуре личностей надо было создавать, и для этого продумывалась определенная система.

Симпатии Лидии Ивановны были на стороне Ивана Васильевича Евдокимова, одного из старших «перевальцев».

Михаил говорил, как интересны евдокимовские «Колокола» — художественная хроника только что завершившегося первого десятилетия века. Городские окраины, помещичьи усадьбы, фабрики, кружки, баррикады — вся разноголосица пережитого с удивительно отстраненным и словно успокоенным взглядом на жизнь. В «Колоколах» было и большее — явственно ощущавшаяся несуразность происходившего. Для Михаила — «нечеловечность». Выражение не укладывалось в рамки русского языка и тем не менее казалось очень точным. Да Евдокимов и имел права на собственный вывод.

Сын флотского фельдфебеля, деревенский мальчишка, телеграфист на железной дороге, сумевший окончить Петербургский университет и оказавшийся после Октября всего лишь библиотекарем, лишившийся должности лектора по искусству, технический редактор. Его вышедшая в 1925-м повесть «Сиверко» осталась в семейной библиотеке, как и стихи Николая Зарудина.

Обоих критиковали в печати. Евдокимова — за то, что от «общественно значимых» тем ушел к картинам давнего быта, мирного времени, как стало принято определять дореволюционную Россию. Зарудин разоблачался как человек, неспособный понять истинного смысла Гражданской войны (в этом они полностью сходились с Михаилом), которая проходит в его стихах всего лишь как фон для личных размышлений и суждений. К тому же Николая Николаевича подозревали в том, что в поэзии он является преемником Федора Тютчева.

«Независимость от политических и идеологических посылок творческого процесса — за нее надо стоять до конца. Иначе в литературе не останется смысла!» — голос Воронского. Но чьи же слова оказались первой каплей надвигавшегося дождя: «Как скоро — этот конец?..» Ответа не последовало. Никакого.

NB

1926 год. 3 марта. И. Э. Грабарь — П. И. Нерадовскому. Москва.

«Вчера в редакции Большой Советской Энциклопедии состоялось заседание пленума всех редакторов под председательством О. Ю. Шмидта, внесшего целый ряд разъяснений и поправок…

1. Надо помнить все время, что читатель этой Энциклопедии будет не прежний интеллигент повышенного интеллекта и образования, а новый, непохожий на старого: всякие представители т[ак] называемой] общественности, студент, учитель,

кооператор, совслужащий и т. д. Из этого не следует, что надо сюсюкать, но не надо и излишних сведений предполагать у человека; коллекционеров нет, эстетов, библиофилов и т. п. почти нет. Желательно, чтобы в словаре был ответ на все вопросы, вызываемые современностью при чтении книг, газет, посещении музеев, выставок, театров и пр.

2. История менее важна, чем действенная современность; завтрашний день больше, чем вчерашний, который нужен главным образом лишь для понимания сегодняшнего и завтрашнего. Поэтому незначительные имена прошлого должны быть отброшены…»

20 июля умер Ф. Э. Дзержинский, «главком невидимого фронта».

Август. С. Д. Кржижановский — А. Г. Бовшек. Крым.

«Вчера произошла неожиданная и потому вдвойне радостная встреча: Грин — я… Узнав, что я намарал „Штемпель: Москва“, оживился и пригласил к себе…

В мастерской Максимилиана Волошина по утрам читал ему — с глазу на глаз — „Клуб убийц букв“ и прочел „Швы“. С радостью выслушал и похвалу и осуждение: мне еще много надо поработать над отточкой образа, — и если жизни мне осталось мало, то воли — много…»

Гости собирались на Пятницкой поздними вечерами. Тезавровские — после спектакля, Кржижановские — после вечерних занятий по художественному слову с учениками. Связь с Сигизмундом Доминиковичем почти наглухо закрыла для Анны Бовшек дорогу в театр. За спиной его называли политическим неудачником. Именно политическим — удивительным образом все его литературные поиски шли вразрез с курсом партии. Он не был оппозиционером в собственном смысле этого слова, просто, по собственному выражению, всегда шагал не в ногу. И не любил ходить в строю.

Сигизмунд Доминикович родился на Украине, где его отец работал управляющим на сахарном заводе Рябушинского. Для семьи на этом закончилась сибирская ссылка. Иных средств к существованию родители не имели, и пани Фабиана, мать Сигизмунда, не могла претворить в жизнь свою мечту — учиться в Парижской консерватории. Всю жизнь она довольствовалась

«бесконечным свиданием с Шопеном», по ее собственному выражению, проводя долгие часы за роялем.

О педагогической интуиции Кржижановских-старших свидетельствовало то, что они позволяли обожаемому сыну чуть не до двадцати лет оставаться в гимназии, не торопили с окончанием юридического факультета Киевского университета. Зато он в совершенстве овладел семью новыми и древними языками, литературой, теорией искусства, серьезно занялся философией. Обладал профессиональными познаниями в математике, астрономии, истории.

Когда Сигизмунд Кржижановский приедет в Москву, он станет желанным гостем в домах академиков В. Вернадского, Н. Зелинского, А. Ферсмана, С. Ольденбурга. О нем станут заботиться известные бактериологи Людмила Борисовна и Алексей Николаевич Северцовы. Это они выхлопочут ему первое и единственное московское жилье — комнатенку в шесть квадратных метров в квартире графа Бобринского на Арбате.

Эта «жизненная ниша» навсегда останется в памяти близких. Деревянная койка с волосяным матрасом. Письменный стол из некрашеного дерева с двумя ящиками — наследие какой-то заброшенной канцелярии. Кресло. Колченогое. С жестким сиденьем. На стенах — почти до потолка — полки с книгами. Сигизмунд Доминикович не мог себе позволить иметь все, что его интересовало или было нужно. Только самое необходимое. Самое безусловное.

И еще — на подоконнике чайник и две чашки. С блюдцем и без. Чернильница. Ворох не уместившихся на столе бумаг. В шкафе нужды не было: все, что имел, дед носил на себе.

Материальная помощь? Дядя Сигизмунд не принимал ее ни от кого из родных. И раз сам не мог заработать ни копейки — его рассказы и повести не печатали, — не соглашался поселиться вместе с женой. В своих «Записных тетрадях» она напишет: «Посмертная слава: громыхающая „Телега жизни“, едущая дальше порожняком». К Кржижановскому она пришла через сорок лет после смерти, когда из всех близких осталась самая младшая — Нина. Та девочка, которую он брал с собой бродить по улицам Москвы, держа в большой теплой руке детскую ручонку. Этого оказалось достаточно, чтобы начать ощущать «смыслы Москвы», по его собственному выражению.

В 1920-х еще можно было надеяться. В Москве Кржижановский оказался в марте 1922-го с Еврейской студией, оплатившей его проезд как преподавателя. Александр Таиров предложил ему любой, «какой придумает», курс для своей Учебной студии при Камерном театре. Написанная по мотивам

Честертона пьеса Кржижановского «Человек, который был Четвергом» была тут же поставлена в Камерном. Аншлаги продолжались до того дня, когда сорвался включенный в декорацию лифт. Таирову предложили изменить сценографию. Режиссер наотрез отказался. Пьеса была снята с репертуара.

Одновременно закрылось издательство, подготовившее к печати сборник рассказов Кржижановского. Окно в профессиональную жизнь и известность захлопнулось двумя годами позже. Навсегда. Причиной стали не фатальные обстоятельства — разгаданный пролетарскими издательствами смысл философской прозы писателя.

NB

1927 год. Создана Федерация объединений советских писателей (ФОСП) и при ней печатный орган — «Литературная газета».

Поставлен первый репертуарный советский балет «Красный мак» на музыку Р. Глиэра.

Лев Оборин и Григорий Гинзбург первыми из советских музыкантов приняли участие в конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве и получили премии.

«Воронинщина»… Странное слово стало все чаще появляться в газетах. Михаил сказал: «И на всех писательских собраниях». Самое бранное. И, по всей вероятности, опасное.

Несколько раз Лидия Ивановна замечала, что Воронский приносил какие-то бумаги. Михаил отмахивался от ее вопросов: протоколы собраний, не о чем говорить. Просто в редакции и объединении стало слишком много любопытных глаз. Неизвестно, что умудрятся вычитать из самых обыкновенных текстов, как истолкуют. В глуши переулков все выглядело спокойнее. Без приглашения посторонний вряд ли бы появился, тем более остался бы незамеченным.

Расчет не оправдался. Они появились. Михаил не придал им значения. Не разобрался. Или — все сразу понял и не захотел пугать. Тихие. Безликие. В потертых шинелях. Непременно с кем-то из старых знакомых. Любители литературы. Сочувствующие. Начинающие. Определений хватало.

Один раз Лидия Ивановна услышала шелестящий шепот: «Воронским интересуются…» Поняла: в этом все дело.

Приходили первыми. Старались уходить последними. Задерживались за дверями. Походя заглядывали в другие комнаты. Она начинала корить себя: игра воображения, мания. И

ни с кем не делилась нарастающим страхом. Казалось, именно выраженная словами опасность станет настоящей, неизбежной. Молчала. Перестала спать по ночам. Часами лежала, затаив дыхание, не откликаясь на голос Михаила. Словно ждала. А в нужную минуту не догадалась…

Оставалось четыре дня до дня рождения сына. Всего четыре. Михаил радовался, как ребенок. Придумывал подарки — чтобы были понятными в два года. Мария Никитична готовилась печь пироги. Непременно с капустой. Большие. В целый противень. Откуда-то раздобыла несколько яблок — чтобы были на столе и дворянские пироги, открытые, с поджаристой плетенкой. Даже конфеты…

Они пришли, когда Михаил собирался в булочную. В белой косоворотке. С открытым воротом. Кошельком в руке. Июнь выдался теплый. Бушевала сирень. Откуда-то доносился запах жасмина.

Они встретили Михаила на крыльце и вместе с ним пошли к воротам. Не зашли в дом. Лидия Ивановна выглянула в окно: знала в лицо всех троих, по имени одного — Юрия Либединского. Никто не обернулся.

Сколько прошло времени? Час? Другой? В начале лета сумерки приходят к полуночи. Было все так же светло. На дворе у скамейки так же толковали соседи.

Человек вошел в переднюю. Один из трех. Глядя куда-то в сторону, сказал: «Ваш муж умер. Только что. В Алексеевском монастыре. Завтра можете получить тело». В такой-то больнице. В морге. Часы работы…

«Нет! Нет! Мама!..» Очнулась в постели. Искаженное болью лицо старенького доктора Ивана Ивановича, у которого лечилась с незапамятных времен вся семья. Мама с полотенцем в руках. Темные окна. Ночь… «Не может быть… Неправда…»

Иван Иванович хотел что-то сказать, Мария Никитична оборвала: «Не надо! Лучше все сразу». — «Что все? Сердце?» — «У ворот их встретили другие. Увели на кладбище Алексеевского монастыря, и там… Соседи видели… Машина ждала у монастырских ворот. Увезли». — «За что?! Господи!..»

Шаги раздались в семь утра. На крыльце. Тихий стук. Вчерашние. И Либединский. «Надо забрать бумаги. Чтобы у вас не было неприятностей. Вас спасти». И рванулись к столу Михаила.

Объемистые портфели и портплед принесли с собой. Собирали все бумажки, почти не проглядывая. Не переговаривались. «Есть ли еще где-нибудь?» Потянулись за карточкой, стоявшей на пианино: Михаил в Симферополе. Схватила первой: «А что останется сыну?» Успела спрятать и еще

какую-то, упавшую со стола Михаила.

«Вы уверены, что больше ничего нет?» Ушли, не попрощавшись. Не закрыв за собой двери. Сгибаясь под тяжестью разбухших портфелей — бумаг оказалось на удивление много.

Позаботились и о похоронах. Лидия Ивановна лежала с нервной горячкой. Мария Никитична металась между дочерью и внуком. Все было, как во сне. Из которого нет выхода. Назвали Пятницкое кладбище. У Крестовской заставы. Но могилы там не оказалось. Спрашивать было не у кого…

В 1958-м жена сына пойдет в знаменитый Писательский дом у Третьяковской галереи, в Лаврушинском переулке. Тот самый, куда изначально были поселены те, кто соответствовал режиму соцреализма. Писательница. Автор без малого десятка книг.

Пологая лестница. Тяжелые двери квартир. В глубине открывшейся прихожей пожилой человек. «Моя фамилия… невестка Михаила Беллучи… Хотела узнать…»

Не задумываясь ответил: «Такого не знаю. Никогда не знал. Зачем вы пришли? Оставьте мою квартиру!» На истерическом крике: «Оставьте! Немедленно!» За захлопнувшейся с размаху дверью, казалось, лязгнула цепочка. У начавшейся в стране реабилитации, как у медали, было две стороны — не каждому она была в радость.

NB

1927 год. Сталин первый и единственный раз побывал в театре Мейерхольда на спектакле Родиона Акульшина «Окно в деревню».

Лето. Александра Воронского сняли с должности главного редактора журнала «Красная новь» и исключили из партии.

12 ноября. И. Э. Грабарь — А. В. Луначарскому. Москва.

«…Прошло 10 лет, как волею Революции Вы стали во главе культурно-просветительского строительства Республики. В числе тех многих больших дел, которые Вы либо заново перестроили, либо вновь организовали, есть одно, быть может, не столь заметное среди подавляющих его огромностью других дел, но все же немалое, притом возникшее в первые дни организации самого Наркомпроса, — дело охраны памятников искусства и старины…

В день 10-летия Вашего управления судьбами русского Просвещения Центральные Государственные

реставрационные мастерские особенно горячо и с особой признательностью приветствуют в Вашем лице своего идейного вдохновителя и постоянного заступника и желают Вам долгие годы работать на том же культурном фронте во славу великого социалистического строительства человечества».

13 ноября. И. Э. Грабарь — А. В. Луначарскому. Москва (от лица Общества московских художников).

«…Не Ваша вина, что раскрепощенное Революцией русское искусство не завоевало за эти десять лет всего мира, если Москва все еще не центр мирового искусства: русские художники знают, что только экономические невзгоды недавнего прошлого несколько задержали его бурный рост, но они верят, что именно сейчас в Советской России имеются все предпосылки для его пышного развития, и верят, что в ближайшие годы ему предстоит пережить период невиданного расцвета…»

14 ноября объединенное заседание ЦК и ЦКК ВКП(б) приняло решение исключить из партии Троцкого и Зиновьева.

XV съезд партии одобрил решение объединенного собрания и постановил также исключить из партии Радека, Преображенского, Раковского, Пятакова, Серебрякова, Каменева, Мдивани, Смилгу и всю группу «демократического централизма» (Сапронов, Н. Смирнов, Богуславский и др.).

1928 год. 18 мая — 5 июня в Верховном суде СССР проходил процесс по «Шахтинскому делу». Осуждено было 49 человек, из них 11 приговорили к «высшей мере социальной защиты» — расстрелу.

31 мая в Большом театре чествовали вернувшегося из Италии М. Горького. О Москве Горький написал: «Одноэтажная деревянная Москва не будет ремонтирована, а ее разрушат и построят так же, как разрушается хозяином Союза Советов — рабочим классом — все прошлое, отживающее… Все здесь для меня стало неузнаваемым, все помолодело, помолодело изнутри».

13 июня и 1 июля М. Горький ходил

загримированный по Москве, чтобы познакомиться с жизнью города.

Мейерхольд и Таиров — тема вечерних споров на Пятницкой, когда собирались Тезавровские и Кржижановские. Тезавровские представляли Станиславского и Мейерхольда. Владимир Васильевич обоих считал превосходными актерами, гениальным режиссером — одного Мейерхольда.

Все на гребне поднимающейся волны духовных потрясений. Искусство в неистребимом импульсе сказать о грядущем и сообразно грядущему. Взрыв привычного и усвоенного через бешеное сопротивление большинства современников. И на первый взгляд необъяснимая в своей глубинной прочности связь: Чехов — Мейерхольд. Из письма актера писателю: «Неужели вы могли подумать, что я забыл Вас? Да разве это возможно? Я думаю о Вас всегда-всегда. Когда читаю Вас, когда играю в Ваших пьесах, когда задумываюсь над смыслом жизни, когда нахожусь в разладе с окружающими и с самим собой, когда страдаю в одиночестве». Это молодость Мейерхольда, к которой Тезавровский, игравший в той же труппе, был причастен.

«Человек идеи», — скажет Немирович-Данченко о Мейерхольде. В многочасовом разговоре Станиславского и Немировича в «Славянском базаре» он будет назван одним из первых кандидатов в будущий театр. «У него есть идея, идеалы, за которые он борется: он не мирится с существующим». Станиславский приведет эти слова в своей книге «Моя жизнь в искусстве».

В одном Тезавровский и Кржижановский согласны: за независимость характера ненавидят. За чувство собственного достоинства — вдвойне. А если они к тому же сцементированы абсолютным талантом… В театре мало кто и мало что прощают друг другу. Тем более режиссеру. Чьи это слова: «Строгих учителей начинают любить только задним числом»? После смерти? Да и то не всегда. Режиссер не может не быть строгим — если у него четкое видение будущей постановки и ясное представление о том, чем могут и должны стать в ней исполнители.

Собеседники-спорщики говорят о том, что у Мейерхольда особенно велик разрыв между самочувствием актера и восприятием зала. Насколько его могут сократить способности исполнителя? Мейерхольд способен из кажущейся посредственности создавать личность. Другое дело, что на сцене актерская личность перерастает собственно человеческие данные. Спор слишком специальный и весь сплетен из человеческих

амбиций, самолюбий, тщеславия.

Жизнь Мейерхольда в театре всегда вызывала одни нарекания. С ним спорили ожесточенно. Непримиримо. Не разбираясь в средствах. Для театральных критиков всех мастей он был хлебом насущным, позволявшим завоевывать симпатии театрального обывателя. Одни иронизировали, другие откровенно издевались. В конце концов они научили его стоять за себя в этой непрекращающейся перепалке.

Другое дело, что Мейерхольд боролся только приемами искусства, ни на кого не перенося личных привязанностей и антипатий. Полемика в искусстве представлялась ему очищающей грозой. Может быть, не всегда своевременной. Если земле нужен дождь, человеку вовсе не обязательны оглушающий гром и разрушающая сила молнии. К тому же совершенно несоразмерные проблеме, которая была поставлена. Ведь даже одна молния, принесенная минутным дождем, способна заставить рухнуть на землю могучее вековое дерево. Он часто возвращался к этому сравнению.

И все же полемика воспринималась тем более естественной в условиях полного переворота жизни и привычных представлений. На первый взгляд это выглядело нешуточной дуэлью: Булгаков — Мейерхольд. Кстати, Мейерхольд не обошел ироническим вниманием и «Дни Турбиных». Это не было неприятие Булгакова как писателя — скорее столкновение буйного романтика с рано созревшим скептиком. Булгаков оказался куда более прозорливым, чем Мейерхольд, будто не отдававший себе отчета в том, что происходило кругом. Ему очень трудно было расставаться с мечтой, которая во всей своей полноте — он был уверен — могла осуществиться только в новых условиях. На здании театра его имени — ГОСТИМе он хотел высечь в камне пушкинские слова: «Дух века требует важных перемен и на сцене драматической».

А может быть, все дело было в лидерстве? ГОСТИМ фокусировал потенцию поиска всего нового в театре. Остальные театры не выдерживали соревнования, о котором сам Мейерхольд говорил: «Критические попадания в меня были редки не потому, что не было охотников пострелять, а потому, что я слишком быстро движущаяся цель».

Не отрицая новаторства Мейерхольда, Кржижановский отдавал предпочтение иному варианту сценической условности — Камерному театру. Искусство вне политической патетики, форма, адекватная всей сложности человеческого чувства вне зависимости от того, какие конкретные жизненные обстоятельства его вызвали. Музыкальная и пластическая

ритмика, которой подчинялись речь и слово.

Вместе с Кржижановскими иногда приходила красавица Нина Сухоцкая, актриса и режиссер Камерного театра, родная племянница блистательной Алисы Коонен. Театр со времени его возникновения в первый год империалистической войны называли формалистическим, но Сухоцкая была живым опровержением подобного суждения.

Низковатый, бархатный голос. Внимательный, завораживающий взгляд темных глаз. Стремительная походка. Легкие, как взмахи крыльев, движения тонких рук. Такой же казалась и Августа Миклашевская, непревзойденная исполнительница роли принцессы Брамбиллы в инсценировке сказки Т. Гофмана.

Кржижановский посмеивался: во МХАТе все актрисы были безукоризненно интеллигентны, в Камерном — ослепительно красивы. Как древние фрески. У Мейерхольда внешность актера не имела значения — он становился (Тезавровский часто повторял это выражение) сублимацией «осмысленного чувствами действия».

В один из вечеров Кржижановский прочел свою «Автобиографию трупа». Под столом осталась не возвращенная почему-то автору бумажка, исписанная легким почерком: «С этого дня, помню, и начался период мертвых, пустых дней. Они и раньше приходили ко мне. И уходили. Сейчас же я знал: навсегда.

В этом не было никакой боли, даже обеспокоенности. Была просто скука. Точнее: скуки. В одной книге конца XVIII века я прочел как-то о „скуках земных“. Вот именно. Много их, скук: есть внешняя скука, когда одинаковые любят одинаковых, земля в лужах, а деревья в зеленом прыще. А есть череда и нудных осенних скук, когда небо роняет звезды, тучи роняют дожди, деревья роняют листья, а „я“ роняют самих себя…

И целые дни от сумерек до сумерек я думал о себе как о двояковогнутом существе, которому ни вовне, ни вовнутрь, ни из себя, ни в себя: и то и это — равно запретны. Вне досяганий…»

NB

1928 год. 18 мая. И. Э. Грабарь — А. В. Луначарскому. Москва.

«…Государство вовремя и мудро пришло на помощь художнику в годовщину 10-летия Революции, дав всем значительным наличным силам Союза социальные заказы, одновременно по инициативе Совнаркома и Реввоенсовета. Художники ожили и, почуяв, что и они еще нужны, радостно взялись за работу и на выставках

Совнаркома и Реввоенсовета показали, на что они способны.

…Почему бы государству не организовать нечто, подобное тому, что уже с давних лет имеет место в ученом мире: Академия наук избирает из числа достойнейших ученых несколько десятков таких, которых она считает нужным освободить от всех педагогических и административных занятий, и, обеспечив их с семьями достаточным содержанием, дает им возможность всецело посвятить себя науке. Почему бы не выделить известное число художников и скульпторов, которым бы выплачивалось месячное содержание в несколько сот рублей, с тем чтобы по истечении года вся их продукция учитывалась государством и из всего, ими созданного за данный срок, лучшее отбиралось для наших музеев, центральных и провинциальных, для правительственных, общественных учреждений и рабочих клубов?

…Нетрудящиеся или мало и плохо производящие тем самым отпадут. Если принять во внимание, что художников высшей квалификации, которые могли бы быть включены в список таких „академиков“, наберется не более 50, то станет ясным, что общая цифра ежегодного расхода на организацию этого дела никоим образом не явится сколько-нибудь обременительной для бюджета…

Второй мерой к поднятию художественной культуры и стимулированию оживления в среде художников было бы декретирование обязательного включения в архитектурные сметы вновь воздвигаемых во множестве государственных и общественных зданий хотя бы 5 процентов на украшение внутренних помещений — вестибюлей, лестничных клеток, больших зал и т. п. — живописью и скульптурой. Новый строй не менее старого нуждается в украшении жизни.

Если бы эти две меры были проведены в жизнь, мир увидел бы такой расцвет искусства в Советском Союзе, какого давно уже не знает человечество. И кто знает, не явят ли еще миру советские мастера образцы подлинно нового, невиданного искусства, достойного новой эпохи и нового хозяина страны».

* * *

Отчаяние Паоло Стефано не знало границ. Он уже один раз простился с сыном — в Крыму. Но найти и потерять! Он умолял невестку приехать к нему. Мария Никитична сделала попытку узнать. Очередной товарищ из милицейских чинов по-дружески намекнул, что о подобных связях, прежде всего в интересах ребенка, следует забыть. Раз и навсегда. Если это, конечно, поможет.

И все же семья недоумевала. Если Михаилу пытались приписать преступление (не он первый, не он последний в советской мясорубке!), почему так странно обошлись с его архивом, где находились, кстати сказать, документы, связанные с Краковом и Беллучи?

Архитектор Пиотрович, по-прежнему продолжавший посещать Гриневский дом, первым засомневался в происхождении роковых посетителей. Если они были из органов, то сразу бы опечатали или, скорее, забрали бумаги. И уж во всяком случае не появились бы снова ни свет ни заря, когда еще не работало ни одно советское учреждение. Все выглядело так, будто они хотели опередить чекистов. Но кто, кроме органов, мог лишить человека жизни без хотя бы формального суда и следствия, среди бела дня, в многолюдном городе? И — не привлечь внимания милиции.

Троцкий. Только Троцкий, хотя и отстраненный от военных дел, мог беспрепятственно «убрать» человека, не неся при этом никакой ответственности. Его приверженность к радикальным решениям любого вопроса была известна. Вначале он поддерживал Воронского, но в дальнейшем отстранился от него.

У Михаила было слишком много бумаг. Ему часто приходилось секретарствовать на собраниях, пленумах, съездах и просто встречах. Связь с Воронским и его направлением легко доказывалась именно записями. И от этой связи следовало откреститься. Как и от самого Михаила — в его крымской эпопее оставалось много неясного.

Владислав Пиотрович привел последний аргумент. Если бы на Михаила обратили внимание органы, он нужен был бы им живым и под следствием. Хотя бы на первое время.

Марии Никитичне казалось, что все происходит само собой. Она едва успела ответить Паоло Стефано, как появились его доверенные. Их предложение выглядело фантастическим, но — кто знает? — могло оказаться вполне реальным: вывезти Элигиуша по документам умершей Анельки. Пограничники могли не обратить внимания на разницу в возрасте, а девочка имела право покинуть страну.

Пиотрович принял сторону дирижера. Мария Никитична была слишком слаба здоровьем. Лидия Ивановна который месяц

лежала в клинике. Бабушка согласилась.

Провожать посланцев на вокзал поехал Пиотрович — и вернулся с ребенком. Таможенники оказались бдительнее, чем о них думали.

Такой же безуспешной оказалась вскоре и вторая попытка. Мальчик был приговорен к Москве. Деду пришлось ограничиваться материальной помощью, и притом недолго. В 1929-м почтовое общение с Польшей было запрещено. Мария Никитична не вступала в обсуждения: судьба!

NB

1929 год. Сын И. Е. Репина Юрий приехал в Ленинград, чтобы написать к десятилетию Октябрьской революции заказанную С. М. Кировым отцу картину «Символ самодержавия». Эскиз картины был подарен И. Е. Репиным Музею революции в Москве.

И. Е. Репин так описывал эскиз: «Колоссальный темный грот представляет подобие тронного зала, украшения по стенам, карнизам и углам представляют человеческие кости, весь великолепный мозаичный пол завален трупами. К правому углу группируются виселицы. Ближайшая виселица занята повешением молодой особы (тип курсистки). Палач, в красной рубахе, затягивает на шее петлю, справа административное лицо — камергер, типа Победоносцева. Слева представитель духовенства, в пышном наряде, вроде митрополита, благословляет смертную казнь. В отдалении глубины влево — две фигуры рыцарского кавалергардского блеска.

Все эти фигуры выиграют, если он [Юрий] нарисует их в натуральную величину. И, вообще, вещь эта, по мере того как он ее будет выполнять, будет его самого увлекать…»

Из записной книжки М. М. Зощенко.

«Тема.

Мы идем к Мандельштаму по улице, выходим к Тверской. Лиля Брик кричит: „Минутку! Остановитесь! Все знаменитые… Какой цвет!“ Шли: Мейерхольд, Маяковский, Олеша, Катаев, я и Лиля Брик.

Лиля интриговала — была у Агранова (высокий чин НКВД), просила не выпускать Вл. Вл. (Маяковского). Агранов подарил револьвер Маяковскому. (А мне сказал после обеда: „Пойдем, дружище, постреляем немного из

духового ружья!“)».

1930 год. Февраль. По многочисленным ходатайствам ряда организаций, общих собраний рабочих, крестьян и красногвардейцев ЦИК СССР постановил наградить т. Сталина вторым орденом Красного Знамени за огромные заслуги на фронте социалистического строительства.

26 июня — 30 июля. На XVI съезде ВКП(б) было провозглашено, что СССР уже вступил в период социализма.

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

1981 год. Москва. Телецентр на Шаболовке. В перерыве между съемками зашел разговор о самоубийстве Маяковского.

«Самоубийство? — Режиссер Мария Игоревна Райковская оглядывается. Вестибюль пуст. — Мы с мамой жили в Лубянском проезде. Где теперь его музей. В 1930-м…» — «В одной квартире?!» — «В одной. Несколько соседей. У него была еще комната в Гендриковом переулке — для жилья. Здесь — вроде рабочего кабинета. Часто оставался. Неделями жил. Мама кормила обедом. По-соседски. Или чем придется. Он на кухне мылся. Пол заливал. Соседи ворчали…» — «А в тот день?» — Молчание.

«Наверно, теперь можно и сказать. Хотя… Но это должны знать. Утром к нему пришли. Двое. Мама чуть приоткрыла дверь. Прошли к нему. Через стенку слышны были голоса. Долго говорили. Потом раздался хлопок. Я не поняла. Мама к двери бросилась. Через щель увидела: один уже на лестницу выходил, другой дверь к нему прикрывал. И — обернулся. Нашей щели не заметил. Портьера у нас тяжелая была. Я в ней, когда в шубенке, путалась: в комнате раздевались.

Мама в коридор вышла и сразу вернулась. Лицо, как стена, белое. Одевать меня начала. Заторопила. Сумку продуктовую схватила. На лестнице застегивалась. Долго ходили. По всем магазинам. Мама все какие-то мелочи еще вспоминала.

Больше часа прошло. Вошли в подъезд — там люди. В шинелях. Наша квартира настежь. Военный к маме: кто такая, откуда, как давно ушла. Мама сказала: давно. В магазинах задержались.

Велел к себе пройти. Потом снова вызывали. На кухню. И к ним куда-то. Обошлось…

Через много лет мама призналась: заглянула к нему… Лежит… На полу… кровь. А револьвера не видела. Не было револьвера рядом. Рванулась помочь — поняла: поздно. Не для того стреляли.

Мама говорила: он с утра шутил с ней. Умывался. Она его вчерашним пирогом угостила. К чаю. Холодным… С капустой… Подогреть не подумала…»

1930 год. Из писем трудящихся в редакцию газеты «Правда».

Чумаченко Р. Н. (г. Березовка Одесской области): «Я не знаю, как партия может терпеть такого типа, который, не зная постановки дела на селе, своими выступлениями заставляет делать два шага назад и один вперед… Пусть живет коммунистическая партия, но без сталинских уставов!»

Белик, рабочий завода «Пресс» (Днепропетровск): «Т. Сталин!.. Виноват ли тот, кто не сумел не послушаться создавшегося шума и крика вокруг вопроса коллективизации сельского хозяйства?.. Мы все низы и пресса проморгали этот основной вопрос… а т. Сталин, наверное, в это время спал богатырским сном и ничего не слышал и не видел наших ошибок, поэтому и тебя теперь нужно одернуть… Теперь т. Сталин вину сворачивает на места, а себя и верхушку защищает».

С. Чекизов (Мечетлинский район): «Почему т. Сталин до своей статьи не соизволил заглянуть в сочинения Ленина?»

Июнь. В Париже проходили гастроли театра Мейерхольда — последние гастроли советского театра во Франции, где в течение 1920-х побывали МХАТ, Камерный, ГОСЕТ и эмигрантские труппы — Габима, «Летучая мышь» Н. Валиева, «Пражская группа» (бывшие мхатовцы) и труппа Михаила Чехова.

В Харькове состоялась Международная конференция литераторов, приехавших из 23 стран. Из Москвы туда был направлен поезд, составленный из двух международных вагонов, двух мягких и одного вагона-ресторана, в которых ехали делегаты. С докладом выступил председатель РАППа Авербах. На банкете он

провозгласил тост за Сталина.

После разгрома в прессе были запрещены постановки: «Мандат» Н. Эрдмана в театре Мейерхольда, «Народный Малахий» Н. Кулиша у режиссера Курбаса, «Багровый остров» М. Булгакова в Камерном театре. Не допущен до премьеры у Мейерхольда «Самоубийца» Н. Эрдмана.

О прочтенной для труппы Камерного театра пьесе С. К. Кржижановского «Писаная торба» (парадоксальная условность в семи ситуациях) Таиров отозвался как об одинаково опасной и для театра, и для автора.

* * *

Найти цветы… Пусть самые простые. Тронутые морозом. С почерневшей листвой. Астры — лиловые и белые. Или взъерошенные подушечки доцветающих последними алыми огоньками гвоздик. Как чудо — густо-оранжевые коротышки-ноготки.

Найти на московском рынке. Среди молочниц с кружками и бидонами. Среди связок сушеных грибов. Кадей с квашеной капустой. Чтобы сразу глубоко запрятать в хозяйственную сумку. От чужих, всегда любопытствующих глаз: неужели осмеливаетесь праздновать именины?

Этого дня приходится ждать целый год. Не выдавая нетерпения. Ни о чем не спрашивая старших — так принято. Чтобы все повторилось. Потом доведется узнать — образ, появившийся в русских церквях во времена Ивана Грозного: Спас Благое Молчание. Юноша. В белых одеждах. Стиснувший руки. Молчание — всегда искус. И подвиг…

Из Замоскворечья трамвай «Аннушка» долго выбирается в город. Петляет по узким улицам. Тащится через мосты. Бесконечные бульвары с облетевшими липами. Развороченными цветниками. Залитыми дождем скамьями: доска-сиденье, доска-спинка, чугунные ножки под облезлой зеленой краской. В вагоне деревянные малиновые скамейки. Парусиновые замызганные петли на сплошной, горизонтально прикрепленной палке под потолком. На площадке вагоновожатый в потертой черной шинели, надетой поверх ватника. Растоптанные валенки. Свисающая с винтового табурета нога, размеренно бьющая по пружине вделанного в пол звонка. Пассажиры могут закрыться раздвижной дверью — площадка открыта всем ветрам.

У Пречистенских ворот надо соскользнуть с ажурных металлических ступенек. Жижа прихваченной первыми морозами глины. Перекинутые через выкопанные бугры и траншеи дощатые мостки. На дне оврага копошатся люди. Мелькают лопаты. Красные косынки копальщиц: чем женщины хуже мужчин?! Грузовики со строителями. Метро! Первая очередь Московского метрополитена — одновременно со взрывом стоявшего рядом храма Христа Спасителя. Открытый способ работ, в которых должны участвовать все москвичи. Трудовая повинность под кодовым названием «трудовой порыв» не знает исключений.

Сумка с запрятанными под газетой цветами качается над раскопом. Один дом. Другой. Провал подворотни. Тесно

прижатые друг к другу дома. Окна в окна. Подъезд в подъезд. Со скупым светом, словно соскальзывающим со стен в выемки подвалов. На стене у двери перечень фамилий жильцов квартиры и количества звонков — не дай бог нажать чужой, привлечь внимание ненужного человека.

На третьем этаже дверь чуть приоткрыта. На всякий случай. Вера Васильевна Галковская дожидается гостей в темной, заваленной рухлядью прихожей. Разговоры, поздравления, когда закроется за пришедшими дверь в комнату. Здесь же вешалка для пальто. У покрытого тончайшей промереженной скатертью стола.

Два сумрачных окна с зеркалом в простенке. Оттоманка. Пианино. Этажерка с нотами. Ширма, скрывшая узенькую кровать и столик с альбомами. И коробку для рукоделья. Филейные сумочки для продуктов, иначе — первые московские «авоськи», которые помогают выжить хозяйке. Как и вязаные бутоньерки для дамских костюмов — их с немалым трудом удается пристраивать знакомым.

В Варшаве Вера Васильевна преподавала в гимназии. В начале империалистической войны вместе со всеми государственными служащими была вывезена в Москву, где варшавские гимназии продолжали работать. Жена офицера. Ждала возвращения мужа. Его привезли на Братское кладбище во Всехсвятском. Она осталась в Москве.

NB

1931 год. 2 марта. Из дневника М. М. Пришвина. Екатеринбург.

«У нас в городе отбирают коров и в объяснение этого дают ответ: „твердое задание“. Отбирают у некоторых и единственную корову, конечно, сделав при этом мало-мальски приличный соус социальный, вроде того, что хозяйка продавала молоко. Несомненно, это ужасный удар и коварный! Прокормить в эту зиму корову (10 р. пуд сена) — истинно геройский подвиг, и вот как раз в то время, когда определилось, что прокормим, ее отбирают. А в деревнях все время так. И это другая сторона героической картины строительства».

31 марта. Из дневника М. М. Пришвина. Екатеринбург.

«Принципиальной милости у нас слишком много, и я, как писатель (один из 150), очень даже обласкан, но я хотел бы милости, исходящей ко мне в силу родственного внимания. Точно так же для устройства

детского дома вовсе не надо быть милостивым к детям, жалеть их или любить. Ты пожалей того ребенка, одного из миллионов, который плачет вместе с родителями, расставаясь со своей коровой. Кстати, и корову пожалей, видя, как она, уводимая чужими, оглядывается на своих дорогих хозяев…»

Началось строительство Беломорско-Балтийского канала силами заключенных концлагерей.

19 ноября. Ф. И. Шаляпин — дочери. Париж.

«Н-да! Актеры плохи, но зато что за великолепный народ все эти Папанины, Водопьяновы, Шмидт и К°, я чувствую себя счастливым, когда сознаю, что на моей родине есть такие удивительные люди. А как скромны!!! Да здравствует народ российский!!!

Спасибо за огурчики. „Поел“ — вспомнил рюмку водки, которая так масляно проливалась в молодую глотку».

5 декабря в Москве взорвали храм Христа Спасителя.

* * *

Когда Лидия Ивановна поднялась с постели, все было решено. Отцовский особняк заняли чужие люди. Семье досталась комната в коммунальной квартире нового рабочего корпуса. Дощатые полы. Фанерные двери. Низкие потолки. Из всех удобств — водопроводный кран на тесной кухне. Крохотная кладовочка для скудного имущества, которое удалось сохранить.

Зато — дальше от классовой ненависти к белым домовладельцам. Единственный сосед — в прошлом хорошо известный бас Большого театра, изуродованный на фронте и вынужденный довольствоваться положением хориста в армейском ансамбле под управлением Анатолия Александрова. По старой дружбе его продолжали навещать солисты московской оперы, музыканты. Он первый обратил внимание на музыкальность Элигиуша, заставил заниматься музыкой, петь в хоре. Мальчик выбрал флейту.

В комнате с одним окном живет три поколения. Это было чудом изобретательности — отделить ковром крохотную софу для Марии Никитичны и буфетом — пространство для работы Лидии Ивановны, ставшей художницей. Расставленными

посередине комнаты огромными, под потолок, фикусами отгородить стол для мальчика и обеденный столик для семьи. К столику было развернуто пианино, за которое, когда дом пустел, садилась Лидия Ивановна. И еще — сразу же за открывавшейся из коридора дверью старый гардероб, около которого можно было вообразить себя в туалетной комнате.

Страшной была не теснота — недостаток одиночества. Невозможность остаться наедине со своими мыслями, с самим собой. Для этого оставались только улицы. Жизнь на людях, жизнь на виду — одни привыкали к ней, другие доходили до нервных срывов. Пусть рядом с тобой были и самые дорогие и близкие.

Жилье на Русаковской улице не относилось к числу худших. Среди друзей дома оказалось немало известных шахматистов с мировыми именами. Дуз-Хотимирский, Лилиенталь, Щербаков… Участники международных турниров. Разведясь с женой, Дуз-Хотимирский ютился в одной комнате с бывшей супругой и ее новым мужем, не имея возможности соорудить даже условную перегородку. Солодовниковский пассаж на Лубянской площади, ставший их приютом, был рассчитан в прошлом на торговлю, но не на семейную жизнь.

Двоюродная бабка Элигиуша, супруга московского кондитерского фабриканта Абрикосова, коротала свой век в крошечной проходной комнате. В Брюсовском переулке в собственном доме. Конечно, бывшем. И все же сохранявшем, как в капле воды, особенности жилья «московской Венеры» — когда-то Анна Петровна выиграла в Париже титул первой красавицы.

Наброшенная на кресло ткань. Салфетки на чайной скатерти. Остатки сервиза «Старая Вена». Сбереженные, несмотря ни на что, тоненькие хрустальные рюмки. Когда-то коньячные, теперь они предназначались для капель вина, которые могла позволить себе хозяйка. Безукоризненный французский выговор. Рука, протянутая для поцелуя — само собой разумеется, не для пожатия!

Это была еще одна общая тайна, некий знак, по которому узнавались «бывшие». Целовать женскую руку прилюдно значило подвергнуть себя серьезной опасности — могли немедленно донести куда следует. Здороваться приходилось, когда плотно закрывалась дверь комнаты, опускалась непременная портьера и можно было хоть ненадолго стать самим собой. Все строго соблюдалось, как в мирное время. Руку целовали у замужних женщин и в зависимости от их возраста позволяли себе выше или ниже ее поднять.

Как может выжить человек? Читая книги? Слушая рассказы

старших о том, что было? И никогда не вернется? Или благодаря мелочам жизни, которые позволяют сохранять внутренний стиль? Мария Никитична до конца своего долгого, почти столетнего века была уверена: прежде всего благодаря обиходу, который не позволяет распуститься и дает силы — да, да, именно он! — все перенести.

NB

1932 год. 23 апреля ЦК ВКП(б) принял постановление «О перестройке литературно-художественных организаций».

«…Рамки существующих пролетарских литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП, РАМП и пр.) становятся узкими и тормозят серьезный размах художественного творчества. Это обстоятельство создает опасность превращения этих организаций из средств наибольшей мобилизации советских писателей и художников вокруг задач социалистического строительства в средство культивирования кружковой замкнутости, отрыва от политических задач современности и от значительных групп писателей и художников, сочувствующих социалистическому строительству. Отсюда необходимость соответствующей перестройки литературно-художественных организаций и расширения базы их работы».

Был создан Союз советских писателей.

26 октября на московской квартире М. Горького состоялось совещание, на котором обсуждались пути развития советской литературы и сущность утвержденного партией метода социалистического реализма. Присутствовали 50 писателей. В том числе Ф. Гладков, Л. Леонов, М. Шолохов, Ю. Либединский, Э. Багрицкий, Л. Сейфуллина, С. Маршак, А. Сурков, Ф. Парфенов и др. В 9 часов вечера к заседавшим присоединились Сталин и другие члены Политбюро ЦК ВКП(б). Совещание продолжалось всю ночь, до утра.

6 ноября. Из дневника М. М. Пришвина.

«Вот я думал о чем: люди в нашей бедственной жизни варятся, но не свариваются воедино — в единство. Получается механическая смесь, но не соединение».

1933 год. 18 апреля. И. Э. Грабарь — И. И. Лазаревскому.

«…Всячески сочувствуя постановлению ЦК об отказе от формалистических шатаний и „левацкой“ эквилибристики в искусстве и о переключении на „социалистический реализм“, я тем не менее вряд ли смогу быть Вам полезным… не могу побывать у Вас, ибо с утра до ночи работаю над картиной для Реввоенсовета („Ленин у прямого провода“]».

В доме М. Горького постоянно стал бывать Ягода, женатый на племяннице Свердлова, родственнице усыновленного писателем Зиновия Свердлова.

* * *

Отказать себе в праздниках. Любимых с детства. Собиравших всю семью… Взрослым это было даже труднее, чем ничего не знавшим детям. Рождество предпочитали праздновать без малышей. Тогда елка казалась безобидной фантазией, если все же попадалась на глаза соседям.

Чаще всего это бывало в доме Сухоцких. Отец Нины, Станислав Донатович, сохранил часть давней квартиры на Новинском бульваре в великолепном доходном доме, принадлежавшем некогда известному юристу и судебному оратору Федору Плевако. Иногда Сигизмунд Доминикович брал внучку с собой в гости — в дом Северина Осиповича Коонена, популярного в Москве адвоката, или к его сыну Георгию Севериновичу, жившему вместе с будущей звездой русского театра Алисой. Георгий Коонен служил в Дорожном отделе губернской управы и, по счастью, сохранил за собой старую должность. Отец и сын жили в соседних, так называемых Бойцовских домах на Спиридоновке.

Дома построил и ими владел расторопный московский архитектор Петр Бойцов, имевший в них и свою архитектурную мастерскую. Дома отличали добротность, комфортность и доля фантазии. Один из них, где жил дед Алисы Георгиевны, был стилизован под средневековый замок с большим львом у входа. Квартиры когда-то здесь стоили дорого, и бок о бок с Северином Осиповичем жила семья заводчика Эфрусси, владевшего чугунно-литейным производством и большим торговым домом. Его младшая дочь Елена, выпускница Московской консерватории, только потому, что стала школьной учительницей музыки, смогла сохранить за собой из всей родительской квартиры, занимавшей целый этаж, одну комнату и рояль.

Но самой интересной елка была у жившего на той же Спиридоновке Александра Яковлевича Таирова. Он делал ее для обожаемой им Алисы с такой выдумкой, такими украшениями, что память о ней становилась памятью о чуде. Мужик, доставлявший в дом картошку и овощи, привозил укутанное в рогожи и мешковину небольшое деревце. Елка хитрым манером вносилась сначала вместе с мешком картошки и пряталась за широкую табачного цвета бархатную портьеру у дальнего окна.

Таиров успевал ее развязать и устроить за пару часов в сочельник, когда остальные хлопотали у рождественского стола. У дома, как и у всех остальных в Москве, было свое название — утюг. Потому что он вдавался острым углом между Спиридоновкой и тихим, будто всегда спящим Гранатным переулком. Острый угол был в таировской комнате. На елке не зажигали свечей. Она стояла в холодном блеске серебряного дождя, лившегося с ее украшенной фигуркой ангела макушки. Подарки лежали на подоконниках плотно завешенных окон, и когда за ними протягивали руку, тихо отзывались прикрепленные к портьерам маленькие медные колокольчики.

NB

1933 год. 30 марта. Из дневника М. М. Пришвина.

«Презрение к власти у русского крестьянина так было велико, что при малейшей попытке начальника выйти из своего начальственного положения крестьянин так радостно встречал в нем человека, будто вот закончилось какое-то неприятное представление и стало жить хорошо.

Да, эта „любовь“ была именно от презрения к власти. И нынче опять-таки если и есть что, то это не служба, а услужение. Не знаю, как дальше, но до сих пор было так, что у всех начальствующих кровно русских в лице бродила всегда какая-то особенная улыбочка. Я ее давно заметил, и она мне говорила: этот страх одно представление, а там, внутри, ничего…

И вот именно из-за презрения к власти у нас все упрощается и отвлеченно действует, как будто она даже совсем и не земная и не от нас».

17 июня. Андрей Белый — Ф. В. Гладкову. Коктебель. Дом творчества писателей.

«…Мне 52 года, я много испытал превратностей; сквозь года писательской жизни, верьте, — перегорело во мне все личное; мне терять нечего; можно и умирать;

не страшно, коли замордуют (и мордовали, и перехваливали), карьера, спекуляция, желание играть роль — все это глубоко отвратительно мне.

А вот с Мандельштамами трудно; нам почему-то отвели отдельный столик; и 4 раза в день (за чаем, обедом, 5-часовым чаем и ужином) они пускаются в очень „умные“, нудные, витиеватые разговоры с подмигами, с „что“, „вы понимаете“, „а“, „не правда ли“; а я — „ничего“, „не понимаю“; словом, Мандельштам мне почему-то исключительно неприятен; и мы стоим на противоположных полюсах (есть в нем, извините, что-то „жуликоватое“, отчего его ум, начитанность, „культурность“ выглядят особенно неприятно); приходится порою бороться за право молчать во время наших тягостных тэт-а-тэтов».

Строительство Беломорско-Балтийского канала протяженностью 227 километров завершилось.

Началось строительство канала Москва — Волга общей протяженностью 128 километров. Тоже силами заключенных концлагерей.

На приеме у японского посла Василий Качалов прочел басни Н. Эрдмана и В. Масса. По окончании выступления присутствовавший на приеме Ворошилов спросил имена авторов. Через несколько дней Н. Эрдман оказался в концлагере, В. Масс был отправлен на пять лет в Сибирь на высылку, В. Качалова вызвали для дачи объяснений на Лубянку.

1934 год. 11 сентября. Из тюремного письма М. Н. Рютина родным.

«…Много времени отняло чтение газет с докладами и речами на съезде писателей. Замечательный съезд!

Я в восхищении!.. Ну и лакейство! Классическая демонстрация восторженного холопства! Так и напрашивается по сему случаю к декламации следующий неизданный отрывок из „Фауста“:

„И если здесь свободу нам дарят / И быть открытым я вполне дерзаю, / тогда хотя душой я демократ, / Тебе, тиран, я когти лобызаю!

Церемониймейстер: Лишь когти? Нет, почет мне этот мал! / Идите дальше, демократ великий.

— Что ж мне велит священный ритуал?

Церемониймейстер: Облобызать часть заднюю владыки“.

„Демократ“ выражает восторженную готовность „лобызать“ и даже „вползти во тьму его дыры“, и Сатана прерывает поток холуйского красноречия:

„Сатана: Довольно, мой вассал, / Мильоны душ дарю заранее! / Кто жопу черта так живо описал, / Не затруднится в лести и обмане“».

* * *

Можно было сесть на трамвай и через полчаса оказаться далеко за Сокольниками, за Яузой, в Богородском и дойти до своей дачи у Пороховых складов. Другой такой большой в округе не было.

Нарядный забор с прорезями начал подгнивать. Створка ворот соскочила с петли и вросла в землю. Дорожки никто не мел. На просторной террасе сушилось белье. Толстым ковром лежали сухие листья. Жильцы ходили через кухню.

Высоко в соснах кричали грачи. Пахло землей и чем-то близким, единственно нужным. Горьким… Из года в год Лидия Ивановна возила сюда сына. Рвала по весне под березами ландыши. Летом искала грибы. Осенью поднимала золотые кленовые листья. И смотрела. До рези в глазах. До комка в горле. Плакать разучилась. После смерти Михаила.

Мария Никитична думала о другом. О том дне, когда Юрий Либединский с товарищами предложили Михаилу похлопотать о возвращении дачи: «Почему бы и нет? Ничего невероятного!» Тогда она замерла: зачем? В этой непонятной жизни? И вздохнула с облегчением, когда после долгого приглушенного разговора Михаил взорвался: «Такой ценой?!» Гости заторопились уходить, недоумевающие и насмешливые. В прихожей повысили голоса: «Ваше дело». — «Мое! Только мое!»

Михаил долго молчал. Ходил по комнатам. Стоял на крыльце. Сел за стол с посеревшим лицом: «Предложили создать условия… Вернуть дачу…» Лидия Ивановна загорелась: «Нашу? В Богородском?» — «Если…» — «Что если?» — «Порвать с перевальцами. И РАПП». Она не поняла. «Рассказы о новой жизни. Обещали печатать…» Женщины молчали. «Сказал, нет». — «Значит, нет».

Надо было сразу же уехать. От всепомнящих глаз. От незабывающих ушей. Лидия Ивановна не любила вспоминать. А

эти помнили. Всегда. Упрямо. Были назойливо-любопытны. Она поняла это после разговора с учительницей. Первой учительницей сына.

Агнесса Ивановна Бойко — женщина не первой молодости, с пышной, по старой моде, прической, ровным мягким голосом. На каждого ученика заполнялась учебная карточка. «Отец, мать?..» — «Отца нет. Давно». Извиняясь: «Как пишем, где похоронен?» И после минутной заминки: «Давайте скажем просто: не в Москве. Запомните: не в Москве. Национальность… Достаточно, что мать русская. Уточнения вам не нужны. Просто русская. Вот и хорошо. Придет время, сам решит. А пока — пусть растет спокойно».

Но наступило время расстаться со своей первой учительницей. Мальчик перешел в пятый класс…

Первые успехи в музыкальной школе. На уроках пения сразу проявился вокальный дар, на уроках сольфеджио — способность к «сочинительству». В качестве солиста хора выступал на радио. Дома говорили: талант от деда. Один раз Лидия Ивановна проговорилась учителю: «Как-никак дед дирижер!» — «В каком театре или оркестре? Он член Союза композиторов?» Она не удержалась: «Он в Кракове». — «Что?! Белополяк?» Попыталась сказать об Италии. «Но там же фашизм!» Круг замкнулся. Такому ребенку не место в здоровой советской школе. Тем более «28-й образцовой»! Сколько их было таких в Москве — на пальцах перечесть! Кто-то припомнил: домовладельцы. Кто-то шепнул об отце…

Дальше вступала в действие классическая юридическая формула в отношении обвиняемого: все, что вами будет сказано, может быть использовано против вас. В считаные месяцы лучший ученик оказался худшим. Не по успеваемости, по поведению. Не позволяет учителям на себя кричать. Независимо держится. А эти всегда свежие рубашки! Модные гольфы! Прочные — подумайте только, не рваные! — ботинки.

NB

1934 год. ОГПУ было упразднено и создано ГУГБ в системе НКВД. При ГУГБ существовал внесудебный орган — особое совещание, в состав которого входил прокурор СССР.

27 июля. Из тюремного письма М. Н. Рютина родным.

«…Сначала отрывок из оперы „Евгений Онегин“, ария Ленского, затем „Марш приамурских партизан“ и еще несколько вещичек. Заключительная часть радио, естественно, была посвящена предстоящей

хлебозаготовительной кампании. Здесь я уже почти ничего не разобрал, явственно все время доносилось только одно слово: „Сталин“, „Великий вождь т. Сталин…“, „Сталин“».

Лето. Десяти художникам (Е. А. Кацману, В. Н. Перельману, И. Э. Грабарю, П. А. Радимову, И. И. Машкову, Д. П. Осинову и др.) правительство бесплатно предоставило землю и ссуду для строительства собственных домов в Ново-Абрамцеве.

17 августа. Открылся I Учредительный съезд Союза советских писателей. Из доклада М. Горького:

«Основное назначение искусств — возвыситься над действительностью, взглянуть на дело текущего дня с высоты тех прекрасных целей, которые поставил перед собой класс — родоначальник нового человечества. Мы заинтересованы в точности изображения того, что есть, лишь настолько, насколько это необходимо для более глубокого и более ясного понимания всего, что обязаны искоренить, и всего того, что должно быть создано нами. Героическое дело требует героического слова».

24 октября. И. Э. Грабарь — Н. Е. Добычиной.

«…Надо сказать со всей откровенностью следующее:

1) Такие грандиозные дни, а что мы, товарищи, до сих пор сделали? Отразили мы хоть тысячную долю их пафоса? Нет, и миллионной не отразили.

2) Почему? Потому что халтурим, халтурим и халтурим, а в самых лучших, единичных случаях все еще мало умеем, мало над собой работаем, все еще темпы и количество растут за счет глубины и качества.

3) А еще потому, что борьба с формализмом начинает переходить в проповедь фотографического натурализма.

4) А еще потому, что мы натаскиваем себя на тематику, которой не чувствуем, потому что либо не переживаем, либо не любим…»

Осень. И. П. Павлов — министру здравоохранения РСФСР Г. Н. Каминскому в ответ на поздравительное письмо по случаю 85-летия.

«К сожалению, я чувствую себя по отношению к нашей революции почти прямо противоположно Вам. В

Вас, увлеченного некоторыми действительно огромными положительными достижениями ее, она „вселяет бодрость чудесным движением вперед нашей родины“, меня она, наоборот, очень часто тревожит, наполняет сомнениями.

Видите ли Вы ясно, незатуманенными глазами, тоже огромные и также действительные отрицательные стороны ее? Думаете ли Вы достаточно о том, что многолетний террор и безудержное своеволие власти превращают нашу и без того довольно азиатскую натуру в позорно-рабскую? Я видел и вижу постоянно много чрезвычайных примеров того. А много ли можно хорошего сделать с рабами? Пирамиды — да; но не общее истинное человеческое счастье.

Останавливаете ли Вы Ваше внимание достаточно на том, что недоедание и повторяющееся голодание в массе населения с их непременными спутниками — повсеместными эпидемиями подрывают силы народа? В физическом здоровье нации, в этом первом и непременном условии, — прочный фундамент государства, а не только в бесчисленных фабриках, учебных и ученых учреждениях и т. д., конечно, нужных, но при строгой разборчивости и надлежащей государственной последовательности.

Прошу простить, если я этим прибавлением сделал неприятным Вам мое благодарственное письмо. Написал искренно, что переживаю.

Преданный Вам Иван Павлов».

* * *

Дом Правительства… Черная громада, перечеркнувшая остров между Москвой-рекой и Канавой (так в городе принято называть Водоотводный канал). Ущелья-дворы, без солнца и света. Плотные решетки ворот. Сотни вымытых до зеркального блеска врезанных в плоскость серых стен окон. Без занавесок. Без цветов. С открытым светом зажигающихся по вечерам высоко под потолками ламп. Низкие одностворчатые двери. Стеклянные. Двойные. Перед которыми бесшумно останавливаются автомобили. Хлопок дверцы. Высовывающийся на тротуар начищенный сапог или ботинок. Небрежно-снисходительное шоферу: «Спасибо, товарищ!»

Свой мир. Удобный. Добротный. И — насквозь просвеченный

всеми возможными органами. Начало конвейера по уничтожению. Сначала всех, потом — этих. Все исчезнут без следа и поминания. Об «этих» будут написаны повести и романы, в том числе трогательный, со слезой, «Дом на набережной» Юрия Трифонова. В 1996-м откроют музей, чтобы никого не забыть, каждому воздать (славу, уважение!), страдание (превосходительств) увековечить. Памятник палачам, если они даже были всего-навсего инженерами или занимались делами народного образования.

В апреле 1918-го советское правительство переехало из Петрограда в Москву. И первым делом позаботилось об удобствах. А как же! Лучшие гостиницы, все самые дорогие меблированные комнаты. С полным обслуживанием. Роскошной мебелью. Горничными. Дежурными. Официантами в ставших закрытыми ресторанах. «Националь», «Метрополь», «Петергоф» — прямо напротив Троицких ворот Кремля. Теперь они именовались Домами ЦИКа.

В 1928-м началось строительство правительственного комплекса на пятьсот квартир — «ответственных» и «заслуженных» становилось с каждым годом все больше, а их потребности все росли. Спустя три года Дом Правительства был завершен. С собственными, лучшими в городе магазинами, парикмахерской, модным ателье, почтой, лучшим в стране кинотеатром «Ударник» и другим кинотеатром — «Детским», при котором работали многочисленные кружки и студии — впрочем, только для обитателей дома. Посторонние могли приходить на киносеансы и тут же «освобождать помещение». На несколько месяцев здесь приютили всемирно известную музыкальную педагогическую лабораторию профессора Григория Петровича Прокофьева — перед тем, как она была ликвидирована.

…Дверь ближайшего подъезда тяжело открывается и мгновенно захлопывается. Стерильная чистота белых стен, выложенного цементной крошкой пола с тонкой латунной каемкой у плинтусов. Пустой стол со стеклом, с черным телефоном. Человек в ремнях и гимнастерке, поднимающийся, как на пружине, со стула: «Вы к кому… товарищ?» Пустые глаза. Металлический голос. «К Валескалн, квартира №…» — «Зачем?» — «На занятия по музыке». — «Фамилия?»

Треск телефонного диска. Разговор вполголоса. «Ребенок пусть пройдет. Один. А вы распишитесь — вот тут». — «Но ведь ей же семь лет». — «И что же? Придете за ней через полтора часа. Подождите на улице. Подальше от подъезда. Выходите!»

Лифт со стеклянными дверцами поднимается. Мост, река, Кремль опускаются все ниже. Первый лифт в жизни. Первое

ощущение высоты — и никого рядом. На площадке десятого этажа уже ждет прислуга в белом фартуке, с гладко зачесанными под гребенку волосами. «Входи. Подожди». Тот же пустой взгляд. Та же неприязнь.

Двери всех комнат открыты в коридор. Стены под масляной краской (одинаковой во всех квартирах), с унылым серебряным трафаретом: в гостиной — малиновые, в столовой — желтые, в спальне — голубые. Деревянные стулья с коричневой клеенкой на спинках и сиденьях. Раздвижной стол. Сервант с чашками…

Полтора часа сольфеджио. Музыкальный диктант. Добрейший Варфоломей Варфоломеевич (в 1990-х его сын станет митрополитом Минским). Задания. Объяснения. И единственная мысль: вырваться. Проскользнуть в дверь. И бежать. Изо всех сил. В коммуналку. В запущенный двор. К разбитой парадной двери. Свое слово скажет профессор-органист Гедике: так с искусством знакомиться нельзя. Знания начинаются с чувства свободы.

NB

1934 год. Ноябрь. Состоялся XVII съезд ВКП(б). В ходе выборов ЦК фамилия Сталина была зачеркнута в 292 бюллетенях. Сталин приказал сжечь 289 бюллетеней. В протоколе, объявленном съезду, было указано, что против Сталина проголосовали только три делегата. Впоследствии большинство делегатов съезда было уничтожено. Из 63 членов счетной комиссии 60 были расстреляны.

Во время съезда на квартире Серго Орджоникидзе состоялась встреча некоторых делегатов — Косиора, Эйхе, Шеболдаева, Шаранговича и др. Собравшиеся пришли к выводу, что Сталина необходимо устранить с поста генерального секретаря, и предложили этот пост Кирову, от чего тот отказался. Узнав об этой встрече, Сталин вызвал к себе Кирова для объяснений. Киров не стал отрицать факта разговора, но сказал, что Сталин сам своими действиями привел делегатов к этому выводу.

После разговора со Сталиным Киров предупредил своих родных и близких о своей неизбежной гибели.

Все эти обстоятельства установлены комиссией, созданной Президиумом ЦК КПСС в 1960-м для расследования убийства Кирова и политических процессов 1930-х годов.

4 декабря. И. Э. Грабарь — Н. Е. Добычиной. Москва.

«…Как только получилось ужасное известие о гибели на своем посту Кирова, я прежде всего подумал, какою болью оно должно было отозваться в Вашем сердце. Он так хорошо к Вам отнесся…

Статью Вашу прочел… Вы рассказываете о том, как трудно было в прошлом выбиться на дорогу художнику, как тяжела была жизнь и работа художника-новатора. И это все. Мне очень не хотелось бы Вас огорчать, но эта тема, во-первых, раскрыта слишком бегло, а во-вторых, раскрыта однобоко. Прошлому надо противопоставить нечто положительное современное…

Я простудился, мне нездоровится, и высокая температура мешает мне принять участие в зарисовках и писании сегодня и завтра в Колонном зале Дома Союзов, куда я получил пропуск.

Как бы мне хотелось влить в Вас хоть малую долю моей бодрости и энергии…»

21 декабря. Академик И. П. Павлов — в Совет Народных Комиссаров СССР.

«Революция застала меня почти в 70 лет. А в меня засело как-то твердое убеждение, что срок дельной человеческой жизни именно 70 лет. И поэтому я смело и открыто критиковал революцию. Я говорил себе: „Черт с ними! Пусть расстреляют. Все равно жизнь кончена, а я сделаю то, что требовало от меня мое достоинство“. На меня поэтому не действовало ни приглашение в старую Чеку, правда, кончившееся ничем, ни угрозы при Зиновьеве в здешней „Правде“ по поводу одного моего публичного чтения: „Можно ведь и ушибить…“

Теперь дело показало, что я неверно судил о моей трудоспособности. И сейчас, хотя я раньше часто о выезде из отечества подумывал и даже иногда заявлял, я решительно не могу расстаться с родиной и прервать здешнюю работу, которую считаю очень важной, способной не только хорошо послужить репутации русской науки, но и толкнуть вперед человеческую мысль вообще. Но мне тяжело, по временам очень тяжело жить здесь — и это есть причина моего письма в Совет…

Во-первых, то, что вы делаете, есть, конечно, только эксперимент, и пусть даже грандиозный по отваге, как я уже и сказал, но не осуществление бесспорной насквозь жизненной правды — и, как всякий эксперимент, с

неизвестным пока окончательным результатом. Во-вторых, эксперимент страшно дорогой (и в этом суть дела), с уничтожением всего культурного покоя и всей культурной красоты жизни.

Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. Если бы нашу обывательскую действительность воспроизвести целиком без пропусков, со всеми ежедневными подробностями — это была бы ужасающая картина, потрясающее впечатление от которой на настоящих людей едва ли бы значительно смягчилось, если рядом с ней поставить и другую нашу картину с чудесно как бы вновь вырастающими городами, днепростроями, гигантами-заводами и бесчисленными учеными и учебными заведениями. Когда первая картина заполняет мое внимание, я всего более вижу сходство нашей жизни с жизнью древних азиатских деспотий. А у нас это называется республиками. Как это понимать? Пусть, может быть, это временно. Но надо помнить, что человеку, происшедшему из зверя, легко падать, но трудно подниматься. Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем, насильственно приучаемым участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами, существующими и думающими человечно. И с другой стороны. Тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного человеческого достоинства.

Когда я встречаюсь с новыми случаями из отрицательной полосы нашей жизни (а их легион), я терзаюсь ядовитым укором, что оставался и остаюсь среди нее.

Не один же я так чувствую и думаю?

Пощадите же родину и нас».

Окна в ущелье двора загораются рано. Очень рано. В семь утра горят уже все окна. Потому что за каждым — семья. Если на чью-то долю и приходятся две комнаты, то непременно смежные при множестве живущих. Четыре квадратных метра на человека — «санитарная норма», о которой большинству нечего и мечтать.

В кухнях выстраиваются очереди у единственного замызганного крана. Постоянно хлопает дверь единственного туалета. Никаких ванных комнат, никаких иных удобств. Главное

— проскочить, с кипящим чайником в руке добежать до комнаты, на уголке заваленного всяческими домашними вещами стола (конечно, единственного — для еды, чтения, шитья, глаженья, уроков) проглотить бутерброды и — на улицу.

В нашей коммуналке — двое школьников, восемь взрослых. Тем большее чудо, что у злополучного крана все появляются уже одетыми, застегнутыми на все пуговицы, причесанными.

Ревут примуса. Коптят керосинки. Станет хуже, когда появятся домработницы. В каждой семье своя. Постель одной займет почти всю прихожую, постель другой — часть и без того тесной кухни. Можно бы обойтись и без них. Но как совместить работу с очередями, с толчеей в магазинах, с бесконечным «отовариванием» продуктовых карточек — выдачей месячных пайков. Размеры пайков зависят от должности на государственной службе. Это предмет постоянных расчетов. И просчетов. Волнений. Надежд. И разочарований. А прислуга — она не сто́ит почти ничего, лишь бы приютили, накормили, продержали в тепле после разора и голодухи в родной деревне.

Дусю Софья Стефановна встретила в домоуправлении. Как добрела сюда от вокзала, не могла вспомнить — отупела от голода и сиротства. Вышли из украинского сельца под Кривым Рогом всемером, осталась одна. Мать и младшенькие полегли по дороге. Не хоронила — просто закрывала родимым глаза и брела дальше. «На Вкраине» останавливаться было негде, а товарный поезд почти без остановок довез до Москвы. По-русски не говорила. Мешала украинскую речь с польской. Ко всем обращалась «пан», «пани» и не понимала, почему на нее начинали кричать. Как эта женщина за перегородкой, которой она протягивала замусоленную справку из сельсовета. Увидев Софью Стефановну, запричитала: «Ой, пани моя, лышенько мени…» Софья Стефановна на месте оформила документы: Дуся тут же стала «рабочим классом». Домой они вернулись вдвоем. Поздно вечером Дуся последней устраивалась на ночлег — в прихожей: чтобы никому не мешать. Утром первой вставала и прятала свой нехитрый скарб, тоже чтобы не мешать. С первой же получки пошла на почту, чтобы отправить посылку с продовольствием в село, где остались «дидусь» и хворая тетка. Но в Москве посылок с продовольствием не принимали, а за городом надо было предъявлять паспорт с московской пропиской. Поэтому Татьяна Ивановна в свободные дни отправлялась с Дусей на ближайшую железнодорожную станцию.

Дуся рвалась провожать «паненку» в школу («Боже ж мий, тьма яка!»). Но это было строго запрещено — надо быть как все. Только как все!

Улица встречает порывом ветра. Напротив — огни школы, но в ней учиться нельзя. По трамвайным путям, посередине улицы проходит граница двух городских районов. Можно учиться только в том, где живешь. Режим — с этого слова начинается жизнь.

Режимов множество. Паспортный. Трудовой. Школьный… В городе могут жить только те, кто там прописан. Даже женитьба на москвичке не дает права на заветную московскую прописку, а замужество предполагает выезд к мужу из Москвы. В паспорте заключено все. Номер, серия, таинственные пометки раскрывают перед проверяющим подноготную его обладателя. Поражение в правах, социальная принадлежность, подозрительные связи. «Товарищ» в ремнях и коже сразу понимает, как обращаться с владельцем паспорта и вообще заслуживает ли тот разговора. Слов нет, в Москве страшновато, но в ней никогда не будет настоящего голода (как-никак столица нашей Родины!) и всегда найдется работа.

Школьный режим — это учет нового поколения, настоящих «строителей коммунизма», безо всякого влияния «проклятого прошлого». Дело милиции — выявлять каждого шести-семилетнего ребенка и обеспечивать его приписку к школе. Дело учителя — не упустить ни одного ученика. По крайней мере, до окончания седьмого класса.

Бесполезно ставить плохие оценки лодырю и дебилу, бесполезно ссылаться на самое злостное хулиганство. Единственное средство воздействия — оставить на второй год, и то не больше одного раза. Но ведь каждый второгодник — укор учителю, свидетельство его низкого профессионализма и недостаточного старания. Показатели должны приносить честь — школе, району, городу, самому учителю. Знания? Это слишком долго, трудно и незаметно. Главное — вперед, всегда и только вперед. К Доске почета и званию передовика.

Школьный режим — это еще и внеклассное время. В первом классе каждому прикрепляется на грудь октябрятская звездочка с портретом «дедушки Ленина» посередине. Октябрятам нечего объяснять. Зато звездочка дает основание раз в неделю их собирать после уроков — для политразъяснений, для рассказов об их счастливом детстве и еще более счастливом будущем. И для песен. Хором!

Что мечталось и хотелось — все сбывается!
Прямо к солнцу наша радость пробивается,
Все разбудим — будим — будим,
Все добудем — будем — будем!
Словно колос наша радость наливается!

У октябрят есть не только учителя, но и вожатые. Институт вожатых связан с производством, с пролетариатом. К тому же каждая школа имеет своего шефа — завод, фабрику, которые выделяют своих лучших из лучших, обычно комсомольских активистов с бронзовой улыбкой и звенящими голосами. Никаких вопросов. Никаких сомнений. Никакого плохого настроения — откуда бы ему взяться? И между прочим — вопросы о маме и папе, родственниках, приятелях. Просто чтобы знать «свой контингент». Могут зайти домой — все с той же целью. Но обычно этим занимаются учителя. Это их в случае надобности расспросят старший вожатый, директор, представитель районного отдела народного образования. Ячейки проверяющей сети так мелки и плотны, что прорваться сквозь них практически невозможно.

В десять лет октябрятские звездочки заменяют пионерские галстуки, без которых приходить в школу нельзя. О таком нарушении порядка принято извещать родителей и — снижать оценку по поведению. Класс теперь становится отрядом, его делят на несколько звеньев. Выбирают звеньевых, председателя совета отряда и совет отряда. И редколлегию — каждый класс-отряд обязан ежемесячно выпускать стенгазету размером по меньшей мере в ватманский лист, а к праздникам — в два-три. И старосту. И санитаров. И знаменосца с ассистентами. Побольше пробужденных амбиций, ревности, невольной зависти — и с классом-отрядом становится легко «работать».

На ежемесячном сборе отряда класс выстраивается в коридоре или в зале. Отдаются воинские команды: «На вынос знамени смирно!», «Знамя вынести!» (конечно, под звуки горна и дробь барабана), «Сдать рапорт!», «Рапорт принят!», «Вольно!», «Разойтись!» Сколько ребят теперь хотят командовать, сколько впервые испытывают сладостное, пьянящее чувство власти! Пусть всего только над одноклассником. И снова пение. Строем!

Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы — пионеры, дети рабочих!
Близится эра светлых годов,
Клич пионера — всегда будь готов!

К чему готов — неважно. Главное — стадность. С точки зрения ответственных за воспитание. Зачем? Потому что повсюду враги. Враги, которые убили любимца народа товарища Кирова. Которые мешают коллективизации, индустриализации и многому такому, чего детскому уму не понять. Да, собственно, и не надо

понимать.

NB

1935 год. Январь. Из тюремного письма М. Н. Рютина.

«…События потрясают. Ум все занят разгадыванием загадок, шарад и ребусов действительности. Темно. Противоречиво. Непонятно. Эзоп и Апокалипсис, трагедия и пантомима, чудеса превращения и таинственное молчание… И в то же время только потому, что это совершенно непонятно, оно, наоборот, становится совершенно понятным. Диалектика! Тогда бессмыслица становится „смыслом“, ребус сам в себе обнаруживает ответ, а Апокалипсис оказывается откровением простого факта, что каждый должен знать „кузькину мать“. Весьма много странного… Прочел на днях статью Горького „Литературные забавы“! Тягостное впечатление! Поистине нет для таланта большей трагедии, как пережить физически самого себя! Худшие из мертвецов — это живые мертвецы, да притом еще с талантом и авторитетом прошлого… Человек духовно уже умер, но он все еще воображает, что переживает первую молодость. Мертвец, хватающий живых! Да, трагично!»

29 мая. Из тюремного дневника поэта Глеба Анпилова.

«Боже! сохрани мою память! Я хочу отбыть заключение для того, чтобы писать, писать и писать. Боже, сохрани мою голову!»

14 августа. Из дневника М. М. Пришвина.

«Какое бы ни было общество, социалистическое, капиталистическое, какое хотите, личность всегда должна противопоставляться массе, скажем, диалектически. Какое же ужасное состояние общества должно быть, если всякую попытку личности противопоставлять себя „массе“ принимают как контрреволюцию? А так было и так сейчас есть на практике».

* * *

Поседевшая «мраморная» обложка. Серые листы в обломках щепок. Перетертый карандаш… О том, что тетрадь существует, знали в доме все. Знали и то, что Лидия Ивановна несколько раз в жизни принималась за дневник, это было похоже на приступы болезни. На оборотах исписанной и списанной за ненадобностью амбарной книги вспоминала и мечтала — чтобы выдержать.

Второй приступ — после гибели мужа, после многих месяцев, проведенных на больничной койке, когда удалось получить место чернорабочей на заводе «Красный богатырь». Хотела удержать, снова пережить то, что было еще вчера их общей жизнью: события, люди, встречи.

Третий приступ пришелся на конец 1935-го. Потому что кругом стали исчезать люди. Исчезали и раньше, но теперь все начало сливаться в один нарастающий вал. Что-то навсегда уходило из жизни, стиралось. Кругом шептали: «Дневник в наше время — сумасшествие!» Она не спорила и торопилась — писать, поставив на обложке очередной тетради: «Заметки о днях».

«24/XII-35. Мне бы хотелось начать писать с 1/I-36 г., но, как видно, придется записать сейчас…»

Не надо старости, чтоб подводить итоги,
Предвидеть можно все и в тридцать лет.
Внимательно смотрю на разные дороги,
Среди которых главной нет…

«Чье это?» — Выпавшая из стола тетрадь случайно раскрылась. — «Рюрика Ивнева. Капитана из Эльсинора». — «Гамлетовского?» — «Конечно».

Так она назвала для себя гостя из дома в Красносельском переулке. Почему? Внутренняя выправка. Сдержанность. Взгляд «в бесконечность». И мягкость неожиданно счастливого пробуждения, когда, очнувшись от своих мыслей, откликался на обращенные к нему слова. Эльсинор — потому что рассказал о замке датских королей и каком-то герцоге, помнится, Христиане, с серебряным суставом деревянной ноги. О Ивневе говорили, что он «датских кровей». Псевдоним и в самом деле напоминал о скандинавских странах, викингах и скальдах. На самом же деле он был сыном царского офицера и дочери польского повстанца, окончившего жизнь в Сибири.

«А вы имеете представление о Рюрике Ивневе?» — В голосе

Лидии Ивановны звучит горечь. И, не припоминая, читает:

Все больше ветра и прохлады.
Пустынней стали эти дни.
И мы почти уже не рады,
Когда останемся одни…

«Он читал перед смертью Михаила у нас дома. Я по памяти записывала. Первый сборник стихов — „Самосожжение“ — он выпустил в 1912-м в Петербурге, первый роман — „Несчастный ангел“ — в 1917-м. Они с Есениным, Мариенгофом, Шершеневичем основали школу имажинистов. Вместе с Есениным приходил. Один раз засиделись допоздна — поздравляли Ивнева с вышедшим сборником „Любовь без любви“. Он читал. О душе».

Она могла бы так звенеть
И так дышать голубизною,
Мне больно на нее смотреть
И сравнивать ее с золою.
И некого мне упрекнуть,
Сам разжигал я это пламя…

Ивнева Лидия Ивановна случайно встретила в 1937-м. У кафе «Красный мак», на углу Петровки и Столешникова переулка. Замкнувшийся, «потускневший», он продолжал оставаться любезным. Лидия Ивановна сказала, что рада его видеть, что помнит его стихи. «А что-нибудь новое читали?» — «Нет. Наверное, пропустила». — «Не вы пропустили, а стихи не пропустили. В печать. В общем, я — бывший. Во всех отношениях».

Ивнев полез во внутренний карман пиджака. Долго перелистывал записную книжку, возился с рассыпавшимися листами. Потом старательно прочел: «„Поэзия Ивнева выражает идеологию упадочной мелкобуржуазной богемы, бегущей от революционной действительности и замкнувшейся в кругу интимных и пессимистических переживаний“. Вот так. Это — „Литературная энциклопедия“. Дальше, сами понимаете, ждать нечего»:

Не цепляйся жаркими руками
За фату зеленую ветвей.
Примирись, что угасает пламя
Обреченной юности твоей.

Не помогут стоны и молитвы
И животный крик до хрипоты…

Расстались неловко. Оба заторопились без нужды. Лидия Ивановна запишет: «Встретила Ивнева. Неужели и его ждет то же?!»

* * *

Впервые дни стали начинаться с газет. Огромные заголовки кричали о наконец-то проявившихся врагах народа, которыми оказались именно те, чьи речи и портреты только что были неоспоримыми, установочными. Зиновьев, Каменев…

После «Ленинградского дела» в январе 1935-го «вскрылось» дело «Московского центра». «Ленинградцы» уничтожили Кирова, «москвичи» им якобы сочувствовали. «Якобы» — потому что даже такие опытные иезуиты, как прокурор СССР Андрей Вышинский и следователь по особо важным делам Лев Шейнин, не смогли обнаружить ни этой связи, ни намека на «вражеские замыслы». Оставалось ограничиться формулировкой, что «москвичи» знали о террористических настроениях «ленинградской группы» и «сами разжигали эти настроения». Немного, но вполне достаточно для десяти лет заключения Зиновьеву и пяти Каменеву.

Было ясно, что это политический розыгрыш. Одна группа сменяла у власти другую. И без газет все знали: убийца Николаев был близким родственником Кирова (племянник?), вхож к ленинградскому вождю и выполнил спецзадание органов. Народная частушка не позволяла сомневаться:

Эх, огурчики-помидорчики,
Сталин Кирова убил
В коридорчике…

Последовавшие переименования подтверждали народную правоту. Улица Кирова, бывшая Мясницкая, — потому что по ней от Ленинградского вокзала к Красной площади двигался траурный кортеж. Кировский район Москвы — наскоро отрезанный от Ленинского. Город Вятка стал Кировом, потому что был родиной вождя. Хибиногорск на Кольском полуострове стал Кировском, потому что в качестве партаппаратчика вождь интересовался апатитами. Несколько городов по всей стране, включая Среднюю Азию и Азербайджан, и улица в каждом городе.

И еще пик на Памире, остров на Каспийском море, да мало ли других памятных мест.

Оказывается, страна и партия скорбели о Мироныче нисколько не меньше, чем десятью годами раньше о Ленине. И каждый раз скорбь означала начало террора. «Девятый вал», по выражению Кржижановского. Вал насилия, смерти и — антикультуры. Потому что к руководству ею были причастны все «москвичи».

Странная подробность. Каменев был женат на Ольге, сестре Троцкого, высылка которого из Советского Союза в 1930-м не сказалась на положении родственной четы. Товарищ Каменева-Троцкая занималась народным образованием, устроила в своей квартире литературный салон и искала дружбы «неофициальной» элиты. Несколько раз у Каменевых читал свои произведения Кржижановский. Отказ от подобного приглашения (его предупредили!) был чреват высылкой из Москвы. В лучшем случае…

Кржижановскому запомнилось множество хлопающих дверей. Вышколенная немая прислуга. Визгливый голос хозяйки. Ее мелькающие в крупных венах руки, унизанные кольцами и браслетами. Приказы. Замечания. Бесконечные рассказы об исключительной талантливости сына. Ссылки на мужа.

Проза Кржижановского для нее, по счастью, осталась непонятной. В разговоре с одним из руководителей Союза писателей она назвала ее «голодной абракадаброй» и «несозревшим писателем» просто перестала интересоваться… Но была ли проза Кржижановского непонятной для Льва Шейнина?..

Впрочем, дед сам определил происходившее: «Литература: борьба властителей дум с блюстителями дум». Борьба велась разными способами. Во-первых, поощрение амбициозных графоманов. На это работал творческий союз с его мощной поощрительной системой. Во-вторых, внедрение в тот же союз в качестве творческих личностей сотрудников органов. Издательства дружно публиковали сочинения Льва Шейнина.

В-третьих, пресечение небытием. Не печатать. Не обсуждать. Не упоминать. Все издательства и органы печати получали черные списки.

Каждый день рождения одного из членов семьи был на Пятницкой поводом для сбора близких. Законным. Не вызывавшим ненужных расспросов. Тем более день рождения внучки. На этот раз два мастера художественного слова — Закушняк и варшавская гимназическая подруга Татьяны Ивановны Наталья Куш — читали рассказы Кржижановского. Может, для того, чтобы его поддержать. Может, чтобы унять свою

тревогу.

У Натальи Куш была целая программа — «Воспоминание о будущем, или Роман о Максе Шретере, родившемся на берегах Волги». Варвара Квитко, пианистка немецкой школы, музицировала вместе с мужем, который был одним из первых психоаналитиков в стране. Он работал с членами правительства и через пару лет исчез — не вернулся от высокопоставленного пациента.

Квитко не любил, когда его называли доктором, не употреблял медицинских терминов. Обычно молчал. Но на выражение Кржижановского «девятый вал» отозвался: ерунда, это только начало. Для развития такого параноидального состояния понадобится пара лет. Предотвратить? Но кому же это выгодно? К тому же слишком рискованно. Все равно что сообщить самому пациенту диагноз. Не моя домена. Я снимаю напряжение. Но маховик закрутился…

«И вам кажется…» — «Мне ничего не кажется». — «Ваш прогноз…» — «У меня нет прогнозов. Просто первой будет культура». — «Почему именно она? Из-за их теории классового начала?» — «Они прекрасно знают, никакого классового начала нет. Тут другое. Настоящее искусство рождается в глубинах подсознания. Поэтому им нельзя управлять. Проще заменить. Достоевского — букварем. Слова те же. Книги по виду похожи. Зато результат…»

В комнатах на Пятницкой нет места для картин. Но есть три больших дагеротипа в широких черных рамах — Лев Толстой, Федор Достоевский, Иван Тургенев. Они висели в первой комнате. Потом перебрались в заднюю. Чтобы не было видно из прихожей, если дверь распахнется слишком широко. Для Дуси это старшие родственники, которых давно нет в живых.

NB

1935 год. Из тюремного письма М. Н. Рютина о романе А. Толстого «Петр I».

«…Вместо непрерывного прогресса обнаружились целые регрессивные эпохи… вместо коренных изменений человеческой природы — почти полная неизменность основных ее свойств — эгоизма, лицемерия, раболепства, тщеславия, властолюбия, вероломства и лживости, вместо господства логики — ее полное ничтожество… Для укрепления деспотизма, произвола, бесправия, для воспитания рабских чувств в стране Петр I сделал больше, чем все остальные цари вместе взятые. Петр может считаться подлинным основателем русского

абсолютизма и царской тирании».

5 декабря газета «Правда» опубликовала отзыв Сталина о Маяковском: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление».

* * *

Почти каждый день, возвращаясь из школы, Элигиуш заставал гостей. Мария Никитична никого не звала. Приходили сами. Будто по пути. Задерживались попить чаю. И поговорить. Не потому что хотелось обсудить новости. Просто чтобы пользоваться привычным языком, вычеркнутым из обихода говором «трудящихся».

Женщинам целовали руки. Непременно поднимались со стульев, когда те входили или вставали. Комната наполнялась удивительным теплом размеренной, неторопливой жизни. Ею наслаждались, как каплями старого, сохранившегося чудом на донышке бокала вина. Ценя и смакуя каждую минуту. Никаких газет — Мария Никитична их не терпела. Никакого радио — разве недостаточно ревевшего победными воплями и песнями посреди двора черного раструба? Страна обязана была с утра до ночи слушать свой первый хит, сочиненный для александровского кинофильма на немецкий манер «Веселые ребята»: «Широка страна моя родная, / Много в ней лесов, полей и рек, / Я другой такой страны не знаю, / Где так вольно дышит человек».

На этот раз очередной гость принес драгоценный подарок — билет на выставку Михаила Васильевича Нестерова. Не в Третьяковской галерее, где, казалось, ей место, — в Музее Александра III, или, как его стали называть, Музее изобразительных искусств. Всего три дня! Надо было спешить и не опоздать.

NB

1935 год. 24 апреля. Из письма М. В. Нестерова — М. М. Облецовой.

«Последний месяц для меня был очень суетливый: Бубнов (нарком) был у меня и уговорил сделать мою выставку. Я не любитель выставок, но в этом случае пришлось уступить с некоторыми условиями. Выставка должна быть „закрытой“ (бесплатной), для художников и приглашенных. Продолжаться должна только три дня,

причем я просил не возбуждать никаких ходатайств о наградах и проч. Все было принято. Выставка открылась 2 апреля. Пригласительных билетов разослано тысячи три-четыре, но т[ак] к[ак] их при входе не отбирали, то перебывало народу очень много. Бубнов продолжил выставку еще на три дня, и будто бы по одному пригласительному] билету проходило в последний день до сорока человек. Седьмого уже закрытую выставку посетил М. Горький, с которым мы не встречались тридцать два года. По всем признакам выставка имела успех. В печати появилась статья в „Правде“ и очень сочувственная в газете „Советское искусство“ и во „Французской газете“. Особенно осталась довольна художественная] молодежь…

Портрет Шадра (скульптора) уже в галерее, куда идет и „Северцов“ (он тяжело болен). Все эти мои приключения оставили на мне след огромной усталости (выставлено было всего шестнадцать вещей, написанных в последние десять лет)».

Пожалуй, это была первый раз так явственно проложенная демаркационная линия между «нужными», воспевавшими все, что предлагалось, и «ненужными», жившими по своей воле. К тому же на совести старого мастера было немало «прегрешений»: верующий, не скрывает своих убеждений и работает для ничтожных остатков православной церкви. «Видение отрока Варфоломея», или иначе явление пастушку Сергия Радонежского, «Пустынник» представляли ту Россию, которая истреблялась последовательно и неумолимо.

Художник не спорил, не доказывал — просто отстранился от собратьев по ремеслу, начавших деятельно сражаться за куски государственного пирога. Какая разница Александру Герасимову, который вскоре возглавит Союз советских художников, что писать — царские портреты, как он это делал до Октября, или вождей революции? Главное — успех. Нестеров же писал только то, что было ему внутренне близко. Картины писать стало невозможно — он перешел на портреты. И снова — «не тех» людей.

Но публика откликнулась именно на эту позицию. На выставку рвались с отчаянием обреченных. Здороваясь с дочерью старого знакомца Ивана Егоровича Гринева, Нестеров обратил внимание на сына. «Пробует заниматься живописью? Считаете, достаточно удачно? Непременно приходите с его работами ко мне на Сивцев Вражек. И не откладывайте. Мне семьдесят три — время, знаете ли, не терпит».

Никто не заметил, как в жизнь Элигиуша вошла живопись. Несмотря на музыку, несмотря на школу, для которой рисунки за сына делала Лидия Ивановна — слишком странными казались учителю цветовые сочетания ученика и его композиционные фантазии. Возможно, в этом была и ее вина. Судьба далекого «итальянского деда» не обладала такой реальностью, как жизнь Ивана Егоровича. И она торопилась с покупкой красок, альбомов, холстов, словно подсказывала и помогала.

На Сивцев Вражек они поехали на недавно открывшемся метро — до «погоста» храма Христа Спасителя, где уже возвышался макет будущего Дворца Советов с грандиозной фигурой Ленина, на тридцать метров протянувшего указующую руку в сторону Кремля. На деревьях пустынного Гоголевского бульвара проклевывались первые зеленые почки. В переулке прятавшиеся в густых садах особнячки перемежались с огромными доходными домами. Лидия Ивановна перечисляла: здесь жил Герцен, здесь Сергей Тимофеевич Аксаков, бывал Гоголь, написал первые страницы прозы Лев Толстой.

Бывший дом камер-юнкера Шаблыкина сохранил облицованный белым мрамором вестибюль, огромные дубовые двери, причудливую решетку широких лестничных перил. В квартире Нестерова прислуга. Непременный чайный стол с фамильным серебром. Пыхтящий самовар. Сам хозяин — худой, с венчиком длинных неседеющих волос вокруг сверкающей лысины. В белоснежной сорочке и тщательно завязанном галстуке под просторной бонжуркой. С лицом скорее ученого — не художника. Порывистый. Стремительный. И — внутренне успокоенный. Чуть отрешенный от той жизни, которая текла за стенами его жилья…

«Посмотрим-с, посмотрим-с. Недурно. Совсем недурно. Э, молодой человек, да вы отлично чувствуете цвет! Конечно, это самое начало, но продолжать стоит».

На следующий раз «молодого человека» ждал подарок — добротный этюдник. Им он будет пользоваться всю жизнь. Как добрым знаком и благословением.

NB

1935 год. 5 апреля в Ленинграде был арестован участник Международной конфедерации литераторов в Харькове (1930) писатель Иван Уксусов. После допросов с избиениями у Уксусова осталось восемь зубов. В августе последовал приговор: административная высылка в Сибирь на три года. Везли ленинградцев в Сибирь в пяти товарных зарешеченных вагонах. В

Свердловске сошлись девять эшелонов с репрессированными. Тюмень, станция назначения, не успевала их принимать. Заключенных заставляли выпрыгивать из вагонов, по часу стоять на коленях в грязи. Стоять на коленях было обязательно и на тюремном дворе.

16 мая в Москве над Центральным аэродромом разбился первый пассажирский самолет-гигант «Максим Горький».

* * *

Если войти в подъезд Большого зала Консерватории, прямо напротив входа, в полутьме, — несколько ступенек. Широкие двери. С забеленными масляной краской стеклами. В комнате с полукруглыми окнами рояли. Тяжелые шторы. Густая сетка тоненьких проводков с крошечными, как от карманного фонаря, лампочками. Электрический пульт. Рулоны бумажных лент с самописцами. По тому времени множество техники.

«Садись удобней. Сними напряжение. Высота? Положение рук? Ног? Спина? Кисти?» На каждом суставе руки крепится маленькая лампочка. «Играть будешь, не видя клавиатуры. Главное — техника! Начали!»

Два направления. Две жизненные позиции. Как еще не было и как уже было. Эксперимент против привычки. Обретение физического совершенства ради полноты и свободы внутреннего выражения — и добрые старые традиции.

Неуемному экспериментатору Григорию Петровичу Прокофьеву противостояло семейство Гнесиных, добропорядочных учителей музыки. Постоянное накопление навыков: больше гамм, больше этюдов, больше технической наработки. Таков путь к радости исполнительства — через безусловную безрадостность механического обучения. Труд — всегда усилие и насилие. Какая разница, в искусстве или нет. Значит, дисциплина, обязательства, которые старшие, учитывая юный возраст, должны внушать и заставлять выполнять. Рассчитывать на выработку привычки и покорности у несмышленышей смешно. Никаких чувств, никаких эмоций — порядок. И надежда. Надежда, что через много-много лет появится ощущение искусства и сформируется личность.

…Огоньки мелькают над клавиатурой. Быстрее. Медленнее. Еще быстрее. Почти замирая. «Подумай, подумай, что чувствуешь,

что должен передать инструмент. Звук соответствует не ноте, но только твоему чувству, твоему эмоциональному посылу».

Щелкают самописцы. Где-то в углу шелестит бумажная лента. «Стоп! Подытожим». Головы склоняются над записью. «Затруднение на суставах таком-то и таком-то. Подумать, как снять… Мышцы… Напряжение сухожилий… Сбой ритма… Перепроверим. Прошу еще раз сначала. Собралась? Сосредоточилась? Внимание! Начали!»

Формализм! Вот оно. И космополитизм. Потому что техника и потому что так еще у нас не было. Первое объяснение даст газета «Правда». Немногословно и безапелляционно. Лучшего примера нечего было и искать. Оставалось провести публичное разоблачение. Пусть при детях и на их примере.

На экзамене, для которого почему-то выделили зал в подвале огромного жилого дома композиторов на Миусской площади, все как на будущих политических процессах. Каждый ученик исполняет свой репертуар. И сразу дробь социологических терминов. Слова об идейной чистоте. О формалистических вывертах под влиянием разлагающего (уже разложившегося?) буржуазного искусства. О борьбе за незыблемость эстетических основ (чьих?). Да, мы не боимся этих слов — «каноны красоты». Они оказываются под угрозой благодаря внушаемому с самого раннего и беззащитного в идеологическом отношении возраста вольнодумству и внутренней независимости в искусстве.

Коронная речь Михаила Фабиановича Гнесина: «Советские дети должны выражать в искусстве не индивидуалистические пережитки, но то содержание, которое им укажут руководители нашей партии».

В этом же угрюмом подвале спустя пятнадцать лет будет отмечаться шестидесятилетие другого Прокофьева — Сергея. Полупустой зал. Радиофицированный специально для того, чтобы передать слова то ли захворавшего, то ли не захотевшего прийти на вечер композитора. В юбилейном концерте принимали участие только два музыканта — Нина Дорлиак и Святослав Рихтер (исполняли сюиту «Петя и Волк»). Других желающих не нашлось.

После полного «методического» разгрома экспериментальной лаборатории Григория Прокофьева родителям учеников предложили перевести детей в Гнесинскую школу. С повышением! На два класса! «Если бы при его способностях ваш ребенок оказался в настоящих руках!» Разгромы неугодных партии, прежде всего формалистов, всегда превосходно оплачивались. Существовавшее с 1895 года семейное учебное заведение (сколько их было в Москве!) в 1944-м доросло до ранга института, в 1990-х — до академии.

В словаре «Кто писал о музыке», изданном в 1974 году, они окажутся рядом в одном томе: ученица лаборатории и Учитель. Биографические справки. Перечень трудов. Но в статье об ученице не будет назван Учитель, как она того ни добивалась. В статье об Учителе ничего не будет сказано о единственной в своем роде школе фортепианной игры. Метод профессора Прокофьева, теория Прокофьева — о них перешептывались профессионалы и громко говорили за рубежом. А между тем это была такая же величина, как Станиславский в театре, как Павел Чистяков в живописи.

Станиславскому посчастливилось. В условиях режима его система приобрела официальный статус. Чистякову и Григорию Прокофьеву — нет, при почти полном совпадении их человеческих судеб. Оба начинали со студенческих лавров, преподавания в Академии художеств и Московской консерватории и закончили исключением из официальной когорты с тем же иезуитским приговором — казнью молчанием. Одного намека на нее достаточно, чтобы коллеги перестали упоминать имя в разговорах, авторы — дабы не вступать в конфликт с издательствами — изъяли из рукописей, ученики… но о них все давно сказало Евангелие.

Составитель словаря Израиль Ямпольский признал: давно пора вернуть Григорию Прокофьеву заслуженное место в истории мировой музыкальной культуры! Но — решил повременить с восстановлением справедливости. Конечно, главного идеолога советской страны Михаила Суслова вряд ли заинтересует фортепианная игра, однако лучше не рисковать, чтобы не ставить под удар десятки других имен.

…Один из тихих арбатских переулочков — Большой Афанасьевский — в ряду двухэтажных особнячков едва ли не самый скромный. Двойные двери — вход на первый этаж; крутая, невыносимо скрипучая лестница — на второй. В тесной темной прихожей круглая дубовая вешалка. Стойка для зонтов. Полка для обуви. За темно-вишневой шторой пустая комната с двумя роялями. Без мебели. На стене фотография в черной резной раме. Уверенный росчерк через всю карточку — знаменитая певица Аделаида Бельска, супруга графа Александра Денхейма Щавинского-Брохоцкого. Без этого титула кто бы разрешил «прекрасной Аделаиде» в 1901 году начать собирать деньги на памятник Шопену в Варшаве. Правда, только среди любителей-меломанов. И безо всяких публикаций в печати.

На карточке дата: 15 мая 1909 года. Молодой юрист и выученик знаменитого фортепианного класса Константина Игумнова Григорий Прокофьев был в Варшаве с концертами,

когда певица праздновала свою победу. Международное жюри, в составе которого был сам Бурдель, присудило первое место работе Вацлава Шимановского. Конечно, многие не приняли «крайнего» решения. Многие просто протестовали. Дело затянулось, и памятник был открыт только в 1926-м в Лазенках. Об этом расскажет супруга профессора.

В комнате на Большом Афанасьевском правый рояль — для учеников, левый — для профессора. Он слушает игру питомца лаборатории из-за портьеры — чтобы не смущать. Иногда портьера распахивается, профессор садится за свой инструмент и продолжает пьесу — словно раскрывает то, что может рассказать самый незамысловатый этюд Гермера-Черни. «Вот, слышишь, что в нем заложено? А можно и не так, а совсем иначе. Слушай же себя, слушай!»

NB

1936 год. 17 января председателем только что образованного Комитета по делам искусств назначили П. М. Керженцева.

28 января в газете «Правда» была опубликована редакционная статья «Сумбур вместо музыки» — о поставленной в Большом театре опере Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Обличалось «левацкое искусство», которое «вообще отрицает в театре простоту, реализм, понятность образа, естественное звучание слова». Все это рассматривалось как «перенесение в оперу, в музыку наиболее отрицательных черт „мейерхольдовщины“».

6 февраля в «Правде» появилась редакционная статья «Балетная фальшь» — о балете Д. Шостаковича «Светлый путь». Тем самым было положено начало «дискуссии о формализме и натурализме в искусстве».

20 февраля «Правда» вышла с редакционной статьей «Какофония в архитектуре», направленной против конструктивизма и «формализма» в зодчестве.

1 марта в «Правде» была опубликована редакционная статья «О художниках-пачкунах».

18 июня 1936 года умер Максим Горький.

Сквозь годы, как наваждение: квадрат солнца на красном полу. Квадрат в клетку. На облупившихся досках. Скользящий.

Иногда — почти незаметно. Иногда — непонятно быстро… Под разбросанные в беспорядке стулья. Гнутые. Венские. С вздувшейся фанерой круглых сидений. Под пузатую ножку рояля с нечищеным башмачком-колесиком. Под давно отказавшую, зазеленевшую педаль…

«На лето? Задания не будет». Слова падают скороговоркой: «Ты одна?» — «Да. Нет. С бабушкой». Елена Самойловна Эфрусси идет к двери. Не оборачиваясь.

Волосы цвета воронова крыла. Туго стянутый на пробор низкий пучок. Черная кофточка поверх белой блузки. Старая камея. Тоненький прочерк перестиранных манжет. Кисти рук — крупные, смуглые. С длинными, чуть согнутыми пальцами. Первая учительница. Первый шаг в школе профессора Прокофьева.

…Квадрат скользит, расчерченный клетками мелких оконных рам. К медному почерневшему листу у печки. Мимо уложенных на табуретке пальто. Цепляясь за резиновые ботики с натекшей лужицей. Клетки вздрагивают. Ломаются…

Все только начиналось. Рука на клавиатуре. Одна. «Мягче кисть. Еще мягче. Пусть лежит, как на коленях. Расслабься. Никакого напряжения. Видишь, за окном дождь. Мокрые листья. Брызги из-под колес. Шумно. Холодно. А здесь тепло. Тихо. Пыль в луче. Струи на стеклах. Все по-другому. Пусть нота всего одна — она и о том, и об этом может рассказать. Главный твой инструмент — ты сама. Слушай себя, а инструмент отзовется. Слушай себя!» Рано для шести-семи лет? Но вот запомнилось же. На всю жизнь.

…Квадрат шевелится. Пробует взобраться на рояль. На рояльной крышке царапины. Глубокие. Врезанные. Будто открывали замок без ключа.

«Техничка» тетя Клаша украдкой проводит рукой: «Беда-то какая! Отец Василий бы уж как огорчился. Порядок любил. Чистоту». Отец Василий — это Михаил Фивейский. Это его квартира. И весь дом, из красного кирпича, в два этажа, — церковный. Николы Чудотворца в Толмачах.

За окнами облезлый куб. Без крестов. Замызганные стекла за церковными решетками. Стены в черных потеках. Запасник Государственной Третьяковской галереи. Отец Василий — бывший настоятель. Может, вообще бывший… В церковном доме — музыкальная школа Ленинского района столицы.

«Школу устроили!» Тетя Клаша смахивает с рояля пыль. «На нем барышня Татьяна Михайловна играла. Поповна. У самого Потоцкого уроки брала. А рядом отец дьякон жил — там у него пианино, для барышень, Зинаиды Петровны и Любови Петровны.

Не только что сами играли. Детишек обучали. Бедных. Задаром. Батюшка ихний тоже у Николы в Толмачах служил. И у псаломщика на первом этаже пианино. Там петь собирались. А эти, вишь, школу объявили. На чужом добре чего проще». — «А где же все те?» Тетя Клаша накидывает на голову черный в белую крапинку ситцевый платок. Стягивает узлом, глядя в пол: «Выходит, нету, коли ваша школа…»

Выходит, нету… И Экштейнов из соседнего, 8-го, по Малому Толмачевскому, дома с фабричкой металлических изделий, где слесарил муж тети Клаши, нету: «У них вон какая торговля в Большом Златоустьинском переулке-то была!» И Протопоповых нету — их дома полпереулка занимали. Прямо от Канавы. «На всю Москву славились — о слепых заботились, приюты их содержали. Доктора знаменитые у них квартиры снимали. Гриневецкий Болеслав Иванович и супруга ихняя Болеслава Ивановна. Она зубы лечила. Они из Варшавы».

Нет церковного старосты Проскурнякова, что дом имел в Большом Лаврушинском, стенка в стенку с демидовским дворцом. «Торговый дом по кожам у них с папашей был. Андреевскую купеческую богадельню за Калужскими воротами опекал — денег не жалел».

Тетя Клаша не права: не наша школа. «Мы» — лаборатория Прокофьева — сиюминутные и уже почти бывшие.

Символ веры нашего режима — ложь. Формула оправдания для всех — «если бы не обстоятельства»… Идеологический пресс. Страх. Цензура. Человек хочет выжить, но может просто не рассчитать. Слишком сложны хитросплетения жизни.

…Разговор в коридоре шелестит, шелестит. Елена Самойловна возвращается. Собирает ноты. «С осени у тебя будет другая учительница». — «Но почему?» — «Будет приходить домой…» — «Почему?» — «Так удобней. И… безопасней». — «Как безопасней?» — «Нам больше не разрешают работать». — «С нами?» — «И с профессором». Учительница отводит глаза.

* * *

«Вот и замечательно, что откликнулись на нашу открыточку. А летние работы молодого человека захватили? Михаил Васильевич интересовался — он только что из Колтушей». — «Из Колтушей? Но академик Павлов…» — «Да, да, Иван Петрович скончался еще в январе, но семья настояла. Им с Нестеровым легче. Да и кое-что в портрете тронуть надо было».

…Яркий летний день. Солнечные блики скользят по

тоненьким витым чайным ложечкам, ложатся на ризы икон в большом киоте, за зеленью разросшегося рододендрона. Парусом вздувается прозрачная кисея на приоткрытом от уличного жара окне. Екатерина Петровна, супруга художника, подходит к двери, трогает ручку.

«Так от чего же не стало Павлова? Возраст? Сердце?» — вежливый вопрос одного из гостей. Все знали, что художник и физиолог были дружны. В голосе Нестерова срывающиеся ноты: «У него до конца оставалось отличное сердце. Никаких эксцессов». — «Значит, возраст». — «Иван Петрович был моложе пятидесятилетних!» — «Тогда что говорит профессор Галкин? Он столько лет лечил академика. Говорили даже, что его ученик». — «Да, лечил, да, ученик. Но не было Галкина и вообще никого не было, даже близких!»

Тишина. Тикают часы. Где-то шумит улица. Тревога — она словно выползает изо всех углов. Тревога и неуверенность. «Ничего особенного не было. Простуда. Из Москвы, как узнали, прислали кремлевских специалистов. Всех привычных, своих — вон! И вот…»

Через несколько лет, за час до смерти профессор Галкин выдавит из себя роковое слово: «Убили…»

«Серафима Васильевна, супруга Ивана Петровича, сказала, что 8 декабря 1935-го академик отправил еще одно письмо Молотову. В Ленинграде что ни ночь машинами людей в Кресты вывозили. За одних, как всегда, головой ручался. За всех вместе просил. Молотов ответил. Мол, отдельные факты проверим, в остальном советская власть ошибаться не может. Одернул Ивана Петровича. Зло одернул. А через месяц его не стало… Серафима Васильевна сказала, что на моем портрете он будто готовиться начал к новому письму. Молчать бы все равно не стал. И копию молотовского ответа мне дала, после которого сон потеряла. Вот». И Нестеров читает:

> «Академику И. П. Павлову.
>
> Ваше письмо от 21 декабря Совет Народных Комиссаров получил. Должен при этом выразить Вам свое откровенное мнение о полной неубедительности и несостоятельности высказанных в Вашем письме политических положений. Чего стоит, например, одно противопоставление таких представительниц „культурного мира“, как империалистические державы — Англия и Соединенные Штаты, огнем и мечом прокладывавших себе путь к мировому господству и загубивших миллионы людей в Индии и Америке, так же

и теперь ни перед чем не останавливающихся, чтобы охранять интересы эксплуататорских классов, — противопоставление этих капиталистических государств нашему Советскому Союзу, спасшему от гибели миллионы людей путем быстрого выхода из войны в 1917 году и провозглашения мира и успешно строящему бесклассовое социалистическое общество, общество подлинной высокой культуры и освобожденного труда, несмотря на все трудности борьбы с врагами этого нового мира.

Можно только удивляться, что вы беретесь делать категорические выводы в отношении принципиально-политических вопросов, научная основа которых Вам, как видно, совершенно неизвестна. Могу лишь добавить, что политические руководители СССР ни в коем случае не позволили бы себе проявить подобную ретивость в отношении вопросов физиологии, где Ваш научный авторитет бесспорен…

Копии Вашего письма и моего ответа мною посланы президенту Академии наук А. П. Карпинскому».

У Нестерова дрожат руки. «А насчет вмешательства… Не знаю, как с физиологией, а с искусством все совсем не так. Выставка к 20-летию революции — вся расписана по темам, каждая будущая картина уже куплена. Сначала солидный аванс, после окончания холста — расчет. И название выставки готово. „Индустрия социализма“».

Кто-то вспоминает темы — к такому, знаете ли, надо привыкнуть: «Колхозники читают Сталинскую Конституцию», «Доклад товарища Сталина на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов», «Партийная чистка», «Брат-предатель». Но, конечно, всех опережает Александр Герасимов. У него целых две темы, и самых дорогих по расценке: «На совещании у товарища Серго» и «Награждение Серго орденом Ленина». Лидия Ивановна не может сдержаться: «Этот фельдшер?!» Ее останавливают: «Второй Киров».

«А вы, Михаил Васильевич?» — «Что я? К подобным темам не тщусь, а мои им не нужны. Вот и нашего молодого человека хочу порекомендовать Аристарху Лентулову. Лентулов и преподавать умеет, и к молодому поколению ближе…»

NB

1936 год. 20 июля. С аэродрома в Щелкове вылетел на Дальний Восток самолет АНТ-25, пилотируемый Чкаловым, Беляковым и Байдуковым. Полет кончился на

острове Удд.

15 августа газета «Известия» сообщила о предании суду Каменева, Зиновьева и других. Уже на следующий день во всех газетах были опубликованы резолюции митингов рабочих, колхозников, ученых, деятелей культуры, партактивов и партсобраний, единоличные и коллективные письма с требованием уничтожить «гадов» и выражением личной преданности товарищу Сталину.

Суд проходил в Октябрьском зале Дома Союзов, в присутствии иностранной прессы.

18 августа газета «Известия» опубликовала письмо:

«Из Парижа. Председателю Совнаркома. Несмотря на то, что обвиняемые — Зиновьев и его товарищи — всегда были злейшими врагами Социалистического интернационала и Международной Федерации профсоюзов, мы не можем воздержаться от просьбы, чтобы им были обеспечены все судебные гарантии, чтобы им было разрешено иметь защитников, совершенно независимых от правительства, чтобы им не был вынесен смертный приговор и чтобы, во всяком случае, не применялась какая-либо процедура, исключающая возможность апелляции. Председатель Международной Федерации профсоюзов Ситрин».

Осень. Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) был преобразован в Соловецкую тюрьму особого назначения (СТОН).

Софья Стефановна сама настояла на покупке: уголок бывшей богатой дачи, клочок земли с десятком деревьев. Клумба с расчехрастой елкой посередине. Песок. Свист паровозов… Малаховка.

Причин для покупки множество, но не о всех она скажет даже дочери. У Татьяны Ивановны работа, она ведет в Горной академии курс электрических машин, мечтает написать учебник, ее пригласили во Всесоюзную угольную академию читать лекции для руководящих работников.

Приезжать в Малаховку знакомым проще, чем на Пятницкую. После нэпа стало принято выезжать летом «на дачу» — снимать комнатушку без удобств за городом, ютиться на раскладных кроватях, готовить еду на примусах в той же клетушке или под открытым небом. Зато можно отдохнуть от коммуналок.

По субботам и выходным дням развешивают гамаки. Выносят в садики столы для обедов и чаепитий. Приглашают знакомых. Заводят патефоны. Непременно во что-то играют. И толпами прогуливаются по соседним улицам.

Софья Стефановна приобрела этот дом зимой, когда верхушки заборов еле виднелись над пышными сугробами и хлопья снега падали от одного звука голоса, спугивавшего стаи синиц и красногрудых снегирей. К дому вела узкая тропка, и в соседних домах еще не зажигались первые огни. Улица носила название Тургеневской. На огромной террасе одной из ее дач едва родившийся Художественный театр играл свою «Чайку». Тезавровский бесконечно повторял подробности не слишком понятного зрителям спектакля, с которого начинал свою работу на сцене.

Улица заканчивалась огромным деревянным театром с колоннадой посередине публичного сада. До революции там играли все столичные труппы и выступал с концертами Шаляпин. Теперь славившийся когда-то цветниками сад был вытоптан. На месте розария сколочена танцевальная площадка, где вечерами надрывался крошечный оркестрик и кружилась в вальсе и вальсе-бостоне молодежь — фокстроты, танго, как и все западные танцы, были строжайше запрещены. В театре свистел ветер — дощатые стены рассохлись. В ложах бархатная обивка кресел совсем протерлась. В партере вместо кресел стояли скамьи. Звук хрипел. Кадры на экране часто шли густой рябью. В день было три сеанса. Фильм менялся каждый понедельник. Никаких лент, кроме советских, к прокату не допускалось.

В круговороте летних малаховских будней, казалось, терялись те, кому было опасно находиться в Москве. О столице напоминал целый город детских домов, в том числе для детей врагов народа. Случалось, родители успевали сказать им, чтобы они покинули Москву, своим ходом добрались до малаховского приемника и объявили себя сиротами, потерявшими всех родных.

Раскрыть такой секрет ничего не стоило. Директор детского дома Елена Ивановна Шелапутина не хотела этого делать. Потомственная учительница (ее отец преподавал в малаховской гимназии — когда-то существовала и такая), она не имела собственной семьи и жила теми, кого судьба лишила родителей. Она просто молчала. Просто не задавала вопросов.

* * *

Александр Таиров заказал Сигизмунду Доминиковичу

инсценировку «Евгения Онегина»! Приближался столетний пушкинский юбилей, и намечались какие-то неслыханные по размаху торжества. Одновременно с процессом Каменева и Троцкого. Роль Татьяны предназначалась Алисе Коонен, и на первой же читке в Камерном театре стало ясно, что пьеса получилась.

Конечно, одобрения постановщика и труппы было недостаточно. Надо всем происходящим в искусстве довлела в качестве первой ступени цензуры — наука! Пушкиноведы должны были сказать свое веское слово о «соответствии духу великого поэта» каждой строчки драматурга. Самое удивительное, что они делали это с усердием рецензентов фундаментального научного труда. Одно имя сменялось другим: Сергей Бонди, Михаил Цявловский, Викентий Вересаев…

Казалось, у Кржижановского лопнет терпение. Его успокаивали всей семьей. Репертуарный комитет согласился на четвертый по счету вариант, худший по сравнению с первым. И все же художник Осьмеркин уже делал эскизы декораций и костюмов. Сергей Прокофьев, оказавшись на очередной читке, тут же сел за рояль и начал писать музыку к спектаклю, искать свое собственное (и это после Чайковского!) решение. Партитура была готова через две недели.

Гром грянул там, где его меньше всего ждали. Таиров ставил комическую оперу Бородина «Богатыри». Неожиданно приехавший на репетицию Молотов возмутился формой бурлеска. «Богатыри» были запрещены к постановке. По городу поползли слухи о закрытии театра.

Таиров попытался спасти положение — начал срочно репетировать «Детей солнца» Горького. Имя великого пролетарского писателя выручило и на этот раз. Но от «Евгения Онегина» руководитель Камерного театра отказался наотрез.

* * *

Лидия Ивановна не верила своим ушам. Ее сын? Элигиуш? Но в голосе директора школы звучало — и это было самым необъяснимым — откровенное торжество. «Исключен из школы. За хулиганство. Чтоб духу его больше не было!»

В тринадцать лет? Но что он мог сделать? Лидия Ивановна настаивала на подробностях. Оказывается, какой-то девочке-активистке показалось, что он что-то прошептал в спину учителя. «Да, она не может утверждать наверняка, но это и не имеет значения, — вещала директор. — Мог просто подумать. И вообще

нужно ли вашему сыну заканчивать школу? Вы же понимаете, у него нет никаких перспектив в отношении высшего образования».

Мария Никитична не удивилась. Не стала сетовать. Пожала плечами: «Сходила бы с ним в театр. Лучше к Мейерхольду. Вам обоим пойдет на пользу. А там — будет видно». Белополяк, итальянец, история с отцом… Хорошо, что не сделали более кардинальных выводов. Ну и бог с ней, со школой. Мальчик станет музыкантом или художником. Но Мария Никитична не подумала о длинной и неизбежной цепочке. Перестав быть учеником «образцовой» школы, внук лишался права учиться и в музыкальной школе, работавшей по вечерам в том же «образцовом» здании. Неужели подростку придется отказаться от своих увлечений, надежд?..

К Мейерхольду действительно можно было прийти в любой день. Всеволод Эмильевич присутствовал на всех спектаклях своего театра, не спускал глаз со своих актеров! Этот огромный человек с длинным худым лицом и огромным носом всегда находил для мальчишки добрые слова. Элигиуш видел все мейерхольдовские постановки. Его завораживали фантастические пространственные построения на открытой сцене, зеленые и розовые парики, буффонные костюмы, пластика актеров. Репертуар был классический — «Лес» Островского, «Ревизор» Гоголя, «Дама с камелиями» Дюма-сына…

Бывший Театр Обозрений представлял собой узкую кирпичную щель, вмещавшую и зрительный зал, и площадку. Но сначала был Театр А. Зона на Триумфальной площади, где теперь существует придуманный «Дом Ханжонкова». Первое пятилетие труппы праздновалось едва ли не всей страной. Юбилейный комитет возглавляла Клара Цеткин, в него входили также Луначарский, Станиславский, Михаил Чехов, Маяковский, доктор Семашко, Карл Радек, журналист, «превратившийся» вскоре во врага народа, «первый кавалерист страны» Семен Буденный, многие партийные и государственные деятели. Торжества длились три дня. О Мейерхольде много спорили, одни его признавали, другие не принимали категорически.

Переезд труппы в Театр Обозрений был связан с начавшейся реконструкцией главной улицы Москвы — Тверской, переименованной после смерти Горького в проспект его имени. Дома сносились, передвигались, надстраивались. На Триумфальной площади предполагалось возвести здание для Мейерхольда. Но пока, помещение для репетиций приходилось арендовать в подвалах банковской улицы — Ильинки, где когда-то хранились капиталы России. Ни дневного света, ни воздуха…

Лидии Ивановне показалось, что в лице Мейерхольда что-то

изменилось. Скованные скрытой гримасой губы. Даже рука на плече — не подхватывающая, а скорее опирающаяся. Может, просто показалось — от собственных неприятностей? На ничего не значащий вопрос о самочувствии Лидия Ивановна неожиданно для себя самой разоткровенничалась о школьных проблемах Элия. Мейерхольд задумался, достал листок из кармана пиджака, написал номер телефона: «Сходите, я предварительно позвоню. Должно обойтись. Как все нелепо…»

В тот раз шел «Лес». Но Аркашку Счастливцева играл новый актер; любимец Всеволода Эмильевича Игорь, Ильинский предпочел оставить вырастивший его театр. Заблаговременно. Интуиция не подводила будущего народного артиста СССР никогда.

NB

1936 год. 19 декабря. Из ежедневных докладных записок сотрудницы 2-го Западного отдела ВОКСа Д. Каравкиной, обслуживавшей Леона Фейхтвангера во время его пребывания в Москве. Гриф: «Не подлежит оглашению».

«…Рассказывал о своем, визите к Димитрову. Принимал его у себя дома, к ужину. Ездил специально, чтобы говорить о процессе троцкистов. Сказал, что Димитров очень волновался, говоря на эту тему, объяснял ему полтора часа, но „его не убедил“. Потом Фейхтвангер сообщил мне, что за границей на этот процесс смотрят очень враждебно: что его ставят на одну доску с процессом о поджоге рейхстага, что „никто“ не может понять, как 15 „идейных революционеров“, которые столько раз ставили свою жизнь на карту, участвуя в заговорах против вождей, вдруг все вместе признались и раскаялись…»

27 декабря. Там же.

«Сегодня был трудный день, так как Фейхтвангер поспешил излить на меня свое негодование по поводу статьи о Жиде (которую написал для газеты „Правда“). Вот, мол, и оправдываются слова Жида о том, что у нас нет свободы мнений, что нельзя высказывать своих мыслей и т. д.

Мехлис предложил ему переделать некоторые места, в частности о „культе“ Сталина. Я ему объяснила, в чем суть отношений советских народов к тов. Сталину, откуда это идет, что совершенно ложно называть это „культом“.

Он долго кипятился, говорил, что ничего не будет менять, но, когда пришла Мария Остен, он уже остыл, смирненько, сел с нею в кабинете и исправил то, что она просила, за исключением фразы о „терпимости“, которую ни за что не хотел выбросить».

* * *

Пушкин. У каждого советского школьника с этого имени начался новый учебный 1936 год. Страна готовилась к столетию смерти поэта. В связи с этим по школам разослали предписания: каждый школьник обязан выучить одно пушкинское стихотворение. В задании отчитались на уроках все, часто не понимая ни смысла стиха, ни тонкостей поэтического языка. У учителей, на объяснения просто не было времени. Достаточно было дежурных фраз о совершенстве и красоте, которые следовало вызубрить наизусть для обязательного ответа.

В этом же учебном году открылись сотни новых школ. Приказ «сверху» предписывал бросить все силы на «счастливое детство». Рушились старые здания, прежде всего церкви. Именно на их месте чаще всего возводились типовые четырехэтажные коробки. Серые или красные. С крашеными дощатыми полами. Широкими двухпролетными лестницами по двум сторонам здания. Еще более широкими коридорами — для «перемен». Грузными, выкрашенными охрой партами с хлопающими тяжелыми крышками и гнездами для чернильниц-«непроливашек» и ручек. Обязательными портретами Ленина и Сталина в рекреационном зале, в буфете, в каждом классе, кабинетах директора и заведующего учебной частью. Исключение составляли физкультурный зал и два кабинета — химический с Менделеевым и Бутлеровым и физический — с Яблочковым и Ломоносовым.

Никаких отклонений. Никаких фантазий. Даже стенные газеты были однотипными — с непременной Спасской башней, Мавзолеем и фотомедальоном по образцу античных камей — наложенные друг на друга профили Ленина и Сталина. Цветы на окнах представлялись излишеством, если только это не кабинет биологии. В библиотеке проверенный-перепроверенный набор книг (книжные коллекторы, формировавшие библиотеки, хорошо выполняли цензурные функции), но и те выдавались с обязательной надбавкой — брошюрой или книжкой о героях-пионерах, разоблачающих врагов народа, героически работавших на колхозных полях, участвовавших в Гражданской войне. В формуляре каждого малолетнего читателя должны были

присутствовать политические опусы, чтобы библиотекари могли отчитаться: спрос на подобного рода «правильную» литературу очень высок.

Дорога в школу — дорога через «не хочу». Мимо хиреющего татищевского сада с вековыми липами и зарослями шиповника. Мимо поповского домика, отданного зубному врачу Розенблюму, которому даже разрешили частную практику. Все равно поповская семья исчезла и — никто не сомневается — не появится больше никогда. Мимо церковного двора, выложенного желтыми каменными плитами посреди буйных зарослей кустов сирени с вечно привязанными веревками для белья. Уже несколько лет как огромная церковь Троицы в Вешняках превращена в рабочее общежитие.

За церковью ютится сквер с разбросанными по газонам белокаменными плитами — надгробными памятниками времен Петра I и императрицы Елизаветы Петровны. Тогда каждая приходская церковь имела собственный погост, и прихожане жили бок о бок с родными могилами. Вплоть до чумы 1771 года, когда решением Екатерины II все кладбища были вынесены за черту города.

На скверике все плиты обколоты, частью выворочены. Некоторые глубоко ушли в землю. Припорошенные грязью и временем строки невозможно прочесть. Древний псаломщик — единственный из клира оставшийся на старом месте скорее всего из-за полной немощи, — увидев остановившуюся у плиты девочку, объясняет ей тайны славянской вязи. Псаломщик появляется здесь в утренних сумерках, чтобы убрать человеческие экскременты за колоннами храма — они давно используются всеми прохожими вместо общественного туалета.

И еще переулок. Особняк, превращенный в детский дом. Пустой, разъезженный колеями двор у заднего фасада школы. Наконец, сама школа — казарма, в которой следует отслужить свой срок.

«На ком мы остановились? Кто следующий отвечает стихотворение? Быстро, быстро! Иначе никогда не кончим!» Учительнице литературы Наталье Николаевне Недович, наверное, есть что сказать и о Пушкине, и о поэзии. Она окончила Высшие женские курсы, замужем за известным искусствоведом Дмитрием Недовичем, автором не оставшегося без отклика труда о Лаокооне.

Но ребят слишком много — почти сорок человек в классе! Еще больше тетрадей с домашними заданиями и диктантами, которые надо ежедневно проверять. Наталья Николаевна давно убедилась: ученикам русская литература неинтересна. Впрочем,

условия пушкинского конкурса достаточно просты (а есть еще и всесоюзный конкурс!) — выбрать от каждого класса по одному человеку, в декламации которого был бы хоть малейший смысл.

Дальше «выборные» прочтут свои стихотворения в кабинете по химии — там есть возвышение, на котором показывают опыты, — и все учителя вместе отберут несколько человек для районного смотра. Главное, чтобы твердо знали текст. Конвейер юбилейных торжеств запущен и должен безотказно действовать. «Охват» — вот что важнее всего. Весь советский народ боготворит своего поэта. Весь советский народ в своем стремительном культурном развитии (разве недостаточно двадцати лет?) дорос до глубинного понимания его творчества. Символ советской культуры — томик пушкинских стихов в руках в минуты отдыха.

Городской и Всесоюзный туры конкурса юных чтецов пришлись на январь 1937-го — начало самых страшных «вороньих» ночей. «Черные вороны» с арестованными зловеще кружили по московским улицам в ночных сумерках. Пушкин заменил и перекрыл всех остальных русских поэтов и писателей — икона, поставленная в красный угол новой советской избы для обязательного крестного знамения.

* * *

Мейерхольд сдержал слово. Записка и звонок сделали свое дело: внуку краковского дирижера удалось вернуться в советскую трудовую школу. Конечно, другую. Само собой разумеется, худшую — в отношении помещения, оборудования, состава учителей. Директор внимательно изучил поступившее из районного отдела народного образования «дело». Задал Лидии Ивановне несколько вопросов об отце и дедушке мальчика и сказал: «Значит, так. Надеюсь, вы понимаете, что ему надо быть ниже травы, тише воды». — «Почему?» — «При таком происхождении! Если бы не ваши покровители…»

Тревога росла сама по себе. День ото дня. Самые худшие ожидания оправдались. Против Мейерхольда ополчилась пресса. Руководивший культурой Платон Керженцев, десятью годами раньше во всем разделявший позицию режиссера, теперь полностью осознал, как вредны для народа его идеи. Наступление было развернуто по всему фронту, и, пожалуй, только сам Мейерхольд не догадывался о смысле происходившего.

Об этом говорила вся Москва. Театральная. 25 мая 1937-го в мейерхольдовском театре обсуждалась очередная статья из газеты «Правда». Мейерхольда обязали выступить публично с «критикой

и самокритикой». Режиссер недоумевал: по какому поводу? Что-то пытался сочинить и записать на бумажке. Подсказывал секретарь партийной организации — подлинный хозяин труппы. Укрепить ряды. Сплотиться. Усилить бдительность. Следовать программе партии. Оправдать доверие. Доказать на деле…

Все это было сказано на только что состоявшемся Пленуме Центрального Комитета партии. Так говорили всюду и по любому поводу. Мейерхольд терялся, не видя практического смысла: что я должен делать, как удержать здание строящегося театра?

…Третий переулок от театра вверх по Тверской — улице Горького. Собственно переулка со стороны улицы не осталось. Новый дом оставил для его вылета только узкую арку. Сразу за аркой четырехэтажный дом с широкими окнами. Зелень старых деревьев в крохотном квадратном дворике. Тишина тихого светлого подъезда, напоминавшего поликлинику. Или больницу. На площадке две двери под номерами «11» и «11а». Те, кто шел к Мейерхольду, звонили во вторую. Открывал обычно он сам. Через крохотную прихожую проводил в свою комнату.

Голые стены. Несколько книжных шкафов. Вместо стола — чертежная доска на высоких козлах. Доска была особенной — на ней работал архитектор Иван Рерберг, построивший соседнее здание Центрального телеграфа на Тверской и этот самый кооперативный актерский дом, куда Мейерхольд перебрался в конце 1920-х годов. Когда архитектора не стало, Мейерхольд выпросил доску у вдовы — так было удобнее работать над чертежами будущего собственного театра. Еще — старое кресло, обитое тисненым розовым шелком. У стены покрытая золотистым покрывалом деревянная кровать — рабочая комната режиссера служила и семейной спальней. Чем меньше это бросалось в глаза, тем лучше.

Зато в соседней — «желтой» — комнате непонятным образом умещались обеденный стол, стулья карельской березы, диван, тахта, буфет, этажерка, трюмо, рояль и письменный стол. Зинаиды Райх. Другого собственного уголка в квартире актриса не имела — в двух остававшихся маленьких комнатках размещались ее дочь и сын от Есенина. В памяти остались висевший на стене портрет Райх и картина Фернана Леже. Обычных для актеров фотографий с дружескими надписями, афиш, памяток о спектаклях супруги не терпели. Гости же по возрасту, как правило, были моложе их. Мейерхольд часто повторял, что не любит людей, родившихся в прошлом веке. И — что он любит людей не хороших, а талантливых. Складу характера он значения не придавал.

Несмотря на неизменное гостеприимство хозяина, Лидия

Ивановна старалась сокращать время визитов. Хозяйка была то во взвинченном, то в подавленном состоянии. Каждая очередная неприятность у Мейерхольда доводила ее до истерики. Режиссер успокаивал, уговаривал, старался отвлекать и развлекать. И таял на глазах.

Огромные, глубоко запавшие глаза. Заострившийся нос. Щелкавшие в суставах исхудавшие кисти рук. Для него не существовало снисхождения, сочувствия — он держал круговую оборону. Ночью и днем. Несколько раз говорил о желании видеть Лидию Ивановну в постановочных цехах театра — она работала художником по дизайну.

В мае 1937-го вернулся к тому же предложению, но прервал сам себя: «Может, для вас лучше, если этого не произошло. Пока. Лучше подождать…»

NB

1937 год. Июнь. Министр пропаганды Третьего рейха Геббельс издает распоряжение: «…уполномочиваю Президента Союза немецких художников Адольфа Зиглера выбрать из произведений дегенеративного искусства, возникшего до 1910 года, являющиеся собственностью государства или коммун экспонаты для показа их на специальной выставке».

Выставка проходила в Мюнхене параллельно с экспозицией официального искусства во вновь построенном Доме немецкого искусства. Комиссия, готовившая выставку «дегенеративного искусства», пересмотрела собрание 101 музея и изъяла 17 тысяч картин, скульптур и графических листов. Описание изъятий заняло шесть объемистых томов.

Сама Мюнхенская выставка смогла вместить только 730 работ, которые должны были показать всю меру «великих преступлений, какие совершили в немецком искусстве преступники на средства международного жидовства». Экспонированные картины перемежались с надписями: «Природа, увиденная больным воображением», «Немецкие крестьяне в жидовской перспективе», «Такие мастера учили до последнего времени немецкую молодежь». Рядом были помещены красные карточки с астрономическими ценами времен острейшей инфляции с пояснениями: «Закуплены в счет налогов с работающих людей».

После выставки 125 ценнейших экспонатов были проданы за бесценок на аукционах в Люцерне. Общая

сумма, вырученная от продажи, не превысила полумиллиона швейцарских марок, хотя среди экспонатов были холсты Ван Гога, Гогена, Матисса, Пикассо.

Из письма педагога А. С. Макаренко.

«Среди интеллигенции была испокон веков вера в особую роль душевности, в какое-то особое назначение любимого учителя, в сверхъестественное значение таких нелепостей, как то, что якобы воспитатель должен быть чутким, добрым, любящим детей, энтузиаст, с сердцем, переполненным любви к даже самому испорченному ребенку — какая чушь!.. Кому это надо? Может быть, врагам? А нам, большевикам-педагогам, нужна уверенность в завтрашнем дне, нужна беспощадность к врагам… В воспитательных учреждениях должна торжествовать логика: для коллектива, через коллектив, в коллективе! И непременно мажор! Улыбка, смех. Веселые ребята, веселые педагоги!»

* * *

«Получил премию». Софья Стефановна смотрит на растерянного зятя: и что же? — «Туристическая, если можно так сказать, поездка. Для всех руководителей энергохозяйства Москвы. Отказаться нельзя». — «А надо?» — «Со всей семьей. Выезд через неделю». — «Куда?» Долгая пауза. Через силу: «Архангельск — Мурманск — Беломорско-Балтийский канал…» — «Что?! Может, и Соловки?» — «И Соловки: от Архангельска до Мурманска по морю. Белому и Баренцеву». — «Ты согласился?» — «Сказал, жена и дочь не переносят качки. Не обратили внимания. Паспорта уже зарегистрированы. Сбор на Ярославском вокзале…»

Обыкновенный вагон. Но — закрытый для посторонних. В купе с жесткими полками белоснежные, старательно заправленные постели. Минеральная вода на столике. Свежие газеты. В вагоне-ресторане обеды и ужины — по талонам, точно в указанное время. Проводники в белых крахмальных куртках. Молчаливые. Неохотно отзывающиеся на вопросы.

За окнами лес. Где-то на полпути языки пожара. Острый запах гари через плотно прикрытые окна. На редких станциях пустые платформы. Одинокие старушечьи фигурки с кошелками ягод. И оглушительный рев репродукторов — песни! С утра до вечера. Одни и те же:

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор,
Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца пламенный мотор!..

Музыка Хайта. В Малаховке он снимает из года в год дачу бывших миллионеров. С рощей вековых берез. Лугом. Чередой акаций вдоль бесконечного забора. Его жена — когда-то варшавская гимназистка — в расшитом ослепительном розовом кимоно и спадающих на каждом шагу шелковых туфельках каждое утро ходит на рынок в сопровождении «прислуги» и кухарки, которые будут обратно нести корзины с зеленью, продуктами и огромными букетами цветов. Вся округа знает: мадам Муся Хайт держит в вазах цветы не дольше одного дня.

Ее сад примыкает к детскому дому Елены Ивановны Шелапутиной, и вдоль забора мечутся на длинных поводках немецкие овчарки, чтобы детям не пришло в голову пробраться в композиторские владения. Те несколько случаев «нарушений»,

которые имели место, стоили Елене Ивановне долгих объяснений с начальством и строжайших предупреждений: таланты принадлежат народу, и их надо беречь как народное достояние.

…В Архангельске белые ночи. Молочный разлив Северной Двины. Тротуары из длинных, плохо пригнанных досок. Высокие заборы. Запах древесины, ила, иногда соленый привкус моря. Горничная в похожей на барак гостинице качает Головой: «На пароход? С девочкой? Господи!» — «Нас целая группа». — «Ну, разве что, а то — нехорошо».

Моряки улыбаются: какой там пароход — яхта! Прогулочная императорская яхта «Великая княгиня Ксения». Когда-то отделанная внутри красным деревом и пунцовым бархатом. С широкими лестницами, зеркалами, золочеными светильниками.

Нагороженные в салоне фанерные закутки трудно назвать каютами. Позолота давно облезла. Обивка почти вся заменена дерматином и клеенкой. Зеркала перебиты и заделаны досками. Сваренный на кок-плите борщ есть невозможно: огромные валы мертвой зыби швыряют «Ксению», как скорлупку. Легче на палубе, за жаркой трубой, если удастся выдержать ледяной ветер. Баренцево море не знает лета. Никакого.

Среди сваленных морской болезнью людей экскурсовод в полувоенной форме не перестает рассказывать об освоении советской властью Севера, о новой жизни, о трудовых подвигах. Правда, Кольский полуостров больше напоминает пустыню. Гористые берега. Голубые. Рыжие. Зеленоватые. Иногда почти красные от покрывающих их лишайников. Ни куста, ни дерева. Ни следов жилья. Высокие холмы плавно опускаются и поднимаются, чтобы скалами оборваться в Ледовитый океан (как иначе назвать Баренцево море?).

Всего две остановки — одна на рейде. Другая — в глубине неожиданно открывшегося залива. Иоканьга — чаша, окруженная скалами. Ослепительная голубизна не тронутой ни малейшей рябью воды. Подобие спуска от сколоченных из досок домишек. И Мурманск — мозаичная россыпь крошечных деревянных, ярких, разноцветных домиков. В три окошка. С сенцами и высоким крыльцом. Под белесым небом, на котором много месяцев солнце не появляется совсем или кружит, не решаясь спуститься за линию горизонта. Только потому, что на улицах исчезают люди, можно судить, что наступила ночь. Вместе с толпой возвращается день.

По высвеченной полярным днем тундре торжественно проплывают железнодорожные составы «Polar arrau»: Мурманск — Ленинград, С ковровыми дорожками. Крахмальными скатертями и хрусталем вагонов-ресторанов. Щегольски выряженными

проводниками. Без пассажиров — московские инженеры не в счет. Как поезда в ослепительно-прекрасное будущее, которого нет и в помине за окнами. Только руки светофоров. Только будни железнодорожников на одиноких разъездах. Только поблескивающая повсюду вода среди обомшелых плоских валунов.

Хибиногорск — единственный город на полуострове кроме Мурманска. Десяток кирпичных многоэтажных домов у открытого карьера. Апатиты — недаром Киров так болел за эти удобрения для колхозов. Тонкая белесая пыль на окнах, машинах, лицах. Люди, как тени, не оборачивающиеся на приезжих, не проявляющие любопытства. Заключенные? Сосланные? Никто не задает вопросов.

Беломорск — город-призрак. Может быть, потому, что без детей. Одинокие срубы среди дощатого барачного разлива. Пустые улицы, упирающиеся в тундру. Плоские валуны в рыжем лишайнике. Ящерки в призрачном тепле негреющего солнца. Искореженные, будто прибитые к земле березки над пролысинами болотной жижи. Желтоватая, с едва ощутимым вкусом ягода морошка…

У деревянного причала (начало стройки века — великого Беломорско-Балтийского канала!) — полуразбитые бочки с гниющей сельдью. Бухты растрепанного, изношенного каната. Лошадь с торчащими ребрами. Возница в треухе и изорванных в клочья чунях («Мы-то? Орловские. Были»). Узкая полоска воды в бетонных закраинах.

Уже известно — вредительство. Канал века оказался недостаточно глубоким, чтобы пропускать из одного моря в другое подводные лодки. «Вождь и учитель» был великим стратегом.

Пришлось ограничиться единственной пассажирской скорлупкой. «Карл Маркс» — без вместимости, скорости и… пассажиров, заполнявший собой без остатка тесные камеры шлюзов. От одного шлюза до другого было проще пройти по лугу. Но по этим лугам не ходили — зона! Одна зона сменяла другую.

За спиной шелестящий шепот: «А вон там поляки. Под кустами. Пленные. Их сюда из лагерей перегнали». — «Да ведь сколько лет после той войны прошло!» — «Живуч народ. Здесь полегли. Не выдюжили». Инженер Сливиньский белеет: «Может быть, отец… Не вернулся. Пропал без вести». Матрос пожимает плечами: кто их считал?

В Медвежьегорске новые, по московскому образцу, дома тонут в песке среди вековых сосен. Управление лагерей — это несколько зданий, выкрашенных в светло-зеленый цвет.

Четырехэтажная гостиница с огромным холлом и лестницей в два марша — для командировочных. Московских энергетиков (без семей!) строем отправляют смотреть самый большой в Советском Союзе лесопильный комбинат. Семьи могут располагать временем по своему усмотрению.

Напротив окон гостиницы высокий холм с вековыми соснами. Под стволами, кажется, кресты. Маленькие. Почерневшие. Уборщица предупреждает: «Туда не ходите. Поляки там. Ихнее кладбище». — «Большое?» — «Тут все большое». — «И давно?» — «Сказывали, еще в мирное время началось». — «Повстанцы? И женщины тоже?» — «Откуда тут женщины? В лагере вместе никак нельзя».

Новый пароход. Старательно надраенный. Пахнущий свежей краской. Опять пустой. На пристани билетной кассы нет. Все по пропускам и спецталонам. В справочнике: Медвежьегорск — рабочий(!) поселок, возникший в 1936-м. И ни слова о соседнем, в тридцати километрах, городе Повенце, настоящем месте ссылки польских повстанцев.

Те места известны с XV века: когда-то здесь были соляные амбары торговых людей. При Петре I — чугунолитейный завод с английскими инженерами, голландскими купцами, польскими офицерами. Согласно переписи, проведенной перед революцией, в городе живут православные, католики, лютеране, даже магометане. Здесь всего один каменный дом — городское училище, зато двести деревянных. Земская больница, аптека, богадельня и — лесопильный завод на несколько тысяч рабочих. И еще благотворительное общество, попечительский (для учащихся) комитет, клуб для дворян, пристань…

«Пароходов здесь всегда было много. И барж». — «Вы знаете эти места?» Инженер Иосиф Иосифович Чичельницкий качает головой: «Дед отсюда». — «Уехал?» — «Нет…»

Пароход через Ладожское озеро, реку Волхов, Онежское озеро и прямую, как канал, Неву направляется в Ленинград. Пустые берега. Пустая гладь воды. Что было, то было. Когда-то…

NB

1937 год. 15 июля газета «Советская культура» сообщила о торжественном открытии навигации на новом канале Москва — Волга. Строительство продолжалось четыре года восемь месяцев:

«В Яхроме товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов и Ежов ознакомились с третьим шлюзом канала. В их присутствии был поднят сегментный затвор в верхней

голове шлюза. Камера стала быстро наполняться».

Заметка «Работники искусств — строителям канала Москва — Волга»:

«МХАТ СССР имени Горького организует в Дмитровском клубе большой вечер. Пойдут сцены из „Мертвых душ“ и „В людях“». (На спектакле присутствовали Станиславский, Немирович-Данченко, руководство НКВД и некоторые заключенные из числа наделенных административными обязанностями уголовников.)

* * *

Павел Михайлович Жолтовский. Будущий профессор. Доктор искусствоведения. Директор Музея этнографии Академии наук Украинской ССР. Крупнейший специалист по украинскому искусству XVII–XVIII столетий. Автор первой энциклопедии украинских художников. Один из политзаключенных на стройке, ставший после освобождения своим человеком в доме Белютиных.

Учитель из украинского села, обвиненный во всех смертных грехах — принадлежности к русско-шовинистическому, польскому и украинскому националистическим и сионистскому объединенному союзу. Может быть, из-за университетского образования, из-за того, что легко мог произнести целую речь на латыни, объясняться без малейшего акцента на польском, чешском, немецком, украинском и русском языках. Может, потому, что исходил пешком всю Украину и Россию до Урала в поисках архитектурных шедевров, заполняя записные книжки то ли очерками, то ли путевыми впечатлениями. «Перевоспитываться» ему пришлось на протяжении строительства всех 128 километров очередного канала.

Вязкая болотная жижа по колено. Лопаты с кривыми ручками. Наспех сколоченные бараки на виду у Москвы. Вшивые нары. Скудные пайки клейкого серого хлеба. Баланда. Рвы, куда в белый день, ни от кого не скрываясь, перетаскивали тела невыдержавших.

Окончание строительства канала принесло свободу. Тем, у кого истек срок. Конечно, с «минусами» — ограничениями в правах и месте жительства: столицы республик, тем более Москва, областные центры были для них закрыты.

О работниках искусств Жолтовский говорил, еле

сдерживаясь: как могли не замечать, преданно служить, упиваться начальственными похвалами?! Апология насилия и взаимной ненависти — как ее удалось привить в России?

Носил с собой газетные вырезки — «чтобы продумать». Среди них была статья Вадима Кожевникова из журнала «Огонек» о съемках второй серии фильма Алексея Каплера и Михаила Ромма «Ленин в Октябре».

«Ленин спрашивает Коробова (рабочего):

— Как вы смотрите, как нам поступать с врагами, как бить? Словом, убеждением или силой?

— Виноват, какое может быть убеждение, — растерянно говорит Коробов, оглядываясь на Горького и как бы ища у него поддержки, — ты ему слово, а он тебя за горло. Этак всю революцию прохлопаем. Тысячу лет рабочая кровь лилась. А теперь пожалеть какую-нибудь дрянь, чтобы все назад вернулось. Да еще когда нас душат со всех сторон… Да что далеко ходить, — спохватывается Коробов, — вот товарищ Горький, его спросите, он это хорошо понимает…

Горький покашливает, покусывая ус. Ильич, не выдержав, начинает громко смеяться. Минутой раньше он отказал Горькому в заступничестве за классовых врагов…»

Мария Никитична не выдерживает: «А вы теперь как же?» Жолтовский смеется: «Нигде не буду задерживаться. Поживу немного — и в другой город. Чем глуше, тем лучше. Главное — каждый раз причину переезда обосновать. Если с умом затеряться, могут и не найти. Ведь каждый из начальников занимается своими, местными, и по ним сдает отчет. А пришлые — они не для статистики». — «А семья? Не собираетесь ее заводить?» — «В наше-то время?»

NB

1937 год. 18 июля в 10 часов утра мюнхенский гауляйтер Вагнер отрапортовал Гитлеру, что «мир немецкого искусства предстал в полном составе на открытии замечательного сокровища народной культуры, прекрасной галереи, построенной благодаря народному самопожертвованию», — Дома немецкого искусства. Рядом была открыта выставка «Выродившееся искусство» с транспарантом при входе: «Немецкий народ, приди и осуди сам!».

В 11 часов после осмотра Дома немецкого искусства и выставки Гитлер заявил: «Даже здесь я заметил в отдельных работах, что некоторые люди по-прежнему видят окружающий их мир иным, нежели он есть в

действительности. Есть еще господа, воспринимающие представителей нашего народа как полных кретинов, господа, для которых луга в принципе голубые, небо зеленое, облака желтые и т. д. Не буду вступать в спор, действительно ли эти люди так видят или только притворяются. Зато я хочу от имени немецкого народа запретить этим достойным сожаления, страдающим пороками зрения типам навязывать народу придуманное видение мира и убеждать народ, что это и есть искусство».

Отныне художникам-«формалистам» было вообще запрещено работать, тем более продавать свои произведения. По свидетельству очевидца, «к ним врывались в дома с проверкой. Даже среди ночи. Отбирали все работы, которые находили. У Карла Лаутербаха в Дюссельдорфе было уничтожено все, и он один из сотен. Кто-то умудрялся обивать холстами чердаки. Живописью к кровле. Кто-то сходил с ума. Когда жгли отобранное. На площадях».

* * *

Правило казалось до смешного простым, но Софья Стефановна в отношении своих домашних на нем настаивала: если сегодня тебе очень плохо, значит, именно такого впереди уже не будет. Просто нужно собраться с силами и пережить. «А дальше? Что случится дальше?» — «Вот об этом задумываться не следует. Главное — пережить сейчас. Пережить!»

Но летом 1937-го выдержка начала изменять ей. Ночи давно стали бессонными. Гул подъезжающей машины — он нарастал после каждой полуночи, заставляя замирать сердце. За кем?.. Кто на этот раз?.. Засыпали под утро, чтобы через несколько часов услышать, кого не стало.

У Анны Гавриловны, тети Нюси, сестры в Одессе одновременно лишились мужей. Забрали Александра Григорьевича Богословского, мужа сестры Софьи Стефановны, и не оставалось ничего иного, как поселить ее вместе с дочерью Вероникой в Малаховке.

В том, что надежды вернуться у бывшего русского офицера нет, никто не сомневался. Тем более — военный топограф высочайшего класса, — он принимал участие в маркировке советско-польской границы и не соглашался с применявшимися советской стороной методами. Даже приехал в Москву, чтобы

обсудить вопрос с самим наркомом обороны. Сутью дела никто интересоваться не стал. Уже была отработана практика: по поводу любого, самого обоснованного недовольства собирался компромат на «критикана». Если даже высказанные соображения в дальнейшем и принимались в расчет, с самим «критиканом» поступали как с врагом народа. Богословский не составил исключения. Приговор о высшей мере наказания был вынесен и приведен в исполнение через сорок восемь часов после ареста.

Все более опасным становилось положение Кржижановского. Им восхищались, сравнивали с Александром Грином и Юрием Олешей, но о публикации не могло быть и речи.

Энциклопедическая образованность Сигизмунда Доминиковича поразила заместителя главного редактора Большой советской энциклопедии Масловского-Мстиславского, но контакта не получилось. Бывший эсер теперь усиленно демонстрировал свое участие в практике строительства социализма. Кржижановский почему-то переписал его слова: «Именно здесь — в воле к творчеству жизни — лежит для меня рубеж между старым интеллигентским и пролетарским писательством: художественно слабые произведения ударников зачастую бывают значительнее произведений высококвалифицированных мастеров именно потому, что в них есть этот волей к творчеству-жизни зажженный пафос».

Кржижановского пафос не убеждал. После недолгого пребывания в штате энциклопедии он расстался с ней, написав короткое зачтение: «Считаю опыт по превращению меня из человека в чиновника в общем неудавшимся, прощу от должности контрольного редактора меня уволить. С. Кржижановский». Его любимое выражение: «Мыслить — это расходиться во мнении с самим собой» всем представлялось совершенно абсурдным. Тем более его быстро разошедшееся в Москве определение, что значит «пробивать» свои произведения в редакциях: «Это так похоже на литературу, как сад зоологический на природу».

Впрочем, никакие новые высказывания не могли ухудшить его литературной судьбы.

«Запланированное подполье» — может быть, именно он придумал этот термин. Такое строго контролируемое «подполье» давало интеллигенции, тем более творческой, ощущение минутной свободы, раскрепощения, несмотря ни на что, импульс для новой работы «в стол», который иначе мог обратиться на открытый политический спор.

Понятие «Никитинских субботников» вошло во все советские и постсоветские справочники. В одних, Евдоксия Никитина фигурирует как литературный критик, в иных как историк

литературы или даже писатель. По-настоящему ни одно из этих определений к ней не применимо. Печаталась Никитина в нелитературных журналах. Статьи ее ничем не примечательны. Зато она имела «литературный салон», где собирались советские писатели, До 1931-то имела собственное издательство, где, в частности, редактировала и издавала сборники «Классики в марксистском освещении» и «Библиотеку современных писателей», составленную наспех и далеко не профессионально.

У нее бывали писатели Новиков-Прибой, Лидия (Сейфуллина, Александр Неверов, Леонид Леонов, Вера Инбер, Корней Чуковский, Луначарский, профессора Московского университета. Хозяйка приглашала для чтения произведений каждого, о ком начинали говорить, старательно собирала архив рукописей, но ни о какой пропаганде неофициальных писателей, ни об их поддержке не могло быть и речи. Скорее наоборот. Вынесенный на «Никитинских субботниках» вердикт обычно был отрицательным и обжалованию не подлежал.

После первого же вечера на квартире в Газетном переулке Сигизмунд Доминикович сказал: «Боюсь, я произвел впечатление…» Из года в год. Никитина будет доказывать на словах свою дружбу, станет под этим предлогом дознаваться, чем занимается Кржижановский, над чем работает и не может ли дать что-нибудь «новенькое» почитать. Не публиковать.

NB

1937 год. Октябрь. Мартын Иванович Лацис, член партии с 1905 года, по словам Ленина, «один из лучших испытанных коммунистов», закопал в землю книги и рукописи, в том числе том сочинений Г. Зиновьева, сборник статей Л. Каменева, сборник статей Н. Бухарина «Этюды». На возражение приемного сына, Александра Лациса, что это враги народа, ответил: «Ничего, для истории пригодится». И попросил запомнить место тайника.

Газета «Советская культура» опубликовала отчет о собрании московских драматургов:

«Собрание предоставило слово т. Вишневскому, который сделал сообщение о гнусной деятельности вредителя-диверсанта Авербаха и его троцкистской группы. Собрание потребовало по этому поводу объяснений от Киршона, являвшегося в течение 14 лет ближайшим соратником и личным другом Авербаха.

Киршон значительную часть своей продолжительной

речи посвятил бездоказательным утверждениям, будто ему и „в голову не приходило“, что его закадычный друг стоит на троцкистских позициях. Рассчитывая на наивность слушателей, Киршон старался уверить, что это неясно ему было даже в самые последние дни. Не моргнув глазом, Киршон уверят, что за 15 лет своей работы он ни разу „не мог даже и мыслить против партии“. Бурное возмущение писательской аудитории было достойным ответом на эту наглую выходку».

Газета «Советская культура» опубликовала статью Бесо Жгенти «Спектакль о герое»:

«Спектакль „Ицка Рижинашвили“ — бесспорный успех грузинской драматургии и театра имени Марджанишвили. Сталина среди действующих лиц спектакля мы не видим, но показанное в пьесе развитие революционной борьбы органически связана с его именем.

…В подвал нагрянула полиция. Ицку и его товарищей больше всего беспокоит то, что в соседней комнате находится Сталин. Это один из самых волнующих моментов спектакля. С помощью дяди Ицки, бедного еврея Симантоба, конспираторы инсценируют еврейскую религиозную молитву „селихот“. Одураченные полицейские уходят ни с чем. „Ицка Рижинашвили“ — большая удача грузинского искусства».

В подвале дома в Леонтьевском переулке гости появлялись почти каждый день. Засиживались далеко за полночь. Разговоры. Только разговоры. Вполголоса. Неделями не открывавшееся пианино. Вместе с музыкой уходило спокойствие, пусть призрачное, но все же ощущение надежности.

В городе закрывали театры. Даже без формального основания. Без придирок к репертуару. Несмотря на переполненные залы. За один 1936-й их закрылось в Москве восемнадцать. Список пополнялся. Оставшиеся без работы актеры судорожно искали средства к существованию. Кому-то предлагали переехать в провинцию, это было равносильно высылке. Спорить было бесполезно. Вокалисты искали спасения во всякого рода профсоюзных ансамблях песен и пляски, изображая любителей с производства. Дух соревнования толкал идеологических работников на подделки. Так, по крайней мере, легче было рапортовать о невиданном расцвете народных талантов в производственных коллективах. Иностранным

наблюдателям, если таковые появлялись, оставалось разводить руками.

Разводили. Пели дифирамбы. Писали для зарубежной печати восторженные статьи. Издавали книги впечатлений. Ничего не замечали? Или — не хотели замечать? Ведь из загадочной Страны Советов ждали сообщений о чудесах. Соответственно спрос рождал предложение. Истина значения не имела.

NB

1937 год. 12 октября был арестован Владимир Антонов-Овсеенко, один из участников «штурма» Зимнего дворца и ареста Временного правительства. С октября 1917-го он занимал руководящие посты в советском правительстве. В 1934–1936-м был прокурором Российской Федерации, в 1936–1937-м — генеральным консулом СССР в Барселоне. В момент ареста консультировал съемки фильма «Ленин в Октябре».

21 октября был арестован авиаконструктор Андрей Туполев. После пяти суток допросов «в стойке» (на ногах) он «признался» и назвал мнимых «подельщиков». В течение года содержался в Москве в Бутырской тюрьме, как и его жена.

22 октября арестовали помощника Н. С. Хрущева первого секретаря МГК партии Ивана Алексахина. Еще будучи студентом Индустриально-педагогического института, он выступил в газете «Правда» со статьей «О троцкистских контрабандистах», обратившей на себя внимание Л. М. Кагановича, после чего получил назначение на аппаратную партийную работу.

12 ноября в Колонном зале Дома Союзов была повторена детская часть правительственного праздничного концерта, состоявшегося в Большом театре. Сводный хор школьников Москвы (500 человек), учащиеся Московского балетного училища (50 человек), Объединенный ансамбль скрипачей и виолончелистов (140 человек) с песней о Сталине Анатолия Ревуцкого, Детский ансамбль Центрального Дома культуры железнодорожников под руководством Семена Дунаевского (300 человек). Среди солистов — скрипачи Рая Бесицкая (9 лет), Иосиф Майстер (11 лет),

виолончелист Даниил Шафран (14 лет), исполнявший «Колыбельную» Олега Каравайчука (10 лет). Концерт был устроен для делегации иностранных рабочих. Присутствовали Георгий Димитров, Долорес Ибаррури, Вильгельм Пик.

Пригородный паровичок со свистом тормозит у темной платформы. На дороге ряд саней-розвальней. Толстый слой соломы. Накинутые сверху овчины. Потом лес с заиндевевшими лапами елок. Сугробы у глубокой колеи. Раскат саней на поворотах. Фырканье лошадей. Окрики возниц. Дорога к испанцам, размещенным почему-то в подмосковной глухомани, на берегу замерзшего Клязьминского водохранилища. Концерт дружбы входил в протокол, утвержденный «наверху».

Советские газеты захлебывались, описывая события в Испании. В эту страну уезжали негласно (но кто об этом не знал?!). Сражаться — в небе и на земле. Из Испании возвращались с тяжелыми ранениями и контузиями. Получали награды. И снова негласно.

Настоящим взрывом стал приезд испанских ребят. Вернее, не испанцев, а басков, но о таких различиях вряд ли кто-то имел достаточно ясное представление. Просто ребята из воевавшей страны. Оставившие сражающихся родителей. Получившие возможность передохнуть, собраться с силами.

Так думали их матери, глядя на отплывавшие вдаль пароходы. Два-три месяца разлуки можно было пережить. Многие женщины этого не хотели, но их заставляли. В Советском Союзе вошли в моду среди пионеров шапочки-«испанки» и значки в виде парохода. Поэты срочно сочиняли взволнованные стихи:

А к нам из Бильбао неделю назад
Приехал двенадцатилетний солдат,
Чтоб в лагере нашем учиться и жить.
Ребята! Мы будем с испанцем дружить!

Директор Московского городского дома пионеров Паншин был «брошен» на организацию образцового (а как же иначе?) испанского детского дома. На Клязьминском водохранилище. Еще дальше от Москвы и населенных мест, на станции Обнинское, был другой испанский дом. Дома строили прочно, обстоятельно, за хорошей оградой. Ребята приезжали со своими воспитателями из числа раненых или ставших инвалидами испанских бойцов. Но всех вместе их окружали советские учителя, воспитатели, охрана. Все устраивалось не на месяцы — на годы. Оказалось, на всю

жизнь. И пусть не тогда, пусть много позже неизбежно должно было вырваться слово: заложники.

Когда это поняли сами баски? Встреча оказалась далеко не дружелюбной. Два совершенно разных образа жизни. Хмуро сведенные брови председателя совета отряда Петруки Инскарте. Молчаливый Хосе Мануэль Арреги, лишившийся руки боец республиканской армии и превращенный в учителя наскоро организованной испанской школы. Красавица Хесуса Роко, ставшая студенткой техникума связи. Школьники Даниэль Мансо, Касадо… Слова представителя Коммунистического интернационала молодежи Мэндетты: «Всю жизнь под вашим небом… Такого себе даже нельзя представить…»

Встречи будут повторяться. Ребят станут вывозить в Москву — для участия в правительственных концертах. Где только они не станцуют свою хоту с лентами, заплетающими поставленный посередине сцены шест! Год 1938-й. Год 1939-й. Октябрь 1940-го. Дружба с Германией положила конец русско-испанской дружбе. Заложники остались только заложниками.

NB

1937 год. В Москве прошел второй политический процесс по делу «Параллельного антисоветского центра» (Пятакова — Радека). Увеличившееся число арестов побудило власть упростить трудоемкую миссию органов. По предложению Кагановича было решено ввести несудебное рассмотрение дел с применением высшей меры наказания. Молотов предложил еще более «совершенный» прием — рассматривать дела и расстреливать списками. Заместитель председателя Верховного суда Ульрих ежемесячно представлял Сталину сводку об общем количестве лиц, приговоренных за «шпионско-террористическую деятельность». Были установлены особые нормы и процентовки.

Из статьи Сталина:

«Некоторые деятели зарубежной прессы болтают, что очищение советских организаций от шпионов, убийц и вредителей, вроде Троцкого, Зиновьева, Каменева, Якира, Тухачевского, Рознегольца, Бухарина и других извергов, „поколебало“ будто бы советский строй, внесло „разложение“. Эта пошлая болтовня стоит того, чтобы поиздеваться над ней… кому нужна эта жалкая банда продажных рабов, какую ценность она может представлять для народа и кого она может „разложить“?

В 1937 году были приговорены к расстрелу Тухачевский, Якир, Уборевич и другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Выборы дали советской власти 96,8 процента всех участников голосования… Слушая этих иностранных болтунов, можно прийти к выводу, что если бы оставили на воле шпионов, убийц и вредителей и не мешали им вредить, убивать и шпионить, то советские организации были бы куда более прочными и устойчивыми».

Из газетной статьи вице-президента Академии наук СССР Ивана Бардина:

«Ничего, ровно ничего личного, неустанное стремление к благу родины, к счастью миллионов трудящихся во всем мире, неутолимая любовь к истине, которая, по словам Гёте, прежде всего характеризует гения, орлиный взор, прозревающий исторические пути армии трудящихся, ведомой им на штурм старого мира, — таков наш любимый вождь, друг и учитель товарищ Сталин, организатор и руководитель технической революции в СССР… И еще. Товарищ Сталин научил нас, представителей старой интеллигенции, новому слову — родина. В старой, царской России мы избегали этого слова, так как оно было загажено, выволочено в грязи холопами царского самодержавия. Товарищ Сталин переплавил это слово в горниле революции и вернул его всем нам, как сверкающий металл, как самое дорогое, глубоко задушевное слово — социалистическая родина. Да, победа невозможна без самоотверженной, героической борьбы миллионов. Но какое счастье для миллионов, что в борьбе за свое кровное дело они имеют такого вождя, такого организатора великих побед, каким является товарищ Сталин!»

* * *

В комнате на Леонтьевском тетради. Перетертые. Взлохматившиеся на сгибах. На обложке первой аккуратно подчеркнутые красным карандашом надписи: «Общие собрания — проработка решений Пленума ЦК ВКП(б). Театр Мейерхольда 25–29 мая 1937». И еще более крупная, переправленная по графиту тем же красным карандашом подпись: «Громов». На другой

тетради зеленым карандашом «ГОСТИМ» и на этот раз красными чернилами: «1) Собрание в мае 1937 г. (О Пленуме ЦК ВКП(б), 2) Собрание в декабре 1937 г. (О статье Керженцева „Чужой театр“)». Страницы старательно перенумерованы цветными карандашами. На вложенной страничке:

> «Председателю общих собраний работников
> Гос. театра им. Все. Мейерхольда
> 22, 23, 25 декабря с.г. …
> Секретаря собраний В. А. Громова
> Заявление
> Ввиду того, что стенограммы сдавались в театр и раздавались на руки помимо меня, я снимаю с себя всякую ответственность за эти стенограммы.
> 25.12.37
> В. Громов».

Значит, если где-то и сохранились машинописные стенограммы, они не соответствуют вот этому первоначальному рукописному протоколу. Секретарь боялся. Вряд ли того, что формулировки приобретут более мягкий характер. В 1937-м такого случиться не могло. Просто боялся за себя, и в качестве оправдания оставил у себя опасные листки.

Дядя Володя уходит от разговора. «Как это было?» — «Мерзко». — «Но ведь не может быть, чтобы все дружно соглашались со статьей. Явно кто-то спорил, пытался доказать». — «Да, но их обрывали. Осаживали. Всеволод сидел один. В стороне — Райх. Никто не подходил. Даже в перерыве. Был один перерыв. Все оставались в зале. Кирпичные стены коробки. Открытая конструкция. Помнится, из „Леса“. Впечатление ворвавшихся чужаков. Это уже не был мейерхольдовский театр». — «Так сразу?» — «В 1937-м все случается сразу. И неотвратимо. Они думали о собственном завтрашнем дне. Каким-то звериным чутьем понимали: с Мейерхольдом все кончено».

Дядя Володя поеживается. Сгорбившиеся плечи. Морщины. «Мерзость! Ты читала когда-нибудь мхатовские коллективные письма?» — «Какие?» — «По любому поводу. Хотя бы по поводу первого открытого московского процесса. Летом 1936-го». — «Зиновьев и Каменев?» — «Да. В Колонном зале. Фотографии на пол газетного листа. И МХАТ среди первых. Но не меня одного не оставляет чувство: будут оправдываться. Когда-нибудь будут…»

Газетная полоса на следующий день (24 августа) после поразившего воображение москвичей придуманного Сталиным авиационного праздника в Тушине выглядела примерно так.

Чудеса авиационной техники. Восторг многотысячной толпы: наши соколы в небе! Рядом приговор по делу «троцкистско-зиновьевского террористического центра». Не менее восторженные отклики трудящихся на смертный приговор. И Художественный театр: «Мы, работники МХАТ им. Горького, с чувством огромного удовлетворения встретили приговор Военной коллегии Верховного суда СССР о расстреле изменников родины… Живи и здравствуй много лет, наш дорогой Иосиф Виссарионович! Мы еще теснее сплотимся вокруг тебя…»

И вот теперь артисты Театра Мейерхольда. Кинозвезда 1930–1940-х годов Николай Боголюбов: «Это вредительство. Вывод: нельзя работать вместе». Будущий руководитель Театра Ленинского комсомола Сергей Майоров: «Дело в мировоззрении — идеалистически-индивидуалистическое, ошибочное… не служит советскому народу, социализму… Такой театр не нужен, тормозит, вреден». Известный советский актер театра и кино Осип Абдулов: «Излечима ли болезнь? Сомневаюсь — нужен совершенно новый театр. Да, театр надо закрыть». Студент училища при театре некий Васильев: «Не послать ли Мейерхольда к Станиславскому на уроки: Мейерхольд ведь четыре пьесы провалил. Что посеешь: получили приказ о закрытии [театра]».

Профессиональная малограмотность, помноженная на страсть к немедленному самоутверждению, — в скольких случаях эта гремучая смесь привлекалась для уничтожения деятелей науки и культуры! А если к ней прибавить еще карьеризм И полное раскрепощение от нравственных принципов? Только новые поколения провозглашались идеологически стерильными, только в их руки якобы передавались судейский жезл и весы Фемиды.

Мейерхольду дают последнее слово. Он держится. Держится так, что минутами кажется, будто и в самом деле остается равнодушным к происходящему. Но все-таки рука тянется к стакану с водой. Стакана нет. Все видят, и никто не делает попытки стакан принести — учителю. Просто пожилому человеку. Рука задерживается в воздухе. Ложится на старое место. Голос чуть хрипит: «Выступлю в печати. Отдохну от травм. Мое право на изобретение…»

Дядя Володя сжимается. В том-то и дело, что такого права уже давно не существовало… Четвертый день собрания был полностью посвящен выработке резолюции, которая окончательно спасла бы учеников от учителя. И как можно полнее удовлетворила «руководство». Общий вывод: театр закрыть. Мейерхольда со всех должностей снять. «Дело» его рассмотреть отдельно. Его «персональное дело». Актеры единодушно

отрекались от «вредительства», в котором принимали участие на протяжении без малого двадцати лет.

«Они знали, на что его обрекали? — Взгляд деда уходит в сторону. Губы белеют. — Знали?» — «Ты знаешь, что такое спецчасть? Не отдел кадров — спецчасть? Туда вызывали каждого и по многу раз, выпытывали сведения о сослуживцах. На первый взгляд пустые подробности, ничем не грозившие. Но потом люди исчезали. Каждый день. Одни в спецчасти начинали говорить, другие изворачивались, чтобы не давать ответов. Это грань между порядочностью и… Если бы не было этих лишних слов, если бы не было на каждом шагу доносов, неужели лагеря разрослись бы до таких чудовищных размеров? И ведь это еще не конец. Далеко не конец…» — «Значит, знали?!» Дед тихо покачивается на стуле.

NB

1937 год. 23 декабря. Открытое письмо народного артиста СССР, исполнителя роли Ленина в фильмах Бориса Щукина В. Э. Мейерхольду.

«Как могло случиться, что вы, воспитавший немало талантливых актеров и режиссеров советского поколения… все время с такой удивительной легкостью „отпускали“ их из своего театра и, наконец, растратили всех лучших актеров ГОСТИМа?

Вы, Всеволод Эмильевич, одним из первых ратовали за советский репертуар. Вы как будто бы активно боролись против более консервативных театров, не хотевших „признавать“ советскую драматургию. Как же могло случиться, что в последние годы единственный из всех советских театров, этот театр, руководимый вами, оказался без советских пьес в репертуаре, если не считать тех политически порочных спектаклей, которые Всесоюзный комитет по делам искусств вынужден был не разрешить к выпуску?

Как могло случиться, что вы, член Коммунистической партии, не создали ни одного партийного спектакля? Как могло случиться, что именно вы явились автором целого ряда спектаклей, которые клеветали на нашу советскую действительность?

Как случилось, что вы, понимающий силу воздействия реалистического искусства… на протяжении всего советского двадцатилетия вашей театральной деятельности не могли освободиться из плена формализма?

Вы растеряли лучших ваших актеров; вы не

осуществили ни одного идейного спектакля, способного мобилизовать нашего зрителя; вы потеряли, наконец, и самого советского зрителя, и руководимый вами театр справедливо признан сейчас театром ненужным и чуждым народу. С чем же вы остались, Всеволод Эмильевич?»

23 декабря газета «Известия» опубликовала «разоблачения» Мейерхольда — статью Прова Садовского, народного артиста СССР, орденоносца (Малый театр), «Школа формалистических выкрутасов»; статью народного артиста СССР Михаила Царева, будущего художественного руководителя Малого театра, «Почему я порвал с Мейерхольдом»; статью Валерия Чкалова, полковника, Героя Советского Союза, «Банкротство»; статью В. Ставского, ответственного секретаря Союза советских писателей, «Необходимо сделать выводы».

1938 год. 4(?) января состоялось 725-е и последнее представление «Дамы с камелиями». Маргерит Готье играла З. Н. Райх, Армана — М. М. Садовский, сменивший в этой роли М. Царева.

Отыграв спектакль, З. Н. Райх потеряла сознание. За кулисы М. М. Садовский вынес ее на руках. Когда со сцены в ответ на бесконечные овации и вызовы зала объявили, что Райх заболела, а Мейерхольда нет в театре, по словам Садовского, «случилось необыкновенное. Вся публика полезла на сцену… Рабочие, бутафоры, пожарники, артисты, взявшись за руки, как могли, сдерживали эту лавину. Но всех сдержать нам не удалось — очень много народа все же оказалось за кулисами». На следующий же день все декорации «Дамы с камелиями» были выброшены на двор. Балетный ансамбль Викторины Кригер торопился занять помещение. Танцоры готовились к вечернему представлению.

8 января было опубликовано постановление Комитета по делам искусств о ликвидации Театра Мейерхольда.

19 января «Таймс» опубликовала статью Гордона Крэга.

«…Теперь некто безответственный позволяет себе

нападать на Мейерхольда. Утверждается, что „специальный комитет решит, способен ли Мейерхольд работать в советском театральном мире“. Никакой комитет не может ничего решать относительно Мейерхольда, человека гениального: вы не можете использовать гения, это он вами иногда может воспользоваться… Если же Советское правительство в самом деле совершенно некомпетентному комитету дало власть так обращаться с гениальным человеком — тогда стоит пересмотреть представление о Советах.

…Никогда правительство не делает подобные глупости. Они делаются крысами, которые кишат везде, где нет хороших собак, дабы их уничтожить. Крысы не могут повредить Мейерхольду. Даже если станут причиной его смерти. Его имя и все, им сделанное, настолько значительно, что те, кто знал его и его искусство, поймут, что его имя и его творчество уже находятся на недосягаемом уровне.

…Разве в Москве уже нет Константина Станиславского и его великого партнера Немировича-Данченко? Захотят ли они смотреть на „крах знаменитого советского режиссера“, как того желали бы крысы…»

ПЛАТОН КЕРЖЕНЦЕВ

Большой театр. Москва. Канун первого правительственного концерта. Глухой провал огромного, тонущего в темноте зала. Выхваченная четким кружком света фигура у режиссерского столика в партере. Небрежная поза. Крикливый, не выговаривающий буквы «р» голос. «Убгать! Этого, как его там, спгава, убгать! Долго еще? Кто следующий? Детский хог? И это называется хог? Сколько их? Согок человек? Не годится! Больше нагоду! Еще больше!»

Вблизи — круглые железные очки. Высокий лоб с залысинами. Венчик жиденьких завитков. Мясистый нос. Полные растрепанные губы. Гимнастерка. За плечом другая фигура. Френч. Тонущий в полутьме абрис круглой головы.

За кулисами паника: «Сам Керженцев!» Кто-то замечает: «Вместе с Хрущевым». Но Хрущев для будущего правительственного концерта не важен. Зато Керженцев! У руководителей не хватает платков стирать пот с краснеющих и бледнеющих лиц.

«Литературная энциклопедия» 1930-х годов: «Играл крупную роль в выработке партийной позиции в вопросах литературной политики, правильно ставил вопрос о попутничестве». Но это лишь одна сторона деятельности Керженцева.

В действительности нет такой области культуры, которой бы он не успел коснуться, особенно театра и своей любимой темы — художественной самодеятельности. Определение «художественная» появится со временем. Идея Керженцева в нем не нуждалась: противопоставить то, что могут делать непрофессионалы, собственно профессиональному искусству, то, что создает внешнюю видимость искусства, подлинному художественному произведению. О возможности вызывать в «массах» творческое начало, помогать человеку обрести внутреннюю самостоятельность и независимость благодаря утверждению своего творческого «я» не было и речи.

Недостаточное знание предмета? Пожалуй, Керженцева в этом можно заподозрить меньше, чем других. Историко-филологический факультет Киевского университета, многолетнее сотрудничество в подпольной печати, работа в газетах «Правда» и «Известия», редактирование журналов «Книга и революция», «Литература и искусство». И — дипломатическое поприще. И — управляющий делами Совета Народных Комиссаров. Должности сменяли одна другую в таком непостижимом калейдоскопе, что практически ни одной он не мог посвятить себя по-настоящему.

Его окрики помнят первые московские радиодикторы — с 1933-го по 1936-й Керженцев возглавлял Всесоюзный радиокомитет. Для образованного в 1936-м Всесоюзного комитета по делам искусств он был идеальным, по мнению Жданова, руководителем. Тем более что за его спиной была еще и должность заместителя председателя Коммунистической академии, ведущего работника Пролеткульта и директора Института литературы и языков Коммунистической академии. Он лично подготовил первый эшелон идеальных советских искусствоведов-«радетелей»: Андрей Лебедев, Александр-Поликарп Лебедев, Сысоев, Кеменов, которые впоследствии займутся и художественной жизнью стран

народных демократий.

Исполнители и радетели — при всем внешнем сходстве разница между ними в тех условиях выживания культуры имела особое значение. Исполнители подчинялись любому приказу по принципу «куда денешься!». Но не усердствовали. Подчас даже могли покачать головами, когда начальство впадало в крайность: «Ну, зачем уж так!» Даже в душе огорчиться. Даже — предел свободомыслия! — посетовать в уголке на времена и службистские нравы. Любая кампания отрабатывалась ими от звонка до звонка, ни секундой больше, с благим и неизменным стремлением вернуться скорее к спокойному существованию.

Радетели — радели. И в ходе кампаний — когда занимали места в первых рядах, всегда хрипнущие от злобных воплей. И после их окончания — ничего не забывая, постоянно напоминая, не жалея сил на соблюдение «идейной стерильности», обеспеченной только в страницах пресловутой IV главы «Краткого курса истории ВКП(б)».

Для радетелей не существовало ни времени, ни обстоятельств, ни ошибок, ни смены начальства. «Руководство» оставалось для них единым, неделимым и главное — непогрешимым. Нижайшие поклоны в адрес каждого высокого «места». Безоговорочное послушание. Сладострастное ожидание свиста вымечтанной начальственной нагайки. Они были почти правы, утверждая личную незаинтересованность в доносах, заявлениях, письмах «в инстанции» и в печать — все «ради идеи». Почти — потому что в действительности это всегда была всепоглощающая месть обществу за свое несостоявшееся человеческое (с большой буквы!) существование, за трусливый, но представлявшийся таким удобным, выгодным и безопасным отказ от чувства собственного достоинства, от позиции в жизни. Керженцев умел «лепить» таких людей.

«В чем дело? Чего тянете? Где нагод? Давайте еще хогы! Два! Тги! Тгидцать тги! Какая газница, что газные? Пги чем здесь хогмейстегы? Дети должны петь сегдцем, одним сегднем — ведь их будет слушать Сталин! Слышите, сам Сталин!»

Через день на сцену Большого театра выйдут 700 хористов. Оркестровая яма не сможет вместить всех музыкантов. Всенародное торжество! И уже за кулисами

во время показа фильма начнут распространяться волнующие рассказы о том, сколько сил враги народа и вредители употребили на то, чтобы вот этого замечательного — юбилейного! — фильма не было.

Положим, незадолго до съемок режиссер Михаил Ромм был уволен со студии — расплата за фильм «Тринадцать». Единственным условием восстановления стало создание фильма по сценарию Алексея Каплера «Восстание» — Сталин выбрал для него новое название: «Ленин в Октябре». За два месяца. Все остальные киномастера отказались от темы и от условий. Даже исполнителя роли Ленина Бориса Щукина Театр Вахтангова, где актер работал, не собирался отпускать на съемки. Согласие Ромма означало почти круглосуточную работу, фактическое переселение в павильон, где для него и Щукина были поставлены специальные кресла. Отныне оба находились под особой охраной НКВД.

Появившиеся в одно прекрасное утро на стене за креслами кровавые отпечатки гигантских ладоней спешно закрасили до прихода слишком впечатлительного Щукина. В коробке с только что отснятой пленкой, которая хранилась в закрытом шкафу, оказалась безнадежно испортившая ее замазка. Не менее тщательно оберегаемые новые американские объективы для съемочных камер были разбиты. Съемку пришлось вести со светом из собственных лихт-вагенов: кабель студии кто-то вывел из строя. Последней каплей стал подпиленный металлический брус над креслом Ромма. Случайно вставший на него человек легко обломил махину.

Оставался единственный путь — охрана из собственных сотрудников. Только после ее появления съемки удалось благополучно закончить. Виновных органам найти не удалось. Наглядное свидетельство разгула антисоветских сил, которым и противостояли массовые аресты, состоялось.

Чугунная решетка перегораживает переулок. Перехваченные цепью ворота. Проходная с дымком от вечно раскаленной буржуйки и человеком в гимнастерке: «Пропуск!» Красная книжечка с именем, первой в жизни фотографией «для документа», круглой печатью и размашистой подписью самого директора Городского дворца пионеров.

Сравнивающий взгляд. Неохотное: «Проходи!» Рядом не может быть никаких приятелей, знакомых, разве что один (!) из родителей по предъявлении удостоверения личности.

От ворот узенькая, протоптанная тропинка влево — к двухэтажному особняку. Станция юных техников. Направо — расчищенная аллея к нарядному дому (еще бы — творение самого Романа Клейна, строителя Музея изобразительных искусств!).

Старые липы. Заснувший фонтан. Парадный вход с угла, как всегда в Москве, закрыт. Проходить надо через низкие боковые двери. Крутая лестница в полуподвал. Гардероб. Столовая. Молочный буфет в «Ледяном гроте» с бутафорскими сосульками. В башенке ступени на верхние этажи, где все размечено по часам и минутам, как идеально отлаженный механизм.

Группа знаменосцев. Два раза в неделю они чеканят шаг, разучивают команды, повороты. Группа горнистов — без них невозможно ни одно торжество. Хор. Танцевальная группа. Художественное слово. Все слагаемые партийных праздников, которые теперь будут нуждаться в участии «достойной смены».

И еще оркестр. Простой и неаполитанский. Солисты так называемых оригинальных жанров, вроде модного в предвоенные годы художественного свиста под аккомпанемент рояля. Костюмерные. Гримерные. Полный, но уже взрослый штат всех вспомогательных цехов собственного театра на шестьсот мест (партер и балкон!). Сцена с вращающимся кругом, поднимающимися и опускающимися декорациями. Расписание концертов и спектаклей на каждый день. В зрителях недостатка не было — билеты распределялись по школам города как награда. Только мало кто знал, что назначение Городского дворца пионеров — не дарить счастливое детство и не развивать таланты, а делать чудеса. Идея потемкинских деревень бессмертна.

Селекция не знала ни жалости, ни сочувствия к детским переживаниям: только лучшие, только те, с кем предстояло меньше работать, кто эффектнее смотрелся и, само собой разумеется, получал одобрение «руководства». С безупречными анкетами. С еще не репрессированными родителями — если арест отца или матери случался, отстранение от участия в спектаклях было неминуемым. Без родственников за границей. С хорошими школьными отметками. Снисхождение было только к одежде: нуждавшимся на выступления выдавалась концертная форма и обувь, возвращения которой ждали за кулисами костюмеры.

К занятиям по расписанию прибавлялись бесконечные репетиции. Выступать приходилось часто. О перегрузках и пределах выносливости ребят не говорил никто. Конвейер

набирал скорость, и отойти от него не представлялось возможным. Простая детская болезнь, каприз (а почему бы и нет в 8–12 лет?) или усталость рассматривались как политическая позиция родителей или педагогов.

Панически боялись старшие и — очень скоро начинали понимать младшие. Колонный зал Дома Союзов, Большой театр в дни партийных торжеств. Огромные залы дворцов культуры, собирающие тысячные аудитории. Даже Клуб НКВД на Лубянке, где из единственной вырезанной в стене, высоко над зрительным залом, ложи благоволил смотреть детские выступления маленький засушенный человечек с ярко-голубыми льдинками пустых глаз — сам Ежов.

Комбинат по подготовке торжеств на все случаи жизни и в любых условиях. Роль педагогов, постановщиков кончалась у подъездов зданий, где проходили выступления. Ребята имели допуск там, где на него не могли рассчитывать взрослые, всегда остававшиеся под подозрением. Последний прогон в театре Городского дома пионеров. Последние профессиональные напутствия. И автобусы, где вступали в свои права так называемые воспитатели из числа пионерских вожатых. Подчеркнуто вежливые, всегда ласковые. Говорящие тихими голосами. И успевавшие услышать каждое нечаянно вырвавшееся слово, заметить гримасу неудовольствия, за которую принималось даже простое выражение усталости.

Вероятно, это напоминало Средние века с их институтом ученичества. Или крепостной театр, где взрослели в десять и судорожно начинали искать выход в тринадцать-четырнадцать лет. Потемкинские деревни со стороны кулис — такое по силам выдерживать взрослым, не детям. Но «вундеркиндизм» прочно охватил всю Страну Советов. Критики взахлеб писали о юных дарованиях, забывая о творчестве настоящих мастеров. Бессмысленная техника музыкантов-инструменталистов спокойно подменяла смысл и чувство подлинного прочтения произведения.

Замечательный пианист профессор Константин Игумнов как-то сказал ученикам: «Это не глупость и не неграмотность — это расчет. Дьявольский по своей цели. Подменить истинную русскую культуру массовым, если хотите, рыночным ее подобием». — «А результат?» Игумнов пожал плечами: «Человек без искусства легче теряет свою личность. А речь идет именно об этом. Оглянитесь вокруг: разве не понятно?» — «Но, может быть, та же самодеятельность дорастет…» — «Не дорастет никогда, потому что единственный ее смысл — самовыражение в общем незначительной человеческой сущности. Сущности обывателя, который всегда доволен собой и всегда пытается утвердить свое

пустое и жалкое „я“».

NB

1938 год. Февраль — июль. Были расстреляны: директор ЦАГИ Н. М. Харламов, начальник 8-го отдела ЦАГИ В. И. Чекалов, зам. начальника подготовки кадров ЦАГИ Е. М. Фурманов, начальник отдела 1-го Главного авиационного управления наркомата оборонной промышленности А. М. Метло, директор авиазавода № 24 И. Э. Марьямов, директор авиазавода № 26 Г. Н. Королев и многие другие специалисты авиационной промышленности.

9 марта. Из дневника М. М. Пришвина.

«Женский день (вчера): истерический крик, в котором безусловное повелительное „надо“ с исступлением призывало уничтожить Бухарина и всех гадов…

В этом государственном коммунизме нет и зерна человеческого. Если спекуляция торговая осуждена, то политическая? Там: не обманешь — не продашь. Здесь: не отравишь — не убьешь и не возьмешь».

16 марта. Там же.

«Враги-вредители. Никогда я не верил в то, что они есть. Всегда считал за ссылку на врага тех, кто не хочет и не может что-нибудь делать или просто если не выходит в силу своей политики, принципиально уничтожающей личность…»

2 апреля. Там же.

«Не могу с большевиками, потому что у них столько было насилия, что едва ли им уж простит история за него. И с фашистами не могу, и с эсерами, я по природе своей человек не партийный, и это не обязательно быть непременно партийным. Я верю, и веру свою никому не навязываю».

8 апреля. Там же.

«Был человек, и его от нас „взяли“. Как тигры в джунглях, бывает, возьмут человека: взяли без объяснения причины, и мы не знаем, где он. Завтра, быть может, и меня возьмут, если не эти, так те, кто всех живущих рано или поздно возьмет…»

26 июня. Там же.

«Голосование походило на какие-то торжественные похороны: молча люди подходили к избирательным урнам и уходили. И это были действительно похороны русской интеллигенции. В этот удивительный день совершилось в огромном народе то самое, что совершилось в глубине моего личного сердца тридцать три года назад: я похоронил своего личного интеллигента и сделался тем, кто я теперь есть».

Май. После семичасового разговора в доме Станиславского В. Э. Мейерхольд был назначен режиссером Оперного театра им. Станиславского.

7 августа. Умер К. С. Станиславский.

22 сентября. Из дневника М. М. Пришвина.

«Не все ли равно, Муссолини, Петр, Гитлер: Муссолини идет через абиссинца, Гитлер — через чеха, Петр — через несчастного Евгения [героя поэмы А. С. Пушкина „Медный всадник“]. И все мы, обыватели, сочувствуем абиссинцу — чеху — Евгению против строителей будущего. И замечательно, когда это чувство личное, живое и непосредственное: жалко такого-то человека, этого Евгения, этого абиссинца, — мы правы, и протест наш священный. Но как только мы возводим абиссинца, чеха, Евгения в принцип и хотим согласно принципам демократии и социализма действовать, мы сами обращаемся в насильников и сами создаем своих Евгениев».

15 декабря. На Центральном аэродроме в Москве во время испытательного полета погиб Валерий Чкалов.

17 декабря. Из дневника М. М. Пришвина.

«Чкалов погиб, и ему отдаются все почести как герою. Но люди прекрасные частенько погибают сейчас у нас на глазах без всяких почестей, просто будто на твоих глазах проходят куда-то совсем, „без права переписки“. Есть что-то великое, библейски беспощадное в этой непрерывной смене людей: уходят без благодарности, проходят, не оглядываясь на предшественников…

Жизнь человека есть борьба за свое Хочется (быть

самим собой) с так Надо (быть как все). И так вся жизнь есть движение по кругу: центростремительная сила — стремление быть как все, и центробежное — стремление быть самим собой».

В ночь перед празднованием в Большом театре 20-летия комсомола были арестованы сподвижники Ягоды Тихонов, Панов, ранее — Голубев, Козлов. В НКВД был пущен слух, что они собирались в театре арестовать Сталина.

Сомнений не оставалось: что-то должно было произойти. Побледневшие лица руководителей Городского дома пионеров. Сбивающиеся с ног костюмеры. Чуть ли не круглосуточные репетиции горнистов. Пополнившиеся ряды знаменосцев, печатающих свой бесконечный марш в Мраморном зале, освобожденном от обычных занятий балетной группы. Газеты были заполнены материалами о наконец-то открывавшемся XVIII съезде. В городе стояла предгрозовая тишина — все помнили, что депутаты предыдущего съезда были уничтожены почти полностью. Почетное присутствие в Кремле и на этот раз воспринималось как испытание судьбы. В бывшем Чудовом переулке все отражалось, как в зеркале. Просто никто не знал, какие потемкинские деревни предстояло соорудить на этот раз. Кто-то из старших пустил слух о встрече с делегатами съезда в Колонном зале, хотя в этом и не было ничего особенного.

Само собой разумеется — приветствие юных вождю и учителю. Но отчаянную борьбу авторов текстов не удавалось скрыть от исполнителей. Наторевшие в своем придворном ремесле мэтры и неожиданно объявившийся 26-летний выпускник Литературного института, успевший напечатать несколько стихотворений для детей Сергей Михалков. Самый ретивый. Самый безоглядный. Не было такой партийно-сиюминутной темы, за которую бы не брался и не становился самым откровенным. В школах учили его стихи не о великане дяде Степе, а о шпионе. В 1937-м михалковский «Шпион» стал символом ежовщины:

Он, как хозяин, в дом входил,
Садился, где хотел,
Он вместе с нами ел и пил
И наши песни пел.
Он нашим девушкам дарил
Улыбки и цветы,
Всегда он с нами говорил,
Как старый друг, на «ты».

Дальше шло бесконечное перечисление «его» козней и наконец:

Мы указали на мосты,
На взрыв азотной кислоты,
На выключенный свет.
И мы спросили: «Это ты?»
И мы сказали: «Это ты!»
А он ответил: «Нет!»

Михалковскому шпиону отрицание мнимых преступлений помогло так же мало, как Бухарину, Рыкову, Каменеву и пяти расстрелянным первым маршалам Советского Союза, чьи портреты в один прекрасный день под строжайшим наблюдением учителей школьники всей страны вырывали из учебников и сдавали педагогам. Михалков также требовал высшей меры наказания — средствами так называемой поэзии. Точнее — рифмованной газетной прозы. Зато в дни съезда он мог дать волю прирожденному романтизму:

Где бы мы свой самолет ни вели,
Где бы ни плыли и где бы ни шли,
Где бы ни строили мы города,
Имя заветное с нами всегда.
Если ты ранен в тяжелом бою,
Если у гибели ты на краю, —
Рану зажми, слезы утри,
Имя заветное вслух повтори…
Сталин, чье имя, как песня, живет,
В бой призывает, к победам ведет!

Теперь главным было, чтобы текст не заменили другим, чтобы кто-то не перебежал дорогу так пленительно начинавшейся жизненной карьере. Опасения были напрасны. Вождь и учитель любил достаточно двусмысленные ситуации, чтобы ему прислуживали именно «бывшие», родовитые, еще лучше титулованные.

В данном случае о титуле говорить не приходилось. Но Михалковы были дворяне, а за поэта боролась к тому же достаточно знаменитая теща — дочь художника В. И. Сурикова, жена известного советского живописца П. П. Кончаловского,

отличавшаяся завидной энергией. Как бы ни было, автор гимна вождю и учителю отсиживал все репетиции, покоряя педагогов-репетиторов любезностью и нарочитой наивностью: он в самом деле обожал Сталина, в самом деле всего только записывал рвущиеся из сердца строки.

День Парижской коммуны, непременно упоминавшийся всеми советскими календарями. С утра вереница автобусов отправляется из Чудова переулка, чтобы въехать в Боровицкие ворота Кремля. Пока еще только репетиция — прогон, зато вечером выступление на самом съезде. Ни одного педагога. Снова кругом «вожатые». И бесконечные повторения: микрофоны, повороты — к залу, к столу Политбюро, вход, уход. Еще раз. Еще! И еще — до обмороков. Все должно быть естественно. Непринужденно.

«Легче, ребята! Легче! На одном дыхании!» — Режиссер Николай Охлопков, тот самый, который играл так понравившегося Сталину «человека с ружьем» в фильме «Ленин в Октябре», славился умением организовывать массовые зрелища. Правда, здесь должно было преобладать военное начало: армия юных.

О передышке, возвращении домой не могло быть и речи. Снова Городской дом пионеров. Снова доделки. И — вечер. Рассмотреть Кремль не представлялось возможным. Он был закрыт для обыкновенных людей со времени переезда в него советского правительства. Но и теперь от двери автобуса до парадного подъезда надо было проходить сквозь строй словно сросшихся шинелей. «Быстрее! Не задерживайтесь! Проходите! Товарищ руководитель, отвечаете за свой список! Все ваши? Только ваши? Посторонних нет?»

Построение в Георгиевском зале. Беззвучная разминка. Букеты ведущим со строжайшим наказом каждому, кому из членов Политбюро должен цветы передать: «Только не товарищу Сталину! Слышите? Ни шагу в сторону! Товарищу Сталину цветы передаст специальная девочка». Переданный динамиками голос председательствующего: «Товарищи делегаты! Нас пришла приветствовать наша смена!» Еще какие-то дежурные фразы. Горны. Распахнутые двери. И — начало чудес.

В строю пионеров великовозрастные «вожатые» в пионерской форме, пытающиеся скрыть свой рост и возраст и плотно перекрывающие ведущих от стола с «небожителями».

Появляющаяся из боковых дверей шеренга детей правительства, пожелавших участвовать в представлении.

Среди горнистов незнакомые лица взрослых музыкантов. Перехваченные чьими-то руками букеты. И на столе президиума

неизвестно откуда появившаяся крохотная девочка с цветами, которую подхватывает здоровой рукой развернувшийся к кино- и фотокамерам вождь и учитель — классический снимок, который обойдет весь мир. Образ отеческой заботы — до скольких сердец за рубежом он сумеет дойти!

Кто и как узнает, что у одной из ведущих за день до выступления арестуют отца и ее срочно заменят другой, «чистой»? Что еще одна замена будет вызвана недостаточным процентом русских в составе ведущих: требовалось, чтобы их было пятьдесят на пятьдесят. Что всех предупредят, о чем и как следует потом говорить, а идеально вышколенные журналисты обратятся только к тем, кого назначат на роль рассказчиков. Это не было сговором — скорее правилами игры, принимаемыми всеми, кто решался в ней участвовать.

NB

1939 год. Февраль. В подмосковном Болшеве было создано Особое техническое бюро при НКВД СССР, куда со всех концлагерей, рудников и лесоповалов были переведены находившиеся в заключении ведущие работники оборонной промышленности: авиаконструкторы Андрей Туполев, Владимир Петляков, Владимир Мясищев, Роберт Бертини, главный конструктор Харьковского конструкторского бюро, создатель первого советского самолета с убирающимися шасси Иосиф Неман, вооруженец Александр Надашкевич, моторист Курт Минкнер и другие.

Позднее конструкторское бюро Туполева было переведено (при сохранении тюремного режима) в Москву. В спальнях размещалось по 20 человек. На крыше находился «обезьянник» — огороженное металлической сеткой пространство для прогулок. А. И. Туполев провел в тюрьме 1367 дней и по ходатайству НКВД был досрочно освобожден вместе с двадцатью сотрудниками своего КБ 19 июля 1941-го.

7 июня. Газета «Правда». «Гитлер и Геринг об интервенции в Испании»:

«Берлин. 6 июня (ТАСС). Сегодня в Берлине состоялся парад части германских войск, вернувшихся из Испании. После парада Гитлер и Геринг выступали с речами.

В своей речи Гитлер прямо заявил, что в июле 1936 года было положено начало активному участию

Германии в войне в Испании. Борьба германских войск в Испании, по заявлению Гитлера, была войной против демократии… В своей речи Гитлер выразил „сожаление“ о том, что Германия вынуждена была все время скрывать от общественного мнения борьбу германских войск в Испании.

В своем выступлении Геринг заявил, что впервые после мировой войны германский воздушный флот принимал участие в широких военных операциях. Германский воздушный флот принял участие во всех крупных боях у Мадрида, Бильбао, Сантадера, Барселоны и т. д».

13 июня в Москве открылась Всесоюзная режиссерская конференция. Вступительное слово произнес А. Я. Вышинский. Вел конференцию М. Б. Храпченко. С докладами выступили А. В. Солодовников, А. Д. Попов, С. М. Михоэлс. Речь В. Э. Мейерхольда была встречена бурными аплодисментами.

Июнь. В ночь с 15-е на 16-е Мейерхольд уехал в Ленинград. 20-го был выписан ордер на его арест. Одновременно в московской квартире был произведен обыск, длившийся 12 часов. Последним человеком, которого видел Мейерхольд на свободе, был Д. Д. Шостакович.

К середине 1939-го из 136 секретарей райкомов партии Москвы на свободе осталось семеро. Семеро были расстреляны, как и многие заведующие отделами обкома и горкома партии и большинство инструкторов.

Также был расстрелян начальник Московского областного НКВД С. Реденс, женатый на сестре Надежды Аллилуевой.

20 июня. Ленинград. № 4 117 188.

«Командиру 12-ой бригады конвойных войск НКВД.

Находящегося в тюрьме УГБ при УНКВД ЛО арестованного Мейерхольда-Райх Всеволода Эмильевича, 1874 г. рождения, Пенза, прошу конвоировать с очередным маршрутом 21/VI.39 с особым конвоем, как особо опасного государственного преступника, в соответствии с приказом НКВД СССР № 00 389, в г.

Москву, в распоряжение нач. след. части ГУГБ НКВД СССР.

Нач. упр. НКВД СССР по Ленинградской области,
Комиссар госбезопасности II ранга Гоглидзе».

19 июля. Из дневника М. М. Пришвина.

«Евгений [герой поэмы Пушкина „Медный всадник“] и неизреченное слово, которого именно-то и боятся все властелины. В том-то, может, и есть сила Евгения, что его проклятие не переходит в слово, и Евгения единственного нельзя изловить, соблазнить, использовать. Не словом, а бурей разряжается его мысль, и у Властелина „мальчики кровавые в глазах“. Евгений — это „народ безмолвствует“, а дела Бориса кажутся ему самому суетой. Евгений — это Смерть, хранящая культуру, укрывающая великие памятники духа под землю, чтобы они вставали потом и судили победителей… И так ясно, что все эти немые вопросы разрешаются фактом распятия».

Артек. Пионерская мечта. Сказочная страна счастья. В прошлом частный туберкулезный санаторий одного из детских врачей на Южном берегу Крыма. Небольшой. Уютный. В кипарисовом парке. Теперь способ награждения «лучших из лучших». Сорок дней роскошной еды, моря, солнца, полной пионерской атрибутики.

Осенью 1939-го не все походило на настоящую мечту. Лагерей в «Артеке» было несколько. В так называемом Верхнем — единственный, напоминавший расползающийся по швам барак корпус. Спальни на двадцать человек каждая. Казарменный порядок. Вместо пляжа навал камней. Аллейки по склону немыслимой крутизны. Уходящий в море мыс Аю-Даг. Полуосыпавшаяся дорожка, срывающаяся под обрыв. Плети повисших на крутизне глициний. Кому-то нравилось. Кому-то нет.

Большую часть отряда составляли дети тех, кто легко мог на собственные средства приобретать путевки в любые санатории, жить в апартаментах самых дорогих гостиниц. Они обменивались впечатлениями. Пожимали плечами по поводу неудобств: «Если бы папа знал…», «Мама бы никогда не допустила…»

Администрация не могла рассчитывать на снисходительность власть имущих. Вожатые строго отслеживали каждый вопрос, каждую шутку ребенка — мало ли что? Скандал не заставил себя ждать. Председатель совета 2-го отряда получил телеграмму из Ленинграда: арестован отец! Вожатая кипела возмущением. После

вечернего построения лагеря и ритуального отбоя, исполненного горнистами, обсуждение среди самых доверенных.

На мальчишку страшно было смотреть. «Ты понимаешь, как сын врага народа, ты не можешь руководить отрядом, принимать рапорты и вообще!» И окончательная драма: «Он не отец мне — друг отца. Папу расстреляли два года назад…» — «Расстреляли?! И ты молчал?! Не отвел своей кандидатуры? Как тебе вообще дали путевку? Кто посмел?»

Злость этой коренастой толстощекой девицы в белой майке и непременных «баретках» — комбинированных, резиновых с тканевым верхом, тапочках — мешалась с паническим страхом. Она прижилась в Артеке, уже привыкла ничего не делать и не хотела возвращаться на свое рабочее место в цех одного из московских заводов. Из-за такой глупости! Такой неудачи!

С каким облегчением сажала она в автобус незадачливого «председателя совета отряда». Билет до Ленинграда у него на руках, а там… Не все ли равно, где и как ему удастся найти крышу над головой!

Адуся Попова, дочь ведущего судебно-медицинского эксперта страны, задействованного во всех проходивших политических процессах, попрощаться с высланным не подошла. Да она и не была с ним толком знакома. Но все же с сочувствием заметила: «Ему же не выдадут ленинградского паспорта. В будущем. Да и сейчас не разрешат там жить: режимный город. Лучше бы сразу отправлялся в детдом для детей врагов народа. Так проще». — «А если его кто-нибудь приютит? Родные. Знакомые». — «Да вы что?! Кому это нужно самому себе петлю на шею надевать!» Адуся оказалась права. Письма с ленинградским адресом вернулись с отметкой почты: «Адресат в городе не проживает». Адресату едва исполнилось тринадцать лет.

NB

1939 год. В период арктической навигации пароход «Семен Буденный» вывез всех заключенных из Соловецкой тюрьмы особого назначения в Норильск и Дудинку.

21 октября. Из письма И. Э. Грабаря. Москва.

«…Были с Маней [женой] на „Алмасте“ Армянской декады вчера [опера А. А. Спендиарова в постановке Ереванского театра оперы и балета для Первой декады армянского искусства в Москве]; завтра идем на второй спектакль. Было очень красиво, превосходные декорации Сарьяна. Была „вся Москва“. Шмидты, Папанины,

знатные люди колхозных полей и пр.».

Октябрь. Из письма внучки В. Э. Мейерхольда М. Валентей.

«Сразу после похорон убитой З. Н. Райх ее детям было предложено в 48 часов освободить квартиру. Отец Зинаиды Николаевны пытался приостановить выселение внуков, обращался к И. Москвину, депутату Верховного Совета СССР, но не встретил поддержки. В телефонном разговоре Москвин сказал: „Вас выселяют правильно“. Предписывалось не только немедленно очистить квартиру, но и вывезти огромный архив В. Мейерхольда, оставшийся после ареста в его опечатанном кабинете.

Пришлось спешно складывать вещи, распродавать мебель, грузить архив. При этом всех торопила и подгоняла шнырявшая по квартире молоденькая свистушка, уже имевшая ордер на освободившуюся квартиру. Как могло случиться, что расположенная в кооперативном доме работников искусств квартира всемирно известного режиссера была передана одинокой молодой женщине, только что появившейся в Москве и числившейся в аппарате Берии? Она получила ту часть квартиры, где находился кабинет Всеволода Эмильевича и гостиная Зинаиды Николаевны. Вторая половина квартиры была передана личному шоферу Берии…»

Девять утра. Выходной день. Место сбора — все тот же Дом пионеров на Чудовом. Очередное выступление. Где? — такие вопросы исключались. Судя по веренице автобусов, участников должно быть много. В такую рань?

И еще одна особенность. Все участники хора, ансамбля песни и пляски, музыканты оркестров, горнисты переодевались в парадные костюмы в пионерском доме. Несмотря на мороз, сверху только накидывались (не дай бог помнутся!) шубейки, едва прикладывались к старательно причесанным головам шапочки. «Там будет негде!» Костюмеры, педагоги привычно оставались у дверей. В очередной раз их благонадежность оказывалась под сомнением. Программа? — «Узнаете на месте».

Недолгий путь по центру города в сопровождении милицейских машин. Боровицкие ворота Кремля. Разворот за Большим Кремлевским дворцом, к зданию бывшего Сената. Бывшего — теперь в нем одно из кремлевских учреждений. Место проведения пленумов партии.

Сцена-подиум. Никаких кулис, занавеса. Специального света.

«Но…» — «В чем дело?» — «Дирижеры колеблются — разместить и вывести оркестр, ансамбль…» — «Ваше дело придумать». В восторге Семен Исаакович Дунаевский. Он руководитель ансамбля песни и пляски (конечно, детского!) Дома железнодорожников. Что из того, что за первыми рядами детей сидят взрослые музыканты, в кулисах расставляются профессиональные хористы, а над техническими приспособлениями ломают головы инженеры из наркомата путей сообщения. Ни для кого не секрет: братьев Дунаевских опекает сам Лазарь Моисеевич Каганович. Поэтому Семен Исаакович заранее знал, как освоить площадку, отрепетировал свое выступление.

Одиннадцать часов… Сквозь двойные рамы доносится перезвон курантов на соседней Спасской башне. С последним ударом должен быть объявлен первый номер — секунда в секунду. Ребята зевают: скорее бы это закончилось, ведь выходной на неделе только один и его так хочется провести с родителями.

Наконец, сигнал горнистов (12 человек!). Временный занавес. Ряды хористов. Занявший все пространство так называемой сцены оркестр. Замерший дирижер. И в пустом зале — трое. Две девочки и мальчик. Две Светланы — Сталина и Молотова и Сережа Молотов. Так почти благоговейно объяснят старшие.

Не может быть! Секундная задержка. Тень судороги на лицах. Младших и даже старших. Значит, все это — только ради них?.. «И — начали!»

Через полчаса Светлана Сталина поднимается — надоело! Все три зрителя выходят из зала через услужливо распахнутые охранниками двери. Концерт будет идти еще час…

Через неделю стал известен вымечтанный детским начальством результат. Коллективу Городского дома пионеров разрешено поставить «Сказ о Сталине» — феерию с тысячью участниками, специальным сценарием (с участием Сергея Михалкова). Новый директор Дома, один из великовозрастных «вожатых» в пионерской делегации на XVIII съезде Александр Александрович Ахапкин через многие годы будет рассказывать о состоявшемся чуде. На премьере, посвященной 60-летию вождя и учителя, предполагалось присутствие «всей Москвы».

* * *

«Когда? Когда же это было?» — «Что?» Дядя Сигизмунд отчаянно трет свалившееся с носа пенсне на неизменном черном шнурке: «Халхин-Гол. Река Халхин-Гол…» — «В середине мая». —

«Вот-вот, нынешнего мая. И только что разгром там японцев. Анатоль Ржевусский вернулся. Рассказывал: огромные потери. И вот договор о ненападении с Германией, чтобы уничтожить Польшу». — «Думаешь, все решилось так мгновенно?» — «Мгновенно? Теперь-то понятно, как давно они все готовили. 28 августа договор, 1 сентября нападение Германии на Польшу…» — «И успели выслать из Москвы всех поляков. И почему-то нашу Дусю. Как можно было не понять!» — «Просто у них все было готово».

В семейном архиве сохранится поседевшая газетная вырезка: «В течение 17 дней Польша была разгромлена. Польское реакционное правительство не смогло организовать оборону страны. Оставив польский народ на произвол судьбы, оно бежало из Польши. Оставленный без руководства, без командования, польский народ и отдельные войсковые части мужественно сопротивлялись германскому нашествию. Героически дрались защитники Варшавы и моряки Гдыни. Эти разрозненные очаги сопротивления были сломлены. Фашистские войска, заняв Польшу, подошли к территории Западной Украины и Западной Белоруссии, готовясь захватить и их. 7 миллионов украинцев и 3 миллиона белорусов могли попасть в немецкую кабалу, а территории Западной Украины и Белоруссии — превратиться в плацдарм для нападения на Советский Союз. 17 сентября Красная Армия начала освободительный поход, чтобы взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Белоруссии и Западной Украины.

Освобожденные украинский и белорусский народы, находившиеся раньше под гнетом польских панов, решили воссоединиться со своими братьями украинцами и белорусами Советского Союза, о чем они и просили правительство СССР…»

Роковой 1939-й… В той же комнате на Леонтьевском Кржижановский читает свою новую пьесу «Тот третий» — парафраз на «Египетские ночи» Пушкина, где «тот третий» решается выступить вместе с воином Флавием и мудрецом Критоном.

Тесно. Актеры МХАТа из старшего поколения. Один из самых талантливых философов тех дней профессор Асмус. Поэт Павел Антокольский. На стуле у окна, спиной к свету, Мейерхольд, только что отлученный от театра. Он поднимается сразу после окончания читки. Поздравит автора. Извинится нездоровьем жены. Скажет о себе: «Один из бесполезных и непригодных к делу зрителей».

Тишину, наступившую после его ухода, нарушит чье-то слово. Единственное. Едва слышное. «Голгофа…» Кржижановский

встрепенется: «Пока еще только Тайная вечеря. И молитва о чаше…» Пока. Разговор о пьесе так и не состоится. Тетя Нюся вздохнет с облегчением: «Спасибо и на том».

И другое событие — одинаково ненужное и необходимое для дяди. Начавшаяся высылка поляков его бы коснулась одним из первых. Добрые знакомые объединили усилия — не Евдоксия Никитина. Председателя Союза советских писателей — «наркома литературы», как его звали, — Александра Фадеева убедили принять Кржижановского в члены Союза.

«Что за имя? Первый раз слышу. Покажите книги». — «Их нет». — «Литературные публикации?» — «Тоже. Но вы знаете сценарий фильма „Праздник святого Йоргена“. Там просто из титров сняли его имя. И пьесу в Камерном, но она изъята из репертуара, и…» — «Тогда о чем говорить?» — «Об исключительном таланте. А публикации — вы же знаете, они появятся сами собой вместе с членством».

Список рекомендателей оказался нескончаемым: Николай Асеев, Павел Антокольский, Всеволод Вишневский, литературные критики, даже философы, даже администраторы от литературы. Фадеев предпочел уступить: не было нужды выглядеть ретроградом. Членский билет Союза спас Кржижановского от высылки на пресловутый 101-й километр.

* * *

«Ваши? — Лентулов перебрасывает пачку этюдов. — Любопытно. Очень любопытно. Стоит продолжать. Чем могу быть полезен?» — «Михаил Васильевич сказал, что, может быть, вы согласитесь…» — «Да уж, никак не в нестеровской колее. Короче, хотите заниматься?» — «Очень». — «Сейчас и начнете. Держите картон. Краски, кисти здесь. Начнете с постановочки. А Михаил Васильевич не предупреждал вас, что со мной лучше не связываться? Бывший я. Как и он. Может, и похуже».

В коммунальной квартире у Красных Ворот привычная теснота. В коридоре у входных дверей непременные лоханки, детский велосипед. Трехколесный. На кухне визгливые голоса.

Комната Лентулова не подходит для мастерской. Но художник знает: надеяться на то, что творческий союз когда-нибудь даст ему ателье со всеми удобствами и приспособлениями, — утопия. А в жизни главное — работать. Каждый день. Прямо с утра. Не отвлекаясь на житейскую, по его выражению, шелуху. В навале холстов (кому они сейчас нужны!), рисунков, книг по искусству свободный кусочек продавленной

тахты. Прислоненная к стене гитара. На столе — посуда для гостей, которые непременно заглянут на огонек. Московский художнический обиход не меняется. Несмотря ни на что.

«И ни в коем случае не чистите палитры! С чистой палитрой работать нельзя. И краски следует смешивать не на ней, а прямо на холсте — тогда и будет настоящая живопись. Живая».

Мастер московской школы. Именно — московской. Трудно сказать точнее. Уроженец далекого села в Пензенской губернии. Учился в художественном училище местной столицы — Пензы. Сбежал в училище Киева. Вернулся через несколько лет в свою первую школу, чтобы сбежать еще раз, теперь в одну из частных студий Петербурга. Сам выбрал для совершенствования Париж. Ездил по Франции, Италии. После 1917-го оформлял театральные постановки. Преподавал во ВХУТЕМАСе — ВХУТЕИНе. В 1926-м кончился театр, в 1932-м — работа в вузе. Осталось официальное небытие. Помогла провинциальная закалка: чужое непонимание оставляло равнодушным. Почти равнодушным, потому что все-таки была отдушина — товарищеское общение.

«Художники сегодня могут быть самыми свободными из всех. Если не соберутся торговать собой. Но ведь панель — дело не только необходимости, но и призвания. Так всегда было. Свобода сосредоточена в вашем общении с холстом. Треугольник: глаз — чувство — холст. И не дай бог привносить в него какие бы то ни было расчеты. Да, постарайтесь побывать у каждого, кого здесь встретите. Художнику слова не нужны. Зато оказаться с глазу на глаз с настоящей живописью!..»

В подворотне бывшего Московского училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой, почти напротив Почтамта, едва заметная со стороны лестница под землю. Несколько ступенек — то залитых водой, то покрытых стекленеющей коркой льда. Дворницкая. Бывшая дворницкая — крохотная, без окон, прихожая, две смежные комнатенки. Без света — только в верхней части окон мелькание ног. Густой настой тепловатой плесени. На стенах — фотографии памятника Третьему Интернационалу. Две композиции — без обкладок и рам. Одна кубистская, кажется, предметно ощутимая. Пришпиленный кнопкой листок — эскиз железной платформы для гроба Владимира Маяковского.

Имя Владимира Татлина в Союзе московских художников не упоминалось иначе как в ругательном смысле: «татлины», которые… «разлагают, оскверняют, компрометируют». Как писалось в одной из статей 1930-х годов, помимо формалистических «вывертов» он наводил — ни много ни мало! — на мысль о неустойчивости союза коммунистических партий. Иначе почему бы его башня-памятник имела

подозрительный наклон?

В 1918–1919-м Татлин — организатор работы по монументальной пропаганде — сооружению памятников историческим деятелям, руководитель Московской художественной коллегии изо народного Комиссариата просвещения. С того же времени и вплоть до 1930-го — преподаватель в свободных творческих мастерских Москвы и Ленинграда, Киевского художественного института и московского ВХУТЕИНа. Вместе с одинаково неожиданным для учащихся и преподавателей закрытием ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа жизнь художника фактически кончилась. Впереди было почти четверть века молчания, отлученности от всего, что связывалось с изобразительным искусством.

…Хозяин чувствует себя глубоко смущенным и обстановкой, и тем единственным куском пайкового хлеба, который готов предложить к кипятку. Без чая и сахара. Высокий. Худой. С поредевшей копной соломенных, тронутых сединой волос. С растерянной и бесконечно доброй улыбкой. Он помогает гостю, несмотря на его молодость, раздеться и непременно сам подает пальто. Каждому. Уважительно и внимательно. Едва ли не единственный среди художников, он умеет не просто серьезно — бережно оценивать каждый ученический опыт. Чтобы не пропустить «скрытого зерна». Не задеть творческого самолюбия. Не обескуражить…

Его душевное состояние — глубочайшее разочарование. Он из той мыслящей группы 1920-х — Родченко, Певзнер, Габо, — для которой каждое действие в искусстве осмысливалось, каждый поиск имел цель. Но кого в те годы интересовали рассуждения Татлина?!

У человека отняли религию — подумаем о последствиях. Веками она была моральным стержнем, нравственным эталоном, относительно которого сам человек и — что много существеннее — общество оценивали все мысли и поступки. В мире стремительно развивающейся техники, лишенный старых мерил человек испытывает особенно острое чувство неуверенности и одиночества. И здесь ему должно прийти на помощь искусство. Непременно и только искусство. Больше того — собственно дизайн.

Представьте, вокруг вас камень, бетон, металл, мелькают машины и механизмы, ежесекундно меняются материалы. В динамике общения с материалами и должен заключаться смысл дизайна. Воздействие, которое не требует выключения из потока жизни, но осуществляется именно в нем. И то, что этот мир по-своему не просто удобен — при участии художника он может

стать и выразительным, и человечным, и воплощающим наши самые сокровенные чувства. Именно с помощью художника можно обрести цельную среду бытия — отдельные фрагменты, направления будут лишь развлекать, не больше.

Социалистический реализм? То, что мы видим на практике, неадекватно абсолютному смыслу термина. Придуманный метод для представления несуществующей жизни; одна условность неизбежно влечет за собой другую. Здесь о выполнении искусством своих функций не приходится говорить. Реализм для искусства — это Курбе: внутренняя установка на визуальное соответствие изображения не объекту натуры как таковому, а существу сюжета, объединяющего эти объекты.

NB

1940 год. 13 января. В. Э. Мейерхольд — В. М. Молотову. Из Бутырской тюрьмы.

«…Вячеслав Михайлович! Вы знаете мои недостатки (помните сказанное мне однажды: „Все оригинальничаете!“), а человек, который знает недостатки другого человека, знает его лучше того, кто любуется его достоинствами. Скажите, можете Вы поверить тому, что я изменник Родины (враг народа), я — шпион, что я член правотроцкистской организации, что я контрреволюционер, что я в искусстве своем проводил троцкизм, что я на театре проводил (сознательно) враждебную работу, чтобы подрывать основы советского искусства?

Все это налицо в деле № 537. Там же слово „формалист“ (в области искусства) стало синонимом „троцкист“. В деле № 537 троцкистами объявлены: я, И. Эренбург, Б. Пастернак, Ю. Олеша (он еще и террорист), Шостакович, Шебалин, Охлопков и т. п.

Будучи арестованным в июне, я только в декабре 1939 г. пришел в некоторое относительное равновесие. Я написал о происходившем в допросах Л. П. Берии и прокурору Союза, сообщив в своей жалобе и своем заявлении, что я ОТКАЗЫВАЮСЬ от своих ранее данных на допросах показаний, но вот пример: Ю. К. Балтрушайтис, с которым, как с русским поэтом, считающим СССР своей родиной больше, чем Литву, я дружен с 1898 года, именуется в деле № 537 английским шпионом, а я якобы доставлял ему материалы как завербованный шпион…

Когда я от голода (я ничего не мог есть), от

бессонниц (в течение трех месяцев) и от сердечных припадков по ночам и от истерических припадков (лил потоки слез, дрожал, как дрожат при горячке) поник, осевши, осунувшись лет на 10, постарев, это испугало следователей. Меня стали усердно лечить (тогда я был во „внутренней тюрьме“, там хорошая медицинская часть) и усиленно питать. Но это помогло только внешне, а нервы были в том же состоянии, а сознание было по-прежнему притуплено, затуманено, ибо надо мной повис дамоклов меч: следователь все время твердил, угрожая: „Не будешь писать (то есть — сочинять, значит?!), будем бить опять, оставим нетронутыми голову и правую руку, остальное превратим в кусок бесформенного окровавленного искромсанного тела“. И я все подписывал до 16 ноября 1939 г. Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ ПОКАЗАНИЙ СВОИХ, так выбитых из меня…

…Меня здесь били — больного шестидесятишестилетнего старика, клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине; когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам (сверху, с большой силой) и по местам от колен до верхних частей ног. И в следующие дни, когда эти места ног были залиты обильными кровоизлияниями, то по этим красно-сине-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что казалось, что на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток (я кричал и плакал от боли). Меня били по спине этой резиной, меня били по лицу размахами с высоты…»

* * *

Придымленный ладаном придел маленькой церкви Успения на Вражке. Отошедшая всенощная. Шаркающий священник в потертой ризе. Свечи у Голгофы. «Со святыми упокой, Христе…» Артисты Художественного театра. Из самых старых. Не заслуженных. Кучка актеров театра Вахтангова. Кто-то из Камерного. «Идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание…»

Входят. Берут свечи. Растворяются у темных стен. «…Но жизнь бесконечная… раба Божьего Всеволода…» Взгляды избегают встреч. Каждый в себе. «И сотвори ему вечную память…» Именины Мейерхольда. Первые после расстрела. Официальная дата не совпадает с той, о которой удалось узнать товарищам.

«Кто это решил?» — «С панихидой? Не помню. Мне передали». — «Не боялись?» У Тезавровского отсутствующий голос: «От страха тоже устают. И потом церковь. В ней возвращаются человеческие измерения. Мы как-то выезжали всей труппой в Петровско-Разумовское. Кажется, в 1898-м. Заговорили о вере. Что человеку нужна не обрядность, а идея всеобщей, единой для всех справедливости. Маргарита Савицкая отмахивалась: какая там справедливость — всегда судьба. Мейерхольд резко сказал: только справедливость. Да, а учеников его — любимых, во всяком случае, — тогда в церкви не было. Помнится, ни одного…»

NB

1940 год. 2 февраля были расстреляны Всеволод Мейерхольд и журналист Михаил Кольцов. Их тела сожгли в крематории. Прах сбросили в общую яму пятиметровой глубины на Донском кладбище. Позднее там была установлена плита с надписью: «Общая могила № 1. Захоронение невостребованных прахов с 1930–1942 включ.».

29 марта. Из доклада В. М. Молотова о внешней политике правительства на VI сессии Верховного Совета СССР первого созыва: «Крутой поворот к лучшему в отношениях между Советским Союзом и Германией нашел свое выражение в договоре о ненападении, подписанном в августе прошлого года. Эти новые, хорошие советско-германские отношения были проверены на опыте в связи с событиями в бывшей Польше и достаточно доказали свою прочность. Предусмотренное еще тогда, осенью прошлого года, развитие экономических отношений получило свое конкретное выражение еще на августовском (1939 г.), а затем и февральском (1940 г.) торговых соглашениях. Товарооборот между Германией и СССР начал усиливаться на основе взаимной хозяйственной выгоды, и имеются основания для его дальнейшего развития».

12 мая газета «Правда» опубликовала сообщение ТАСС: «Германское информационное бюро передает, что первый день операций германских войск на Западе, как видно из сообщений верховного главнокомандующего германской армии, прошел под знаком успешных нападений германской авиации на неприятельские

объекты военные и аэродромы. Агентства „Гавас“ и „Рейтер“ передают, что германская авиация разрушила жилые дома, фабрики и вызвала жертвы среди мирного населения. Эти агентства утверждают, что Германия перешла к тотальной войне. Все эти сообщения, как заявляют в германских кругах, преследуют исключительно пропагандистские цели. В действительности Гитлер издал германской авиации приказ бомбардировать только военные объекты. О тотальной воздушной войне в том смысле, в каком о ней говорят враги Германии, не может быть и речи. Но германская авиация ответит на попытки противника превратить войну в тотальную во много раз превосходящим ударом».

12 мая газета «Пионерская правда» наряду с рассказом о походе Александра Македонского в Индию — для любителей истории, статьей о редком атмосферном явлении — огнях святого Эльма, советами знаменитой балерины Екатерины Гельцер молодым танцорам, отчетом о смотре детского художественного творчества в Киеве с хоровым исполнением песни «Про батька народного, про Сталина ридного» опубликовала краткое сообщение: «На северо-западе Европы, на берегу Северного моря, расположены две страны: Бельгия и Голландия. Между границами Германии, Франции и Бельгии лежит маленькая страна Люксембург. В особом сообщении, так называемом меморандуме, германское правительство объявило правительствам этих стран, что оно отдало войскам приказ перейти границы этих государств. В меморандуме говорится, что такие действия германского правительства вызваны тем, что Англия и Франция готовили наступление на Германию через Бельгию и Голландию».

* * *

Ходить в школу становится все труднее. Военная истерия вспыхивает на каждом уроке. «Нам с Германией придется защищаться!», «Сегодня удар на себя приняла Германия, завтра может наступить наша очередь», «Спасибо Гитлеру — сумел опередить врагов, а не то…», «Готовиться, готовиться каждый день! Враг рядом, враг не дремлет!» Какой? Само собой

разумеется, англичане, французы и еще всякие разные.

Поэтому тренироваться в тире — каждый должен иметь значок ворошиловского стрелка. Прыгать, бегать, метать гранату — это для значка «Будь готов к труду и обороне». А если удастся — получить значки всех степеней. Значок «Готов к санитарной обороне» — это для девочек. И еще строевая подготовка. И — «песню — запевай!»:

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И первый маршал в бой нас поведет!

Решение пришло неожиданно. После прочитанного в газете необычного объявления: «Прием в экстернат. Занятия как в институте. Система зачетов. Свободное посещение». Свободное? После школьной казармы? Только бы нашлись деньги!

Дома в гостях худощавая старая женщина. Кипенно-белая прическа. Открытый лоб. Тонкие черты лица. Руки в манжетах из стареньких, но настоящих валансьенских кружев. «Московская Венера» на парижском конкурсе красоты. Тетка Лидии Ивановны, так неохотно оставляющая свой закуток в бывшем собственном доходном доме напротив церкви Успения на Вражке.

Беспокойно перебирающие платок пальцы. Пятна румянца на пергаментных щеках. «Вчера была панихида. По Мейерхольду — в день его ангела…» — «Как панихида? Но ведь он…» — «Его больше нет. Так сказали. Актеры…»

У тетушки Анны Петровны особенная жизнь. «Лишенка» — лишенная всех прав, бывшая владелица домов и заводов, она не может работать нигде: запрещено! Тем более получать пенсию. Если бы не церковь — она стоит у свечного ящика. И если бы не… бега. Давняя страсть к лошадям и — что греха таить! — к тотализатору неожиданно обернулась источником существования. По старой памяти конюхи нет-нет да и подсказывают нужные номера. Так удается сводить концы с концами. На этот раз известие приходит из церкви, и сомневаться в нем не приходится.

«Боже мой, ведь за тебя хлопотал Мейерхольд!» На лице Лидии Ивановны безысходная усталость: опять хлопотать, опять метаться. «По-моему, я нашел выход. Смотри — экстернат. Вот только деньги…» Лидия Ивановна облегченно смеется: только-то и всего! Кто знает откуда, но деньги непременно должны найтись. И вообще хватит этой проклятой школы. Хватит!

NB

1940 год. 28 мая. Состоялся суд над авиаконструктором А. Туполевым и его сотрудниками. После суда Туполев отправил письмо Л. П. Берии:

«Народному комиссару внутренних дел Л. П. Берия от Туполева А. Н.

8 июня с.г. мне объявлено решение Военной коллегии, которым я признан виновным и осужден к 15 годам лишения свободы, к 5 годам поражения в правах с конфискацией имущества. Никогда не занимаясь никакой антисоветской деятельностью, я не совершил ни одного поступка против Советской власти и никакого акта вредительства или диверсии, я никогда и никому не давал никаких шпионских сведений. Все вынужденно мною подписанное под угрозами, как по отношению ко мне лично, так и по отношению к моей семье, является ложным и в действительности ничему не соответствует. Всю свою жизнь я честно работал на пользу Советской власти, и мне удалось создать конструкции целого ряда самолетов, торпедных катеров и других аппаратов, которые были приняты на вооружение Красной Армии. Ряд пассажирских самолетов моей конструкции состоял и состоит на гражданских воздушных линиях…»

1 октября. Из дневника М. М. Пришвина.

«Надо помнить на каждый день, независимо от того, хорошо тебе или плохо, что люди нашей страны живут тяжело и выносят невыносимое».

2 октября. Там же.

«…Как, например, трудно убить человека по своей личной воле: личное сознание огромнейшего большинства людей не допускает убийства. Но стоит сюда внести между мною и личностью убиваемого ЗАКОН, стоит законом снять вину, значит, обезличить акт, значит, механизировать отношения людей, — и только редчайший человек откажется нажать пуговку от провода к электрическому стулу».

13 октября. Там же.

«Последний нажим НАДО будущего на ХОЧЕТСЯ, т. е. на личность, на настоящее выразился в закрепощении служащих, в обуздании молодежи, всех художников, всех, у кого еще остается надежда через

личное ХОЧЕТСЯ выйти из необходимости государственного НАДО. И замечательно, что сами профессора, художники, вся высшая интеллигенция, страдая лично от принуждения, не могут отказаться от справедливости всех принудительных мер в отношении студентов, рабочих и пр. „Ничего не поделаешь“ в отношении государственного НАДО и „хоть денечек, да мой“ в отношении себя. Так все и совершается в мире наивных существ, определяющих свое бытие на иллюзии своего личного „я“, своего земного короткого ХОЧЕТСЯ. Но существует личность человека, независимая от человека, и жизнь, не определяемая физической конечностью. Многие подозревают существование такой личности, и в беде своей косятся в ту сторону».

6 августа был арестован биолог, генетик, автор учения о биологических основах селекции растений, директор генетической лаборатории в Москве, академик Николай Иванович Вавилов. 12 августа состоялся его первый допрос во внутренней тюрьме НКВД (Лубянке) следователем Хватом. 20 августа Вавилов подписал свою вину. До июля 1941-го находился в Бутырской тюрьме, в камере № 27, где содержалось 200 человек.

* * *

…Детские праздники. Весной 1941-го их было много. Пышных. В лучших залах Москвы. С почетными гостями со всех концов света. С отчетами на целые газетные развороты. Общий восторг от «счастливого детства», нового поколения, которому «идти», «достигать», «преодолевать», заставлял забыть о тенях войны, мелькавших в печати, о гуле артиллерийских канонад и бомбежек в Европе. За ним незамеченным остался и промелькнувший в печати указ Президиума Верховного Совета от 30 января 1941-го за подписью «всесоюзного старосты», как называли Калинина, «о присвоении наркому внутренних дел товарищу Лаврентию Берия звания генерального комиссара Государственной безопасности».

Теперь на праздниках вводился двойной конферанс: русский — немецкий. Немецкий танец. Немецкие песни. Даже стихи (кроме Гейне!). В школах немецкий был единственным иностранным. Редчайшее исключение представлял французский.

30 апреля — городской первомайский пионерский костер.

Полный зал. Главный гость — находящийся в эмиграции руководитель венгерской компартии Матиас Ракоши. Чтение хором:

Так тверже кремня, закаленнее стали
Мы сменой должны вырастать боевой,
Чтоб с кличем победным: «Да здравствует Сталин!»
Пойти в наш решительный бой!

Против кого — оставалось по-прежнему непонятным. Во всяком случае, не против фюрера. До начала войны оставалось пятьдесят три дня.

Сорок два дня до войны — начало Всесоюзного лермонтовского конкурса. Нина Станиславовна Сухоцкая: «Боже, неужели опять, как с Пушкиным: начнут брать? Но кого же теперь?» Кржижановские: «Тех, кто успел подрасти. Или не успел умереть».

За потаенным пасхальным столом Софья Стефановна сообщает, что всем учителям поручено срочно составить списки учеников — по национальному признаку. Кроме представителей союзных и автономных республик. Списки должны быть сданы до окончания учебного года.

Шестнадцать дней до войны — пышнейший общегородской бал по случаю окончания учебного года пятыми-седьмыми классами. Обязательные белые шелковые платья для девочек, костюмы для мальчиков. Конферанс концерта на русском и немецком языках. И стихи Сергея Михалкова:

Спит Москва. В ночной столице
В этот поздний темный час
Только Сталину не спится,
Сталин думает о нас…

Девять дней до войны — бал-карнавал, посвященный общему окончанию учебного года. Снова строки Михалкова. Теперь уже в немецком переводе. Выступление заведующего городским отделом народного образования. Война скоро кончится. Справедливость восторжествует. Английские и французские агрессоры получат должный урок. Если понадобится, мы поможем! Так сказал товарищ Сталин.

…Стол под молодыми елками. Поздний воскресный завтрак. Солнечное тепло. Стук дятла на соседней березе. Смех за забором. Кржижановский с охапкой кувшинок — только что с

озера. Дымок самовара. Ветер в стираной бахроме привычной скатерти.

«Слава богу, конец занятиям. Пора оторваться от города». — «О чем это вы вчера толковали со студийцами?» — «О школе. Пора с ней кончать. В Каретном Ряду открылся хороший экстернат». — «А дальше?» — «Там будет видно».

Софья Стефановна готова возражать. Дядя Сигизмунд смеется: «А что, если надоело? Просто надоело. Нельзя же тратить всю жизнь по принуждению». — «Это у нас-то?» — «Ну и что. Альтернатива проста: или обстоятельства подчиняют нас себе, или мы им противимся. Ради собственного достоинства».

У калитки Тезавровские с Васей. Сын Белого мавра: с яркими серо-голубыми глазами, копной вьющихся льняных волос, худощавым, всегда смеющимся лицом. Начал учиться в консерватории — хороший баритон. Бросил ради летной школы. Теперь летчик-истребитель. В первом отпуске.

«О чем толк?» — «Нине, видите ли, надоела школа». — «Так надо уйти». Софья Стефановна вспыхивает: «Ты бы, Вася…» — «Тетечка, неужели вы хотели бы вернуть меня в консерваторию?»

Звон посуды. Новый самовар. Патефон у соседей. Скрип калитки. Четыре смущающихся паренька с велосипедами — одноклассники Нины. Без приглашения и предупреждения. «Отправляйся встречать гостей. С велосипедом. Побродите где-нибудь…»

И уже на машинах: «На железнодорожной платформе радио говорило: в двенадцать будет важное сообщение…» — «Сейчас без четверти. Надо подъехать послушать. Оттуда и до озера близко». — «Ну, если так…»

…Пыль. Серая пыль. На вагонах проносящихся электричек. На платформе железной дороги. На листьях акаций у переезда. На ступенях превращенного в магазин барака. На рекламе кинотеатра. На земле тесного базарчика. Нет, не то — на лицах. На лицах собирающихся людей. Толпа густеет. Подтягивается к столбу с путаницей проводов и черным раструбом репродуктора.

Молчание наливается угрозой. Может быть, потому, что нет песен. Немой репродуктор подрагивает от проносящихся поездов. Кто-то смотрит на часы. Наконец…

«Граждане Советского Союза…» — без сигнала точного времени. Без привычного перезвона кремлевских курантов. «Дорогие братья и сестры…» Чей-то голос на выдохе: «Братья… Плохо. Ой, плохо…»

Сегодня. В четыре часа утра. Подлое нападение. Авиация. Танки. Наши погранзаставы пытаются сопротивляться. Продвижение по территории…

Опоздавший: «Кто? Кто это?» — «Известно кто, немцы». — «Но как же — ведь…» — «Вот тебе и ведь. Свою голову иметь надо. Кто еще кроме них, проклятых». — «Господи, что-то будет, что будет…»

И еще про боеготовность. Про заранее продуманное отступление. Про то, что все равно враг будет разбит.

Четверо мальчишек-одноклассников. И как прозрение — со старыми лицами. Какими станут. Или — не станут. Никогда. Татарин, занимавшийся по классу скрипки. Еврей, мечтавший о профессиональном боксе и уже заработавший свернутый на сторону нос. Голубоглазый русский хулиган из привокзального московского района. Высокий немец из известной с петровских времен династии зоологов и ботаников. Ему одному будет суждено выжить. Потому что из специальной воинской части его отправят в Сибирь. Как неблагонадежного. Почти врага. Что из того, что всем по шестнадцать. Смерть и тюрьма не знают возраста. В тот день они уехали в Москву с первым же поездом.

На даче уже нет Васи: вернулся в часть. «Что же будет?!» Софья Стефановна с окаменевшим лицом: «Швабы. Несколько лет». — «Лет?!» — «С ними всегда так. Пока все не будет в руинах. Не обманывай себя — ваша юность не состоялась».

NB

1941 год. 22 июня Москва объявлена «находящейся в угрожающем положении». Везде затмение. Жителям предложено обезопасить дома: проклеить тряпочными лентами крест-накрест оконные стекла, закрыть витрины нижних этажей мешками с песком. Всю учащуюся молодежь, школьников и неработающих женщин направляют на строительство земляных укреплений, рытье окопов вокруг Москвы и на дальних ее рубежах.

* * *

Приказ о направлении на земляные работы касался школьников старших классов. В экстернате дело ограничилось маленькой запиской с адресом призывного пункта — для желающих. Кузнецкий Мост. Рядом с Центральным Домом моделей. Третий этаж. Никто никого не обязывал. Элигиуш пошел сам.

Поезд уходил с Киевского вокзала вечером. Мальчишки в светлых рубашках. Сандалиях и тапочках. Без формы. Без оружия. Без продовольствия. Никто не знал, куда едут. Как оказалось, не знал и зачем. Просто еще один эшелон в сторону стремительно катившегося к Москве фронта… даже не фронта — немецкого вала. О сопротивлении молчало даже радио. Дикторы не успевали (не должны были успевать?) перечислять оставленные города.

В Белоруссии московских школьников никто не ждал. Об окопах не было и речи. Немецкие части спокойно двигались по всем основным дорогам. Вдоль дорог, лесами и полями, вслед за немцами пробирались советские солдаты из уже разбитых частей.

Кому-то пришло в голову выставить и тем и другим заслон из московских мальчишек. И уголовников — только что выпущенных из тюрем заключенных. Это они учили школьников спать на земле, подложив под себя еловые ветки, и выменивать у крестьян еду на пиджаки и рубашки — на все, что можно было с себя снять. Белорусы ненавидели ополченцев за Москву, которая столько лет держала их впроголодь, за расцвет советского быта, о котором кричали газеты и радио. И которого им не довелось увидеть. О кружке воды не приходилось и мечтать.

В первый бой они вступили почти без оружия. Потом надо было его снимать с убитых, подбирать брошенное вдоль дорог. Скрываясь от немцев и самолетов. Штурмовики на бреющем полете гонялись за мечущимися по полю одинокими фигурками. Они стреляли без промахов. Почти всегда. Ночью в сторону Москвы летели бомбардировщики. Через час-другой возвращались с облегченным гулом. Было ясно: их груз остался в Москве.

Через полтора месяца Элигиуша погрузили в грузовик с ранеными: контузия, газовая гангрена, ранение. На дне грузовика не было ничего, даже соломы. Если выживешь в многочасовом пути до Москвы и первых эвакогоспиталей — без воды, перевязок, медиков, если не появится в небе очередной штурмовик. Белый

флаг с красным крестом не вывешивался. За ним немецкие летчики охотились в первую очередь. Седой водитель посоветовал в случае чего накрывать головы, чтобы сверху не разобрать было лиц: «Авось подумают, какой мусор».

NB

1941 год. 21 июля в 22 часа 08 минут в Москве была объявлена первая воздушная тревога, которая продолжалась шесть часов. Налет вызвал 11 666 пожаров. Было убито 130 человек, тяжело ранено — 241, легко ранено — 421. Без жилья осталось 7845 человек.

…Гул. Утробный, неумолимо нарастающий гул. Обессиливающий. Лишающий воли и сознания. И удар в рельсу. Звонкий. И растерянный. Один. Другой. Третий. За ним мелкая отчаянная дробь. Все чаще. Все быстрее. Тревога! Воздушная тревога! Вот… сейчас…

Прямо над головой, над верхушками сосен бортовые огни самолетов. Они даже не считали нужным их гасить! Первая волна. Через считаные минуты (или так только показалось?) — вторая. И с тем же промежутком еще, и еще, и еще…

В стороне от Москвы ослепительные ленты прожекторных лучей. Мечущихся. Скрещивающихся. Снова разбегающихся. Далекая строчка зениток. И уверенное уханье — бомб, конечно же бомб! Как скоро начнешь их различать: 250, 500 и почти невероятно — 1000 килограммов. Ухо различает и типы самолетов. Разве спутаешь «фокке-вульф» с «мессершмитом»! И у смерти есть свои портретные черты, которые входят в сознание помимо твоей воли.

Зарево над городом поднимается все выше. Ярче. Всю ночь. Только когда рассвет переходит в солнечное утро, последние тени над соснами отправляются в обратный путь. Четыре часа десять минут. Все!

С первой же электричкой — если они будут ходить! — в Москву.

NB

1941 год. 23 июля. В 16 часов в районе станции метро «Арбатская» была сброшена однотонная фугасная бомба. Попытки людей укрыться в метро привели к панике, во время которой были насмерть задавлены 46 человек.

9 июля состоялся суд над Николаем Ивановичем Вавиловым, длившийся несколько минут. Приговор —

высшая мера наказания. Экспертизу «вражеской» деятельности обвиняемого проводили профессор И. Якушин, заместитель директора Всесоюзного института растениеводства М. Хаджинов, аспиранты Г. Шлыков и С. Шунденко. Расстрел был отложен на полтора года.

16 августа приказом Верховного Главнокомандующего, подписанным и начальником Генштаба Г. К. Жуковым, все советские военнопленные были объявлены предателями и изменниками родины. Семьи попавших в плен командиров и политработников подлежали немедленному репрессированию, родные солдат лишались установленных для фронтовиков льгот.

Грузовик добрался до госпиталя на Старой Басманной. Въехал во двор. Пока медики разбирались с потерявшими в дороге сознание и умершими, Элигиуш сумел из последних сил выбраться сам. Ошеломленный. До краев налитый болью. И это было самым невероятным за всю прожитую жизнь: мать, Лидия Ивановна, шла на дежурство в тот же госпиталь. Она успела закончить какие-то курсы медсестер.

Со временем это будет отзываться в памяти почти обидой: ни слез, ни криков радости. Лидия Ивановна отыскала врача. Обработка. Перевязка. Уколы. Лекарства. И решение — домой, только домой! Выхаживать сына она станет дома. Врач не слишком сопротивлялся. С одной стороны — звание лейтенанта. С другой — шестнадцать лет, когда можно раненого направить долечиваться… в детскую больницу. Там, по крайней мере, не будет такой мясорубки. И впечатлений. Приходилось думать и о психике раненых.

К тому же — военврач знал это лучше других — немцы шли на Москву, и вряд ли их удастся остановить. «Забирайте! Теперь все будет зависеть только от вас. И подумайте о питании».

Прозрачная бледность говорила едва ли не о дистрофии. Хотя и в Москве начинался голод, Лидия Ивановна промолчала. Главное — Элигиуш был дома. На старенькой тахте. Под листьями разросшегося на всю комнату фикуса. Лишних слов не нашлось и у Марии Никитичны — просто Бог вернул ей смысл жизни. Она скажет об этом через много лет. Между прочим. Словно проговорится о слишком большой тайне.

NB

1941 год. В ночь с 23 на 24 июля во время бомбардировки были разрушены Театр имени Вахтангова

на Арбате, соседний жилой дом и занимавший целый квартал дом напротив. Во время отдельных налетов на Москву немецкие бомбардировщики сбрасывали до 14 тысяч бомб, в том числе зажигательных.

* * *

Электрички ходили. В переполненных вагонах стояла тишина. Люди неотрывно смотрели в окна: где, что… От Каланчевки Нина выбрала путь на трамвае. На здания вокзалов натягивались камуфляжные сетки. На тротуарах то тут, то там поблескивало битое стекло. Громоздились мешки с песком. На Театральной площади толпа теснилась у сбитого и привезенного на показ немецкого самолета. «Вот сбили же! Смогли!» Одиноким восторгам отвечало общее молчание. И серый налет отрешенности на лицах — он останется до конца войны. Люди без возраста — это люди на войне. Не страх — нескончаемое усилие преодоления.

Первая настоящая фугаска напротив дома на Пятницкой. Превращенное в руины могучее здание Лепешкинского училища, когда-то сооруженного для обучения девиц из московских купеческих семей, последнее время — медицинское училище. О погибших не говорили. Даже не слишком копались в обломках. Конец — значит, конец. Во дворе обрывок разговора: «Да что здесь — здесь худо ли бедно помогут. А вот те, кого оттуда привозят…»

«Откуда?» Это не приходило в голову. В пятнадцать лет трудно думать обо всем сразу. «Оттуда»… Газеты продолжали перечислять оставленные города. О людях — «потерях» говорить было не принято. Общая копилка жертв «ради советской родины» не различала имен. Но ведь по-настоящему только они одни и имели смысл.

Городской дом пионеров превратился в школу всевобуча, второпях готовившего пушечное мясо для еще не определившегося фронта. Почему-то надо было разбирать и собирать пулемет, винтовку, ползать по-пластунски и непременно красиво маршировать. Может быть, для того, чтобы не думать: «Раз-два, левой! левой! кругом! бегом!» Как все. Несмотря на отчаянно бьющееся сердце и одышку. Речь шла о старших, не попавших под метлу первой мобилизации. Среди преподавателей — лейтенант Белютин с рукой на перевязи.

Администрации Дома не было и в помине. С наспех собранной группой воспитанников она успела имитировать

эвакуацию, из которой через несколько месяцев ребята будут сами добираться до родного города. Животные маленького зоопарка — все дрессированные — забиты на продовольствие. Мебель и обстановка исчезли. Как неожиданно рухнувшая декорация.

Присевшая на ступеньках парадного крыльца пожилая билетерша Ольга Ивановна вспоминала свои потери. Все же вот тут было: Второй Художественный театр, Рабочий Художественный, Детский. Последний достался больнее всех. «Дети ведь… А теперь вон в Большом Козловском в эвакогоспитале валяются. Рук на всех не хватает. Сама бы пошла — крови боюсь. Как увижу, валюсь без памяти. Лежат, голубчики, как ни попадя. В три яруса. Пить просят. Да что там пить! Помрешь, никто не подойдет. Врачи, сестры с ног валятся. А их везут, все везут, все везут…»

Жалость? Нет, иное — несправедливость. После всех разыгранных спектаклей. После всех декораций. После обманных слов. Так не может быть. Вмешаться! Немедленно вмешаться! Что-то делать. Не смотреть со стороны! Боль — это боль. Несчастье — только несчастье.

Интендант эвакогоспиталя не спросил никаких бумаг: «Хочешь работать? Аня, дай халат, возьми девушку. Пусть сразу захватит мешок с ватой — не бегать же порожняком. Обо всем договоритесь на месте. Доктор скажет».

NB

БУНКЕР СТАЛИНА

Город Куйбышев (Самара), улица Фрунзе, 25. В августе 1941 года под зданием обкома партии началось строительство бункера для Сталина. Грунт был тайно вывезен за город 7500 рейсами пожарных машин. Чугунные тюбинги, по образцу Московского метрополитена, доставлялись с Урала, цемент марки 400 — с местных Сенгилевского и Волынского заводов, щебень — с Жигулевских гор. 14-метровая шахта упирается в этаж — коридор с агрегатами жизнеобеспечения и вспомогательными механизмами бункера. В случае необходимости этот верхний этаж может быть перекрыт стальными термодверями, способными выдержать нагрузку до десяти тонн на квадратный метр. Посередине коридора вертикальный ствол, уходящий вглубь еще на 23 метра (192 ступени). На нижнем этаже размещена комната отдыха Сталина, воспроизводящая его кремлевский кабинет: четыре метра

высоты, дубовые панели на стенах, паркет, стол с лампой под белым колпаком, настенные бра, диван в белом чехле, портреты Суворова и Кутузова. Рядом зал заседаний с т-образным столом для членов правительства и длинный стол для стенографисток.

Из 600 строителей бункера известны только имена главного инженера проекта Ю. П. Островского, главного архитектора М. А. Зеленина и начальника маркшейдерских работ И. И. Дробинина.

В настоящее время бункер под названием «Спецобъект № 1» представляет полулегальный музей, который с 1991-го до лета 1997 года посетило 120 тысяч экскурсантов из 143 стран мира.

Дежурства сначала по двенадцать часов, потом суточные. Иначе не добраться домой — выспаться, прийти в себя. На даче тот же стол под елками. Скатерть. Бабушка и мать. Непременный вопрос с оттенком неловкости (все-таки пятнадцатилетняя девчонка!) и страха: «Ну как там?» Софья Стефановна бывала в госпиталях Первой империалистической войны в числе дам-попечительниц Комитета помощи жертвам войны. Сестры в шуршащих крахмалом белоснежных передниках. Врачи в сопровождении ареопага ассистентов. Сидящие на кроватях в одинаковых чистеньких халатах раненые. Подарки. Слова. Пожелания…

«Ну как там?» С первым ударом в рельсу — «Боже, до чего пунктуальны эти немцы!» — все отправляются в щель. За домом успела появиться неглубокая яма с досками на чурбаках у стен вместо лавок. «Не садись около входа! Проходи глубже. Не высовывайся!»

От каждой фугаски вздрагивает земля. Противно шуршит осыпающийся по стенкам песок. Ухает совсем близко. «Не иначе опять попал в дачу. Прошлой ночью у переезда от двух и следа не осталось. Такая яма…»

Ехать в Москву Софья Стефановна не хочет. Может, здесь все же безопаснее? Да и как перевезти в город вещи — машин нет. «Зачем ты придумала с этим госпиталем? Не по возрасту. Вообще…» У Татьяны Ивановны с работой тоже непонятно. Горный ее институт эвакуируется. «Мы, конечно, не поедем. Может быть, останутся должности в законсервированном здании?»

«Ты слышала, всех немцев выслали…» — «По тем школьным спискам?» — «Кто знает!» — «Значит, и в твоем классе?» — «Я записала всех русскими. На всякий случай. Дети ведь могли и не

понять вопроса. Напутать». — «А были другие?» — «Не знаю. Зачем мне знать?»

…Немцы все ближе к Москве. И дело не в сводках Совинформбюро, да и где их услышишь, кроме уличных репродукторов? Газет нет. В первые же дни войны приказано было сдать все радиоприемники в почтовые отделения. Очереди стояли часами.

Самый верный признак: грузовики с ранеными оборачивались все быстрее и быстрее. Мелькали знакомые лица водителей. Они не рассказывали — торопили: «Сколько там еще ждут!»

Из кузова тела стаскивали пожилые солдаты. Расхлябанные ботинки допотопных времен. Аккуратно накрученные обмотки. Замурзанные халаты, подпоясанные широкими ремнями. Заскорузлые руки в буграх черных вен. Иногда вскакивали в кузов, приподнимали кого-то за плечи. Чаще тянули за полу шинели или пиджака. Раскладывали на дворе. Врач обходил быстро. Порой наклонялся. Приподнимал веко. Сестра рядом делала пометки. Таких относили за штабель мешков в углу двора. Остальных — на обработку.

Носилки — две палки с полотнищем брезента. Четыре руки санитаров. Все чаще — санитарок. Равномерное покачивание. Закрепленные обломками кирпича распахнутые двери. Холод, тепло, ветер — их не было. Никто и ничем не укрывался от них. Скорее! Скорее! Не потому что стоны, отчаянная боль. Просто капли уходящей жизни — можно не успеть. Доктор Роман Венгловский, хирург дореволюционных времен, со злостью кидал на поднос инструменты. «Долго еще будете возиться? Следующего! Следующего же!»

Рядом интендант, собирающий форму. Если была. Для санитарной обработки и вторичного использования. Это называлось «б/у-2»: бывшая в употреблении. Случались и «б/у-3». Лишь бы с залатанными дырами от пуль.

В первичной обработке лучше всего. Живые. Не слишком тяжелые. Те сразу поступают в операционную. Рядом выход на двор, поэтому госпитальный запах пота, мочи, гноя не настаивается.

Доктор Роман заходит между операциями. Старый профессор хирургии Московского университета. Кто-то из сестер сказал: «Жил когда-то в особняке в Трубниковском переулке. На домашний прием к нему записывались за несколько недель. Что скажет — как в воду глянет. Диагност милостью Божьей». — «Сестры! Опять болтовня? По местам! Не отвлекаться! Вы и раненый — больше никого!»

Здесь нет тревог, и от гула над головой не меняется ничто.

Наоборот — ночью больше машин. О том, чтобы где-нибудь укрыться во время налетов, не говорят. И не думают. Подвал, который мог бы стать бомбоубежищем, в несколько ярусов набит тяжелоранеными.

И непременно не пропустить ни одного документа, ни одной бумажки. Чтоб не сочли человека попавшим в плен, пропавшим без вести. Иначе — что делать родным?! Врачи твердят: «Девочки, ищите. Через не могу. Чтоб не было поздно. Теперь все зависит от вас. Спрашивайте, добивайтесь ответа. Людей жалеть надо». Надо…

NB

1941 год. 5 сентября. В соответствии с указанием Л. П. Берии и его заместителя Б. З. Кобулова 1-м спецотделом совместно с тюремным управлением НКВД за подписями начальников этих подразделений Л. Ф. Баштакова и М. И. Никольского составлен список на 170 человек, осужденных ранее за контрреволюционные преступления и отбывших наказание в Орловской тюрьме ГУГБ.

НКВД СССР. В списке кратко изложены установочные данные на каждого заключенного и в отношении семидесяти шести указано, что они в тюрьме проводят антисоветскую агитацию.

6 сентября Л. П. Берия направил на имя Сталина письмо и список на 170 заключенных с ходатайством применить к ним высшую меру наказания — расстрел. В тот же день Сталин от имени ГКО подписал постановление о расстреле.

8 сентября. На основании указанного постановления без возбуждения уголовного дела и без проведения предварительного следственного разбирательства Военная коллегия Верховного суда СССР под председательством В. В. Ульриха, членов коллегии Д. Я. Кандыбина, В. В. Буканова приговорила всех по статье 58–10 часть 2 УК РСФСР к высшей мере наказания — расстрелу.

11 сентября приговор был приведен в исполнение. Место расстрела и захоронения установить не удалось.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Вынося заведомо неправосудный приговор, Военная

коллегия Верховного суда СССР в составе В. В. Ульриха, Д. Я. Кандыбина, В. В. Буканова не несла за него ответственности, так как в своих действиях руководствовалась постановлением Государственного Комитета обороны — высшего органа государственной власти во время войны. Дело против членов суда не было возбуждено в 1988 году Главным военным прокурором СССР А. Ф. Катусевым «за отсутствием состава преступления». Более того. В соответствии с пунктом 8 статьи 5 УПК РСФСР уголовное дело против Ульриха по фактам вынесения неправосудных приговоров не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению: «В отношении умершего, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего или возобновления дела других лиц по вновь открывшимся обстоятельствам».

Военная коллегия Верховного суда СССР находилась по адресу: Никольская улица, 23. По подземному коридору под Лубянской площадью сюда проводились заключенные из внутреннего двора Лубянской тюрьмы.

На третьем этаже находился зал заседаний суда. Расстрелы производились в подвале. Бессменный председатель суда Ульрих жил рядом — в номере гостиницы «Метрополь».

Эвакуация! Тотальная. Всех заводов и фабрик. Всех научно-исследовательских институтов и учебных заведений. Всех учреждений. Само собой разумеется, театров, музеев и библиотек. Нет времени возиться с упаковкой, находить транспорт.

Закрываются на смешные худосочные замочки комнаты в коммунальных квартирах и отдельные квартиры в Домах правительства. Ключи старательно запрятываются в тот нехитрый скарб, который можно унести на себе. Перехватываются бельевыми веревками чемоданы и корзины. Заклеиваются газетами окна: хозяев нет, но они, Бог даст, еще вернутся. Неизвестно откуда и неизвестно когда.

Трагедии разыгрываются повсюду. Одно дело уехать тем, кто работает, другое — тем, кто доживает свои дни. Но оставить Москву надо всем. Как писал Константин Симонов:

По русским обычаям только пожарища
По русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирали товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди…

Константин Симонов был армянином и плохо объяснялся по-русски. Но жилье и добро действительно уничтожалось все. Почему? Почему опять надо бросать свою столицу? Неужели все считают правым Кутузова, положившего при Бородине столько солдат и уничтожившего после этого город, за который они погибли? Ведь его стратегия привела к разорению дворянства и гибели дворянской культуры. Почти как при Петре I. Москва каждый раз возрождалась, но почему никто из историков при этом не задается вопросом, что при этом она теряла. И она, и вся нация. Навсегда.

Почти семейный совет в Леонтьевском. Решение единогласное: не уезжает никто. Для младшего поколения вопрос вообще не стоял. Но — немцы в десятке-другом километров. Никакого сопротивления. Ни отзвука боев, ни попытки перелома. От вокзалов отходят один за другим поезда — перегруженные эшелоны. Место назначения — Урал, берега Камы (лишь бы за Волгой!), кому повезет — Средняя Азия. По шоссе Энтузиастов, бывшей кандальной Владимирке, уходят пешком, кто погрузив остатки скарба на велосипед, кто волоча его в корыте по земле. Дети. Старики. Еще далеко до выхода из города плач: «Больше не могу! Оставьте меня…» Остановиться невозможно — сзади угрюмая, молчаливо напирающая толпа. На обочинах груды брошенного барахла. Помощи ждать неоткуда. Но так нужно на нее надеяться…

Утром 16 октября злая поземка метет по промерзшим улицам без снега. Крутит остатки газет. Пробирает дрожью очереди у магазинов. Продавцы раздают за гроши то, что еще осталось в подсобках. Несут бидонами повидло, десятками пачек детское толокно, немыслимые приправы (а что, если удастся потом обменять?).

Слухи. Разбиты склады Мантулинского сахарного завода за Пресненской Заставой — вот туда бы! Разграблен мясокомбинат имени Микояна, но пока до него дойдешь, все, поди, расхватают! У хлебозаводов можно разжиться мукой — сегодня опару не ставили. За Химками, ближе к Москве, видели танки. Немецкие. Со свастикой. Постояли и развернулись обратно. Наверное, разведчики.

Репродукторы на улицах упрямо молчат. Сначала была музыка. Когда плохо, всегда пускают симфоническую. Потом и ее отключили. Толпы опасливо косятся на черные раструбы. А вдруг — вдруг вместо русской раздастся немецкая речь. Или немецкий призыв. Правительства давно нет в городе. Все перешептываются: уехали прямо из Кремля по ветке метрополитена. Несколько спальных вагонов, и на платформах артиллерийские зенитные

расчеты. На Волгу. У них все в Куйбышеве приготовлено. А мы?..

Известный актер Малого театра Георгий Куликов позже расскажет (уже при Брежневе). Жил он на Ленинградском шоссе. Накануне вернулся поздно из райкома комсомола — получил задание по диверсионной работе, когда войдут немцы. Утром глянул в окно — танк со свастикой. Вышел в палисадник — еще несколько. Крышки люков откинуты. Танкисты в черной форме по сторонам оглядываются. Спрыгивать на землю не стали. Между собой поговорили, развернулись и обратно. Официальная версия — ближе тридцати километров немцы с этой стороны к столице не подходили. На 30-километровом рубеже и памятник поставили. Чтобы никаких сомнений. У деревни Матушкино.

А еще сразу после смерти Сталина в квартиру на Пятницкой пришел контролер Мосэнерго. Руки черные в белых разводах. Со времен эвакогоспиталя врезалось: обморожение. «Где это вас, на фронте?» — «Какой фронт! Был зенитчиком. Расчет погрузили с зенитным пулеметом на железнодорожную платформу. Пулемет кое-как закрепили. О солдатах не подумали. Всю дорогу до Куйбышева пришлось руками за мерзлое железо держаться. За правительственным поездом мотались. Но повезло. И врачи хорошие попались — отходили. Товарищу обе кисти ампутировали. Гангрена пошла. Они-то в пульмановских вагонах ехали. Всю дорогу на зеленый свет. Ни остановок. Ни пересменки. Как машинисты выдержали?! Знатно драпали, ничего не скажешь…»

Репродукторы ожили под вечер. Песнями. Опять. Сводка коротенькая: все в порядке, все отступили на заранее подготовленные позиции. То ли переформируются, то ли принимают подкрепление. Мальчишки больше в госпитале не появлялись. Может, повзрослели, может — не осталось. Койки занимали просто солдаты.

3 декабря немцы вышли к поселку Крюково в тридцати километрах от Москвы. 5 декабря-попытались прорваться к Москве. Не прошли через горы трупов. Вывозить оттуда было некого. 7-го и 8-го велись бои за превращенный в кирпичное крошево поселок. И — освободили. Землю, на которой он когда-то стоял. Солдаты-санитары гадали: не поворот ли? За такую-то лихую цену должен же он произойти. Должен…

15 декабря пришел вызов в политуправление армии. Зачем им понадобилась простая санитарка? В неуклюжем высоком здании на набережной Москвы-реки, прямо напротив Кремля, командование противоавиационной обороны Москвы. Майор Сергей Никифорович Ершов: «Закончили Студию художественного слова? Получили диплом? Назначаетесь

заместителем начальника фронтовой театральной бригады. Товарищи говорят, справитесь».

Возражения бесполезны: «Там будете нужнее. На второй линии. Легкой жизни не ждите. Это трудно. И нужно. Кстати, вам сколько?» — «Десять дней назад исполнилось шестнадцать». Минутная заминка. «Неважно. Сойдет».

* * *

Это было как перепутавшиеся в лесу времена года. Где-то голые деревья. Где-то летнее цветение пышно раскинувшихся кленов. Рядом едва проклюнувшиеся почки забывшей о приближающейся зиме жимолости.

Кубик младшего лейтенанта в петлице и детская поликлиника, где старенький доктор средневековым методом боролся за пораженную газовой гангреной руку: вскрыть очередной побуревший участок кожи, присыпать стрептоцидом, вытерпеть боль. «Голубчик, иных средств избежать ампутации нет».

С детства неудовлетворенное любопытство по поводу сказочного Дома пионеров у Мясницких ворот (Дворца!) — туда водили только на экскурсии. И занятия в его уже запущенном саду с бойцами всевобуча, проводившиеся перед отправкой на фронт. Мальчишка-лейтенант и отмеченные сединой пожилые люди. Но — он уже видел. Они еще не видели. Можно продолжить: он вернулся, а они…

В памяти возникали тела. Своих же. Раздетых донага и разутых. Потому что живым не хватало одежды и тепла… Голые мертвецы.

А порядок даже в окруженном немцами городе не менялся. По-прежнему ночами по улицам кружили «черные вороны», забирая тех, кому не досталось места во фронтовом эшелоне. Правда, за Петровым, соседом по квартире, изуродованным в империалистическую войну певцом, пришли среди бела дня. Он почему-то долго собирался, и в окно было видно, как шел к воротам — «черного ворона» оставили на улице, — держа в руках старенький жестяной чайник. Его комнату со всем имуществом и фортепиано занял «нуждавшийся» сотрудник органов с женой и ребенком. Преимущества имели те, кто непосредственно участвовал в аресте.

После битвы за Москву Художественный институт первым возобновил занятия. Ничего удивительного. «Стоящих» — официальных мастеров соцреализма — из города эвакуировали

сразу. «Нестоящих» — весь цвет русской живописи 1920-х годов — в городе осталось много. У них появилась надежда обрести былое положение, а у тех немногих, кто стал студентом, — возможность принять эстафету. Занятия были не просто интересными — захватывающими.

Для младшего лейтенанта Белютина это был настоящий рывок в будущее. (Первые абстрактные композиции, в частности картину «22 июня 1941-го», он написал еще до ухода в ополчение.)

Однажды в промерзшем Петровском пассаже, вблизи опустевшего Большого театра, «левые» решили выставить свою живопись. Павел Кузнецов, Елена Бебутова, Надежда Удальцова, Николай Ульянов, Константин Истомин. За развеску взялись студенты. Младшему лейтенанту трудно было управляться одной здоровой рукой, но сотрудницы музея научили премудрости завязывания узлов.

Когда картины заняли свои места на стенах, в зал пришли мастера и студенты. Зрителей не было.

NB

1941 год. Октябрь. По свидетельству военного коменданта правительственной охраны Большого театра в Москве под театр был заложен трехтонный заряд динамита, который удалось вовремя обезвредить.

29 октября Николая Ивановича Вавилова, редактора газеты «Известия» Юрия Стеклова и директора Института мировой литературы академика Ивана Луппола доставили в Саратовскую тюрьму и поместили в камеру смертников. «Камера была очень узкая, с одной койкой, прикованной к стене, окон не имела. Находилась эта камера в подвальном этаже тюрьмы… Жара, духота… Сидели потные. Одежду свою — холщовый мешок с прорезями для головы и для рук — заключенные называли хитоном. На ногах лапти, плетенные из коры липы. Луппол говорил, что такую одежду носили рабы в Древнем Риме». В этих условиях Вавилов читал своим однокамерникам лекции по биологии, генетике, растениеводству (всего 101 час).

* * *

«Договоримся сразу. Повторять не буду. Как и сколько времени готовите концерт — ваше дело. Являться без опозданий.

Если кто-то заболеет, должна быть замена. Никого нового. Никаких новых номеров. Командировка на несколько дней. Снабжение — сухим пайком. В частях еще чего-нибудь подбросят. Не без того. И пропуск по Москве на комендантский час. Выезжаете засветло. Машина во дворе. Вот, познакомься с водителем — старшина Володин. Сергей Михалыч. Прошел Хасан, Финскую. В случае чего — сообразит».

Снег. Белый. И грязно-серый. Тронутый вечерними лиловыми тенями. В лужах солярки. Ровный. И взрытый колеями машин. Перемешанный гусеницами танков. Присыпанный вывороченной на обочинах глиной. Только снег. Прошитый одинокими жесткими травинками. Вздыбленный придорожными кустами. Поднятый непонятными холмиками — где сапог, где оскал лошадиной морды. У плетня — собака.

Не смотреть. Не думать. Просто снег. Михалыч косится от баранки: «Будет тебе! Всем один конец — раньше ли, позже». — «А хоронить?» — «Хоронить, говоришь… О Бородине слыхала? Работал там в Марфином Броде. Старики рассказывали. На Бородинском поле 250 тысяч наших и французов полегло. А армии ушли. Французы — на Москву. Наши отступали. Все своих оставили. До весны под снежком лежали. Потом царь денег прислал, чтоб крестьяне со всех окрестных деревень покойников на кострах сожгли, пока весна не подошла. Много денег». — «И что?» — «Долго жгли. Потом на эти деньги дома новые себе поставили, хозяйства оправили». — «А пепел?» — «Чего пепел? Он легкий. Поди, ветром разнесло».

21 декабря 1941-го. На указателе, написанном от руки: «Руза». Вчера взяли. Печки в пустом поле. Беленые. С закопченными трубами. С горшками. Ухватами. Обрывками ситцевых занавесок у лежанок. Одинокая калитка у покосившейся вереи. Жесткие спирали дымков из-под припороха снега. Запах мокрого кирпича и гари. Позвякивание колодезной цепи у помятого, задержавшегося на краю сруба ведра. «Вовремя подвернулось. Сейчас зальем мотор. Ребята, привал пять минут!»

Ребята спрыгивают с кузова — в бригаде одни мужчины. Исчезают за обломком стены. Зовут Михалыча. «Что там?» — «Да так… Старуха… Глаза закрыть… Ребята не умеют… Корову обняла. Так и кончились. Обе».

Все-таки… Все-таки вот Рузу взяли. Командир части: «А немец вчера Моденово захватил». — «Далеко?» — «От Москвы сто километров». — «Значит…» — «Ничего не значит. Просто фронт».

…На Пятницкой давно отказались от второй комнатки. Дверь в нее закрыта и завешана одеялами. В первой Софья Стефановна и Татьяна Ивановна теснятся на раскладушках у железной

буржуйки с трубой, отведенной в форточку. Когда надо ставить постель для Нины, прохода не остается. Центральное отопление давно не работает. Газа нет. За водой надо ходить в подвал соседнего дома — спасибо, дворники пускают. Раздеваться не приходится — к утру в ведре позвякивают льдинки.

«Ну ты хоть там отсыпаешься? Нельзя же без сна. А как с едой?» Два мира, и подробности не нужны. «Все в порядке. Ничего особенного. Работа как работа». И только иногда пронзает мысль: «Шестнадцать никогда не повторятся — и никогда не увидишь вещи по-старому…»

15 января 1942-го. То самое Моденово, о котором говорил командир. Сто километров. Всё, как в Рузе. Печные трубы. Пепелища. «Двадцать пять дней под немцем», — скажет старуха с узелком картошки. Надо же, лежала в притопке: спеклась, а не сгорела! В остановившемся взгляде удивление. Ни отчаяния. Ни горя. В воинской части нет старых бойцов. Новое пополнение подошло. Из Сибири. Необстрелянные. «Вот вы их напоследок и побалуйте».

21 января 1942-го. Можайск. В кабине густо пахнет соляркой. И ксероформом. Наверное, от идущих навстречу грузовиков с красными крестами на бортах. «Сколько же здесь людей полегло?» — «Для подсчета потерь еще не время, дочка. Отвоюемся, тогда и прикинем. — Михалыч вздыхает. — Если начальство разрешит. Сейчас одного из десятерых в списки погибших включают». — «Чтоб потери меньше казались?» — «Нет. Чтобы меньше пособий да пенсий выписывать. А то государству разор один. Гляди, сколько их бугров-то человеческих. Если о каждом сказать да каждой семье платить! Нет, так никогда не будет».

NB

1942 год. 28 июля Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин издал приказ о введении офицерских штрафных батальонов, штрафных рот для сержантов и рядовых, о расстреле на месте каждого, признанного паникером или трусом: «Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политработники, отступающие с боевых позиций без приказа свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и политработниками и поступать как с предателями Родины». Идея была подсказана Г. К. Жуковым.

Лето. Н. И. Вавилов — руководству НКВД.

«Перед лицом смерти, как гражданин СССР и как научный работник, считаю своим долгом перед Родиной заявить, как уже писал Вам в августе 1940 года, вскоре после ареста, что я никогда не изменял своей Родине и ни в помыслах, ни делом не причастен к каким-либо формам шпионской работы в пользу других государств. Я никогда не занимался контрреволюционной деятельностью, посвятив себя всецело научной работе.

Все мои помыслы — продолжить и завершить достойным для советского ученого образом большие недоконченные работы на пользу советскому народу, моей Родине. Во время пребывания во внутренней тюрьме НКВД, во время следствия, когда я имел возможность получить бумагу и карандаш, написана большая книга „История развития мирового земледелия“ (мировые ресурсы земледелия и их использование), где главное внимание уделено СССР. Перед арестом я заканчивал большой многолетний труд „Борьба с болезнями растений путем внедрения устойчивых сортов“. Неоконченными остались „Полевые культуры СССР“, „Мировые ресурсы сортов зерновых культур и их использование в советской селекции“, „Растениеводство Кавказа“ (его прошлое, настоящее и будущее), большая книга „Очаги земледелия пяти континентов“ (результаты моих путешествий по Азии, Европе, Африке, Северной и Южной Америке за 25 лет)…

Мне 54 года. Имея большой опыт и знания, в особенности в области растениеводства, владея свободно главнейшими европейскими языками, я был бы счастлив отдать себя полностью моей Родине, умереть за полезной работой…»

Немчиновка. Пункт переформирования пехотных частей. Рукой подать до Москвы. Если все пройдет хорошо, ночью будем дома, и тогда…

«Никак школу собралась кончать, дочка?» — Михалыч смеется в усы. «Это почему?» — «Закладка у тебя в книжках совсем к корочке подошла. Вот и соображаю. С тригонометрией воюешь?» — «С ней. Если бы хоть немножко времени… Да все равно с выпускными экзаменами ничего не выйдет». — «Это почему?» — «Без малого месяц сдавать. Столько в Москве не задержимся». — «С майором поговори». — «Как это можно?» — «Очень даже можно. Школа-то твоя где?» — «В Газетном переулке. За Центральным телеграфом». — «Туда и бегаешь на уроки?» —

«Какие уроки! По частям сдаем учителям, самим заниматься надо». — «Ох, и настырная ты!» Михалыч сам поговорил о «дочке» с майором.

Школа… Древний домишко в два этажа. Крутые, кое-как сколоченные лесенки. Вместо классов — узкие, разделенные фанерой каморки. Ждать очереди на сдачу зачета надо, распластавшись по стене в коридоре, чтобы другие могли пройти. На перекошенных дверях листки со списками сдающих зачет.

Директор — пожилой коренастый человечек с копной торчащих желто-седых волос. Арнольд Левин. Почему-то остался в городе. Почему-то хлопотал об экстернате, куда устроил безработных институтских преподавателей. Без пристального начальственного надзора ввел французскую систему обучения. Его взгляд полон изумления: «Почему молчали, где работаете? Виноват, служите. Так, кажется, надо говорить? Никаких экзаменов. Получите аттестат по сумме сданных зачетов. У вас же одни пятерки. В следующий раз зайдите ко мне — все будет выписано».

Лето. На Пятницкой разобрали печурку. Натерли полы. Повесили на окна белые занавески. Пахнет поджаренным черным хлебом, на котором поблескивает чуть присыпанный сахарный песок. В вазочке вареная сахарная свекла. Настаивается золотистый чай. Из свежего липового цвета.

На домашнем совете решается вопрос о дальнейшем образовании Нины.

«На чем ты остановилась?» — «На университете». — «Факультет?» — «Искусствоведческое отделение». «Почему?» Ответ знает один дядя Сигизмунд: увлечение искусством — от него. У Кржижановского по-прежнему нет работы. Его имя исчезло из титров фильмов «Праздник святого Йоргена» и «Новый Гулливер». Вступление в Союз писателей не улучшило его положения. Наоборот — он попал под прицел беспощадных цензоров. Недавно один из редакторов ему сказал: «Ваша культура для нас оскорбительна!»

На улице жарко, а в вестибюле старого здания университета леденящая стужа. Чугунные плиты пола. Серый полумрак потолка. В дальнем углу, за покоробившейся фанерной перегородкой (откуда столько кругом фанеры?!) закутавшаяся в изношенный шерстяной платок женщина с морщинистой шеей и пергаментного цвета высохшими руками, распухшими суставами — приемная комиссия филологического факультета. Заочного отделения. Сам университет сейчас на Урале.

«Искусствоведческое отделение — не университетское. Из ИФЛИ перевели. В декабре 1941-го. У ифлийцев свои порядки:

партийный вуз». — «Партийный?» — «Конечно. ИФЛИ в 1931-м организовали, чтобы красную профессуру готовить. В 1934-м к нему Коммунистический университет имени Свердлова присоединили. Вместо истории краеведение ввели, чтобы правильно трактовали историю на местах. Антирелигиозное отделение, теории и истории искусства. Поглядите, в проспекте так и написано: „Марксистско-ленинская трактовка явлений искусства и методика их изучения применительно к задачам партии“. Очень серьезный подход. Там все партийные руководители лекции читали. Теперь и у нас будут. Вот Александр Иванович Лебедев — он в ЦК всем изобразительным искусством ведает. С него и лекции начинаться будут…»

NB

1942 год. 17 октября арестован член Союза писателей с 1929 года Е. О. Пяткин-Венский (Ермолаевский переулок, дом 13/31, квартира 35). Обыск в комнате проходил с 20 часов 10 минут до 00 часов 40 минут в присутствии свидетеля — соседа по квартире Л. А. Белинского. Все его бумаги конфисковали. Арестованного поместили в Бутырскую тюрьму, откуда 24 мая 1943 года отправили в Сибирь. 4 ноября того же года Пяткин-Венский умер в Красноярской краевой больнице от дистрофии третьей степени.

Преподаватель эстетики профессор Иван Маца рассказывал: в 1910 году Василий Кандинский написал первую абстрактную композицию. В том же году патриархом современного искусства Херварт Вальденом были основаны журнал и галерея «Дер Штурм». Так появился центр экспрессионизма. Таким образом, 1910-й — год рождения «авангардного искусства». Наступление же на него развернулось в Третьем рейхе в 1930-м.

Именно тогда министр внутренних дел Тюрингии, он же член первого народно-социалистического местного управления, приказал убрать из Веймарского дворцового музея полотна Кокошки, Клее, Берлаха, Нольде, Фейнингера и уничтожить «вырожденческие фрески» Оскара Флеммерса. Орган нацистской партии предупредил: «Музей в Веймаре — только начало».

Нет, это излагалось не на университетских лекциях. Там перечисленные имена вообще не упоминались. Оглашенные были изгнаны и из советского храма. Казалось, навечно. Просто Маца начал переводить на семинарском занятии немецкий текст. Студентке пришел в голову русский аналог — венгр по национальности, Иван Маца говорил с сильным акцентом и

иногда затруднялся в подборе слов.

Заговорить по-немецки во время войны! «Знаете немецкий? Говорите на нем?» — первый мостик неожиданно возникшего человеческого доверия. Тем более непривычного для профессора, что даже «Литературная энциклопедия» посвятила ему целую страницу ради допущенных строптивым теоретиком «уклонов» и «ошибок». От гносеологических построений пресловутого Богданова до «прямого влияния механистических концепций исторического материализма Бухарина».

Мостик доверия надо было укрепить, и следующий вопрос: почему поступили на искусствоведческое отделение? Вы отдаете себе отчет в том, что у искусствоведа в Советском Союзе единственная альтернатива: быть холуем или бунтарем? Если холуйство не устраивает, учитесь мыслить. Самостоятельно. И только самостоятельно.

С этим жизненным кредо профессор в свои пятьдесят с небольшим лет выглядел стариком — сгорбленная спина, резко очерченные скулы, запавшие щеки, сверлящий взгляд из-под мохнатых бровей, сжатые в нитку, сухие губы. И руки — сильные, с набухшими венами и почему-то красными ладонями.

Он ничего не повторял. Каждое слово четко укладывалось в продуманное до конца логическое построение. Ему не хватало ни профессиональной аудитории, ни возможности публикаций.

…На съезде нацистской партии в 1933-м в Нюрнберге Гитлер заявит с трибуны: «Позаботимся же о том, чтобы народ снова стал высшим судьей в области искусства». Одна из первых акций его правительства после захвата власти — одновременное увольнение двадцати девяти непокорных директоров, хранителей музеев и галерей в Берлине, Дессау, Эссене, Хемице, Карлсруэ, Любеке, Манхейме, Штутгарте, Бреслау.

Следующим шагом объявленной чистки стало изгнание из художественных учебных заведений «неблагонамеренных» в художественном отношении преподавателей — опять-таки Кокошки, Клее, Бекмана, Баймейстера, Дикса, Шлеммера. Макс Либерман с омерзением, по его собственным словам, слагает с себя обязанности почетного президента Прусской Академии художеств.

«Они не просто оставляли без работы. — В голосе Маца натянутая струна. — Они ЗАПРЕЩАЛИ работать. Для себя! Наедине с собой. Понимаете, художник, который должен забыть о красках!»

Фразы падают скупо. Резко. Будто через себя: «К ним врывались в дома с проверкой. Даже среди ночи. Отбирали все работы, которые находили. У Карла Лаутербаха в Дюссельдорфе

было уничтожено все, а он один из сотен. Кто-то обивал холстами чердаки. Живописью к кровле. Кто-то сходил с ума. Когда жгли отобранное. На площадях».

«Альфред Розенберг не уставал повторять. — Профессор долго перебирает исписанные бисером потертые листки. — Да, вот: „Обладающая наиболее высокими достоинствами нордическая арийская раса предназначена для создания наиболее высоких достижений в искусстве. Тот же, кто деформирует действительность, как Ван Гог или Пикассо, сам является деформированным, наследственно больным, вырождающимся“. Альтернатива со всеми вытекающими последствиями слишком ясна…»

Уже после окончания университета мы узнаем, что экспозиция «народно-социалистического реализма» в Доме немецкого искусства не выдержала соревнования с выставкой «Вырождающееся искусство». Несмотря на утверждения каталога последней: «Выставка имеет целью представить потрясающий последний этап дегенерации культуры перед ее обновлением».

«Дом» во всем его беломраморном великолепии оставался почти пустым. Выставку отверженных ежедневно посещали более тридцати тысяч человек. За четыре с половиной месяца на ней побывали свыше двух миллионов. Осуждения и угрозы не дали ожидаемого результата. Германия прощалась со своей свободой. И культурой.

Впоследствии живописец Вернер Хафтман расскажет на страницах «Франкфуртер альгемайне цайтунг»: «Я наблюдал за реакцией отдельных зрителей. Были среди них надутые, одетые в мундиры, бухающие сапогами об пол партийные функционеры. Те громко заявляли о своем отвращении. Были фыркающие презрением члены народно-социалистической лиги женщин, были группы молодежи из гитлерюгенда, хохотавшие при виде обнаженных тел на холстах. Но между этими ордами я постоянно замечал людей сосредоточенных, серьезных, явно захваченных тем, что они видели… Это мимолетное впечатление, как оказалось, не было ложным. Власти быстро поняли, что многие приходят еще и еще раз, чтобы посмотреть свои любимые произведения. Поэтому, несмотря на наплыв посетителей, выставка была закрыта».

Накануне открытия в Мюнхене двух противоборствующих выставок на всех городских площадях звучали произведения Бетховена, Брамса, Вагнера в исполнении лучших симфонических оркестров Третьего рейха.

…Через годы состоится последний разговор с профессором: «Одинаковая форма всегда означает одинаковое содержание?» —

«Что конкретно подразумеваете под формой?» — «Картины с Всесоюзных выставок».

Маца молчит. Потом, как обычно, отвечает резко: «Это не имеет отношения к художественной форме. Это форма зрительной аберрации: то, чего нет и не будет в действительности». — «Фантазия?» — «Обман. Общественный. Гражданский. Человеческий». — «Но критики, в том числе зарубежные, применяют к ним искусствоведческую терминологию. Как будто это в порядке вещей».

Долгая пауза. «Я не доживу. Вы — должны. Все равно встанет вопрос о механизме деформации человеческого сознания. Чем позже это случится, тем хуже. Для искусства. Для идеи социализма».

Иван Маца вступил в коммунистическую партию Венгрии в 1920-м.

NB

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Щиров Сергей Сергеевич — летчик, Герой Советского Союза. Родился в селе Акимовка Акимовского района Запорожской области. Окончил Качинскую авиашколу. В декабре 1941-го в чине младшего лейтенанта командовал звеном, в августе 1942-го стал заместителем командира эскадрильи, капитаном. 13 декабря 1942-го получил звания Героя, майора. В 1944-м в Москве женился. На десятый день после свадьбы его жена была выбрана в любовницы Л. П. Берии.

7 апреля 1949-го Щиров попытался перейти границу с Турцией, чтобы, оказавшись в тюрьме, получить возможность рассказать о своей семейной трагедии. Особое совещание при министре ГБ СССР приговорило его к 25 годам лагерей. После того как Щиров рассказал свою историю солагернику, срок был увеличен еще на 25 лет.

24 сентября 1953-го прокурор Г. А. Терехов допросил Саркисова Рафаэля Семеновича, полковника, начальника охраны Берии.

«Вопрос: Вам представляется список женщин, изъятый у вас при обыске. Назовите, с кем из этих женщин сожительствовал Берия?

Ответ: Ознакомившись со списком, а также продумав вопрос, я восстановил по памяти следующих женщин, о которых я лично знаю, что с ними Берия сожительствовал. Большинство из них я лично привозил

к Берии для этой цели. Привозил в его особняк на Садовом кольце. Других женщин я видел, как они посещали Берию в том же особняке, сам Берия говорил мне о них, о том, как он с ними сожительствовал… Вольская Софья Иосифовна — жена Героя Советского Союза Щирова».

После допроса генеральный прокурор СССР Р. А. Руденко принес протест на решение Особого совещания по делу С. С. Щирова. Ему снизили наказание до пяти лет и освободили по амнистии. О реабилитации не было и речи.

После амнистии Щиров попал в психиатрическую больницу в Казани, где скончался 5 апреля 1956-го в возрасте 40 лет. Он имел 15 боевых наград, в том числе два ордена Ленина, ордена Красного Знамени, Кутузова, Александра Невского, Красной Звезды.

Их совсем немного. И они все «вместо». Вместо профессоров университета. Вместо специалистов. Вместо авторов исследований и книг. Они могут всё и доказывают это на деле. Герман Недошивин. Молодой. Ему за тридцать. Прошитая сединой копна черных волос. Блеск очков. Стремительная походка. Всегда приподнято-взволнованный голос. Чтение лекций и активная работа в партбюро факультета. Его главная задача — постоянное пребывание в среде студентов. Разговоры по душам. Обо всем. Кроме фронта, на котором он почему-то не был.

Древнерусское искусство и искусство советское (в смысле единственно допустимого и «нужного народу» соцреализма), искусство западноевропейского Средневековья и XIX века (доказательство извращенчества импрессионистов и им подобных), но едва ли не главное — курс описания и анализа памятников. Иначе говоря, как и что искусствовед, «стоящий на платформе исторического материализма», в картине, скульптуре, архитектуре, графике должен видеть.

Профессор советского толка Всеволод Владимирович Павлов считается специалистом по Древнему Египту. Но это не мешает ему читать весь курс по Древнему миру — Греции и Риму, Ассиро-Вавилонии и Персии, Индии и Китаю. Невысокий плотный профессор тоже ищет контакт со студентами. Составляет списки тем семинарских работ с указаниями, какие «потянут» на кандидатскую, а то и на докторскую диссертации. Захватывающие дух перспективы, за которыми становится почти незаметным телеграфно-словарное изложение материала.

Но оба почти ежедневно мелькавших лектора представлялись

университетскими корифеями по сравнению с бесшумно проскальзывавшим в аудиторию призрачно-белым, в венчике жидких пепельных волос Александром Лебедевым с его установочным — так и говорилось! — курсом советского искусства. Неважно, как началась война, неважно, что немецкие войска недавно отошли от Москвы, что страна наполовину сожжена и лежит в руинах, — искусство, в интерпретации высокого партаппаратчика, обязано было доказывать все несомненное преимущество социалистического устройства. Реальная жизнь была здесь ни при чем.

С наступлением зимы Лебедев в одном из залов Зоологического музея, где успели забить фанерой окна, среди гигантских скелетов динозавров и рептилий, при еле теплившейся электрической лампочке проникновенно полушепотом говорил о связи искусства с вредительством, об очистивших «нашу жизнь» недавних политических процессах и, как о естественном их результате, высочайшем взлете советской живописи на прошедшей в 1939-м выставке «Индустрия социализма».

Через десять лет Екатерина Александровна Звиногродская, ведавшая организацией «Индустрии социализма», будет рассказывать, как назначались цены за темы, какими выгодными были сталинские сюжеты (остальные руководители партии куда дешевле!) и как сражались за них знаменитые художники. Половина денег выдавалась авансом, половина по окончании шедевра.

Установка Лебедева была предельно проста. Никаких формальных поисков, главное — поиски темы, в чем и призваны помогать художникам искусствоведы. Полит-комиссары от искусства — какого бы периода вопрос ни касался. Разоблачать, вскрывать, направлять — по сравнению с позицией Лебедева даже страшный академик Андрей Януарьевич Вышинский выглядел опасным либералом. Ведь это он на Всесоюзном совещании режиссеров в начале 1939 года сказал, что формализм есть отставание содержания от формы. Вот за что был арестован и уничтожен Мейерхольд. Для лектора со Старой площади советские классики уже четко определились. Они не подлежали критике. Искусствоведам просто следовало ждать появления очередных шедевров и заранее настраивать себя на восторг по их поводу.

Александр Герасимов, Василий Ефанов, Кукрыниксы, Федор Модоров — в первом ряду. Борис Иогансон с его слишком широкой манерой живописи и Евгений Кацман со слишком мелочной прорисовкой деталей — во втором. 1920-е годы

затрагивались только в связи с полной победой соцреализма над «инакомыслящими». Зато каким восторженным полушепотом говорилось о тех, чьи холсты попадали в поле зрения пусть не самого вождя и учителя — великое имя не поминалось всуе, — но хотя бы Поскребышева, его секретаря и помощника, который лично просматривал перед каждой очередной Всесоюзной художественной выставкой отобранные для нее портреты «бессмертного».

Положим, отвергло политически незрелое жюри холст Дмитрия Налбандяна «Сталин в кабинете» — с пронзительно синим окном, красной кремлевской звездой и самолетиком на столе, — а товарищ Поскребышев тут же заметил, выделил, одобрил. Отсюда Сталинская премия и предписание всем художественным музеям страны заказать автору копию за астрономическую цифру, поглощавшую едва ли не годовые их бюджеты.

Шелестящий полушепот — это тоже часть профессии, к тому же признак культуры, в советском ее истолковании, и хорошего профессионального тона. До конца столетия будут одергивать: «Пожалуйста, без эмоций!» Без эмоций — значит, без личного отношения, без внутренней пережитости, в точном соответствии с общим регламентом, установленным теми, кто предпочитает подчиняться.

Водянистые глаза в упор разглядывают каждого студента: на что способен, не выдается ли чем-то среди других, не склонен ли к неуместным вопросам. «Сдавать экзамены будете по моим запискам, и учтите — никаких избыточных сведений. Они невыгодны вам самим — преподавателю трудно будет ставить вам оценки. Тем более никаких рассуждений. Здесь не философский факультет». Известная пианистка профессор Вера Горностаева впоследствии вспоминала, как всех студентов Московской консерватории собрали в Большом концертном зале, где Лебедев зачитывал постановление ЦК о музыке, спотыкаясь на именах, перевирая фамилии даже самых знаменитых, не справляясь с музыкальными терминами.

1948-й! А двумя годами раньше в Государственном институте театрального искусства — ГИТИСе он же знакомил студентов и преподавателей с очередным постановлением Центрального Комитета и невозмутимо ждал покаяния профессуры. Каждого. По списку. Режиссер А. Дикий не назвал ни одного повинного в «ереси», зато его коллеги, перебивая друг друга, торопились пополнить списки виновных именами личных недругов, а то и друзей. Ради спасения собственной шкуры готовы были поступиться и самыми близкими!

NB

1943 год. 26 января. Н. И. Вавилов умер в тюремной больнице от дизентерии. Таково было официальное сообщение.

О РАБОТЕ СЕКРЕТНЫХ ОСВЕДОМИТЕЛЕЙ

Выпускница Института иностранных языков была направлена на работу в кассу приема иностранных телеграмм при Центральном телеграфе города Куйбышева, куда вместе с советским правительством были эвакуированы дипломатический корпус и корреспонденты. Затем ее устроили переводчицей в газету «Британский союзник» в Москве с условием выполнять функции секретного сотрудника КГБ.

«Что могли делать все эти Джоны, Тэдди, Вилли? Им всем тоже по 20 с небольшим, они солдаты в американском или английском атташатах. У каждого есть своя „ханичка“ (милая). Я не была исключением. За мной ухаживали, приглашали на „партиз“ и говорили о разном. О нашей „свободе“ тоже и всегда с насмешкой.

Донесения мои были всегда однотипны: „Он сказал“, „Я сказала“. Причем, как правило, он говорил то, что хотел, про наши порядки, а я выдавала патриотическую тираду, что фиксировалось в моем донесении.

Иногда, откровенно посмеиваясь, какой-нибудь Стив или Фрэнк спрашивал: „Лидия, а как вам нравится вести двойную жизнь?“ Я становилась в позу оскорбленной невинности, а они говорили слова, соответствующие нашим: „А нам до лампочки“. Конечно, им было до лампочки, они были из другого мира. И они знали, что после первой, даже случайной встречи с иностранцем девчонку немедленно приглашали в КГБ, а она на следующий день с ужасом рассказывала своему „ханичку“, что с ней произошло, и либо переставала с ним встречаться (но все равно получала срок; с нами сидела одна девушка за единственный визит в ресторан с иностранцем), либо шла на риск, а может быть, принимала те же условия, которые связывали меня.

…Каждый свой шаг я протоколировала в своих донесениях, а к тому же должна была запоминать все то, что говорили в тех компаниях, где бывала. [19 сентября 1949 года агент была арестована.]

Оглядываясь назад, я вижу перед собой разного возраста мужчин, у которых я была на связи. Иногда совсем молодых, иногда таких, кому я годилась в

дочери. Разве они не понимали, в какое дурацкое положение их ставила верховная власть, заставляя держать в секретной службе… подобных мне девчонок, всех этих тишайших горничных и удалых шоферов?..»

«Слышала? У Сигизмунда несчастье…» Посеревшие губы дяди Володи еле шевелятся. На Пятницкой открыты окна, откуда-то доносятся голоса. Только бы не прислушивались, не поняли…

«Вы о чем?» — «Бабушка не говорила? Ангел-хранитель. У него появился ангел-хранитель». — «Когда? Почему?» — «Судьба неудачника. — Дед никогда не говорил так жестко. — Когда? Уже давно. Сигизмунд не придавал этому значения». — «Но он же ни с кем не видится!» — «Потому и стало заметно. Будет лучше, если мы вместе поедем на участок, и тогда он сам расскажет. Ему надо помочь. Если еще не поздно…»

«Участок» — две сотки городской свалки на окраине Москвы, в Шелепихе. По счастью, технической. Навал ржавого железа, проводов, битого стекла, деталей машин. Зато есть водопровод. И если разобрать все отходы, получится кусок жирной земли.

От Пресненской Заставы трамвай долго колесит по рабочим районам, пустырям. Последняя остановка и еще двадцать минут ходьбы в полной глухомани. «Так что же насчет ангела?»

У Кржижановского лицо смертельно уставшего человека. Про таких говорят: «Не жилец…»

«Она уверяет, что знает меня с 37-го. Будто разговаривала со мной на чьей-то даче. Не помню. Ничего не помню». — «Кто она? Чем занимается?» — «Говорит, дочь художника. Кажется, Соколова. Работала в ВОКСе. Теперь пишет шрифты, афиши». — «ВОКС — это плохо».

Дядя Володя нетерпеливо обрывает: «Разведка и госбезопасность — каждый знает. Она расспрашивала о Сигизмунде в ВТО, стала приходить на выступления, всучила — для отзыва! — свои очерки. Старается каждый раз идти рядом до трамвая. Да не это главное! Позавчера предложила показать какие-то театральные эскизы в „Аквариуме“, долго таскала по каким-то вертепам, пока не привела в комнату. Там стол под скатертью, цветы, вино, пирожные, шоколад, закуски». — «Но в „Аквариуме“ ничего и никого нет!» — «Вот именно, а тут такие чудеса. Всего полно. Приборы серебряные. Книги. И разговоры, само собой разумеется, о литературных пристрастиях, взглядах на философию. Стала интересоваться, чем Сигизмунд занимается, что пишет, нельзя ли почитать». Дядя Сигизмунд почти равнодушно: «Зачем ей? О Марине Цветаевой впервые услышала. Кафки не знает. О Свифте говорит несуразные вещи. И что со

мной ей необычайно интересно. И что нам необходимо встречаться. И что она себя чувствует моей ученицей. Вот так все было у Левидова. Больше его нет. Вообще не слишком ли много возни вокруг меня? Взять и все тут…»

Дядя Володя почти взрывается: «Что же ты молчишь? Что ему делать? Георгий Шенгели посоветовал — он тоже приметил эту особу — не подавать виду». — «Наверное, он прав…»

Кржижановский всматривается в искореженное железо, проросшее чертополохом. Гладит легкий колосок травинки. «Почему не оставить меня в покое? Просто оставить…» — «О чем ты? О справедливости? Снисходительности? Человечности? Их здесь нет и не будет. Слышал о судьбе старшего сына Сталина? Вася рассказал. Яков Джугашвили. От первой жены. Артиллерист. В июле 1941-го попал в плен в Белоруссии. Сталин отказался обменять его на Паулюса. Собственного сына! Недавно он покончил с собой в лагере Саксенхаузен. Бросился на колючую проволоку. Сталин и слушать не стал. А Василий Иосифович в полку веселился: мол, туда братцу и дорога». — «А Аллилуева?» — «Он ее ударил. В ссоре. Она упала и будто бы пришлась виском об острый угол. Поскребышев на выстрел вбежал — увидел. Потом было торжественное погребение на Новодевичьем. Как всегда, горе и то напоказ. Все равно в душе пустота».

NB

1943 год. Распущен Коминтерн.

Арестован Антон Антонов-Овсеенко, сын секретаря Петроградского Военно-революционного комитета, арестовавшего в 1917 году министров Временного правительства, студент Московского городского педагогического института. Это его второй арест. Первый был в октябре 1940-го. Тогда его недолго держали в Бутырской тюрьме.

Огромный «студебеккер» с бригадой уходит в сумеречный рассвет зимнего дня. Война отступила от Москвы. Центры переформирования танковых частей теперь располагаются на старой Владимирке. От Орехово-Зуева десять километров до речки Киржач. Обрывистые, еле присыпанные снегом берега. Вековые сосны. Дубовые рощи, заваленные буреломом. На едва проклюнувшихся проталинах сморчки — множество маленьких, похожих на иссохшие пенечки грибов. Их мешками нам набирают солдаты. «Чисто тайга», — смеется Валера, крутя баранку.

Михалыча больше нет. На новой машине краснощекий коренастый сибиряк. Валера вернулся из госпиталя. Осколок из легкого ему не удалили. Дали работу полегче. Иногда по его лицу

пробегает судорога. Он не жалуется. Тайком глотает из кулака таблетки. Жалеет тех, к кому ездим: не знают, на что идут. Обычно от танкового десанта в живых никого не остается. Разве что чудом. В пехоте и то легче. А тут, гляди, какие слабаки. Из тех, кого раньше не брали. Не выдюжат. Ни в коем разе.

За Михалычем ушли и члены бригады — в строй. Срок подошел. Коля Павлов, Коля Кромин, Юлька Садовский… Кто-то не вернется. Кто-то… «Да ты, сестренка, не думай. Знаешь, как у нас в деревне бабка моя толковала? Раз козе смерть, выходит, и бояться ее, костлявой, нечего. Ранение — дело другое. Тут всяко бывает. Без рук, без ног останешься, так и порешить себя не сможешь. А тебе вон солдатиков порадовать еще надо. Держись, Михална!»

Кажется, весна приходит раньше обычного. Но Валеру не проведешь — деревенский! «Это ты о том, что снег вроде посерел? Так это от машин. Гляди, сколько их туда-сюда носится. В сторонку свернем, как скатерка белая будет». «Студебеккер» на приспущенных шинах едет почти по целине. Тормозит у ворот части. «Гляди, как сегодня управились: восьми часов нет, а уж на месте». Значит, лишний концерт, лишняя программа и уставшие до полусмерти ребята. На обратном пути будут вповалку спать на мешках с реквизитом.

И неожиданная мысль: все стало привычным. Как работа. Просто работа. «Поговори с нами, сестренка», — просят солдаты, прибывшие на переформирование. Те, что остались от батальона или полка. Никто не скрывает: самое страшное возвращаться второй раз на передовую. «А куда денешься? Это уж как судьба».

У Петровского-Алабина один из самых больших лагерей переформирования. Солдаты задерживаются от силы на неделю. Новые машины. Новые командиры. Новое пополнение. И в путь. Едва ли не единственный постоянный знакомец — военврач Игнатий Иванович Жвирблис. «Я из Бреста». — «Из того самого?» — «Из того». — «Но как же вам удалось?..» — «Остаться в живых? Был в увольнении. Судьба. — Седые виски из-под белой шапочки. — Моя вторая война. Отступал из Австрии. Через Галицию. Победных фанфар слышать не довелось. Хотите на будущее остаться в театре?» — «Ни за что! Как и стать медиком». Игнатий Иванович смеется уголками глаз: «Что ж, пусть вам повезет. Пусть все сбудется, как задумаете…»

NB

1943 год. Ноябрь. В журнале «Октябрь» приостановлена публикация повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Писатель обратился с письмом

к Сталину. Ответа не последовало.

1944 год. Январь. Журнал «Большевик» выступил с разоблачением «злопыхательства» Михаила Зощенко в отношении советского народа и условий жизни в Советском Союзе.

«Литература? И что же вас удивляет? Любое указание партии должно быть нами применено к любому явлению нашей культурной жизни. В этом и заключается смысл профессии — не ждать особых разъяснений, но действовать быстро и эффективно!» Глаза доцента Германа Недошивина горят за стеклами очков. Он ходит по узким коридорам старого университетского здания стремительно, словно рассекая воздух. И почтительно жмущихся к стенам студентов.

Парторганизация искусствоведческого отделения заседает чуть ли не каждый день. С громогласными, пламенными заявлениями. Или, наоборот, шепотом за шаткой стенкой из книжных шкафов, которые делят маленькую, отданную отделению (единственную!) комнату.

Узкая дверь. Два окна в университетский курдонёр… Вид на угловую — Арсенальную башню Кремля, Исторический музей, Красную площадь. За шкафами «профессорская», где правят две лаборантки: Наталья Николаевна Усольцева в качестве заведующей всем нехитрым хозяйством и Наталья Ивановна Соколова в качестве единственного «кадра».

Длинное, с крупным носом и словно присыпанное серой мукой лицо Усольцевой, родственницы психиатра, в клинике которого умирал Врубель, постоянно выражает озабоченность. Она переживает все партийные установки и болеет за «недошивинскую партию». Понимает, что на факультете «комиссаров от искусства» только терпят. По словам Усольцевой, это «классовое недоброжелательство» и скрытая оппозиция всей коммунистической партии, которую представляют вообще искусствоведы.

Пышная прическа льняных волос подчеркивает внешнюю независимость ее позиции: «Я всегда говорю только правду и не считаю нужным это скрывать!» Даже если в результате кому-то из студентов придется расстаться с университетом или быть вызванным в спецчасть.

Наталья Ивановна, хрупкая, миниатюрная, темноглазая, с множеством браслетов на жилистых руках, слишком дорожит работой в университете, чтобы высказывать собственное мнение. Но она всегда умеет случайным словом, взглядом, паузой в

разговоре предупредить, предостеречь, заставить подумать. И никаких личных разговоров, никакого выражения симпатии. Как за стеклянной стеной. Таковы условия игры — искусствоведческое отделение кипит партийными страстями. Академик-филолог Виктор Владимирович Виноградов, ставший деканом факультета, с нескрываемой досадой заметил: «Десант Института красной профессуры. Не удивлюсь, если сюда переедет вся спецчасть. Хотя лучше бы наоборот».

Но это всего лишь мечты. Спецчасть занимает левое крыло старого здания, и места ей нужно куда больше, чем ректорату. Обитые металлическими листами, плотно закрывающиеся двери. Окошки в коридор с двойными стеклами. Повестки, которые рассылаются отсюда по всем одиннадцати факультетам. Говорят, досье хранятся в специальных несгораемых шкафах. И постоянная связь с объединенной, межфакультетской кафедрой марксизма-ленинизма, которой заведует Николай Сарабьянов, по прозвищу «Великий глухой».

Перетасовки в преподавательском составе происходят в головокружительном темпе. Профессора Михаила Владимировича Алпатова, автора фундаментального исследования «Италия времен Данте и Джотто», работ по древнерусской иконописи, об Андрее Рублеве, отстраняют первым. Впрочем, у него и нет никакого оружия для борьбы: не член партии (да кто бы его принял!), к тому же сын известного московского торговца москательными товарами. Алпатовскими обоями были оклеены многие московские квартиры — от самых богатых до самых бедных. Собственная фабрика работала за Серпуховской Заставой, магазины и склады размещались рядом с Красной площадью.

Куда лучшей кандидатурой представлялась профессор Наталья Николаевна Коваленская, успевшая еще до войны выпустить признанный учебным пособием для вузов курс русского искусства XVIII века. Предпочтение книге было оказано не случайно. Позиция автора говорила сама за себя: «Самостоятельность национального искусства состоит, конечно, не в неизменном соблюдении древних традиций. Общеизвестно утверждение товарища Сталина, что „национальный характер“ не есть нечто раз и навсегда данное, а изменяется вместе с условиями жизни. В другом месте товарищ Сталин прямо предостерегает против слишком прямолинейного понимания забот о „сохранении и развитии национальных особенностей народов“».

Все начиналось со сталинских слов и разъяснялось ими. Член партии, Коваленская не была фанатичной проповедницей идей вождя. Просто так легче жить и проще продвигаться по служебной

лестнице. Особенно при отсутствии даже полного среднего образования. Наталья Николаевна не скрывала, что не сумела закончить гимназию. Все остальное ей дала «красная профессура». Но в условиях университета этого было недостаточно. Вместе с Недошивиным и при рьяной поддержке Лебедева она добилась появления на отделении еще одного профессора (в 1930-х это звание было одним из самых распространенных) — Алексея Александровича Федорова-Давыдова, преподававшего раньше краткую историю русского искусства на художественном факультете текстильного института. Студенты прозвали его просто «Федька».

Сравнительно молодой (ровесник века!). Невысокий плотный блондин с сильно поредевшими и поседевшими волосами. С усами и бородой, что не было тогда в моде. Говорун, любивший во время эффектных пауз рассматривать собеседника из-под очков с чуть приоткрытым ртом. Лектор, не знакомый с методом анализа художественных произведений, зато не скупившийся на иронические замечания по поводу каждой картины и каждого художника. О себе «Федька» рассказывал много. Якобы внук последнего генерал-губернатора Москвы. А вот об отце, скромном издателе популярного детского журнала «Светлячок», не упоминал никогда. «Федька» ушел в революцию до окончания гимназии то ли из-за увлечения модными идеями, то ли из-за ссоры с родителями. Отношений с семьей «Федька» действительно не поддерживал, и мать запретила ему приходить на ее похороны.

Перепоясанный патронташами (а может быть, и без них) юный комиссар оказался в Казани, откуда привез в Москву в качестве жены вдову известного адвоката с детьми, которые были его ровесниками. Новая семья поселилась в келье Новодевичьего монастыря. «Федька» стал работать помощником Луначарского. Его коньком была критика так называемого индустриального стиля в искусстве. К живописи в целом комиссар оставался глух. Не это ли помогло ему одному из первых среди искусствоведов получить звание профессора? Без опыта преподавательской работы. Без научных трудов, публикаций, книг.

В установочном партийном документе 1930 года позиция профессора была подвергнута самой резкой критике: «Мы против лозунга „индустриального стиля“ в искусстве (Федоров-Давыдов), как лозунга неполного и ошибочного, методологически исходящего исключительно из техники, ставящего знак равенства между социалистической и капиталистической техникой, между техникой и экономикой, лозунга, исходящего не из идейно-классовой сущности идеологии пролетариата, являющейся

ведущим началом в стилеобразовании. Мы против него и ему подобных формалистических лозунгов, как лозунгов неклассовых, дезориентирующих пролетарское движение в искусстве. Мы за пролетарский стиль, исходящий не из апологии машины, а из боевого классового диалектико-материалистического мировоззрения пролетариата».

Зато самую высокую оценку заслужила социологическая экспозиция в залах Третьяковской галереи, над которой «Федька» трудился вместе с Коваленской. Смысл экспозиции заключался в том, чтобы рядом с каждой картиной поместить текст с подробным объяснением ее «классовой сущности». Портреты В. А. Серова становились портретами эксплуататоров, народных кровопийц, угнетателей. Картины Репина наглядно иллюстрировали развитие революционного движения. Суриков, к сожалению, не сумел понять «консервативную роль» боярыни Морозовой, которая боролась за старую веру против исправления церковных книг и чина богослужения патриархом Никоном.

Живопись СЛУЖИЛА, и это было главным. Анна Ахматова и Михаил Зощенко, несмотря ни на что, не хотели служить, соответствовать, подхватывать — их осуждение следовало распространить на примеры изобразительного искусства. «Смелее! — требовал профессор Федоров-Давыдов. — Главное смелее! Не оглядывайтесь на так называемые авторитеты. Как правило, их классовая сущность враждебна нашему будущему, будущему, за которое мы призваны бороться. Вы призваны. Если собираетесь стать советскими искусствоведами».

NB

1944 год. 19 июля. Из дневника М. М. Пришвина.

«— Так чего же долго думать о свободе и путях к ней; свобода таится в себе самом, и путь к свободе старинный: познай самого себя. Согласны?

— Вполне согласен, но вот, видите, тоже старинный путь был по тем березкам, и нате вот: ушел под воду, и все, кто шел по нему, остался под водой. И мы на этой воде, на ихних слезах плывем теперь на лодочке и рассуждаем о свободе. Правда ваша, конечно, свобода в себе, но ведь они тоже так думали, жили, догадывались, выдавали дочерей, женились и вдруг нате! неправильно! Идите рыть канал. И весь их старинный путь ушел под воду. Как с этим помириться, как соединить Ленинград с Петром и град Петров с бедным Евгением и как согласиться с пожеланием Пушкина: „Да умирится же с тобой и покоренная стихия!“

Это искусственное озеро слез, из которого пьет воду вся Москва, эта покоренная стихия про себя никогда не мирится, и если выйдет тихий вечер, как сегодня, то нельзя верить даже и такой тишине и доверить свою лодку воде, оставь ее без привязи — и лодка уйдет, и ты догадаешься, что стихия ничуть не умирилась, а только пережидает и втайне действует».

28 августа. С. С. Прокофьев впервые исполнил на рояле свою Пятую, только что законченную симфонию. Его слушателями были Шостакович, Мясковский, Кабалевский и Мурадели. Симфония писалась в Ивановском Доме творчества композиторов.

4 сентября. Из дневника М. М. Пришвина.

«Победа (государство) оставляет после себя вечное непримиримое начало (Евгений), о чем точно сказано: отдай Богово Богови, а кесарю кесарево. Так что личному началу и государственному нет примирения. Необходимость примирения (видимость) разрешается подменой личности отличником (стахановец, орденоносец). И, может быть, чем больше в государстве отличников, тем больше общество нуждается в личностях (общество состоит из личностей, государство — из отличников)».

Легкая метель кружит среди колонн консерватории. Снег искрится на ступенях, заметает невысокий порожек. Света нет. И только за тихо открывающейся дверью, в глубине, мелькает желтое тепло.

Концерт профессора-органиста Александра Федоровича Гедике. Чуть ли не первый с начала войны. В репертуаре Бах и польские композиторы XVII века. Гедике почти полвека на сцене. Столько же в роли преподавателя. Строгого до суровости. Не делающего скидок на самочувствие, настроение. «Музыка — это добросовестная работа» — так в консерватории говорят о Гедике. Может быть, он не так много вкладывает в исполнение от себя, но безукоризненно точно выполняет каждую мысль композитора.

В вестибюле темно. В полупустом зале каждый мостится в кресле так, чтобы не касаться ногами ледяного пола, глубже запрятать руки в рукава шубейки. На Гедике поверх концертного костюма меховая безрукавка и митенки. Несколько слов публике: «Не надо аплодировать. Только если очень захочется. Надеюсь, понравится».

Профессор прав — от аплодисментов толку мало. Крошечная аудитория предпочитает нестройно кричать «браво!». Гедике смотрит поверх очков. Наклоняет голову. И снова поворачивается к клавиатуре. «Николай Зеленский». — Ведущая называет польское имя на русский манер. Сидящий в соседнем ряду профессор Николай Мясковский поправляет: «Миколай Зеленьски».

Еще один варшавский знакомый. Его отец служил в крепости Ново-Георгиевск, неподалеку от Варшавы, под начальством Ивана Гавриловича Матвеева. Потому сын и окончил, до Петербургской консерватории, Петербургское военно-инженерное училище. Воевал всю империалистическую. Потом приехал в Москву. И остался в стороне от консерваторской жизни. Просто сочинял музыку. Просто перестал заниматься музыкальной критикой в середине 1920-х. Запомнились его слова, произнесенные за столом у графини Комаровской, на Воронцовом Поле: «Кажется, началась какая-то фальсификация: вместо меломанов — меломассы. Или просто массы. Без „мелоса“». Ему было сорок с небольшим лет.

Мясковского введут в художественный совет Комитета по делам искусств и в редакционную коллегию журнала «Советская музыка». Синекуры, которые не могут приносить удовлетворения. Сегодня он ждет исполнения своего небольшого «концертштюка». Не объявленного в афише, но задуманного Гедике для исполнения на бис. Если придется бисировать. Рядом Григорий Петрович Прокофьев.

«Как твой университет?» — «Ничего». — «Только-то? А служба?» Профессор хочет быть в курсе жизни несостоявшейся ученицы. Может быть, потому, что иных учеников уже нет. Даже из Института художественного воспитания детей, куда его направили после закрытия экспериментальной лаборатории, профессора удалили. Даже война не помешала идеологическому руководству страны позаботиться, чтобы гениальный педагог не сталкивался с молодежью. Единственное место, где Григорий Прокофьев может работать, — Институт психологии Академии педагогических наук РСФСР (не Советского Союза!). В качестве простого научного сотрудника отдела так называемой специальной психологии. И под общим руководством одного из ведущих специалистов в этой области Павла Максимовича Якобсона, никогда не имевшего ничего общего ни с музыкой, ни с театром, но усердно занимавшегося их проблемами.

В дверях зала появляется Валера. Все понятно: срочный выезд. Может, и к лучшему — не придется отвечать на вопросы…

NB

1945 год. 13 января в Москве в Большом зале консерватории состоялась премьера Пятой симфонии С. С. Прокофьева. Дирижировал автор. Симфония исполнялась во втором отделении, после того как закончился артиллерийский салют в честь очередной победы Советской Армии. Святослав Рихтер вспоминал: «Он ждал, и пока пушки не умолкли, он не начинал дирижировать. Что-то было в этом значительное, символическое. Пришел какой-то общий для всех рубеж… В этом есть что-то олимпийское».

«Поля! Полина! Поля-у! Война… Война кончилась! Отмучились! Поля-у!» — Отчаянный женский крик взрывает воскресную тишину двора. И сразу все наполняется голосами, хлопаньем дверей и распахивающихся окон. Слова мешаются, путаются, волнами плещутся среди каменных стен: «Отмучились! Отмучились! Слава тебе, Господи! Слава тебе!»

Поверить трудно. Невозможно: четыре года! Но вот уже врываются звуки включенного на полную мощность репродуктора: «С победой вас, дорогие товарищи! С победой!» Первое желание — выбежать на улицу. К людям. Что-то делать. Сейчас же! Немедленно!

Бабушка возвращается из кухни с миской воды, перочинным ножом и молча подходит к окну. Кресты! Синие кресты! «Как же я их ненавижу!» Ножик скребет по стеклу. Окаменевшая бумага не хочет отставать от стекла. Бабушка не торопится, буднично делает свое дело.

Вечером за столом собираются все родные. Не хватает стульев. И нечего положить на старинные тарелочки. Просто чай. Хлеб. Сахарин. Но у бабушки появляется еще и черный мускат. Совсем на донышке бутылки. Неприкосновенный запас. «Как причастие!» Все молчат. И как-то сразу становятся заметными произошедшие со всеми перемены.

Совсем поседевший дядя Володя с заострившимися чертами лица — он так и не оправился после кончины сгоревшей от чахотки в начале войны жены. «Отстранился от жизни», по выражению тети Нюси. Дядя Сигизмунд, исхудавший до пергаментной прозрачности, с трудом преодолевающий измучившее его головокружение. Он через силу выходит на улицу. Заставляет себя смешиваться с толпой. Хотя можно и не выходить: никакой работы, никаких издательских предложений. Пройдет почти полвека — и критики единодушно ахнут: «Прозёванный гений!»

На молодых годы почти не сказались. На их восторги бабушка реагирует скептически: «Ваши разочарования впереди». — «Разочарования в чем?» — «Война всегда ожидание перемен. И непременно к лучшему. Если этого не случается…» — «Ты думаешь об империалистической?» — «И о Японской. И о Гражданской. И о Крымской — твой прадед рассказывал». — «Не надо сегодня». — «Наверное, не надо. Извини, это вопрос возраста. У нашего поколения меньше времени на адаптацию. И реанимацию. Конечно, я спешу».

Вася Тезавровский обнимает Нину: «Пожалуй, сразу не освободишься». — «Так думаешь?» — «Дальнего Востока не миновать. Я бы сам напросился. Но…» — «Бюро Туполева не отпустит?» — «Тут и говорить не приходится. Отвоевался!»

А ведь с ним случилось чудо. Был сбит над Волховом. При падении парашют раскрылся наполовину. По счастью, запутался стропами в деревьях, а удар пришелся на воду. Огонь открыли свои: одновременно прыгнул сбитый Васей немец. Спас яростный мат: наши вовремя сориентировались. Потом госпиталь, комиссование, институт и, как когда-то с консерваторией, рывок на грани возможного: возвращение в строй, в качестве летчика-испытателя.

Помог Василий Сталин, в полку которого он служил. Пьяница, сквернослов, хам, но для «ребят» умел добиться всего. Трусости не знал сам, храбрость ценил во всех. И еще — помог тезке получить отдельную комнату. С окнами в узкий дворовый проход. Все в том же подвале.

«И все-таки постарайся освободиться поскорее. Кажется, есть приказ о студентках. Хватит тебе, а?»

* * *

Все обошлось без торжественных проводов и даже просто прощания. Каждый торопился домой и не оглядывался — да и на что собственно? Несколько подписанных бумажек. Обходной лист о сдаче казенного имущества. Брошенные на ходу слова о наградах — медалях, которые предстоит получить. И университет. Теперь уже только университет. Как данность.

Впрочем, не совсем так. В отделе кадров напомнили: «Не забудьте стать на партучет». — «Я беспартийная». — «Значит, на комсомольский». — «Не комсомолка». — «И это после стольких лет службы?! — Рука начальника тянется к характеристике: должна быть плохой. Оказывается, наоборот. — Так в чем же дело?» — «Не хватило времени».

Таким ответом можно (нужно!) возмутиться. А можно не заметить. Кадровик со следами погон на выцветшей гимнастерке предпочитает второе: «Вот теперь и подготовитесь. А то неловко. И притом — искусствоведческое отделение. Там, знаете ли…»

Основной состав университета уже вернулся в Москву. Всеобщее возвращение было еще более стремительным и полным хаоса, чем то давнее, октябрьское, бегство. Торопились занять свои брошенные квартиры — если еще никто не занял! Сохранить хоть какие-нибудь чудом оставшиеся вещи. Устроиться на работу. И начать требовать — льгот, преимуществ, поддержки: мы уходили от немцев, а вот они оставались и еще неизвестно почему. Вселенская склока закипала на каждом шагу. Паспортные столы милиции были бдительны — не пропустить бы специально высланных, всяких там немцев, поляков, татар. Не проглядеть бы кого. Все должны быть трудоустроены и отчитываться ежемесячными справками с места работы. Категории не работающих не могло существовать. К домохозяйкам, матерям семейства относились с подозрением. В идеале работать должны все!

Подозрительность стремительно нарастала. Все знали, что эшелоны из немецких концлагерей уходили прямо в сибирские концлагеря. Юрия Пиляра из Маутхаузена сразу отправили в зону. Впоследствии он напишет книгу «Как это было» об ужасах немецких лагерей, а в частном разговоре со своей преподавательницей на Высших литературных курсах признается: ужасы в советских лагерях. Слишком потрясающих, чтобы вспоминать Третий рейх.

Военнопленных ждала проверка, и притом не только в лагерях: госбезопасность не оставляла без внимания ни одного «изменника». Депортировались целые народы: из Крыма, из Прибалтики, из Западной Украины. Последних власти считали самыми ненадежными, их приговорили к тотальному истреблению. Даже вернувшиеся в свои деревни фронтовики попадали сразу в положение крепостных — ни у кого из колхозников не было на руках паспортов, и уехать из своих деревень они попросту не могли. Пробраться же в Москву или какой-нибудь областной центр было невозможно: для горожан существовал институт прописки. Каждому предписывалось всегда быть на месте, обозначенном в его паспорте. Всякое отклонение от режима сурово наказывалось. На улицу без паспорта не выходили. Жившая в Малаховке бабушкина сестра Александра Стефановна не могла рискнуть переночевать на Пятницкой — проверки проходили постоянно и всегда неожиданно. Если участковый милиционер чего-то недоглядел, ему всегда готовы

были помочь бдительные соседи.

Зато на искусствоведческом отделении все было совсем иначе. Дочери и сыновья министров, руководителей госбезопасности, высокопоставленных партийных работников пользовались особым вниманием со стороны преподавателей. Что там машины, на которых они приезжали! Если чадо желало отдохнуть в Крыму, отцы могли расщедриться для них на спецрейс самолета. В любое время года. Независимо от лекций. Даже А. Лебедев услужливо расшаркивался, говорил чадам приятные слова. Пятерки сыпались как из рога изобилия. «Подает большие надежды…», «умеет поставить проблему…», «масштабно подходит к вопросу…» — среди привилегированных потомков неспособных, ленивых, бездарных просто не могло быть.

…«Если вы меня спросите, какой главной чертой должен обладать искусствовед, я отвечу — порядочностью. Да, да, не удивляйтесь — именно порядочностью».

На крошечном шатающемся столике под накрахмаленной, штопаной скатеркой — и это пресловутый обиход старого холостяка! — потертые на краях фарфоровые чашечки, сахарница с щипчиками и крышкой, хлеб на плетеной хлебнице, масленка с нарисованным и потускневшим от времени красным помидорчиком, эмалированный зеленый чайник на подставке из крупных бусин.

Бывшего адвоката из Казани Алексея Николаевича Свирина музейное дело спасло от репрессий. Почти спасло — пришлось менять города, отказаться от постоянного дома, лишиться имущества. В конце концов он нашел приют в Отделе иконописи Третьяковской галереи.

За дверью слышны громкие голоса техничек галереи — в этом дворовом флигельке и работают, и живут. Шипят сковородки. Неустанно ревут примусы. А вот в комнате с окном на боковую стену галереи удивительно тихо, очень спокойно, и нельзя себе позволить прислониться к спинке стула, потому что «так не сидят».

«Я сказал — порядочность. Это только кажется просто, а на самом деле… От вас ждут вполне определенного вывода. Вам его подсказывают. Может быть, даже сами верят в его истинность. Но это всего лишь потреба дня. Предмет для спекуляций, и притом совсем не безобидных. И для художника, о котором идет речь. И для зрителей, читателей, просто людей. Ведь по большому счету речь идет о контакте человека с искусством: верить — не верить, обращаться к картине или обойтись без нее. Кстати, на чем вы остановились в семинаре?» — «На атрибуции Климентовской церкви в Замоскворечье». — «Наверно, не без детской

ностальгии? Разве она все детство не была перед вашими глазами?» — «Профессор Коваленская сказала, надо сделать выбор из трех архитекторов, кто бы мог ее построить». — «А если покопаться в архивах? Это несколько странная идея, но не обратиться ли вам к Грабарю? Вряд ли университетская профессура станет возражать — как-никак директор Института искусствознания Академии наук. А архивист он блестящий. В университете, насколько я знаю, такой путь не жалуют, так что решайте сами».

На глухой красноватой стене за окном наливается темнотой сырое пятно. Бренчит железо водосточной трубы — гулко и надсадно. Синяя мартовская капель прошивает серую накидку сугроба. Мерно ухает в руках дворника, пробиваясь к заледенелому асфальту, лом. Настоявшаяся за день лужа закипает первым нетерпеливым ручейком. И желтым кругом ложится на стол свет низко опущенной лампы.

Через год с лишним у того же стола можно будет сказать: ни один из трех предложенных лиц не являлся архитектором Климентовской церкви. Архивы подсказали: это Пьетро Трезини. Сын первого архитектора Петербурга Доменико Трезини, уроженца Лугано. Приближенный императрицы Елизаветы Петровны, кончивший свой век в Италии. А рядом в связи со строительством в глухом Замоскворечье дела польские, шведские, датские. Дворцовые интриги. Дипломатические розыгрыши, захватывающие все европейские дворы. И искусство рококо на московской почве.

Свирин смеется: «Вам сделали замечание, что архитектор оказался не русским? Да еще покинул Россию? За правду приходится расплачиваться — в России так принято».

NB

1946 год. 8 сентября в газетах появилось объявление:

«Для подготовки руководящих партийных и советских работников областного, краевого и республиканского масштаба создана Высшая партийная школа при ЦК ВКП(б) в составе двух факультетов: партийного и советского. На партийном факультете имеются отделения организационно-партийных работников, пропагандистских работников, редакторов газет. Прием заявлений производится до 20 сентября с.г. управлением кадров ЦК ВКП(б).

Поступающие в Высшую партийную школу держат вступительные экзамены по истории СССР, русскому

языку, географии в объеме программ средней школы и по основам марксизма-ленинизма в объеме программ высших учебных заведений.

Начало занятий в школе — 1 октября 1946 года».

26 сентября. Из дневника М. М. Пришвина.

«Вчера прочитал речь Жданова все о том же Зощенко. В этом выступлении скрытая в революционной этике ненависть чисто средневековая к искусству наконец-то раскрывается, и имена Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Плеханова ставятся в оправдание насилия над личностью художника. То, о чем догадывались, теперь названо. Как мужики громили усадьбы помещиков, так теперь правительство выпустило своих мужиков от литературы на писателей с лозунгами из Ленина о том, что литература и все искусство являются частью дела партии (т. е. искусство есть агитация и пропаганда марксизма).

…Как воспевать теперь категорический императив коммунистической этики, если он валится на ребенка и давит его у тебя на глазах! Получается что-то вроде сказки о рыбаке и рыбке: старуха потребовала от рыбака рыбки, чтобы она сделала ее владычицею морскою и сама бы стала ей служить. Точно так же и у нас получится с искусством: золотая рыбка тоже уйдет, но какие-нибудь золотые караси будут, конечно, служить. Надо прочитать Фадеева роман „Молодая гвардия“, чую — это золотой карась».

«Зачем вам аспирантура? Будьте же реалистом, голубчик. Ваша „продукция“ не для нынешних художественных советов. Ее не купят и не выставят. Если быть совершенно беспристрастным, у вас два источника — Кандинский и икона. И то и другое, да еще в варианте абстракции, неприемлемо. И не будет приниматься». — «Но…» — «Никаких „но“. Посмотрите, какой дремучий вариант натурализма привезен из Средней Азии, из эвакуации. И наступление на культуру только продолжается. Победили не светлые начала идеи — победила тупая, безмозглая сила. С людьми, которые лишились всего, куда легче бороться, навязывать свою волю». — «Уверяю вас, Павел Варфоломеевич, ощущение жизни…» — «Когда-нибудь возьмет верх? Когда-нибудь! А пока вы получите возможность три года заниматься своей живописью. Это очень много! А там будет видно…»

У профессора Кузнецова нет мастерской. В коммунальной

квартире, на верхнем этаже большого доходного дома близ Арбата ему удалось отделить от общего коридора крохотную прихожую, соорудить стеллаж для никому не нужной живописи. В первой комнате поставил мольберт для себя, во второй — для жены, великолепного живописца Елены Бебутовой.

Еще есть рояль, две ветхие тахты, пара старых кресел. И книги. Повсюду. На столике, подоконниках, на полу, в руках у профессора. Если он оставляет кисти, значит, берет книгу. Так принято в семье, объединившей княжну из романтического княжеского рода и сына саратовского иконописца, к великому потрясению отца и родных занявшегося совершенно непонятным искусством.

Скандал разразился тогда, когда Павел Кузнецов расписал в своих краях православную церковь — заказ, устроенный заботливым родителем. Вся роспись была счищена. Отец сам ее выполнил бесплатно, а будущий профессор отказался навсегда от подобных экспериментов. Но методу своему не изменил. Не изменил и привычке каждый год приезжать в родные места и работать в построенной его отцом сарае-мастерской, разделенной на части рыбацкими сетями. Одна часть принадлежала Павлу Варфоломеевичу, другую занимал его брат, вполне «спокойный» художник.

Наверно, это тоже было частью его внутреннего спора с противниками новой живописи и с обстоятельствами: с самого утра белая сорочка с бабочкой, отутюженные брюки, стеганая «бонжурка», предполагавшая прислугу, серебряные приборы на столе — достойный добробыт в духе героев Чехова. Своим правилам профессор не изменял никогда, как и привычке вскакивать при любом движении находившихся рядом женщин. Независимо от возраста.

«И непременно, голубчик, вступите в Союз. На всякий случай, знаете ли. ОНИ к тем, кто в стаде, придираются меньше. ИМ порядок казарменный нужен. Догляд, как у нас на Волге говорят. Пусть думают, что и вы не ушли от их надзора. А рекомендации мы с Аристархом Лентуловым вам дадим — я уже говорил с ним».

* * *

Исключение из Союза писателей Анны Ахматовой и Михаила Зощенко означало лишение карточек на продовольствие и, само собой разумеется, всякого литературного заработка. Оставалась смерть от дистрофии. Анну Ахматову спасло то немногое, что могли отрывать от своих пайков друзья. Нина Сухоцкая несла

приехавшей в Москву поэтессе пузырек с подсолнечным маслом: «В бутылочке от „капель Датского короля“. Были такие. От кашля. Грамм семьдесят. Не больше. Всё боялась — не пролить бы. С жирами у всех худо, а об Анне Андреевне нечего и говорить!»

Круг общения у отверженных день ото дня сжимался, как шагреневая кожа. Болгарский журналист Алексей Алексеев навестил Зощенко через девять лет после постановления. И та же нищета, то же одиночество. Сын публично, через газету, отрекся от отца. «Он был вынужден, понимаете! — оправдывал его писатель. — Он должен был это сделать. Чтобы сохранить работу. У него своя семья. Его вынудили: вызвали и намекнули». Вчерашние приятели поспешно переходили на другую сторону улицы. Конечно, «не узнавали». Само собой разумеется, не кланялись. И не звонили.

Дядя Сигизмунд не мог успокоиться. «Он настолько интеллигентен! Великолепный кадровый офицер. Искать милости ни у кого не будет. Хватит этого письма „вождю и учителю“. Хватит!»

У его тревоги была еще одна серьезная причина — «ангел-хранитель». После постановления о журналах на время, казалось, отступившаяся от Кржижановского «женщина из ВОКСа» снова предприняла атаку по всему фронту.

Не будучи художником-книжником, она неожиданно получила заказ от Гослитиздата на оформление того сборника стихов Юлиана Тувима, в котором наконец-то предстояло участвовать Кржижановскому. «Женщина из ВОКСа» решила заняться польским языком и начала добиваться от дяди Сигизмунда консультаций. Надежда на творческую работу оказалась отравленной. С такой же энергией она начала опекать Кржижановского в отношении продуктов и лекарств. У нее тут же нашлась «знакомая» в коммунальной квартире тети Нюси, которой теперь передавались посылки. Таким образом «женщина из ВОКСа» оказалась в квартире жены дяди Сигизмунда и даже у нее на работе — в Камерном театре, куда проникла под предлогом передачи бутылочки… с рыбьим жиром.

Пределом всего стали деньги, которые она буквально сунула в карман дяди Сигизмунду под предлогом материальной помощи и за которыми пришла в квартиру Анны Бовшек. И снова расспросы с пристрастием о любимых философах, об увлечениях, о домашних занятиях и новых законченных работах. Последним рывком «дама из ВОКСа» категорически потребовала пустить ее в комнатушку Кржижановского на Арбате. На семейном совете было решено согласиться на дневное время и в присутствии Тезавровского. От волнения дядя Сигизмунд не мог спать. Все

рукописи были разобраны родственниками. Больше всех досталось на долю Пятницкой — комнату тети Нюси тоже на всякий случай очистили от следов писательского творчества.

По всей вероятности, именно эта пустота разочаровала «даму из ВОКСа»: ни архива, ни набитого рукописями письменного стола. Да он бы и не уместился на площади, подсказавшей писателю его знаменитый «квадратурин». Дама набросилась на немногие семейные фотографии, хотя в них как раз никакого смысла не было. Дядя Сигизмунд не поддерживал отношений со старшими сестрами и не интересовался ими. Все они как-то устраивали свои судьбы, и явный неудачник-брат сочувствия не вызывал.

NB

1947 год. Сентябрь. Создано заменившее Коминтерн Коминформбюро, в котором были представлены девять компартий.

6 сентября. В Большом театре состоялось торжественное заседание, посвященное 700-летию Москвы. Город был награжден орденом Ленина. Ту же награду получили Московский метрополитен, Рублевская водопроводная станция, Боткинская больница и газовый завод. Канал Москва — Волга стал именоваться Каналом имени Москвы.

7 сентября. На стадионе «Динамо» был устроен праздник, посвященный той же дате. Вечером дан салют из двадцати залпов. Заложен памятник Юрию Долгорукому.

13 сентября. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца орденами Ленина были награждены представители города.

Год 1948-й. Темно-серый зал Камерного театра. Сбитая в кучу растерянная толпа. Ссутулившиеся спины. Приклеенные улыбки. Убегающие взгляды… Значит, все продолжается. Значит, ничего не перечеркнули муки и издевательства первых постановлений. Торжествующее исключение — те, кто удостоился чести показывать свое мастерство во время разливанных кремлевских застолий, развлекать, присутствовать, соответствовать. Во главе с личным чтецом вождя Михаилом Ивановичем Царевым.

И на трибуне — в том самом месте, где белело чучело чайки в последней постановке уже обреченного на искоренение

таировского театра, — серая фигура с холодным взглядом и влизанными в череп бесцветными волосами, сыплющая на «московскую художественную интеллигенцию» круглые, свинцовые слова. Беспощадно. Аккуратно скатывающиеся к единственному магниту — пресловутой 58-й статье Уголовного кодекса. О врагах народа. И о контрреволюции в бесконечном многообразии ее обманчивых оттенков.

Голос оратора замирает от преданного восхищения: может быть, кто-то осмелился забыть историческое постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград»? 14 августа 1946 года — день, который останется в истории. Во всяком случае нашей, советской культуры. Слова вождя и учителя: «Предоставление страниц „Звезды“ таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции „Звезды“ хорошо знакома физиономия Зощенко и недостойное его поведение во время войны, когда Зощенко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь, как „Перед восходом солнца“. Такая же ясность внесена и с Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой и безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пронизанные духом пессимизма и упадочности, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства — „искусства для искусства“, не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе».

…Оратор в Камерном театре продолжал. Старательно выговаривая слова. Негромко. Почти вкрадчиво: «Или вы сочли для себя необязательным постановление о репертуаре драматических театров?» Вождь позаботился о нем спустя каких-нибудь двенадцать дней после решения о журналах: «Постановка театрами пьес зарубежных авторов явилась по существу предоставлением советской сцены для пропаганды реакционной буржуазной идеологии и морали, попыткой отравить сознание советских людей мировоззрением, враждебным советскому обществу, оживить пережитки капитализма в сознании и быту».

И главная часть — «поставить перед Комитетом по делам искусств в качестве основной практической задачи организацию постановки в каждом драматическом театре ежегодно не менее двух-трех новых высококачественных спектаклей на современные советские темы». Вот откуда, товарищи деятели, вы обязаны начинать для себя отсчет времени!

Но «вождь и учитель», как обычно, довел дело до конца. 4 сентября того же года он высказался о кинофильме «Большая жизнь», а заодно и о Сергее Эйзенштейне: «Режиссер С. Эйзенштейн во второй серии фильма „Иван Грозный“ обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов, наподобие американского ку-клукс-клана, а Ивана Грозного, человека с сильной волей и характером, — слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде Гамлета». Как можно было забыть, что Грозный оставался любимым героем и идеалом «вождя и учителя», историческим оправданием любых репрессий и зверств «ради блага народа»!

Причиной собрания в Камерном театре стало четвертое по счету постановление с четкой формулировкой понятий формализма как антисоветчины. «Вождь и учитель» от угроз переходил к действиям. Именно это обстоятельство утвердившийся на трибуне академический искусствовед в штатском В. Сысоев и должен был окончательно довести до сознания и без того смертельно напуганных людей.

«Еще в 1936 году в связи с появлением оперы Д. Шостаковича „Леди Макбет Мценского уезда“ в органе ЦК ВКП(б) „Правда“ были подвергнуты острой критике антинародные, формалистические извращения в творчестве Д. Шостаковича и разоблачены вред и опасность этого направления для судеб развития советской музыки… Несмотря на эти предупреждения, а также вопреки указаниям, которые были даны Центральным Комитетом ВКП(б) в его решениях о журналах „Звезда“ и „Ленинград“, о кинофильме „Большая жизнь“, о репертуаре драматических театров и кино и мерах по его улучшению, в советской музыке не было произведено никакой перестройки… Особенно плохо обстоит дело в области симфонического и оперного творчества. Речь идет о композиторах, придерживающихся формалистического, антинародного направления. Это направление нашло наиболее полное свое выражение в произведениях таких композиторов, как т.т. Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Хачатурян, В. Шебалин, Н. Мясковский, Г. Попов и др., в творчестве которых наиболее наглядно представлены формалистические извращения, антидемократические тенденции в искусстве музыки, чуждые советскому народу и его вкусам…

ЦК ВКП(б) постановляет: 1. Осудить формалистическое направление в советской музыке как антинародное и ведущее на деле к ликвидации музыки».

Только одного постановления было мало. Его

благословленный «вождем и учителем» автор — Жданов любил разъяснять. Во френче сталинского покроя, только чуть более темном. С тяжелым, «проницательным» взглядом, предназначенным на месте испепелять собеседника. С ехидной ухмылкой превосходства в точно воспроизведенных сталинских усах. С заложенными — снова по примеру вождя! — за спину руками. Разве что старательно зализанные волосы не соответствовали ЕГО прическе. Зато в хамски-простоватых выражениях развязной речи можно было себе позволить превзойти «учителя». Правда, для того, чтобы объяснять и рассуждать, не всегда хватало понятных самому оратору примеров. Поэтому, не вдаваясь в тонкости оперной и симфонической музыки, лучше всего было показывать на образцах очевидного, как казалось Жданову, изобразительного искусства.

Встреча идеологического подмастерья с композиторами: «В живописи, как вы знаете, одно время были сильны буржуазные влияния, которые выступали сплошь и рядом под самым „левым“ флагом, нацепляли на себя клички футуризма, кубизма, модернизма, „ниспровергали“ „прогнивший академизм“, провозглашали новаторство. Это новаторство выражалось в сумасшедшей возне, когда рисовали, к примеру, девушку с одной головой, на сорока ногах, один глаз — на нас, другой — в Арзамас.

Чем же все это кончилось? Полным крахом „нового направления“. Партия восстановила в полной мере классическое наследие Репина, Брюллова, Верещагина, Васнецова, Сурикова. Правильно ли мы сделали, что оставили сокровищницу классической живописи и разгромили ликвидаторов живописи? Разве не означало бы дальнейшее основание подобных проблем и „школ“ ликвидацию живописи? Что же, отстояв классическое наследие в живописи, Центральный Комитет поступил „консервативно“, находился под влиянием „традиционализма“, „эпигонства“ и т. д.? Это же сущая чепуха!»

Довод был действительно неопровержимым! Круг замыкался. Все виды искусства были под контролем, получили необходимые разъяснения. Но в изобразительном искусстве уже был необходимый порядок. Поэтому доклад в Камерном театре был доверен ученому секретарю только что образованной Академии художеств.

Кто не помнит: в 1920-х годах именно искусствоведы возглавили травлю многих талантливых писателей, начиная с Андрея Платонова. Академия же художеств имела и вовсе специальное назначение. Постановлением Совета Министров ее

практические задачи определялись как «борьба с формализмом, натурализмом и другими проявлениями современного буржуазного и упаднического искусства, с безыдейностью и аполитичностью в творчестве, с лженаучными идеалистическими теориями в области эстетики».

Самим фактом своего появления Академия художеств окончательно цементировала единое железобетонное корыто существования изо. Никакого русла! И значит, перспектив развития у живописи не оставалось. Указания Жданова всё ставили на свои места: «Чтобы перегнать классиков, и что было бы совсем неплохо, если бы у нас появлялось побольше произведений искусства, похожих на классические по содержанию и форме, по изяществу и красоте… Слова эти имеют прямое отношение и к нашим художникам».

NB

1948 год. Из доклада ученого секретаря Академии художеств СССР В. Сысоева в Камерном театре.

«Чуждые, а точнее враждебные всему существу социалистического реализма тенденции просматриваются не только в творчестве врагов советского искусства художников-формалистов, но они проникли уже в среду молодых, в наши художественные вузы. Наиболее характерна в этом отношении аспирантская мастерская Московского Художественного института, где ее староста, Белютин, пользуясь бесконтрольностью со стороны руководства, создал настоящее гнездо формализма…»

Из решения президиума правления Московского отделения Союза советских художников по поводу исключения из Союза Э. М. Белютина.

«Будучи старостой творческой мастерской по кафедре живописи и рисунка, самовольно пригласил в качестве ее руководителей художников-формалистов П. Кузнецова, Л. Бруни, Фонвизина, создав тем самым платформу для действий врагов социалистического реализма».

Февраль. Умер Сергей Эйзенштейн. В октябре вдова передала весь хранившийся на даче в Кратове архив В. Э. Мейерхольда в Центральный Государственный архив литературы и искусства.

Май. Из дневника М. М. Пришвина.

«Этот страшный как смерть коллектив стоит с раскрытым ртом, чтобы поглотить тебя: сколько зубастых голов! И ты, голубой, веришь, что так и пройдешь через ряд красных пастей; и они не тронут тебя, напротив, все закричат: осанна сыну Давидову!

Так что „голубой“ борец за незаменимое место свое в человеческом мире остается со своей „темой“ одинок как в капитализме, так и в социализме, с той разницей, что нечто новое, им открываемое в социализме, много скорее стареет, делаясь общим достоянием, и „голубого“, выжав как лимон, отбросив, оставляют век свой доживать в положении героя. Нет, любить коллектив невозможно… Невозможно!»

Умер художник Лев Бруни.

* * *

Они выходили на прогулки по городу. Он — как можно дальше от ставшего чужим театра. Она — непременно на Тверской бульвар, чтобы снова и снова своими глазами, не отрываясь, смотреть на «их» дом, который когда-то сами выбирали для своего Камерного и приобрели, в котором начинали и прожили всю жизнь. Александр Таиров и Алиса Коонен. Режиссер хотел хоть на мгновение забыться, во что-то поверить, к чему-то еще рвануться, актриса чувствовала — все невозвратимо. Потому что театр — это не просто они двое. Это все, что вокруг, и прежде всего люди, уже неспособные отозваться на то, что еще вчера казалось смыслом жизни. Их театр умирал вместе с верой человека в самого себя, в свои возможности. И в справедливость.

«Как можно выйти на нашу сцену после такого!» — Коонен была ошеломлена состоявшимся в их театре — именно в Камерном! — собранием творческой интеллигенции. Вспоминала о нем в последние дни своей жизни с содроганием и отвращением. Доклад делал «какой-то серый человек без лица». Он все говорил, говорил, говорил… Подробности? Какое они могли иметь значение, когда анафеме предавались такие люди и весь цвет современной музыки!

Откуда Алисе Коонен было знать, что это последний акт разыгравшейся сразу после войны драмы советской культуры? Подбор имен для остракизма определялся тем, что все вместе они

составляли Оргкомитет будущего Союза советских композиторов. Инакомыслие, которым отличалось их творчество, нельзя было допустить в новую, идеологически стерильную организацию. Крамолу предстояло искоренить, и для этой цели уже готовились кадры.

Маленькая и оставшаяся незамеченной историками музыки подробность. В первом и втором номерах журнала «Советская музыка» за 1948 год напечатана фотография Тихона Хренникова с подписью: «Генеральный секретарь Союза советских композиторов». Но — Союза еще не существовало! Он был создан в апреле, и только тогда лишился формально своих полномочий Оргкомитет. Именно формально. В действительности же сразу после постановления бразды правления были переданы именно Хренникову. И это на пятьдесят лет вперед! Соответственно несменяемый ни при каких правителях — от Сталина до Ельцина — партийный музыкальный вождь был принят в ряды ВКП(б).

Статья, с которой Хренников выступил в журнале в связи с постановлением, свидетельствовала о его безукоризненно правильной партийной позиции в искусстве: вместе с русскими композиторами из «настоящей музыки» вычеркивались Оливье Мессиан, Хиндемит, Кшёнек, Берг, Менотти, Жоливе, Бриттен, Шёнберг, Стравинский. Объектом критики стал и Сергей Дягилев со своими сезонами русского балета.

Новым мерилом ценности творчества композитора было объявлено условие, сформулированное сочинителем «колхозно-народных» песен Захаровым: будут ли слушать колхозники после трудового дня Восьмую или Девятую симфонии Шостаковича? Если нет, значит, они «антинародны». Впрочем, все это нисколько не помешало бессменному руководителю Союза композиторов усиленно добиваться приезда Стравинского в Советский Союз, оказывать ему самый радушный прием и фотографироваться на память с «идейным врагом». Как и с Кшиштофом Пандерецким, фильм о котором Хренников взял под свое покровительство. Знали ли оба польских гостя истинное лицо московского своего хозяина? Или даже не догадывались о нем?

Сопротивляться, возражать было бессмысленно и бесполезно. Особенно Сергею Прокофьеву, жена которого, мать двух его сыновей, Лина отбывала заключение в лагерях. Двадцать лет тюремной жизни. Полный отрыв от семьи. Лишь в лагере для заключенных-инвалидов под Воркутой, на станции Абязь, Лина узнала о смерти Сталина, но так и оставалась в неведении, что в тот же день не стало и ее мужа.

Собственно музыка была последней в ряду подвергнутых стерилизации искусств. После трех постановлений 1946-го

открытие Академии художеств явилось четвертым и решающим действием Сталина на поприще культуры. Это был триумф догматического соцреализма. Трудно сказать об этом откровеннее, чем это сделал вице-президент Борис Иогансон в праздничном номере «Огонька»: «Когда просматриваешь картины наших художников, написанные к тридцатилетию Октября, невольно вспоминаешь первые годы революции. Тогда реалистическое искусство, вначале еще слабое, но уверенное в конечной победе, пробивало дорогу к советскому зрителю. Движение это, подхваченное лучшими, передовыми советскими художниками, широко разрослось под лозунгом социалистического реализма. Рост и успехи всех видов изобразительного искусства несомненны. Мне кажется, что выставка „30 лет советской власти“ подвела итоги, из которых можно делать выводы, что наша советская живопись в идейном и качественном отношении является самой высокой в мире. Маразм и разложение буржуазного искусства настолько глубоки, что сравнивать с ним наше искусство кощунственно». Родство душ или прочитанное выступление Геббельса в Мюнхене?

Как трудно было осознать, что все происходило одновременно, потому что питалось из одного источника и преследовало одну цель — жесточайший курс в культуре и не менее жесткий в партийной жизни. Советская модель, руководящая роль ВКП(б) утверждались через единообразие политических и экономических структур в странах народной демократии.

Позже перестанет быть тайной, что во многих случаях с помощью отрядов Берии уходили из жизни руководители многих коммунистических партий: в Албании — К. Дзоде; в Болгарии — Т. Костов, И. Стефанов; в Венгрии — Л. Райк, С. Сени, А. Саалн, Л. Бранков; в Румынии — А. Паукер, В. Лука; в Чехословакии — Р. Сланский, В. Клементис. Только Польше была уготована иная судьба: В. Гомулка, М. Спыхальский, З. Клишко оказались в тюрьме. Сначала в Варшаве, на Раковецкой. Позже, по свидетельству З. Клишко, в Куйбышеве. Югославская партия избежала обшей участи. Ее сопротивление послужило причиной для громкого советско-югославского конфликта, который провоцировался и поддерживался теми же исполнителями, что и в культуре, — Ждановым, Берией, Сусловым.

…Они до конца не верили. Закрыть Камерный театр?! Но почему? Среди летевших обломков других искусств, как среди камнепада, Таиров писал: «Алиса, любимая! И все-таки вопреки всему — в добрый час! В наш 35-й сезон — нашей жизни и работы! Обнимаю! Верю! Верь и ты! Твой А. Т.».

В мае 1949-го произошли два на первый взгляд разнохарактерных события. Была отвергнута докторская диссертация Бахтина за «формалистический анализ» творчества… Рабле! 29 мая «Советская культура» выступила с редакционной статьей «Плоды эстетства и формализма»: «Еще имеют место отдельные случаи проявления формализма и эстетства, низкопоклонства перед реакционной культурой Запада. Примером может служить тот творческий тупик, в котором оказался Московский Камерный театр в результате эстетических, формалистических, космополитических взглядов его художественного руководителя А. Я. Таирова».

Выводы не заставили себя ждать: 25 июня та же газета сообщила о снятии режиссера. Свой последний в жизни спектакль — знаменитейшую «Адриенну Лекуврер» — Алиса Коонен сыграла под надзором специально вызванных уполномоченных, расположившихся в зале и за кулисами. Закрывали театр будущий академик-секретарь Отделения литературы и языка Академии наук СССР, лауреат Ленинской премии Михаил Храпченко и все тот же Лебедев.

Но даже такой могучий десант не мог сорвать прощания зрителей с великой актрисой. Коонен и Таирова вызывали двадцать девять раз. Театр переходил в руки «человека с ружьем» — новым руководителем был назначен никогда не занимавшийся режиссурой исполнитель заглавной роли в одноименном фильме, лауреат Сталинской премии Ванин.

Александр Таиров скончался через год от рака мозга. Мастера уходили один за другим. Кто считал эти потери? И спустя тридцать с лишним (!) лет историки пытались стереть все события 1940-х годов. В изданной в 1982 году «Музыкальной энциклопедии» 1948 год был представлен в жизни «формалистов» временем безоблачного счастья. Для Шостаковича это получение звания народного артиста РСФСР. Для Прокофьева — «сближение с дирижером Самосудом». Для Мясковского — первое исполнение 26-й симфонии, для Хачатуряна — первое исполнение оды «Памяти Ленина». И ни слова о постановлении.

Впрочем, и музыковеды не были исключением. Авторы изданной двумя годами раньше энциклопедии «Москва» не вспомнили ни о XX, ни о XXII съездах. Лев Толстой верно определил два вида лжи, бытующих в исторической науке, — ложь словом и ложь умолчанием. Первую можно в конце концов опровергнуть, о второй никогда вообще не узнать.

NB

1948 год. Сентябрь. ЦК ВКП(б) принял

постановление «О работе Академии общественных наук» (заведующим кафедрой истории искусства был назначен А. А. Федоров-Давыдов) и «О журнале „Крокодил“» (новые задачи журнала — «своевременно откликаться на злободневные международные события, подвергать критике буржуазную культуру Запада, показывая ее идейное ничтожество и вырождение»).

«Победа мичуринской биологии». (Отклик на стенографический отчет сессии Всесоюзной сельскохозяйственной академии, проходившей с 31 июля по 7 августа): «Доклад академика Т. Лысенко, одобренный ЦК ВКП(б), является программой развития передовой мичуринской биологической науки. Менделизм-морганизм осужден. Ему нет места в советской науке. Советский народ устами партии заявил: путь биологической науки нашей страны — советский творческий дарвинизм, мичуринская биология…

Выступавшие на сессии представители реакционного менделизма-морганизма академики И. Шмальгаузен, Б. Завадовский, В. Немчинов, профессор А. Жебрак и др. еще раз продемонстрировали теоретическое и практическое банкротство той „науки“, носителями которой они являются. Одни из них пытались якобы обосновать материалистическую сущность морганизма, другие зачисляли себя в мичуринцы, третьи выдавали менделизм-морганизм за „теорию“, сулящую практике „великие открытия“. Уловка менделистов-морганистов была разоблачена выступавшими мичуринцами.

Сессия „приняла к сведению“ отказ от своих ошибочных взглядов П. Жуковского, И. Полякова, С. Алиханяна. С восхвалениями Т. Лысенко выступили академики Е. Ушакова, С. Демидов, П. Лобанов, П. Яковлев. Особенно удачным было признано выступление Е. Ушаковой, заявившей, что, кроме Лысенко, „все остальное нами должно быть отметено с пути как вредное, задерживающее наше движение вперед“».

Ноябрь. Из программы Коммунистической партии молодежи (город Воронеж).

«Намечая программу нашей Коммунистической партии молодежи, мы исходили из того, что задача

осуществления целей и планов Коммунистической партии большевиков есть и наша задача. ВКП(б), борясь под знаменем Ленина — Сталина за выполнение и проведение в жизнь научно обоснованных гениальных теоретических положений наших учителей, открывает тем самым дорогу к построению бесклассового коммунистического общества.

„КПМ“, руководствуясь указаниями великих теоретиков нашего времени Ленина — Сталина, также считает максимумом своей программы построение коммунизма, становясь плечом к плечу с ВКП(б) в осуществлении общих задач.

Однако общая программа „КПМ“ отлична от программы ВКП(б), что и заставляет ее обособиться от последней, выйти на арену как самостоятельная партия. Если программа ВКП(б) ставит своей задачей в настоящее время осуществление ее максимума, т. е. построения коммунистического общества, то программа „КПМ“ включает МИНИМУМ неосуществленных задач, без выполнения которых широкая столбовая дорога к коммунизму превратится в узкую тернистую тропу.

Каковы же ближайшие цели и задачи „КПМ“?

Вместе с ВКП(б), ведя последовательную и непримиримую борьбу за мир и демократию во всем мире, за уничтожение капитализма как необходимого условия построения коммунизма, наша партия намечает следующие задачи, осуществление которых является не меньшим по важности условием построения коммунистического общества, а именно:

1. Искоренение бюрократизма как основной общественной формы, тормозящей и препятствующей осуществлению основных задач партии.
2. Организованная и непримиримая борьба со взяточничеством, подхалимством и карьеризмом.
3. Борьба за повышение и улучшение культурной и экономической жизни трудящихся масс.
4. Борьба за правильное и равномерное распределение продуктов труда в нашем социалистическом обществе.
5. Борьба за фактическое исполнение тезиса „От каждого по его способностям — каждому по его труду“.

Осуществление данных задач есть ближайшая цель нашей партии, залог быстрейшего построения коммунистического общества.

Да здравствует ВКП(б)!

Да здравствует „КПМ“!

Да здравствует наш дорогой учитель товарищ Сталин!»

1949 год. 13 сентября. Секретарю Воронежского обкома В КП (б) товарищу К. П. Жукову.

«Управлением МГБ Воронежской области установлено, что из числа молодежи, преимущественно учащихся 10-х классов средних школ города Воронежа, в октябре 1948 года создана нелегальная организация, именующая себя „Коммунистической партией молодежи“ („КПМ“). Членами „КПМ“ было изготовлено три рукописных журнала: „Спартак“, в котором излагались задачи организации, „Во весь голос“ — в нем помещались стихотворения и художественные рассказы, и „Ленинец“ — со статьями политического характера.

По линии УМГБ считаю необходимым провести профилактические мероприятия путем допросов каждого из участников с последующим их предупреждением, что, если они не прекратят нелегальной и по существу вредной работы, будут наказаны в уголовном порядке.

Считаю также необходимым предупредить об этом родителей указанных выше лиц.

Начальник Управления МГБ по Воронежской области Суходольский».

Резолюция:

«Тов. Литкенсу.

С настоящим ознакомлен 13.IX.49 г. секретарь Обкома ВКП(б) т. Жуков, который с мероприятиями согласен, т. Батуева он лично вызовет из Москвы для переговоров, касающихся его сына. В отношении мероприятий профилактического характера поручаю провести лично Вам. После проведения мероприятий сообщить в МГБ СССР.

Суходольский».

22 сентября. Министр МГБ СССР Абакумов — Сталину.

Совершенно секретно.

«Товарищу Сталину И. В.

Докладываю, что Управлением МГБ по Воронежской области вскрыта нелегальная организация троцкистского характера из числа студентов высших учебных заведений

гор. Воронежа, именующая себя „Коммунистическая партия молодежи“ („КПМ“)…

В августе 1949 года Управлением МГБ были получены сведения о проведении членами организации активной вербовочной работы среди учащихся и рабочей молодежи. В целях локализации были проведены допросы ряда активных участников организации, в процессе которых и выявились ее троцкистский характер, структура и руководящий состав… В последний период времени члены бюро ЦК „КПМ“ обсуждали вопрос о необходимости введения в организацию военной дисциплины, единой формы одежды и особого приветствия…

Учитывая вышеизложенное, МГБ СССР считает необходимым арестовать членов бюро ЦК „КПМ“ Батуева, Луткова, Рудницкого.

Прошу Вашего разрешения.

Абакумов».

Из решения Государственной комиссии по распределению молодых специалистов из художественных вузов: «Принять рекомендацию Дирекции Московского Художественного института, что аспиранта кафедры живописи и рисунка Белютина Э. М., несмотря на отличные показатели по основным творческим дисциплинам, нельзя оставить на преподавательской работе в институте по причине проявившихся во время занятий в аспирантуре формалистических тенденций, чуждых искусству социалистического реализма. Зараженность этими чуждыми советскому искусству ферментами может нанести непоправимый вред студентам, которых будет обучать т. Белютин. Ввиду вышеизложенного рекомендовать направить аспиранта Белютина Э. М. на работу в Педагогический институт города Сыктывкара (Коми АССР)».

28 ноября состоялось третье и последнее заседание Коминформбюро, на котором была принята резолюция, осуждающая Югославию: «Югославская партия во власти убийц и шпионов».

Идеологи не скрывали: историю необходимо исправлять, еще лучше — переписывать заново. В университетской учебной

программе о таком явлении, как французский импрессионизм, даже не упоминалось — развитие искусства прекращалось на барбизонцах. Все, что происходило в позднейший период, характеризовалось как декадентство и разлагающаяся культура Запада.

Не упоминались и русские коллекционеры, по существу открывшие новое искусство. Никто не вспоминал о превосходных музейных собраниях, закрывшихся, в частности, в связи с началом Отечественной войны и не имевших шансов на восстановление. Московский государственный музей изобразительных искусств в них не нуждался. Его руководство вполне удовлетворяли скрытые в подвалах сокровища Дрезденской галереи — утверждалось, что никто не знал о ее местонахождении. Даже участвовавшая в вывозе собрания в недалеком прошлом офицер госбезопасности, в будущем директор ГМИИ Ирина Антонова.

Тем неожиданнее выглядела открывшаяся в самый разгар ждановщины в одном из павильонов московского Центрального парка культуры и отдыха имени Горького выставка Фелициана Коварского и Ксаверия Дуниковского. Правда, в преддверии зимы парк не привлекал посетителей, а пресса умолчала об этом событии. Зрителей в павильоне «отверженных» было мало, а профессионалы-художники, за редким исключением, воздержались от посещения: зачем дразнить власти?

Тех же, кто пришел на выставку, полотна Коварского ошеломили: это была полная противоположность тому, что внедрял соцреализм. Самый волнующий и романтический холст художника — тающий в светящемся небе силуэт Дон Кихота и девиз: «Действовать только по убеждению!»

«Что бы обо мне ни говорили, одно можно сказать наверняка, что всю свою жизнь я испытывал упоение искусством и еще чувство какой-то тоски, которое вызывалось вечной потребностью поисков на земле». Эти слова Фелициана Коварского приведет после его смерти в письме Белютину патриарх современного польского искусства Хенрик Стажевский.

…В холодном павильоне двое. Он и она. Оба окоченевшие, но не отрывающиеся от полотен. В ходе разговора неожиданно обнаружилась общность взглядов и жизненной позиции: никому не дано права мне приказывать!

В густеющий сумрак пустынной аллеи вышли будущие супруги Белютины.

NB

1950 год. 30 мая. Из дневника М. М. Пришвина.

«То, что совершается у нас, нельзя приписывать

Сталину, Энгельсу, или кому-то из нас, или всем нам. Вирусы мозга покойного Маркса, конечно, имели какое-то начальное влияние, но что после того, то все это сделал сам народ, создавший Аракчеева и Петра I. Наша государственность устанавливается дубинкой Петра…

Так вирус свободы простого человека, рабочего, в огненном горниле жизни обернулся в вирус необходимости. Вот мы и ждем теперь, погруженные в землю, своего выхода на свет, как ждет семя (не умрешь — не воскреснешь). По правде, мы только так и можем защищать свой марксизм: как заслуженное наказание и как бич Божий на Европу…

Но с каких же позиций можно защищать Петрову дубинку? Единственно с тех же самых позиций, с которых в древности евреи преклонялись перед могуществом своего Иеговы. И в царские времена мы — перед царем, как Помазанником Божьим. Имена всех этих позиций в наше время отброшены, и какими же словами оправдать миллион рабов, заключенных в лагеря и строящих орудия производства социалистического строя».

24 июня Особое совещание при министре Государственной безопасности СССР приговорило 20 членов Коммунистической партии молодежи города Воронежа к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком от двух до десяти лет, за недоносительство были осуждены трое. Осужденным вменялось в вину, что они «являлись участниками нелегальной антисоветской организации, ставившей своей целью захват политической власти в СССР путем двурушнического проникновения на руководящие должности в ВЛКСМ и ВКП(б) и вытеснения оттуда старых руководящих кадров».

* * *

Записка Анны Бовшек была отчаянной: «Дорогая моя девочка, больше невозможно. Приезжай на Арбат как только сможешь. ЕГО надо перевезти ко мне. Надо! Иначе будет поздно. Но мои доводы бесполезны. Может, твои и Васины помогут. Пожалуйста!»

Тетя Нюся была права. Все наши усилия устроить быт дяди Сигизмунда шли прахом. Продукты и блюда, которые мы

привозили ему на Арбат, растаскивали соседи. Чем дольше дядя Сигизмунд болел, тем меньше оставалось в его комнате самых необходимых вещей. В полузабытьи он видел какие-то неясные тени, открывающуюся дверь, угадывал шаги. И не мог пошевелиться — гипертония…

Врач смущенно пожимал плечами. Добиться улучшения не удавалось. Доктора из привилегированной поликлиники Литературного фонда вообще оставались безучастными. У них было полно работы со знаменитостями, настоящими советскими звездами, а тут — «полное зеро», по выражению самого дяди. «Вычеркнут из всех памятей, из всех глаз», — повторял он.

Как ни боялся дядя Сигизмунд быть в тягость другим, переехать к жене все-таки пришлось. В непривычной обстановке писать не хотелось: «мысли развлекались». Не отвлекались, а развлекались, не складывались в образы и ассоциативные ряды. Он несколько раз раздраженно говорил, что в комнате слишком чисто и прибрано, поэтому в мыслях сумбур и сумятица: «они не на месте».

Спорить было бесполезно. Отвлекать газетами и журналами тем более. После обвала постановлений Кржижановский не брал их в руки. Разве что старые. Дядя Володя предложил заняться переводами, и вскоре около тахты появились книги Жеромского, Мицкевича, сборник рассказов польских классиков. Была закончена монография о Фредро. На все были уже заключены договоры — несбыточная мечта в отношении собственных сочинений. В записной книжке появились строки: «1. О жизни думать уже поздно, пора обдумывать свою гибель. 2. Жизнь допета и допита. 3. Близится станция назначения — Смерть. Пора укладывать мысли. 4. Надо сдать свою жизнь, как часовой сдает свой пост». Он не знал только, что поезд уже прибывает на станцию назначения.

Прошло меньше полугода. 1 мая 1950-го в теплый, наполненный солнцем и легким ветром день исчезли буквы. Перед глазами. Он оставался тем же Кржижановским, просто в мозгу парализовался участок, хранивший алфавит. Он мог писать, но не был в состоянии что-либо прочесть. Пятый том Мицкевича ждал правки…

Он не признавался в своем отчаянии. На вопрос жены: «Хотите ли вы жить?» (они всю жизнь старомодно обращались друг к другу на «вы») — ответил почти равнодушно: «Не знаю. Скорее нет, чем да. Если б это не было так плохо, я бы сказал, что душа у меня надорвалась».

Дядя Сигизмунд умер в канун нового 1951 года. Стояли тридцатиградусные морозы. На кладбище тетя Нюся сказала: «Так

хоронили его деда Фабиана. На Медвежьей горе». — «На Медвежьей? Мы же там были!» — «Потому и заходили на кладбище. Под соснами. Тебе не сказали — ты же все равно узнала, только позже».

NB

1951 год. 4 апреля. Из дневника М. М. Пришвина.

«Я, как писатель, держусь в Советском Союзе на демонстрации прав ребенка в отношении радости жизни и естественного чувства бессмертия. А „партия“ — это старшие, это как УЧИТЕЛЯ в школе с их правами стариков, которых мы должны СЛУШАТЬСЯ. Творения этих старших есть наш прежний Закон Божий, жизнь их — наша прежняя Голгофа, их гипертония — наше распятие.

Коммунизм содержит в себе новый путь отношения настоящего (хочется) к будущему (надо). Он движется демонстрацией „хочется“ и укрыванием „надо“ (например, заключенные в лагерях).

Путь от „хочется“ до „надо“ — это ДОРОГА священных животных к могиле фараона, и весь этот путь египетского „хочется“ и „надо“ получает ФОРМУ ПИРАМИДЫ…

Коммунизм питается АВАНСОМ прав детства, тая от общего глаза свою „правду“ („надо“, смерть и т. п.).

„Правда“ коммунизма похожа на трухлявый пень, обрастающий цветами, закрывающими пень-правду или саркофаг фараона».

1952 год. Комбриг П. П. Власов (Владимиров) должен был уехать в Бирму, куда получил назначение послом. Берия пригласил его к себе в кабинет и предложил тут же сделать противораковый укол. «Можете себе представить, прививка от рака в пятидесятых годах! — рассказывал его сын Юрий Власов, неоднократный чемпион мира по тяжелой атлетике. — Берия знал, что отец страдал болезнью желудка и боится рака. Отец вернулся домой со вздувшейся рукой. Дома все сразу всё поняли. Так Берия отомстил за отказ сотрудничать с его ведомством — эта история имела давние корни…

Спустя несколько месяцев отца перевезли в госпиталь с тяжелым горловым кровотечением. Скончался он, по официальному заключению, от

саркомы легких… Отец перед смертью многое мне рассказывал: он опасался, что его уберут, скомпрометировав, поэтому он хотел, чтобы я знал суть дела, ради которого он жил… как военный разведчик, возглавлявший нашу группу, работавшую в Яньани с мая 1942 года».

11 октября в Москве в Колонном зале состоялось первое исполнение Седьмой симфонии смертельно больного С. С. Прокофьева. Желание композитора услышать свое произведение было так велико, что он согласился изменить его концепцию и дописать так называемый «бодрый хвост», полностью разрушивший идею финала: «Хорошо, будь по-вашему, но думаю, мой первый вариант — лучше».

1953 год. Умерли художники Владимир Татлин и Александр Осьмеркин.

5 марта умер Сталин.

* * *

Кто-то сказал негромко, но очень отчетливо: «Флаги. Тащите флаги». Значит… ЕГО больше нет. Софья Стефановна сжала лежавшие на столе руки: «Дождалась…» И совсем тихо: «Все-таки дождалась…»

Добрый знакомый Лидии Ивановны, главный врач известной московской психиатрической больницы — Канатчиковой дачи, подписывавший все правительственные бюллетени, рассказывал, как ночами одержимый страхом «вождь и учитель» переходил в своем бункере у Поклонной горы из одного помещения в другое — в каждом его ждала постеленная кровать. Как в «то» утро ОН не откликнулся в положенный час, не открыл изнутри бункера, и секретарь вместе с начальником охраны поспешили вызвать всех членов Политбюро. Как потом им пришлось долго ждать рабочих со сварочным аппаратом, чтобы автогеном резать дверь. Как ЕГО нашли в одном из помещений уже остывшим — рука не дотянулась до телефонной трубки. Как привезли гроб, накрыли крышкой, прищемив высунувшуюся кисть руки, которую никто не решился поправить. Потом пришел черед сочинения бюллетеней, и никто не знал, на сколько дней их следует растянуть. Врачам называли то одно количество дней, то другое. Надо было продумать симптомы, связать их между собой в сколько-нибудь правдоподобный ряд. Знакомый врач так и сказал: «Обратный

отсчет времени — оказывается, это совсем не просто. Психологически. И человечески…»

Было известно, что тело установят непременно в Колонном зале. Похоронный ритуал с первых дней революции был разработан до мелочей. С орудийным лафетом, оркестрами, военным караулом, речами товарищей и — преемников. Их угадывали на траурных церемониях. «Трудящихся» для скорби выбирали в учреждениях и предприятиях особенно тщательно. При участии и по рекомендации органов. Для «неорганизованных» намечались маршруты, оцепленные сомкнутыми рядами милиции и внутренних войск. «Неорганизованных» оказалось намного больше, чем предполагалось. В районе Большой Дмитровки, Неглинной, Цветного бульвара, Трубной площади кипел людской котел.

О том, что 5 марта умер Сергей Прокофьев, общественности даже не сообщили. В Камергерский переулок, где жил великий композитор, невозможно было прорваться ни с цветами, ни с гробом. О прощании с гением музыки нечего было и думать.

Бушевавшая истерия наполняла недоумением и — отвращением. Дети. Мальчишки. Угрюмые старики. Плохо одетые немолодые женщины — они особенно рвались, кричали, требовали. Они не могли дальше жить — если не увидят, не поклонятся, не простятся с НИМ.

Лица, искаженные ненавистью к тем, кто вокруг, кто мешает, не дает осуществиться мечте. Залитые слезами: «Что же теперь с нами будет?!»

Будущий классик белорусской литературы Владимир Короткевич, тогда еще студент педагогического института, без гроша в кармане добирался до Москвы на товарных поездах. Не увидеть «вождя и учителя» — было от чего прийти в отчаяние!

По городу ползли слухи о задавленных, превращенных в кровавое месиво, не вернувшихся. Сосед по этажу, старый рабочий, когда-то связанный с подпольщиками, тихо сказал: «Какое же мы… быдло». Журналист-международник, сутками корпевший у соседнего окна над обзорами для «Правды», прозорливо рассудил: «Это чересчур. Новым не понравится. Да и вообще зачем — конченая глава». Кто-то шептал имя Молотова: «Его очередь. Самый близкий. Самый…»

Мороз крепчал. Шел снег. На трибуне Мавзолея стояли ЕГО соратники — Берия и Хрущев. Тело было решено сделать нетленным. И поместить в главной святыне страны. На Мавзолее спешно выкладывалась новая надпись — два имени: «Ленин Сталин».

Часть четвертая
От оттепели до гаранта

ИДЕЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ —
как волны тумана,
то розового, то серого,
которые охватывают нас,
пеленают,
бинтуют.
Мы задыхаемся,
стонем,
не можем двигаться.
Слова не проходят сквозь губы.
Глаза молчат.
И только горькие или сладкие слезы
Текут по нашим рукам.
И проклинаешь тот день,
Когда увидел,
понял
или захотел чего-то.
Идея неопределенности —
Это идея возможного в невозможном,
желанного в мечтаемом.
Это удивительное состояние человеческого духа,
Когда может произойти извержение
самых прекрасных мыслей и чувств
и самых яростных действий,
смысл которых
и результат
станут преследовать тебя
всю жизнь.

Элий Белютин.

Простые формы (1991)

Очередь. Бесконечная человеческая очередь. В дождь и стужу. Под пронизывающим ветром и палящим солнцем. В выходные и рабочие дни. Вокруг кремлевских стен. Через аллеи Александровского сада. Мимо кирпичной громады Исторического музея. К заветной гробнице, на которой теперь алели каплями

свежей крови на черном камне два имени: «Ленин Сталин».

Никто не сомневался: так будет всегда. По пути стиснутой милицейскими рядами толпы строились обложенные фальшивым мрамором просторные туалеты. Устанавливались вагончики с едой и мороженым. Рассаживались обстоятельные вороны в ожидании объедков.

Быть в столице и не выстоять в очереди — такого себе не прощал никто. Для дальних паломников, обремененных тюками с покупками, сетками с непременными апельсинами и колбасой, Москва позаботилась о камерах хранения.

В возбужденной торжественным ожиданием толпе толковали о смысле караула у Мавзолея («Если бы повезло увидеть смену!»). О памятнике народному герою, который теперь уже непременно встанет у угловой башни Кремля, — Павлику Морозову.

Сталинская держава не была навязана людям. Она проросла глубочайшими корнями. В нее уверовали. К ней примерялись. С ней связывали завтрашний день. Очередь успокаивала, давала ощущение надежности. О том, что в ней не побывал никто из наших семей, ни раньше, ни теперь, было лучше не поминать. Для всех отсюда начиналось инакомыслие — в его наглядном проявлении.

* * *

«Неужели это останется навсегда?» — «Что-то же должно смениться, хотя бы потому, что не будет влияния этой страшной личности».

Отчаяние. Проблеск надежды. Угнетенность. И два одновременно отозвавшихся голоса: «Личности?!»

Они представляют полную противоположность. Грузный, улыбчиво-отчужденный профессор-невропатолог Роман Ткачев и стремительный, напористый хирург-онколог профессор Борис Милонов. Имя Ткачева стоит под всеми правительственными медицинскими бюллетенями (и так до 1980-х годов). Имя Бориса Милонова окружено ореолом в медицинских кругах. Мало кто из онкологов может похвастаться тем, что прооперированные ими больные живут по пятнадцать — двадцать лет. Но одного этого недостаточно для официального признания и карьеры.

Уроженец Варшавы. Сын полковника медицинской службы царской армии, дружившего с генералом И. Г. Матвеевым. Муж ссыльной (его жена состояла в Обществе изучения русской усадьбы), с которой и не подумал развестись. Несмотря на настоятельные рекомендации.

«Личность! Откуда вы взяли, что она существовала? Чисто физиологически?» В голосе Ткачева брезгливость: «С медицинской точки зрения о ней не приходилось говорить».

Борис Милонов так же мало сдерживается, как и у операционного стола: «Давайте без экивоков! Точно помню день — первые именины мамы после ее кончины: 27 декабря 27 года. Я работал у Петра Герцена. Сына великого Герцена. Был консилиум с профессором Бехтеревым. Бехтерев опоздал. Извинялся: „Пришлось смотреть одного сухорукого параноика. Сталина“.

На следующий день профессор отправился в театр. В гардеробе толпа — что-то кольнуло у локтя. Ночью стало плохо. И все».

Ткачев пожимает плечами: «Там же появился не кто-нибудь — доктор Бурмин. Родных в спальню не пустил. Решил ждать консилиума. Утром». — «Вот именно! Консилиум у тела. И единственный вопрос: делать вскрытие или нет. Договорились: никакого вскрытия. Изъять мозг. Тело кремировать. В тот же день». Ткачев молчит.

«Вы помните участников консилиума?» Они вместе перечисляют имена. Академик Алексей Абрикосов — «со времен Ежова почетный председатель Московского общества патологов». Академик Григорий Россолимо — «будущий председатель Московского общества невропатологов и психиатров». И представители наркомата здравоохранения. Всего семеро. Милонов: «С тех пор повелось: никто ничего в одиночку не скажет и не подпишет».

«Спрашиваете, что происходит? Все просто: не культ личности — культ режима, и в этом причина безысходности».

Ткачев, глядя в окно: «Это Бурмин продаст профессора Плетнева. Отсюда и пойдет история с врачами-вредителями. Перед ЕГО концом…»

* * *

Тесноватая квартира в московском доме. За окнами на Тверскую незатихающий шум — главная улица! За окнами во двор — брандмауэры соседних зданий. Навал пустых бочек и ящиков — на первом этаже знаменитый магазин «Грузия». Рядом с площадью Маяковского.

Стол под кружевной скатертью. Жесткие стулья с советской обивкой. Сервант с немецким чайным сервизом. Набор рюмок. И фотографии. Сталин с хозяином квартиры. В Крыму. На Кавказе. В рабочем кабинете вождя. На приемах. Два-три снимка — с

размашистой подписью.

Борис Подцероб — помощник вождя и учителя по дипломатическим вопросам, владеет несколькими иностранными языками, знаком с литературой и историей. Пренебрежительное: «При НЕМ таких, как Суслов, в окружении генсека не могло быть». Подцероб и после кончины вождя остается чрезвычайным и полномочным послом. Никогда не стремился сделать карьеру: «Для этого были другие — мы работали».

Начало разговора — идея «Медного всадника», моя повесть-исследование о Фальконе, Мари-Анн Коло, Мицкевиче, Пушкине, «Дзядах».

Позже: как могла случиться публичная казнь Ахматовой, откуда такое неприятие государственными деятелями поэзии? Вкусовщина?

Ответ-вопрос: «Вам знакомо имя Крупина?» — «Писателя?» — «Дмитрия Крупина, управляющего делами ЦК. Он написал Жданову в сентябре сорокового записку об Ахматовой с категорическим заключением: все ее сочинения изъять из обращения. Жданов не мог не согласиться: его и так обвиняли в поддержке ленинградцев. Хотите сказать, при чем здесь литература? Ни при чем. Против Жданова выступила московская группа: Маленков, Щербаков, Георгий Александров.

А поводом послужил однотомник. Ахматову семнадцать лет не издавали. В сороковом на президиуме правления Союза писателей о ней подняли вопрос Юрий Тынянов, Виссарион Махлин (вы его знаете как Саянова), Михаил Слонимский. Со своей стороны Алексей Толстой в Комитете по Сталинским премиям поддержал, он литературной частью там ведал.

В общем, однотомник вышел. Его даже на Сталинскую премию стали прочить, но с подачи Крупина секретариат принял в октябре сорокового специальное постановление. Все, кто был причастен к изданию, поплатились. В аппарате Жданова уже подготовили постановление, но война помешала. А почему Крупин? Все просто: он всеми кадрами ведал и, кроме того, был членом ЦК…

Мне симпатична ваша привязанность к Ленинграду. А тогда, перед войной, это очень серьезно было. И вот вам продолжение. Книжки Зощенко в кабинете моего шефа лежали. Перед войной ему орден Трудового Красного Знамени дали, из Ленинграда одним из первых эвакуировали, а предложил в московский журнал в 43-м свою повесть, снова Крупин вмешался. Набор в журнале „Октябрь“ рассыпали, статью погромную в „Большевике“ напечатали. Секретариат против него два постановления стал готовить. Как раз перед Сталинградом».

NB

1946 год. 9 августа состоялось заседание Оргбюро, которое вел Жданов. Присутствовал Сталин. Повестка дня: 1. О журналах «Звезда» и «Ленинград». 2. О фильме «Большая жизнь». 3. О мерах по улучшению репертуара драматических театров.

Выдержки из стенограммы.

Сталин: У вас перед заграничными писателями ходят на цыпочках… Достойно ли советскому человеку на цыпочках ходить перед заграницей? Вы поощряете этим низкопоклонные чувства. Это большой грех.

Б. Лихарев (главный редактор журнала «Ленинград»): Напечатано много переводных произведений.

Сталин: Вы этим вкус чрезмерного уважения к иностранцам прививаете. Прививаете такое чувство, что мы люди второго сорта, а там люди первого сорта, что неправильно. Вы ученики, они учителя. По сути дела, правильно ли это?

Б. Лихарев: Я хочу только одно отметить…

Сталин: Говорите позубастее. Вы что, смешались или вообще согласны с критикой?

А. Прокофьев (руководитель Ленинградской писательской организации): У нас некоторые очень болезненно обиды принимают.

Сталин: Мнительные и чувственные люди?

А. Прокофьев: Да, и даже иногда небольшая критика оставляет глубокую царапину.

Сталин: Этого бояться не следует. Как же иначе людей воспитывать без критики?

А. Прокофьев: Относительно стихов. Я считаю, что не является большим грехом, что были опубликованы стихи Анны Ахматовой. Эта поэтесса с небольшим голосом, и разговоры о грусти — они присущи и советскому человеку.

Сталин: Анна Ахматова, кроме того, что у нее есть старое имя, что еще можно найти у нее?

А. Прокофьев: В сочинениях послевоенного периода можно найти ряд хороших стихов. Это стихотворение «Первая дальнобойная» о Ленинграде.

Сталин: Одно-два-три стихотворения и обчелся, больше нет.

А. Прокофьев: Стихов на актуальную тему мало, но она поэтесса со старыми устоями, уже утвердившимся мнением и уже не сможет, Иосиф Виссарионович, дать

что-то новое.

Сталин: Тогда пусть печатается в другом месте, почему в «Звезде»?

А. Прокофьев: Должен сказать, что мы отвергли в «Звезде», печаталось в «Знамени».

Сталин: Мы и до «Знамени» доберемся, доберемся до всех.

14 августа было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». «Ленинград» был закрыт. А. Еголина назначили главным редактором «Звезды», сохранив за ним должность заместителя начальника Управления пропаганды и агитации. В дисциплинарном порядке были наказаны сотрудники ленинградского горкома. Для разъяснения постановления в Ленинград был направлен Жданов.

Ленинградская блокада еще не ушла из этого дома. Она в потемневших от дыма буржуйки потолках. В растрескавшейся мебели. В разномастной посуде на прикрытом штопаной скатеркой столе. В скупом угощении и боязни хозяйки взять лишнюю ложечку сахара. В сохранивших следы бумажных крестов больших окнах, обращенных в сад Академии художеств на Васильевском острове.

Хозяйка не только сама пыталась выжить в блокаду. Она помогала умиравшим художникам. Старалась дотащить до академии хоть какие-то обреченные на гибель документы, работы. Запомнить последние слова и неожиданные исповеди. Теперь под ее начальством бывший архив бывшей Академии художеств, но далеко не весь. Основной органы сразу после снятия блокады забрали в государственное хранилище. Рассортировали. Выутюжили. Определили, что потомкам нужно и что не нужно. Тем, что собирала в блокаду, не заинтересовались. Не подумали поинтересоваться. Она поняла: лучше спрятать.

Слов нет: есть партийная дисциплина — ей доводилось быть и секретарем партийной организации, — но есть и совесть. И действовать в трудные минуты надо по совести. Это помнят все, кто сталкивался с Анной Максимовной Смирновой.

«Можно ли попасть к Зощенко?» — «Ничего не выйдет. Он стал бояться людей. Вернее — предательства. После стольких издевательств. Он и нам с мужем не рад. Впустить впустит и тут же начинает на дверь смотреть, шаги в коридоре слушать». — «А телефон?» — «Соседи сняли. Сразу. Поторопились».

Через наступившее молчание трудно переступить. «По-моему,

он себе простить не может, что сразу после решения редакции „Октября“ дважды САМОМУ писал. Тогда все говорили о Булгакове: сумел письмами на высочайшее имя спасти постановку „Дней Турбиных“ во МХАТе. Отсюда и Михаилу Михайловичу подсказали: чем не выход?

Когда ответ не пришел, жена от себя написала и тоже без толку. Пока перепиской занимались, в „Большевике“ погромная статья вышла. И снова все ошиблись. Думали: отгремела гроза, и слава тебе, Господи! Главное, что уже прошла. А на деле в 46-м все по новой пошло. Друзей, знакомых как ветром сдуло. На улице на другую сторону переходят. Сын публично отрекся, да как! Страшно вспомнить! Сын! Михаил Михайлович его оправдать пытался жалко так: мол, работа, семья, о них думать надо. Не об отце.

Да не было бы никакого постановления, наверняка бы не было, если бы предложение органов принял. Они его летом 44-го в Ленинградское управление госбезопасности вызывали — стукача из него сделать собирались. Рассуждали просто: страху натерпелся, на все согласится, а недовольные сами к нему потянутся. Не согласился! Вот за это и уничтожили.

Ахматова ради сына два хвалебных стихотворения о Сталине написала. Плохих. Хуже некуда. Даже Александр Фадеев засомневался: сто́ит ли печатать? С ЦК посоветовался. Сказали: сто́ит и прямо в „Правде“. Ко всеобщему сведению.

Сыну от этого легче не стало. А ее в 51-м в Союзе писателей восстановили. Ее — да. А Зощенко — нет. Он и заявления не подавал. Чувство собственного достоинства было».

NB

31 октября 1944 года нарком госбезопасности В. Меркулов докладывал А. Жданову о том, как оценивают «подвергшиеся справедливой критике писатели» все происходящее в литературном мире.

Зощенко: Советская литература сейчас представляет жалкое зрелище.

Федор Гладков: Трудно писать. Невыразимо трудно… Исподличались люди.

Корней Чуковский: Всюду ложь, издевательства и гнусность.

«Кинематографист Александр Довженко не затрагивает товарища Сталина, но враждебно отзывается о руководителе коммунистов Украины товарище Хрущеве».

* * *

Леонид Косматов — один из самых талантливых кинооператоров советских лет. Снимал много, долго и почти никогда то, что хотелось.

«О военных заслугах вождя можно спорить, но вот на одном фронте он был полководцем без сна и отдыха — в кинематографе.

Говорить между собой мы, конечно, не говорили. Но думалось всем наверняка одинаково: откуда у него бралось время на кинематограф? Каждый сценарий в дело — только после его одобрения. Каждый фильм в прокат или на свалку — после его просмотра. Объяснял. Направлял. Ни одной мелочи не упускал. И всё на грани обвинения во вредительстве и враждебной идеологии. Простых просчетов и творческих неудач не принимал, да и не понимал.

Звонил режиссерам и непременно около двух ночи. Чтобы всегда неожиданно. Чтобы ни к чему не могли подготовиться. Врасплох. Вся наша кинопродукция тех лет — это его рук дело, а ведь непременно какие-нибудь досужие исследователи начнут изучать „процессы“ в нашей кинематографии. Направления, тенденции. Но захотят ли знать правду? Уж больно унизительно. Для всех».

«А разве нельзя было постановщику самому предложить тему?» — «Если сумеет угадать, куда ветер дует… После ежовщины ЕМУ Иван Грозный понадобился. Шостаковичу оперу предложил написать. Тот от оперы под каким-то предлогом отвертелся, балет сочинил и тут же за издевательство над темой в постановление угодил. То есть со временем. САМ ничего не забывал. Алексей Толстой получил заказ на пьесу — замешкался: только к началу 42-го кончил, когда немцев отогнали от Москвы.

За полгода до начала войны Жданов Эйзенштейна вызвал и предложил фильм о Грозном ставить. Срочно. И никаких средств не жалеть. Над сценарием САМ посидел крепко. Грозного сделал круче, чем в истории. Чтобы никакой мягкотелости. Сам же сценарий одобрил и распорядился в производство запустить. Две серии параллельно снимать».

«Но ведь война!» — «И что же? Пока там Эйзенштейн возился с историей, братья Васильевы заказ на экранизацию повести Алексея Толстого „Хлеб“ получили. В конце зимы 42-го! Первую часть сдали — сразу на Сталинскую премию. Вторую — САМ запретил.

Все головы ломали: почему? Скорей всего ЕГО роль под Царицыном должным образом не показали. Вроде старались — как же иначе! — и все равно не угодили.

Теперь понимаете, САМ с постановщиками, как кошка с мышью, играть любил. Тут придушит, тут пробежаться даст, опять придушит и выпустит, пока человек оклемается. Ненавидел он всех, кто искусством занимался. Люто ненавидел, а уж тех, кто самостоятельным быть хотел, прямо в расход пускал.

Был такой постановщик Леонид Луков. В 41-м выпустил первую часть кинофильма „Большая жизнь“, угодил дальше ехать некуда. Сталинская премия просто его дожидалась. А в 46-м вторая часть в постановление вошла. Постановление так и называлось „О кинофильме ‘Большая жизнь’“.

„Большую часть своего времени герои фильма бездельничают, занимаются пустопорожней болтовней и пьянством. Фильм изображает бездушно-издевательское отношение к молодым работницам, приехавшим в Донбасс… Мы, большевики, будем стараться развивать вкусы у зрителей, я боюсь, что они кое-кого из сценаристов, постановщиков и режиссеров выведут в тираж“.

На первый взгляд конец Лукову. Ан нет, в 52-м он за „Донецких шахтеров“ еще одну Сталинскую премию заработал. Не зря каялся, только что лоб не пробил поклонами.

А Эйзенштейну примириться с погромом в том же постановлении особенно трудно было. Как-никак всю жизнь в любимцах проходил, за первую серию премию получил.

Они с актером Николаем Черкасовым — он Грозного играл — сразу после постановления к САМОМУ с письмом обратились: о приеме просили. Полгода заставил ждать. Все нервы вымотал. В февральскую ночь 47-го, если не ошибаюсь, принял. Вместе со Ждановым и Калининым — плохой знак. Такую привычку вождь имел — чуть что: „вот мы с товарищами посоветовались“, „вот товарищи мне жалуются“, „вот товарищи считают“. А дежурные „товарищи“ головами кивали, иной раз издевательские реплики подавали — подыгрывали».

* * *

Спустя двадцать с лишним лет, незадолго до своей смерти, другой мастер советского кинематографа Михаил Ромм вспомнит о последних годах Эйзенштейна. Не просто вспомнит — скажет вслух, будто примеривая на себя, как в начале 46-го Эйзенштейн лежал в Кремлевской больнице с инфарктом. Понимал, что на съемочной площадке неблагополучно: САМ не торопился, как то было принято, просмотреть материал. Значит, что-то задумал. Перестал, кстати, интересоваться здоровьем постановщика.

Одно из писем Эйзенштейна к вождю сохранилось: «Физически я сейчас поправляюсь, но морально меня очень угнетает тот факт, что Вы до сих пор не видели картины… данная серия снята в более узком разрезе: она внутримосковская, и сюжет ее строится вокруг боярского заговора против единства Московского государства и преодоления царем Иваном крамолы».

Сталин просмотрел картину в августе. Реакция вождя: «Не фильм, а какой-то кошмар!» Художественное решение не имело никакого значения. Главное — содержание. Вернее — с него начиналось.

Из стенограммы встречи Сталина с Эйзенштейном и Николаем Черкасовым: «Царь Иван был великий и мудрый правитель, и если его сравнить с Людовиком XI (вы читали о Людовике XI, который готовил абсолютизм для Людовика XVI?), то Иван Грозный по отношению к Людовику на десятом небе. Мудрость Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на правильной точке зрения и иностранцев в свою страну не пускал… Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он недорезал пять крупных феодальных семей. Если бы он эти пять боярских семей уничтожил, то вообще не было бы Смутного времени. А Иван Грозный кого-нибудь казнил и потом долго каялся и молился. Бог ему в этом деле мешал… Нужно было быть решительнее».

Ромм понял: «кошмар» относился к советской крамоле, призыв к жестокости средневекового государя — к оправданию собственной позиции. Возвращение за решетку всех отбывших наказание по страшной 58-й статье возобновилось в начале следующего года. Оно совпало со смертью Эйзенштейна.

Режиссер Иван Пырьев от предложения продолжить работу над «Иваном Грозным» отказался. В авторском варианте фильм оставался под запретом до кончины Сталина.

* * *

Решение вождь принимал по собственному разумению и воле, конечно. Но не все было так просто. Его концепцию разрабатывало и должно было утверждать своими средствами искусство: ни для чего другого оно и не годилось. Ну и непременно ученые.

Историческая реабилитация Грозного? Она представлялась невозможной. Тем дороже был тот, по сути единственный ученый, к тому же с определенным именем, который превозносил его варварство. Роберт Виппер! За одно это ему оказалось возможным

простить, что в свое время эмигрировал из Совдепии в независимую Латвию и абсолютно не принимал совершившуюся в России революцию. Собственно, и пример Грозного Випперу был нужен как противовес возникновению революционной крамолы, которую следовало выжигать всеми средствами средневековой опричнины.

Сразу после присоединения Прибалтики к Советскому Союзу 80-летний ученый был с почестями доставлен в Москву, определен в Московский университет, избран в Академию наук. Его книгу о Грозном переиздавали трижды.

Отдавал ли себе старый ученый в полной мере отчет в том, что с ним и вокруг него происходило? Между тем его сын Борис Робертович Виппер легко оттеснил в том же университете других ученых, твердо заявив о своей верности только реализму и соответственно казарменной формуле социалистического его варианта. Он ни разу не поднял голоса в защиту своих коллег, которые выбрасывались из высших учебных заведений в годы «культурного» террора. Профессоров Алпатова, Лазарева, Габричевского, Блаватского со всеми их научными трудами, опытом и — чувством независимости.

Когда вождь пожелал выступить со своими соображениями и по поводу языкознания, в номере «Правды» его статья была опубликована рядом со статьей академика-лингвиста Виктора Виноградова. В любой области человеческой деятельности, какой бы ни касался, вождь видел себя только на Олимпе.

* * *

Первый после сталинской кончины кремлевский розыгрыш — исчезновение Берии. Варианты ареста, некоего суда, расстрела появятся позже. Первый пошедший по Москве слух подтвердил начальник охраны здания ЦК партии полковник КГБ С. С. Грибанов: на заседании Политбюро Маленков прерывающимся голосом выговорил формулу отстранения, но не решился перехватить чемоданчик Берии со спецсвязью. Это сделал нерастерявшийся Хрущев.

Потом — комната отдыха. Вышедшие с арестованным генералы. И выстрел. Промедление было смерти подобно, и если бы не военные…

8 августа 1953-го в итальянской газете «Коррьере делла сера» появились отрывки из дневника бывшего посла Италии в Советском Союзе Пьетро Куарони:

«Я познакомился с Берией в 1926 году, когда посещал

Грузию. Тогда Берия жил и работал в особняке напротив итальянского консульства в Тифлисе. Есть любопытное обстоятельство: жена Лаврентия Берии (если она, конечно, не умерла или он с ней не развелся) — это грузинка, сестра нынешнего претендента на русский престол Владимира Кирилловича. Интересно, будет ли этот факт фигурировать в обвинительном заключении, предъявленном Берии на суде?»

Имелась в виду княжна Мария Багратиони, которая по неизвестной причине не выехала из Грузии вместе с братом Ираклием и пропала без вести в магаданских лагерях. Впрочем, жена Берии времен его ареста тоже происходила из дворянской семьи.

Этот первый розыгрыш никак не сказался на ауре вождя. Напротив: все огрехи отошедшего царствования оказалось возможным списать на слишком усердного и злобного исполнителя. К тому же объявленного шпионом всех возможных и невозможных иностранных разведок. Привычная формула процессов 1930-х годов.

Но и здесь народная память оказалась более точной. Если Берия кого-то и предавал, то только партию, которой руководил в самый ранний период ее существования. Как и его вождь. О связи САМОГО с царской «охранкой» было общеизвестно. «Чопур» — рябой, как его называли в детстве и юности, находился под надежной защитой.

Только в 1988 году прошедший все круги советского лагерного ада журналист Александр Лабезников расскажет о своей встрече с матерью Чопура:

«В комнате, где мы беседовали, было очень много фотографий Сталина, одна из них привлекла мое внимание: Сталин в наглухо застегнутой форме ученика духовной семинарии, лицо в оспинах…

Глядя на фотографию, я почему-то вспомнил разговор с Борисом Ивановичем Ивановым, членом партии с 1904 года. В 1935 или 1936 году комсомольцы Сольвычегодска совершили лыжный пробег Сольвычегодск — Москва. Лыжники пришли в газету „Комсомольская правда“, принеся ворох воспоминаний о пребывании Сталина в ссылке. В документах упоминался и питерский рабочий-булочник Б. Иванов. Тогда я и обратился к нему: он был председателем профсоюза рабочих хлебобулочной промышленности, жил в Доме правительства. Показал я ему документы и услышал: „Действительно, я был в ссылке, жил в Курейке с Джугашвили. Все время пока он находился там, в нашей маленькой колонии большевиков постоянно случались провалы. Мы решили поговорить начистоту, так сказать, по

гамбургскому счету. Назначили день собрания большевиков Курейки, но Джугашвили на него не явился. А назавтра мы узнали, что он исчез из Курейки: ушел в побег, а до первого поселения 500 верст. Такой побег можно было совершить только с помощью властей“.

Эти слова ошеломили меня, они были сказаны в 1935–1936 годах.

Екатерина Георгиевна (Джугашвили) умерла в конце тридцатых годов. Сталин на похороны матери не поехал».

Но ведь таких свидетельств было множество — и ничего. Даже после смерти. Нимб. Волны фимиама. Благоговейные голоса…

* * *

И все-таки это был культ именно режима, который, естественно, отформовывал вождя как непременную свою часть. Тогда понятным становилось и то, что война не могла ни ослабить, ни тем более закрыть по-настоящему главного и вечного — идеологического фронта. Без победы на нем военная победа теряла свой смысл. В доказательство можно привести следующие факты.

Август 1941-го. Бомбежки Москвы. Тотальная эвакуация. Сплошное отступление. Но начальник агитпропа политуправления одного из самых тяжелых — Калининского фронта срочно сообщает Старой площади о представляющемся ему чрезвычайным происшествии. Дивизионная газета «За нашу победу» опубликовала стихи Константина Симонова вопиющего содержания:

> На час запомнив имена,
> Здесь память долгой не бывает,
> Мужчины говорят: война…
> И женщин наспех обнимают.

Авторы другой фронтовой газеты «Вперед на врага» Ираклий Андроников и поэт Семен Кирсанов своевременно заметили антисоветский характер сочинения: «О ком идет речь? Какие мужчины, какого народа, какой войны? У кого короткая память на имена? Может быть, автор имеет в виду врагов нашей страны, врагов нашей морали?.. Оскорбив мужчин, объяснив их неверность похабненьким — „война-с“, Симонов глубоко оскорбил и женщин — сотни и тысячи советских женщин и

девушек».

Единственный достойный вывод — заклеймить и проработать «стихоплета» как «бежавшего с поля боя». Агитпроп запрашивает о реальных мерах, которые следует применить к Симонову.

Принять столь ответственное решение предстояло только что назначенному начальником политуправления армии Александру Щербакову. Но в связи с поражениями Советской Армии цензурные требования к армейской печати были смягчены. Отсюда появилась «установка на лирику». И другое немаловажное обстоятельство: Симонов пользовался благоволением вождя. Гражданская казнь, к которой взывали Андроников и Кирсанов, не состоялась.

Август 1942-го. Не менее сложное положение на фронтах и срочная докладная секретарям ЦК Георгию Маленкову, Александру Щербакову, Андрею Андрееву. Начальник агитпропа на Старой площади обращает их внимание на «всеобщее засилье лиц еврейской национальности, что искажает принципы национальной политики партии». В качестве вопиющих примеров Георгий Александров приводит все управления Комитета по делам искусств, «все учреждения русского искусства», руководство отделами культуры и искусства всех газет, начиная с «Правды».

Зима 1943-го. Рядом Сталинградское сражение. И жесточайшая «проработка» книги стихов Николая Асеева. В 1940-м он получил Сталинскую премию за поэму «Маяковский начинается» (Анна Ахматова не могла примириться с тем, что именно эта поэма помешала присуждению той же премии ее однотомнику), а теперь обвиняется в «клеветническом изображении советского тыла» и недостаточной идейности.

Вчерашний лауреат прибегает к испытанному и часто оправдывавшему себя средству обороны — письмам. Одно — товарищу Сталину, другое — Молотову. Первое в стихах, второе в прозе. Ответа не последовало ни на одно. И тогда Асеев бросается в атаку на срочно подобранного «идеологического врага». Как иначе доказать собственную преданность? На этот раз мишенью становится поэма Твардовского «Василий Теркин». И очередной просчет: Твардовский, как и Симонов, относился к числу безусловных фаворитов вождя.

Весна 1943-го. На Старой площади идет напряженнейшая работа. 10 апреля появляется редакционная статья в установочной идеологической газете «Литература и искусство». Московская консерватория обвиняется в пренебрежении национальной музыкой и увлечении западной.

17 апреля там же — художественную критику обвиняют в

том, что она недостаточно активно борется с внутренним и внешним идейным врагом.

24 апреля — разгром спектакля МХАТа «Последние дни» по Михаилу Булгакову, в котором охотно принимает участие писатель Константин Федин. По московским слухам, связанные с ожидавшимся катаклизмом переживания свели в могилу руководителя театра и одного из его основателей В. И. Немировича-Данченко.

Через несколько недель — деятели кинематографии подвергаются настоящему истреблению в связи с выходом фильмов «Арктика», «Бой под Соколом», «Лермонтов».

2 декабря — страшное по своей сути постановление Секретариата ЦК «О контроле над литературно-художественными журналами». Установленный в те военные дни контроль продлится до конца столетия.

3 декабря — постановление «О повышении ответственности секретарей литературно-художественных журналов». Ответственный секретарь отныне напрямую подчинялся Старой площади, выполнял ее открытые и секретные указания. Помимо главных редакторов.

И еще. Второго же декабря в Секретариат поступает докладная записка о крамоле в очерках провереннейшего из проверенных Федора Панферова «Люди Урала», в рассказе не меньшего ортодокса Бориса Лавренева «Старуха» и стихах Ильи Сельвинского.

Маленков останавливает выбор на Сельвинском — он желает избежать группового дела. Специальное совещание созывается по поводу двух четверостиший:

Сама, как русская природа,
Душа народа моего:
Она пригреет и урода,
Как птицу, выходит его.
Она не выкурит со света,
Держась за придури свои, —
В ней много воздуха и света
И много правды и любви.

NB

Из записей К. Симонова, сделанных на совещании по поводу Сельвинского:

Маленков: Кто этот урод? Вы нам тут бабки не заколачивайте. Скажите прямо и откровенно: кто этот урод? Кого имели в виду? Имя!

Сельвинский: Я имел в виду юродивых.

Маленков: Неправда! Умел воровать, умей и ответ держать!

Сталин: С этим человеком нужно обращаться бережно, его очень любили Троцкий и Бухарин…

Сельвинский: Товарищ Сталин! В период борьбы с троцкизмом я еще был беспартийным и ничего в политике не понимал.

Сталин (уходя): Поговорите с ним хорошенько, надо спасти человека.

Семинар Сельвинского состоялся в то же время (Виктор Урин (Уран), Александр Межиров, Вероника Тушнова — одни из самых популярных поэтов среди московской молодежи), но на этот раз не в Литературном институте, а в квартире на Большой Никитской.

Пустая комната. Потертая плюшевая тахта со вспоротой обивкой — после обыска, когда в первое военное лето брали хозяйку, биолога, доктора наук. Поцарапанный рояль. Следы исчезнувших картин на стенах. Стопочка книг в углу широкого подоконника. Вернувшийся с фронта тяжело контуженный почти мальчишка-хозяин. Раз за разом случайно (от шагов в коридоре) приоткрывающаяся дверь — коммуналка. Перекликающиеся визгливые голоса на кухне рядом.

И рассказ Сельвинского. Постаревшего, торопливо перебирающего руками ненужные мелочи. Да, Сталин вошел во время совещания. Не захотел сесть. Стоял, смотрел. Потом повернулся к двери. Пришлось — Сельвинский не собирается скрывать — броситься за ним. Ведь если уйдет — Лубянка, лагерь, конец! Радовался, что успел хоть что-то сказать. И не верил в каждую следующую ночь. Самое страшное — ночь. До четырех утра. Позже они не приезжают…

А ведь еще месяц назад все было благополучно. Все работали над гимном. Сидели вместе на прослушиваниях в Бетховенском зале Большого театра. Притихали, когда появлялся вождь…

Идея нового гимна возникла весной 1942-го. Вместо «Интернационала». Вождь был так уверен в своей победе? Но ничто ее не предвещало. Отводил от себя беду? Возможен и такой суеверный прием. Или, несмотря ни на что, мечтал о собственной империи? Ведь говорил же в те самые дни с Михаилом Шолоховым, за обедом, с глазу на глаз, о необходимости писать роман-эпопею о шедшей войне, о ее полководцах, имея в виду только самого себя.

Широко объявленный в творческих союзах конкурс на музыку

и тексты. Специальное приглашение самых знаменитых: Шостакович, Сергей Прокофьев, Арам Хачатурян, Юрий Шапорин, Александров, Семен Чернецкий. Всем руководил несостоявшийся полководец Клим Ворошилов — культура по-прежнему оставалась за ним.

Все на полном серьезе. Первый тур — прослушивание, когда автор сидел за роялем, солист и два-три хориста пели. В Бетховенском зале Большого (еще не вернувшегося из эвакуации) театра.

Вождь любил сюда заходить. И ставить оценки. По десятибалльной системе. На первом месте у него оказались Шостакович и Хачатурян, за ними Сергей Прокофьев, Александров и Шапорин. Но предпочтение, вопреки всем ожиданиям, отдал старой и всем известной песне А. Александрова «Гимн партии большевиков». Без объяснений.

Остался текст. Пока приглашенные поэты ломали головы, свой текст Ворошилову сумел представить Габриэль Уреклян, иначе Эль Регистан, сочинявший вместе с Сергеем Михалковым.

Михалкова в Кремле знали. Еще в середине 1930-х он изловчился написать стихотворение «Светлана» и напечатать его в день рождения дочери вождя. (Кто только не сочинял музыку на эту колыбельную!) Но главное — сумел вставить свои стихи о вожде (фрагмент стихотворения «Я гражданин 18 лет, я выбираю в Верховный Совет») в приветствие пионеров на XVIII съезде:

Сталин — учитель твой, Сталин — твой друг,
Сталин, чье имя как песня живет,
В бой призывает, к победам ведет!

Соавторам дали комнату для работы в Кремле. Каждое слово принималось или отвергалось вождем. Им диктовалось. Никаких поэтических вольностей, никакого «полета вдохновения».

О подробностях расскажет сын композитора, руководитель Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии Борис Александров — наши дачи окажутся неподалеку друг от друга в подмосковном Абрамцеве. Коренастый угрюмый человек будет приходить с единственной своей радостью и бедой — неизлечимо искалеченной внучкой. Капризной, требовательной, всегда всем недовольной и почему-то успокаивавшейся на аллеях нашего сада или среди огромных и очень разных живописных холстов.

Так вот, окончательный вариант с текстом начали репетировать в Большом театре. Для сравнения Сталин приказал разучить и исполнять Александровскому ансамблю британский и

американский гимны и «Боже, царя храни». Сам слушал и сравнивал. Не один раз. В хоровой музыке, пожалуй, разбирался. Говорили, сам пел в духовном училище и даже был приглашен солистом в тифлисский архиерейский хор. Слухом обладал определенно.

Премьера состоялась в Большом театре накануне октябрьских праздников 1943-го. В зале едва ли не весь Союз композиторов сидел — за билеты сражались до последнего. На подобных торжествах показаться надо было непременно. Если не попадал, могли подумать, что уже все: нет человека.

После премьеры в гостиной у правительственной ложи стол накрыли. Для самого узкого круга: композитор Дмитрий Рогаль-Левицкий — он оркестровку делал, Сталину особенно понравилась, дирижер Арий Пазовский — от Большого театра, руководитель Комитета по делам искусств Михаил Храпченко, оба автора-текстовика.

До двух часов ночи засиделись. Пьяных Сталин не терпел. Шумных застолий тоже. Расспрашивал о Большом театре. О новой постановке оперы «Иван Сусанин», об оперной молодежи — почему ее мало.

Маленков предложил положить нынешним оперным дивам тройное жалованье за обучение молодых. Сталин согласился — не верил, что можно что-то на голом энтузиазме сделать. Был убежден: только когда платят.

* * *

Подмосковная Малаховка. Так называемый Учительский поселок. Фанерные домики с крохотными террасками. Садики со считаными кустами ягодников, грядками флоксов и астр. Одинокие сосны. Засыпанные песком улочки без пешеходных дорожек. Последнее местопребывание Георгия Маленкова.

Он проведет здесь почти тридцать лет. После снятия его Хрущевым в 1956-м. У сестры. И племянницы — художницы Нинели Баскаковой. Ученицы Элия Белютина. Участницы направления «Новая реальность». Маленков уйдет из жизни в 1988-м, незаметно, ни на что не претендуя в политической игре. Хотя память о нем сохранится в деревнях: он дал колхозникам паспорта, уравнял их в правах с остальными жителями страны.

Нет, его не интересуют мемуары. 1943 год? Гимн? Конечно, но важнее прием вождем иерархов церкви. Храмы пришлось открывать. Они были нужны на тяжелых путях войны, как лирика в поэзии. Тактическое послабление.

Знал ли Константин Симонов летом 1941-го о новой установке, что так вовремя подоспел со своей лирикой? Мог и знать. Он был близок к политуправлению армии.

Сталин поддерживал Симонова, и что же — он никогда не менял своих привязанностей? Почему же? Все зависело от конкретных обстоятельств. Главное, видеть цель, а идти к ней можно разными дорогами.

Редкий пример — пьеса Николая Погодина «Кремлевские куранты». МХАТ сумел показать премьеру в январе 1942-го. В эвакуации. Сразу же получил Сталинскую премию. После постановлений 1946 года Сергей Юткевич решил взяться за экранизацию.

Съемки начались уже в 1947-м. Художественный совет пришел в восторг, в том числе от названия — «Свет над Россией». Сталин прислал навал замечаний. На просмотре спросил: «Кто автор сценария?» Ему сказали о пьесе во МХАТе. «Не знаю, не видел. Значит, плохая пьеса». Спектакль, само собой разумеется, сняли. «Свет над Россией» запретили и предписали уничтожить.

До Сергея Юткевича дошли подробности: «Картина очень не понравилась товарищу Сталину». — «Значит, это запись его замечаний?» — «Нет, он ничего не сказал. Но товарищ Большаков (он ведал тогда Комитетом кинематографии. — *Н. М.*), который, как обычно, сидел сзади, у микшера, фиксировал неодобрительные хмыканья товарища Сталина. Затем с отметками этих реакций он поехал к товарищу Жданову, они вместе их расшифровали и составили прочитанное вами заключение».

После переделки картины Сталин просмотрел ее на отдыхе в Сочи. Приговор был окончательным: «Картина ваша никогда больше не увидит свет… Товарищ Сталин смотрел картину, и, очевидно, она ему не понравилась».

Без высокого одобрения нельзя было рассчитывать даже на отклики в печати: все они готовились и редактировались заранее. Положительные или отрицательные. Все зависело от поворота колеса Фортуны.

Маленков знает: несмотря на отдельные удачи, в целом вождь был недоволен положением в культуре. У него даже как-то промелькнула мысль: может быть, талантливые где-то отсиживаются, не хотят работать, а рвутся вперед те, от которых мало толку? В 1944-м решил вообще не присуждать Сталинских премий. Ничего не понравилось. Только в 1945-м одобрил «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. Сразу о Сталинской премии распорядился.

А то, что распространялись повсюду толкования об установке

на изоляционизм, в корне неверно. Откуда бы тогда возникло недовольство Петром Капицей? В том же году в апреле он получил Сталинскую премию, а в середине лета был снят со всех должностей. Мотивировка не оставляла тени сомнения: за то, что экспериментировал на собственных установках, игнорируя достижения западных специалистов. Кроме того, анархическое своеволие, отрыв от коллектива и пренебрежение партийным руководством. Хотя, конечно, наука и культура вещи разные. Что допустимо и полезно в одной, недопустимо в другой. У идеологии свои законы.

…В конце лета Учительский поселок пустеет одним из первых. Хозяева торопятся в город к началу учебного года. На фанерных дверях повисают хлипкие замочки. На грядках ярко доцветают настурции, золотые шары. Дорожки теряются под пышным покрывалом желтых листьев. Пахнет прелью, призрачным осенним теплом, влажным песком. Тишина. Одиночество…

Об улочках Учительского поселка напишет в 1952-м поэт Платон Набоков, годом раньше арестованный все по той же 58-й статье:

Духов удушье буйное
с палитры цветников
и осень миньятюрная
садовых васильков…
За то, что горю родины
страшились мы припасть,
судьбой мы были проданы
и отданы во власть —
холодного сгорания,
где страшен громкий смех,
где жизнь — воспоминания
и где спасенье — смерть.

Причина ареста — связь с Литературным институтом, который поэт окончил. С семинаром Сельвинского. Одно из следствий — отказ Владимира Набокова от родственника. На всякий случай.

И в цветении осени последний вопрос: а как же с изобразительным искусством? Почему оно было обойдено вниманием Старой площади? Ответ простой и неожиданный: вождь не любил картин и даже фотографий. На моей памяти ни на каких выставках не бывал. Говорили, посетил единственную в 1928-м. Кажется, посвященную 10-летию Ассоциации художников

революции. Во всяком случае, на ней оставил запись: «Ничего. Иосиф Сталин». Живописью занимался Ворошилов и на все смотрел глазами своего любимого художника Александра Герасимова. Герасимова и сделали сначала председателем Оргкомитета Союза художников, потом президентом Академии художеств. Этого было достаточно.

* * *

Определиться в профессии… Незадолго до кончины дядя Зигмунд упорно повторял: уж если Элий отрекся от официального догматизма, решил идти своей дорогой в живописи, если ты выбрала такую, мягко сказать, неопределенную специальность искусствоведа, по крайней мере позаботься устроиться так, чтобы жить согласно чувству собственного достоинства. Трудно. Очень. Знаю. Утешайтесь тем, что это ваш собственный выбор. Собственный! Хотя в наших условиях это практически невозможно.

Слов нет, Элий мог вернуться в Союз художников. Существовала своего рода тарифная сетка: два-три выступления на общих собраниях разного уровня с обещаниями исправиться, одно-два письменных заявления со словами покаяния. В Советском Союзе была исключительно популярна поговорка: час позора — век блаженства. Дальше даже не отказ от собственного ви́дения и приемов работы — просто работа за закрытыми дверями, втайне от всех, при официально объявляемых образцах соцреализма — для выставок, закупочных комиссий. Двойная жизнь мало кого смущала и отягощала.

Но за плечами уже была первая персональная выставка, именно после которой и хлынули толпы художников в творческие группы под руководством Белютина. Смешно думать, что профессиональный художник возжелал вернуться в учебную мастерскую. Если было к чему стремиться, так это к свободному дыханию в творчестве. Вздохнуть полной грудью хотел каждый после стольких лет затаенного дыхания.

Творческие группы Московского товарищества художников оказались под запретом. Тем неожиданнее был звонок со Старой площади именно Белютину.

«Вы занимались Чистяковым?» — «Да». — «Его системой?» — «Да». — «Не откажите в любезности написать статью для „Культуры и жизни“». Заказчик — зав. сектором изо Отдела культуры А. В. Киселев.

Чистяков в условиях административного апофеоза

соцреализма? После всех постановлений? Гегельянец, лишенный возможности нормальной педагогической работы даже в царской России — без профессуры в Академии художеств, практически с одними домашними занятиями?

Он думал о возможности развития с помощью искусства сущностных сил и пришел в своих практических выводах к принципам Кандинского и Малевича. Что из того, что его учениками — в абсолютном несоответствии с общепринятой академической системой — стали все крупнейшие русские художники рубежа XIX–XX веков — от Репина, Сурикова до Михаила Врубеля и Виктора Борисова-Мусатова, от венгерских до польских живописцев, которых он поддерживал через варшавскую живописную школу?

Статья была написана, но не опубликована. Различие позиций агитпропа и автора было слишком очевидно. Но не публикация, как оказалось, интересовала Старую площадь — возможность проанализировать профессиональные позиции ставшего слишком популярным Белютина. Ее расценили как научную в полном соответствии с представлениями вождя. Белютину предложили должность консультанта по искусству той же газеты, а вместе с ней и агитпропа: «Нам нужны независимые и обоснованные суждения. Это не значит, что они будут реализованы. Вопрос во всесторонней информации и анализе для руководства».

Первая мотивировка отказа Белютина — «Но я не член партии!» — была отвергнута с ходу: не имеет значения. Откуда было знать, что именно в этот момент Сталин начал войну с «новым РАППом» — Революционной ассоциацией пролетарских писателей. На заседании Комитета по Сталинским премиям в марте 1950-го он прямо заявил, что членство в партии на наступившем этапе перестало быть обязательным: «Все время используют цитату: „Долой литераторов беспартийных!“ А смысла ее не понимают». Оказывается, ленинские слова имели отношение только к определенному периоду, когда партия находилась в оппозиции.

«Мы искали людей, мы их привлекали к себе. Мы, когда были в оппозиции, выступали против беспартийности, объявляли войну беспартийности, создавая свой лагерь. А придя к власти, мы уже отвечаем за все общество, за блок коммунистов с беспартийными… Мы, когда находились в оппозиции, выступали против увеличения роли национальной культуры… А сейчас мы за национальную культуру».

Поводом для очередной кампании стала статья молодого литературоведа Александра Белика «О некоторых ошибках в

литературоведении», опубликованная в журнале «Октябрь». Сталин откликнулся немедленно: «Кто это? Этот даже пользуется словами „долой литераторов беспартийных“. Неверно пользуется. Рапповец нашего времени. Новорапповская теория. Хотят, чтобы все герои были положительными, чтобы все стали идеалами. Ну, а Гоголь? Ну, а Толстой? Где у них положительные или целиком положительные герои?.. Берут писателя и едят его: почему ты беспартийный? Почему ты беспартийный? А что, разве Бубеннов был партийным, когда написал первую часть своей „Белой березы“? Нет. Потом вступил в партию».

Правда, гроза оказалась театральной. Белика оставили работать в том же журнале «Вопросы философии», заниматься эстетикой, не помешали стать профессором и доктором философских наук. Без перемены взглядов и позиции.

Белютину понадобился другой и окончательный довод: «Я художник и не собираюсь оставлять живописи». Собеседники недоумевали: «Кто же помешает заниматься ею в свободное время? Тем более все выставки и виды поощрений для вас будут легко доступны».

«Нет!» Наступившая пауза стала медленно наполняться зловещей тишиной.

* * *

Один из самых приметных в довоенной Москве домов — дом Моссельпрома, в Калашном переулке, после очередных бессмысленных сносов оказавшийся на самой Арбатской площади. Простое конструктивистское решение и необычная окраска с сохраняющимися рекламными надписями через все стены: «Нигде кроме, как в Моссельпроме». Память о далеком нэпе и первой советской элите, которой в разоренном городе причитались отдельные квартиры. Непременно с прислугой. Чаще всего с мебелью красного дерева, картинами в широких золоченых рамах, часами из мрамора или малахита с позолоченными бронзовыми группами. Регламент для деятелей искусства. Только для них. Инженерам и партийным деятелям предписывались аскетизм и мебель советского производства.

В квартире академика Виктора Владимировича Виноградова все напоминает Петербург. Мебель времен Павла I и Александра I. Екатерининские зеркала. Каннелированные тумбы красного дерева. Книжные шкафы жакоб с тонкой латунной отделкой. Кабинет хозяина с огромным письменным столом. Комната хозяйки с концертным роялем.

Надежда Матвеевна — пианистка школы знаменитого Игумнова, той самой, из которой вышел профессор Григорий Прокофьев. У нее собираются старые музыканты, ведутся разговоры о происходящем. Бесшумно подающая чашки пожилая горничная не представляет опасности — она из родительского имения хозяйки.

«Элий, вы — и их заведение? Надо же додуматься до такого абсурда! Что они себе там думают? И какая наглость: после всего, что вам принес 48-й год!»

Академик сдерживает эмоции супруги: «Все не так просто, и думать они там очень даже думают. После пережитого Элий, с „их“ точки зрения, вполне может захотеть реабилитироваться, восстановить жизненную карьеру». — «Но его живопись: она-то для них неприемлема!» — «Почему же? Он может ее сохранять для себя. Ведь дело здесь не в ней, а в его влиянии на художников». — «В преподавании?» Виноградов смеется: «Давай вспомним события 1948-го».

NB

2 февраля 1948 года Жданов посылает письмо вождю:

«Товарищу Сталину. Направляю Вам:

1) проект постановления ЦК ВКП(б) „Об опере ‘Великая дружба’ В. Мурадели“;

2) подготовленный к печати текст моей вступительной речи на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б);

3) подготовленный к печати текст моего выступления там же;

4) проект краткого сообщения о совещании в ЦК ВКП(б)».

Здесь же приводился список тех музыкальных деятелей, чьи речи следовало напечатать в газете «Правда», и просьба дать разрешение занять материалами совещания шесть — семь полос газеты.

Итак, к 30-летию Октября правительство заказало Вано Мурадели оперу на вполне политическую тему — нерушимая дружба народов Кавказа.

Опера была написана, в срок поставлена с необходимой пышностью. Но САМ хлопнул дверью после первого акта.

«Знаю, ему не понравилась нетрадиционная лезгинка». — «Да бог с ней, при чем здесь лезгинка — ее и переделать можно было. А вот фигура героя, то есть Орджоникидзе, — это куда серьезней. За нее следовало примерно наказать, чтоб другим было

неповадно. Теперь вопрос: почему к Мурадели присоединили всех значительных композиторов? Кстати, вы обратили внимание, что все они составляли Оргкомитет будущего Союза композиторов? Все до одного: Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Юрий Шапорин, Арам Хачатурян, Николай Мясковский. И почти все многократные лауреаты Сталинской премии. Прокофьев одну получил в 43-м, целых три — в 46-м, еще одну — в 47-м. И сразу приговор: „вне искусства“, со ссылкой на застарелые и нарочито якобы не исправляемые ошибки.

А если заглянуть вперед? Шостакович войдет в юбилейную комиссию по празднованию в 49-м 70-летия вождя. В 1950-м ему достанется Сталинская премия, как и Мясковскому. Одновременно со мной — в 1951-м Сталинские премии получат опять-таки Шостакович, Сергей Прокофьев, Арам Хачатурян и посмертно Мясковский. Посмертно!

Казалось, все вернется на круги своя. Но нет — руководство Союза композиторов от них от всех уйдет. Сразу после постановления Союз — еще до юридического его появления! — возглавит Тихон Хренников (и, как окажется, навсегда — до следующего тысячелетия. — *Н. М.*). Величина ни с какой точки зрения с великими несопоставимая, зато лакей по полной форме. Какие там у него могли быть вольности!

Великих надо было проучить, потому что они составили независимую группу. Встречались только друг с другом, вместе обсуждали новинки, и вообще, как определить, что именно могли еще делать? „Групповщины“ вождь не допускал».

«Но где это произошло?» — «В войну, когда все они жили в Доме творчества в Иваново».

Прав ли был в своих догадках академик? Во всяком случае, едва ли не впервые органы получили задание тщательнейшим образом отслеживать настроение осужденных деятелей культуры. Не пренебрегать им, но отслеживать и немедленно докладывать на Старую площадь. Ходили слухи, что идея таких отчетов принадлежала сменившему Георгия Александрова на посту руководителя агитпропа Дмитрию Шепилову.

> NB Д. Т. Шепилов — А. А. Жданову:
>
> «Прокофьев принял постановление спокойно, собирается обратиться с письмом на имя товарища Жданова с просьбой о приеме, в частности о консультации по новой опере на советскую тему (как будто бы по повести Полевого „Повесть о настоящем человеке“).
>
> Композитор Шебалин официально приветствует

постановление, однако среди близких ему лиц говорит, что это результат чьих-то „происков“.

Шостакович находится в более взволнованном состоянии, но также собирается приступить к сочинению новой оперы „Молодая гвардия“.

Пианист Рихтер настаивал, чтобы включить в программу его концерта сонату Прокофьева, несмотря на настоятельную рекомендацию этого не делать в силу формалистического ее характера. Он заявил, что в случае невозможности играть сонату на концерте сыграет ее Прокофьеву дома в знак уважения к композитору…»

«Кстати, вы знаете его любимое развлечение? — Академик, кажется, чуть-чуть колеблется. — Ходить по лесу и поджигать муравейники. Сразу со всех сторон. Чтобы выхода не было, чтобы муравьи метались и… трещали. В огне…»

* * *

Марина Ковалева была предназначена для того, чтобы стать советской кинозвездой нового послевоенного поколения. Прийти на смену слишком напоминавшей див Третьего рейха Любови Орловой и точно повторявшей простушек Голливуда Марине Ладыниной. Правда, вождь был способен бесконечно смеяться над фильмами Орловой «Цирк» и «Волга-Волга», а «Кубанские казаки» Ладыниной стали первой советской мыльной оперой, которой упивались миллионы зрителей по всей стране. Эти актрисы не занимали его чувств и воображения, как Алла Тарасова, неожиданно оказавшаяся директором МХАТа, или другая Алла — Ларионова в фильме по Чехову «Анна на шее».

Ковалева была дочерью знаменитой исполнительницы народных песен Ольги Васильевны Ковалевой. Она стала невесткой постановщика самого помпезного в эпоху культа личности фильма «Падение Берлина» Михаила Чиаурели. И сыграла в том же фильме главную женскую роль.

Но ее недостатком стала вера в советские идеалы. Она не смогла принять концепцию фильма, где в заключительных кадрах вождь-генералиссимус выходил навстречу толпам ликующих граждан из белоснежного лайнера в центре Берлина. Войну и все ее обстоятельства Марина знала не понаслышке.

Не простила постановщику статьи «Лучший друг советского искусства», опубликованной в «Правде» в день 70-летия вождя. И

рассталась с семьей Чиаурели. Еще в школе, будучи секретарем комсомольской организации, думала о справедливости и стала на защиту мальчишки, которого донимали всеми способами за убитого отца, за необычное национальное происхождение. За необычность поведения. И встретила его снова через годы как мужа своей приятельницы.

Придя в дом Белютиных после Манежа, Марина Ковалева удрученно повторяла: «Так не может быть! Не должно…» Как не должен был бы отразиться на ее судьбе актрисы отказ от официальных ролей. Тем не менее во МХАТе она долго оставалась без ролей, пока ее вообще не перевели на канцелярскую работу. Когда на руках была семья, выбирать не приходилось.

Марина вспоминала, что музыка для «Падения Берлина» была заказана Шостаковичу. По указанию вождя. Вскоре после выхода постановления Сталин вмешивался во все. В пьесе Константина Симонова «Чужая тень» предписал сделать иную концовку. Скульптору Евгению Вучетичу в памятнике Воину-освободителю — заменить автомат на меч. Сам правил пьесу Вс. Вишневского «Незабываемый 1919-й», премьера которой состоялась в день его юбилея в Малом театре. За покладистость и драматург, и театр заслужили Сталинскую премию. Всё устроило САМОГО, пожалуй, только в «Буре» Эренбурга и «Окопах» Виктора Некрасова.

А что делалось в «Падении Берлина»! Каждый костюм, эскиз декораций сам пересматривал, каждую мелочь диктовал. Выражения «харизма» еще не существовало. Вождь сам приступил к ее реализации на практике.

* * *

Леонид Косматов — он был оператором «Падения Берлина» — между прочим роняет вопрос: «Знаете, сколько было лауреатов Сталинской премии? Около двух с половиной тысяч! И каждый был скорректирован вождем — лично! Поистине гигантский труд по созданию собственного портрета и собственного времени». — «Но и безошибочный способ воздействия на художественную интеллигенцию». — «Ну, насчет воздействия… Я бы сказал, материальный фактор был главным. Сами судите, все жили достаточно бедно, а тут возможность улучшить свои условия. Совсем не намного. Ромм говорит, САМ всегда рассчитывал, что давать придется и дальше — так, чтобы не перекормить и самому не потратиться. Каждый рубль от него лично зависел.

Где-то после первых идеологических постановлений встал

вопрос об авторских гонорарах. Александр Фадеев и Константин Симонов решили воспользоваться моментом — о своих журналах похлопотать. Все просто: раз „нечистых“ осудили — чистым может перепасть.

Они тогда САМОМУ написали письмо с просьбой о приеме. Принял. Не из-за них самих — свои задумки имел. Прежде всего „Литературную газету“ изменить. „Завлекательной“, по собственному выражению вождя — его все тогда повторяли, — сделать, чтобы внешне даже с правительственной линией вроде бы и спорила, а на самом деле исподволь нужные идеи утверждала. Так и сказал о газете, что вообще „не слишком должна бояться“.

Другая идея — при газете неофициальное телеграфное агентство организовать. Мол, ему будут больше верить: кому не лестно в наше время в оппозицию сыграть?» — «Значит, допускал такую возможность?» — «Просто знал, что после войны многое изменилось, мечи громы и молнии или не мечи. С агентством тогда не вышло почему-то. Может, избыточный либерализм все же напугал. Это позже агентство печати „Новости“ (АПН) по этим же заветам организовали. Сталинские указания наследники все до единого в жизнь провели.

Симонов в свою очередь кинулся о своем „Новом мире“ хлопотать: объем увеличить, тираж, штат сотрудников, гонорары. Раз уж „Литературке“ такое послабление вышло. До того осмелел, что в доказательство либерализма своего журнала попросил разрешения Зощенко напечатать.

САМ усмехнулся, к Жданову обратился: „Читал ли?“ Тот, конечно, не читал. Тогда на усмотрение главного. Ну, главный, естественно, притормозил: слишком риск велик!»

* * *

Завет старого университетского преподавателя, философа Ивана Мацы: не замыкайтесь на искусстве. Оно останется в наши дни непонятным без политической конъюнктуры — думает о том художник или нет. Особенно в советских условиях. Да и в западных. К собственно эстетической ценности произведений это не имеет отношения, но к тому, какое место уступают власть предержащие произведению, — самое непосредственное. Умейте уловить ИХ руку. Они всегда ведут нечестную игру относительно вечной значимости культуры.

1948-й, конечно, для нас прежде всего постановления. Но ведь именно тогда с помощью «отрядов Берии» ушли из жизни

руководители коммунистических партий.

Только Польше была уготована иная судьба. В. Гомулка, М. Спыхальский, З. Клишко просто оказались в тюрьме. Зенон Клишко в московской квартире Белютиных неожиданно станет вспоминать, какой была тюрьма в том самом городе на Волге, где родители писательницы Марьи Кунцевичевой сумели открыть консерваторию.

Югославы поняли, какая участь им грозит. Взбунтовались, с точки зрения Кремля. Впрочем, советско-югославский конфликт провоцировался и поддерживался теми же исполнителями, что и в культуре: Ждановым, Берией, начавшим завоевывать позиции в ЦК Сусловым.

А во что обошлось советской интеллигенции создание в 1948-м государства Израиль!

В ноябре был распущен Еврейский антифашистский комитет. Александр Фадеев лично ходатайствовал перед вождем о роспуске объединения еврейских писателей и закрытии всех еврейских печатных органов.

С ними в переулках Замоскворечья, между Большой Татарской и Новокузнецкой, расправлялись среди бела дня. На улицу летели мебель, нехитрый канцелярский скарб, связанное с типографским делом оборудование. Дети наблюдали издалека. Молча. Взрослые отворачивались. Ускоряли шаг. Под всеми постановлениями, которые выполнялись, стояла подпись вождя.

* * *

Обычно мы молча раскланивались. Иногда перебрасывались парой ничего не значащих слов — случайное знакомство на одной из обязательных для студентов университета общественных работ. Юрий Жданов был, само собой разумеется, в числе руководителей. Возраст значения не имел. Всемогущего отца панически боялись и в лице его похожего на родителя, как две капли воды, сына.

Что мог студент сделать для своего преподавателя, было известно на примере Александра Несмеянова: с появлением Юрия Жданова он прошел путь от кафедры органической химии Московского университета до президента Академии наук.

Неожиданная смерть отца заставила Юрия изменить своей нарочито равнодушной невозмутимости. Он даже поделился с товарищами по университету недоумением: вечером оставил отца здоровым, на следующий день все было кончено. Об инфаркте консилиум кремлевских врачей не заикался. Правда, отец

жаловался на сердце, но тогда бы его не заставляли как можно больше ходить. Как можно больше…

Концы с концами не сходились. Но какое это имело значение, когда вождь тут же пригласил сына идеолога к себе? Последовало его назначение заведующим Отделом науки на Старой площади. И срочная женитьба на Светлане Аллилуевой, для чего, по слухам, вождь настоял, чтобы дочь рассталась с предыдущим мужем.

Все это 1948 год.

Так или иначе, уход из жизни Жданова возродил надежды на карьеру у сталинских любимцев. Исполненный партийного рвения Александр Фадеев решает вдохнуть в старые постановления новую жизнь, лично показать, как следует ими оперировать. В декабре 1948-го на собрании Союза писателей ставится вопрос о… саботаже установок ЦК. На примере положения советской драматургии на советской сцене.

Фадеев рассчитал все, кроме фактора времени. В наступающем 1949-м мир ждало 70-летие вождя. Перспектива политического процесса или даже развернутой акции САМОГО не устраивала.

На следующий же день руководителю советских писателей приходится внести уточнение: не саботаж деятелей культуры, а всего лишь неправильное поведение… театральных критиков.

Подобный поворот имел свои преимущества. Среди перечисленных ослушников не было русских фамилий — дополнительная поддержка идеи национализма. Заведующий литературной частью Театра Советской Армии Александр Борщаговский, Ефим Меерович-Холодов, Абрам Гурвич, Григорий Бояджиев, Яков Варшавский… Выводы предлагалось делать самому русскому народу.

NB

Из статьи А. Борщаговского (Вечерняя Москва, 14 марта 1987 года).

«„Борьба с космополитизмом“ не обмолвка, не безумная случайность. Сталин был непревзойденным мастером переключения накапливавшегося народного недовольства на ложный след, направив его на очередных „врагов“. После войны он, вероятно, решил ужесточить полный, абсолютный контроль над народом…

„Безродный космополит“ — такое отыскали тогда определение, позаимствовав его у Геббельса, вроде современных синонимов: „масоны“, „инородцы“…

Борьбу с „космополитами“ не объяснишь только мотивами антисемитизма. Не сразу открылся масштаб покушения, но когда он стал ясен, обнаружилось, что в орбиту гонений попали тысячи людей разных национальностей и областей науки и культуры, что шарлатанами и карьеристами преследуется прежде всего свободная, независимая мысль.

Все это в ту пору вызывало отвращение у подавляющей части, если не у всей русской интеллигенции, брезгливо обходившей активных устроителей духовного погрома, литераторов, запятнавших себя участием в травле честных людей.

Начавшаяся на театральном плацдарме борьба против вымышленных „космополитов“ стремительно вливалась в общий поток наступления лжекультуры и лженауки на все здоровое, сохранившее верность истине и здравому смыслу».

Мы сидим с Анатолием Липовецким, заведующим музыкально-драматической редакцией, за режиссерским пультом огромной студии Центрального дома звукозаписи Всесоюзного радио. Идет запись радиосериала по моей пьесе об авторе романса «Соловей», композиторе А. А. Алябьеве. Обычная русская история, лишившая человека состояния, дворянства, наконец, доброй репутации и простой возможности хоть когда-нибудь увидеть свое имя на театральных и концертных афишах. Обвинение в убийстве… неубитого человека. Признание императором Николаем I и шефом жандармов безусловной невиновности композитора, недавнего лихого гусара, участника Отечественной войны 1812 года, награжденного золотой саблей за храбрость. Но императорская резолюция: «таких» лучше держать подальше от столицы, на вечном поселении в Сибири.

«Таких» — это независимых нравом, действующих по собственному разумению, руководствующихся только совестью, только чувством собственного достоинства.

В перерыве записи: «Вы загляделись на „резиденцию“?» За окном бывший дом Берии во Вспольном переулке, куда привозили каждый день на поругание вылавливаемых на московских улицах приглянувшихся московских школьниц.

«Да. И никто ничего не заплатил». — «Подручные?» — «Воображаю, сколько их было». — «Мыслите теоретически, а я такое скопище повидал в натуре. Хотя бы на последнем спектакле „Адриенны Лекуврёр“, когда закрывали наш театр».

Липовецкий — выученик Студии Камерного театра, студент

дяди Зигмунда и последний партнер великой Алисы Коонен в лучшем спектакле уничтоженного театра.

«Алиса Георгиевна все поняла, когда то проклятое собрание о постановлении 48-го прошло в нашем театре. „Толя, мы прокляты! Выходить после них на сцену! Играть на тех же подмостках!“

Таиров все еще не терял надежды. Уговаривал. Улыбался. „Искусствоведам в штатском“. Думал — пронесет.

Не пронесло. В газетах обвинили в „антинародности“. Объявили о закрытии. На прощальном спектакле в зале яблоку упасть негде. И кругом шпики: в фойе, за кулисами, у гримуборных, у сцены. Чтобы манифестации не произошло.

Алиса Георгиевна словно ничего не замечала. На выход, как на крыльях, летела. А потом — овации. Тридцать раз поднимали занавес. Тридцать! Мне приходилось быть рядом с ней, поддерживать, чтобы не упала. Она каждый раз едва сознание не теряла.

В последний раз опустилась на колени — доски целовала. Зарок дала — мы все слышали — больше ни в каком театре, никогда… Тридцать пять лет здесь играла. За кулисами остановилась: „Вот и все“. Спокойно так. Будто равнодушно: „Вот и все…“»

Липовецкому не приходит в голову, что со стороны зрителей это тоже подвиг. Всякое несогласие с постановлениями по культуре приравнивалось к политической диверсии. Примеров множество. Анна Максимовна Смирнова говорила о сталинском стипендиате Ленинградского университета. Из Душанбе, А. Наджанов — фамилию просила при случае вспомнить: больше от человека, может, ничего и не останется. Ему отвесили десять лет по 58-й статье за то, что «в 1948 году… с антисоветских позиций обсуждал постановление ЦК ВКП(б) в области музыки». И еще пытался защищать «космополита» — искусствоведа Николая Пунина, супруга Анны Ахматовой.

Бродя через много лет по дорожкам нашего абрамцевского сада, великая Алиса будет повторять: «Он слишком мучительно думал. И не находил ответа. Не надо задумываться, Элий. Просто пишите. Вот так — с полной отдачей. И внутренней дисциплиной. Какой бы мы могли с вами сделать спектакль! В Камерном. Спектакль отверженных…»

В большом доме она любила сидеть в углу нелепо громоздкого, огромного, зато обитого мягчайшим пухом дивана. Один раз зацепилась за ножку: «Инвентарный номер? Жуковка?» — «Какая Жуковка?» — «Та самая. Сталинская. После его смерти вся обстановка была распродана за бесценок. Списана». —

«Значит, и он стал не нужен». Но в этом актриса ошибалась. Ненужными в России становились только жертвы.

* * *

Валерий Косолапов относился к номенклатуре Старой площади. Сначала ответственный секретарь всемогущей «Культуры и жизни», позже главный редактор «Литературной газеты» и «Нового мира». Средний рост. Ничем не примечательное лицо. Безразличный взгляд водянистых глаз. Шелестящий голос. И — абсолютная память. На лица, события, ситуации. Главным образом на ситуации. С внутренней установкой на анализ сыгранных или отложенных партий. Именно отложенных. Это его убеждение: каждое зародившееся в недрах Старой площади решение будет осуществлено. Неважно когда. Но обязательно будет. Как рок. Как закономерность.

Театральные критики? Простейшая схема: собрание в Союзе писателей (Симонов подставил вместо себя Софронова, тем более что у него, как у драматурга, с критиками были особые счеты) — статья в «Правде» (редакционная, но им же написанная) — партсобрание писателей (личного присутствия на нем Симонов избежал: ждал неприятных вопросов?).

Развернутую информацию о собрании Шепилов передал Маленкову. Он антиеврейскую линию раскручивал: что «космополит Альтман» уговаривал будто бы покупать билеты в еврейский театр, что в словнике нового издания Большой советской энциклопедии есть все еврейские писатели вплоть до самых незначительных и нет многих русских, еврейские националисты всячески пропагандируют вообще мировую еврейскую литературу. Надеялся довести до группового дела и на нем построить свою карьеру.

Чтобы не лишиться первенства, одновременно с Маленковым поставил в известность о своих соображениях и данных министра госбезопасности Абакумова. Какие материалы? Это зависело от обстоятельств: могли привести к самым серьезным последствиям, могли оказаться в мусорной корзине.

NB

Из информации Д. Т. Шепилова:

«В частности сообщается, что антипатриотическая группа критиков пыталась организационно особо оформиться (возможно, и оформилась) на идейной платформе, глубоко враждебной нашим советским порядкам, нашей социалистической культуре. Об особых сборищах антипатриотической группы в „Арагви“

[московском ресторане с грузинской кухней. — *Н.М.*] я сообщил т. Абакумову.

Г. Бояджиев, как лидер объединения, конфиденциально предложил критикам собираться ежемесячно по первым числам в кабинете в ресторане „Арагви“ для разговора „по душам“. Смысл этих сборищ — только „маститые“, по строгому отбору, „без молодежи“, — безусловно, заключается в том, чтобы сплотить касту театральных критиков. Это должна быть своего рода фронда, противопоставляющая себя „официальной точке зрения“».

Намек Косолапова достаточно прозрачен: те же обвинения относились к творческим группам Белютина в Московском товариществе художников. «Маститые» — а как иначе назвать профессионалов, из которых многие учились в свое время даже во ВХУТЕМАСе — ВХУТЕИНе? «Без молодежи» — но ведь среди участников групп и не было студентов. «Сборища» — разве занятия рисунком, живописью, композицией не могут служить прикрытием более серьезных разговоров? Тем более Белютин постоянно говорит о западном и того хуже — современном западном искусстве. Больше ста профессиональных художников, понимающих друг друга с полуслова, не жалеющих ни времени, ни сил на встречи с Белютиным, — это слишком серьезно. Благодарите Бога, что дело обошлось одним роспуском творческих групп. В апреле 1949-го, сразу после выхода газеты «Правда» с программной статьей «Космополитизм — идеологическое оружие американской реакции». Без конкретных имен. Общая постановка проблемы. Конкретные выводы предстояло делать исполнителям на местах.

NB

Ф. Бобков «КГБ и власть».

«Как-то раз солнечным утром июля 1951 года я пришел на работу значительно позже обычного…

— Ты слышал? Абакумов арестован!

— Что случилось?

— Никто точно не знает. Ходят разные слухи… Вроде вскрылись серьезные нарушения закона в „Ленинградском деле“, в деле врачей и руководителей еврейского антифашистского комитета…

Не дослушав, я зашел к своему начальнику — узнать, насколько достоверны слухи.

— Слухи, слухи… — вздохнул тот. — Вечно мы питаемся слухами. Вечером нам зачитают решение ЦК

партии, тогда все узнаем.

Я почти не сомневался, что в этом решении скорее всего прозвучит осуждение репрессий. Что же оказалось на самом деле? В директивном документе ЦК говорилось, будто чекисты работают плохо, не замечают террористических гнезд, что они утратили бдительность, работают в „белых перчатках“ и тому подобное.

Оказывается, Абакумов, который был не только усердным исполнителем указаний ЦК, но и инициатором ужесточения репрессий, работал в „белых перчатках“.

Узнали мы и то, как родилось это решение ЦК. Старший следователь по особо важным делам Рюмин доложил Сталину, что один из арестованных врачей, Этингер, дал показания, будто группа крупнейших наших медиков сознательно физически уничтожает руководителей партии, а Абакумов якобы запретил расследовать это дело.

Можно без преувеличения сказать, что с этого дня против честных, добросовестных чекистов начался открытый террор. Чуть ли не каждый день становилось известно: арестован либо один из начальников управления, либо его заместитель, либо какой-нибудь другой начальник отдела. Руководителей разных рангов одного за другим отправляли за решетку».

О прошедшем юбилее осталась напоминанием очередь. Казалось, навсегда. Она устанавливалась с утра и вилась вокруг здания Музея изобразительных искусств весь день. Зимы теплыми не были, но какое это могло иметь значение!

Увидеть подарки любимому вождю — ради такого счастья стоило поступиться собственными удобствами. Подарков было так много, что сначала они заняли еще и Исторический музей, и Политехнический. Около четырнадцати тысяч экспонатов, не считая сотен тысяч торжественных рапортов, приветственных телеграмм, взволнованных, переполненных восторгом частных писем.

К окоченевшим на ледяном ветру обывателям с непременными детьми присоединялись художники. Для молодых — единственная возможность увидеть современную, пусть и прокоммунистическую, живопись. Ренато Гуттузо и Диего Ривейра вряд ли когда-нибудь вызывали такое жадное любопытство: значит, даже коммунистам можно, значит, мир не ограничен тупыми шорами догматизма!

Искусствоведам музея, водившим обязательные экскурсии по

экспозиции подарков, предписывалось следить за проявлениями неуместных восторгов и сразу же разъяснять их ошибочность. В принципе же посетителей следовало проводить мимо проклятых «формалистов».

Война разгоралась. Не за души — за слепое и безусловное их повиновение. На переубеждение у большевиков никогда не хватало времени и доводов.

NB

1951 год. Июнь. Писатель Борис Полевой — главный редактор журнала «Юность». «Письмо из Германии»:

«Все пристальней, все внимательней присматриваются немцы, живущие в американизированной части Германии, к тому, как живут и работают их счастливые собратья — граждане Германской Демократической Республики. Все ширится и ширится по стране, в городах и селах Тризонии благородное движение сторонников мира. Все громче, все грознее звучит там голос немецкого народа: „Ами, убирайтесь вон!“»

Июль. Выход книги о Ленине в стихотворном переводе с азербайджанского Арсения Тарковского. Из критического обзора: «Успех поэмы в значительной мере обусловлен и талантливым переводом ее на русский язык. Арсений Тарковский сумел передать разнообразие художественных средств и их национальный колорит в рвущихся из сердца строках»:

Там на трибуне Мавзолея
Наш Сталин — наш Ильич живой…

Июль. Приезд в Москву очередного политэмигранта Назыма Хикмета. Из турецкой тюрьмы. Ежедневный отчет о мыслях и поступках гостя должен был давать прикрепленный к нему литературный секретарь Александр Глезер [будущий промоутер художников-диссидентов. — *Н. М.*].

Из интервью Хикмета: «Никогда ничего подобного я не видел. Я вижу: выросло в СССР новое счастливое поколение. Мне кажется, что воля и мужество этого поколения, его большая культура и счастье, которого нигде в мире не увидишь, — это и есть самая большая победа Советского Союза и великого вождя народов

товарища Сталина!»

Август. Из статьи главного режиссера Малого театра Константина Зубова:

«Определяя значение советского театра как рассадника культуры, носителя передовой советской идеологии и морали, партия с особой силой подчеркивала огромную ответственность, возлагаемую на деятелей сценического искусства в деле большевистского воспитания молодежи… Сейчас, спустя пять лет, уже представляется возможным подвести некоторые итоги работы нашего коллектива, настойчиво стремящегося воплотить в жизнь указания ЦК ВКП(б)».

Для справки: почти все актеры театра были членами партии.

Октябрь. К 10-летию со дня смерти Аркадия Гайдара [дед Е. Т. Гайдара. — *Н. М.*].

«В одном из последних своих произведений „Тимур и его команда“ Гайдару удалось создать такой образ пионера, которому, как Павлику Морозову, захотели и стали подражать тысячи ребят… Как подлинный социалистический реалист, он взял лучшие черты характера советского пионера в развитии, и придуманный герой стал вожаком настоящих, живых ребят… Имя Аркадия Гайдара навсегда останется в советской литературе как имя зачинателя качественно новой литературы для детей, воспитывающей патриотов, коммунистов, борцов за большое человеческое счастье».

Ноябрь. Публикация рассказа Юрия Нагибина «Комбайнеры» как образца подлинно художественной советской литературы:

«В этот день агрегат Воробцова снял хлеб с двенадцати гектаров. Теперь им овладело блаженное чувство слиянности с машиной, веры в машину. Только сейчас открылось Воробцову по-настоящему, какая изумительная, богатейшая по своим возможностям машина — комбайн».

Непопулярность предпринимавшихся мер, особенно в идеологии, — Сталин превосходно отдавал себе в ней отчет. В этом Борис Подцероб был уверен.

«Вы знаете историю отставок Иосифа Виссарионовича?» —

«Отставок?» — «Значит, нет. А ведь он пользовался ими с февраля 19-го года. Шесть было до 27-го года — они вас вряд ли заинтересуют. Седьмая, для всех совершенно неожиданная, — в 52-м, на пленуме, состоявшемся после XIX съезда.

Сталин тогда выступил, сказал, что стар, устал и физически не может совмещать три должности: Председателя Совета Министров СССР, руководить заседаниями Политбюро и в качестве Генерального секретаря вести заседания Секретариата ЦК. Вот от этой последней должности и просил его избавить».

«Только от этой?» — «Только. Все члены ЦК категорически восстали. Отказались его отпустить. Потом пошли слухи, что так Иосиф Виссарионович хотел проверить своих соратников — не зарились ли на эту должность Молотов и Микоян». — «Не зарились?» — «Против голосовали единогласно».

«А через год его не стало». — «Через год. Хотя по-настоящему жалоб на состояние здоровья не было… Никаких».

* * *

Восстание в Берлине. Сразу после ЕГО смерти. Газеты молчали. Почему? Потому что слишком долго и упорно твердили: возрожденная для новой жизни страна, освобожденный от гитлеровского ига благодарный народ. Но была огромная оккупационная армия: слухи не могли не доходить. Немцы не хотели коммунизма. И на Старой площади кое-кто считал, что коммунизм им не следовало навязывать. Мнения членов Политбюро разделились. Со временем станут известны и конкретные имена.

Праведные громко объясняли: вот она, истинная сущность фашистского народа. Неправедные почти молчали. Это было понятно: пройти через горнило такой войны, чтобы вернуться к собственному прошлому, да еще представленному вчерашним врагом. Меч в руках Воина-освободителя в Трептов-парке становился страшным символом: привычный автомат можно было сбросить с плеча, тень меча — древнего мистического оружия — ложилась на всю страну.

Через несколько лет Хрущев взорвется: «Никому не позволю уходить в молчаливую оппозицию! — Это относилось к художественной интеллигенции. — Не допущу!» Но как? Отстраненность от благ и поощрений становилась бунтом тем более опасным, что он оказывался неуловимым.

Как в войну «установка на лирику», появились идеологические послабления. О них можно было догадываться,

пытаться ими воспользоваться. Или — догадываться и не принимать к сведению. Вряд ли имеет смысл отступать от действительности: последняя позиция была всеобщей.

«Установка на Чистякова», вернее — идея хоть в чем-то нарушить лакированную броню официоза не снималась с повестки дня. Первая книга о философских посылках «всеобщего учителя русских художников», по выражению Стасова, и практической их реализации в методе искусства вызвала острое столкновение с редакторами издательства Академии художеств СССР (именно они осуществляли самую жесткую политическую цензуру). Главный редактор Прасковья Аристова потребовала введения в текст нескольких цитат из Сталина. Любых. Иначе книга не выйдет! Ведущий редактор, в недавнем прошлом начальник Управления кадров Всесоюзного комитета по делам искусств Борис Вишняков усматривал куда более глубокую крамолу: «Не могу выразить словами, но убежден: вся эта теория не наша».

Чудо заключалось в том, что никакие цитаты так и не были вставлены, а мнение редактора не повлияло на выход книги. За ней последовала публикация эпистолярного наследия теоретика и педагога, обосновывавшего развитие национального искусства в направлении авангардного искусства Кандинского и Малевича. Переписка художников, их размышления позволяли понять гораздо больше, чем посвященные им труды искусствоведов.

Право думать в искусстве наглядно утверждала и единственная в своем роде выставка «Чистяков и его школа», развернутая ни много ни мало в залах Академии художеств СССР.

Формальная причина выставки — 35 лет со дня смерти художника-педагога. Предложение Академии художеств со стороны МОСХа и фактическая реализация, осуществленная четой Белютиных. Надо было не только отобрать необходимые работы, добиться согласия соответствующих музеев и частных владельцев, но и самим привезти их в Москву и нести за них ответственность. К этому прибавлялось составление экспозиции, каталога и самое трудное — размещение картин под бдительным оком академических наблюдателей.

Дело в том, что такая экспозиция возвращала в выставочный обиход целый ряд имен, давно запрещенных советскими идеологами. И прежде всего Врубеля. Тридцать врубелевских полотен после стольких лет анафемы и молчания!

Работа напоминала мышиную возню: никто впрямую не спорил, не приказывал. В течение дня экспозиция занимала свои места в анфиладе залов бывшего Музея Новой западной живописи. На следующее утро «отверженные» уже стояли в

запасниках. Заведующая Отделом выставок Е. А. Звиногродская пожимала плечами: «Так приказано».

После двухнедельной борьбы, казалось, чудом удалось настоять на своем. Вмешательство невидимых сил перетянуло чашу весов, но не смогло заставить академию вовремя напечатать каталог (он вышел через полгода после закрытия выставки), разослать приглашения, афиш и рекламы вообще не было. Но главное — обсуждение выставки академический президиум решил провести до вернисажа — собравшиеся толпы художников (Москва всегда пользовалась беспроволочным телеграфом) оказались отрезанными от экспозиции столом президиума и рядами плотно расставленных стульев: сначала критика и осуждение, потом осмотр!

Выставка продлилась больше месяца. По свидетельству дежурных в залах, никто из именитых советских академиков ее не посетил.

И все это одновременно с возвращением Белютина к руководству творческими группами. Конечно, под камуфляжем. Разговор шел не о творческих мастерских — о «повышении квалификации художников для производственных целей». Теперь все сводилось к бдительности и грамотности бесчисленных инспекторов. Белютину посчастливилось: первые же проверяющие стали его учениками. Безмолвный договор был заключен.

Со временем «проверявшие» признаются: их обязанностью было обнаружение крамолы — нарушение принципов соцреализма. Утробная ненависть к этому уничтожавшему самую суть искусства феномену побуждала поступаться даже инстинктом самосохранения. Ощущение возможности обратиться к творчеству брало верх. Отсюда обтекаемые, ничего не говорящие фразы отчетов (непременно письменных и подписанных!). Лицемерие как единственный способ выжить. Тем более деятелю искусства.

NB

Н. С. Хрущев «Воспоминания».

«Эренбург пустил в ход слово „оттепель“. Он считал, что после смерти Сталина в жизни людей наступила „оттепель“ — такую характеристику того времени я встретил не совсем положительно. Безусловно, возникли послабления. Если выражаться полицейским языком, то мы ослабили контроль, свободнее стали высказываться люди. Но в нас боролись два чувства. С одной стороны, такие послабления отражали наше новое внутреннее состояние, мы к этому стремились. С другой стороны,

среди нас имелись лица, которые вовсю не хотели „оттепели“ и упрекали: если бы Сталин был жив, он бы ничего такого не позволил. Весьма отчетливо звучали голоса против „оттепели“. Эренбург в своих произведениях очень метко умел подмечать тенденции дня, давать характеристику бегущего времени. Считаю, что пущенное им слово отражало действительность, хотя мы тогда и критиковали понятие „оттепель“.

Решаясь на приход „оттепели“ и идя на нее сознательно, руководство СССР, в том числе и я, одновременно и побаивались ее: как бы из-за нее не наступило „половодье“, которое захлестнет нас и с которым нам будет трудно справиться. Подобное развитие событий возможно во всяком политическом деле. Поэтому мы вроде бы и сдерживали „оттепель“, мы боялись лишиться привычных возможностей управления страной, сдерживая рост настроений, неугодных с точки зрения руководства. Не то пошел бы такой вал, который бы все снес на своем пути. Опасались, что руководство не сумеет справиться со своими функциями и направлять процесс изменений по такому руслу, чтобы оно оставалось советским. Нам хотелось высвободить творческие силы людей, но так, чтобы новые творения способствовали укреплению социализма. Вроде того, что говорят в народе: и хочется, и колется, и мама не велит. Так оно и было».

Это не было прямым возрождением культа, и все же. Слухи… Непонятным образом возникающие и распространяющиеся. Обычно они несли отрицательную для Старой площади оценку, теперь неожиданно — оттенок приторной задушевности. Позже станет понятно: через «органы» распространялась идея социализма с человеческим лицом.

А жестокость только что ушедшего из жизни вождя? Но знаете ли вы, какой у него был дивный тембр голоса? Певческого. И как он любил в детстве петь в церковном хоре? Всем детским шалостям предпочитал церковные спевки.

Думаете о его примитивном словарном запасе и прямолинейности мышления? Но ведь вы судите по его трудам и особенно выступлениям, а они без правки не издаются. В действительности же он очень много читал, даже будучи еще учеником духовного училища. Всех грузинских классиков! Всю русскую литературу! Но его настоящая страсть — Пушкин! Он же был свидетелем празднования столетия со дня рождения поэта.

Какую речь произнес по этому поводу руководитель семинарии! (Правда, ОН был к этому времени из семинарии отчислен.) Но, возможно, именно воспоминания о том давнем событии определили такое пышное празднование столетия со дня смерти поэта в 1937 году.

Ах, ОН вообще уничтожал поэтов? Но, может, потому что предъявлял к ним исключительно высокие требования — как-никак его собственные стихи хвалил и публиковал в своей либеральной газете «Иверия» сам Илья Чавчавадзе. Что там! Эти стихи вошли еще до Октября во все школьные грузинские хрестоматии:

Рядом с фиалкой-сестрой
Алая роза раскрылась.
Лилия тоже проснулась
И ветерку поклонилась.
В небе высоко звенели
Жаворонка переливы,
И соловей на опушке
Пел вдохновенно, счастливо:
«Грузия милая, здравствуй!
Вечной цвети нам отрадой!
Друг мой, учись и Отчизну
Знаньем укрась и обрадуй».

Между прочим, Михаил Андреевич Суслов хотел опубликовать их в издательстве «Детская литература». Обратился к вождю с письмом. Тот отказал. В резолюции написано, что стихи того не заслуживают: слабы. Это ли не доказательство компетентности и подлинной скромности!

Правда, поклонника своих стихов запомнил и облегчил ему карьеру на Старой площади. «Ничто на земле не проходит бесследно», — утверждала одна из советских песен. Да и обратился Суслов к САМОМУ на редкость вовремя: не до, но после его юбилея. Так оно выглядело объективнее.

И еще насчет сына башмачника. После Великой Отечественной старая легенда о происхождении стала отставать от амбиций генералиссимуса. Пошли слухи насчет работы матери Чопура на княжеском дворе. Экономкой. Отсюда и вечные нелады с башмачником, который не мог питать нежных чувств к ее сыну.

Человеческие чувства? А разве не любил вождь свою первую, рано умершую жену? Разве не дружил с ее братом Алексеем Сванидзе и невесткой? Даже в Большом театре показывался именно с ними. А о том, что оба были в конечном счете

расстреляны, можно не упоминать.

Едва ли не первый массовый опыт распространения нужных слухов — вариант задуманного при «Литературной газете» неправительственного телеграфного агентства — сработал безукоризненно, и причастной к нему оказалась, между прочим, православная церковь. Во всяком случае, скромный храм Николы в Кузнецах, в Замоскворечье. Кому же было верить, как не безотказному другу семинарских лет вождя отцу Александру? Одни понимали, как опасно оказаться среди его паствы, большинство же благоговейно слушало пастырские откровения.

По каждому поводу правда раскрывалась неожиданно и ошеломляюще. В разрушенной войной Ялте мы живем в семье бывшего питерского рабочего-путиловца Андрея Ивановича Петрова и его жены Анны Александровны. Супруги жили когда-то в Питере. Имели двоих детей. Сыновей унес сыпняк. Жена заболела туберкулезом. Переехали в Крым. Токарю высочайшей квалификации ничего не стоило найти работу.

От дореволюционных лет остался семейный альбом. На снимках женщины в подбитых мехом шубах, модных платьях, со старательно уложенными прическами. Огромная льняная промереженная скатерть — «для гостей». Несколько штук столового серебра. Любимые книги. Супруги ходили в воскресные школы. Он занимался в марксистских кружках.

Во Вторую мировую уезжать из Ялты было некуда. По счастью, пришли итальянские части. Славные ребята. Вечерами пели песни, помогали работать в садах, на огородах, ухаживали за девушками, женились. Самым законным образом. Сколько было сыграно таких свадеб!

Когда уходили, обещали после войны приехать, забрать жен к себе. Только после войны их молодых жен тут же сослали в лагеря. Кого оставили, так на поругание. Вон ездит в автобусе кондукторша Вера. Врачом бы могла работать. Где там! И так шпыняют на каждом шагу.

А ведь мужья-то приехали. На пароходе. Весь город сбежался в порт. С женами, которые уцелели, увиделись. Слезы. Отчаяние. Смотреть — сердце разрывалось. На родину вернулись опять одни. Просили ждать.

И, знаете, кое-кто дождался. Мужья через Красный Крест и свое посольство добились. Уезжали на теплоходе. Чуть не весь город провожал. На мол побежали. Махали, пока теплоход виден был.

«А то, что враги, что с ними воевали?» — Анна Александровна кладет жилистые худые руки на стол. Сплетает бесформенные пальцы. «Враги? А разве солдаты на войне

виноваты? Своей волей идут? Их никто не судил, да и не принесли они тут никому горя. А вот свои… Сколько нас таскали: почему остались, что при немцах делали, имеем ли вообще право здесь после того, как под оккупацией были, оставаться? Татары, оказывается, не имели. На собственной земле. С нами обошлось. Пока…»

* * *

Софья Стефановна уходила из жизни. Об этом знали все и верили, что не догадывается она одна. По утрам по-прежнему старалась взбить волосы наподобие давно исчезнувшего шиньона. Застегивала на все мельчайшие пуговки очередную бархатную кофточку с отделанным кружевом крахмальным воротничком. Широко раздвигала синие (еще ливенские, из Богдановки!) холщовые занавески на сумрачном окне. Открывала скрывавшийся под потолком отдушник, в котором навсегда поселилось семейство шумно воркующих голубей — «для свежего воздуха». Но отказывалась от утреннего чая и опускалась на оттоманку — сомнительное подобие той, что стояла в ее варшавском кабинете. И это на весь день. Мучительный и бесконечный.

Ошибка в диагнозе знаменитого офтальмолога профессора Филатова обошлась ей в несколько лет жизни. Но Софья Стефановна, казалось, не жалела. Со смертью вождя и учителя «советское существование», по ее выражению, потеряло для нее всякий смысл: главное — дождалась ЕГО конца! Сопротивление надвигавшемуся стало ненужным. А сопротивляться она умела. Как никто. На книжной полке, во втором ряду, стояли рядом с Ницше, Шопенгауэром и Фрейдом томики теории йоги, в которой Софья Стефановна достигла какой-то высокой степени. Последнее было глубочайшей тайной: за любое соприкосновение с восточной теорией грозила высылка на вечное поселение в самые отдаленные и безнадежные места. Без права переписки. Человек обязан был оставаться безоружным и бессильным перед лицом единственной и теперь уже навеки вечные утвержденной социально-государственной системы.

В Москве впервые проходили гастроли «Комеди Франсез». Телевидение передавало все спектакли. Поставленный у оттоманки телевизор позволял все видеть. Но Софья Стефановна закрывала глаза. И только иногда про себя начинала повторять строки Расина, очень логичные в своем построении, очень выспренние, отрешенные от жизни. «До Сорбонны можно доехать

на метро: станция Одеон. Вряд ли что-нибудь изменилось». — «А где ты жила в Париже?» — «В разных местах. Перед заключительными экзаменами на углу улицы Медичи и площади Эдмона Ростана. Напротив Люксембургского сада». — «Это красиво?» — «Мне хотелось ближе к Сене. Где-нибудь у моста Сюлли…»

Иногда Софья Стефановна откликается на разговоры домашних. «Юровский? Какой Юровский? Убийца государя императора?» — «Нет, его сын. Он всех приглашает на свою вторую свадьбу. Оставил первую жену с крошечным ребенком и женится на сотруднице своей же редакции „Огонька“ Галине Шерговой. Журналистке. Усиленно звал меня». — «Тебя? Юровский? И к нему кто-нибудь пойдет?» — «Думаю, все. Он в большой чести. Из-за своего происхождения». — «Государство убийц — династии палачей. Ну, и ты?» — «Естественно, не пойду». — «Династии палачей. Как странно, Антон Иванович был лишен философского мышления, но Октябрь воспринял даже с самого начала именно так». — «Какой Антон Иванович?» — «Деникин». — «Вы говорили с ним на эту тему?» — «Как же иначе. Он на год моложе меня. Родился в Ловиче. Семьдесят верст от Варшавы. Там замок середины XIV века. Сколько раз собирались сеймы и диацезиальные соборы. В католическом храме гробницы десяти, если не больше, примасов. Деникин в Ловиче реальное училище кончил. Потом с Иваном Гавриловичем в Академии Генерального штаба в год нашей свадьбы встретился. Дед содействовал его назначению в Варшавский округ, на тринадцать лет старше него был. И по службе тоже.

После Февраля Антон Иванович стал помощником начальника штаба при Верховном Главнокомандующем, дед — дежурным генералом. После похорон Ивана Гавриловича мы к нему в Воронеж уехали. Он предлагал переправить немедленно на Запад. Уговаривал. Доказывал. Я не могла Ивана Гавриловича оставить. В первый же год. Не могла…» — «Может быть, иллюзии? Надежда: все образуется?» — «После убийства царских детей? Девочек? Больного наследника? Врача? Слуг? Ничего не казалось. Но бросить могилу…»

Боль нарастает изо дня в день. Утром занавески раздвигают уже другие руки. Никто не вспоминает об отдушнике с его голубиным хозяйством. На оттоманке лежит постель. Молчит ставший ненужным телевизор.

«Какое сегодня число?» — «17 мая». — «Еще пять дней, и мы уезжали в Малаховку. Сосны шумели…» — «Сосен нет. И вообще ничего нет. Даже забора. Все спилили на дрова». — «Кто?»

Как сказать, что любимая сестра бабушки? Софья Стефановна

не знала, от чего погиб четырьмя годами раньше ее любимый племянник Василий Владимирович Тезавровский. Имел возможность (приглашение-приказ!) уехать в Польшу в составе авиачастей при условии «сотрудничества». Наотрез отказался. Через несколько дней погиб. На аэродроме. Поднимая машину в воздух. Обыкновенную серийную машину. Опытнейший летчик-испытатель. Похоронить рядом с матерью на Ваганьковском кладбище не разрешили — просто не выдали тело. Опустили в землю закрытого, при КБ Туполева, кладбища.

Не знала? Или все-таки знала? И потому майским утром прозвучали эти слова: «Больше не хочу!» Не «не могу» — «не хочу». 18 мая 1954-го.

* * *

Утро встает из-за перекрывшей море скалы. Из-за развалин древней генуэзской крепости: несколько башен, ворота, рассыпавшиеся до земли стены и первые, выстреливающие высоко в небо серебристые лучи. Над побуревшей от жары травой и россыпью звонких камней.

От былого поселка осталось пять полуотстроенных домов. Одинокие прозрачные миндальные деревья. Пни вековых кипарисов — они были спилены по всему крымскому побережью. Вождь не терпел этого дерева! Пещеры заброшенных винных погребов. Изъезженная до российских рытвин улица-дорога. Бывшая Немецкая колония. Теперь село Уютное.

Мы выходим из своих домов-хаток одновременно с профессором Александром Габричевским. Профессор верен себе: трость, трубка, полотняная шляпа. И спаниель. Каждый год он привозит его из Москвы. Остальные детали костюма значения не имеют.

Чаще всего наш путь лежит к крепости. Белютин пишет с какими-то непонятными ультрамариновыми тенями, пристроившись на крутом склоне. Между пасущихся любопытных коров. Мы устраиваемся на краю лицом к морю. Бесконечному. Пустынному. С редкими — на далеком горизонте — пятнышками торжественно плывущих пароходов: к Ялте, Севастополю или на Кавказ. Где-то совсем рядом жилище удивительного польского романтика XX века Александра Грина, творившего в реально-фантастических условиях советских двадцатых годов. Недаром кончил жизнь в глубокой нищете в городке Старый Крым. «Литературная энциклопедия» сообщала: сын поляка, но мать русская. Последнее его в какой-то мере оправдывало.

У Габричевского иные относительно его национальности смягчающие обстоятельства. Отец — выдающийся бактериолог и к тому же основатель первого в России бактериологического института при Московском университете. И что говорить, если первый в России он организовал изучение малярии и производство противодифтерийной сыворотки.

Сын занялся искусствоведением и, подобно отцу, пожелал иметь в этой области собственное мнение. Это дозволялось в 1920-х, позже стало невозможным. Тем более в стенах того университета, где приоритетным было воспитание «искусствоведов в штатском». Не помогла и унаследованная от отца квартира в здании того же университета. Стало почти бессмысленным заниматься научной работой, публиковаться, почти не на что жить. И каким же каждодневным героизмом стало сохранение видимости былого уклада жизни. Любой ценой. Ради собственной гордости.

«Мне кажется, наша среда становится объектом проникновения политических сыщиков, а наши разночтения по поводу анализа Парфенона некой взрывообразующей субстанцией. Не могу избавиться от ощущения, что за меня все знают наперед — о чем думать, как думать или того лучше — как вообще не думать». При виде подбегающих мальчишек-пастухов Габричевский переходит с польского на русский: вряд ли целесообразно возбуждать нездоровое любопытство.

NB

Аркадий Ваксберг в статье «Правда о платном агенте» (Литературная газета, 21 ноября 1990 года) приводит воспоминания Д. В. Сеземана.

«Нужно ли рассказывать советскому читателю о том, что такое тридцать седьмой год? Ответ очевиден. Но есть, пожалуй, смысл рассказать о другом: каким он виделся тогда эмиграции, как она на него „смотрела“… Если говорить о той эмиграции, которую я немного знал, то прекрасно смотрела. Советская власть, породившая и выпестовавшая „возвращенство“, поставила жесткие условия перед раскаявшимися грешниками-эмигрантами: хотите вернуться на родину — заслужите прощение, докажите делом, что вы осознали свою вину и готовы на все, чтобы ее искупить.

Как раз в то время НКВД проявляет себя в Париже прямо-таки стахановскими темпами: похищение белого генерала Миллера, убийство Рудольфа Клемента, бывшего секретаря Троцкого, убийство советского

коммерческого атташе Дмитрия Навашина, порвавшего с Москвой, охота за сыном Троцкого, Львом Седовым, а затем и „медицинское“ убийство его, ликвидация советского разведчика-перебежчика Рейсса-Порецкого, подготовка к убийству самого Троцкого, отправка в Испанию добровольцев из эмигрантов и особенно „обезвреживание“ всех тех — в испанских рядах республиканцев, — кто не желал быть простым исполнителем заданий советских „органов“.

Едва ли хоть одна из этих успешно проведенных операций обошлась без деятельного участия эмигрантов. Для таких людей, как мой отчим Николай Андреевич Клепинин или друг нашей семьи Сережа Эфрон, который вошел в историю в качестве мужа Марины Цветаевой, это время стало звездным часом: испанская война, „мокрые дела“ под видом „секретных операций“ — все это было для них чем-то вроде „Второго октября“, как бы компенсацией за то, что первый-то Октябрь они проглядели и, хуже того, против него воевали.

Именно в то время проведена была операция по ликвидации — это звучит лучше, чем убийство, — советского агента, перебежчика Игнатия Рейсса-Порецкого. Большевик со стажем, он написал письмо Сталину, обвиняя его в измене революционным принципам и узурпировании власти. Бегство и письмо были одинаково непростительными поступками, и компетентным органам было приказано с Рейссом покончить. Собственно, операция была проведена близ Лозанны, в Швейцарии. Есть основания предполагать, с большой степенью достоверности, что осуществила ее группа агентов, среди которых главную роль исполнял Сергей Яковлевич Эфрон.

Тут, пожалуй, самое время ответить на вопрос, который неизменно задают историки и литературоведы (советские и зарубежные), изучающие биографию Марины Цветаевой, а заодно Сережи Эфрона и клепининского семейства: получали ли все они в эмиграции за верную и беззаветную службу какие-либо субсидии от советских органов разведки?.. Конечно, получали. Получали деньги от советских спецслужб и чрезвычайно этим гордились: ведь этим как бы подтверждалось, что советская родина простила своих заблудших и раскаявшихся сыновей, поручала им деликатные и даже опасные задания и — мало того! —

еще и платила им за честный труд.

Поставим заодно и еще один „цветаеведческий“ вопрос и постараемся на него ответить. Те же специалисты спрашивают: неужели Марина Ивановна могла знать, что ее муж, Сергей Яковлевич, советский агент… Ну что она могла предполагать о деятельности Сережи, который нигде официально не служил, изредка помещал статейки в журналах, сроду не плативших никаких гонораров, но каждый месяц приносил домой несколько тысяч франков жалованья? Вернувшись в Россию, вернее, едва унеся ноги из Франции, где его разыскивала полиция после убийства Рейсса-Порецкого, все жили на бесплатной болшевской даче, и опять же Сережа, практически не выходя из дома, получал регулярное жалованье — до того самого дня, когда его арестовали, чтобы вскоре расстрелять. Не знала… Зачем нам нужна еще и эта ложь? Что может это „знала — не знала“ отнять или прибавить ее творчеству?

Болшевская дача, на которой нас разместили, ранее принадлежала покончившему самоубийством Томскому. Места на ней хватало на два семейства: нашего и Эфронов, то есть Сергея Яковлевича и Али. Марина Ивановна и Мур, ее сын и мой товарищ, еще оставались в Париже, их приезд на социалистическую родину состоялся в 1939 году. Мы же, Клепинины, были все вместе: моя мать, отчим и я.

Пока что, в 1938 году, жизнь на болшевской даче протекала странно, хоть и спокойно. Странно, потому что ее обитатели жили безбедно, несмотря на то, что из всех нас только Аля работала в редакции московского журнала „Ревю де Моску“ на французском языке. Сам же Сережа предавался сибаритству, совершенно несвойственному тогдашней советской жизни. Он читал книги, журналы, привозимые Алей из Москвы, объяснял мне систему Станиславского, иногда жаловался на здоровье — не уточняя, что именно у него болело, и ждал гостей. Гости у нас не так чтобы толпились, однако бывали. Приезжала Сережина сестра, Елизавета Яковлевна Эфрон, грузная, тяжело дышавшая женщина, с невероятно красивыми, отливавшими золотом глазами. Она была режиссером у знаменитого чтеца Дмитрия Николаевича Журавлева, который часто ее сопровождал и пробовал на нас свои новые работы.

В такие дни, вернее, вечера болшевский дом как бы

отключался от внешнего мира, в котором царили страх, доносительство и смерть, и вокруг камина возникала на несколько часов прежняя прекрасная жизнь. Потом пришли славные чекисты и увели Алю, увели Сережу, увели Николая Андреевича, увели маму…»

«Едва ли не во все эмигрантские объединения и союзы советской разведке удалось внедрить свою агентуру, — пишет Ваксберг. — Здесь вербовались кадры чекистских осведомителей и участников различных операций. И Эфрон, и Клепинины были тоже втянуты в эти сети».

Автор публикуемых воспоминаний Дмитрий Васильевич Сеземан родился в феврале 1922 года в Гельсингфорсе (Хельсинки), откуда его мать Нина Николаевна, ученица Петрова-Водкина, истинный русский интеллигент из старого дворянского рода, бежала по льду Финского залива под свист красногвардейских пуль.

Одиссея Дмитрия Сеземана между тем продолжалась. Ему довелось, как пишет он сам, и «пухнуть от голода в Ивдельлаге», и слушать лекции профессора С. И. Радцига в легендарном ИФЛИ, и воевать на фронте, и служить редактором в разных московских изданиях, пока он опять не обосновался в 1976-м на парижской окраине…

Куда драматичнее сложилась судьба А. С. Эфрон. Отбыв срок заключения в августе 1947 года и поселившись в Рязани, она снова была там арестована 22 февраля 1949 года и обвинена вторично в том же самом, за что ее уже осудили и наказали… Особое совещание вновь приговорило «французскую шпионку» — на этот раз к пожизненному поселению в отдаленных областях Советского Союза. Местом поселения был выбран прославленный Туруханск. Тем прославленный, что некогда там отбывал ссылку товарищ Сталин.

«Сразу после смерти этого товарища Ариадна Сергеевна стала бороться за свое освобождение и за реабилитацию отца, — рассказывает Сеземан. — Проверка в Москве растянулась на два года. В очередном заявлении на имя Генерального прокурора СССР от 20 ноября 1954 года А. С. Эфрон писала: „…мой отец, Эфрон Сергей Яковлевич, был долгие годы работником советской разведки за границей, в частности во Франции“. Это к вопросу о том, кто чего знал или не

знал…

В ее новом обращении к военной прокуратуре говорится: „Я разыскала здесь, в Москве, нашу старую знакомую… Елизавету Алексеевну Хенкину, адрес ее: Котельническая набережная, высотный дом, корпус „В“, кв. 78… В свое время она принимала участие в нашей работе за границей… так же как и сын ее Кирилл Викторович… Е. А. Хенкина знала Шпигельгляса, хорошо помнит, кем и как проводилось задание, данное Шпигельглясом группе, руководимой моим отцом, как и по чьей вине произошел провал этого дела.

…Второй человек, знавший моего отца приблизительно с 1924 года, а может быть, и ранее, — это Вера Александровна Трайл, также принимавшая большое и активное участие в нашей заграничной работе… Сейчас она находится в Англии…“

Дочь министра Временного правительства А. И. Гучкова, В. А. Трайл вышла замуж за видного музыкального и общественного деятеля Н. И. Сувчинского, который вместе с князем Святополк-Мирским руководил „евразийским“ движением. Благодаря своему второму мужу, шотландскому лингвисту Роберту Трайлу, погибшему в Испании, она получила британское подданство, которое спасло ей жизнь, когда она оказалась в фашистском концлагере. Но до этого Вера Трайл успела съездить в Москву (в 1937 году!) и благополучно оттуда уехать. В одном из недавно найденных ее писем есть такие строки: „В свое время Ежов обожал меня. У него было мелкое, но изящное личико, как у иконы или статуэтки, с доброй улыбкой, с честным и открытым взглядом, темными глазами… И он спас мне жизнь“.

Заявление А. С. Эфрон… замыкает и этот круг. Если верно (а это, видимо, верно), что в группу, руководимую ее отцом, входила и любимица Ежова, то можно себе представить, сколь масштабными и всеохватными были их дела. В. А. Трайл скончалась в Англии всего пять лет назад. За ее гробом шли три или четыре человека, в том числе дочь Светланы Аллилуевой — внучка Сталина».

1956-й. Всего два года прошло после берлинского восстания! И вот дело «Клуба Пётефи». Венгрия…

Конечно, кто-то пытался припомнить жестокость мадьяр во время Второй мировой и то обстоятельство, что были они на

стороне врага. Но объяснения давались теперь куда труднее. Одиннадцать лет после окончания войны. Безоблачная дружба властей. «Культурный обмен». Уверения в любви (откуда только взялась?), дружбе (почему она обязательна в советском регламенте?), во всяческого рода взаимопомощи (это выглядело более убедительно). И бунт интеллигенции. Прежде всего интеллигенции.

Спустя несколько лет, сразу после манежно-хрущевских событий, помощник министра культуры Екатерины Фурцевой скажет у нас дома Белютину: «Дело не в ваших живописных экспериментах — мы не допустим „Клуба Пётефи“. На него можете не рассчитывать!»

Все совпадает по времени. XX съезд. Подавление венгерского восстания. На помощь советскому послу Юрию Андропову приедет Суслов: чтобы не дать проявиться милосердию, сочувствию, простому здравому смыслу. Впрочем, подобные опасения в отношении этого посла были совершенно беспочвенными. Два деятеля идеологической нивы приходят к мысли о создании сети провокаторов — среди настоящих «бунтарей» — и системы, дублирующей культурную жизнь силами тех же сотрудников. «Дело Пётефи» горьким эхом отзовется в последующие советские годы.

Отсюда предельная осторожность в использовании материалов XX съезда. Никто не публиковал такого якобы ошеломляющего своей откровенностью хрущевского доклада. Никто не видел его текста. Разговоры. Слухи. Самое большее — чтение выдержек при закрытых дверях, в специально выделенных аудиториях.

Расчет был исключительно точным. Кто-то мог верить, домысливать, упиваться воздухом будущей свободы. Другие — все отрицать, ни во что не верить, резонно ссылаясь на отсутствие официальных источников. Старой площади вполне достаточно было наступившей сумятицы в умах. Кстати, она же позволяла обнаружить слишком торопливых. Свободный полет мысли, которого так откровенно опасался Хрущев, Старой площади в действительности был не нужен. Ситуация оставалась под контролем. И она спровоцировала бунт среди правоверных — ошеломившее всех самоубийство хозяина советской литературы Александра Фадеева.

Ни для кого не было секретом, что он давал согласие на аресты писателей (если сам их не провоцировал). Никогда против них не возражал, никого не отстаивал, зато вдохновенно и безотказно разоблачал. Теперь на повестке дня была массовая реабилитация политзаключенных.

NB

1956 год. 13 мая. А. А. Фадеев — в ЦК КПСС.

«Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы — в числе, которое не снилось даже царским сатрапам, физически истреблены или погибли благодаря преступному попустительству власть имущих; лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте; все остальное, мало-мальски способное создавать истинные ценности, умерло, не достигнув 40–50 лет.

Литература — эта святая святых — отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа, из самых „высоких“ трибун — таких, как Московская конференция или XX съезд, — раздался новый лозунг „Ату ее!“. Тот путь, которым пытаются „исправить положение“, вызывает возмущение: собрана группа невежд, за исключением немногих честных людей, находящихся в состоянии такой же затравленности и потому не могущих сказать правду, — и выводы глубоко антиленинские, ибо исходят из бюрократических привычек, сопровождаются угрозой, все той же „дубинкой“.

С каким чувством свободы и открытости мира входило мое поколение в литературу при Ленине, какие силы необъятные были в душе и какие прекрасные произведения мы создавали и еще могли бы создать!

Нас после смерти Ленина низвели до положения мальчишек, уничтожали, идеологически пугали и называли все это — „партийностью“. И теперь, когда все можно было бы исправить, сказалась примитивно-невежественность — при возмутительной доле самоуверенности — тех, кто должен был бы все это исправить. Литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных. Единицы тех, кто сохранил в душе священный огонь, находятся в положении париев и — по возрасту своему — скоро умрут. И нет уже никакого стимула в душе, чтобы творить…

Созданный для большого творчества во имя коммунизма, с шестнадцати лет связанный с партией, с рабочими и крестьянами, наделенный богом талантом незаурядным, я был полон самых высоких мыслей и

чувств, какие только может породить жизнь народа, соединенная с прекрасными идеями коммунизма.

Но меня превратили в лошадь ломового извоза, всю жизнь я плелся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел. И даже сейчас, когда подводишь итог жизни своей, невыносимо вспоминать все то количество окриков, внушений, поучений и просто идеологических пороков, которые обрушились на меня, — кем наш чудесный народ вправе был бы гордиться в силу и подлинности, и скромности внутренне глубоко коммунистического таланта моего. Литература — это высший плод нового строя — унижена, затравлена, загублена. Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, привело к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать еще худшего, чем от сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, а эти — невежды.

Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни.

Последняя надежда была сказать хоть это людям, которые правят государством, но в течение уже 3-х лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять…»

Н. С. Хрущев «Воспоминания».

«Или возьмите писателя Фадеева. Талантливый человек. Его произведение „Разгром“ о дальневосточных партизанах производит потрясающее впечатление. „Молодая гвардия“ — тоже отличный роман. Но талантливых или даже гениальных писателей у нас все же хватало. Отчего же Сталин в послевоенное время особенно благоволил именно Фадееву? А потому, что во время репрессий, возглавляя Союз писателей СССР, Фадеев поддерживал линию на репрессии… И летели головы ни в чем не повинных литераторов.

Трагедия Фадеева как человека объясняет его самоубийство. Оставаясь человеком умным и тонкой души, он после того, как разоблачили Сталина и показали, что тысячные жертвы вовсе не были преступниками, не смог себе простить своего

отступничества от правды. Ведь гибла наряду с другими и творческая интеллигенция. А Фадеев лжесвидетельствовал, что такой-то и такой-то из ее рядов выступал против родины. Готов думать, что он поступал искренне, веруя в необходимость того, что делалось. Но все же представал перед творческой интеллигенцией в роли сталинского прокурора. А когда увидел, что круг замкнулся, оборвал свою жизнь. Конечно, надо принять во внимание и то, что Фадеев к той поре спился и потому утратил многие черты своей прежней личности».

Возвращение из лагерей. Реабилитация. О них со временем станут говорить вообще. Что состоялись. Что были массовыми. Что люди вступали в нормальную жизнь…

Но почему-то никто не обратится к статистике: сколько из вернувшихся действительно восстановились в былых возможностях, были поддержаны государством, а сколько так и остались ущемленными «в родех и в родех» — в последующих поколениях детей и даже внуков. Просто в такой статистике не было нужды: она бы заставила совсем по-иному осмыслить то, что происходило.

Бывший руководитель кафедры в ИФЛИ, поэт и литературовед Яков Зунделович не смог преодолеть всех положенных инстанций для возвращения в Москву и кончил свои дни в Средней Азии. Без жены, инженера-слаботочника красавицы Бэлы, сгоревшей от неизлечимой болезни в ста километрах от Москвы, как говорили, в Богом проклятом Александрове: приближаться к столице на меньшее расстояние политзаключенным не разрешалось. Дочь задержалась на Урале.

Не распахнулись двери издательств перед десятками литераторов, в том числе перед Платоном Набоковым. И не из-за недостатка таланта. Нет. Сортировка допускаемых и недопускаемых, высветляемых прожекторами средств массовой информации велась по совсем иным критериям. Отделы кадров за обшитыми железными листами дверями и партийные органы санкционировали или не санкционировали допуск к известности, особенно в области культуры. Большинство «лагерных» поэтов, как их станут называть, смогли печататься в специальных сборниках, которые появились только в 1990-х. Они были обречены на жизнь на обочине. Тем более речь шла о «формалистических» разногласиях.

И притом Хрущев не менее активно, чем покойный вождь, вмешивался в вопросы эстетического характера. Жесткость

идеологической линии партии возводилась в степень личных вкусов, в степень «понимаю — не понимаю», «МНЕ нравится — МНЕ не нравится».

В 1957-м будет «тихо отменено» постановление 1948 года о музыке. Только стоит вспомнить, что произошло это в канун Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которому впервые предстояло проходить в Москве. И ни с кем-то из реабилитированных, а с Тихоном Хренниковым появился в царской ложе Большого театра Никита Хрущев, чтобы всей силой партийного аппарата поддержать новое произведение комиссара от музыки. Премьеру оперы «Мать» по повести Максима Горького!

Художественные критерии здесь были неуместны, зато протокол высокого посещения полностью, до мелочей, повторял протокол посещения Большого театра Сталиным. Хренников также имел возможность обмениваться мнением об оперном искусстве с руководителем партии и правительства и каждый раз в присутствии Микояна.

* * *

Не успевшая просохнуть краска на фасадах домов. В центре. Вычищенные до глянца улицы, по которым будут ездить гости. Море цветов. Там, где им предстоит встречаться с «московской общественностью», садовники заканчивали работу уже ночью. Пустые тротуары. И наполненные продовольствием магазины. Весь «подозрительный элемент» был срочно вывезен на 101-й километр. За остававшимися неблагонадежными наблюдали милиция и внутренние войска. В форме и без формы.

Всемирный фестиваль был действительно неслыханным по сложности испытанием для советской столицы.

Для изоляции гостей было предусмотрено все. Отдельные гостиницы с особой прислугой. Вихрем проносившиеся от места до места автобусы: гости могли лишь помахать москвичам в окошко. Даже возможность продать носильные вещи, если кому-то понадобятся лишние рубли на сувениры — матрешек и балалайки. Их реализация происходила в специальном магазине на Преображенском рынке, куда устремилась «прибарахлиться» часть москвичей. Носильное платье совсем не от Диора, зато яркое, броское и по грошовой цене.

Свидетельством либерализма стал и павильон с выставкой живописи. Гостей. И тех, кого впервые отберут органы по своим, старательно скрываемым критериям. Когда новый президент Академии художеств живописец Борис Иогансон обратится со

своими недоумениями к министру культуры Е. А. Фурцевой, ответ будет почти злым: «Не ваша компетенция». — «Союза художников?» — «Нет, как, впрочем, и не Министерства культуры». Фурцева явно досадовала, но и не договаривала.

Не отличавшийся уравновешенным характером Борис Иогансон изливал свое негодование за моим рабочим столом, когда по его просьбе помогала ему писать историческую часть доклада для торжественного заседания, которое должно было состояться в Большом театре по случаю 200-летия Академии художеств. Российской. Императорской.

Иогансона участие молодых советских художников тем более касалось, что среди них фигурировал ученик его ленинградской академической мастерской Илья Глазунов. В свое время он был зачислен в мастерскую профессора вопреки возражениям Иогансона — «по анкетным данным», как определил очередной кадровик. Его профессиональные возможности настолько не устраивали педагога, что Иогансон не допустил необычного студента до дипломной работы. Слишком плохое знание рисунка и анатомии, слабая живопись.

«Пишите, как хотите, — твердил Иогансон, ученик Константина Коровина, — но сначала пройдите нормальную школу». Школа в данном случае отсутствовала. Формальный же распорядок, обязательный для каждого учащегося, игнорировался администрацией. Так и не получив диплома, Глазунов был переведен в Москву, получил — вещь невероятная! — прописку, великолепную квартиру, мастерскую и работу в Управлении по обслуживанию дипкорпуса — место преподавателя рисунка и живописи для жен дипломатов. Это назначение ответило на все недоуменные вопросы.

На фестивале в советском разделе экспозиции ленинградец вошел в плеяду тех, кого органы определяли как «авангардистов» и «диссидентов»: Яковлев, Краснопевков. Никто не знал, что так заявила о себе специальная сусловская программа под кодовым названием «Эхо» — создание управляемого сколка с тех реальных тенденций и перемен, которые зрели внутри советского искусства. В следующем году в том же павильоне, но уже в отсутствие иноземных гостей, состоится первая открытая выставка учеников Белютина из творческих групп, и тем самым заявит о себе самобытное и независимое от идеологических казарменных параметров направление «Новая реальность», представленное профессиональными художниками.

* * *

Европа становилась ближе или дальше? Дальше, потому что преграды, стоявшие на пути малейшего движения в ее сторону, обозначались все более явственно.

Живопись, увиденная молодежью на фестивале, независимо от одаренности или полной бесталанности ее авторов, была современной и не могла не будоражить воображения, не толкать на собственные поиски. Хотя советские искусствоведы стеной встали на защиту соцреализма. Разоблачение разлагающегося Запада стало самой доходной темой публикаций (сколько же их авторов сегодня перешло в разряд тонких знатоков и пророков так называемого подпольного искусства и «авангарда», обрело вес и непререкаемый авторитет в глазах зарубежных, особенно немецких специалистов по советской живописи!). А разразившаяся травля Бориса Пастернака только подтверждала: никаких перемен партия не допустит. Хрущевское половодье не разольется.

…Говорили, что именно в этой низкой, словно распластавшейся под сероватым потолком комнате антресолей старинного барского особняка на Тверском бульваре родился Александр Герцен. Бывшая усадьба Яковлевых — нынешний Литературный институт, в глубине заросшего старыми липами сада. Преподавание здесь, особенно на факультете, где занимались только члены Союза писателей (так называемые Высшие литературные курсы), было делом тем более нелегким, что каждый из моих слушателей уже имел литературное имя, своих читателей и свое мнение на все случаи жизни, особенно по части искусства. Виктор Астафьев, Евгений Носов, Юрий Гончаров, Новелла Матвеева, Анатолий Знаменский, Римма Казакова, будущий классик белорусской литературы Владимир Короткевич, десятки имен изо всех республик Советского Союза. Я говорила о мировом искусстве и постоянно о современном, провоцируя бесконечные и настолько жаркие споры, что зимой приходилось распахивать настежь все окна аудитории, из которых валил пар.

В тот день на лекцию опоздал весь курс. Извинение было простым: общее писательское собрание в Доме кино на Поварской, на котором исключили из Союза Бориса Пастернака. Обязаны были быть все. Все и были. Не искали предлогов для отсутствия. Не уклонились от голосования. Это звучало почти торжественно: «Единогласно!»

«А вы читали „Доктора Живаго“?» Без смущения: «Не пришлось». — «А стихи Пастернака?» Кто-то когда-то вроде бы перелистал, кто-то вообще ничего не перелистывал. «И, значит, единогласно?» Точнее, чем Галич, трудно было сказать:

Нет, никакая не свеча,
Горела люстра.
Очки на морде палача
Сверкали шустро!
А зал зевал, а зал скучал —
Мели, Емеля!
Ведь не в тюрьму и не в Сучан,
Не к «высшей мере»!
И не к терновому венцу
Колесованьем,
А как поленом по лицу
Голосованьем!
И кто-то в спину вопрошал:
«За что? Кого там?»
И кто-то жрал, и кто-то ржал
Над анекдотом…

Незаметно уходили из жизни настоящие художники: Николай Крымов, Варвара Степанова, Роберт Фальк… Последние годы жизни Фальк бывал у нас каждую субботу. Это были потаенные праздники, ради которых стоило каждый раз готовить какое-нибудь необыкновенное блюдо, разыскивать бутылку-другую настоящего хорошего вина, выкладывать на стол старое серебро. У Фалька было его мягкое кресло рядом с Марией Никитичной. Бабушке доставляло удовольствие старомодно угощать, художнику — ощущать внимание хозяйки. Дома у Роберта Рафаиловича все складывалось по-другому.

Пустая мастерская на верхнем этаже так называемого дома Перцова у Москвы-реки, в Соймоновском проезде, — тяжеловесного модернового подражания русскому XVII веку: кирпичная громада со стрельчатыми фронтонами и майоликовыми вставками на фасаде. Дом был отведен под офицерское общежитие. Стерильно чистое. До медного блеска надраенное. С навечно включенными репродукторами. С одинаковой советской немудреной мебелью. И правильными мыслями.

Фальку досталось здесь место после возвращения в 1939-м из Парижа. И больше ничего — никакой возможности художнического заработка или хотя бы участия в выставках. Союз художников полностью отвергал его искусство. Сам Фальк был не способен ни на какие компромиссы. Обстановка мастерской состояла из топчана, прикрытого похожим на солдатское одеялом. Мольберта в квадрате света, падавшего из

единственного, помещенного высоко под потолком окна. Стола, на котором стояла единственная в доме еда: картошка, хлеб, высыпанная на бумажку соль. И пианино. За ним Фальк мог проводить долгие часы.

Гости появлялись здесь редко — посмотреть на живопись хозяина. Чаще из простого любопытства — не по душевному тяготению. Устраивались на разбитых, перемазанных красками стульях. Наблюдали, как старый человек вытаскивал из штабелей холсты, ставил их на мольберт, стеснительно отказываясь от помощи. Отходил в темноту. И ждал. Ждал каких-то слов, от которых унизительное существование могло бы обрести обыкновенный человеческий смысл.

Обычно отзывы были любезными. И на редкость скупыми, раз за разом повторяющимися. Не проходило и часа, как гости начинали беспокоиться, дружно торопиться. Не замечая опущенного взгляда художника. Да и чем они могли его порадовать? Пониманием? Обмануть старого мастера было трудно. Деловыми предложениями? О них никто не думал.

Георгий Костаки, в то время еще шофер по должности, позднее завхоз посольства Канады, начал скупать картины. Но платить за них не спешил: брал у Фалька по нескольку холстов — для выбора! — и держал годами, не расплатившись ни за один.

Не торопился с оплатой и Александр Леонидович Мясников, известный кардиолог, обладатель единственного в стране международного «Золотого стетоскопа». Профессор признавался, что не был уверен в качестве живописи, и потому предпочитал повременить.

И все же именно он сделает для мастера самое доброе дело — возьмет художника после его последнего инфаркта в свою клинику на Большой Пироговке. О такой возможности мечтали многие, даже самые могущественные представители элиты.

Лежа в сумрачной, затененной старыми деревьями палате, Роберт Рафаилович не мог избавиться от годами преследовавшей его мысли: «Зачем они так с искусством? Зачем?»

Дальше был песок Калитниковского кладбища, у ограды которого в общих рвах нашли свое последнее пристанище сотни безымянных. Расстрелянных. Привезенных с Лубянки в одном окровавленном нижнем белье. Наверное, так же недоуменно искавших ответа: «Зачем ОНИ так?»

NB

Ф. Бобков «КГБ и власть».

«В конце пятидесятых годов в разных городах вспыхивали волнения по всевозможным поводам. Чаще

всего они были направлены против действий милиции, но иногда толпа громила и помещения райкомов и горкомов партии.

Потом массовые беспорядки стали возникать чуть ли не каждый год, и в них втягивались тысячи людей. Нередко в наведении порядка участвовали подразделения Советской Армии, но при этом спрос был всегда с органов госбезопасности: это они во всем виноваты — недоглядели.

…Если мне не изменяет память, во время беспорядков при Андропове к помощи армии прибегали только один раз…»

Сосны шумели широко и победно. Песчаный обрыв. Глубоко внизу узкая лента Москвы-реки. Кругом леса, перелески, глухомань так и не оправившихся после войны деревень. Почерневшие избы. Заборы из высоких тонких хворостин. В лесу фанерные постройки дома отдыха «Дорхимзавода», захваченного белютинцами. Буквально захваченного: 250 человек с мольбертами, этюдниками, готовые выдерживать сырость нежаркого лета, зябкость ночей, тучи ненасытных комаров.

Красный Стан под Можайском… Художников в Студии становилось месяц от месяца все больше. Их творчество начало сказываться на московской жизни: иллюстрации в книгах, рисунки на тканях, офорты в интерьерах современных квартир. Каким счастьем были осмеянные со временем «хрущевки» — своя квартира, где впервые за все советские годы можно было остаться одному, без бдительного ока даже самых доброжелательных соседей!

Творческая среда многолюдной Студии позволяла противостоять казарменному фронту соцреализма. Целыми днями, без отдыха, работа под руководством Белютина. Вечерами — коллективное обсуждение результатов.

NB

1959 год. Ольга Карлайл-Андреева (внучка Леонида Андреева) «Искусство ищет свою свободу». Цикл статей, опубликованных парижским «Обсерватер Литерер».

«Я присутствовала на многих занятиях, которые вел Белютин. Его метод невольно напоминает Станиславского. Белютин поощряет своих учеников внутренне слиться с тем сюжетом, который они пишут, но не теряя при этом пластического аспекта картины. Результаты были чрезвычайно интересными. Они были отмечены одной общей тенденцией, своего рода

фовизмом, но очень разнообразные, неожиданные, а в некоторых случаях просто превосходные.

Учеников Белютина можно определить как реалистов с экспрессионистической тенденцией, если взять этот последний термин в очень широком смысле. Они ищут индивидуального и драматического способа переложения окружающего мира; они пользуются богатейшей палитрой сверкающих в полную силу красок, нередко преувеличивают форму, стилизуют свои композиции… Любопытно, что в них присутствует смысл русского искусства 20-х годов, которое им в основном неизвестно, поскольку работы Кандинского, Ларионова, Гончаровой, написанные в эпоху революции, не экспонируются в советских музеях и не могут быть осмотрены без специального разрешения.

Мне кажется, большим достижением Белютина является поощрение своих учеников на преодоление двух препятствий, мешающих сегодня развитию советского искусства. Одно из препятствий представляет старую традицию — идущая во вред, особенно собственно пластической культуре, концепция литературная и сентиментальная господствует в России с XVII века. В сталинскую эпоху она, естественно, утвердилась в социалистическом реализме.

Другая опасность, мешающая советским художникам, заключается в глубоко субъективистической концепции живописи. Для того чтобы вырваться из требований и противоречий современной жизни, художники пытаются уйти в сюрреализм, который позволяет им, между прочим, скрыть в целом их самый большой недостаток — отсутствие у них пластической культуры.

Белютинцы прокладывают новую дорогу советскому искусству, дорогу, которая обладает возможностью вписать в широкие национальные традиции принципы и тенденции национального искусства. Эта тенденция находится в глубокой гармонии с русским характером, который объединяет вкус к реальности с большой интенсивностью эмоций».

5 мая. Из протокола заседания партийного бюро филологического факультета МГУ. Доклад Б. Астахова.

«На Стромынке у нас завелись абстракционисты, студенты рисуют абстрактные картины и ими украшают

комнаты. Решением комитета комсомола МГУ один из авторов исключен из рядов комсомола „за пренебрежение к коллективу и за поведение, недостойное советского человека“. Апелляция в горком комсомола была отклонена. К тому же в газете 3-го курса были опубликованы идеологически вредные, пошлые, абстракционистские стихи. Писали их разные студенты (следует перечень имен)».

По прошествии времени понимаешь: люди, о которых речь пойдет ниже, были, как рябь, пробегавшая от неощутимого ветерка по поверхности широкого озера. Немолодые. Обходительные. Если не интеллигентные, то хотя бы умевшие держаться. Не располагавшие собственными коллекциями, зато всегда предлагавшие любопытные сведения и отдельные, могущие заинтересовать человека вещи. Очень разные и всегда точно соответствующие склонностям «жертвы». Состоятельные ровно настолько, чтобы не раздражать и легко входить в доверие. Последнее было главным. Появляться без предупреждения в доме, вызывать на свободный, доверительный разговор, а там… Впрочем, какая разница — они ли или другие. В Советском Союзе ходила мрачная шутка: из трех собравшихся двое наверняка стукачи. Двое с половиной, уточняли пессимисты. Просто эти были хорошо организованы, проинструктированы и многослойной паутиной опутывали московскую интеллигенцию.

Знакомство с каждым из них выглядело случайным, но сразу поддерживалось ссылкой на общих чуть ли не друзей, участием в общих делах, взаимопониманием с первого слова. Большинство из них числилось на работе, но в условиях железной советской дисциплины почему-то в любое время оказывалось свободным, готовым на услуги и исполненным напряженного интереса к каждому вашему слову.

Некий Тувин, обслуживавший прежде всего Валентина Фалина и поставлявший ему антиквариат — случай редчайший для работника Старой площади. Тувин легко мог удовлетворить вашу любознательность. Майолика итальянского Возрождения? Которой собственно нет в московском Музее изобразительных искусств? Что может быть проще? В одной из квартир дома Нирензее на Большом Гнездниковском мрачная пожилая женщина, только что вернувшаяся с прогулки со стаей беспородных псов, не глядя в глаза, осведомится о предмете вашего интереса — время, школа, сюжет — и, сверившись с огромным регистрационным гроссбухом, откроет один из опоясывающих комнату шкафов. Из плотно стоящих на ребре,

завернутых в соответствующую мягкую бумагу блюд вынет именно то, о чем вы просили. Превосходные экземпляры. Идеальное состояние.

«Откуда такое потрясающее богатство?» — «Мужу нравились. Мне нет». — «А ваш муж?» С гордостью: «Начальник отдела по исполнению приговоров московского ОГПУ». Об этом правиле органов трудно забыть: исполнители получали все, что хотели, из имущества репрессированных (тем более расстрелянных!), в случае надобности занимали и их квартиры. Или комнаты в коммунальных квартирах к ужасу видевших их «при исполнении» соседей.

Тувин неутомим: ювелирные изделия? XVIII века? И снова дом в Большом Гнездниковском. Холостяцкая квартира, обставленная на этот раз превосходной мебелью того же столетия. Дама, известная всей творческой Москве (уроки кройки и шитья в домах творческих союзов). Россыпь дивных колье, серег, браслетов, колец — золотых, платиновых, с камнями. Гарнитуры из алмазов, изумрудов. Браслет в виде усыпанной рубинами змеи с опускающейся на кисть головкой, несколько раз обвивающий руку до локтя.

И то же происхождение вещей. Такой же, правда, вовремя исчезнувший (до конфискации!) супруг, который сумел позаботиться о любимой жене. Систематизированная и каталогизированная коллекция с точной искусствоведческой атрибуцией каждого предмета. Только когда и где она проводилась? Кто приложил руки к отмеченным печатью смерти вещам?

Феликс Вишневский. Одетый в изношенное платье, с замусоленным брезентовым портфелем, агент по снабжению фанерного склада с нищенским жалованьем, он целые дни проводит в антикварных магазинах. Его интересует все — от драгоценных камней до бронзы, мебели, старинной живописи. Астрономические цены не пугают: он платит сразу и не торгуясь. Общеизвестная его слабость — обнаруживать подписи известных художников на холстах, где их не заметили самые опытные реставраторы.

У Вишневского необычная биография. После революции работал вместе с отцом на складах Наркомпроса, куда свозились конфискованные художественные ценности. За каким-то якобы конфликтом последовал первый срок. Второй связывали с исчезновением ценностей из гробницы Бориса Годунова в Троице-Сергиевой лавре. На фронте не был. Оказался под рукой у министра культуры Е. А. Фурцевой. Помогал обставлять дачу. Стал главным хранителем Литературного музея Пушкина в

Москве, благодаря чему ездил для закупок по всей стране. Открыл в Москве собственный музей — с условием передать государству все остальное накопленное имущество. Художник Н. А. Воробьев оказался случайным свидетелем производившейся органами описи («Стаканы камней!»).

Некто Середин, управляющий одним из московских технических трестов, в прошлом работник ГУЛАГа, на том же антикварном поле охватывает еще и «левых» художников. Его рекомендациям обязан своему проникновению в их мастерские Г. Костаки.

Увлечение старой живописью, вещами придавало ощущение добропорядочности, духовной связи с «мирным временем» (они еще не стали предметом спекуляций), которая позволяла запутывать и самих художников, и первых собирателей. Как говорил профессор Мясников, впечатление игры краплеными картами, в которой никогда не сообразить, на чем именно зиждется жульничество.

Для художников все выглядело иначе. Каждым своим действием они вступали в конфликт с законом. Не разрешалось продавать авторскую живопись из рук в руки — для этой операции существовали специальные художественные советы при творческом союзе, к которому они чаще всего не имели никакого отношения. Нельзя было жить на заработанные таким путем деньги — это не освобождало от обвинения в тунеядстве, за которое судили, как в 1961-м Иосифа Бродского. Статей уголовного кодекса набегало так много, что человек оказывался во власти органов, которые могли эти статьи в любой момент ввести в действие. Или — при определенных условиях — не вводить. Петля затягивалась все туже и безнадежнее. Независимая жизнь «авангардистов», которых после фестиваля начали усердно пропагандировать органы, — какой неоднозначной на самом деле она была!

* * *

Из года в год повторялся Красный Стан. В Москве белютинская Студия давно перестала отвечать привычному представлению о замкнутом круге художников — больше шестисот человек: скульпторов, живописцев, графиков, архитекторов. На Таганку, где находилось ее рабочее помещение, тянулись первые барды — Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Новелла Матвеева. Приходили физики научно-исследовательских институтов Петра Капицы, Николая Семенова, Евгения Тамма.

Физиков привлекала не столько перспектива выставок — стихийно они возникали после каждого занятия во время обязательных разборов, — сколько, по выражению академика Капицы, творческая стихия, в которой освобождалось чувство и начинала работать мысль.

Однако никто не обманывался: ни в Москве, ни в стране в целом обстановка не стала более благоприятной. Приходилось жестко держать оборону. Противодействий было предостаточно. Блюстители чистоты соцреализма не дремали.

Андрей Гончаров, заведующий кафедрой живописи и рисунка в Московском полиграфическом институте, где преподавал Белютин, пользовался репутацией «левака» 1930-х годов. Правда, вовремя отошедшего от становившегося опасным направления. Приглашение Белютина на кафедру казалось вполне закономерным, тем более стремление Гончарова к более близкому с ним знакомству. С женой и дочерью Наташей Гончаров стал бывать на ужинах у Белютиных, встречал у них старый Новый год — с непременными подарками, розыгрышами, шутливыми пожеланиями. Гончаров внимательно рассматривал висевшие на стенах белютинские холсты, интересовался рисунками, эскизами, содержанием рабочих папок — все между прочим, все в дружеском ключе.

Результат — приказ по кафедре о создании специальной комиссии для «выявления подлинной сущности» Белютина как формалиста, которому не место ни в советском институте, ни в советском искусстве. Давнее исключение из творческого Союза получило свое подтверждение. Сам Гончаров уже давно входил в состав правления МОСХа.

Мотивировка была неопровержимой — личное знакомство заведующего кафедрой со всем объемом творчества художника.

Обычный прием — сбор подписей негодующих студентов — на этот раз не сработал: студенты бросились на защиту своего педагога. Многие, как Владимир Янкилевский, уже тогда определили свой путь в искусстве. Андрею Гончарову пришлось выступить единолично.

В заключении комиссии Белютин определялся как «яркий представитель современного экспрессионизма», чье творчество и метод «полностью противоречат современному искусству». «Нет абстракционизму в советском вузе!» — заявила вся кафедра. Виновнику смуты предложили подать заявление об уходе. Но ведь и так общение с людьми, поставившими свои подписи под такой бумагой, не представлялось возможным.

Один из старых профессоров, Горощенко, еле слышно прошептал в коридоре: «Не судите строго, голубчик, я стар, а вы

тут такую республику свободы развели — подумать страх».

Конечно, оставались (пока!) другие институты. Но главное свершилось: выдвинуто «профессиональное» обвинение и навешен ярлык, необходимый в советской практике. Для удобства.

* * *

О всеобщем стремлении к внутреннему освобождению Старая площадь знала и по-настоящему не нуждалась ни в каких конкретных «разведданных» Лубянки. Подобные «разведданные» только подтверждали ее собственные выводы. Задача заключалась в том, чтобы не просто подавлять всех и вся, а выявлять «непримиримых», создавая одновременно неуловимое ощущение либерализации.

Художники могли зачитываться неодобряемыми официозом писателями и даже высказываться о них на страницах прессы («Не-профессионалы!»). Писателям разрешалось выражать свое фрондерство, поддерживая крайние течения в искусстве, науке: по большому счету их непрофессиональные рассуждения значения не имели. Музыканты в свою очередь могли помогать художникам: все списывалось на счет вкусовщины, субъективных представлений, которые конечно же не соответствовали научным оценкам явления. То, что воспринималось Западом как меценатство или хобби, оказывалось орудием провокации, легко убеждавшим «широкие массы».

Отсюда еще одна громко о себе заявившая уже в 1960-е годы тенденция использования не-специалистов во всех областях культуры. Руководитель серии «Жизнь в искусстве», выходившей в издательстве «Искусство», не скрывал полученной «сверху» установки: пусть об искусстве пишут не-искусствоведы. Инженер-химик из Мариуполя — книгу о любимом своем художнике Валентине Серове: он сделает это более живо и непосредственно, чем любой специалист. Театровед Елена Полякова — о Святославе Рерихе. В искусствоведческих оценках и анализе нет ни малейшей нужды.

С белютинской Студией и самим ее основателем дело обстояло значительно сложнее. О ней сразу заговорили специалисты, художники и теоретики. А первая зарубежная выставка Белютина открылась в галерее «Кшиве коло» в Варшаве.

Разрешения на нее у бюрократических инстанций и органов получить не представлялось возможным. На помощь пришел «Поезд дружбы». Инженер Тадеуш Высоцкий из Быдгощи

обратился к своим спутникам за помощью. Все работы Белютина были разобраны по рукам, а в Варшаве переданы сотрудникам галереи. Как писал директор «Кшиве коло» художник Марианн Богуш, недосчитались всего нескольких листов графики, но такая потеря могла только польстить автору.

NB

1961 год. Алексы Червиньски, редактор журнала «Проект». Варшава.

«Хочу по горячим следам поделиться с вами впечатлениями от вчерашнего вернисажа. Выставка Элигиуша открыта. Я могу с чистой совестью поздравить вас с блестящим и полным успехом. Отношение зрителей к творчеству Элигиуша оказалось на редкость взволнованным и эмоциональным.

Количество народа на вернисаже было несравнимо больше, чем у польских живописцев. На этот раз выставка собрала людей, творчески представляющих искусство. Случайных лиц не было вообще. Я видел собственными глазами всех известных мастеров и историков искусства. Мне трудно суммировать в нескольких фразах их отзывы, хотя я и отдаю себе отчет, насколько это интересно для Элигиуша. Я постарался под наблюдением Александра Войцеховского [главный редактор журнала „Проект“. — *Н. М.*] и профессора Яна Богуславского [архитектор, строитель Королевского замка в Варшаве. — *Н. М.*] записать различные замечания. В качестве примера приведу две точки зрения.

Живописец Стажевски, 70-летний Нестор абстракционизма и близкий друг Пикассо, сказал, что представленные работы свидетельствуют об огромном таланте, живописном темпераменте и исключительных возможностях Элигиуша, но в то же время для него остается несколько невыясненных проблем, например, характер согласования планов в картине или же нескоординированность колорита с рисунком.

Кобздей (живописец, который только что вернулся после значительных успехов из Парижа и Америки, к тому же только что имел выставку в тех же залах), которому все это было сказано, ответил, что как раз то, что остается неясным для Стажевски, его лично, как представителя более молодой генерации абстракционистов, особенно захватывает. Он видит в

этом не неорганизованность, но естественный путь самовыражения и повышенной до высшего предела эмоциональности. Кто-то сказал, что его поразила исключительная отзывчивость и тонкость натуры художника, колористическая точность — „выверенность“.

Характерно, что после осмотра выставки люди искали слушателей, чтобы поделиться всем грузом впечатлений. Придя в пять часов, все не расходились до десяти — обстоятельство для Варшавы ни с какой точки зрения немыслимое. Это „фейерверк искусства: талантливости мастера и виртуозного владения возможностями цвета“, — заметил уже на площади Старого рынка Раймунд Земски. Вообще молодежь благодарила устроителей выставки с редким энтузиазмом».

Август. А. Войцеховский — Э. Белютину.

«У меня сложилось впечатление, что свобода поиска художника должна определяться стремлением к линии драматической, эмоциональной, идейно наполненной, к линии, раскрывающей душевные контакты и столкновения, тогда как чистое созерцание цвета выходит за пределы искусства, если даже оно представляет форму чистой абстракции. Именно на этой „моей“ линии развития современной живописи стоит Ваше творчество, за развитием которого я слежу, затаив дыхание».

На последней лекции заканчивавшегося учебного года я прочла слушателям Литературного института короткое газетное сообщение: «…Правление Литературного фонда извещает о смерти писателя, члена Литфонда Б. Л. Пастернака, последовавшей 30 мая сего года на 71-м году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного».

Я не просила никого почтить покойного минутой молчания. Они встали сами. Один за другим. Опустив головы. Не глядя друг на друга.

Позже Александр Галич напишет: *«До чего ж мы гордимся, сволочи, / Что он умер в своей постели…»* Это было заслугой «оттепели».

NB

1961 год. Политбюро утвердило линию будущей

Берлинской стены. Длина — 46 километров. Вышек — 210. Укрепленных огневых позиций для круговой стрельбы — 245.

Вечер у Белютиных на Большой Садовой. Чета Эренбургов. «Выставка в кафе? Вам предложили? Почему бы и нет. В конце концов за этим традиция. Московская. Давняя». Кивок в сторону жены: «Помнишь, „Кафе поэтов“?» — «Бывшее „Домино“? С оранжевыми скатертями?» — «Бумажными. Для стихов». — «Для рисунков. Стихи были на потолке». — «А как же!»

Я верю, когда будем покойниками,
Вы удивитесь
Святой нашей скромности,
А теперь обзываете футуроразбойниками —
Гениальных детей Современности…

«Столики малюсенькие». — «Под стеклом. Занавес — Юры Анненкова». — «По нынешним понятиям — геометрическая абстракция». — «Полосы красные, зеленые. Цвет насыщенный — до шока». — «В охранной грамоте Нарком проса — ведь была же и такая! — стояло что-то вроде „эстрады-столовой“ для просвещения поэтов». — «Илья! Вспомнила! На стене второй комнаты»:

Чтить и славить привыкли мы мертвых,
Оскорбляя академьими памятниками
С галками.
А живых нас —
Истинных, Вольных и Гордых —
Готовы измолотить палками!

К Белютиным: «Помните откуда? Василий Каменский — „Живой Памятник“». Но собеседники намного моложе. «Да, верно, анафемы, запреты — железный занавес для домашнего пользования». — «А ведь все равно не железный. В устной традиции дошло и до нас: как легенда, художник, актер, один из первых авиаторов». Эренбург: «В этом своя закономерность — вместе прорывались в неизведанное: авиаторы и футуристы. Если бы не деньги первого русского летчика Г. Кузьмина, не была бы издана „Пощечина общественному вкусу“».

Предложение показать работы белютинской Студии исходило от горкома комсомола. В кафе «Молодежное». Символ тех дней:

казарменного типа послевоенный жилой дом Комитета госбезопасности с единственным в своем роде кафе на первом этаже: космополитические коктейли, едва ли не единственный в городе разрешенный рок-ансамбль.

Эренбург задумывается. Что же, красных дорожек перед новым искусством никто никогда не расстелет. Это в порядке вещей: новое искусство формирует в материале то, в чем обыватель еще не отдает себе отчета, хотя со временем будет воспринимать как очевидное. К тому же сейчас — переходная фаза. Недолгая, по всей вероятности. «Если, — минутное молчание, — все не повторится». — «Ежовщина?» — «Скорее культ. Хрущев подошел к его грани. Хватит ли у него культуры, личной и политической, ее не переступить? Но и в худшем случае лучше скорее заявить о существовании направления, исключающего потуги официального „реализма“. Направления многолюдного. Творчески зрелого. Независимо от последствий. Это нужно как принцип». И сразу потускневшим голосом: «Пусть останется хотя бы веха. На будущее».

Мы думаем об одном и том же, но по-разному. Извечный сплав провокаций, подозрений и беззащитности, когда место права давно и злобно заняла непонятная в своих побуждениях воля. Известный совет покойного вождя светлоглазому усохшему недоростку Ежову: надо, чтоб в каждом зрело сознание вины — какой именно, в свое время легко будет сформулировать.

Все было рядом, и потому при всей внутренней логике доводы Эренбурга о целесообразности «кафейной» выставки не убеждали, хотя и были приняты. Приняты потому, что начинавшиеся, вернее, исподволь готовившиеся проклюнуться перемены рождали споры всюду и обо всем. Они не могли существовать без системы доказательств: для старших поколений — впервые за многие годы, для младших — впервые в жизни.

Вместо того чтобы привычно поднимать руку в толпе, как все, в осуждение или одобрение, — каждый раз пытаться ответить себе самому, насколько одобрение или осуждение совместимо с твоим пониманием происходящего и чувством собственного достоинства. Не просто подчиняться изуверскому принципу «ИМ виднее», но отдавать себе отчет — чему именно хочешь служить, к какой цели стремишься.

Слов нет, еще вчера простой и ясный мир становился в результате сложным и противоречивым, шумным и неудобным. В нем предстояло учиться ориентироваться и действовать, и далеко не каждому улыбалась подобная хлопотная жизнь.

NB

1962 год. Статья «Студия Белютина», опубликованная в журнале «Политика». Варшава.

«В прошлом году 250 молодых живописцев под руководством Элия Белютина сели в Москве на речной пароход „Добролюбов“ и с палитрами в руках поплыли в сторону Волги — потом Волгой до Оки и обратно Окой до Москвы. Этот художественный рейс принес богатые плоды в виде картин, эскизов и этюдов с натуры.

Пароход останавливался в намеченных необычными пассажирами местах, и 250 художников приступали к работе. Интересно сопоставление, что каждый из них своим особым способом переносил пейзаж на полотно или бумагу. Таким образом мы можем раскрыть принципы их искусства.

Их интересует не изображение, а выражение действительности. Работая с натуры, они стараются выразить отношение художника к объективному миру. Они порвали со старыми традиционными представлениями о перспективе и колорите — предмет, нас интересующий, вопреки действительным пропорциям выражается более экспрессивно.

Пользуются они самыми разнообразными техниками — от рисунка до энкаустики. Они не знают колористических ограничений. В центре их внимания находятся также проблема пространства в живописи и сила его воздействия».

Картины в собственном смысле для «кафейного» диспута, пожалуй, не подходили. Остановились на отличавшихся внутренней свободой и широтой манеры этюдах из очередной пароходной поездки Студии.

Внутренняя раскрытость впечатлениям, переживаниям, единожды перечеркнутая, годами подавляемая, — каким радостным благом способна она вернуться к людям!

Если найти в себе силы и способность ее вернуть. Это «если» и повисло над залом кафе «Молодежное», толкало на разговор, требовало своего решения.

…Веселый напор толпы у входа. Молчаливо настороженная группа «активистов» в гардеробе. Уже за час до начала — четкая расстановка сил.

Столики вокруг зала, плотно обсаженные молодыми людьми в серых костюмах и нейлоновых рубашках — униформа функционеров любого ранга в годы Хрущева. Полная дама в облегающем трикотажном костюме с копной фигурно уложенных,

пережженных перекисью волос — женская униформа — деловито раздает какие-то бумажки и последние наставления. У пришедших со мной слушателей Высших литературных курсов требуют пропуска: «Мы вас не звали!» Билеты Союза писателей вызывают выражение озабоченности на лицах: «Вы-то здесь зачем?»

Разговор начался сразу. О видимости дружеской беседы за чашкой кофе никто не позаботился: приборов на столах вообще не было.

Заговорили серые костюмы. Строго по очереди. По бумажкам. Спиной к картинам. Спотыкаясь на незнакомых словах — поди выговори, да еще ни к селу ни к городу, «экзистенциализм»! Но смысл был предельно прост: осуждение. Что нужно и что никогда — слышите, никогда! — не будет нужно советскому народу. Нужно — что делали те, кого родина «отметила», «удостоила». Привычной сталинской системе разумения ничто не грозило.

Как взрыв: «Мы — это кто?» Не выдержал Леня Мечников. Морской офицер запаса. Подводник. Большинство студийцев пришли из армии, были фронтовиками. В начале 1960-х этому никто не удивлялся: воевало все поколение. И судьбу не выбирали — ее разделяли. Со всеми.

«Мы — это кто?!» Право вещать и судить, может быть, впервые начинало так явно связываться с реальной ценностью каждого отдельного человека, а не с принадлежностью к номенклатуре.

Вопрос прорвал плотину. Все попытки трикотажной блондинки восстановить регламентированную очередность терпели фиаско. «Посторонние», посаженные специально на центральном пятачке зала, выступали один за другим, едва успевая называть себя. Серые костюмы предпочитали оставаться безымянными. Как оно необходимо и каким ему быть — потерявшему в годы культа свой смысл искусству, чтобы задевать живого, а не плакатного человека, чувства, а не заданные формулы.

Вокруг академика Петра Капицы плотный кружок его физиков. Это от них: достижение визуального сходства развлекает (и только!) воображение как способность повторения любого предмета в том же повседневном обиходе — деревянной поделки или модного свитера — по принципу «могу — не могу», «получается — не получается». В нем не затрагивается духовная жизнь человека. Наше нутро способно откликаться только на моменты творческого преобразования.

Поэт Борис Слуцкий: «Живопись, как и поэзия, становится искусством лишь тогда, когда представляет сгусток эмоций».

Скульптор Сара Лебедева, обычно никогда не выступающая, словно оставившая за собой роль зрителя: «Живопись — это своего рода конспект и обобщение, сублимация чувств. Отсюда неизбежны отходы от хрестоматийного, следовательно, ничейного представления о предмете. Если мы действительно воспринимаем, а не скользим взглядом, то есть если в этом процессе участвуют чувства, наши переживания, то каждый видит один и тот же предмет по-своему, соответственно по-своему и изображает». Сколько можно возвращаться к этой азбуке искусства!

Неожиданный вопрос из зала к очередному начавшему вещать серому костюму: «Почему вы говорите вообще? Перед вами две работы: какой вы сами отдаете предпочтение?» — «Какие две?» — «Да вот „Вечер“ Люциана Грибкова и холст рядом с ним». — «А при чем здесь инвентарь кафе?» Инвентарем в глазах серого костюма оказалось полотно будущего президента Академии художеств Салахова, появившееся в зале без ведома студийцев. Очевидно, для спора.

За спиной свистящий шепот: «Сами виноваты — надо было их…», «Откуда только набежали…», «Мало их в свое время…» Угроза глохнет в веселом шуме.

Очередной серый костюм пытается объяснить, что в настоящей советской живописи, как на производстве: достиг эталона — успокойся. Раз кто-то до тебя «овладел», тебе остается только пользоваться приемом. Из какого бы времени он ни шел. «Наше искусство должно вобрать в себя все высшие достижения искусства всех народов!»

И все-таки это уже было из прошлого. Из настоящего — голос чудесного сибирского писателя Владимира Сапожникова, прошедшего и фронт, и лагеря. Сдавленный волнением. На срывающемся дыхании: «Не знаю толком живописи. Никогда не разбирался в ней. Но то, что здесь, это как у нас в Сибири, в порушенных зонах. Сам видел концлагерь брошенный, и через него танк прошел. Через ограждения. Мотки колючей проволоки. Через бараки и вышки. Напролом. Лагерь на десятки тысяч. В бараках на нарах клопы. Еще живые. А дорога — в новый город. Совсем новый. Какого еще нет. Вот и ваши работы — через все. К тому, что будет!»

Четыре с половиной часа споров. Без перерыва. На неслабеющем накале. Столики у стен пустеют первыми: на такой лимит времени не хватило заготовленного материала. Что-то явно не сработало. Что-то должно было сложиться иначе. Одно ясно: волна страстного интереса к вопросам душевной раскрепощенности. В данном случае через живопись.

И Володя Сапожников, останавливаясь у выхода: «Послушайте, ведь это ключ к чему-то очень важному, а?»

NB

1962 год. 12 августа. Взрыв водородной бомбы Андрея Сахарова. Первый взрыв был произведен 12 августа 1953-го, через пять месяцев после смерти Сталина. В октябре того же года Андрея Сахарова избрали членом Академии наук СССР, в декабре ему была присуждена Сталинская премия и присвоено звание Героя Социалистического Труда. Облако взрыва накрыло значительную часть Южного Урала, где и в начале третьего тысячелетия продолжают умирать от радиации люди, рождаются уродами дети и мутанты-животные. Засекреченность результатов испытаний не позволила никого признать пострадавшим и вывезти с зараженной территории. Их приговором стала бесконечная во времени мучительная смерть.

Знали ли физики о неизбежных последствиях своих достижений? Знали. Все без исключения. В Хиросиме и Нагасаки уже 17 лет звонили колокола памяти и дети приносили к общим памятникам тысячи бумажных журавликов. Обреченные дети.

Выставки теперь шли одна за другой. В Центральном Доме литераторов — по идее Алексея Суркова; вне литературы он мог себе позволить выглядеть либералом. В Литературном институте — под эгидой декана Высших литературных курсов писателя-«деревенщика» Юрия Лаптева. Здесь, в стенах Литинститута, всегда кипели страсти. В подвале — литературный дешевый ресторанчик. Во флигелях и конюшнях — писательские коммуналки. Удобства и размер площади для проживания зависели от положения в Союзе писателей. Разноцветье имен, несовместимых по официальной табели о рангах: от самых ответственных и поныне остающихся у кормила правления литературой до тех, кого всеми силами старались скрыть от народной памяти. Борис Пастернак, Петр Орешин, Михаил Пришвин, Всеволод Иванов, Осип Мандельштам, Михаил Булгаков, Андрей Платонов.

В 1931-м живший во флигеле Александр Фадеев напечатал в газете «Известия» разносную статью о жившем в дворницкой Платонове — «Об одной кулацкой хронике»: «Критикуя советский бюрократизм, обнаруживает непонимание советского государства как органа диктатуры пролетариата. Советский госаппарат показан не как форма участия рабочих и крестьян в управлении

страной, а как механический аппарат принуждения, нивелировки человеческой личности», что квалифицировалось Фадеевым как «наскок на партию».

Только Александр Фадеев в своем прокурорском захлебе не был первым. Разоблачение Андрея Платонова начали еще в 1928-м… искусствоведы, будущие члены Академии художеств СССР Михаил Сокольников и Николай Замошкин, ставший впоследствии директором Третьяковской галереи.

…Но вернемся к выставке. В ней участвовало около двадцати художников. Без малого полтораста работ. У входа технические машины радио и телевидения. Импровизированные выставочные залы — аудитории не вмещали всех желающих. Недоумение зрителей было общим и разным. Общими оставались опасения. Слова театральной художницы, работавшей с А. Я. Таировым, Елены Фрадкиной: «Не поверю, чтобы вообще разрешили! Это стало бы признанием принципов двадцатых, и притом в развитии. Да никогда в жизни!»

Прозаик Юрий Пиляр, тогда еще слушатель Высших литературных курсов: «С этим не шутят! Все, что лишено прямого фотографического подобия, уверен, будет караться. Именно караться. Или выкорчевываться. Сам был в Маутхаузене рядом с немецким художником, позволившим себе чуть отступить от визуального сходства. В „великой Германии“ он относился к „недочеловекам“.

У немцев существовал незыблемый принцип: тот, кто видит иначе, чем обыватель, подлежит истреблению. Альтернатива все же была — отречься. Торжественно и всенародно. От всяких занятий искусством. Это очень поддерживалось и поощрялось. Вот увидите, и эти ребята…» — «Но ваш соузник по лагерю…» — «Да, не захотел думать об отказе». — «Значит, возможно и такое».

Как давно вокруг знаменитого Павла Кузнецова не было такой толпы слушателей! «А знаете, — всегда чуть набыченный, коренастый Кузнецов поправляет свою неизменную черную бабочку, почти улыбается, — я, кажется, склонен предать забвению худшие годы. Впереди осталось так немного, и так хочется открытых окон. Если только их по-настоящему откроют…» И он то же!

Вступительное слово Бориса Слуцкого. Он говорит о надеждах, рожденных войной, и разочарованиях, принесенных ждановщиной. О том, что понять опасность сталинизма для народа, отдельного человека — значит прежде всего снять запреты в области культуры: не родился и никогда не родится чиновник, способный понять и оценить человека, наделенного творческим началом. Но именно в этом начале прозрение

общества в будущее.

У Слуцкого будто против его воли вырывается альтернатива: поверить художнику — поверить будущему. Война была выиграна великим доверием человеку. Вынужденным. Противным сталинскому аппарату. Но которому аппарат не мог противостоять: Отечественная война не бывает войной по приказу. Человек был свободен в едином со всеми стремлении вернуть мир земле.

«И этот мир был поразительно похож на тот, который мы сейчас на этих стенах видим: не бессмысленно радостный, но убедившийся в ни с чем не сравнимой ценности жизни».

Слуцкий читает строки, неизвестные присутствующим. Неопубликованные. Может быть, под впечатлением висящей рядом картины Майи Филипповой «Иней»:

Белый снег — не белый, а светлый.
Нет, не светлый — сияющий снег.
И какие-то теплые ветры
Навевают его на всех.
Да, зима, а тепло, как в мае,
Ночь, а будто утром светло.
Это счастье во мне расцвело,
Возвышая, приподнимая…

Через день после вернисажа «Вечерняя Варшава» под заголовком «Новое в советском искусстве» даст обширный материал своего московского корреспондента: «Вся эта выставка — это несомненно очень искренние поиски собственного выражения и изобразительных средств в искусстве… Но самое главное, что эти молодые художники нашли свое место рядом с другими, официально признанными и поддерживаемыми направлениями».

Вот только одновременно с выходом варшавской газеты раздался звонок на Высших литературных курсах. Точно во время десятиминутного перерыва между лекциями. Заведующая учебной частью со злорадной улыбкой протянула трубку мне.

Визгливый женский голос из горкома партии, не обратившись по имени-отчеству, бросил: «Ну, что там у вас?» — «Что вы имеете в виду?» — «Что еще там за выставка?» — «Самая обыкновенная». — «Как же, обыкновенная! На Западе пишут. Давайте объясняйте!»

Продолжать разговор в таком тоне? Я предупредила, что положу трубку. Голос чуть ослабил напор, но настаивал на объяснениях, переходя к прямым угрозам: «Вам придется

отвечать!» — «А вы видели выставку?» — «Нет. Но товарищи говорят…» — «Какие товарищи?» — «Не имеет значения». — «Кто именно?» Ответа не последовало. Беседа не состоялась.

И знамение времени: администрация Литературного института не придала значения волнениям горкомовской дамы. До поры до времени.

Звонок из горкома не помешал и новой выставке в Доме кино на Поварской. Том самом, где исключался из Союза писателей Борис Пастернак. Здесь залы могли вместить почти 750 работ.

NB

1962 год. А. Войцеховский — Э. Белютину. Варшава.

«Я все читаю с подлинным удовольствием Ваши мысли об искусстве. То, что Вы пишете о пространстве, относится к наиболее существенным (и несмотря на все то, все еще дискуссионным) проблемам современной пластики. Меня не удивляет, что именно в этот момент зарождается столько колебаний. Поскольку борьба за искусство для сегодняшнего и завтрашнего основывается прежде всего на попытке нового определения пространственных отношений, и это одинаково в искусстве фигуративном и абстрактном. Все другие явления известны на протяжении уже многих и многих столетий. Почти каждая форма обладает каким-то своим соответствием в истории искусства. Новым является единственно пространство, а также связь пространства и времени.

Зная Ваши произведения, я прихожу к заключению, что именно в этой области Вы проводите сознательные и логические поиски, счастливо отбрасывая две наиболее заезженные и традиционные концепции, к которым относятся: пространство, построенное на принципе „пустой комнаты“, а также пространство „сценическое“ (декорации, фон, кулисы картины и т. д.)».

Иногда казалось: старшие переживают больше молодых. Острее. Нетерпеливее. Может быть, потому, что не верят в длительность и устойчивость казавшихся перемен.

Живописцы… Павел Кузнецов: «В наших условиях не надо копаться в расхождениях по поводу отдельных изобразительных проблем! Это недопустимо. Мы и так потеряли русское искусство, потому что занимались выяснением творческих счетов. А ОНИ объединялись, и под каким понятным знаменем — деньги! Для нас перед холстом одни проблемы, извечный спор с самим собой: сумеешь — не сумеешь, одолеешь — не одолеешь. Задачи раз за

разом множатся, все твое умение под сомнение ставят. Другой раз как великий немой: рот раскрыт, воздух глотаешь, давишься им, а звука нет — на холсте все не то, все не так. И ведь не бросишь, на полати не зашвырнешь. Он тебе, незадавшийся, до скончания века сниться будет. Великая борьба — никаких сил не хватает».

Кузнецов выше всего ценит атмосферу Студии — «коллективизм», по его выражению. Постоянно вспоминает, как стремились к такому коллективизму мастера начала века. Когда жизнь приобретает такое стремительное развитие, что за ним перестают успевать зрители и даже отдельные знатоки, особенно важным становится тот микромир товарищества, в котором могла бы свободно развиваться индивидуальность художника. Пусть всего несколько человек, но без расчета и зависти, с профессиональным пониманием и добрым чувством отзовутся на поиски. Ведь настоящий художник — это вечная неуверенность в своей правоте и своих возможностях. На нее обречен каждый сколько-нибудь одаренный живописец. Врубеля, да не одного его, погубило одиночество.

«Мы в свое время больше всего радовались коллективизму, когда думали, что он неотделим от искусства в новых условиях. Ему состояться не удалось. Не будем говорить о причинах, но, может быть, на новом витке спирали есть возможность именно к нему обратиться? Чем больше студийцев будет выставлено, тем лучше, убедительнее. И для них самих, и для всех». Павел Варфоломеевич, как ребенок, радуется предстоящему празднику и сколько часов проведет на нем! На вопрос: «Нужна ли искусству с его нетрадиционными решениями школа?» — без колебания ответил: «Как никогда раньше. Самая суровая. Научно выверенная. Школа и есть тот стремительный, беспрерывно меняющийся поток, который или захватывает в своем нижнем течении сегодняшний день — и тогда становится необходимым, или разводится по давним, давно забытым и никому не нужным арыкам апелляции к прошлому.

Почему-то никому не приходит в голову браться за сочинение симфоний без консерваторской подготовки и слушать их без должной внутренней настроенности, душевного расположения. Сочинение в живописи нисколько не проще. Первое впечатление здесь куда более обманчиво. Только после профессиональной выучки можно оснастить собственный корабль и пускаться в самостоятельное плавание. Только тогда! Иначе будешь пытаться обманывать себя и других, что куда-то плывешь и что имеешь какой-то груз. Время быстро все ставит на свои места».

При подготовке экспозиции в Доме кино кто-то из студийцев

осторожно поинтересуется, видит ли Кузнецов современное искусство именно таким. Профессор долго молчит. И неожиданно спрашивает: «Грибы в лесу собирали?» — «Еще бы!» — «Так вот случается, знаете, в сосновой роще и вдруг боровик. И место для него неподходящее. И время, скажем, к зиме потянуло. А вот он стоит — и никаких гвоздей. Так что по-вашему: отменить красавца? Пренебречь? Не увидеть?

Такое искусство или не такое! Факт, что оно есть, — вон кругом. Хотите смотрите, хотите нет — ему этим не помешаете. И слава богу. Искусство, по моему разумению, объяснять надо, если уж кто решил искусствоведением заниматься, еще лучше — просто переживать. А судить, приговоры выносить… это дело палачей всякого рода. В том числе и от искусства. Грязное занятие. И глупое».

NB

1962 год. Апрель. Из книги отзывов на выставку Студии Белютина в Доме кино.

«Прекрасное должно принадлежать всем. Пусть эти работы увидят не только „киноинтеллигенты“. Не надо бояться ДОПУСКАТЬ народ до искусства, как сказал Маяковский:

…Барскую заносчивость скорей донашивай.
Масса разбирается не хуже вашего!

Итак, до встречи в Манеже!

Марк Розовский, режиссер, журналист.

Если в далекие времена салон „отверженных“ встревожил массы Парижа, то вы массы Москвы осчастливили.

Студенты МГУ.

Привет зарождающейся „новой волне“ в живописи!

Студенты ВГИКа».

На этот раз инициатива исходила от кинематографистов. Программа вернисажа: премьерный показ «Иванова детства» Андрея Тарковского, концерт современной музыки, выступления ведущих кинематографистов, начиная с Михаила Ромма. Все взволнованные, возбужденные: так дальше жить искусству нельзя, и вот перед нами его подлинная дорога. Настоящая! Никем не навязанная, не продиктованная. Открытие окружающего нас мира через искусство и через нашу человеческую сущность.

Толпы московских художников. И скользящие у стен тени

искусствоведов: лучше остаться незамеченным, лучше избежать необходимости высказывать свое мнение. Даже в частных разговорах. Белютин предлагает Дмитрию Сарабьянову: «Выступайте! За или против, не имеет значения». Тревожное поблескивание очков: «У вас тут, знаете, целое государство, зачем же я?» Так же, как в мастерской Фалька, на просмотре вместе с будущим специалистом по авангарду Александром Каменским и будущим руководителем Союза художников СССР Андреем Васнецовым. Ничем себя не связывающие, случайные гости. Как на похоронах Фалька, где ни один из них не решился показаться у гроба в почетном карауле, сказать хоть слово.

Советская привычка: дайте книгу отзывов. Чтобы высказать свои чувства, свое понимание происходящего. «Каждый автор яркая индивидуальность. Поистине каждая картина и все в целом является манифестацией чувств» — научные сотрудники Академии наук СССР. «Как хорошо! Да здравствует НОВОЕ советское искусство!» — группа рабочих. «Каждый художник индивидуален, самобытен. Что-то подлинно новаторское в этих работах» — искусствоведы. «Все молодое, рвущееся вперед приветствую!» — старый большевик Филиппов-Аракчеев.

«Время рождает художника и наше бурное время, время научных открытий и поисков рождает новое искусство! Здесь нет художников-созерцателей, каждая вещь наполнена темпераментом художника, и его миропонимание не ограничено показом внешних форм. Художник анализирует, он пытается показать сущность явлений» — сотрудники НИИ Министерства обороны.

«Главное — разговор у всех художников идет о человеке» — биолог. «Моя специальность — медицина. Однако настроения, выраженные в таких новых, свежих формах картин на выставке, сразу тронули душу. Нужно давать как можно шире и свободней высказываться молодым художникам» — аспирант Медицинского института. «Главное достоинство выставки — ее интересно смотреть. Она совершенно необычна» — кандидат физико-математических наук.

«Очень современно и профессионально!» — студенты Авиационного института. «Нельзя не отметить огромное педагогическое дарование Белютина. Только подлинная любовь к своему делу и вера в настоящее искусство может позволить вынести все те огромные трудности, которые встречались и еще безусловно будут встречаться на этом трудном, благородном, неблагодарно-тернистом пути. Хочется пожелать здоровья и сил основателю нового советского современного выразительного искусства!» — студенты Художественного института имени

Сурикова.

Выставка открылась 4 апреля 1962-го. Через два дня последовало распоряжение горкома партии о ее закрытии (тогдашний заведующий Отделом культуры горкома партии Игорь Бугаев будет возглавлять Комитет по культуре Москвы в 1991–2001 годах). Отчаянное сопротивление главным образом влиятельных кинематографистов спасло положение. Почти спасло. Выставка была сохранена, но — со строго ограниченным доступом. По членским билетам творческих союзов и специальным разрешительным документам. По окончании выставки директор Дома кино был снят с работы. В печати не появилось ни одной заметки.

22 апреля последовало санкционированное, в том числе и Игорем Бугаевым, решение о закрытии существовавшей официально с 1954 года Студии. Коллективные письма художников, протесты ученых, кинематографистов, композиторов результатов не дали. Ответа не было. В частном разговоре на Старой площади инструктор Отдела культуры, будущий доктор искусствоведения и мой однокурсник Вадим Полевой бросил: «Апеллируйте к французским властям: это в Париже сейчас проходит персональная выставка вашего Белютина. Там можете и выставляться — только не у нас!»

В Париже действительно состоялась выставка, и ряд работ Белютина приобрел Национальный музей современного искусства Франции (ныне — Центр Помпиду) по решению Совета музеев Франции. Впервые они допустили в лучшее свое собрание творчество русского художника. Его рекомендовал создатель Национального музея Жан Кассу.

И единственное утешение (добрый знак на будущее) — студийцы снова получили возможность арендовать (на собственные средства) для творческой поездки теплоход. По собственному маршруту. С удобным для работы свободным расписанием, на что согласилось руководство пароходства. Оставалось надеяться: все еще может утрястись.

Утрястись? Но 1962-й был слишком непростым годом. Накануне отплытия теплохода в газетах появилось обращение к народу в связи с повышением цен на масло и мясо. Правда, в обращении утверждалось, что «это мера временная. Партия уверена, что советский народ успешно осуществит меры, намеченные мартовским пленумом ЦК КПСС в области сельского хозяйства». Но так или иначе — мясо подорожало вдвое. Это ощутимо коснулось Москвы и некоторых больших городов. В остальной стране о мясе давно забыли.

В день начала поездки студийцев Хрущев присутствовал на

торжественном открытии своего детища — Московского дворца пионеров и школьников на Воробьевых горах. И «совершил поездку на автопоезде по территории парка»! Как было угадать, что в то же самое время семь тысяч рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода с красными флагами и портретами Ленина направились к центру города. Они прошли два километра и — были расстреляны перед горкомом партии.

По официальным данным было убито двадцать четыре человека (среди них — один школьник), ранено тридцать. Число арестованных не называлось.

Начало этим событиям было положено много раньше. С января по май 1962-го на электровозостроительном заводе несколько раз снижались на 30–35 % расценки. Сделанное директором в сталелитейном цехе заявление вызвало взрыв: «Не хватает денег на мясо и колбасу — ешьте пирожки с ливером». Рабочие включили заводской гудок и объявили забастовку. Были сорваны и сожжены на площади все портреты Хрущева. К городу срочно подтянули армейские части, которые начали проводить массовые аресты. Всего было осуждено 105 человек, семерых приговорили к расстрелу. Среди них была одна женщина.

В связи с намеченным повышением цен личным распоряжением Хрущева еще до 1 июня в Новочеркасск были направлены войска с предписанием иметь при себе боеприпасы. Маршал Малиновский выполнил приказ. Сюда же приехали члены Президиума ЦК Федор Козлов, Анастас Микоян, Дмитрий Полянский и первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов.

И тем не менее нашелся человек, который, рискуя погонами и партбилетом, попытался предотвратить кровавую бойню. Генерал Матвей Шапошников отобрал у солдат амуницию и сделал все, чтобы остановить брошенные на Новочеркасск танки.

Только через 27 лет «Литературная газета» опубликовала его объяснения.

> NB
>
> Первый заместитель командующего Северо-Кавказским военным округом генерал Матвей Шапошников о событиях 1 июня 1962 года (Литературная газета, 1989 год).
>
> «Я хотел напомнить всем, что даже в программе нашей партии записано, что с точки зрения внутренних условий наше общество не нуждается в армии. Доказать им, что это беззаконно и нарушение всех человеческих норм. Спросить руководителей КГБ и МВД, почему если мы были в форме, то они переодели своих людей в

грязные комбинезоны. Я хотел сказать о многом, но на партактив меня не пригласили».

До этого письма генерала в Союз советских писателей вызывали только одну реакцию: согласно статье 70-й Уголовного кодекса его обвиняли в антисоветской агитации и пропаганде. А то, чего не успел сделать Хрущев, сделали его так называемые противники и фактические преемники: в 1967-м генерала исключили из партии.

И когда в конце 1989-го лихие телеведущие начнут доверительно и негодующе рассказывать о подобных «инцидентах» якобы ни о чем не догадывавшимся современникам, это станет продолжением старой лжи и старого курса. О новочеркасской трагедии знали все.

NB

1962 год. А. Войцеховский — Э. Белютину. Варшава.

«Очень понравились мне Ваши последние рисунки. Есть в них по-прежнему тот самый накал, та самая динамика и драматическая напряженность, на которые я столько раз уже обращал внимание. Есть в них тот же непокорный дух, основывающийся на схватывании какого-то фрагмента реального мира (например, абрис головы или глаз, внушающий двойной взгляд — на картину и на действительность, а может быть, и на самого себя?), чтобы в других частях картины разбить силуэт фигуры, затопить ее в фоне, ввести в „разорванное“ движение благодаря нервно проведенному штриху, а в сумме отвести от реальности и дематериализовать.

С глубоким удовлетворением я наблюдаю в них процесс, который в последней своей книге (1960) определил следующим образом Жан Базен: „Предмет должен исчезнуть как предмет, чтобы начать свою жизнь как форма“. Но никогда этот предмет не исчезает у Вас полностью. Всегда существует какой-то скрытый намек на реально существующие события. Это относится к особенностям Вашего стиля. И это еще один повод для сердечных поздравлений в Ваш адрес!»

Черные плашки с белыми строками: «Художники Студии Белютина приглашают вас познакомиться с их новыми работами. Они ждут вас 26 ноября в 18 часов. Адрес: метро „Таганская“, Большая Коммунистическая, 9». На внутреннем развороте — подписи участников. Шестьдесят художников и один скульптор —

для усложнения экспозиции.

Перед самым отъездом из дома на Большой Садовой на выставку раздался звонок из Шереметьева — международного аэропорта: «Успели?» Это был Раймунд Земский, будущий руководитель Польского союза художников, будущий профессор Варшавского художественного института, особенно ценимый в Южной Америке. Поразительно! При всех существовавших препонах так ускорить приезд в Москву, чтобы попасть на вернисаж «Таганки», как станут называть первую выставку русских абстракционистов на европейском телевидении, в газетах тех дней.

«И это ради живописи?!» Раймунд, выставлявшийся во многих странах, не может понять московского чуда: неужели живопись так нужна людям?! Польские гости — вместе с Земским приехали несколько критиков — изумленно наблюдают за переполненным залом. «Это же настоящее торжество живописи!» Народ прибывает и не хочет уходить. Корреспонденты Евровидения держат над головами телекамеры.

Милиционеры появятся, когда караван машин с гостями растянется на всю улицу. Еще ни во что не вмешивающиеся. Еще только наблюдающие. Представитель Министерства культуры СССР обратится к Белютину: «Хотелось бы завтра с утра провести пресс-конференцию для журналистов. Наших и западных». — «На это, по всей вероятности, нужно разрешение?» — «Будет. В том числе и на дополнительную телевизионную съемку картин. Десять утра вас устроит?» Последние зрители разойдутся за полночь.

Утром уже с девяти часов у дверей расположились корреспонденты. Камеры. Осветительная и звукозаписывающая аппаратура. Представитель Министерства культуры протягивает разрешение за множеством подписей: «Больше никого не должно быть. Начнем?» И только уже в ходе пресс-конференции Э. Неизвестный через чуть приоткрытую дверь введет и устроит почему-то за драпировкой маленького человека в толстых очках. В списке приглашенных представитель главного политического контроля страны — Главлита не значился. Он и не будет задавать вопросов — только писать. Старательно. Вероятно, очень подробно. Прикрывая написанное рукой. От любопытных глаз. Мне он хорошо знаком: бывший студент заочного отделения искусствоведения, отчисленный со старшего курса за подделку матрикула. Дело закончилось «волчьим билетом» и — работой в политическом сыске.

Треск камер. Вспышки флешей. Сотрудник Главлита исчезает за дверями и почти сразу раздается взвинченный шепот его

проводника: «Пора кончать! Хватит же, хватит!»

Предусмотрительный скульптор оказался прав. Достаточно было отъехать машинам журналистов, как мастерскую окружила милиция. Все работы из экспозиции сняли и вместе с содержимым запасников выбросили на двор: занятия Студии несколько лет проходили именно здесь. Художникам предложили все разобрать во избежание худших последствий. На двери мастерской легли сургучные печати. Больше официального места для работы Студия Белютина не имела. Но эта подробность уже не вошла в телесюжеты, демонстрировавшиеся на следующий день по всей Европе.

NB

1962 год. П. Л. Капица. Из выступления на Таганской выставке.

«Стимул. Это крайне важно — стимул, помогающий отбрасывать стереотипы: видения, переживания, восприятия. Стереотип — наибольшая опасность для развития человека. Ученый должен постоянно себя вырывать из его рук. Забудешь, скатываешься в удобную рутину, и дороги впереди уже нет. А у них [студийцев] все исключает рутину. Чрезвычайно интересно!»

Илья Эренбург. Из выступления на Таганской выставке.

«Вы знаете, чего я не могу в толк взять? Мотив один и тот же. Работает над ним несколько десятков человек, бок о бок, на виду соседей — и ни малейшего сходства! Все разные! Все индивидуальности. Со стороны будто хор, а в действительности — ансамбль солистов! Чем больше народу, тем каждый увереннее себя чувствует в своем решении. Невероятно!»

Его называли «русским Ремарком» — «советский» к нему не подходило. Прозаик Юрий Гончаров из Воронежа. Мрачноватый, молчаливый человек, едва ли не дольше всех сопротивлявшийся навязываемому мной знакомству с современным западным искусством. Слушатель первого моего выпуска на Высших литературных курсах, он настоял на моем приезде в Воронеж для встреч с местными художниками, писателями, актерами: «Расскажите о направлении „Новая реальность“. Город без малого миллионный, студентов толпы, а дышать нечем. Совсем!» Я приехала в последних числах ноября, после «Таганки». У меня было только два дня, и я использовала их до минуты.

Русская провинция делилась на две неравные части: вдохновенно заядлых консерваторов, восторженно

воспринимающих каждое начальственное указание, и таких же вдохновенных, внутренне просветленных «несогласных», куда менее состоятельных, плохо устроенных и ждущих чуда.

На встрече в Союзе писателей первых, как всегда, было больше. Привычную картину тем не менее нарушало более острое, чем обычно, любопытство. Профессия, даже в искалеченном по советским лекалам виде, ждала обновления. Слайды с удивительной живописью не отвергались сразу. Может быть, потому, что они наталкивали на размышления?

В оперном театре, где шла любопытнейшая постановка «Пиковой дамы» Чайковского (с черными колоннами бального зала и неожиданно романтичным Елецким), большинство труппы оказалось на стороне «Новой реальности»: «Мы забыли об эмоциональных импульсах — нас кастрировали от всяческих собственно человеческих переживаний».

По дороге в Союз художников Гончаров обратил внимание на коренастого старика с маленькой девочкой. В густой толпе на главной улице вокруг них почему-то образовывалось свободное пространство. Дед и внучка шли в пустоте. «Исполнитель приговоров в городском КГБ. На пенсии. Все помнят. Работал без перерыва с двадцатых».

* * *

Мужчина, позвонивший по телефону, представился: «Заведующий Отделом культуры ЦК Дмитрий Поликарпов». Это звучало приглашением к продолжению знакомства. В июне 1962-го он обратился к нам за исторической справкой по существу и характеру эволюции самого института Императорской Академии художеств (задним числом станет известно: предполагалась полная перестройка академии советской). Поликарпов был заинтересован в заключении Белютина. За его отсутствием — Студия находилась в творческой поездке — обращался к соавтору справки.

Сумрачная комната с окнами на Политехнический музей. На огромном столе громоздились белютинские книги, взъерошенные закладками. Одна из книг открыта на странице, где были жирно подчеркнуты красным карандашом строки: «Если бы люди, лишенные собственно человеческих чувств, имели искусство, то это была бы копия с натуры, и они были бы мастеровые, а не творцы…» Видимо, Чистяков по-прежнему не давал покоя власть предержащим!

Поликарпов никогда не отличался приветливостью. Его лицо, напоминавшее маску старого актера, постоянно искажалось нетерпением, нежеланием понимать и дослушивать собеседника. Он приказывал, поучал, повышал голос, раздражаясь и испытывая потребность в раздражении. По существу, его интересовал приход в академию передвижников — русского бидермайера. Помогли ли оживить преподаватели из бывшего враждебного художественного лагеря ее деятельность? Дали ли выработанные на подобной основе решения и рекомендации реальный результат?

Наверно, так должен вестись допрос: вопрос — ответ — снова вопрос, без малейшей паузы на размышления. Но существует ли однозначный ответ?

Да, академия, несмотря ни на какие реформы, не могла дать мощный импульс развитию русской живописи. Нужна была принципиально новая школа: взгляд на мир, ощущение действительности.

«Если материально не поддержать Рафаэля, станет ли он Рафаэлем?» Вопрос прохватывал морозным ознобом равнодушия к человеку. «Да, станет. Несмотря ни на что. Другое дело, дойдут ли в результате его работы до зрителя, не погибнут ли на чердаках и в подвалах».

«Понадобятся друзья, родственники. Всегда найдутся

доброхоты». — «Расчет на случай? И это при возможностях нашего государства?» Равнодушно поднятые плечи: «Кстати, вы знакомы с идеей контрактации и ее принципами? Возьмите».

В руках квадратная книжечка: «Каталог антиимпериалистической выставки. ОГИЗ — Изогиз. Москва — 1931 — Ленинград». Заложенная страница: «Большинство работ на „Антиимпериалистической выставке“ выполнены в порядке контрактации, поставленной на твердые организационные рельсы Изогизом, сделавшим контрактацию [гарантированную оплату по заданной теме. — *Н. М.*] одним из основных методов новой творческой работы среди руководящей части художников. Живописные образцы работ контрактантов на данной выставке ясно говорят о решительной перестройке художников, об их полном отказе от нейтральной тематики. И от пейзажного прикрытия…» Перестройка за деньги?

«Сколько получали члены Императорской Академии художеств?» — «Ничего». — «Какие привилегии имели?» — «Почет, который признавался далеко не всеми». — «Но все же стремились к избранию?» — «Некоторые». — «А остальные?» — «Отказывались. Как Василий Суриков».

Последние слова в кабинете: «Альтернатива очевидна, хотя практически не так проста: или восстановить контрактацию, или…» — Поверить в художника? Оставить его в покое? Перестать им руководить? Ответа не последовало.

…Теперь Поликарпову нужен был только Белютин: «Мы предлагаем показать полный состав вашей Таганской выставки в Манеже. Безо всякого вмешательства с нашей стороны. Экспозицию сделайте сами и по своему усмотрению. Картины соберем у авторов. Рабочих предоставим. Завтра утром Манеж посетят руководители партии и правительства». — «Там есть место на выставке МОСХа?» — «В вашем распоряжении второй этаж».

Разосланные по адресам машины уже были в пути. В залитом светом Манеже работа продолжалась почти всю ночь. В присутствии Поликарпова и расточавшей любезности кокетливой Фурцевой. Приехавший первым начальник личной охраны Хрущева внимательно осмотрел залы: «Не волнуйтесь, все будет о’кей!»

* * *

Последний прокатившийся где-то вдалеке удар кремлевских курантов — отсчет времени кончился. 1 декабря 1962-го. Десять

утра.

Машины начали подлетать с такой скоростью, будто ехали издалека. Широкий разворот. Свист шин. Фонтан снега. Хлопок дверцы. И очередная «чайка» повторяла щегольски разученный маневр.

Хотя Хрущев вышел первым, в дверях вестибюля его уже окружала свита, успевшая добежать до установленных ранжиром мест. Лицо премьера было необычно серым. На скулах играли желваки: «Ну, где у вас тут праведники, где грешники — показывайте».

Было непонятно, что раздражало его: необходимость произносить эти слова или невидимые капли грязи, сумевшие осесть на носках ботинок, хотя асфальт перед главным подъездом Манежа был выскоблен и, казалось, протерт досуха. Хрущев смотрел вниз.

Голос был усталым и неприязненным. Положенная протоколом улыбка смялась на губах и сменилась гримасой: «Так что там с праведниками и грешниками?»

Наверно, что-то в этом обороте не было предусмотрено. Глаза Ильичева насторожились. Чуть задержались Косыгин и Полянский. Повел плечами Кириленко. Отвели взгляды Суслов и Шелепин. После секундной заминки все задвигались, заторопились присоединиться, раствориться, не дай бог оказаться на пути.

Начальник личной охраны незаметно распорядился своими силами. Образовавшийся вокруг членов Политбюро круг сомкнулся для всех остальных, отодвинув руководителей Союза художников, нескольких начальников из Министерства культуры СССР, работников ЦК, считаных журналистов и фотокорреспондентов. За спиной премьера показались стенографистки, на ходу начавшие свою кропотливую работу.

Было видно, как в полном смысле слова приник к Суслову Владимир Серов — руководитель Союза художников РСФСР. Между премьером и Сусловым метался помощник по культуре Лебедев, взъерошенный, растерянно поблескивавший очками, на ходу бросавший какие-то команды не замечавшим его охранникам.

Кортеж двинулся вдоль левой стены нижнего этажа, не обращая внимания на картины. Первые пояснения принадлежали Поликарпову: число участников, число произведений, народных — столько-то, заслуженных — столько-то, именитых…

После первых отсеков шаги начали ускоряться — Манеж явно давил своими масштабами. Но существовал сценарий осмотра. Старательно отработанный во всех деталях. Подогнанный к

особенностям характера Хрущева и к его интересам. К тому, что занимало премьера в последнее время и могло вызвать совершенно определенную реакцию.

Закупочные цены! Никакой оценки художественных достоинств. Только деньги, потраченные музеями на приобретение отдельных произведений. К тому же суммы запутанные — до и после проведенной денежной реформы. Отношение 1:10 с жонглерской ловкостью срабатывало за и против показываемых картин.

Все напоминало хорошо поставленный балет. В нужных местах Суслов чуть отодвигался, давая место напористо рвавшемуся к премьеру Серову. Обвинение было сформулировано, примеры должны были его подтверждать и усиливать. На нарушения законов красоты в конце концов можно было и закрыть глаза, если бы не трата народных средств («налоги НАШИХ трудящихся!») и прямой грабеж государства.

Годом раньше на другой выставке Хрущев мог сказать: «Вопросы оценки произведений — ваши профессиональные вопросы, и вам незачем ко мне апеллировать. Каждый должен заниматься своим делом». Теперь же в нем приходил в негодование рачительный хозяин, умевший, по его собственному убеждению, дорожить каждым рублем. И сколько же надо было пережить народу, чтобы самые обороты речи, сама форма властного окрика и угрозы не вызывали негодования, оставались невоспринятыми!

И все-таки — все-таки главным было не это. Но вошедшее в плоть и кровь, ставшее существом натуры ощущение полного бесправия художника. Суд зрителей, грамотный или неграмотный, тонкий и проникновенный или вкусовой и никак не пережитый, мог быть даже злобным, даже роковым в своих психологических последствиях — только не грозившим гражданской смертью и политической расправой. Так было всегда, но в России так уже не было больше тридцати лет. Начиная с «исправления попутчиков» и выяснения классовых позиций каждого из бесчисленных художественных объединений в 1920-х годах.

Проблем компетентности партийных судей и их ставленников не существовало, как не существовало сомнения и в том, что все собственно профессиональные вопросы выдвигаются исключительно как дымовая завеса для сокрытия классового облика «попутчика». Подобное определение каждого художника продолжало существовать в сознании всех тех, кто взял бразды партийного правления на рубеже 1920–1930-х годов.

Натюрморт Фалька, повешенный где-то в верхнем ряду. В

полутьме. В результате лишенный той цветовой сложности, которая составляла смысл его раскатившихся по столу картофелин. Ничто не поддавалось литературному описанию, и впечатление от лилово-серой гаммы было сродни впечатлению от музыкального этюда. Трепетная и недоступная равнодушным глазам красота повседневного мира.

«Вот видите натюрморт?» — «Да там ничего толком не разглядишь». — «Вот именно ничего. И за это художнику заплачено 50 тысяч рублей». — «Что-о-о?!» Глаза Хрущева превращаются в щелочки, щеки начинают подпрыгивать. Короткая рука судорожно рубит воздух: «Пятьдесят? За эту мазню? Да вы что?!»

Лица членов Политбюро сохраняют равнодушие. По-видимому, истерические выкрики им привычны и, может быть, даже не влекут за собой серьезных последствий. «Да мой внук, если захочет, лучше нарисует. Тоже мне картина! Тоже мне работа! Мазня!» Слово пришлось по вкусу. Повторяется на разных нотах. Доставляет удовольствие. Разрядку. «Мазня!» В напряженной, вибрирующей тишине ни звука, ни дыхания. Все ждут.

«Такое и осел хвостом намалюет. Денег ему дать! Денег на билет до границы — пусть уезжает туда, где его мазня будет нравиться. Советскому народу она не нужна. Вон из нашей страны!»

Но его же нет. Четыре года как нет. Перед глазами разрытая яма в песке Калитниковского кладбища. Прощание без прощальных слов. Без почестей, пусть казенных, трафаретных. Страх. Гнетущий страх, от которого покойному наконец-то удалось уйти.

Сразу после отъезда Хрущева удается задать вопрос председателю Союза художников СССР Сергею Герасимову: «Вы же знали, это была первая разрешенная музеям покупка Фалька, Штеренберга, Древина. Вы не могли не знать, Штеренберг уже давно не в состоянии жить на свою живопись, а Фальк никогда».

Поджатые губы. Захолодевшие глаза. «Этим вопросом мне не приходилось заниматься. Как руководителю Союза». — «А как человеку?» Злое молчание…

Разве не правда, что между «правильными» и «неправильными» художниками, как и писателями, давно и прочно пролегла пропасть: миллиардеры и бедняки, принцы и нищие? Нищие в самом буквальном и страшном смысле слова. Как вычеркнуть из памяти картину: у киоска с художественными принадлежностями в подвальном помещении МОСХа на Беговой сгорбленная фигура старика в пальто, помнящем довоенные годы.

Истертом до белизны на швах. Залатанном черным сатином у карманов. И ладонь с мелочью, на которой он пытается отсчитать копейки на покупку самого маленького тюбика самой дешевой краски. «Я давно, знаете ли, обхожусь землями. Кадмий и зелень по карману…»

Да понимаете ли вы, что ему НЕОБХОДИМО ПИСАТЬ! Так же, как вам. Больше, чем вам. Потому что для вас это деньги, для него — смысл жизни, и он знает, в свои семьдесят с лишним лет твердо знает, что у него денег на самое необходимое уже не будет никогда. Откуда у вас уверенность, что его способности не заслуживают своего места в истории и не могут идти ни в какое сравнение с вашими? Потребности — да, конечно. Но способности?!

Что это — презрение к отверженным? Потому что среди тех, на чью долю выпали все унижения старости, большинство — жертвы бесчисленных кампаний, бушевавших на фронтах культуры и прежде всего на изофронте. Форма утверждения собственной позиции в искусстве, форма борьбы с идейными противниками по принципу: «Ура пролетарскому искусству — бей „Голубую розу“?»

И в этом искаженном, трансформированном представлении об искусстве полное отсутствие простой человечности, мысли о духовных ценностях. В искусстве можно спорить творчеством, произведениями — если вообще здесь уместны поединки — но методами физического уничтожения?! Насилия и попрания чувства профессионального и человеческого достоинства?

Осмотр подходит к концу. Хрущев с бранью перебрал всех «леваков» и резко поворачивает к выходу: «Мы научим вас беречь государственные деньги! Совсем распоясались! Работать разучились!»

На пути премьера вырастает Суслов: «Еще несколько залов наверху» — и неслышный шепоток. Почтительный и доверительный. Что-то неуловимое возникло в отношениях этих людей, и Суслов явно не собирается потерять выигранного. Вернее — отыгранного. Слишком много поставлено на карту для былого доверенного сотрудника. Это он корпел над составлением бесчисленных выступлений премьера и всего несколько дней назад лишился своих исключительных прав: его функции целиком перешли в руки Леонида Ильичева. Суслов оказался и вне вновь образованной Идеологической комиссии при ЦК. От былого специалиста по идеологии явно хотели избавиться.

Секундное замешательство. Хрущев досадливо морщится. Будто колеблется. Но кортеж угодливо разворачивается. Уже направляется к лестнице. Уже пристраивается за премьером.

«Ладно!» И снова торопливый шепоток. Информация Суслова не укладывается в несколько слов, затягивается, продолжается уже на лестнице.

На верхней площадке группа художников — из участников всей Манежной выставки были приглашены только тринадцать студийцев. «Я еще не видел ваших работ. Но вот они, — кивок в сторону Суслова и исчезнувшего за его спиной Серова, — говорят, что у вас мазня. И я им верю».

Неловкая пауза. Премьер делает шаг в направлении зала: «Значит, как это называется — Студия Белютина?»

NB

Из дневниковых записей Э. Белютина.

«Черная масса людей вышла из-за последнего щита в зале и стала подниматься по лестнице. Было тихо. Мы стояли группой. Нас было тринадцать мужчин и одна женщина. Возраст от 25 до 35 лет. Многие с бородами, с длинными волосами, мрачные и молчаливые.

Хрущев прошел несколько ступенек: „Куда?“

Я вышел вперед и показал рукой на зал.

— Спасибо, — сказал Хрущев.

Я открыл дверь. Хрущев остановился. Комната была пуста.

Электрический свет заливал стены, на которых висели яркие портреты, пейзажи, картины. Они были экспрессивны по цвету и рисунку.

— Где тут главный, где господин Белютин? — спросил Хрущев.

Головы Косыгина, Полянского, Суслова, Шелепина повернулись в мою сторону.

— Вы помните своего отца? — спросил Хрущев.

— Нет, — сказал я.

— Как можно не помнить своего отца? — спросил Хрущев.

— Он умер, когда мне было два года, — ответил я.

— Кто умер? — спросил Хрущев.

Я смотрел на беспокойные зрачки Хрущева в чересчур белых белках. Морщины, которые появились на его лбу, не говорили о желании понять возникшее препятствие. Он злился.

— Отец, — сказал я.

— Кем он был? — спросил Хрущев.

Я подумал: не все ли равно, когда его расстреляли?..

Кругом стояли люди, которых я привык видеть на

размокших от дождя и снега портретах. Их лица, равнодушные и скучающие, смотрели на меня.

— Где вы работаете? — спросил Хрущев.

— Он преподает в Полиграфическом институте, — раздался за спиной услужливый женский голос.

Я обернулся. Это говорила Фурцева. Ночью, когда мы развешивали картины, она приехала в Манеж и, протянув мне руку, сказала: „Какой вы славный, Белютин“. Ведь еще не было известно, как все обернется.

— Ваша информация неверна, — сказал я. — Я давно там не работаю.

Кругом по-прежнему было тихо…»

Толпа замешкалась в дверях, пропуская членов Политбюро. Кто-то не решался войти в зал, чтобы не помешать обзору картин. Кому-то не давали выдвинуться вперед. Хрущев продолжал молчать, внимательно рассматривал художников и словно не замечал стен. Он то ли осваивался с необычной обстановкой, то ли что-то решал для себя. Бессмысленные вопросы… Нет, они не были бессмысленными. Это была первая часть программы, подсказанная всей практикой сталинских лет.

Происхождение! Все необычное, не укладывающееся в рамки официальной доктрины, объяснялось непролетарским происхождением, вносившим чужеродные элементы в социально чистую, незапятнанную никакими враждебными влияниями социалистическую культуру. Тема «попутчиков» и сочувствующих подспудно жила и процветала — недаром с нее начинались любые анкеты, любые автобиографии.

Не вышло с руководителем Студии. Не вышло и с Люцианом Грибковым. Сын машинистки, прошедший от звонка до звонка Финскую и Великую Отечественную в рядах царицы полей — пехоты. Владимир Шорц — вот тут, наконец, блеснул луч надежды. Мать — медицинский работник. Хрущев торжествующе: «Значит, врач?» — «Санитарка». И тоже Великая Отечественная, фронтовые дороги.

Неловкость — ее испытывали почти все. Неловкость от бесцеремонности. От неприкрытого желания вытащить на свет Божий из личной жизни человека что-то такое, что могло бы скомпрометировать, унизить, «разоблачить». Побледневшие лица студийцев. После фронтовых лет совсем не просто было сдержаться, не возмутиться, стерпеть хозяйский тон впервые увиденного вблизи человека. А может, и не надо было терпеть?

В том-то и дело, что надо. Не для себя — для всех. Начальник личной охраны мимоходом, одними губами: «Только не спорьте.

Промолчите. Может, обойдется. Иначе…» Слова секретаря Московского горкома партии: «Только бы не вывести из себя, а то…» Красноречиво положенный на губы палец Полянского. Срывающийся голос Э. Неизвестного, только что шептавшегося в углу с Шелепиным и человеком в сером костюме: «Мне сказали… мне посоветовали… Главное не возражать. Они говорят, он еще может успокоиться, может…»

Недоумение, возникшее в начале правительственного посещения, начинало уступать место опасениям. Еще не страху. Но и до страха было совсем недалеко.

NB

Из дневниковых записей Э. Белютина.

«Кругом по-прежнему было тихо. Никто больше не говорил, и маленький человек с серой кожей тоже молчал.

Вдруг резко мигнула флешь.

— Зачем вы созвали пресс-конференцию? — раздался голос человека, стоявшего рядом с Хрущевым. Это говорил Павлов, сорокалетний потный мальчик с пухлыми губами, секретарь ЦК комсомола.

— Я не созывал пресс-конференции, — сказал я.

— Хватит, — неожиданно обрезал Хрущев.

Он был царем. Он повелевал здесь. И хотя по лицам других членов правительства было видно, что все происходящее им явно не нравится, он один имел право ни на что не обращать внимания.

— Ну, ладно, — сказал Хрущев, — а теперь в чем тут дело?

Это был уже какой-то шанс, и я увидел, как по-разному насторожились Суслов, Шелепин, Аджубей.

— Эти художники, работы которых вы видите, — начал я, решив не называть премьера по имени-отчеству, — много ездят по стране, любят ее и стремятся передать не только по зрительным впечатлениям, но и сердцем.

— Где глаза, там и сердце, — сообщил Хрущев.

— Поэтому их картины передают не копию природы, — продолжал я, не реагируя на хрущевскую реплику. — Возьмите эту картину „Спасские ворота“. Уголок Красной площади легко узнать. А цветовое решение усиливает ощущение величия и мощи.

Я говорил нарочно самыми обычными словами, которыми принято в советских газетах объяснять

живопись. Хрущев слушал молча, наклонив голову. Никто нас не прерывал, и, казалось, пройдет еще десять минут — и неприязненное начало сотрется. Но этих десяти минут не оказалось. Посреди моего достаточно долгого объяснения сухая жилистая шея Суслова наклонилась к Хрущеву, и тот неожиданно взорвался:

— Да что вы говорите, какой это Кремль! Это издевательство! Где тут зубцы на стенах — почему их не видно? — И тут же ему вдруг стало не по себе, и он добавил почти вежливо: — Очень общо и непонятно. Вот что, Белютин, я вам говорю как Председатель Совета Министров: все это не нужно советскому народу. Понимаете, это я вам говорю!

Ему опять стало не по себе. Лицо его менялось, а маленькие глаза забегали по окружающим.

— Но вы, Серов, тоже не умеете хорошо писать, — сказал Хрущев, обращаясь в сторону двери. — Вот я помню, мы посетили Дрезденскую галерею. Нам показали картину — вот там так были написаны руки, что даже в лупу мазков не различишь. А вы тоже так не умеете.

Наступившая пауза действовала на всех. А то, что я после слов „это советскому народу не нужно“ повернулся к премьеру спиной, еще больше накалило обстановку. И Суслов, откровенно заинтересованный в ее дальнейшем обострении, решил снова сыграть на мне. Его голос был хрипловат и мягок:

— Вы не могли бы продолжить объяснения?

— Пожалуйста, — сказал я, глядя в его умные холодные глаза, загоревшиеся, как у прирожденного игрока. — Эта группа художников считает, что эмоциональная приподнятость цветового решения картины усиливает образ и тем самым создает возможность для более активного воздействия искусства на зрителя.

— Ну а как насчет правдивости изображения? — спросил Суслов.

— А разве исторические картины Сурикова, полные исторических неточностей, образно не правдивы? — сказал я.

Возникла дискуссия, для которой у Суслова явно не хватало эрудиции, и он круто повернул.

— А что это изображает? — спросил он, показывая жутковатый пейзаж города Вольска художника Виктора

Миронова.

— Вольск, — сказал я. — Город цементных заводов, где все затянуто тонкой серой пылью и где люди вынуждены работать и жить, не обращая на это внимания.

— Как вы можете говорить о пыли! Да вы были когда-нибудь в Вольске? — почти закричал Суслов. В голосе его была неожиданная страстность, я даже подумал, не был ли он там когда-нибудь первым секретарем горкома партии. — Да там все в белых халатах работают! Вот какая там чистота! — продолжал кричать Суслов.

Белые халаты… Я вспомнил этот город, где стоял наш пароход, — серый, с чахлыми поникшими деревцами. Пыль, которая густым облаком стояла над ним и была видна за десятки километров.

— Да это что за завод? Тут изображен „Красный пролетарий“, да? Так почему же у него столько труб? У него их только четыре, — не унимался Суслов. Его уже явно наигранное возмущение должно было показать, что он полностью согласен с Хрущевым в том, что „мазня“ к тому же еще компрометирует советскую промышленность.

— При чем здесь трубы? Художник, создавая образ города, имел право для усиления впечатления написать несколько лишних труб, — сказал я.

— Это вы так думаете, а мы думаем, что он не имел права так писать, — продолжал Суслов.

Я пожал плечами и молча улыбнулся… Люди вокруг начали двигаться».

Теперь расстановка сил не вызывала сомнений. Суслов целиком завладел не просто вниманием — настроением Хрущева. Его нелепые вопросы, взвинченный, истерический тон вызывали премьера на ответную реакцию. Он искал, откровенно искал болевые точки, заглядывая Хрущеву в глаза, впившись взглядом в его лицо.

Непонятно было одно: полное невмешательство остальных членов Политбюро. Они не были согласны с происходящим, но и не пытались ему противостоять. Ни слова собственной оценки, ни слова в поддержку на глазах оживавшего Суслова. Просто замкнувшееся в себе, осуждающее холодное молчание.

Премьер направился к двери слишком стремительно, чтобы сгрудившаяся у входа толпа успела вовремя расступиться.

Лебедев всем своим тщедушным телом, широко расставленными руками напирал на любопытных. Впервые дали о себе знать охранники.

NB

Из дневниковых записей Э. Белютина.

«Хрущев, которому, вероятно, надоел неубедительный диалог Суслова, повернулся, чтобы пройти в соседнюю небольшую комнату, где стояли на столе фигурки Э. Неизвестного. Я поискал Неизвестного глазами и увидел его снова стоящим около Шелепина и еще какого-то человека. Этот высокий человек что-то торопливо говорил ему, и Неизвестный с побелевшими щеками кивал в знак согласия.

Все начали выходить, и я остался один в пустом зале с ощущением того, что, может быть, еще не все потеряно… Уверенность в полублагополучном исходе в конце концов имела достаточно оснований. Прежде всего сам факт приезда Хрущева и то, что, несмотря на усилия Суслова и сусловских помощников, Хрущев вышел из нашего зала достаточно успокоенным.

Но главным было то, что в опустевший зал, где я стоял, неожиданно вошли Кириленко и Полянский. Полянский направился ко мне и сказал:

— Не расстраивайтесь, товарищ Белютин, все не так плохо, как вам, наверное, кажется.

— Да я так не думаю, — ответил я.

— Я хочу, — сказал Полянский, — вам от лица Идеологической комиссии заявить, что 60–70 работ ваших товарищей, если вы этого захотите, будут помещены в нижних залах.

— Спасибо, — сказал я, — но это, наверное, необязательно.

В этот момент вошли мои ученики, и разговор прервался. Студийцы окружили нас, и началась удивительно свободная беседа. Но вдруг раздался истерический голос Хрущева. Его голос был визгливым и удивительно пронзительным:

— Запретить! Все запретить! Прекратить это безобразие! Я приказываю! Я говорю!

Лица коллег Хрущева вытянулись. Наверное, за годы его правления они привыкли ко многому, но это уже было чересчур.

— И проследить за всем! И на радио, и на

телевидении, и в печати всех поклонников этого выкорчевать!

Я подошел к двери нашего зала. Хрущев уже спускался по лестнице, размахивая руками, весь в красных пятнах. Рядом с ним шел, не скрывая торжества, Суслов и явно обеспокоенный Косыгин. У всех, даже у фотокорреспондентов, на лицах застыло изумление.

И вдруг в полутьме комнаты, соединяющей все залы, раздался ликующий голос Серова, самого реакционного художника сталинского толка. Он почти кричал, потный, толстый, готовый в свои пятьдесят лет скакать, прыгать от восторга: „Случилось невероятное, понимаете, невероятное: мы выиграли!“»

Так, значит, все уже было готово? Сразу за ушедшим премьером двери в залы Студии были закрыты и опечатаны. Больше туда не вошел никто. Никто не мог их увидеть. «А наши работы?» Директор Манежа Н. Н. Шмидт (он и в 1998-м оставался на той же должности) пожал плечами: «У меня нет разрешения вам их вернуть». — «Это что, арест или конфискация?» — «Думайте, как хотите».

Часть картин удалось получить почти через год. Остальные исчезли. Может быть, были уничтожены. Ни объяснений, ни извинений не последовало. «Они» действительно победили.

NB

Н. С. Хрущев «Воспоминания».

«Я по существу остаюсь противником абстракционистов. Просто не понимаю их, потому и против. Мне больше по душе реалистическое направление… Но бывают и… такие джазовые выступления, что я выключаю радио: передают музыку, которая действует на нервы. Не музыка, а какая-то какофония. Не понимаю я ни таких композиторов, ни людей, которым нравится их музыка. Но это я — о себе. К тому же я человек уже старый, воспитанный на иных формах музыкального искусства. Мне нравятся народное пение, народные танцы, народная музыка. Конечно, и классическая. Но все же не джазовая. Я здесь вроде приношу покаяние, но и его приношу не абсолютно: по форме признаю допущенные в мое время ошибки, когда я имел возможность административно поддерживать или запрещать какие-то творческие направления. Внутренне же я и сейчас против некоторых из них. Просто подчеркиваю, что так бороться с тем, что не нравится,

нельзя.

Скажу несколько слов о Пастернаке. Я не берусь судить о его поэтическом творчестве и могу лишь воспользоваться мнением тех поэтов, которые очень высоко ценили созданное Пастернаком, включая его переводы с иностранных языков. Он среди прочего написал роман „Доктор Живаго“ и очень хотел, чтобы его напечатали. Как решался вопрос об этом произведении? Докладывал мне о нем Суслов, шефствовавший над нашей агитацией и пропагандой. Без Суслова в таких вопросах не могло обойтись. Он сообщил, что данное произведение плохое, не выдержано в советском духе. В деталях его аргументов не помню. А выдумывать не хочу. Одним словом, недостойная вещь, печатать ее не стоит. Такое решение и приняли. Полагаю, что на той стадии событий, кроме Суслова, никто из ответственных лиц романа не читал. Я сомневаюсь даже, что и Суслов его прочел. Ему тоже, наверное, дали справку с изложением содержания произведения на трех страничках… Не надо было мне поддерживать в таких вопросах Суслова. Пусть признание автора зависит от читателя. А получилось по-другому: автор трудился, его признали во всем мире, а в СССР административными мерами запрещают.

Вообще же наиболее страдающая категория советского населения — наша интеллигенция. Творческие личности отображают в своих произведениях отношения между людьми, их духовные переживания, их контакты с властями и окружающей средой. Здесь писатель нередко попадает в тяжелую ситуацию. Начинают вмешиваться в его работу, контролировать его, вводить цензуру. Говорят, что у нас нет цензуры. Это чепуха! Болтовня для детей. У нас не только самая настоящая, но, я бы даже сказал, крайне жестокая цензура.

…Функции околоточного выполнял раньше и по-прежнему выполняет сейчас наш главный околоточный Суслов. Конечно, лично он человек честный и преданный коммунистическим идеям. Но его политическая ограниченность наносит большой вред. Мне могут сказать: „Чего ж ты терпел, находясь в руководстве страны вместе с Сусловым?“ Верно, ошибался я. Мало ли ошибок человек может допустить в своей жизни. Просто я считал, что Суслов будет работать в нашем коллективе,

а мы сумеем на него повлиять, и он станет приносить пользу. Потому я не ставил вопроса о его замене, хотя ко мне многие люди еще тогда обращались с предупреждениями, что Суслов играет отрицательную роль. Интеллигенция к нему относилась плохо».

* * *

Телефон почти не умолкал. Звонил взбудораженный Раймунд Земский: «Я же только что из Москвы. Разговаривал в редакциях газеты „Советская культура“, журнала „Искусство“. Они — не я! — толковали о новых тенденциях и их освещении в печати, о выставках, готовили материал о белютинцах. В чем дело?!»

Непривычно торопливо осведомлялся о новостях Львовский профессор Павел Жолтовский: «Как в столице? У нас, похоже, скоро начнут жечь картины. Для меня все похоже на 32-й год». О существе дискуссий газетного толка профессор не хотел знать: «Наша бумага все стерпит». Его интересовали одни практические действия премьера — скатился ли на сталинскую дорожку или найдет в себе силы удержаться? «Он-то, может, и удержался бы, да больно советчики у него лихие».

Мягкий, старомодно-вежливый голос Хенрика Стажевски: «Поверьте моему опыту — можно выдержать. Такое долго не продлится. Тем более в начале шестидесятых. Не то время. Главное — не изменить себе. Для художника — это смерть».

Старый мастер не мог себе простить, что в период наиболее жесткого напора соцреализма в Польше написал картину «На возрожденных землях» — тракторист за рулем. Хотя трудно себе представить более выразительный и исчерпывающий смысл официального и официозного искусства: механически расчерченная машина, пустой китель, пустое плакатное лицо под залитым одной краской фанерным небом. Отписка нарочито отстранившегося от собственного полотна художника, которую от него требовали министр культуры и руководители Союза художников как условия сохранения за мастером мастерской и права на краски — они выдавались строго по талонам и под наблюдением самого министра. Запретить писать — разве поставленные условия не были адекватны мерам Третьего рейха?!

В словах Александра Войцеховского растерянность и недоумение: «Разве не прошли времена, когда об искусстве в Советском Союзе судили не специалисты, а функционеры? Ведь это же либеральный Хрущев! Такой восприимчивый к новому, такой…» Что и говорить, Запад всегда увлекался советскими

руководителями вопреки отношению советского народа. Хрущев никогда не вызывал народных симпатий и ни в чем не оставил по себе доброй памяти. Остается признать: народ и на этот раз оказался мудрее собственной интеллигенции. Во всяком случае, немалой ее части.

Звонок из Парижа, с острова Святого Людовика. Романовичи: «Что у вас? Может быть, все-таки ошибка? Недоразумение? Случайность? Или — вы думаете…» Вопрос повис в воздухе. Что могли они, парижане, знать о том, что происходило у нас? Разве что обращаться мыслью к собственной жизни, к тому опыту, который еще никогда и никому не удавалось передать. В галерее Ламбер открывалась большая персональная выставка Белютина.

К Зофье Романовичевой отношение особое. В 1958 году одновременно с опубликованными «Пшеглёндом артистичным» военными рисунками Белютина вышла ее повесть «Баська и Барбара» и «Пробы и замыслы» — страшная своей спокойной откровенностью повесть о фашистских застенках. Уроженка Радома, Зося в двадцать один год была арестована вместе с отцом и отправлена в Равенсбрук, позже в концлагерь под Карлсбадом. Среднее образование ей удалось завершить после войны в Италии, высшее — в Сорбонне. Но лагерная тема останется главной во всем том, что она будет писать: «Переход через Кровавое море», «Спокойное око лазури».

Мысль о репрессиях — она витала в воздухе, хотя никто еще не мог знать роковых хрущевских слов о согласии со Сталиным в вопросах культуры. Почти сразу после Манежа к нам заедет литературный секретарь Эренбурга Наталья Столярова: «Илья Григорьевич считает этот разговор не телефонным. Он хотел знать ваше мнение, начнут ли и как скоро сажать».

Нет, дело было не в страхе, а в чем-то гораздо худшем и унизительном для человеческого достоинства — в той безответной покорности, с которой принималась подобная перспектива. После XX и XXII съездов, после миллионных реабилитаций и снятия повсюду монументов Сталина. Памятники Ленину, почти такие же многочисленные, сохранились везде. Вот так, совсем обыденно и просто, без претензий и требований к тому, кто угрожал эту атмосферу восстановить!

«Вы думаете, — Зофью Романовичеву не смущает линия международного телефона, — о… враждебных действиях правительства против искусства? Но ведь это не самое худшее. По большому счету настоящая трагедия в том, что люди перестанут верить искусству — понятному и непонятному, по-настоящему искреннему и действительно ищущему. Перестанут верить, потому что в нем не будет выражаться их внутренний мир. Пусть

сегодня они сами не усматривают в картине выражения этого мира, но завтра это станет очевидно каждому, а уж их потомкам тем более. Без веры ничего нельзя созидать, только разрушать, но неужели еще недостаточно развалин Второй мировой?!»

Разговор затягивается. Почему-то его не дали на наш домашний телефон, но вызвали на переговорный пункт при телефонном узле. В трубке поспешное, как от бега, дыхание Зоси. Зося торопится, боится недоговорить, польские слова путаются с французскими. И вместе со словами прощания: «Наверно, это не слишком ловко, но перечитайте начало моего „Спокойного ока лазури“. Самое начало, всего один абзац…

„Трудно это объяснить, а сегодня и понять трудно, но в известном смысле к концу третьей недели мы привыкли. Без этого кто бы смог жить и кто бы пережил?“» Это строки сразу после вынесенных в эпиграф стихов Норвида:

Над Капулетти и Монтекки домами,
Омытое дождями, тронутое громами
Спокойное око лазури
Смотрит на развалины враждующих городов,
На разрушенные ворота садов
И звезды сбрасывает с высоты.
Кипарисы говорят, что это — для Джульетты,
Что для Ромео, слеза с иной планеты
Спадает и в их могилы течет.
А люди твердят и толкует наука,
Что это не слезы — всего лишь камни
И что никто их здесь не ждет.

* * *

Несколько дней после Манежа. Квартира Э. Белютина на Большой Садовой. Неожиданные гости — полный состав так называемой лианозовской группы. Оскар Рабин с женой Валентиной Кропивницкой и сыном, брат Валентины — Кропивницкий-младший с супругой (она станет вскоре хранителем Музея крепостных художников Феликса Вишневского, находившегося под особой опекой министра культуры Фурцевой). Возбужденные, радостные лица. Предложение с ходу: «они» признали существование неофициального искусства. Надо действовать. Как? Само собой разумеется, через иностранцев. Искать контакты, общаться, продавать, как можно больше

продавать — цена значения не имеет. Но главное — уходить в подполье.

«Подполье?» — «Естественно. Так заманчивей и для покупателей, и для менеджеров. Потом можно подумать и о выставках. Само собой разумеется, квартирных». — «Вас не смущает существование органов?» — «Ни в коей мере. С ними все будет в порядке».

Нет, это не был путь для многотысячного движения, для Студии. К личной известности, личному благополучию, может быть. Но при этом снималась самая основная проблема — духовной среды, решить которую студийцы пытались, как и художники 1920-х годов. Оскар Рабин, впрочем, и не имел в виду такого числа живописцев — слишком велика конкуренция! Предложение относилось лично к Белютину и, в крайних случаях, к нескольким — по его выбору — студийцам. С движением надо кончать, и, по выражению Рабина, чем скорее, тем лучше. Одиночки пробьются быстрее и поднимутся выше. На международной бирже, о которой одной и стоит думать.

Но с одиночками была связана еще одна проблема, которая не могла не волновать «лианозовцев», — простота манипулирования ими соответствующих аппаратчиков. Они не представляли явления художественной жизни — пусть даже негативного, но все равно требующего внимания и определенного отношения со стороны руководителей. Их было одинаково легко осуждать, если появлялась необходимость убирать или, наоборот, в порядке доказательства некой происходящей в стране либерализации предлагать иностранным гостям. Не случайно с каждым из них будут лично знакомы инструкторы горкома партии, которые никогда не найдут времени встретиться со студийцами. То, что руководитель Студии отверг заманчивое для самолюбия предложение, ничего не изменило. Тщательно организованное, отобранное и рассчитанное «подполье» начинало свою активную деятельность.

Хотя иностранцам в 1962 году выезд за пределы Москвы был запрещен, дипломаты и туристы получали право свободного посещения Лианозова. Многочисленные переводчики и сопровождающие подсказывают такую возможность, заранее включают ее в расписание.

Неожиданно заявляет о себе заведующий хозяйством посольства Канады Георгий Костаки. Как коллекционер и покровитель «подпольных» художников. Характер его службы не мешает ему находиться в постоянных контактах с ними, хотя Ильичев и заявляет, что партия и правительство непримиримы «ко всякого рода отступлениям от завоеванных в борьбе и

подтвержденных жизнью принципов социалистического искусства». Не менее необычным для подобной роли было и жилье нового мецената.

Убогий деревянный домишко в глубине двора, на изломе Сытинского и Спиридоньевского переулков. Покосившаяся лестница. Коммуналка с развешанными по стенам коридора велосипедами, корытами, тазами. Голландские печи. Две комнаты с выделенной из коридора крохотной прихожей между ними, которую почти полностью занимал чугунный газовый котел для автономного водяного отопления. Почти без мебели. С разбросанными на полу матрасами, где копалось несколько малышей. С несколькими очень средними картинами XIX века на стенах. И иконами. Поздними. В начищенных до зеркального блеска окладах.

Хозяин, не столько хвастающийся своими приобретениями, путающийся в именах, сколько пытающийся что-нибудь о них разузнать. Но, наверно, самое главное — подоконники, заставленные прямоугольными банками с американским топленым маслом. Вместе с редкими еще тогда капроновыми чулками оно служило обменной единицей при получении картин у художников.

Все происходило одновременно и одинаково стремительно. Идеологам в партийном аппарате и органах нужно было срочно переустраивать художественную жизнь. Скорее всего под давлением иностранной прессы и продолжающегося потока протестных писем.

* * *

…Две недели ожидания. Не столько тревожного, сколько мучительного в своей непонятности. День ото дня мутная волна нараставшей кампании поднималась все выше. Статьи. Письма трудящихся. Учителей. Знатных строителей. Героев Социалистического Труда. Героев Советского Союза. Даже космонавтов. Негодование. Осуждение. Требование призвать к ответу. Перед всем народом. Немедленно. Резолюции: «Нет — абстракционизму!»

Какому? Нигде не появилось ни одной репродукции. Картины по-прежнему оставались под арестом. Буря возмущения была абсолютно безотносительной и, значит, могла привести к вполне конкретным результатам. В конце концов Шелепин мог с полным основанием заявить в Манеже, что ни одно более раннее постановление ЦК по вопросам искусства никем не было

отменено. Да и вообще — так ли много изменилось вокруг?

Знаменитый хрущевский доклад на XX съезде партии, от которого будто бы падали в обморок старейшие коммунисты? Но ведь никто его не опубликовал и формально он не существовал. Правда, его зачитывали на факультетах Московского университета, на партийных и московских активах, но без права что бы то ни было записывать. А через несколько месяцев, во время визита в Москву Чжоу Эньлая, Хрущев открыто заявил: «Мы не отдадим Сталина нашим врагам». Он не раз еще повторит, что Сталин, по его разумению, «преданный марксист-ленинец». И разве ни о чем не говорило постановление Центрального Комитета от 30 июня 1956 года, налагавшее прямой запрет на «выводы о каких-то изменениях в общественном строе СССР», связанных именно со сталинским культом. В октябре 1961 года на XXII съезде принимается решение о перезахоронении мумии Сталина, демонтируются все памятники ему, но через полтора года Хрущев вновь начинает рассуждать об авторитете «вождя и учителя». Страшная тень тирана не просто ложилась на премьера — она явно во многом импонировала ему. Выйти из-под нее он и не мог, и не хотел.

Хрущевские оценки Сталина всегда зависели от ситуации и менялись вместе с ней. Да, во время похорон «вождя и учителя» произносились всяческие клятвы в верности его памяти. Но уже газеты с описанием эпохального события оказались гораздо сдержаннее и скромнее, чем они будут в связи со смертью Брежнева. Тем хуже для Константина Симонова, что он не сумел разгадать уже наметившегося розыгрыша и выпустил свою «Литературную газету» с одним из самых хвалебных панегириков покойному: «Самая важная, самая высокая задача, поставленная со всею настоятельностью перед советской литературой, заключается в том, чтобы во всем величии и во всей полноте запечатлеть для своих современников и для грядущих поколений образ величайшего вождя, гения всех времен и народов — бессмертного Сталина!» Первая реакция Хрущева — требование немедленного снятия главного редактора. Но коль скоро того не оказалось под рукой, а похороны уже состоялись и отошли в прошлое, настаивать на выполнении собственного приказа он не стал.

Теперь можно было предполагать, что разосланные приглашения на правительственный прием на Воробьевых горах 17 декабря 1962 года означали заключительный акт манежных событий. Хотя круг приглашенных отличался непонятной широтой: представители всех видов искусства, всех видов массовой информации, всех республик и Ленинграда. Студийцев

оказалось всего несколько человек, тем не менее и они не были обойдены вниманием.

В программу приема входили без малого двухчасовой доклад Леонида Ильичева и банкет с не менее многословной речью Хрущева с бокалом в руке. От сочетания приятного с полезным ждали некоего единения участников и взаимопонимания. Но в отношении последнего возникли серьезные сомнения.

* * *

…Бетонные плиты забора. Цепь прожекторов. Безлюдное шоссе. За железными воротами очищенный от снега асфальт. Ровный ряд подстриженных кустов. Бетонные ступени подъезда. Хрущевская деревня — новая резиденция новых членов правительства. На бровке Ленинских гор. Вернее, Воробьевых. Рядом со снесенным памятником первому, по проекту Александра Витберга, несостоявшемуся храму Христа Спасителя. Рядом с местом дружеской клятвы Герцена и Огарева. Перед глазами — вся Москва. Кругом — все свои — в отдельных виллах сам Хрущев, Микоян, Косыгин… И Дом приемов. Самых «семейных» — официальных и чуть подкрашенных большей близостью.

Проверка документов, пропусков. Зато в унылом холле возбужденный говорок избранных. Удостоенных. Привыкших встречаться на самых высоких уровнях. Радостное удивление. Возгласы. Рукопожатия. Похлопывания по плечу. Тех, кого действительно волновал предмет возможного разговора, почти не было. Те же, кто был, твердо знали: премьер сумеет отстоять их жизненные позиции.

Ильичев… Метаморфозы времени. Он постарел за эти недели на несколько лет и помолодел душой по крайней мере на пятнадцать, вернувшись всем существом к сталинскому распорядку. Все становилось на свои места: дисциплина, окрик, угрозы, перспектива репрессий и конечно же борьба. Никаких собственных слов, зато поток накатанных формул, которые еще так недавно приходилось произносить на университетских экзаменах. Кажется, до десяти раз на разных экзаменах, чтобы получить заветный диплом.

«В самом деле, может ли абстракционизм, декадентское искусство вообще быть знаменем прогрессивных классов, тем более знаменем советского народа, строящего коммунизм? Ответ здесь только один: искусство, оторванное от жизни, духовное оружие умирающего класса, не способно повысить боеспособности класса, идущего к победе; из продуктов распада

старого общества нельзя создать культуру коммунизма».

С любыми поисками во всех видах искусства дело обстояло одинаково. Они «не служили народным интересам», «не выражали умонастроений трудящихся» и были рассчитаны «на услаждение развращенных вкусов пресыщенных». Докладчик не выяснил только одного обстоятельства: кем были эти «пресыщенные» в советской республике 1920-х годов, в которой рождались все эти искания? Какие снобы были «потребителями» работ Александра Родченко, Александры Экстер, Павла Кузнецова или Владимира Татлина?

Приговор, произнесенный Ильичевым, не допускал снисхождения: «Если о достоинствах или недостатках работ П. Никонова, Р. Фалька, А. Васнецова еще можно как-то спорить, то о так называемых полотнах молодых абстракционистов, группирующихся вокруг Э. Белютина и именующих себя „искателями“, вообще спорить нечего — они вне искусства».

Только вот смысл возражения никак не сводился к эстетическим категориям. Освобождение от формул догматического соцреализма ради возрождения творческого начала в деятельности художника в действительности вело к освобождению сознания, а вместе с ним — к творческой потенции в каждом человеке. Независимо от того, воспринимал он или нет необычную живопись. Спор шел о человеческой личности. И докладчик был со своей точки зрения прав, отстаивая руководящую и определяющую роль партии — «мнимый диктат», утверждая, что многообразие в искусстве означает недопустимый «диктат субъективных вкусов». Существо возникшего кризиса было понятно всем. Поэтому ответом на поведение Хрущева в Манеже, еще нигде в печати не освещенное, известное только по стремительно распространявшимся слухам, стал поток протестующих писем в адрес Центрального Комитета. Возвращение к сталинизму через диктат в культуре — как страстно хотелось это остановить!

NB

Письмо представителей официальной культуры (в частности, поэтов Константина Симонова, Алексея Суркова, Степана Щипачева и др.) Н. С. Хрущеву.

«Дорогой Никита Сергеевич!

Мы обращаемся к Вам как к человеку, больше всего сделавшему в искоренении сталинского произвола в жизни нашей страны.

Мы, люди разных поколений, работаем в разных областях искусства, у каждого из нас свои вкусы, свои

художественные убеждения. Нас объединила в этом обращении к Вам забота о будущем советского искусства и советской культуры.

Мы с радостью видели, как партия восстанавливает дух Ленина: свободу и справедливость. Архитекторы радуются возможности строить современные дома, писатели — возможности писать правдивые книги; легче дышится композиторам и работникам театра; наша кинематография создает теперь фильмы, разные по художественному направлению, картины, встреченные пониманием и признанием нашего народа и за рубежом…

Такая выставка (Манежная. — *Н. М.*) стала возможной только после XX и XXII съездов партии. У нас могут быть разные оценки тех или иных произведений, представленных на выставке. Если все мы обращаемся к Вам с этим письмом, то только потому, что хотим сказать со всей искренностью, что без возможности существования разных художественных направлений искусство обречено на гибель.

Мы видим теперь, как начинают толковать Ваши слова на выставке художники того самого направления, которое единственное процветало при Сталине, не давая другим возможности работать и даже жить.

Мы глубоко верим, что Вы не хотели этого и что Вы против этого. Мы обращаемся к Вам с просьбой остановить в области изобразительного искусства поворот к прошлым методам, которые противны самому духу нашего времени».

Оговорка, ошибка, каприз, чужой наговор… Сколько одинаково наивных объяснений поведения Хрущева будет приводиться в течение многих лет, без попытки сопоставить манежные события с содержанием вызванных им докладов и разъяснений. Если бы его не настроили, если бы он выспался, если бы лучше себя чувствовал… И как-то необъяснимо ускользало от внимания, что премьер жестко противопоставил свое мнение, свое неприятие коллегиальному решению товарищей по Центральному Комитету, самодержавие — тем жиденьким росточкам коллективизма, которые пытались пробиться в Политбюро.

В свою очередь самодержавие требовало беспрекословного повиновения. «Анархическое своеволие» — даже если его проявляли на своих холстах всего-то художники — было

недопустимым. Другое дело, как мотивировалось его осуждение. Прежде всего, говоря словами лучше других понявшего перемены Ильичева, осуждалось «мирное сосуществование идей», «пропаганда абстрактного гуманизма, этакого евангельского всепрощения: ни тебе враждующих классов, ни капитализма в мире как будто и нет, как нет и борьбы за коммунизм!» Вслед за художниками под подозрением оказались поэты, писатели, композиторы, кинематографисты, театральные деятели…

Правоту докладчика должны были подтвердить специально привезенные из Манежа работы, экспонированные по произволу его помощников. Маленькое, тщательно закрытое на ключ помещение. Холсты, повешенные боком, вверх ногами, рядом с только что валявшимся на полу испачканным листом фанеры («сойдет как картина!»). Недреманное око соглядатаев: кто, как и на что реагирует? Спешка — места мало, разрешите войти другим. И почти сразу же захлопнутая дверь.

Реакция оказалась совсем иной по сравнению с задуманной: откровенный интерес, размышления, даже реплики одобрения. Допустить дискуссии Лебедев, помощник Хрущева по культуре, не мог. Его досада еще и еще раз должна была призывать присутствующих к порядку. Время показного либеральничанья истекло.

«Оттепель» стыла на глазах. Никто не повторил в своих выступлениях слов, написанных всего несколько дней назад в письмах. Никто не заговорил о достоинстве художника, об условиях творчества. Никто, кроме Ильи Эренбурга. Его слова в защиту Роберта Фалька, белютинской Студии, просто искусства остались гласом вопиющего в пустыне. За банкетным столом инициатива была окончательно перехвачена Хрущевым. Премьер ничего не разъяснял, тем более не вдавался в теорию. Всем характером своего как всегда затянувшегося в бесконечность выступления он давал понять, что его позиция непоколебима. Под его соленые шуточки и откровенные издевательства отдельные работы выносились к столу, чтобы, не нарушая ход обильного застолья, поддержать веселье присутствующих. Картина… Скульптура… В надежных и услужливых руках. А если автор был здесь же, тем лучше — его можно было угостить и полуцензурным поучением. Чувство собственного достоинства и уважение к человеку — на каком крутом вираже русской истории они перестали существовать?

Застолье затягивалось. Никому не приходило в голову сократить исторические минуты пребывания в обществе самого премьера. Тем более такого доступного, свойского, одинаково простецкого в умении опрокидывать фужеры с водкой, отпускать

солдатские шутки, удостаивать каждого обращением на «ты».

Машины увозили достойных гостей. Приятно возбужденных. Снова уверившихся в своем значении. Торжествующих. Недостойные уходили сами. В ночь. Мимо бетонных заборов. В колкой и блесткой метели. Чернели очертания чьих-то вилл. Падали с веток комки снега. И где-то очень далеко, в стороне, синеватым сиянием угадывалась Москва, до которой еще надо было дойти.

* * *

Когда они появились, Лидия Ивановна сказала почти неслышно: «Поглядите в окно». Серая фигура у ограды двора маячила с утра. «Он стоял и вчера». — «Тот же?» — «Они меняются…»

Они и в самом деле менялись. Смена длилась, по-видимому, меньше восьми часов. Имел значение мороз, но не чьи-то переживания. Наоборот — дежурный намеренно оставался на виду, лишь время от времени уступая дорогу прохожему, отодвигался в глубь двора, чтобы через считаные секунды вернуться на вытоптанный до черноты асфальта пост. Иногда их было двое, они оживленно переговаривались, курили, нарочито кивали на окна. Устройство дома было таково, что в этом уголке на уровне первого этажа иных квартир, кроме «зачумленной», не было.

Может быть, этот «второй» на время оставлял другой пост — у парадного входа с Большой Садовой, потому что и там провожал поднадзорных тяжелым наблюдающим взглядом в спину.

Теперь по ночам Лидия Ивановна и невестка не спали. Каждая в своей комнате. Не признаваясь друг другу в бессоннице. В полночь выключали лифт, и лифтерша долго гремела ключами у машинного отделения напротив двери в квартиру. Затихали шаги в гулком подъезде. Один за другим гасли светлые квадраты на снегу двора. Открывался кусок неба в разнобое тополиных веток. Скрипя покачивался висевший на проводах фонарь. Потом дверь черного хода взрывалась грохотом. Громкие голоса, шарканье шагов. Чиркали спичкой. Сжавшееся до невыносимой боли сердце — и тишина. Кажется, что особенного: люди зашли с мороза, прикурили. Вышли. Все!..

Через несколько дней Лидия Ивановна скажет: «У них же методичка: всегда в два ночи. Война нервов». Время показало: она была права. Сон не приходил. Только на рассвете веки облегченно

слипались — наступало забытье.

Людей день ото дня наведывалось все больше. Студийцы. Знакомые. Незнакомые. И каждый раз, как квартира наполнялась голосами, раздавался звонок в дверь. Кому-то было невтерпеж проверить: батареи — греют ли, электропроводку — не обветшала ли, краны — не подтекают ли, расчетную книжку — аккуратно ли хозяева платят за квартиру. Приходившие молодые люди в новеньких отутюженных спецовках с не менее чистенькими чемоданчиками к знакомым рабочим домоуправления отношения не имели.

Сразу после приема на Воробьевых горах в один из вечеров на пороге появился участковый в сопровождении двух штатских. Белютина не было дома: они спрашивали его. И первый раз самообладание Лидии Ивановне изменило: «Что вам нужно от моего сына?» Молоденький участковый отвел глаза: «Да вот тут…» Его выручил старший из штатских: «В домоуправлении нет справки с места работы вашего сына». — «А почему она должна быть, когда квартира оформлена на меня?» — «Все верно, но в данном случае…»

В чем заключался случай, он не договорил. Седая женщина наотмашь захлопнула дверь: войти в квартиру всей троице она не разрешила. И только когда щелкнул замок, схватившись за стену, сползла на стул: «Вот так же и тогда: сначала из домоуправления, пустяк какой-то, потом эти — за Михаилом…»

* * *

Очередной перерыв продолжался всего восемь дней: 17 декабря прием на Ленинских горах — 25 декабря встреча в Центральном Комитете. На Старой площади. Само собой разумеется, без гостеприимного застолья, без полного состава руководства партии и правительства. Деловое заседание Идеологической комиссии во главе с Леонидом Ильичевым, куда приглашались молодые творческие работники. Почти они одни, если не считать корифеев соцреализма — Михаила Царева, Владимира Серова, Тихона Хренникова и многих других, а вместе с ними и руководителей специальной печати, вроде журналов «Искусство», «Творчество», «Театр», «Советская музыка».

Буквально накануне были разосланы приглашения. По телефону предупредили о возможности выступлений. Но еще была надежда, так упорно державшаяся надежда, что, может быть, несмотря на опубликованный доклад Ильичева, несмотря на начавшийся в газетах поименный погром и повсеместные

«собрания трудящихся», кто-то остановит вонючий поток, кто-то воспротивится такому откровенному возвращению к прошлому. «Кто-то!» Ведь довелось же мне видеть откровенную растерянность Дмитрия Поликарпова на следующий день после Манежа, когда он согласился меня принять с единственным вопросом: что произошло после всех так подробно описанных перспектив, гарантий, предложений? Он не уклонялся от встречи. Не пытался стать в позу неожиданно прозревшего обличителя. Просто повторял, что еще ничего не ясно, что имена не названы и надо подождать. Всего-навсего подождать. А что, если — ведь «оттепель» же! Идеологической комиссии удалось хоть в чем-то переубедить Хрущева.

Вторник выдался морозный и тихий. Стеклянные двери пресловутого — для посторонних! — девятого подъезда. Бледно-зеленые непрозрачные занавески. Открытые вешалки без гардеробщиков. Пикеты офицеров госбезопасности. Узкий белый коридор в главное здание. Лифт в узорчатых решетках. На пятом этаже уборщицы в синих халатах, кончающие раскатывать ковровую дорожку. И полковник из органов рядом с ними, подозрительно заглядывающий под быстро уменьшающийся рулон.

У дверей в зал заседаний Центрального Комитета столик со списками — последняя проверка. Люди почти не задерживались: лифт поднимал маленькие группки в три-четыре человека в сопровождении чекистов.

Дальше был зал. Заставленный разбросанными почему-то в одиночку столами. С рядами разномастных стульев у стен. Стол президиума спиной к окнам. За ними заснеженные кроны старых лип. Бульвар не давал о себе знать ни единым проблеском шума. Было тепло. И странно. Какая-то неопределенность висела в воздухе, мешая входившим разобраться: где сесть, главное — чего ждать.

Одни походя просчитывали ситуацию, меняли по нескольку раз места. Другие привычно рвались оказаться на глазах у высокого начальства — какая разница, в качестве поощряемых или осуждаемых. (В сталинские годы по Москве ходил анекдот: если советским гражданам скажут, что завтра их повесят, они спросят, приносить ли свою веревку.) Значит, лишь бы на глазах. Целая толпа радостно устремилась к появившемуся в дверях Поликарпову. Протянутые руки. Задушевные приветствия. Как-никак был посланником свыше. И символом.

Члены Идеологической комиссии не заставили себя ждать. Места в президиуме были заняты до того, как успели войти все приглашенные. Ильичев начал речь с боем часов. Очень тихо.

Сдержанно. Почти благожелательно. Все собравшиеся знают предмет встречи. Поэтому в установочном докладе нет нужды. Пусть сначала каждый выскажется, а в конце он, председательствующий, подведет итоги. Только и всего. Само собой разумеется, от выступающих ждут предельной искренности и откровенности, иначе встреча не будет иметь смысла. Члены президиума сидели молча и — может, показалось — не поднимая глаз. Ильичев назвал первое имя.

Писатели. Скорее всего порядок выступлений был определен заранее. Но именно писатели сразу овладели трибуной. Они знали, что говорить и как говорить. Необъяснимым образом САМИ разделились на правых и виноватых. Правые говорили о верности заветам отцов, о сияющих высотах коммунизма и гениальной безошибочности идеологической линии партии. Виноватые каялись в том, что недостаточно умели такую же верность вовремя проявить.

Но почему? Ведь никто никого не обвинял. Еще не обвинял. Не призывал к ответу, суду и расправе. Просто потому, что чувствовал себя другим? Касались непринятых тем, обращались к непривычной форме, нарушавшей пионерскую верность принципам Демьяна Бедного и Александра Жарова?

Правильные выступали одновременно прокурорами и защитниками собственных прав. Подобно тому как накануне встречи на Воробьевых горах художник Евгений Кацман в открытом письме в «Правду» требовал государственной поддержки соцреалистов, целой кампании по созданию им авторитета с помощью средств массовой информации (радио, печати), так теперь Владимир Фирсов, Егор Исаев и другие негодовали на то, что печатаются меньше и реже, чем захватившие печать и внимание читателей «формалисты». А «формалист» Евгений Евтушенко клялся в верности партии и органам: «Если кто-нибудь при мне осмелится хоть что-то сказать против советской власти, я собственными руками приволоку его в органы!»

Тем не менее водораздел был очевиден, и его охотно приняли как данность представители всех остальных искусств. Эрнст Неизвестный уклонился от выступления вообще под предлогом, что слишком долго ходил предварительно по «кабинетам» и больше ничего добавить к сказанному там не может. Ни в какой дискуссии он участвовать не собирался.

О праве на существование абстракционизма и формализма заявил Н. Андронов. Э. Белютин сказал, что поиски Студии ошибкой не считает и намеревается продолжать их в том же направлении. Зато упомянутый в коммюнике о посещении

Манежа Павел Никонов увидел возможность собственного спасения именно в расколе. Он разразился негодованием по поводу того, что его картина висела в одном здании… со студийными работами. Как хотелось обратить высочайший гнев в иную сторону, подсказать судьям судить кого угодно. Только не себя!

И еще одна нота, показавшаяся по крайней мере нелепой и уж во всяком случае неуместной, — памятники. Да, да, именно памятники истории! Оказывается, не имели значения освобождение от догматизма творчества, а вместе с ним и раскрепощение духовной жизни человека. Не стоило замечать современной неустроенности и душевной дискомфортности, сложности общения с государством и обществом, с другими поколениями. Все позволяла забыть забота о сохранении какого-нибудь одного конкретного дома, одной церковки. Негодование обращалось против местного начальства, против райисполкомов и городских советов. Борьба требовала нервов, сил, неустанного напряжения и… ни к чему не вела. Мнимые временные победы и реальные окончательные поражения позволяли создавать видимость активной деятельности самых нетерпеливых и беспокойных, обреченных рано или поздно на разочарование. Да о какой старине могла идти речь, когда за время одной только хрущевской «оттепели» было закрыто в стране десять тысяч церковных приходов и, значит, столько же памятников обречено на уничтожение!

Тогда никто не обратил внимания на выступление почти никому не известного Ильи Глазунова. Просто непонятной выглядела его оппозиционность по отношению ко всем собравшимся. Он заявил, что прав он один, поскольку отказывается от всех современных треволнений, чтобы уйти в национализм — образы Древней Руси, ее уклад.

Все было впереди — Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, неформальное общество «Родина» в Крутицком подворье Москвы, наконец, общество «Память» с его профашистскими лозунгами. А пока никто не догадывался, что перед ними приоткрылся тот единственный путь, который допускал для художников Суслов. Но и Суслов пока был еще будущим. Для того чтобы по-настоящему понять происходившее, нужно было время. Тогда же в накаленном страстями зале почему-то всплывали в памяти слова Льва Мехлиса, сказанные им в 1932 году, что одна из главных задач будущего Союза советских писателей — пристально присматриваться друг к другу и на этом основании тщательно «прочистить» свои ряды.

…Совещание растянулось на два дня и почему-то с однодневным перерывом между заседаниями 25 и 27 декабря. Второе заседание отводилось собственно художникам и заключительному слову Ильичева. Слишком долгому. Слишком запутанному. Как будто докладчик и не подводил итоги услышанного именно в этих стенах, но доказывал свое рвение, и это было для него самым важным.

Почему, товарищи молодые творческие работники, вам пришло в голову, что постановления Центрального Комитета от 1946 года кто-то отменил? Почему при отмене культа личности вы посчитали автоматически отмененными идеологические установки сталинских лет? И если формально, скажем, тот же Мейерхольд реабилитирован, то никто не собирается реабилитировать его искусство — оно по-прежнему не нужно и вредно «нашему народу»: «Показательно, что так называемые „оригинальные“ спектакли появляются нередко после отъезда иных зарубежных гастролеров или по выходе очередных воспоминаний о Мейерхольде».

«Кто же будет определять и оценивать достоинства и недостатки произведения? Партия и народ. Если каждый будет навязывать обществу свои личные вкусы и субъективистские оценки, тогда добра не жди. Вместо порядка в обществе воцарится анархическое своеволие, которое мы отметаем прочь с нашего пути. Нельзя подменять принципиальную оценку идейно-художественных явлений произвольными субъективистскими суждениями. Надо решительно отклонить претензии некоторых деятелей искусства на монополию в оценке книг, спектаклей, фильмов и произведений живописи и скульптуры.

Партия проводила и неуклонно будет проводить в искусстве политику непримиримого отношения к любым проявлениям буржуазной идеологии против шатаний и отступлений от главной линии развития литературы и искусства, борьбу за высокую коммунистическую идейность литературы и искусства, за их неразрывную связь с жизнью народа, с политикой Коммунистической партии».

В кино под первый залп ильичевского доклада попадают Михаил Калик и Андрей Тарковский. «Человек идет под солнцем» Калика — фильм, о котором спорили и которым особенно увлекались: «Поиски особой, во что бы то ни стало необычной формы оборачиваются в ряде эпизодов фильма чисто внешним оригинальничаньем, манерностью, некритичным подражанием зарубежным модам». И немедленная апелляция к «нашему народу», который конечно же фильма «не принял». А вот Тарковский «принял за чистую монету неумеренные восторги и

всерьез уверовал в то, что именно ему принадлежит открытие поэтического кинематографа. Ну разве можно так!»

Но все это полбеды по сравнению с Булатом Окуджавой, сдержанное выступление которого на совещании только подлило масла в огонь. Покаяться-то покаялся, но отделался общими словами! Не проникся! Отсюда естественный вывод: «Разберитесь, товарищи композиторы, в том, что происходит с песней. Советские люди любят песню. Но рядом с песнями широкого гражданского звучания, с песнями, воспевающими духовную красоту советских людей, раскрывающими их душевную чистоту, существуют песни пошлые, рассчитанные на дурные, обывательские вкусы. В конфликте со всем строем нашей жизни находятся, в частности, некоторые стихи и песни способного поэта Б. Окуджавы. Весь их строй, вся интонация, все-все — не от чистоты душевной, а от душевного надлома. Говорят, будто эти песни любимы нашей молодежью. Но какой? На чьи вкусы рассчитаны они?»

Внимание к популярной музыке выглядело откровенной данью уважения к почившему в бозе Андрею Жданову. Правда, с подачи Жданова Сталин рассуждал о единственно достойных его внимания больших музыкальных опусах — операх, симфониях. Ильичев не рискнул выйти за пределы эстрады, зато в отношении нее точно повторил — чтобы, не дай бог, не ошибиться! — слова старого постановления: «Ничего хорошего не сулят такие увлечения некоторых молодых композиторов экспериментами в стиле додекафонной музыки. Ведь по своей бессмысленности и уродству она может соревноваться разве только с абстрактной живописью. Сочинения такого рода представляют собой набор механических звуковых комбинаций, лишенных мелодичности и красоты, живого образного содержания». Речь шла о Эдисоне Денисове, Софии Губайдулиной, Альфреде Шнитке.

Когда-то, в первые годы революции, профессиональный революционер, в прошлом рабочий, исполнявший обязанности особого уполномоченного Исполкома Коминтерна по международной художественной пропаганде (существовал и такой фронт мировой борьбы!), Н. Н. Глебов-Путиловский сказал художнику Филонову: «Да вы, Павел Николаевич, адскую машину подводите под искусство». И художник удовлетворенно согласился: «Вот-вот». Темы читавшихся тогда Филоновым лекций были: «Революция в искусстве», «Революция в педагогике изо», «Революция во всех взаимоотношениях в искусстве» и «Идеология аналитического искусства», как определял он сам собственную школу.

Взрыв привычных форм, представлений, изобразительного

метода — он был неизбежен, поскольку, по словам Филонова, «каждый мазок или прикосновение к картине есть точная фиксация через материал и в материале внутреннего психологического контекста — процесса, происходящего в художнике, а вся вещь целиком есть фиксация интеллекта того, кто ее сделал». Но ведь о взрыве, точнее о «мятеже», говорил и Ильичев, выдвигая его идею как основное обвинение против Студии:

«Разве не ясно, что тот живейший интерес, который был проявлен западными журналистами к формалистическим и абстракционистским произведениям отдельных советских художников, в частности к Студии Э. Белютина, отнюдь не случаен. Буржуазная пропаганда вполне сознательно, в совершенно определенных целях поддерживает и восхваляет абстракционистское трюкачество иных наших горе-новаторов. На растление душ, например, расчетливо рассчитано выступление американского реакционного журнала „Лайф“. Некто А. Маршак — сотрудник журнала — задыхался от восторга по поводу обнаруженного им „изумительного, потрясающего подпольного движения в России, скрытого МЯТЕЖА молодых художников и скульпторов“.

Как можно было допустить, чтобы теоретики искусства стали делать выводы о естественном характере развития искусства именно в направлении авангардных импульсов? Почему никто не одернул ретивых мыслителей, не указал, в какую сторону им следует направлять свои усилия? На недавней конференции в Институте истории искусств литературовед Копелев Лев, например, подвергал сомнению ни много ни мало „саму возможность зависимости формалистических и абстракционистских тенденций в искусстве от империалистической идеологии“. „Весьма сомнительную точку зрения“ выражал писатель Ю. Нагибин, хваля абстрактные скульптуры в „Литературной газете“. Критик А. Гастев в газете „Московский художник“ стал уверять, что „язык абстрактного искусства вовсе не более условен, чем всякий другой“».

«Теоретическая беззаботность партийных работников и руководителей культуры дошла до того, что смогла появиться книжка В. Турбина „Товарищ время и товарищ искусство“, где автор позволяет себе заявлять: „XX век становится веком торжествующих абстракций…“ А людям будущего предопределено жить в странном, с нашей точки зрения, мире абстракций, вошедших в быт, дисциплинированных и послушных. Естественно поэтому, что абстракционизм возник именно в наше время. Абстракционизм в его классических образцах — а здесь

уже, по-видимому, сложилась своя классика — в сущности представляет собой наспех сделанную фотографию с действительно имеющей место особенности мышления человека XX века».

Со всеми этими фактами и лицами — Ильичев не скрывал, наоборот, подчеркивал — еще предстояло по-настоящему разобраться. В целях полного «оздоровления» советской культуры ни одно явление подобного рода не может оставаться безнаказанным. Из выступления явствовало: Ильичев знал, что выдвинутая новая концепция не нашла отклика у молодежи. И дело не в совещании, которое можно было соответствующим образом подготовить и необходимым образом провести. Многие ли из присутствующих тогда знали действительный объем почты, хлынувшей в Центральный Комитет со всех концов нашей и не только нашей страны? Понятия гласности не существовало. На письма можно было не отвечать, — не с тех ли пор утвердилось за партийным, да и за всем руководящим аппаратом необъяснимое право на молчание? — но тем не менее протесты существовали, и их поток все усиливался.

«А против чего бунтуют, например, юноши из иных произведений литературы и искусства? Против „высоких слов“, которые-де захватаны и опошлены людьми старшего поколения и оттого потеряли всякое значение. Недоверие к „высоким словам“, а по существу, к нашим идеалам, к святая святых всей нашей жизни, этакая бравада скептицизмом и нежелание считаться с чьим-либо мнением выдаются иногда за некую добродетель и высокий пример жизненного поведения. Кстати, именно такую фальшивую ноту подхватывают зарубежные пропагандисты и во все горло кричат о „новой войне“ и „диссонирующих голосах“, о конфликте „отцов и детей“. Но откуда они берут это? Где в нашей жизни нашли они этот конфликт? Если он и существует, то только как досужая выдумка в головах некоторых молодых писателей. Зачем нам давать повод для враждебной демагогии против нашей страны?»

После всех угроз, указаний, предостережений и разоблачений вывод был совершенно закономерен и однозначен в своем внутреннем смысле: «Можно и нужно сказать молодой творческой интеллигенции: *вы уже не принадлежите только себе,* ваше творчество, если оно признано народом, — это уже достояние народа, его духовная ценность, *вы находитесь в распоряжении народа и должны верно служить ему».*

* * *

Многочасовая речь как-то незаметно сошла на нет. Все расходились подавленные количеством имен, обозначенных ситуаций. Это было важно для представителей официального направления, но ничего не давало искусству — его коренные принципиальные вопросы оставались незатронутыми. Пожалуй, даже напротив — они были специально обойдены молчанием. Диктатура оставалась диктатурой.

И первые наглядные результаты. Эрнст Неизвестный рядом с самым агрессивным консерватором Владимиром Серовым. Обрывок повисшей в воздухе фразы: «Перевоспитывайте меня, перевоспитывайте!» Манерный, чуть гнусавящий голос Михаила Царева в разговоре с министром Фурцевой: «Мейерхольдовщина — не путь для истинного театра. Это было ясно с самого начала».

Радостный смех вокруг задержавшегося после совещания Ильичева — в нарочитости этого веселья слишком явственно звучало ликование по поводу собственной благонамеренности и непричастности к отверженным. Для нас, слава богу, все обошлось, для нас все кончилось! Что будет с «ними» — это уж их дело. «Мы» — и все другие. «Я» — и хоть все человечество. Идеально отработанный шкурный сталинский принцип возродился с ошеломляющей быстротой. А в ушах стоял надрывный женский плач. Единственный. Прорезавший в первый день благоговейную тишину цековских коридоров.

Это плакала талантливая художница, студийка Виктория Шумилина. Плакала по-русски, взахлеб, обращаясь к членам президиума: «Да как же вы так можете? Как? Неправда все это! И Элий Михайлович… он столько сделал… столько знает, умеет, а вы… нечестно же так!»

Растерянные члены Идеологической комиссии не нашли лучшего места, чем кабинет Хрущева, чтобы успокоить взвинченного до отчаяния человека. Викторию отпаивали водой, уговаривали, уложили на диван, старались скрыть от остальных участников совещания. Искренний голос был слишком здесь неуместен, но все-таки в глазах тех, кто окружил художницу, может быть, первый и единственный раз так явственно читалась неловкость. Откровенность человеческого горя — как же не были они к нему ни привычны, ни подготовлены. Только какое это имело отношение к последующему ходу событий?

Текст ильичевского доклада появился в газете через неделю. Одновременно с выходом брошюры, включившей оба доклада —

на Воробьевых горах и в Центральном Комитете: «Искусство принадлежит народу». Не слишком похожий на тот, который читался. Разнящийся даже в этих двух изданиях. В подлиннике было много других примеров, иных поворотов темы, главное — значительно более мягкие, обтекаемые формулировки. Печатное слово служило иной цели: оно вооружало кампанию, армию агитаторов и пропагандистов, преподавателей так называемого научного коммунизма, для которых не только не могло существовать никаких оттенков, но и самих деятелей искусства как живых людей. Как в Ташкенте, где после рассказа о посещении Хрущевым Манежа «выступавшие в прениях художники и искусствоведы осудили антинародную и реакционную сущность абстракционизма и формализма, подчеркивали, что социалистический реализм дает подлинную свободу творчества». Сообщение об этом было напечатано в том же номере «Советской культуры», что и доклад Ильичева. Москва могла не торопиться с публикациями. Творческие союзы оправдывали свое назначение — они действовали.

Ильичев утверждал: «Никакой „проработки“ и „наклеивания ярлыков“ партия не допустит». Апогей кампании? Но нет, она не затихала. Газеты успевали находить все новых и новых охотников до разоблачений (или самоутверждения?). То тут, то там по разным причинам проводились соответствующие собрания. Печать западных компартий писала о разыгрывающейся с небывалой силой «холодной войне» в советской культуре. Перед корреспондентами встала бетонная стена: никаких имен участников Манежной выставки, никаких участников «Новой реальности», тем более их адресов. На всякий случай они получали — и признавались в этом — четко сформулированные предупреждения о нежелательности контактов подобного рода, которые могли обернуться серьезными неприятностями для обеих сторон. Американский политолог Пол Склоха спустя тридцать пять лет скажет: «Угрозы исходили и от американского посольства. Установка была однозначной — речь идет о политическом розыгрыше, участвовать в котором иностранцам недопустимо. Отношения с Советским Союзом и так простотой не отличались. И вообще при чем здесь живопись?»

Несуществующая, как упрямо твердил докладчик, проблема отцов и детей… Все это время почти каждый день у Белютиных появлялся Валентин Ильичев. Сын. Ученик Белютина. Осунувшийся. С огромными темными кругами под глазами: «Отец не посмеет! Не посмеет…» У него были способности, и он мог стать художником, несмотря на тяжелую болезнь. «Как мне стыдно!..»

* * *

«Не могли бы вы сразу после Нового года на часок заехать? К нам». Голос в телефонной трубке принадлежал одному из ответственных работников Старой площади, продолжающему работать и поныне в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посла. «Положим, в час тридцать». — «В новогоднюю ночь?» — «После всего случившегося это важно. За вами придет машина номер…»

28 декабря в «Правде» появилась заметка о совещании на Старой площади с достаточно спокойными интонациями. Речь Ильичева появилась в печати только после Нового года, и опубликованный текст существенно отличался от живых слов. Не эта ли предлагаемая новогодняя встреча, а точнее выявленная ею позиция определенной части членов ЦК побудила сторонников сусловской метаморфозы начать выжимать газ до доски, а впавшего в настоящую панику Ильичева пойти на попятную? Ведь только в газетном варианте новаторов в искусстве и собственно студийцев охарактеризовали как «стоящих вне искусства». В газетном! А после выставки в Манеже прошло без малого полтора месяца.

Встреча в новогоднюю ночь в высотном доме на Котельнической набережной не выдавала никаких векселей. От руководителя «Новой реальности» ждали исчерпывающей информации — о положении дел в Студии (хотя формально она давно уже не существовала), о настроении студийцев (намерены ли продолжать работать?). Ответ: «Будем работать, как работали» — не вызвал комментариев, кроме односложного: «Ну, что ж…»

И еще был разговор об органической связи нового искусства с творческим импульсом человека, необходимой при грядущей экономической перестройке страны, — констатация существующих законов развития человеческого общества.

Разговор длился около часа. Но ведь остаться незамеченным он не мог, как и единственным в своем роде, конечно, не был. Сразу после Нового года кампания начала набирать новую силу.

Повторяя своего предшественника и в прошлом начальника, незабвенного и непревзойденного Жданова, Суслов сразу же после Манежа отправится на встречу с партактивом в Ленинград. Тоже будет ссылаться — только теперь на Хрущева — и лгать.

В тот единственный раз, когда мне довелось разговаривать с Идеологом, представляя и объясняя факты, основанные на документах, я поняла, каким принципом он руководствовался: «Не важны факты — важна наша концепция».

Почему-то выступление Идеолога не вызвало ожидаемой дружной поддержки. Ленинградцы упорно отмалчивались.

Одиночные выступления ничего не меняли. Настоящим ответом Идеологу стало стихотворение Вячеслава Кузнецова. В прошлом кадрового офицера и воспитанника Суворовского училища.

Есть жизнь
страшнее всякой смерти,
Слова
острее, чем мечи.
И я вам говорю:
не смейте идти на службу
в палачи!
Убили гения,
убили,
оклеветали, как могли,
и тем себя приговорили
к позору
пред лицом Земли.
Петлю накидывать на шею,
лизать ли зад,
казну ли красть…
Да что палач!
Профан страшнее,
когда в руках профана власть.
На что ему, профану, лира,
ее тревожный,
гордый звон,
коль он ни уха и ни рыла
в том, где азот, а где озон.
Убить, — но разве это мера?
Все это было
и давно.
Увидеть в мальчике Гомера
вовек профанам не дано.
Им, брюхо б только ублажая,
икать
да поводить перстом.
Они Толстого обожают
лишь потому, что он — Толстой.
Им только б дрема,
только б ванна,
а тут —
не спится по ночам!
Когда вершат свой суд профаны,
легко живется палачам.

7 декабря 1962 года

Гражданская казнь в Ленинграде не состоялась. И не этот ли внутренний отпор вместе с непрекращающимся потоком протестных писем побудил Идеолога с удвоенной энергией пуститься на поиски крамолы и убедить Хрущева в необходимости широкого развертывания кампании?

NB

1963 год. 18 января. Из стенограммы пленума Московского городского комитета комсомола. Выступление первого секретаря московской организации Бориса Пастухова (ныне — первый заместитель министра иностранных дел РФ):

«В печати вы также сталкивались с выступлениями Белютина. Это деятель, один из преподавателей живописи, который активно работает в целом ряде московских вузов, в той или иной степени связанных с художественным воспитанием молодежи, активный организатор так называемых студий абстракционистов.

Этот Белютин организовал Студию. Она долгое время работала в Доме учителя Ждановского района. Эти белютинцы, махровые абстракционисты-живописцы распоясались до того, что организовали на территории Ждановского района, в Доме учителя свою выставку, отпечатали фотоспособом билеты, раздали их самым разнообразным меценатам от науки, искусства. Эти билеты попали в руки некоторых зарубежных журналистов.

Буквально через несколько дней после того, как состоялся просмотр работ белютинцев, зарубежная пресса запестрела сообщениями о существовании якобы в Советском Союзе так называемого абстракционистского подполья.

Не встретив отпора в Доме учителя Ждановского района, белютинцы, среди них Янкилевский, скульптор Неизвестный, воспользовавшись по существу нашим бездействием, решили повторить эту выставку нескольких белютинцев в гостинице „Юность“ под флагом „Клуба творческой молодежи Московского городского комитета комсомола“. Вот так бывает! У нас „волосы дыбом поднялись“, когда мы утром узнали, что вечером открывается выставка. Правда, мы успели не

дать этой выставке открыться, но когда мы в шесть часов вечера приехали в гостиницу „Юность“, то вестибюль был набит людьми, приехавшими на машинах с дипломатическими номерами, обвешанными кино- и фотокамерами. Они разговаривали на многих языках мира, но настроение у них было одно: они пришли на эту выставку для того, чтобы теперь уже по-новому, в новом качестве рассказать о том, что комсомол поддерживает этих абстракционистов».

Хрущев еще раз вернулся к затянувшейся истории с тем, чтобы поставить последнюю точку. Чтобы никто больше не думал, что поведение его в Манеже было случайностью, капризом или результатом неуравновешенности. 7 марта 1963 года третий раз деятели культуры были приглашены на встречу с «верхами», теперь уже в Свердловском зале Кремля.

Искусство… Нет, главным стало не оно, не эстетические категории. Обращение к манежным событиям явилось поводом для утверждения сталинских принципов и сталинского имени. Хрущев категорически отмежевывался от приписываемого ему разоблачения «вождя и учителя». Еще никогда со времени своего прихода к власти премьер не был так откровенен:

«Когда были раскрыты заговоры против революции, Сталин, как секретарь Центрального Комитета, проводил борьбу по очищению страны от заговорщиков и проводил под лозунгом борьбы с врагами народа. Ему верили в этом и поддерживали его. Иначе и не могло быть… Борьбу партии с врагами революции и социалистического строительства возглавлял тогда Сталин. Это укрепляло его авторитет. Всем был известен также вклад Сталина в революционную борьбу до Октябрьской революции, в ходе ее и в последующие годы социалистического строительства. Авторитет Сталина особенно возрос в период борьбы против антиленинских течений и оппозиционных группировок внутри партии и Советской власти, за укрепление рядов партии и Советской власти, против таких враждебных ленинизму течений и оппозиционных групп внутри партии, как троцкисты, зиновьевцы, правые оппортунисты и буржуазные националисты». Сюда же в качестве заслуженно понесших кару благодаря бдительности Сталина были отнесены Бухарин, Рыков, Томский.

Панегирик «вождю и учителю» занял значительную часть доклада: «Партия отдает должное заслугам Сталина перед партией и коммунистическим движением. Мы и сейчас считаем, что Сталин был предан коммунизму, он был марксистом, этого нельзя и не надо отрицать… Когда хоронили Сталина, то у

многих, в том числе и у меня, были слезы на глазах. Это были искренние слезы. Хотя мы и знали о некоторых личных недостатках Сталина, но верили ему».

В качестве оправдания покойного приводился такой аргумент: он «в последние годы жизни был глубоко больным человеком, страдающим подозрительностью, манией преследования». Настоящим же виновником всех беззаконий назывался Берия — «этот матерый враг партии и народа, шпион и гнусный провокатор». И небольшая, но существенная подробность: «О злоупотреблениях Сталина властью и фактах произвола, которые совершал он, мы узнали только после смерти его и разоблачения Берии». Итак, исчез последний отблеск «оттепели». Все остальное было логическим следствием наступавших заморозков.

Лозунг беспощадной классовой борьбы, которую надо постоянно вести в стране: «Есть категория людей, которые объясняют свое неучастие в революции, так сказать, „гуманными“ соображениями; они, видите ли, не могут поднять руку на себе подобных. А кто же убивает людей, как не себе подобные?.. Разве трудно понять, что те, которые не участвуют в борьбе на стороне трудящихся, по сути дела помогают буржуазии… За революцию надо бороться не только в ходе ее свершения, но и в период укрепления ее завоеваний вплоть до построения коммунизма. Здесь мало одних лекций, рефератов, докладов, необходимо участие и в перестрелке, когда этого требуют обстоятельства».

В качестве примера приводился случай с Анатолием Луначарским, который, боясь, что «стрельба рабочих по врагу» может повредить памятникам, осмелился возражать Ленину и даже пригрозил, что выйдет из правительства. Но «Ленин высмеял это обывательское представление о революции».

Относя искусство к области чистой идеологии, Хрущев категорически отвергал саму возможность «мирного сосуществования социалистической и буржуазной идеологии», причем к последней относился «абстракционизм и формализм», а к первой — социалистический реализм в его наиболее догматическом, просталинском истолковании. Термин был применен впервые за годы «оттепели».

Хрущев не обошел и этого, резко раздражавшего его понятия, заимствованного из повести Ильи Эренбурга: «С понятием оттепели связано представление о времени неустойчивости, непостоянства, незавершенности, температурных колебаний в природе, когда трудно предвидеть, как и в каком направлении будет складываться погода. Посредством такого литературного образа нельзя составить правильного мнения о существе тех

принципиальных изменений, которые произошли после смерти Сталина в общественной, политической, производственной и духовной жизни советского общества». Не следует думать, «будто бы ослаблены бразды правления, общественный корабль плывет по воле волн и каждый может своевольничать, вести себя как ему заблагорассудится».

Илья Эренбург становится мишенью критики одним из первых, прежде всего за книгу «Люди, годы, жизнь», где «все изображено в мрачных тонах» и положительно оцениваются 1920-е годы. Ему противопоставлялось творчество Галины Серебряковой с ее бесконечными сочинениями на темы партийной истории. Роберту Рождественскому поставили в вину попытку полемизировать с Николаем Грибачевым, который «точно, без промаха бьет по идейным врагам». Кинематографист Сергей Герасимов несет ответственность за воспитание молодого кинематографиста Марлена Хуциева, снявшего фильм «Застава Ильича», который «ориентирует зрителя не на те слои молодежи»: «Свое намерение осудить праздных людей, тунеядцев постановщики фильма не сумели осуществить. У них не хватило гражданского мужества и гнева заклеймить, пригвоздить к позорному столбу подобных выродков и отщепенцев, они отделались лишь слабой пощечиной негодяю. Но таких подонков пощечиной не исправишь».

Евгению Евтушенко досталось за «Бабий Яр» и попытку оправдания абстракционизма. Виктору Некрасову — за очерк о поездке в Америку, где он осмелился похвалить «Заставу Ильича». Вообще «неприятное впечатление оставила поездка писателей В. Некрасова, К. Паустовского и А. Вознесенского во Францию. Неосмотрителен в своих заявлениях был В. Катаев во время поездки по Америке». И одна из шуток Хрущева: «Владимир Ильич Ленин любил приводить прекрасные слова поэта Некрасова:

> Он ловит звуки одобренья
> Не в сладком ропоте хвалы,
> А в диких криках озлобленья.

Это написал товарищ Некрасов, но не этот Некрасов, а тот Некрасов, которого все знают». (Смех в зале. Аплодисменты.)

По сравнению с литературой музыка отходила на второй план, но и она не была оставлена без внимания. В адрес «товарища Шостаковича», пригласившего Хрущева на концерт в Большой Кремлевский дворец, где были представлены три джаза: «Нельзя считать нормальным наметившееся увлечение джазовой

музыкой и джазами… Музыка, в которой нет мелодии, кроме раздражения ничего не вызывает. Говорят, что это происходит от непонимания. Действительно, бывает такая джазовая музыка, что ее и понять нельзя, и слушать противно». Для наглядности впечатления о джазовой музыке было сказано, что от нее «тошнит, возникают колики в желудке!»

После похвал в адрес песни о коннице Буденного, сочинений братьев Покрасс (в их числе «Москвы майской», написанной «признаюсь, по нашему заказу, когда я был секретарем Московского комитета партии»), после восторгов по поводу Глинки («когда я слушаю музыку Глинки, у меня всегда на глазах появляются слезы радости») следовало категорическое заключение:

«Оказывается, что среди творческих работников встречаются такие молодые люди, которые тщатся доказывать, что будто бы мелодия в музыке утратила право на существование и на смену ей приходит „новая“ музыка — „додекафония“. Нормальному человеку трудно понять, что скрывается за словом „додекафония“, но, по всей вероятности, то же самое, что за словом „какофония“. Так вот эту самую „какофонию“ в музыке мы отметаем начисто. Наш народ не может взять на свое идейное вооружение этот мусор». (Возгласы: «Правильно!» Аплодисменты.)

Изобразительному искусству отводилось совсем мало места. Достаточно было сказать о «тошнотворной стряпне Эрнста Неизвестного», вспомнить об «уродливом формалистическом памятнике» работы скульптора Кавалеридзе в городе Артемовске, намекнув при этом на недостойное поведение автора при немцах. В области архитектуры особенное возмущение вызвали Клуб имени Русакова, построенный «по проекту архитектора товарища Мельникова», — «это уродливое неудобное сооружение, похожее на всех чертей», и Театр Советской Армии — «глупая идея, дань незрелости представлений о красивом и разумном в искусстве и в жизни».

Вновь был использован испытанный еще на Воробьевых горах прием, когда к банкетному столу вынесли полотна художников, подвергшихся обструкции. Только в этот раз у стола президиума появились почему-то картины американских художников, подаривших Хрущеву свои произведения во время его поездки по Соединенным Штатам. «Скажите, что здесь изображено? Говорят, что нарисован вид с моста на город. Как ни смотри, ничего не увидишь, кроме полосок разного цвета. И эта мазня называется картиной! Еще один такой „шедевр“. Видны четыре глаза, а может быть, их и больше. Говорят, что здесь изображен ужас, страх. До

такого уродства доводят искусство абстракционисты! Это образцы американской живописи».

Культура. Даже не с большой буквы. Не с точки зрения ее насущных проблем. Самая обыкновенная. Повседневная. Обиходная. Бытовая. Без которой просто нет человека — крестьянина, рабочего, тем более интеллигента. Ее вообще в эти минуты не было в зале бывшего российского Сената. Зал подобострастно восхищался Хрущевым. Взрывался аплодисментами. Согласными криками: «Правильно!», «Позор!». Усердным смехом.

Счастливчики, занявшие первые ряды, стремились попасть на глаза премьеру. Кинопленка запечатлела всех: Михаил Шолохов, Тихон Хренников, Александра Пахмутова… Громче остальных хлопали, завистливее хохотали. Ни уважения к другим. Ни чувства собственного достоинства. Ни даже мысли о том, что каприз хозяина, доказывающего неограниченность своей власти, в любую минуту может поставить в ряды осужденных и подвергаемых издевательствам каждого. Просто человек как личность не существовал, как не было его и в сталинские годы.

Кинохронику тех дней мало, от случая к случаю показывали по телевидению. Ее нужно воспроизводить и тиражировать через стоп-кадр. Чтобы не только каждый мог разглядеть каждого, но и дети отцов, внуки дедов. Возвращаясь к образу и подобию человеческому, как же важно знать, что ничто в твоей жизни не останется скрытым — ни одно сказанное исподтишка или написанное слово, ни одна улыбка или гримаса гнева. Ответ, который нужно держать, — пусть пока еще не перед Богом, но перед самим собой и своей пробуждающейся совестью. Несмотря на те слова, которыми закончил свое выступление Хрущев:

«Если наши силы растут, то и враг не дремлет. Он в страхе перед растущей силой социализма злобно точит свое оружие против стран социализма, для войны, которую он готовит. Враги коммунизма возлагают надежды на идеологические диверсии в социалистических странах. Всегда помните об этом, товарищи, и свое оружие всегда держите в исправности, готовым к бою». (Продолжительные аплодисменты.)

В газете «Правда» от 10 марта, где будет опубликована речь Хрущева, в разделе «Из последней почты» появится подборка откликов писателей на заседание в Свердловском зале. Николай Тихонов: «Деятели культуры услышали замечательную речь… каждый из нас нашел ответы на самые сложные вопросы развития литературы и искусства». Украинец Олесь Гончар: «Большой, воодушевляющий каждого подлинного художника разговор в Кремле». Александр Прокофьев: «Формализм — большое зло в

искусстве, с которым бороться надо с партийной страстностью и убежденностью». Белорус Петрусь Бровка: слова Хрущева «помогают подняться на новые художественные высоты». Екатерина Шевелева посвятила встрече стихи:

…По-ленински, его глазами
Взгляни — какой огромный мир,
Как много нас в кремлевском зале,
Как много можем сделать мы!

И в подверстке — Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Сергея Михалкова орденом Ленина.

NB

Из писем-откликов на выступление Н. С. Хрущева 8 марта 1963 года.

Г. М. Щеголькова, студентка МГУ:

«Мы стараемся будить в каждом человеке творчество: думай, твори, и только тогда коммунизм будет построен.

Что же мы имеем теперь? Начался поход против творчества. Это пока поход против творчества в искусстве. А что будет затем? Этот поход вызовет обязательным следствием поход против творчества и в других областях. Почему? Потому что дается сила опять тем силам, прежним, которые при Сталине занимались тем, чтобы убедить людей, что им не надо думать, а надо верить Сталину. Потом они притихли, даже начали на словах „разоблачать“, а теперь опять почувствовали силу. Ведь словами о влиянии буржуазной культуры прикрывались и тогда, когда ссылали и расстреливали лучших людей в искусстве. Когда обвиняли в буржуазных уклонениях Прокофьева, Шостаковича, Мурадели и др. И теперь этими словами опять будут бить все молодое, горячее, творческое, которое приходит на смену отжившему, старому.

…А к чему вы призываете художников? Ищите новое, но только так, чтобы и всем нравилось, и не противоречило это новое — старому, и не ломало это новое — старого, и не было дерзким и смелым. Нельзя запретить художникам поиск, а надо помочь по возможности безболезненно пройти этот период. Атмосфера, создающаяся сейчас, есть атмосфера администрирования, насилия, необоснованных

обвинений, оплевывания, демагогии и декламации самых высоких слов, которые честный человек произносит только в самый тяжелый момент…»

Открывшийся в апреле 1963 года II съезд художников оживил начавшие затухать страсти. Защищая свое положение ответственного редактора журнала «Декоративное искусство», М. Ф. Ладур предавал анафеме даже отдельные элементы абстракции в прикладном искусстве, утверждая, что единственным источником мотивов дизайна могут служить народные промыслы. Из художественных салонов немедленно исчезли широко представленные в них в последние годы эстампы и гравюры. Малейшая допущенная художником деформация стала рассматриваться как «идеологическая диверсия». Председатель правления Московского отделения Союза Дмитрий Мочальский каялся, что правление «проявило либерализм, попустительство к проявлениям чужой идеологии». Председатель правления Союза художников Украины В. И. Касиян заверял, что «художники благодарят партию и лично Никиту Сергеевича Хрущева за напоминание о высоком патриотическом долге советских художников».

Екатерина Белашова оправдала свое избрание секретарем правления Союза художников СССР. В своем пространном выступлении она утверждала, что «ушли в прошлое грубое администрирование, нивелировка художественных индивидуальностей, навязывание в качестве эталона творческой манеры одного или нескольких художников». Но наряду с этим новый секретарь заявила: «Мы не можем проходить мимо попыток стереть идеологические грани не только художников, подпавших под влияние буржуазного формализма и абстракционизма, но и в высказываниях критиков и теоретиков». В докладе повторялись все осужденные Ильичевым имена и, само собой разумеется, как крайнее выражение «анархического своеволия» Студия Э. Белютина. Белашова заверяла: «Развитие нашего искусства не определяли и не будут определять… творчество Роберта Фалька и Давида Штеренберга, которых называли как духовных отцов молодых сторонников формализма».

Профессиональной этике или взаимоуважению не было места в борьбе за вымечтанные административные должности. Но как в таком случае объяснить поведение Александра Герасимова, давно снятого с должности президента Академии художеств и тем не менее выступившего в газете «Труд» с яростной статьей «Наконец-то!», кстати сказать, единственной в своем роде? Тем более Бориса Иогансона, только что вынужденного уступить ту же

должность Владимиру Серову? Его выступление на съезде излагалось газетой «Правда» особенно подробно:

«Он говорит об огромном значении недавних встреч руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства, о том, что эти встречи дали художникам новые силы для создания высокоидейных и высокохудожественных произведений, которые нужны народу, помогают ему в строительстве коммунистического общества… Наш лозунг „Человек человеку — друг, товарищ и брат“». Дальше шли рассуждения о ценности недоступного «формалистам» культурного и художественного наследия.

Как совместить эти слова с тем, что вышедшие из печати первые два тома монографического исследования Э. Белютина «Педагогическая система Академии художеств XVIII века» и «Русская художественная школа первой половины XIX века» восторженно рецензировались именно Борисом Иогансоном? Он же написал еще более восторженный отзыв о готовившемся к выходу третьем томе — «Русская художественная школа второй половины XIX — начала XX века», логическим завершением которого были впервые после 1920-х годов воспроизведенные произведения Кандинского, Малевича, Гончаровой, Ларионова, Рериха, Петрова-Водкина. Была и еще одна маленькая деталь. В канун празднования 200-летия Академии художеств Борис Иогансон консультировал у Э. Белютина историческую часть своего доклада.

Именно после съезда МОСХ начинает чинить суд и расправу над всеми участниками Студии. Что из того, что их было много сотен. На каждого можно было найти управу. Договоры на работу, ссуды, Дом творчества, выставочные комитеты и закупочные комиссии — мало ли существовало средств ущемить и без того бесправного и безгласного человека? Черные списки были переданы во все московские издательства. Само собой разумеется, все начиналось с руководителя Студии. Для членов Союза применялось и самое эффективное средство — исключение. Окончательное или временное. На испытательный срок. Все зависело от поведения наказуемого: от чего он успевал отречься, что — непременно прилюдно, публично! — предавал анафеме. Человеческое достоинство, порядочность — таких понятий просто не существовало.

«Судьи» действовали по единообразной схеме — «разоблачения» и запугивания. Для более стойких применялись своеобразные логические построения. Пример — объяснение одной из активисток МОСХа, искусствоведа, в прошлом супруги официозного скульптора Евгения Вучетича Сары Валериус с

одним из участников Таганской и Манежной выставок Леонидом Рабичевым.

«Вы абстракционист?» — «Нет, я не абстракционист». — «Как же так? Значит, вы не соглашаетесь с точкой зрения Никиты Сергеевича?» — «Нет, я соглашаюсь с позицией Никиты Сергеевича». — «Но он сказал, что вы — абстракционист. Так что же — абстракционист вы или нет?» — «Значит, абстракционист».

* * *

Звонок повторился с точностью чуть ли не до минуты. 31 декабря теперь уже 1963 года. Несколько часов до полуночи. Знакомый голос: «Не могли бы вы нарушить свой распорядок…» На этот раз речь шла о самой встрече Нового года. Не уточняя обстоятельств, Белютин отказался. Позади была пережитая кампания, и никому она не досталась легко. Пусть после хрущевского выступления в Свердловском зале центральная печать как будто вышла из игры. Зато в местной — от Сахалина и Магадана до Ростова-на-Дону — продолжали прокатываться волны неиссякающего «народного гнева». Задним числом студийцы признаются, что любопытство приводило их на Цветной бульвар, где на стендах была представлена периферийная пресса. И каждый раз они с изумлением обнаруживали собственные имена в связи с местностями и городами, в которых никогда не бывали и о существовании которых подчас просто не знали. Так, один город возмущался персонально Тамарой Волковой и Дмитрием Громаном, другой не находил слов для осуждения Алексея Россаля, Николая Крылова, Алексея Колли, третий требовал достойного наказания для Леонида Рабичева и Николая Воробьева, жители четвертого выделяли почему-то Веру Преображенскую, Владимира Сапожникова и Леонида Мечникова. Невидимая диспетчерская служба слишком явно следила, чтобы никто из студийцев, участвовавших в Таганской — Манежной выставках, не остался обделенным негодующим вниманием. Ведь видеть работы «первых советских абстракционистов», по глубокому убеждению Суслова, не было нужды. «Казарменный коммунизм», о котором с таким отвращением писал К. Маркс, смело вступал в свои права.

Но год подходил к концу — хотелось сказать, год, которого не было. Голос в телефонной трубке настаивал, ссылаясь на интересы Студии. Сошлись на том, что машина придет в половине первого. Несколько минут езды — и незаметный боковой подъезд Кремлевского дворца. В банкетном зале за

обильно уставленным яствами столом царствовал Хрущев. Пил по привычке фужерами. Не пьянел. Внимательно наблюдал за присутствующими, за восхищенно-восторженными криками, которыми встречалось каждое его слово, каждый тост. И это при том, что сам говорил почти без умолку.

Перемена наступила неожиданно. Премьер направился к двери, сосед по столу подхватил Белютина и направился к другой. В небольшой комнате без окон несколько работников аппарата и членов Идеологической комиссии. «Сейчас здесь будет Никита Сергеевич. Пожалуйста, будьте выше личных обид — пожелайте ему счастливого Нового года».

NB

Из дневниковых записей Э. Белютина.

«Не успел он закончить этих слов, как открылась дверь и показался Хрущев. Он быстро оглядел комнату, узнал сразу всех, задержался на мне, узнал и, протянув руку человеку, мне звонившему, сказал:

— Послушай, мне кажется, мы еще не здоровались. Поздравляю, и чтобы у тебя и у нас всех все было хорошо.

Его собеседник улыбнулся, отступил на шаг и, полуобняв меня, пододвинул к Хрущеву:

— Вот, Никита Сергеевич, Белютин хотел бы вам передать поздравления с Новым годом.

Хрущев повернулся. Хотя он много выпил даже на моих глазах, его лицо было трезвым, глаза блестели, голос был твердым и оживленным. За его спиной я увидел Брежнева.

— Я хотел бы пожелать от своего лица и лица многих молодых художников, — сказал я, глядя в его маленькие глаза с удивительно белыми зрачками на плоском лице, — вам и Президиуму партии хорошего Нового года и здоровья. — Это была формула.

— Спасибо, — сказал Хрущев и протянул руку. Я почувствовал ее тепло: она была сухая и вялая. — Передайте от меня вашим товарищам, что я их поздравляю с Новым годом и надеюсь, они скоро залечат раны, — он улыбнулся, — и, как говорится, создадут что-нибудь более понятное.

Он рассмеялся и, толкнув меня в плечо, пошел к двери. Брежнев, шедший за ним, задержался на секунду.

— Поздравляю, — сказал он и тоже протянул руку.

Я смотрел на шедших за ними людей. Мой знакомый

похлопал меня по плечу и улыбнулся. Он быстро исчез за дверями — я остался один. Через минуту передо мной возник человек, сидевший рядом со мной за столом, и спросил, хочу ли я вернуться в зал или идти домой.

— Домой, — ответил я».

Где-то в середине 1963-го Белютина пригласили в горком партии к заведующей Отделом культуры. Ответственная дама не скрывала, что инициатива исходила не от нее самой, что был соответствующий звонок из ЦК и, следуя прямому указанию, ей следовало узнать о положении дел в Студии: не притесняют ли, не мешают ли. «Мы призовем в случае чего к порядку, мы одернем». — Нелепость ситуации заключалась в том, что тот же самый Отдел культуры руководил обструкциями, которым подверглись студийцы. Оставалось благодарить за своеобразное внимание и просить о единственном одолжении — освободить наконец из-под затянувшегося ареста студийные работы. Просьба была выполнена, но не сразу. Только через три недели студийцы получили те работы, которые спешно были вывезены из их домов в декабре 1962-го.

О восстановлении при горкоме Студии художников книги не было и речи. Вместо этого обсуждался проект создания самостоятельной в финансовом отношении Студии экспериментальной живописи и графики. Но так или иначе оставался нерешенным вопрос о студийных занятиях. Нужна была мастерская, в которой можно было бы независимо ни от кого работать. Так возникла идея приобрести загородный дом для студийцев и для всех тех, кого манили дороги новаторства.

* * *

Дом… Кто-то первый сказал — дом. И земля. Чтобы писать. И быть вместе. Гонорар за две одновременно вышедшие из печати книги Белютина мог обеспечить семью на некоторое время. Все же остальные договоры — на преподавание, на книги — один за другим расторгались. О продаже картин не могло быть и речи. Сохранить средства для семьи — на всякий случай — или сейчас потратить на Студию. Никто не сомневался: вопрос решится в пользу Студии.

Жена Эренбурга уговаривала приобрести дом в Новом Иерусалиме: «Всего 15 минут ходьбы от нашего дома». Тропинка через запасные пути и пакгаузы. Через ручеек и овраг. К крутому холму в зарослях лещины. Каменный дом, как башня шлюза:

четыре этажа, на каждом по одному помещению. В земле — кухня и три, с винтовой лестницей в углу, просторные комнаты. Да, это подошло бы для семьи. Но где разместить студийцев, хотя бы человек десять? А еще нужно место для мольбертов… И еще одно «но» — это дачный кооператив, и ждать решения общего собрания придется довольно долго. Месяцы. Риск слишком велик: за это время Студия может распасться.

Обсуждались и другие варианты. Эдит Утесова, дочь Леонида Утесова и солистка его джаза, предложила: «Освободите нас от нашей дачи!» Березовая роща вблизи Внукова. Залитый зазеленевшей водой подвал с котлом водяного отопления. Холл. Бар. «После смерти мамы отцу здесь ничего не нужно. Теперь он предпочитает московскую квартиру» на Смоленской площади.

Лидия Русланова готова была расстаться со своим домом в подмосковной Баковке, который построила по возвращении из Владимирской тюрьмы. Для мужа — генерал-лейтенанта В. В. Крюкова. «Знаете, в первый день, когда вернулась в Москву, в свою квартиру, посмотрела в окно и вижу своего генерала. Спина согнутая. Старая. Плечи остренькие. Все кругом спешат, толкают. А он, забитый такой, к метро пробирается. Зашлась вся. Решила — будешь ты, Крюков, на машине ездить, будешь на даче жить, какой никто не видел, и никто тебя не толкнет! Ни о чем никого не попрошу, все своими руками сделаю, сама!» И сделала. На окраине Баковки, в поле, построила каменный дом с колоннами и флигелями, с террасой, выходящей к пруду, с гаражом на две машины. Правда, нет сада. Зато внутри дом, как дворец, зал в шелковых маркизах. Везде — старинная мебель. «Что золотишко, камешки! Мебель — вот это красиво, дух человеческий. Живой, теплый. Смотришь и себя уважать начинаешь — вон оно что было-то, за спиной-то. Хорошо!» А теперь окна зашторены, пустота. «После смерти мужа раза два за год заезжаю. Никогда не знала, что здесь делать. Вот работать на все это интересно было — в азарт вошла. За вечер два концертных костюма колом от пота становились. Возвращалась в гостиницу, замертво валилась. Кажется, всю страну объездила. Смысл был. А без Крюкова — что уж»…

Разговор за чаем в ее квартире на Ленинградском проспекте. На стенах много картин. Русская школа. Передвижники. «Картин никогда не продавала. Рука не поднималась. О них во Владимире думала — что с ними сталось, увижу ли когда?» Это в то время, когда по Москве ходила гнусная сплетня о спекуляции: мол, продавала Русланова картины иностранцам.

К Белютину у Лидии Андреевны отношение особое: «С мерзавцами, холуями не согласен — значит, я за тебя. Так

живопись выглядит, иначе ли — не в этом дело. Все с человека начинается: подлец или честный, шкура или бессребреник».

Рассказывает: «На приеме в Кремле подошла к Сталину. Плюгавый стоит, рябой, ухмыляется. Что же, мол, Иосиф Виссарионович, все о вас да о вас. Ведь они вот воевали, они и побеждали. Показала на Жукова, на мужа, на других. С косиной глянул: „Язык у вас, Лидия Андреевна!“ Отчество не по-нашему выговаривает: „е“ тянет. Дома муж: „Что ты наделала — под обух нас всех подвела“. Через неделю арестовали. Меня и сам Берия допрашивал: как я, мол, за мужем измену Родине не замечала. Серов, его заместитель, особенно трудился: скажешь что надо, надевай концертное платье и езжай выступать. Не подпишешь — сама себя вини. А я ответила: „Не дождешься! Зато я дождусь, как тебя, проклятое семя, на веревке вздергивать будут. Русская я баба, терпеливая — дождусь“. Дождалась. На суде была. После приговора подошла — охрана остановить не успела: „Что, голубчик, есть правда?“…

Теперь вот заеду в Баковку. Пройдусь. Посижу. Хорошо! И обратно. Умереть бы, пока еще работать можешь. Не сойти бы. Если сойдешь, страшно. Чего притворяться-то — очень страшно. Вот и лицо уже не то, и повадка, а все свое дело делаешь». Лидия Андреевна хотела расстаться со всем разом — и с домом, и с коллекцией мебели в нем. «Чего уж там душу рвать. Было — нету, и весь сказ. Только не для вас все это, вам ведь работать, а тут…»

* * *

В конце концов наш выбор остановился на Абрамцеве. Платформа 55-й километр (теперь Радонеж). Тогда здесь много домов продавалось. Но мало кто покупал. Опасались, предпочитали переждать. Ведь Хрущев озаботился вдруг моральным обликом партийной номенклатуры, успевшей почувствовать вкус роскоши, стал лишать аппаратчиков различных привилегий, критиковать тех коммунистов, которые дали волю частнособственническим интересам.

В марте 1964-го мы впервые приехали в Абрамцево — смотреть дом. Проваливаясь в снегу, шли по улице Пушкина, след в след за сторожем. Дом утопал в сугробах. Вокруг тончайшие прочерки молоденьких, хрупко вытянувшихся берез. Черные шатры елей. Красная путаница вишневых кустов. Разлатые старые яблони.

У застекленной веранды два крыльца. Посередине обшитая досками крутая лестница, ведущая на второй этаж. Распахнутые

настежь двери комнат: «А чтоб не портили дверей, если залезут». Веселые квадратные окна. На втором этаже несколько комнатенок. Лес — ему, кажется, не было конца — снежный, заиндевелый, звонкий.

В следующий раз мы приехали сюда в середине лета, в жарчайший июльский день. От станции асфальтовая дорожка вела через еловый бор на спящую улицу с зеленым туннелем — примостившейся у заборов тропинкой. Распахнутая калитка из жердей. Непролазная чащоба зелени. Маленькая избушка на еловой аллее. Большой дом в гроздьях ягод черемухи. Прудик (настоящий!) в хороводе лещины. «А если на поляне устроить мастерскую?»

7 августа 1964-го. На пустой платформе раздается свист уносящегося электропоезда. Дубы на пригорке дружелюбно раскинули руки. Пронзительно кричат сороки. Со скамьи поднимаются студийцы. «Ну как?» — «Купчая оформлена». — «Ура?» — «Пожалуй».

Дорожка ныряет в ложбину у железнодорожной насыпи, в духоту лещины, позванивающих осин, иван-чая. Студийцев встречает почти вековой лес с душным дыханием смолы, хвои, усыпанного кукушкиными слезками мха. В ворота они войдут вместе — Белютин и студийцы.

Учиться можно многому: доброте, справедливости, порядку. У Абрамцева свои уроки — общежития. Общежития художников, людей, которых профессия обрекает на самостоятельность. И одиночество. Коллективная мастерская — как долго мечтали о ней! Здесь те, кто понимает тебя и чьим пониманием будешь жить ты. Могли ли импрессионисты появиться без их кафе, художники 1920-х годов без совместной работы? Но за плечами годы, сложившиеся привычки, и если на что-то можно опереться в собственном прошлом — разве что на память пионерских и студенческих лагерей. Невероятно, но эта память вызвала к жизни уклад Абрамцева. И работа — ее придумывали вместе и вместе делали, сбиваясь с ног от желания все успеть, все переделать и писать, писать…

Когда начинать работать? Немедленно! Завтра же! Спать? Можно и на полу. Еда? Где-нибудь в округе есть же магазин! И какая разница, что готовить на такой непривычной для горожан дровяной плите? Готовили люди до нас, справимся и мы.

Первые холсты были начаты на открытом воздухе. Днем, пока свет, — живопись, в наступающих сумерках — графика. С первых же дней — абрамцевские чаепития. Обеды варили на десять, пятнадцать, двадцать, а то и больше человек.

Из кастрюль все выплескивалось. Заготавливали дрова. Воду

носили из колодца двенадцатиметровой глубины — двести метров пути с ведрами. В большом доме густой пьяный запах антоновки и манная каша с яблоками. Но чаепития были интереснее: дольше сиделось, больше говорилось.

Споры о написанном. Рассказы Белютина. К регулярным занятиям он пока не приступал. Проводил все время у мольбертов студийцев. Сказались и полуторалетний перерыв, и стресс. Из него приходилось выводить каждого в отдельности. Каждого студийца. Но почему-то не его самого. За полтора года о своем душевном состоянии он не заговорил ни разу. И никогда так много не смеялся. Заразительно, от души. Что это? Способ самозащиты? Жизнь показала: глубочайшая убежденность в абсурдности случившегося. Можно как угодно далеко отойти от принципов 1920-х годов, но все равно они останутся исходными: или максимальное раскрытие творческой потенции, или мелкомещанское болото, которое в конечном счете становится опасным для самого существования общества.

Со стороны — сон Веры Павловны из романа Чернышевского. В действительности же Абрамцево проложит границу между студийцами. Одни думали, что уже многое достигнуто и разумнее не рисковать. Другие по-настоящему испугались: пока все как будто обошлось, но мало ли что… Простая человеческая слабость — поколение, детством заставшее ежовщину и юностью жестокость ждановщины.

Были уставшие. Были и такие, кто хотел переждать какое-то время, чтобы в будущем, когда все совсем и вполне выяснится, вернуться к тому, что делалось в Студии. Горькая и такая очевидная ошибка наших лет! Искусство по большому счету нельзя отложить на завтра. Уходят бесследно, как вода в песок, непрофессиональные навыки — твои художнические контакты с миром, твое мировосприятие. Потом, как ни цепляйся за прошлое, когда-то достигнутое: «Ведь умел же, получилось же!» — все бесполезно. Получалось, когда ты был всем своим существом причастен к большому искусству.

* * *

О событиях 1963–1964 годов напишут американцы — политолог Павел Склоха и искусствовед Игорь Мид в книге «Неофициальное искусство в Советском Союзе», вышедшей в 1967-м в Соединенных Штатах и одновременно в Англии.

«В то время как литературная интеллигенция выстраивается в оппозиционный фронт, художники направления Белютина

сохраняют молчание и непоколебимую непреклонность, начисто отвергнув самую идею отречения от своих принципов, и поэтому сам факт их отказа от „покаяния“, полная внутренняя сплоченность, проявившая себя еще во время посещения выставки в Манеже правительством, как и их многочисленность на этой выставке оказываются полнейшей неожиданностью для официальных лиц и для самой широкой массы публики.

Формально Манежная выставка и последующий правительственный коммуникат становятся удобным поводом, чтобы поставить русских авангардистов направления Белютина в полную изоляцию — живопись относительно небольшой группы людей с огромной потенцией творческого поиска и слишком маленькой надеждой на признание. В результате возникает ситуация, при которой эта группа авангардистов приобретает полную публичную поддержку зрителей (естественно, у культурной ее части), но с момента атаки на их искусство в Манеже она принуждена вернуться к творчеству в молчании — труднейшее испытание человеческой выдержки и мужества. Вместе с тем, развернув наступление по всему фронту изобразительного искусства, партия собирает свои силы на фронте литературы и начинает следующее наступление — на литературную интеллигенцию.

Выставка в Манеже становится той отправной точкой, после которой партия открыто обращается к консолидации всех консервативно настроенных элементов, в чьи руки переходит исполнительная роль во всех ее органах. Обвиненный Хрущевым в неправильной линии поведения, Леонид Ильичев обращается к открытой пропаганде сталинских методов, подчиняя им все посты в области идеологии…

Назначение на подобные ответственные посты таких фигур представляло подлое завершение поражения неофициальных художников-авангардистов. Многократно повторяемые публичные критические выступления должны были лишить направление Белютина его защитников, хотя в конечном счете они только стабилизировали интерес и симпатии к нему широкой общественности.

Тот факт, что инцидент в Манеже стал как бы стартом и, во всяком случае, отправной точкой публично признанного существования современного (модернового) направления в искусстве, увенчал всеобщее желание его законного рождения. К лету же 1964 года авангардисты могли подвести и прямые итоги достигнутого, которые раньше заключались в полном выигрыше публики, признавшей их существование и определившей свое отношение к ним. С этого момента для всех интеллектуалистов,

прежде всего молодежи, студенчества, безусловно положительное отношение к авангарду Белютина становится своеобразным условием теста на принадлежность к интеллектуальной среде».

* * *

Студия Белютина была настоящим «Островом свободы». Ее отличало особое мировоззрение, мировосприятие, понимание человека в современном, превращающемся в жестокий хаос мире, понимание проблем изобразительного искусства — пространства, формы, цвета, определяемых сознанием сегодняшнего дня. Не вкусовые категории — изначальные закономерности развития человека как сущностной данности, которые обычно входят в противоречие с физиологически-бытовыми потребностями и представлениями обывателя.

Обывателю свойственно держаться за старое, привычное и возражать против перехода к новому. «Остановись, мгновение!» — так спокойнее. Шаг в будущее, в неопределенность страшит. В большей или меньшей степени. Адекватность изобразительных средств этому процессу — удел немногих. Другим можно помочь. Можно, если увлеченность искусством определяет смысл всей деятельности человека. В примитивном истолковании эта помощь белютинской системы воспринимается как складывающаяся из множества задач школа — в сущности, это уникальный и не имевший аналогов метод формирования творческой личности.

И снова одним этот груз самосовершенствования, постоянной внутренней настроенности на постижение смысла белютинских указаний кажется слишком тяжелым (а так ли легко достигаются и сохраняются верхние уровни постижения той же системы йоги?). Освобождение от него представляется желанным и становится роковым: возвращение к ремесленническому истолкованию профессии художника уничтожает Человека. И Мастера. На «Острове свободы» — постоянная борьба.

…Последние солнечные лучи догорают на вишневой аллее, в паутине сбросивших листву ершистых веток и просвечивающих чуть в стороне зеленых тугих шарах яблок. Лето уходит. Первое абрамцевское лето. В воздухе все чаще повисает вопрос: «Ведь мы здесь останемся? Хотя бы до снега. Разве зима это не здорово? В нашем Абрамцеве».

Найти смысл в том, что было, казалось, обречено лавиной бессмысленных, тупых и злобных разглагольствований. Обрести чувство собственного достоинства, чтобы спокойно и сосредоточенно взяться за кисть. Дело не в заказах и продаже —

их не было и раньше. Искусству противопоказана торговля. Но оно рождается для людей, от их чувств, душевной сумятицы, неустройства. И когда оно встречает непонимание, хуже того — враждебность, художник испытывает острую, трудноперенос имую боль. Те, кто брался за кисть в Абрамцеве, шли на такую боль. Осознанно и неотвратимо.

NB

Сколько их, питомцев разгромленного в начале 1930-х годов ВХУТЕМАСа, рванулось в Студию Белютина в начале 1960-х и сколько участвовало в победной Манежной выставке 1990–1991 годов! Разве не заслуживают простого упоминания жены-мироносицы, как шутливо называли их товарищи: Вера Мухар, Наталья Солодовникова, Тамара Озерная, Ирина Борхман, занимавшаяся еще и в Студии Кормона в Париже, Дора Петриченко-Зенякина, Тамара Тер-Гевондян, Дора Бродская, Елена Шаповалова, Розалия Славуцкая, Зинаида и Клавдия Штих… В Абрамцеве среди первых Валентин Окороков, Петр Валюс, Люциан Грибков, Владимир Грищенко, Виктор Миронов, Виктор Зенков, рано ушедшая из жизни Тамара Волкова…

Абрамцево Тамары Волковой — сказочная страна со всполохом (взрывом) звучных цветовых пятен: деревья, птицы, дорожки, тающие в зелени абрисы домов, такие неожиданные кусочки фольги, как нечаянная радость, которую дарит общение с холстом, как бы дальше ни сложилась его судьба. У Тамары светлые глаза, рыжий беретик, высокий голос и улыбка, веселая и бесхитростная. Через открытую дверь у плиты выглядывает на аллею: «Еще приехали? Сколько?» И по счету приехавших в кастрюлю с супом летят черпаки колодезной воды. Одному из последних: «Ой, как поздно! Вон, видишь, в тарелке один только березовый листик остался». Ну и что? Зато опоздавшему может достаться топленое, с плиты, молоко, ломоть черного хлеба с серой солью. «От души бы было», — смеется Тамара.

От души… По ночам ходим с Тамарой по дорожкам, слушаем шелест прихваченного первыми заморозками папоротника. Облетают березы и клены. Припадают к земле согнутые дождевыми струями длинные жасминовые ветки. Капли шлепают по широким листьям мать-и-мачехи. И холодеющие день ото дня звезды предвещают приближающиеся морозы.

А в доме пахнет печным жаром. До утра не гаснет свет в мастерской — в нее превратили, сняв все перегородки, второй этаж. Гулко отдаются торопливые шаги: вверх — к холсту, вниз —

к самовару. Кто-то торопится завершить работу. Кому-то приходит счастливая мысль попробовать что-то новое. За столом живет одна лишь живопись. Удается — не удается, не верите — пошли посмотрим. Отрешенность художника — ее нет. Мысли вслух. Поиски под взглядом доброжелательных глаз: твоя удача — общая удача. «Не видели, как Виктор Миронов проложил фигуру? Это же надо!»

В погожие дни холсты расцвечивают весь лес. Под деревьями работается лучше, точнее. Тот редчайший случай, когда живопись выверяется не в стенах музейных залов, при специальном освещении, на нужной высоте относительно зрителя. Все иначе — ее уверенное самостоятельное звучание в сопоставлении с природой. Она как сгусток увиденного, пропущенного через предельное напряжение чувств.

* * *

Спокойное течение абрамцевских дней было нарушено сообщением о снятии Хрущева на Пленуме Центрального Комитета. Потом припомнится: все же полной неожиданностью это не было. Еще летом в Москве стали ходить слухи о заговоре. О попытках какой-то работницы партийного аппарата Украины предупредить Хрущева по телефону о возможном выступлении против него. О сведениях, которые поступали помощникам премьера, рассказывал впоследствии начальник охраны здания Центрального Комитета полковник Сергей Грибанов.

В воспоминаниях некоторых членов Политбюро обстоятельства снятия Хрущева будут представлены совсем по-разному. Бурлацкий будет утверждать, что заговор организовали Шелепин с Семичастным. Он назовет даже место их встреч для переговоров — стадион. Семичастный не станет отрицать, что ему как руководителю госбезопасности было предложено несколько вариантов «обезвреживания» Хрущева вплоть до прямой ликвидации премьера: захват премьера на самолете, в поезде, применение яда. Глава КГБ якобы не решился ни на одну из крайних мер. Из его слов следовало, что он выступил в роли исполнителя, но не организатора смещения Хрущева.

Правоту Семичастного косвенно подтвердит Воронов: и его, и Шелепина старшие товарищи воспринимали только как комсомольцев, не придавая им самостоятельного значения. К тому же местом встречи заговорщиков он назовет Завидово, где обычно охотился и чувствовал себя хозяином Брежнев.

Шелест объявит организаторами заговора Брежнева и

Подгорного и припомнит эпизод на праздновании 70-летия Хрущева, когда в сильном подпитии Брежнев скажет присутствующим: «Я — ваш президент, вы — мой народ». Это могло быть не слишком уместной шуткой, но, по словам Воронова, у Брежнева был список членов ЦК, где против каждой фамилии стояли — в зависимости от их отношения к замыслу — плюсы или минусы. Что же касается кандидатуры на пост нового генерального секретаря, то большинство имело в виду Подгорного. Брежнев даже не принимался в расчет.

Самым удивительным было то, что все игнорировали Суслова, хотя Москва говорила только о нем. Отчасти потому, что он произносил на XIX съезде речь о Сталине (если бы знать, что на XXVI съезде он же выступит с речью и о Брежневе!). Но главным образом потому, что Суслов вызвал Хрущева из Пицунды на пленум, выступил против сохранения за ним должности Председателя Совета Министров, что предлагал Микоян, и, наконец, в своей речи полемизировал с генсеком. По слухам, на его четырехчасовое выступление Хрущев отвечал только в течение трех часов: приводил доводы, пытался вернуть ускользавшие симпатии членов Центрального Комитета.

Но пленум был хорошо подготовлен. За отставку проголосовало большинство, и здесь же в зале Хрущев подписал написанное кем-то от его лица заявление.

Подробностей было множество. Противоречивых. Уже несущественных. Все менялось, но в перемены к лучшему не верилось. Тень Сталина, с которой до конца не сумел и не захотел расставаться бывший генсек, явно сгущалась, а в ней слишком явственно рисовалась фигура Суслова. Со временем Шелепин скажет: приход Суслова к власти был бы много хуже прихода Брежнева. В этом Москва не сомневалась и в октябре 1964-го.

Значит, все! Перед глазами мелькала и рвалась лента хрущевского правления. Почти десятилетие. В непонятно всплывавших подробностях. Иногда важных для всех. Иногда только для себя.

Никаких реформ не происходило. Все менялось день ото дня — последовательно и неуклонно. Были сняты со своих постов прежние руководители Польши: Гомулка, Клишко… Петр Шелест через годы признается, что сами члены Политбюро, так или иначе готовившие уход Хрущева, не замечали, как редели их собственные ряды. Алексей Косыгин, неизменно сохранявший собственное и не совпадающее с брежневским мнение. Отстранение от дел было для него полнейшей неожиданностью. Резко возражавший первому генсеку Подгорный, во время переворота представлявший одну из наиболее реальных

кандидатур на место Хрущева.

Предложенная Подгорным кандидатура Брежнева была скорее всего тактическим ходом. Тем не менее она была поддержана, а Брежнев, со своей стороны, в виде сатисфакции заговорил о ранее существовавшей должности второго секретаря, которую мог бы занять Подгорный. Но общая поддержка Политбюро не сыграла никакой роли, на пленуме этот вопрос вообще не был поставлен. Окончательный розыгрыш произошел на другом пленуме, где неожиданно выступивший секретарь города Донецка Кашура предложил совместить должности генсека и Председателя Президиума Верховного Совета. Само собой разумеется, в руках Брежнева. На изумленный вопрос Петра Шелеста: «Что происходит?» — Брежнев ответил буквально: «Я тоже ничего не понимаю, но этого хочет народ». Места для Подгорного не осталось.

Дмитрий Полянский, заместитель Председателя Совета Министров, был достаточно независимый в своих мнениях — насколько это допускала партийная дисциплина. О его снятии Петр Шелест рассказывает:

«Однажды мы на Политбюро должны были обсудить кандидатуру министра сельского хозяйства. Полянский что-то писал. Неожиданно Брежнев сказал: „Предлагаю Полянского“. Полянский продолжал писать. Я, сидя около него, шепнул: „Дмитрий, это тебя“. — „А в чем дело?“ — „Брежнев предлагает тебя министром“. Полянский побледнел, потому что наконец понял. Но было слишком поздно».

Сложнее оказалось расправиться с самим Петром Шелестом. Сначала в 1972 году последовало снятие его с должности первого секретаря ЦК компартии Украины. «Брежнев на одном из пленумов ЦК позвал меня поговорить наедине. „Как дела на Украине?“ — „Я уже тебе говорил“. — „У меня есть предложение: перевести тебя в Москву“. — „Вы недовольны Украиной?“ — „Напротив. Мы хотим укрепить Совет Министров“. Укрепить, когда мне шестьдесят четыре. Чтобы войти в курс дела, нужно еще три года».

Возражений не последовало, да и были ли они возможны?! Петр Шелест оказался в Москве, а годом позже — в отставке.

NB

А. Н. Шелепин:

«Хочется хотя бы кратко сказать о М. А. Суслове — втором человеке в партии. Это яркий тип угодливого чиновника, настоящий двуликий Янус. Он был одинаково угоден Сталину и Маленкову, Хрущеву и

Брежневу… Будучи секретарем Ростовского обкома, Ставропольского крайкома партии, а затем и председателем Бюро ЦК КПСС по Литовской ССР, он имел прямое отношение к массовым репрессиям. Да иначе и не могло быть: тогда бы Сталин не выдвинул его в руководство партии… Он был консерватором и догматиком, оторванным от реальной жизни страны. Никакого вклада в развитие марксизма-ленинизма не внес. Именно по его вине советские люди не увидели многие талантливые произведения литературы и искусства. Мне достоверно известно, что именно он запретил демонстрировать на экранах фильмы режиссеров Германа, Тарковского, издавать роман Дудинцева „Не хлебом единым“, Гроссмана — „Жизнь и судьба“ и другие… Многочисленные провалы, допущенные в подборе и расстановке кадров того времени, — это и его вина, так как все годы при Брежневе он возглавлял Секретариат ЦК КПСС. Суслов сам во многом способствовал раздуванию культа личности Брежнева».

В первых числах ноября 1964-го состоялась первая абрамцевская выставка.

Холсты на снегу. Подпертые слегами. Прислоненные к еловым лапам, корявым яблоням, тоненьким березкам. Большие. Очень разные. И все необычные. Для привыкшего к советским экспозициям зрителя.

Под открытым небом. В лучах солнца и зыбких отсветах облаков теоретически могут существовать только монументальные росписи, несложные по форме и цвету. Разглядел — понял: для сложных переживаний нет времени и места.

Для станковой картины нужны крыша и стены. Ее дописывают на том месте, где собираются показать, и тратят немало усилий на подсветку. Правильное освещение — залог успеха. И все чаще дневной свет заменяется его искусственным подобием: никаких перемен, никаких неожиданностей.

Абрамцевский сад — это шаг из подвала в сияющий июньский день. Ослепительные всполохи красок. Выражающие желание художника до конца раскрыться в своем чувстве. Даже если боль, гнев, ненависть. Праздник творчества. Вибрация человеческих нервов, слитых с открытым цветом, стирает деревья, туманит бель снега.

Зрителей множество. Кажется, электрички привозят только

их.

«Не может быть!» Они расходятся по саду. Останавливаются. Возвращаются. Снова отходят. «Та самая живопись, что была в Манеже?!» Та и то, что было написано за последние два месяца. Но участников меньше. Кто-то предпочел спрятать свои «взрывоопасные» работы. Кто-то вообще их уничтожил — на всякий случай! Зато пришли новые — и из числа студийцев, и совсем посторонние. Из других городов. Даже республик. Студия продолжает жить.

О будущем не загадывали. Все знали, что существует позиция Шелепина, яростно добивающегося восстановления сталинизма, хотя своей политической карьерой он был обязан только Хрущеву. И есть Брежнев — но кто и что мог о нем сказать? Всегда рядом с Хрущевым, непременно при Хрущеве.

Передовая статья газеты «Правда» от 6 декабря 1964 года — как хотелось верить, что именно в ней заключался ответ на все недоумения и опасения!

Необходимость немедленной экономической реформы. Перспектива перехода к современному научному управлению. Вопрос о развитии демократии и самоуправления. И уж совершенной фантастикой выглядела идея ограничения деятельности партии политическими проблемами, ее права вмешиваться в хозяйственные вопросы. Прекращение гонки ядерных вооружений и выход Советского Союза на мировой рынок прежде всего для приобщения к прогрессивной технологии. Каким странным тогда казался комментарий главного редактора «Литературной газеты» Валерия Косолапова: «Вы знаете автора? Нет? Всего-навсего Юрий Андропов. Вот и думайте теперь, что за всем этим в действительности стоит».

Опытный аппаратчик имел все основания для скептицизма. Программа была изложена Брежневу и Косыгину, с которыми Андропову довелось ездить в Польшу. Отдельные положения не вызвали на первый взгляд возражений, другие оказались с ходу отвергнутыми. За просчет последовала скорая расплата. Андропов был снят с поста секретаря Центрального Комитета и переведен на должность руководителя госбезопасности. На этом категорически настаивали Косыгин и Суслов. Компенсацией послужило включение автора программы в число кандидатов в члены Политбюро.

Но об этом розыгрыше стало известно позднее. А пока «Правда» вселяла надежды, как и то, что в печати перестал употребляться термин «социалистический реализм». Формулировки, касающиеся культуры, смягчились. Наконец, несмотря на повторение в Абрамцеве Манежной выставки,

Белютин был приглашен на очередной новогодний прием в Кремль.

Любезное рукопожатие Брежнева. Умиротворенного. Излучающего благостность и спокойствие. Суслов, как всегда за плечом генерального секретаря. Его поздравление. Его «наилучшие пожелания». И словно мимоходом брошенное: «Не стоит помнить старых обид». Полусовет, полупредупреждение. Сухая вялая ладонь. Водянистые глаза. «Не стоит…»

NB

А. А. Громыко:

«В прошлом, с 1939 по 1944 год Суслов работал первым секретарем… Ставропольского обкома партии. Об этом все уже забыли, но помнил Горбачев. Суслов, отправляясь на отдых, порой наведывался в Ставрополь. И однажды во время очередного визита, как рассказывают, местное партийное руководство, в том числе и Горбачев, пригласили и показали ему… музей жизни и деятельности Михаила Андреевича Суслова. Старец дал слабину, растрогался и отплатил Горбачеву добром».

В. А. Болдин:

«Что касается Секретариата… то тут господствует один большой сусловский порядок. По существу, партия отдана ему в подчинение. И даже в отпуске, когда А. П. Кириленко замещал Суслова, бдительный серый кардинал следил за каждым решением и, вернувшись, отзывал некоторые из них, если они расходились с мнением Суслова и его окружения. Михаил Андреевич имел магическое влияние на Брежнева и часто, вопреки принятым решениям генсека, мог уговорить Брежнева отказаться от них и сделать так, как советовал Суслов. Это делало его всесильным».

…Между тем Шелепин не сдавал своих позиций. Об этом свидетельствовали и споры о необходимости восстановления культа Сталина, и разговоры об установке на мировую революцию и отказе от мирного сосуществования, как и от теории мирного перехода к социализму в капиталистических странах. Снова любой ценой дружба с Мао Цзэдуном и резкое обострение отношений с Югославией. О чем-то говорилось в газетах впрямую, что-то легко просчитывалось.

Воспоминания о хрущевской «оттепели» стирали старательно. Само собой разумеется, власти отказались от деления на промышленные и сельскохозяйственные обкомы, ликвидировали

совнархозы. Руководство перешло к ведомствам. Но главное — отказались от ротации кадров, от партмаксимума, от каких бы то ни было ограничений привилегий номенклатуры. Доклад Брежнева, посвященный 20-летию Победы, — яркое тому свидетельство. Общая тенденция руководства не оставляла никаких сомнений.

В декабре 1962-го поэт Вячеслав Кузнецов поплатился за своих «Палачей» необходимостью уехать в Магадан. Положим, добровольно. Там он в свое время проходил военную службу, а нигде больше его не стали печатать. В 1964-м в том же Ленинграде на партийной конференции выступил генерал Петр Григоренко. Он потребовал начать борьбу с коррупцией, настаивал на отчете высших эшелонов власти о доходах. В результате генерала перевели со значительным понижением на Дальний Восток.

Когда же упрямый генерал собрал вокруг себя единомышленников — своих сыновей и их приятелей, его арестовали и заключили в специальную психиатрическую больницу, где он оказался в одном отделении с машинистом башенного крана, писавшим на ту же тему «листовки». Четвертое отделение известного психиатрического института имени Сербского перешло к новому виду деятельности — «лечению» инакомыслящих.

* * *

Летом 1965-го в Абрамцеве строилась мастерская. Огромная. Деревянная. Место для «хранения манежного фонда». И для работы. Вскоре в ее стенах состоялась очередная выставка.

В сентябре того же года «Правда» опубликовала статью А. Румянцева «О партийности творческого труда советской интеллигенции». Речь шла о литературе. Основная идея: советский художник обязан бороться за коммунизм, для него совершенно немыслима позиция нейтралитета. «…Чем более страстно писатель намерен бороться за коммунистическое преобразование общества, воплощающего подлинный, реальный гуманизм, тем более партийным он должен быть». То есть жить «в гуще интересов своего времени», точно определять свое место в борьбе, просчитывать последствия своих выступлений, воздействие на все слои читателей, и в особенности на молодое поколение.

Автор не отказался и от обычных для прежних времен указаний, что и как должен делать художник: «Конечно, кому как

не писателям углубляться в душу, в психологию людей, но делать это надо так, чтобы не исчезала, а, наоборот, ярче и глубже проявлялась социальная сущность героев. Ибо вне этой связи изображение психологии героев вырождается в мещанский „психологизм“, который на деле уводит от решения классовых, революционных преобразований общества».

В статье содержался скрытый намек на посещение Хрущевым выставки в Манеже, что могло одинаково расцениваться как осуждение Хрущева или как его поддержка: «Критика художников (причем критика за их действительные, а не мнимые ошибки) — это борьба за этих художников. Анатолий Луначарский был прав, когда писал, что Маркс и Энгельс, Ленин относились к писателям чутко. Но означало ли это, что они прощали ошибки писателям?»

Ответом служила цитата из того же Луначарского о Ленине: «Чем больше был писатель, с которым ему приходилось иметь дело, тем больше он считал своим долгом обращать внимание на его заблуждения и беспощадно критиковать их. Но эта беспощадность была беспощадной критикой с примесью дружественности, которая сразу подчеркивала, что это самокритика, что это критика товарища по отношению к товарищу. Поэтому в ней не было ничего оскорбительного, ничего отталкивающего».

Через несколько дней роль интеллигенции в жизни страны получит положительную оценку в передовой статье газеты «Правда». Чуть позже в статье «Ответственность и свобода художника», посвященной 60-летию со дня выхода статьи Ленина «Партийная организация и партийная литература», в том же ключе выступил В. Щербина. Оставалось поверить в наступивший мир и лад.

NB

В. Карпов:

«В день двадцатилетия Победы в Великой Отечественной войне 8 мая 1965 года Жуков впервые (после хрущевской опалы с октября 1957 года) был приглашен на торжественный вечер в Кремль. Когда он вошел во Дворец съездов, присутствующие встали и устроили грандиозную овацию в честь маршала. А когда в докладе была в числе прославленных военачальников произнесена его фамилия, в зале возникла новая овация, все встали и очень долго аплодировали стоя. Такая реакция очень озадачила нового генсека Брежнева, и опять возникли неприятные для Жукова последствия. В этот день зародилась болезненная ревность к славе

маршала у Брежнева… Ревность и даже боязнь приветственных оваций была так велика, что генеральный секретарь, не желая видеть и слышать все это, рекомендовал делегату съезда (XXIII) маршалу Жукову, члену партии с 1919 года, не появляться на съезде».

Ф. Бурлацкий «Вожди и советники». 1995.

«Вскоре после того пленума (октябрьского 1964 года) состоялся мой первый в сущности и единственный разговор с Брежневым. В феврале 1965 года на группу консультантов из нашего и других отделов возложили подготовку доклада Первого секретаря ЦК к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мне поручили руководить группой, и именно поэтому помощник Брежнева передал мне просьбу проанализировать и оценить параллельный текст, присланный ему Шелепиным. Позже Брежнев вышел сам, поздоровался со всеми за руку и обратился ко мне с вопросом: „Ну что там за диссертацию он прислал?“ А „диссертация“, надо сказать, была серьезная — не более и не менее как заявка на полный пересмотр всей партийной политики хрущевского периода в духе откровенного неосталинизма. Мы насчитали семнадцать пунктов крутого поворота политического руля к прежним временам…

Я начал излагать наши соображения пункт за пунктом Брежневу. И чем больше объяснял, тем больше менялось его лицо. Оно становилось напряженным, постепенно вытягивалось, и тут мы, к ужасу своему, почувствовали, что Леонид Ильич не воспринимает почти ни одного слова. Я остановил фонтан красноречия, он же с подкупающей искренностью сказал: „Мне трудно все это уловить. В общем-то, говоря откровенно, я не по этой части. Моя сильная сторона — это организация и психология“, и он рукой с растопыренными пальцами сделал некое неопределенное движение».

1966-й. Февральский вечер в Москве. Звонок телефона. Приглушенный, неизвестный голос сообщил: «У вас… в Абрамцеве… рухнула мастерская…»

Пережить ночь. Дождаться утра. Чтобы с первой электричкой мчаться в Абрамцево.

Обледенелая тропка в лесу. Безлюдная улица. Наш забор. И — ничего! Ровная поляна, покрытая снежком. Рядом Гриша Аксенов, бывший танкист: «Не может быть! Не может быть! Ведь своими же руками строил…» Белая пелена скрыла все следы. За спиной едва слышный шепот: «Ночью это… около полуночи… все спали». И торопливо сворачивающая в проулок фигура.

Около полуночи и раздался звонок. Единственные в поселке телефоны — в поселковом совете и на почте — работают до шести вечера. И еще: это были дни, когда шел процесс над Синявским и Даниэлем. За публикацию работ на Западе.

NB

Ф. Бобков «КГБ и власть».

«В 60–70-х годах резко обострилась борьба между различными школами и направлениями в изобразительном искусстве. Против художников, стоявших на позициях социалистического реализма, велись атаки и справа, и слева. Не берусь судить о достоинствах тех или других, мне лично нравились многие талантливые картины, независимо от того, к каким школам они принадлежали, и я с удовольствием посещал мастерские художников разных направлений.

Вспоминаю встречи с мастерами изобразительного искусства, интересные беседы, когда художники посвящали меня в тайны своих замыслов или раскрывали смысл художественных образов, запечатленных на полотне. Однако не скрою, мои симпатии больше склонялись к творчеству традиционалистов, реалистические произведения были внутренне ближе и доступнее для меня, да кажется, не только для меня».

Андрей Донатович Синявский и Юлий Маркович Даниэль — одногодки. Родились в 1925-м, то есть было им по сорок лет. Обоих задела война. Синявский служил на военном аэродроме. Даниэль ушел на фронт прямо из школы, был тяжело ранен, вернулся домой инвалидом. Оба стали филологами. Синявский закончил филфак МГУ, работал в Институте мировой литературы, преподавал в Школе-студии при МХАТ, печатался у Твардовского в «Новом мире». Даниэль окончил педагогический институт, переводил поэзию народов СССР, писал стихи и прозу.

Познакомились они в середине 1950-х годов. Оба поверили в «оттепель». Собственно говоря, советская власть короткой вспышкой откровенности с трибуны XX съезда партии спровоцировала молодых литераторов на ответную

откровенность. Когда выяснилось, что они обмануты, никто не собирается их публиковать и издавать, переправили свои произведения на Запад. Уже в 1960-е годы. Писали под псевдонимами о советской действительности. Псевдонимы без труда рассекретили. Обоих арестовали.

До суда, в разгар следствия, газеты открыли по ним бешеный огонь. Инициаторами травли оказались свои же, писатели. Работавшая в одном институте с Синявским литературовед З. Кедрина опубликовала в «Литературной газете» статью «Наследники Смердякова». Секретарь Московского отделения Союза писателей Д. Еремин напечатал в «Известиях» статью «Перевертыши». После этой статьи газета опубликовала гневные отклики.

Дело Синявского и Даниэля рассматривал Верховный суд РСФСР под председательством председателя Верховного суда Л. Смирнова. Прожженный политикан и опытнейший юрист, он принимал активное участие в Нюрнбергском и Токийском судебных процессах над главными немецкими и японскими военными преступниками.

Суд считался открытым только формально, а в зал впускали строго по пригласительным билетам. Два общественных обвинителя и ни одного общественного защитника.

Суд признал Синявского и Даниэля виновными в преступлениях, предусмотренных статьей 70-й части первой Уголовного кодекса РСФСР: «Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти…» Оба были приговорены к заключению в колонии строгого режима: Синявский — на семь лет, Даниэль — на пять.

Самое дикое — не приговор, а то, как он был встречен. Переполненный зал пришел в неистовый восторг.

«Вы слушали аплодисменты судебному приговору, вынесенному вам и над вами! Когда зал весело, остервенело, разваливаясь до потолка, рукоплещет обвинителю, погребающему вас, жалкого человека… в знак солидарности с наказанием барабанит от полноты живота, еще и еще раз прощаясь с вами залпами рукоплесканий в лицо.

Громче всех работал ладонями, сидя в первом ряду, Леонид Соболев, писательский босс…»

Погромные отзывы дали Агния Барто и Сергей Антонов.

Секретариат Союза писателей СССР (Федин, Тихонов, Симонов, Сурков, Воронков, В. Смирнов, Соболев, Михалков) написал «обличающее» письмо в «Литературную газету».

Из речи М. А. Шолохова по поводу Синявского и Даниэля, произнесенной на XXIII съезде партии.

«Мы называем нашу советскую родину матерью. Ничего нет более кощунственного и омерзительного, чем оболгать свою мать, гнусно оскорбить ее, поднять на нее руку! (Бурные, продолжительные аплодисменты.) Они аморальны. Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, „руководствуясь революционным правосознанием“, ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! (Аплодисменты.)».

* * *

…Снег смахивался легко, как от ветра. Сложенные друг на друга стены. Вокруг ни одного поломанного дерева или сучка. Вставшие шалашом двери. Под ними штабель картин. И у главного опорного столба ровная полоска… опилок. Пила с крупными зубцами пошла не очень ровно. Пила!

Приглашенный страховой агент ходил долго. Присматривался. Качал головой. «Платить не будем — обращайтесь в милицию, к следователю». Это означало, что отстраивать придется на собственные деньги. Те, в чьих руках оказалась пила, стояли много выше местных милиционеров и следователей.

Посеревшими губами Гриша Аксенов выдавил: «Сам отстрою. Каждый день буду работать». Остальная рабочая сила — Белютин, жена и мать в качестве помощников. Мастерскую надо было поставить как можно скорее. И без помощи студийцев: вряд ли бы они выдержали этот шок. А землю под фундамент можно было отогреть кострами. Начали строить сразу же. В сугробах снега.

Рабочий день на строительной площадке начинался в семь утра и заканчивался около полуночи. При электрическом свете. Труднее всех приходилось Лидии Ивановне. Шестьдесят один год — не шутка. Она не жаловалась. Словно не замечая ничего кругом, считала замесы: цемент, песок, ведра воды из колодца. Удача, если сегодня окажется один лишний.

С первыми листьями стены поднялись в человеческий рост. Под июньским солнцем крылась кровля. В июле двери мастерской открылись для студийцев. Осенняя выставка 1966-го прошла как обычно. Никто ни о чем не спрашивал. Не вспоминал. Больше сотни работ. Теперь уже новых. Среди зрителей — Павел

Кузнецов. За чаепитием Игорь Холин читал стихи, посвященные Белютину:

Рассказ
Про баркас
Сто километров в час.
Земля —
Последний порт.
Мертвецы,
На борт!
И в дорогу!
В пустоту.
К Богу.
В баркасе уют
Кают.
В каждом углу
Лампада.
И еда.
И вино
Что надо.
Бока баркаса —
Из мяса.

Может быть, по сравнению со сталинскими временами синдром страха и начинал ослабевать. Может быть… Зато расцветал синдром ненависти. Все равно к кому. Все равно за что. Образ врага — с ним человек вступал в жизнь и до конца срастался в зрелые годы. Враг таился повсюду — на работе, на улицах, в доме, в собственной семье. Выслеживать, выверять, разоблачать. И никому не приходило в голову, что ненависть — чувство, свойственное только человеку. Но именно она способна лишить человека человеческого облика. Это неверное выражение — звериная ненависть. Ненависть бывает только человеческая.

И будем откровенны — это она господствовала в эпоху сплошных арестов и лагерей. Она, а не вера в великие идеалы. Вера делает людей великодушными, но не побуждает хвататься за перо и бумагу, чтобы написать очередной донос и потом упиваться перспективой мучений ближних. Вера ослепляет, сообщает второе, третье, бог знает какое по счету дыхание для того, чтобы не жалеть собственных сил, но не уничтожать себе подобных. Вера — это способность шагнуть на костер ради чужого блага, но не толкать в него других ради собственного. И если мы стали трактовать веру иначе, тем хуже для нас.

В кровавом чаду братоубийственной Гражданской войны

ненависть неизбежно должна была вспыхнуть, но сделать ее постоянной мог только точный расчет. Ослепленного ненавистью человека легче направить на нужный путь, незаметно подвигнуть на то, на что сам он по натуре своей никогда бы не согласился. «Инженеры человеческих душ» — разве это не страшно? Не духовники, не духовные наставники, не братья и сестры милосердия — инженеры!

NB

«Отчеты о процессе подлецов читаю и задыхаюсь от бешенства», — писал Горький в 1930 году по поводу процесса промпартии — судилища над самыми светлыми техническими умами России. А несколькими днями раньше в «Правде» и «Известиях» была опубликована его статья «Если враг не сдается — его уничтожают»: «Внутри страны против нас хитрейшие враги организуют пищевой голод, кулаки терроризируют крестьян-активистов убийствами, поджогами, различными подлостями, — против нас все, что отжило свои сроки, отведенные историей, и это дает нам право считать себя все еще в состоянии гражданской войны. Отсюда естественный вывод: если враг не сдается — его уничтожают». Сталин имел полное основание написать в ответ: «Желаю вам долгих лет жизни и работы на радость всем трудящимся, на страх врагам рабочего класса».

Старое испытанное оружие безотказно сработало и после хрущевской кампании в 1962–1963 годах.

Народная мудрость гласит: выбирай не дом, выбирай соседей. К сожалению, это не всегда получается. Если одному нашему соседу — капитану первого ранга в отставке было безразлично, что происходит за забором, на другом участке, то другому — уволенному в запас по болезни бывшему сотруднику печати до всего было дело. Он начал с требования сделать калитку в заборе: «Может, нам с женой захочется забрести на огонек». На второй калитке настаивал еще один сосед — полковник, работавший в отделе распространения новой техники Министерства обороны.

Требований было множество, и все сводилось к тому, чтобы иметь возможность в любое время оказаться на участке: лес скрывал дом и мастерскую, а мелькавшие время от времени под деревьями холсты только разжигали врожденный синдром. Почему-то кто-то чем-то непонятным занимался, дружно жил, смеялся — и это после осуждения партией и правительством!

В поселковый совет и милицию поступали одно за другим заявления — проверить всех, находящихся на подозрительном участке, выяснить, не являются ли они «тунеядцами» — придуманная все тем же Хрущевым категория! Под нее попадал каждый уволенный с работы человек, в любую минуту он мог подвергнуться административной высылке.

Почему до поздней ночи освещен дом? Не собрание ли какое? Почему так долго по вечерам, а то и всю ночь горит свет в мастерской? Не подключились ли к электросети в обход счетчика? Не представляет ли пожарной опасности приготовление еды на столько человек? А главное, уже не вопрос, а ультиматум — спилить все деревья вдоль забора на ширину полутора метров. Для лучшего обзора. И чтобы сухие ветки не падали на соседние участки. Это ли не основание для создания специальной комиссии с правом осмотра всего сада! Со своей стороны «радетели» выкорчевали все до единого кустика: чтобы не мешали следить за чужим участком прямо из окон. В один прекрасный день у калитки появилась дружная, вооруженная пилами и топорами бригада, чтобы собственноручно навести порядок — разредить лес. Разговор с этими людьми довел Лидию Ивановну до сердечного приступа.

Было бы гораздо труднее, если бы не председатель поселкового совета, бывший полковник пограничных войск Матвей Аканин. Заходил по поводу каждой очередной жалобы. Называл имена «писателей». Подбадривал: «Держитесь! Чего уж там. Можно выдержать. Если всем вместе».

Бронислава Златогорова. Прима оперы Большого театра. Незабываемая Полина и Пастушок в «Пиковой даме» Чайковского. Деловая. Резкая. И чуть старомодная. На ее даче цветочные клумбы по довоенному образцу. Пестрые шезлонги. На террасе и в доме всюду яркие мягкие подушки. «Плюйте на них! Вам с одной живописью мороки хватает. А в случае чего зовите в свидетели — я за вас».

На соседней улице в скромнейшем домике — Василий Шульгин. Тот самый. Легендарный автор книги «1920-й год». Он очень церемонный: «Знаете ли, все же это уже иные времена. Не правда ли?»

Композитор Раухвергер. Его финский домик прямо через улицу. Визиты к нам были почти демонстративными. «Почту за честь. Премного благодарен за ваше любезное внимание. Всегда счастлив оказаться в вашем доме», — громко говорил он на улице, чтобы слышали соседи. И вполголоса: «Друзья мои, сил вам, душевных сил. И равнодушия. Вас же много».

Генерал в отставке Дроздов. Разведчик. Автор книги о

киевском подполье: «Гадюшник проклятый! Им все равно кого и кому продать: хоть немцам, хоть нашим. Навык — никуда не денешься».

Милейшая горбатенькая врач-фтизиатр Наталья Чудова, знавшая Белютина еще с военных лет: «За вами же фронт: не посмеют!»

Кто-то неожиданно дарил цветочные саженцы: «Воткните — сами в рост пойдут». Или корзинку клубники: «Ведь не будете копаться в грядках, а это так — к чаю». Все было совсем не просто. И не однозначно.

Осторожнее других оказались писатели. Валентин Португалов, осенью 1964-го одним из первых приехавший в Абрамцево, охотно согласился на авторский вечер в местном клубе. Просидел со студийцами за чаем до последней электрички.

Черной ночью, в шорохе опадавших листьев, его толпой провожали на станцию. Прощаясь, казалось, тепло и искренне, Португалов забыл сказать о мелочи — о том, что, став деканом Высших литературных курсов, он нашел способ избавиться от связанной с «формалистами» преподавательницы — хозяйки Абрамцева. Курс истории и психологии художественного творчества, который я вела много лет, был исключен из программы. Временно. Через полгода Португалов нашел для курса просоветского лектора. Решение бывшего заключенного — Португалов просидел в концлагере многие годы — положило конец моей преподавательской деятельности.

Вспоминаются посвященные мне стихи Игоря Холина:

Служащий Кома
Дома.
Подсудимый Кома,
Это вам
Знакомо?
Заключенный Кома,
Где ваша
Мама?
Покойник Кома,
Вам телеграмма.

NB

Д. А. Волкогонов:

«Андропов оказался тем человеком, который смог осуществить известную „либерализацию органов“, перенеся центр тяжести усилий по изоляции неблагонадежных на контроль за состоянием

индивидуального и общественного сознания. Нет, конечно, нередко людей за убеждения сажали, ссылали, выдворяли за границу. Но центр тяжести был перенесен на так называемую профилактическую работу. Здесь он добился многого: привлек науку к изучению тенденций в умонастроениях людей, усилил влияние „органов“ на партийную сферу, уделял особое внимание борьбе за чистоту марксизма-ленинизма. Не случайно, что большинство крупных публичных выступлений Андропова связаны прежде всего со сферой духа, где КГБ выступал своего рода государственным интеллектуальным надсмотрщиком».

Ф. Бобков «КГБ и власть».

«Ю. В. Андропов предложил мне пост первого заместителя начальника вновь создаваемого Управления по борьбе с идеологической диверсией (1967).

— Ты не можешь не согласиться с тем, что сейчас идет мощная психологическая атака на нас, это же не что иное, как самая настоящая идеологическая война, решается вопрос: кто кого. Мы, коммунисты, стоим на твердых позициях и полны решимости укреплять советское государство, а наши идеологические противники прилагают все силы, чтобы разрушить его. Мы обязаны знать их планы и методы работы, видеть процессы, происходящие в стране, знать настроения людей. Это очень важно. Нам необходимо использовать самые разные источники: как легальные учреждения, социологические институты или информацию в печати, так и данные наших спецслужб. Помимо явлений, которые лежат на поверхности, существуют еще и тайные пружины, и немаловажную роль здесь играет работа наших органов… Мне представляется, что главной задачей создаваемого управления является глубокий политический анализ ситуации и по возможности наиболее точный прогноз… И здесь очень важна роль чекистских методов работы.

„Чекистские методы“? Что он имеет в виду? — подумал я. Видимо, речь идет о создании своего рода Управления политической контрразведки. Андропов не скрывал, что ощущение необходимости такого подразделения вынес из венгерских событий 1956 года, очевидцем и участником которых был, находясь в Будапеште на посту посла СССР. Чекистские методы у многих отождествляются с тем, что именуется

„политическим сыском“, „охранкой“. Об этом шла речь в тот памятный для меня вечер. Господа буржуазные идеологи, посмотрите на 49-ю статью проекта новой Советской конституции. Там четко изложено право граждан Советского Союза и на критику, и на внесение предложений. Там совершенно ясно указано, что преследование за критику в нашей стране запрещается. Другое дело, когда несколько оторвавшихся от нашего общества лиц становятся на путь антисоветской деятельности, нарушают законы, снабжают Запад клеветнической информацией, сеют ложные слухи, пытаются организовать разные антиобщественные вылазки. У этих отщепенцев нет и не может быть никакой опоры внутри страны…

Но значит ли все это, что развитой социализм застрахован от появления отдельных лиц, чьи действия не вписываются ни в моральные, ни в юридические рамки советского обществе? Нет, не значит. Причины тут, как известно, могут быть разные: политические или идейные заблуждения, религиозный фанатизм, националистические вывихи, личные обиды и неудачи, воспринимаемые как недооценка обществом заслуг и возможностей данного человека, наконец, в ряде случаев — психическая неустойчивость отдельных лиц…»

* * *

Пани Марья сказала: «Дом в Гнездниках… Если бы удалось побывать в Москве, первым хочу увидеть дом в Гнездниках». Она выговаривала необычное даже для москвичей слово очень старательно, с четкой буквой «н», как редко услышишь на наших улицах. А здесь…

В распахнутую на просторное крыльцо дверь потянуло прелью весенней земли и первой зелени. На грядке кустились первые ландыши. Дорожка прямо от ступенек убегала в заросший ежевикой овраг. За ним в лиловой дымке теплого апрельского дня морской зыбью колыхались пологие холмы.

О доме Марьи Кунцевичёвой в Казимеже Дольном, иначе Казимеже на Висле, в Польше знают все. Нет ни одного путеводителя по этому древнему городу, где не было бы его фотографии: двухэтажный черный сруб на высоком белокаменном подклете под перекрытой дранкой кровлей, у вековых плакучих берез. Рядом могучие руины замка Казимира Великого XIV

столетия, резные фронтоны каменичек XVII века на площади Рынка.

В Польше Марью Кунцевичёву считают своей писательницей, в США, пожалуй, с таким же правом — американской, а англичане ставшего бестселлером «Тристана 1946» — частью своей литературы. Во время Второй мировой войны Кунцевичёва жила в Англии. Потом преподавала славянскую литературу в одном из американских университетов, но всегда, когда была возможность, приезжала в Казимеж. Ограды у ее дома нет. Он давно передан Марьей соседнему Дому творчества Союза журналистов, с тем чтобы в отсутствие писательницы в нем могли работать ее коллеги.

Она часто возвращалась к темам своих довоенных рассказов, ироничных и горьких, о нравах обитателей Варшавы и маленького Казимежа, о чем помнили уже немногие.

Но еще раньше в ее жизни была Россия. Приволжский город. Консерватория, которую открывали в Саратове ее родители. Поездка в Москву. Одна из них запомнилась на всю жизнь. Начало зимы 1914 года, чествование Герберта Уэллса. Москва выбрала для торжества помешавшийся в подвале дома в Гнездниковском переулке театр «Летучая мышь».

Уэллс в те годы был очень популярен. Публику поражали его фантастика, научное провидение. Разве в своей книге «Война в воздухе» он не предсказал будущее военной авиации, а в «Освобожденном мире» — использование атомной энергии? Оба романа стали известны читателям непосредственно перед приездом писателя в Россию.

Но Уэллс был еще и бытописатель, увлекавший главным образом читательниц. Пани Марья перечисляет его книги, которыми тогда зачитывались дамы: «Анна Вероника», «Брак», «Страстная дружба».

Что осталось в ее памяти?.. С Тверской въезжали в переулок, как в ущелье. Терявшийся в темноте неба дом сверкал сотнями огней. У подъезда с широкими стеклянными дверями трубили клаксоны автомобилей. В просторном вестибюле пышно взбитые дамские прически. Тесные шелковые платья с тренами. Студенческие куртки. Мундиры офицеров-летчиков. Толпа, добивающаяся автографов. Веселый голос Уэллса, пытавшегося выговорить русские слова. Смех…

По прошествии сорока лет польская писательница и английский романист встретятся в Лондоне. Г. Уэллс припомнит дом в Гнездниковском как кусочек Америки, но в русском, по его выражению, соусе. С крыши десятого этажа, куда поднимал отдельный лифт, были видны Кремль и собор Василия

Блаженного, стены Страстного монастыря — писателю рассказывали, что это его колокол первым оповестил Москву об освобождении от наполеоновских войск.

Пани Марья интересуется: действительно ли, как говорили ей родители, Адам Мицкевич встречался со своей несостоявшейся невестой Каролиной Яниш на Тверском бульваре? Да, это так. Там была «Греческая кофейня», где собирались литераторы. Каролина уже тогда слыла известной поэтессой. Со временем она вошла в историю литературы под именем Каролины Павловой.

Русская тема по-своему преломилась в творчестве пани Марьи. Неясный и волнующий образ дома-гиганта, собравшего столько человеческих судеб. Один из родственников писательницы, романист Ян Юзеф Щепаньский напишет дилогию об Антони Березовском, отчаянном смельчаке, решившемся в Париже застрелить русского императора Александра II, сосланном на пожизненную каторгу в леса Новой Каледонии, — дилогию «Икар» и «Остров». Обе книги переходят в мои руки с авторской подписью. А пани Марья с улыбкой спрашивает: «Писателей и теперь продолжают чествовать на Гнездниковском?»

Любит Россию и супруг пани Марьи Александр, окончивший математический факультет Киевского университета. Перебивая друг друга, они вспоминают вкус ситного хлеба и мороженых яблок, квас, русскую Пасху…

Зазеркалье! Эта мысль приходит неожиданно и ошеломляет. Конечно, я приехала из Зазеркалья. Пани Марья настаивает: «Расскажите все в подробностях! Я хочу понять».

Понять, почему только через двадцать три года после конца войны мне удалось попасть в Польшу? Понять, что мы осуждены идеологическим судом и потому не можем получить необходимых для выезда документов? Каждый — да, да, каждый! — должен для этого иметь разрешение с места своей работы, необходимо поручительство дирекции, партийной и профсоюзной организаций в том, что он непременно вернется в Советский Союз, что за границей будет подчиняться предписанным правилам, ни с кем не станет встречаться, никаких неразрешенных покупок делать не будет. За нас не поручится никто!

Как же мне все-таки удалось выехать? Оказалось, что женщина может назваться просто домашней хозяйкой, скрыть членство в двух творческих союзах, скрыть свое авторство нескольких десятков книг. И тогда — тогда достаточно просто заверенного нотариусом разрешения мужа. Домашняя хозяйка не может представлять интереса ни для страны, ни для органов. На лицах Кунцевичей ни тени улыбки. Пани Марья сжимает руками

виски: «Как крепостные. Боже, как крепостные! В XX веке!» И после долгого молчания: «А если бы мы захотели приехать?» Как объяснить, что это невозможно? Чтобы послать приглашение Кунцевичам, надо получить разрешение Союза советских писателей. А там скажут: «Но ведь она же печатается в религиозных издательствах! И у нее американское подданство!»

* * *

Август в Казимеже. Густой запах хвои. Заросли переспевшей ежевики вдоль тропинок. Пустая Рыночная площадь, где в тени расставлены на земле несколько десятков картин — вдруг найдется покупатель? Жаркие песчаные отмели у лениво текущей Вислы. Лодка, переправляющаяся к Яновцу. Развалины замка с единственной уцелевшей башней, где конечно же обитает таинственная белая дама.

Выше Рынка, сразу за башней Казимира, заросшая дорожка к древней калитке. Почерневший штакетник. Табличка: «Вилла Белый Ангел». На дворе стая гусей, с криком набрасывающихся на каждого входящего. Дом, прилепившийся к горе, с густо побеленными комнатушками — пансион, который держат три сестры. Одна из них, скульптор, приезжает «на сезон» из Парижа, где давно прижилась. А может, и не прижилась и тоскует о родном «дворке», фамильном «маёнтке» со всеми его бедами и заботами.

По утрам все жильцы собираются в столовой. На завтрак непременно подают горячий молочный суп, творог и теплые рогалики. Начинаются церемонные приветствия, обмен любезностями, разговоры о погоде, которая, хвала Богу, держится и, обещают, еще будет держаться, о планах на день. Хозяйки напоминают: к обеду не задерживаться — кухарка не любит ждать! Все слушают старенький радиоприемник. Передают последние новости. И… вдруг!

Советские танки в Праге. При поддержке частей польской, венгерской, румынской армий. И прерывающийся отчаянием голос диктора: «Братья во всех странах! Братья во всей Европе! Люди! Помогите! Вы еще можете помочь! Здесь навстречу танкам выходят женщины и дети! Вы слышите, люди! Не дайте погибнуть нашей свободе — вместе с ее гибелью вы лишитесь и своей! После стольких лет военного ада не дайте вернуться насилию и концлагерям. Мы — маленькая страна, а вас много. Помогите! Ради Бога! Ради ваших детей! Вы слышите рев танков? Они уже под нашими окнами! Они сейчас будут здесь! Вы еще слышите

нас? Отзовитесь же! Отзовитесь!»

Крики. Грохот, шум борьбы. И — тишина.

За столом окаменевшие лица. Стиснутые, как на молитве, руки. И полушепот: «Поляки… там… Господи!..»

Потом выяснятся подробности. Конечно, это воля Москвы. Но, кажется, идея была предложена польским руководством. Во всяком случае, согласована с ним.

А танки шли через польскую землю. Советские. И польские. И кто-то видел их на улицах Варшавы. Просто все припомнилось позже. Тот, кто умолял о помощи в последние минуты свободного вещания Праги, об этом не знал. И не мог предположить…

NB

Е. И. Чазов, начальник Санитарного управления Кремля: «Откуда начать рассказ о трагедии Брежнева?

Для меня она началась в один из августовских дней 1968 года — год Пражской весны и тяжелых испытаний для руководимого Брежневым Политбюро. Шли горячие дискуссии по поводу возможных реакций в СССР на события в Чехословакии. Как я мог уяснить из отрывочных замечаний Ю. В. Андропова, речь шла о том, показать ли силу Варшавского пакта, в принципе силу Советского Союза, или наблюдать, как будут развиваться события, которые были непредсказуемы… Единодушия не было, шли бесконечные обсуждения, встречи, уговоры нового руководства компартии Чехословакии. Одна из таких встреч Политбюро ЦК КПСС и Политбюро ЦК КПЧ проходила в середине августа в Москве…

Вместе с П. Е. Лукомским (профессор-кардиолог) и нашим известным невропатологом Р. А. Ткачевым мы выехали в ЦК, на Старую площадь. Брежнев лежал в комнате отдыха, был заторможен и неадекватен. Его личный врач Н. Г. Родионов рассказал, что во время переговоров у Брежнева нарушилась речь, дикция, появилась такая слабость, что он был вынужден лечь на стол… Клиническая картина была неясной. Сам Брежнев что-то бормотал, как будто во сне, пытался встать…

Это был для нас первый сигнал слабости нервной системы Брежнева и извращенной в связи с этим реакции на снотворное».

* * *

У показа студийных работ была еще одна особенность. Несмотря на то, что в них участвовали преимущественно члены Союза художников (или именно потому, что члены?), они были окружены глухой стеной молчания. В отличие от сопровождаемых шумной «антирекламой» выставок одиночек, опекаемых горкомом партии и, само собой разумеется, органами. Это были как бы штатные «отщепенцы», против которых метали громы и молнии «Советская культура» и «Московский художник».

Осенью 1969 года на углу Вспольного переулка и Спиридоновки в мастерской открылась необъявленная выставка студийцев — Люциана Грибкова и Вадима Зубарева. Подвал, примыкавший к бывшему дому Берии. Несколько десятков больших холстов. Музыкальное оформление. Среди посетителей — сотрудники польского посольства. И на третий день — налет.

В тесном дворе двадцать шесть милицейских мотоциклистов. В подвале около тридцати мужчин в штатском. Они начали выталкивать зрителей, ничего не объясняя. Просто: немедленно «освободить помещение», «не задерживаться», «не разговаривать». Быстрее, быстрее, еще быстрее! Принадлежавшая Люциану Грибкову мастерская была опечатана. Его предупредили: он больше в нее не войдет. Через несколько дней холсты разрешили забрать, а арендный договор на мастерскую был расторгнут. И эти картины уехали в Абрамцево.

Тогда выставки одиночек под эгидой Александра Глезера сразу же оказывались в центре внимания иностранных корреспондентов. Представители всех западных газет заранее оповещались о них (не художниками!), непременно присутствовали на открытиях. Фотография единственного появившегося на горизонте милиционера становилась сенсацией. В свою очередь и советская печать оповещала о случившемся. Негодовала, критиковала, сообщала подробности, еще неизвестные западным журналистам. Но выставку на Вспольном, находившуюся рядом с Центральным Домом звукозаписи и хорошо знакомую сотрудникам посольств соцстран, обошли молчанием и те и другие. Вроде как ничего особенного и не произошло. Ну лишили мастерской участника Финской и Великой Отечественной войн. Ну напугали зрителей выставки. На самом деле партийные функционеры не хотели напоминать о Манеже, Студии, «Новой реальности», к которым присоединилось уже много художников из провинции: из Палеха, Холуя, Мстёры, Дулева, Обухова, Егорьевска, Загорска (Сергиева Посада), Дмитрова…

«Это невероятно! Это совершенно невероятно!» Наш разговор с первым советником польского посольства по культуре Анджеем

Слишем происходил в день выхода газет с материалами объединенного пленума творческих союзов. Слиш попросил меня встретиться с ним на улице. Шел снег, и мы медленно колесили по переулкам между Тверской и Никитской. Говорили вполголоса, невольно замолкая при появлении прохожих.

«Почему снова Элигиуш? Ведь все было выяснено: Манеж спустили на тормозах, и вот…» От обычной сдержанности дипломата не осталось и следа. Слиш нервничал, и это было понятно: любые повороты идеологического руля не могли не сказаться на жизни Польши.

Все знали: у Польши была иная, чем в Советском Союзе, политика в области культуры. Именно на этой почве возникла связь руководства страны с Белютиным и его Студией. В самый разгар манежной кампании только польская пресса по-прежнему помещала материалы о наших «левых» художниках.

Советник посольства был растерян. Если манежные события во многом списывались на счет борьбы за власть, то новый поворот имел прямое отношение к политической линии, которая брала начало на улицах Праги.

Уже некоторое время за нами шел мужчина, аккуратно выдерживающий дистанцию. Я предложила неожиданно остановиться. Мы так и сделали — и оказались лицом к лицу с пожилым человеком. Он стал сбивчиво объяснять, что мы напрасно его в чем-то подозреваем, что он просто услышал польскую речь, которую хотя и не знает, но очень любит, что если он нас раздражает, то готов обогнать, уйти вперед. Мы молча смотрели ему вслед, но недолго — он юркнул в подворотню одного из соседних домов.

* * *

В нашу жизнь вернулись страх и риск. Ужесточились требования к официальным выставкам. Любое отклонение от догматических установок подвергалось обструкции. Постоянный жупел — обвинение в формализме и абстракционизме, которые стали политическими категориями, усиленно насаждаемыми, в том числе и среди людей, не имевших никакого отношения к изобразительному искусству.

Об этом времени точно напишет часто приезжавший в Советский Союз итальянский художник и теоретик искусства профессор Римской академии Франко Миеле:

«Никак не пережитое художником и не нашедшее соответственно никаких форм выражения содержание

превращается в своеобразный вид исторической документации, вне всякой связи с явлениями искусства».

«Обширная выставка Академии художеств (1969) как бы завершает и окончательно раскрывает этот дидактический характер изображений и в живописи, и в скульптуре… Это освященный временем, официальным признанием и поддержкой печати идеальный конформизм, формулы фотографизма, разработанные и для красок, и для бронзы. Вне зависимости от поколения, национальной принадлежности, происхождения — из столицы или любого уголка страны — художник для участия в официальных выставках обязан надевать униформу, предписанную директивами официальной программы».

«По существу подлинным стремлением официальной политики в отношении искусства является желание задержать его на формах демократического и критического реализма передвижников как первоосновы деятельности Союза советских художников. Отсюда специфическая интерпретация развития русского искусства в течение 1900–1935 годов, отрицающая всякую свободу экспрессии и выразительности. Зато всяческие стилистические особенности, вопросы освещения света и тени возводятся ради создания почвы для теоретических рассуждений в эстетические категории…»

«Эти посылки проводятся и в популярных изданиях специальными пропагандистами типа В. Зименко (История советской живописи. М., 1970; Гуманизм в искусстве. М., 1969) или обладающего большим весом среди критиков Д. Сарабьянова (вступительная статья к каталогу выставки Р. Фалька в Москве, 1966; Очерки об отдельных художниках XX века) благодаря его положению доцента университета, который „описывает и комментирует“ произведения сезаннистов и кубистов как некий экскурс в исторический авангард. Эти экскурсы в некие стилистические особенности, создавая видимость науки, должны убедить читателя в причинах, по которым современное советское искусство не может найти своего авангардного выражения».

«Жонглирование объективными причинами создает видимость возможности существования одного лишь академического классицизма: безжизненного и легко сталкивающего художника на дорогу дилетантизма».

Обрывки русских впечатлений уверенно складывались в определенную картину, дружескую по отношению к художникам и непримиримую «амбициям социализма», как он говорил.

«В результате спонтанного и вполне органичного процесса вся советская интеллигенция переходит на сторону „антиконформистов“. Первую их группу составляют художники,

стремящиеся работать в молчании, не проявляя никакой внешней активности, целиком замкнувшиеся в рамках своей профессии.

Вторую группу составляют художники, которые становятся своеобразными комиссионерами между новыми поисками и позицией правительства, стараясь найти некий компромисс между новыми формальными приемами и старым содержанием, ориентированные во всей своей деятельности на показ результатов своей работы за границей и иностранцам.

Третью группу составляют собственно „шпики“, координируемые и направляемые КГБ в их постоянном фактическом общении с иностранными критиками и коллегами-художниками.

Четвертую группу характеризуют художники-профессионалы, которые работают сознательно для развития национального искусства. Не стремясь к известности, и в частности к личной, к выставкам с широкой оглаской, они утверждают подлинную творческую свободу личности в искусстве, будучи убеждены в необходимости конечной победы деятельности представленного ими авангарда. Собственно к ним и можно применить в полной мере понятие „неофициального“ искусства.

Для полноты характеристики ситуации следует добавить, что, за малым исключением, художники этой последней группы не принадлежат к Союзу, в рядах которого невозможны сколько-нибудь далекоидущие формальные поиски».

Миеле имел в виду Студию Белютина и все направление «Новая реальность».

Элию Белютину не разрешили поехать в Польшу. Сотрудник Отдела виз и регистрации иностранцев, в просторечии ОВИРа, был настолько любезен, что сам позвонил нам домой (так не бывает никогда!), чтобы сообщить: «В вашем ходатайстве отказано». Хотя приглашение исходило от представителя Польши в ЮНЕСКО.

В одном из залов Вавельского замка стоит огромное резное испанское кресло XVI столетия. Второе такое же занимает целый угол комнаты в нашей московской квартире. Мы хотели перевезти его в Вавель, но даже ходатайство правительственной делегации Польши встретило категорический отказ. Наше кресло составляло художественное достояние Советского Союза.

Суслов ничего не любил и ни в чем не разбирался. После смерти главного идеолога его дочь решила продать обстановку квартиры отца через антикварный магазин на Фрунзенской набережной Москвы. Директор магазина не нашел ни одного предмета, представляющего хоть малейшую ценность, зато обратил внимание на то, что в квартире не было ни одной книги.

Только переплетенные в кожу годовые комплекты журнала «Огонек».

В декабре 1969-го в Колонном зале состоялся Объединенный пленум творческих союзов «О воплощении ленинских принципов партийности и народности в советской литературе и искусстве».

Изобразительное искусство представлял Николай Пономарев. Единственное упоминание об «авангардистах»: «Недавно в Париже была открыта выставка-распродажа работ некоего Белютина. Он не член Союза художников. Ни общественные, ни государственные организации не направляли его работы за границу. Советского искусства он не представляет и не может представлять. Организация такой выставки была произведена в обход всех норм советской художественной жизни. На пленуме Союза художников была сурово осуждена и сейчас осуждается деятельность таких людей». Николай Пономарев почему-то не сказал, что Белютин был исключен из Союза. За «формализм».

А дальше было все как в 1948 году: «Советский художник — плоть от плоти, кровь от крови своего народа. Он всегда высоко нес и несет в своем творчестве принципы партийности и народности, определяя свое отношение к миру с классовых позиций… Мы должны добиться, чтобы больше создавалось ярких произведений, героями которых были бы представители трудового народа, прежде всего рабочего класса и колхозного крестьянства. Слова Л. И. Брежнева на III съезде колхозников о том, что творческая интеллигенция своими произведениями помогала и помогает партии в великом деле переустройства деревни, вдохновляют колхозников работать еще лучше, активнее».

* * *

«Любимый Элигиуш! Не знаю и, во всяком случае, не испытываю уверенности, что могу и имею право таким образом обращаться к тебе. Я тебя знаю по твоим картинам, тогда как ты знаешь обо мне немного, а наше непосредственное знакомство было слишком коротким, напоминая круги взбаламученной воды. Одним взглядом не проникнуть в ее глубину, и никогда не узнаешь, что скрывается в ней — пропасть или только видимость пропасти, представляющей в действительности единый монолит.

Временами мне кажется, что я все еще передвигаюсь по жизни, как слепец, который ценой ушибов и падений приобретает знание о ней. Ты много моложе меня, но и тебе дорого дается каждая ступенька по лестнице Истории. Из этого можно как будто

сделать единственный вывод, что мы с тобой одинаково измучены, искалечены и иногда неспособны отдать себе отчет в происходящем.

Но из этого бессилия и бессознательности рождается присущий нам обоим инстинкт жизни и того единственно верного направления усилий, ощущение которого жизнь дарит заблудившимся в тумане — не взрослым и опытным, а детям.

Возвращаясь к сегодняшнему дню, хотел бы написать нечто, что еще несомненно подлежит коррективе Истории, хотя, как мне кажется, не очень значительной.

Последние полвека Советский Союз вошел в историю четырьмя посылками. Это Октябрьская революция, победа над фашизмом, запуск первого искусственного спутника и твое творчество и школа, которые представляют в равной мере явление русское и подлинно советское.

Не реагируй болезненно на непонимание — оно временно, а твое творчество уже прорыло колею свою на гранитных полях Истории.

Зенон Клишко».

Секретарь Центрального Комитета Польской объединенной рабочей партии по идеологии Зенон Клишко имел неосторожность вступиться за Студию перед Сусловым, ходатайствовать о том, чтобы Белютин хотя бы некоторое время пожил и поработал в Польше, на родине своего отца, но получил отказ. В той же просьбе было отказано и Веславу Гомулке. Они могли только беспрепятственно увозить его работы для польских музеев.

NB

Е. И. Чазов:

«1971 год — год XXIV съезда партии. Это был последний съезд, который Л. И. Брежнев проводил в нормальном состоянии. Он еще был полон сил, энергии, политических амбиций. Положение его как лидера партии и страны было достаточно прочным. Кроме того, чтобы обезопасить себя от возможных неожиданностей, он избрал верный путь. Во-первых, привлек в свое окружение людей, с которыми когда-то работал и которые, как он правильно рассчитал, будут ему благодарны и преданны за их выдвижение. Во-вторых, на всех уровнях, определяющих жизнь страны, он стремился поставить людей по принципу „разделяй и властвуй“…

Принцип „разделяй и властвуй“ проявлялся и в Политбюро, где напротив друг друга сидели два

человека, полные противоположности и, мягко говоря, не любившие друг друга: Н. В. Подгорный и А. Н. Косыгин. В свою очередь, в Совете Министров СССР А. Н. Косыгина окружали близкие Брежневу люди — старый друг Д. С. Полянский и знакомый еще по работе в Днепропетровске Н. А. Тихонов.

…Считая Ю. В. Андропова честным и преданным ему человеком, он окружил и связал „по рукам“ председателя КГБ заместителями С. К. Цвигуном, которого хорошо знал по Молдавии, и К. Г. Циневым, который в 1941 году был секретарем горкома партии Днепропетровска, где Брежнев в то время был секретарем обкома».

А вскоре из Рима пришло письмо:

«Знаменитый мастер,

мы счастливы сообщить Вам, что Комитет национальной выставки изобразительного искусства одновременно с присуждением Вам „Премии Дженнаццано“ решил также присудить Вам золотую медаль в знак уважения к Вашим творческим достижениям и культурной деятельности, имеющей международное значение.

Настоящая медаль предполагает включение Вашего произведения в состав Пинакотеки.

Я рад выпавшей мне чести лично сообщить Вам от имени Комитета, что Ваша картина „Материнство“, будучи уже экспонирована в залах Пинакотеки, вызывает единодушный восторг заключенным в ней великолепным творческим темпераментом, совершенной техникой, подчиненной выражению гуманистического содержания, и редким богатством живописных достоинств…

Президент Марко Питокко».

Советская печать не могла обойти вниманием национальную итальянскую выставку и самый факт присуждения высоких наград именно советскому художнику. В «Литературной газете» этим событиям был посвящен целый «подвал» и названа отмеченная премией картина. Но — без имени автора. Просто «Материнство». Ничье. Наше.

Через много лет, уже после смерти Суслова, З. Клишко скажет: «Только теперь начинаю понимать, что так в твоей деятельности его раздражало: ему нужно было тебя превратить в диссидента. Он бы не возражал, если бы ты участвовал в диссидентских выставках на Западе, а ты выставлялся только с

западными мастерами и на одном с ними уровне. Мы спорили как раз о том, что Студия представляет подлинное революционное искусство. И это была правда. Искусство, которое хоть чем-то отличалось от штампованного соцреализма, одинаково легко было объявить аполитичным или политически враждебным и развязать против него очередную войну».

NB

Из дневника Бориса Бабочкина.

«Гнусный приспособленческий нейтралитет и удовлетворение от сознания собственной „порядочности“. Правда, я всегда ходил по краю. Но что это меняет? Может быть, честнее было все-таки погибнуть, а не быть пособником всех кошмаров, всего ада, который нас окружал, да и теперь еще окружает в более мягких дозах и формах. Мое горе и беда заключаются в том, что мне пришлось работать в 1971 году — век темный, подлый…»

* * *

Добродушный на вид, скорый на слезу («Как он плакал на могиле мамы, — свидетельствовал один из правительственных гробовщиков. — А какие чаевые отвалил!»), ни в чем будто бы не применявший силу, Брежнев шел к своему «культу без личности» четко проложенным курсом. В области идеологии, к которой он не проявлял специального интереса, он мог полностью полагаться на «серого кардинала» — Суслова.

В 1972 году состоялся едва ли не первый в стране открытый конкурс проектов дворцового здания общественного назначения в Москве. Его предполагалось построить на Моховой, в самом центре — между Троицкими и Боровицкими воротами. В Центральном музее Ленина открылась выставка проектов. И зрители, и сотрудники музея особо отметили четыре проекта, действительно представлявших новое слово в архитектуре.

Все развивалось благополучно — до вскрытия конвертов с именами конкурсантов. И тут выяснилось, что среди них участники Манежной выставки. Те самые, осужденные. Этого оказалось достаточно, чтобы свернуть весь конкурс, не присуждать на нем никаких премий. Возражения Подгорного и Полянского, по всей вероятности, только обострили ситуацию. Вместо конкурса была срочно образована архитектурная мастерская для выполнения государственного заказа на проект

под руководством архитектора Полянского (однофамильца).

Москва получила бы еще одно официозное сооружение и лишилась бы еще одного древнейшего своего квартала (в проекте молодых все памятники оставались неприкосновенными), если бы не искусствоведческий анализ и знания. Мне ничего не стоило доказать, что проект вновь образованной мастерской был слишком близок к одному из государственных банковских зданий Третьего рейха. Во избежание путаницы обе фотографии пришлось аккуратно надписать. Сотрудник агитпропа Александр Кабанов, на стол которого они легли, только развел руками. Его реакция недвусмысленно говорила: если бы подобная аналогия была установлена чуть раньше (архитектор Полянский представлял свой конкурсный проект), конкурс удалось бы довести до конца.

Так казалось даже партаппаратчику, но этого не могло произойти в действительности. А действительность была такова. Резкие нападки на Альфреда Шнитке, написавшего именно в 1972-м свою первую симфонию, и Эдисона Денисова — кто в официальном Союзе композиторов, руководимом Тихоном Хренниковым, мог признать его «Плачи» для сопрано и ударных! Третье партийное дело Виктора Некрасова. По его собственному выражению, за старые грехи. «Так отпраздновал я, — напишет он, — чуть ли не день в день — тридцатилетие своего пребывания в партии, в которую вступил в Сталинграде, на Мамаевом кургане, в разгар боев». Последствия были обычными — рассыпанный набор в журнале «Новый мир», запрещение двухтомника в издательстве «Художественная литература», изъятие отовсюду критических статей, посвященных творчеству писателя, прекращение производства кинофильма по его сценарию на Киевской киностудии.

И все-таки самое ошеломляющее — нравственные принципы. В декабре 1972-го в одном из лучших ресторанов Москвы, в «Праге», устраивают банкет молодые члены МОСХа. Тех самых, которых слегка задел (но не разгромил же!) Хрущев на первом — «официальном» — этаже Манежной выставки. Официальная критика назовет их представителями «сурового стиля». Банкет по случаю победы! Над теми, кто принадлежал к «Новой реальности», кто остался без работы, а то и был выкинут из Союза художников. Андронов, Никонов, Иванов… Они-то справились. Не просто выплыли — заняли руководящие места, получили награды и звания.

Но суть сусловской политики как раз и заключалась в том, чтобы разделить всех, кто стремился к новому. Вовремя прикормить, приласкать. Как писал Федор Достоевский, людьми

овладевает тот, кто успокаивает их совесть. Задача это была тем более простая, что уже выстроилась очередь из тех, кто и сам справлялся с собственной совестью.

Вот и теперь три первые из названных Франко Миеле категорий благоденствовали. Иностранные корреспонденты имели постоянную пишу для сенсационных сообщений о нищих живописцах, об их борьбе за жизнь (как-никак гибель советской культуры!), туристы — дополнительное развлечение в виде приобретения за гроши работ гонимых. Никто никому не мешал, а появляющиеся время от времени «разоблачающие» статьи верно служили необходимой рекламе.

Почтовые и телефонные связи стали затруднительны. Московский телефон просто перестал откликаться на вызовы из Польши — в этом убедились давние добрые знакомые Белютиных — директор крупнейшего польского издательства «Чительник» Людвик Касиньски, главный редактор журнала «Проект» Ежи Вашневски, профессор Варшавской высшей музыкальной школы Тадеуш Охлевский. Впустую писал письма Хенрик Стажевски — их доставят пачкой через год с лишним. Тем, кто приезжал в Москву, Союз художников и Общество дружбы с зарубежными народами сообщали, что, к сожалению, Белютина в данный момент нет в Москве — уехал с женой на отдых.

* * *

Когда-нибудь об этом времени скажут — время великой чистки. К ней готовились. Ее последовательно проводили. Первая половина 1974 года запечатлена в записях Белютина.

«1 января. Новый год начался с поздравительного письма Жана Кассу. Первый раз почта так точна. Добрая примета?

3 января. Навоз — тоже добрая примета, только не в таком количестве и не в мастерской. На этот раз она залита из канализации почти вся. Еще немного и стало бы вытекать на лестницу — помешал порог… Сантехники говорят, что раз за разом повторяется та же история — старательно приготовленный пластиковый пакет, умело спущенный с верхнего этажа. Рационализация на уровне научно-технической революции! В борьбе за святую преданность соцреализму все средства хороши: над мастерской живет ответственный работник Министерства культуры СССР, каждый раз встречающий издевательской улыбкой. Человеческие отходы — лучшая форма доказательства для партийной элиты.

4 января. Стук в дверь мастерской: помогите, в лифте собака — боимся открыть. На площадке кучка людей. Расступаются. Вывожу огромного черного дога. Хозяев нет. Желающих взять — тоже. Кто-то видел, будто к подъезду подъезжала грузовая машина. Из кабины выходил парень. Кажется, с собакой. Вышел из подъезда без нее. Одно верно: в лифте пес сидит около получаса. Версия: украли, не смогли сбыть, отделались.

Верить? Но в мастерской бываю не каждый день. Естественнее обращаться к постоянным жильцам (отставные офицеры) — на площадке у лифта три двери, мастерская моя — на другом этаже.

8 января. Дог несовместим с нашим боксером. Обратились в Клуб служебного собаководства. Почти сразу появился пожилой мужчина, живущий, по его словам, в собственном доме под Москвой. Дога берет. Приглашает непременно приехать посмотреть, как устроилась собака. В разговоре между прочим — дядя академика Сахарова.

13 января. Очень доброе поздравительное письмо от Стефана Геровского. Старейшина новой польской живописи. Пишет: в мировой живописи все „временно подменяет фокусничанье“. Но все равно будущее не за поп-артом или сюрреализмом, а „за работой цветом, именно вашим эмоционально взрывным цветом“.

14 января. Письмо от вдовы Станислава Хербста — пани

Ирэны. Его слова: „В исторической науке, как ни в одной другой, должна присутствовать личность ученого. И еще безоговорочная и безотносительная порядочность. Документы слишком легко поддаются переработке, а в наших странах это стало системой. Все, что придумываем, на один день. А главное: за придумкой потеря порядочности и профессионализма. Вот его-то границы размываются особенно ощутимо“.

Можно добавить — 17–18 января обыск в квартире Виктора Некрасова. Обыск всех случайно пришедших к нему. В том числе женщин. В ванной. Сотрудницей КГБ. Увезены семь мешков с рукописями, книгами, журналами, газетами, письмами, фотографиями, магнитофон и два фотоаппарата. Среди остального: книги Марины Цветаевой, Бердяева, „Один день Ивана Денисовича“ Солженицына — на итальянском языке, „Житие преподобного Серафима Саровского“, сочинения Зайцева, Шмелева. Согласно ордеру цель обыска — „обнаружение литературы антисоветского и клеветнического содержания“. Основание для обыска — привлечение писателя свидетелем по делу № 62, содержание которого так и осталось для Некрасова неизвестным.

18 января. Похороны Валентина Окорокова. Далеко за Москвой. Синеющее к весне небо. Промерзшие березы. Ростепель кладбищенских аллей. Одни студийцы. Дочь с мужем мелькнули, чтобы отказаться от „наследия“ отца. Записки и работы Окорокова никому не нужны — они останутся в Студии.

Не дождался. Очень хотел хотя бы проблеска. Думал о холстах. О поздних и о ранних, которые писал вместе с Владимиром Татлиным. „Он тоже — не дождался…“

В январе уехали все, кого называл в докладе Ильичев: кинорежиссер Михаил Калик, композитор Андрей Волконский, Александр Есенин-Вольпин. Математик. Главное — сын поэта.

13 февраля. Арест Солженицына. Потом задержанный рейс Аэрофлота на ФРГ, чтобы втиснуть туда изгнанного.

Судьба Александра Галича. Исключение из всех творческих союзов, в которых состоял. Прекращение всех договоров. 60-рублевая нищенская пенсия — „по инвалидности“. Единственное средство существования. Приглашение в органы. В 5-е управление. Альтернатива: спокойный выезд, но обязательно с визой Израиля, или обвинение в антисоветской деятельности со всеми вытекающими последствиями. „Мы знаем, что у вас было три инфаркта, что вы можете не выдержать, но — что делать“. Врачам было запрещено выдавать Галичу справку об инвалидности.

25 мая. Показ студийных работ в Абрамцеве по просьбе Союза

архитекторов. Три автобуса. Снег. Картины среди сугробов.

27 мая. Фурцеву вывели из состава ЦК.

29 мая. Радио из-за „бугра“ передало о начале уголовного дела против Фурцевой (использование служебного положения). С одной стороны, награждение каждого очередного фаворита званием народного артиста (это бы простили!). С другой — ковры из запасников Музея восточных культур, сактированные. Так говорят искусствоведы. Две хрустальные дворцовые люстры времен Екатерины Великой, подаренные на день рождения организатором музея собственного имени Феликсом Вишневским. Астрономическая стоимость — в ответ прекращение уголовного дела против „музейщика“ и придание официального статуса его собранию.

3 июня. Умерла Фурцева. Подписи под некрологом: агитпроп Тяжельников, председатель Гостелерадио Лапин, председатель Госкомиздата (разрешение или запрещение всех изданий по всему Советскому Союзу) Стукалин, председатель Союза советских писателей и председатель Союза художников. Из партийного руководства никого, хотя 31 мая уголовное дело было отменено и ограничено партийным взысканием. Вечером накануне Фурцева была на праздновании юбилея Театра сатиры, в квартиру ее проводил народный артист СССР Георгий Ансимов.

5 июня. Тело Фурцевой поставили в новом здании МХАТа, на Тверском бульваре. С утра у нас под окнами мегафон: „Поворота налево нет! Проезд только направо!“»

На пост министра культуры был назначен человек куда более ортодоксальный и к тому же не имевший никакого отношения к культуре — в прошлом выпускник одного из химических институтов, профессиональный партаппаратчик Демичев. Это снова был результат внутреннего розыгрыша, позволившего удалить Демичева от дел Центрального Комитета. Пробным камнем который раз оказался Всеволод Мейерхольд.

Приближался 100-летний юбилей со дня его рождения. Репрессированный, истерзанный пытками, расстрелянный и — реабилитированный. Он имел право на самые простые свидетельства уважения: открытие мемориального музея, благо квартира, в которой он провел последние годы жизни, где была зверски убита его жена — выдающаяся актриса Зинаида Райх, сохранилась.

Авторы ходатайства надеялись и на большее: увековечение его имени в названии одной из улиц. После уничтожения и травли за пресловутый формализм это действительно имело общественное значение.

Дмитрий Шостакович, Илья Эренбург, Георгий Товстоногов,

Юрий Завадский, Игорь Ильинский, создатель любимых сталинских фильмов Григорий Александров, а рядом с ними предавший Мейерхольда Михаил Царев и отступившиеся от великого режиссера художники-карикатуристы Кукрыниксы могли рассчитывать хотя бы на ответ, обратившись одновременно в ЦК, Министерство культуры СССР и Совет Министров.

Тем не менее ответа не последовало. Это становилось системой: бесследно исчезавшие письма, посланные в самые высокие инстанции. Понять, кто за всем этим стоит, было нетрудно. Теперь уже не скрывалось, что телефонное право было целиком узурпировано Сусловым. Он диктовал подсказываемые ему 5-м управлением КГБ списки нежелательных лиц. И мог даже не следить за выполнением своих указаний: с таким рвением спецслужбы принимались за дело.

Слов нет, студийцы совершили бессмысленный поступок — попытались довести до сведения ЦК свое мнение по поводу того, что происходит. Кто же в аппарате не знал убеждений главного идеолога! Но жить в атмосфере сгущающихся испарений национализма, которого никогда не терпела русская культура, взаимной ненависти и подозрительности, постоянных политических провокаций — а именно они использовались в отношении любого проявления «левизны» — становилось невыносимо. Над студийцами постоянно довлело обвинение в так называемом диссидентстве и соответственно будущей или настоящей «измене родине». Подобная точка зрения усиленно поддерживалась органами: раз «левые», то рано или поздно должны изменить Советскому Союзу. Тем более иностранные радиостанции взахлеб передавали из Вены и Италии интервью с уехавшими, гарантировали их будущий творческий успех, международную славу и обеспеченную жизнь.

Трудности с выездом из страны придавали ореол мученичества, позволяли говорить о политической эмиграции. И никто не задумывался над парадоксом: ореол мученичества у тех, кто уехал, а не у тех, кто продолжал жить в условиях режима и противостоять Молоху.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МИХАИЛУ СУСЛОВУ

Мы, художники, подвергшиеся остракизму более десяти лет назад в результате безобразного скандала, учиненного Никитой Хрущевым в Манеже, и все эти годы наперекор травле Министерства культуры и жестокой неприязни с Вашей стороны, т. Суслов, продолжающие творчески работать и верить в будущее советского искусства, отказываемся дальше молчать. К этому нас

вынуждает не наше положение — быть творчески заживо погребенными, наверное, наш удел, — а та удивительная настойчивость, с которой Вы, человек, руководящий идеологической работой, проводите в жизнь курс своей политики.

Достаточно включить телевизор, чтобы понять, какое преимущество предоставляется актерам и певцам сталинских времен в праве олицетворять советскую культуру. А рядом с ними фильмы 1930–1950 гг., возобновленные постановкой балеты столетней давности, этнографические ансамбли с частушками и чечетками, которые должны представлять нашу сельскую молодежь, имеющую законченное среднее образование и составляющую 40 % поступающих в наши вузы студентов. Все это должно символизировать расцвет нашей сегодняшней советской культуры.

О живописи нечего и говорить. Для Вас социалистический реализм — это некое среднее арифметическое, некая сумма канонизированных и Вами дозволенных приемов, за которыми нет поисков и, значит, нет стремления художника создать современное воздействующее искусство. И это еще не самое страшное. Ведь искусство как река — его не остановят ни Ваши запреты, ни железобетонное русло запретов и разрешений, по которому Вы с завидным упорством пытаетесь направить его вспять. Самое страшное, что все это делается Вами сознательно, с единственной целью — лишить русского человека духовной жизни, превратить его в робота, способного выполнять самое жестокое и нелепое Ваше желание. Ваша установка — на примитивизацию советской культуры, на пропаганду убогих идеалов и отрицание сложности духовных интересов советского человека. Ваш основной идеологический принцип — принцип оглупления народов СССР, позволяющий Вам создавать почву для нарушения всех законов нормальной жизни человеческого общества.

Вы прекрасно знаете, что не так просто заставить деятелей культуры творить во вред своему народу, и поэтому Вы своими методами руководства прививаете советскому народу неверие в свои творческие силы, нигилизм, а на практике для такого рода работы Вы создали некую финансовую элиту, которая одна, как идеальная исполнительница Ваших указаний, имеет

право главенствовать в творческих союзах, распределять заказы, получать за эту деятельность невиданные в истории мирового искусства денежные вознаграждения…

Для того чтобы поддержать свою концепцию прямого подражания искусству XIX века, концепцию имитации чуждого для наших дней искусства, Вы прибегаете к методу прямой подтасовки фактов, используя данный Вами, в обход всех, аппарат дезинформации и воздействия. Еще до Манежа по Вашей санкции была создана видимость некой художнической оппозиции с нарочитым антисоветским уклоном. В эту сеть, управляемую Вами, были включены так называемые лианозовцы (Рабин, Кропивницкий), художники, допущенные Вами на фестиваль 1957 года, — И. Глазунов, Э. Неизвестный, А. Глезер и некоторые другие. Все они, согласно Вашей программе, получили право и обязанность постоянно общаться с иностранцами, показывать им и продавать на любую валюту «ради хлеба насущного» свои работы.

Приставленный к этим «подпольным» художникам Ваш же сотрудник Г. Костаки руководил этими и другими так называемыми диссидентами на зарплате. Зачем Вам нужна эта провокация, товарищ Суслов? Вы хотели бы убедить всех, что каждый ищущий художник прежде всего политический диссидент и что именно поэтому советская культура должна опираться на «налбандянов», «вучетичей», «томских» и им подобных, превращенных с Вашей помощью в советских миллионеров? Зачем Вы порочите таким образом советское общество, деятелей культуры, зачем создаете почву для необоснованных обвинений и ничем не оправданных подозрений?

Но Вы это хорошо понимаете, и отсюда Ваши попытки теоретического обоснования собственной позиции в администрировании, попытки доказательства необходимости «сдерживания развития культуры», возврата к классике, соблюдения спасительного, с Вашей точки зрения, «статус-кво». Только жизнь идет вперед — как бы Вы ни хотели ее остановить, это не в Ваших и ни в чьих иных силах. Формально Вы руководите идеологией, но для того, чтобы руководить, надо быть во главе движения. В тех же теоретически оправдываемых задних рядах, которые Вы для себя выбрали, его остается или

комментировать, или оплевывать.

Никакие лозунги Ваших непосредственных помощников о гармонии и взаимопонимании не могут ни скрыть, ни залатать той пропасти, которую Вы год от года углубляете в нашей культурной жизни. Все передовое, честное Вы провозглашаете плохим и антисоветским. Кто дал Вам право расставлять такие оценки? Народ? Но в представлении народа Вы связаны прежде всего с проведением в жизнь и оправданием культа личности и самых худших его проявлений. Наука? Но Вы бесконечно далеки от нее. Догматические фразы, подтасовки, волюнтаристские обобщения, не имеющие ничего общего ни с теорией исторического материализма, ни с действительной жизнью советского общества, — вот весь Ваш «научный» багаж, а с ним занимать такой пост, товарищ Суслов, сейчас нельзя.

С 1939 года Вы находитесь у кормила руководства идеологией. Именно Вы являетесь автором идеологической версии культа личности, вызвавшего злейшие нарушения права и закона. Именно Вы послужили основным мотором ждановщины, и Вы в 1962–1963 годах стали человеком, остановившим «оттепель» и развитие советской живописи. Неужели Вы не видите всего того вреда, который причинили и продолжаете причинять советскому государству?

Если у Вас не хватает сейчас, в 70 с лишним лет, силы воли покинуть свой пост и Ваши слова о верности ленинским принципам только пустой звук, мы, художники, говорим Вам: хватит издеваться над советским народом! Он заслужил право на доверие. Он своими руками сделал все замечательное, что есть в нашей стране, превратил ее в величайшую державу, и ему принадлежит право иметь свое, а не Ваше, товарищ Суслов, сусловское искусство, свою советскую музыку, свой советский театр, свою, а не сусловскую культуру!

МЫ ТРЕБУЕМ, ЧТОБЫ ВЫ УШЛИ В ОТСТАВКУ!

Э. Белютин, Е. Радкевич, Р. Голышко, Н. Левянт, И. Шмелева, А. Крюков, Ю. Скопов, А. Строчилин, М. Филиппова, В. Булдаков, С. Некрасова, Ю. Мустерман и другие — всего 100 человек.

Москва, 1974.

NB

Ф. Бобков «КГБ и власть».

«В соперничестве художественных школ КГБ, конечно, не следовало выступать в качестве арбитра. Однако были обстоятельства, которые заставляли нас иногда появляться на этой арене. Ведь и здесь Запад пользовался малейшей возможностью подогреть страсти и оказывал представителям авангардных направлений как моральную, так и материальную поддержку. Картины художников-модернистов, нередко слабые, скупались оптом и в розницу. Вокруг имен создавался „бум“. Конечно же немедленно вызывавший ответную реакцию: выставки модернистов запрещались, а это, в свою очередь, рождало протест в обществе. Никто не желал идти на компромисс. На улицах и в других местах возникали демонстрации, на которых выступали художники-авангардисты, заявляя, что власти душат искусство, не давая развиваться новым направлениям, которым, безусловно, принадлежит будущее. Наиболее агрессивно вели себя художники, которым очень хотелось оказаться в числе страдальцев за правое дело и таким образом завоевать в обществе определенное реноме».

Прошло почти три месяца. Однажды в абрамцевские ворота уткнулась черная «Волга». Из нее вышел руководитель 5-го управления КГБ с помощником. Оба в штатском. Генерал Бобков медленно шел по аллее, разглядывая расставленные под деревьями скульптуры.

Не сняв шляпы, он обошел комнаты и сел на диван у круглого стола. В квадратных распахнутых окнах золотились березы. Наливался осенней медью дуб. По черным веткам старой черемухи метнулась рыжая белка. Издалека доносился гул электрички. Невнятный и исчезающий.

Молчание затягивалось. Наконец генерал сказал: «В вашей живописи нет ничего антисоветского. Но к ней еще следует подготовить обывателя». Необходимое для этого время можно провести по-разному. Первый вариант — продажа (естественно, с его помощью) картин на Запад и получение за них гонораров в виде сертификатов через ВААП (Всесоюзное агентство по авторским правам). Второй — консульский паспорт: «Вам лучше на пару лет уехать».

Уже у ворот, прощаясь, сказал: «Кстати, на Профсоюзной ни с одной картиной ничего не случилось». Так называемая «бульдозерная» выставка состоялась всего несколькими днями раньше. И закрывая калитку: «А хорошо картины смотрятся в

лесу. Во всяком случае, лучше, чем на улице».

Через одиннадцать дней состоялась выставка «обоймы Рабина», как выражался генерал, в Измайловском лесу. Позже, оказавшись в мастерской Белютина (обследование велось очень широко), он расскажет, как возил в своей машине Рабина выбирать место для будущей неофициальной выставки, как Рабин остановился на Измайлове и он дал ему соответствующее разрешение.

У Студии по-прежнему не было никаких перспектив. Возможно потому, что ни один из предложенных генералом вариантов не был принят.

Письмо первому секретарю горкома Гришину с просьбой устроить выставку в одном из московских залов вызвало необычную реакцию. Задним числом понимаешь — ничего удивительного. Партаппаратчик начал с выяснения личности написавших письмо (сто человек — это не так просто!) и прежде всего самого Белютина: где работает, кем, какой оклад. 23 октября в десять утра студийцы были приглашены для разговора с секретарем горкома Ягодкиным. Не все — отбор «удостоенных» производился по наличию московской прописки. Те, кто жил в Подмосковье, в компетенцию горкома не входили и на встречу допущены не были.

Тон секретаря был высокомерным и неприязненным: «Отнимаете время. Толчетесь под ногами. Не подчиняетесь общему порядку. Обращайтесь по правильному адресу, если представляете официальное учреждение. Если нет, то — многозначительная пауза с ухмылкой — надо с вами разобраться. Тунеядство у нас противозаконно. Ах, работаете? Все? Даже на производстве? Выставлялись за рубежом? Имеете медали и почетные дипломы? Тогда не знаю. Во всяком случае, мне вам сказать нечего».

NB

Валери Жискар д’Эстен.

«Свой первый официальный визит Леонид Ильич Брежнев нанес мне в декабре 1974 года. <…> Но вот вдали отворяется первая дверь. Брежнев движется мне навстречу. Он ступает нерешительно и нетвердо, словно на каждом шагу уточняет направление движения.

За ним следуют его адъютант, — по-видимому, это врач — и переводчик. <…> Я вижу, с каким усилием он произносит слова. Когда его губы двигаются, мне кажется, слышу постукивание размякших костей, словно его челюсти плавают в жидкости. <…> Внезапно

Леонид Брежнев встает — в дальнейшем я еще не раз столкнулся с этой его манерой — и тотчас же направляется к выходу. Он что-то говорит переводчику, вероятно, просит открыть дверь и предупредить адъютанта, который, как я догадался, находился где-то совсем рядом. Как только Брежнев делает первый шаг, он перестает замечать присутствие других людей. Главное — контролировать направление движения».

Ф. Бобков «КГБ и власть».

«Рой Медведев начал издавать на Западе журнал „Политический дневник“. Не помню, какое издательство занималось этим, но слыло оно антикоммунистическим. Я решил поговорить с автором. Хотя встреча состоялась на нейтральной почве, я не скрывал принадлежности к руководству КГБ, тем более еще один сотрудник, участвовавший в беседе, был известен как официальное лицо. Я стал обсуждать с Медведевым содержание его публикаций, спросил только, не шокирует ли его сотрудничество с антисоветским издательством. Он ответил:

— Но я имею дело и с издательствами компартий, в частности, с газетой „Унита“.

— Сейчас не об этом речь…

Разговор был долгий и, с моей точки зрения, интересный. Я видел и слабость, и силу логики собеседника, понял, где он прав, а где заблуждается. Для меня очень полезно было знать это. Результат встречи меня порадовал: Медведев прекратил сотрудничество с издательствами, не связанными с компартиями. „Политический дневник“ вообще перестал выходить. Медведев имел дело теперь только с коммунистической прессой и стал заметно склоняться к „плюрализму в рамках социализма“. Александр Яковлев определил это потом как дрейф в сторону от марксизма… Для меня же важнее всего было то, что Медведев стал сотрудничать с коммунистами Запада и теперь воздействовать на его нежелательные выпады можно было по другим каналам».

Союз художников входил во вкус травли авторов письма. Пришлось применить единственный способ — в очередном письме первому секретарю горкома партии В. Гришину все те же сто человек отказались от идеи выставки. Страсти улеглись. Сразу же. Письмо точно мотивировало причину отказа.

Зато 27 ноября, ровно через месяц, в мастерской Белютина появился все тот же генерал Бобков. Опять внимательный осмотр. Небрежное замечание по поводу «бульдозерной» и «измайловской» выставок: да, случайные участники (сами отбирали!), да, антисоветский характер (сами понимаете, для «леваков» это естественно). И опять разговор о сертификатах: почему бы все-таки вам не обеспечить своего существования? Система разработана. Покупателей гарантируем. Что же касается тех, «осужденных», выставок «обоймы», то они нужны для иностранцев.

В остальных подробностях необходимости не было. Официозные «нонконформисты» и те, кто не принимал никакого варианта приспособленчества — здесь существовала четкая и строго охраняемая граница.

Вероятно, стоит вспомнить еще одно связанное с «генеральскими» выставками обстоятельство: первыми на место «импровизированного» показа всегда приезжали иностранные корреспонденты, те, чьи телефоны не числятся в справочниках, а домашние адреса или адреса офисов не сообщаются справочной службой. На Профсоюзной сначала они заняли удобные места, потом подъехали на специально предоставленных автобусах художники «обоймы» с полотнами и с некоторым опозданием — бульдозер. Какой бы ни была поступавшая в прессу и на радио информация, существовали еще местные жители, запоминавшие каждую подробность необычного происшествия.

Отсутствие взаимопонимания должно было привести к неблагоприятным последствиям. Сначала прессинг телефонных звонков с просьбами и уговорами о следующей встрече, и непременно в домашней обстановке: «Ничего официального — просто дружеский разговор». (Отказы не производили впечатления на помощника, носившего звонкую птичью фамилию — Жаворонков.) Теперь мотивировки были такими: 27 января (можете себе представить!) получил визу на выезд Эрнст Неизвестный. «Вот и вам бы также: подать заявление на выезд, а потом качать права. Как и его, вас будут приглашать, уговаривать, предлагать хорошие условия».

1 февраля 1975-го выехал в Вену с восьмьюдесятью работами «авангардистов» Александр Глезер, а 10-го на Выставке достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ) откроется экспозиция Оскара Рабина. «Так много новостей, что непременно нужно поговорить!»

Белютин по-прежнему отказывался.

16 февраля Студии предложили участие в намечаемой на ВДНХ выставке, которую устраивает городской профсоюзный

комитет работников культуры (генерал Бобков в своих воспоминаниях 1995 года напишет просто: «Мы организовали наше управление»).

На следующий день мне позвонили из горкома партии: «Не будете ли вы любезны просмотреть отобранный для выставки материал и дать заключение?» — «Какое?» — «Искусствоведческое. Мы сами слишком далеки от этих вопросов, вам доверяем полностью. „Их“ лозунг: „Долой художественное образование! Да здравствует свободное самовыражение!“ В конце концов художник вправе иметь собственную точку зрения. Мы ставим ограничения только по двум параметрам: никакой антисоветчины и никакой порнографии. Об остальном хотелось бы знать ваше мнение». Мое «нет» вызывает растерянность: «Но почему?»

Выставка на ВДНХ открылась 19 февраля. Маленькое помещение. Нарочито подчеркнутое ощущение свалки. Много ни во что не вмешивающихся милиционеров. Речи участников с высоты поставленных у входа мусорных контейнеров: «Не позволим! Не разрешим! Хотим!» И слухи. Слухи. Что выставку не дали открыть из-за нескольких холстов, но потом все же открыли спустя несколько часов. Что она планировалась на пять дней, но будет работать целых десять — до 1 марта. В действительности же она продлилась до 23 февраля и была свернута безо всякого обсуждения.

Одновременно радио из-за «бугра» передавало о развернутой Александром Глезером в Вене экспозиции вывезенных («Абсолютно нелегально, уверяю вас!» — утверждал Жаворонков) холстов.

Все вместе мучительно напоминало не нараставший конфликт, а его имитацию, которая должна была в конечном счете дать основание для применения силы. Проблемы настоящего искусства, сложность возникающих перед каждым профессиональным художником чисто творческих задач не могут служить почвой для демонстраций и митингового шума. И куда было уйти от факта, что на родине Суслова начали воздвигать (еще при жизни главного идеолога) его мемориал и памятник.

29 марта 1975-го одновременно открылось несколько десятков так называемых квартирных выставок (вешаешь на стенах собственной квартиры свои работы и приглашаешь знакомых), в том числе и участников «акции» на ВДНХ. Конечно же не обошлось без вмешательства милиции, шумных скандалов.

30 марта была взломана мастерская Белютина в Москве, где работала «Новая реальность» и где никакой экспозиции на стенах вообще не было.

NB

Ф. Бобков «КГБ и власть».

«Вскоре КГБ с большим трудом добился разрешения у первого секретаря Московского горкома партии В. В. Гришина открыть выставочные залы авангардистской живописи в доме на Малой Грузинской улице и в одном из павильонов ВДНХ. Таким образом, художники самых разных школ получили как бы право на творческий поиск, хотя политики определенного толка по-прежнему нередко использовали их в своих целях. Только для этого художники-новаторы и были нужны.

…У меня были достаточно широкие связи с так называемыми авангардистами. Они интересовали меня не только как талантливые представители изобразительного искусства, но и как объекты пристального внимания определенных кругов на Западе, которые видели в них оппозицию советскому строю. И опять-таки не было твердой линии в этих вопросах у ЦК КПСС, наоборот, в отношении к изобразительному искусству ЦК проявлял поразительную двойственность. В СССР проходили выставки Фернана Леже, Пабло Пикассо и наряду с этим всячески замалчивалось творчество Кандинского, Фалька, Малевича и других. Душили всех, кто пытался сказать новое слово в искусстве. Спрашивается, при чем здесь КГБ?»

Звонок раздался без малого в полночь. Мужской глухой голос в трубке: «У вас взломана мастерская». И сигнал отбоя.

Две женщины, мать и жена, выбегают в ночь. Пустые улицы. Тихая снежная заметь. Одинокие машины. Скорее! Скорее! Хорошо, что не нужен транспорт. Можно пешком. Это недалеко…

В подъезде на ступеньках два молодых человека в одинаковых куртках. Мимо них мы бежим к двери. Они не поднимаются. Смотрят. С любопытством и усмешкой.

Двери нет. Разбитые в щепки створки. На полу орудие взлома — отрезок трубы, один конец которого завернут в ветошь: так удобнее держать.

Первая мысль — грохот. Какой должен был быть грохот в подъезде, да еще в поздний час.

Надо вызвать милицию. Не входить. Кто знает, что приготовлено внутри? Пальцы срываются на диске уличного телефона-автомата: «Милиция? Взломана дверь». Ленивое: «Где?» Объяснения не вызывают никакой реакции. Наоборот —

раздражение: «Чего хотите?» — «Разве непонятно, что нужен патруль?» — «Ждите».

Десять минут. Двадцать. Полчаса. Молодые люди молча наблюдают за мечущимися женщинами. И ни одна дверь не открывается. Никто не проявляет любопытства.

Снова диск автомата: «Милиция?» И тот же голос: «Патруль занят. Скоро освободится». Еще полчаса. Третий звонок. Из-за угла появляются два молоденьких милиционера: «Что тут у вас?» Молодые люди в куртках неторопливо встают, направляются к выходу. «Вы же видите?» — «А что там внутри?» — «Не знаем». — «Мастерская художника? Так, наверное, ваши знакомые пришли и сами разгромили». Слова вязнут в горле: у седой женщины на глазах слезы. Им все-таки стыдно, наученным, молодым. Или неловко.

В мастерскую они пролезают через выбитый лаз. Замок погнут и не открывается. Крошево разбитого стоящим тут же в углу ломом паркета. Ободранные планшеты — их тут было шестнадцать — проект высотного километрового здания, которому Студия отдала больше года работы, и новой застройки Москвы, предлагавший принципиально иные транспортные связи и, между прочим, сохранение в неприкосновенности всей исторической части города. Последняя мечта строителя Останкинской телебашни инженера Никитина.

Фантазия? Может быть. Но сегодня от самого талантливого архитектора века Леонидова тоже остались только фантазии. Как и от французского мастера Леду, когда-то определившего новые пути архитектуры.

И уж, видно, кстати сорвана обшивка с входной двери. Вынесена вся немудреная обстановка мастерской. Чтобы поверили, что погром совершен ради пары полотенец и рабочих халатов.

Протокол? Нет, патруль не собирается его составлять. У них нет ни соответствующей формы, ни ручки. В разгромленной мастерской тоже ничего подобного не найдешь. Завтра! Завтра в отделении милиции все будет составлено как надо. Через тот же лаз, так и не сумев открыть двери, милиционеры уходят. А мы остаемся ночевать, придвинув ко входу лист фанеры.

На следующий день идем в отделение милиции. Там нет никакого рапорта о взломе. Не зафиксировано никаких телефонных звонков о нем. Нет в штате отделения и приходившего патруля. Новая версия: «А не засор ли это канализации, из-за которого пришлось разбить в щепки дверь?» — «Кому пришлось?» Уверенный ответ: «Аварийной бригаде из района». — «И оставить все в разгромленном виде?» Впрочем,

вопрос излишний: перед отъездом в командировку Белютин заходил в мастерскую за полтора часа до взлома, да и на полу нет никаких следов аварии.

Звонок в аварийную службу района — и все становится на свои места. Вызова по данному адресу не было, никакая бригада здесь не работала. Сосед по лестничной клетке, отводя глаза, шепчет: «Участковый милиционер со своими ребятами». И плотно закрывает двери. Никто и не стал вмешиваться, выйдя на шум на лестнице. Великая привычка сталинских времен: раз форма — значит, так и надо, раз форма — значит, это и есть закон.

И милиция, и прокуратура не хотели признавать арендатора мастерской потерпевшим.

Кандидаты во «взломщики» менялись с головокружительной быстротой. Даже на «следственный эксперимент» очередной кандидат был доставлен без предварительной подготовки: не знал ни расположения мастерской, ни списка якобы украденных им вещей. Тогда милиция попыталась вручить потерпевшему наличные деньги (стоимость похищенного и испорченного!) в обмен на письменный отказ от претензий.

Прошло два с лишним года, прежде чем состоялся суд. Милиционер, организовавший взлом, был исключен из органов.

Суд провел и профессиональную экспертизу уничтоженного проекта. Дважды. И каждый раз она давала настолько высокую сумму чисто материального убытка, что судья откровенно сказал: «Бесполезно о ней говорить». Действительно, разве можно перевести творческие усилия и человеческие надежды в денежные знаки?

В день рождения Белютина утром пришел давно не навещавший нас сотрудник органов Жаворонков. В руках берестяная корзиночка с ранними овощами и вложенной туда же деревянной резной птичкой — «чтобы вам летать далеко и высоко».

Разговор торопливый, сбивчивый, но вполне целенаправленный. О «неофициальных выставках»: «Почему так упорно не хотите в них участвовать? Ведь „мы“ предоставим все необходимые гарантии. А выставка вывезенных Александром Глезером работ — просто недосмотр таможни, но зато художник получил широкую европейскую известность».

О сложностях в работе шефа-генерала: «Все талантливые люди уезжают, но ведь грех им мешать». О Неизвестном: «Правильно поступил, что подал заявление на выезд. Теперь все с ним разговаривают, и он может ставить любые условия. Вот вам бы подать такое заявление». И уже на пороге — очередное предложение встретиться с шефом: «Он все понимает и может

существенно облегчить выезд».

Невольно пришел на память состоявшийся несколькими днями раньше разговор с известным музыкальным телекомментатором Светланой Виноградовой: что делать? На телевидении большие сложности. Есть два толковых предложения: должность научного сотрудника в научно-исследовательском институте или преподавателя в Академии внутренних дел — «на Войковской» (как ее принято было называть в обиходе). Последнее более заманчиво. Привилегии и великолепный состав преподавателей: кино — Сергей Герасимов, театр — Юрий Любимов, изо — Илья Глазунов, музыка — Арам Хачатурян. (Через четырнадцать лет на телевидении прозвучит еще одно имя — актер Юрий Яковлев.) На недоуменный вопрос: «В чекистской академии — и все виды искусства?» — равнодушное: «У них там все нужно».

Нужно… Из почтового ящика день за днем приходилось вынимать приглашения на выезд из страны. От никогда не существовавших родственников, готовых взять на себя расходы, на первое время обеспечить, предоставить и т. п. Разные государства. Разные города. Эти письма и сегодня лежат в столе — на память.

На весенней абрамцевской выставке 1975 года группа архитекторов: «Кругом говорят — уезжаете. Неужели и вы тоже?» Значит, еще и слухи. В Советском Союзе они всегда регламентировались, отмеривались, взвешивались, вовремя появлялись и, как по команде, исчезали.

Уехать — и здесь не нужно объяснения — значило больший жизненный комфорт, выставки, покупатели, свободное перемещение по всему миру, пресса, публикация собственных, копившихся годами в столах рукописей, возможность избавиться от опасений и каждодневного давления.

Для Белютина риск был минимальным. Его работы с 1961 года появлялись в галереях Франции и Италии, они участвовали — немаловажное обстоятельство! — не в сенсационных показах «запрещенного искусства», а на международных выставках в числе полотен ведущих мастеров мира и молодых — из Японии, Соединенных Штатов, Югославии, Польши, Венгрии.

Позже была Мессина: Аппель, Белютин, Бюффе, Шериф, Де Чирико, Эноррио, Гуттузо, Карло Леви, Малевич, Пикассо, Туркато, Страдоне, Утрилло, Вламинк.

Сальсомаджоре: Афро, Аппель, Белютин, Бюффе, Шагал, Пикассо, Пиранделло, Малевич, Утрилло, Матисс, Вламинк.

Рим, галерея «Ла Баркачча»: Аппель, Белютин, Бюффе, Кара, Кассинари, Кавалли, Чезетти, Де Чирико, Гуттузо, Лиллони,

Монтанарини, Серж Поляков, Сирони, Солдата, Страдоне.

Членом итальянской Академии современного искусства он стал после так называемой «Выставки четырех»: Белютин — Бора — Чезетти — Страдоне.

Об этой последней художественный обозреватель газеты «Уманита» писал: «Во внушительной экспозиции представлен обзор 60 работ советского художника Элия Белютина в окружении значительных итальянских художников Помпео Бора, Джузеппе Чезетти, Джованни Страдоне.

От них эффектно отличается вулканическим темпераментом московский живописец Элий Белютин, приобретший многочисленных почитателей своей персональной парижской выставкой, известный также многим итальянцам и тем не менее представляющий подлинное откровение… Произведения, представленные в связи с торжественным художественным показом в Риме, дают возможность составить представление о масштабе его творческих ферментов».

А еще часто приходили письма из Парижа, с улицы Кардинала Лемуана, как только в советской прессе появлялись очередные статьи против новаторства в живописи. Суслов все рассчитал верно. Не ставя себя в положение Хрущева на Манежной выставке, он передал грязную работу подавления самим художникам. Кому как не им было знать своих товарищей, их грехи и «отклонения». Кому как не им было подмечать, вовремя сигнализировать, разоблачать. «Советская культура» и «Московский художник» постоянно состязались в «охоте на ведьм», предупреждали, наставляли на путь истинный и, конечно, угрожали.

Тем более необходимой была поддержка друзей. «Жан Кассу — одна из наиболее благородных фигур среди тех интеллектуалистов, которые, никогда не отчаиваясь в судьбе Франции, боролись в составе Национального комитета писателей за ее свободу, ее величие, ее разум», — говорится в предисловии к его книге «Сонеты, сочиненные в тюрьме». Сегодня эта ставшая библиографической редкостью даже во Франции книга хранится в квартире Белютина вместе с письмами Жана Кассу — их переписка длилась больше четверти века.

Кассу стоял у истоков движения Сопротивления. Он входил в знаменитый кружок при парижском Музее человека, где и зародилась идея движения и его название: Resistence. Самоотверженность наших соотечественников Бориса Вильде и Анатолия Левицкого, стоившая им обоим жизни, дала Ж. Кассу возможность покинуть Париж, где его деятельность была слишком хорошо известна правительству Виши.

В еще не опомнившейся от пожара рейхстага Европе Ж. Кассу уже в 1934 году создал и возглавил первое антифашистское объединение писателей Франции, а в 1936 году вместе с А. Мальро отправился в Испанию приветствовать народный фронт. Вплоть до падения Барселоны он боролся пером и словом за республиканскую Испанию, «брошенную на произвол судьбы западными демократиями». Испания, окрестности Бильбао — место его рождения, земля его матери. И это один из поводов сердечной, прошедшей через всю жизнь дружбы с Пикассо. Другим поводом была та роль, которую Кассу довелось сыграть в становлении искусства XX века.

Из письма Кассу в Москву: «Я всю мою жизнь боролся мыслью и делом, теоретически и на практике за искренность выражения и ее постоянную связь с человеческим достоинством. Страстный интерес, как в моих трудах по критике и эстетике, так и мое участие в интернациональной художественной жизни, и в частности в создании и в управлении Национальным музеем современного искусства, целиком согласуется с ориентацией, которой я следую во всех других областях. В конце XIX и в начале XX века свобода и нововведения в художественном творчестве казались буржуазии чем-то опасным и скандальным. Надо было бороться, чтобы заставить принять Мане, Сезанна, импрессионизм и все последующие революции, и Пикассо, и Матисса, и Леже. Ваша страна, которая для нас так дорога, сыграла большую роль в этих этапах большой цивилизации».

Его любимый образ — Дон Кихот, и это Жану Кассу принадлежит лучший, по общему признанию специалистов, перевод Сервантеса на французский язык. Черный Жан — псевдоним Ж. Кассу времен Сопротивления — был такой многогранной личностью, что авторы энциклопедических статей затруднялись, как его представлять: искусствоведом, критиком, писателем? Его романы «Massacres de Paris» (1935), посвященный Парижской коммуне и генералу Ярославу Домбровскому, и «Легион» (1939), рисующий страшный образ надвигающегося фашизма, вошли в золотой фонд французской литературы. В те же 1930-е годы литературная Европа живо откликнулась на его оригинальный труд о Льве Толстом, «Победу Пикассо», в 1950-х — на «Краткие мемуары» и «Рембрандта». Он считал себя не искусствоведом, а критиком искусства, которое представлялось ему не эстетической категорией, но морально-нравственным потенциалом человечества, заслуживающим самого пристального внимания и самой бережной заботы.

«Мы — люди Запада и Парижа знаем, сколько уже получили в прошлом от русской живописи, от больших русских художников,

которые представляли у нас русский гений и которые оказали на нас столь живое влияние. Мы от всего сердца надеемся, что эта огромная способность жизнетворчества, которую заключает в себе потенциально русская живопись, будет приносить все новые и новые доказательства своей энергии…»

«…Сейчас каникулы. Меня нет в Париже, но курьер доставит мне тотчас же каждую весточку, присланную на улицу Лемуана. Я достаточно устал и раздражен государством, которое способно сводить на нет усилия целой жизни в отношении развития культуры. Человек моих лет не может смотреть равнодушно на тот балаган, на который разменивается подлинное золото человеческой активности в искусстве. И это тем большая сатисфакция для меня, тем более овеянная чувствами самой искренней симпатии, — Ваши чувства, преодолевшие такое немыслимое расстояние и препятствия, чувства настоящего зодчего современного искусства. Новые дороги, которые Вы прокладываете, никогда не давались легко, поэтому я всей душой с Вашим сердцем и Вашим талантом. Ваш Жан Кассу».

NB

Е. И. Чазов:

«Косыгин, увлекавшийся академической греблей, отправился (1 августа 1976 года) на байдарке-одиночке. Как известно, ноги гребца в байдарке находятся в специальных креплениях, и это спасло Косыгина. Во время гребли он внезапно потерял ориентацию, равновесие и перевернулся вместе с лодкой. Пока его вытащили, в дыхательные пути попало довольно много воды. Когда я увидел его в госпитале, он был без сознания, бледный, с тяжелой одышкой. Почему Косыгин внезапно потерял равновесие и ориентацию?..

Как бы там ни было, но самой судьбой был устранен еще один из возможных политических оппонентов Брежнева».

Казалось, все возвращалось на круги своя, перебаламученное хрущевским правлением. Исчезли совнархозы, а вместе с ними идеи ротации кадров и партийного максимума. В школах одиннадцать классов сменились привычной десятилеткой. Бесславно завершилась кукурузная эпопея. Снова появились приусадебные участки. Колхозникам стали выплачивать заработную плату, пенсии. В печати перестало появляться имя академика Лысенко, рьяного врага генетики, которого вслед за Сталиным так усиленно поддерживал Хрущев. Сократились обязательные сельскохозяйственные поставки и увеличились

закупки у колхозов, даже по несколько повышенным ценам. Может быть, многое было подготовлено «оттепелью», но воспринималось реакцией на нее.

Жить как удобно — «по потребностям» — становилось правом номенклатуры всех уровней, что нисколько не смущало нового генсека.

Чего стоил один брежневский рассказ в кругу добрых знакомых на его даче в Завидово! Когда кто-то упомянул о том, как трудно жить низкооплачиваемой части населения, генсек усмехнулся: «Вы не знаете жизни. Никто не живет на заработную плату. Помню в молодости, в период учебы в техникуме, мы подрабатывали разгрузкой вагонов. И как делали? Три ящика или мешка туда — один себе. Так все и живут в стране». Убедительное объяснение во время составления очередного прекраснодушного доклада.

По словам Федора Бурлацкого, тут трудно было не вспомнить Сен-Симона, сказавшего, что нации, как и индивиды, могут жить двояко: либо воруя, либо производя. Производить — это значило, помимо всего остального, проявлять волю, энергию, но вот они-то в наступившем брежневском затишье были вовсе противопоказаны. Вместе с честностью, совестью, уважением к человеку.

Затишье, как всякое болото, обманывало. Позволяло оживать надеждам, а потом карало за это. Примеров тому множество. Вот что записал в дневнике Федор Абрамов по поводу разгрома журнала «Новый мир»:

«Нет, мы еще не отдаем себе отчета в том, что произошло. Катастрофа! Землетрясение. Растоптана последняя духовная вышка. Сволочь и обыватели ликуют. В университете, на филфаке — радость. „Наконец-то, — воскликнул С. — Покончено с Чехословакией в нашей стране“.

А если бы провести референдум… 97 % наверняка одобрят закрытие „Нового мира“. Вот что ужасно. Акция эта по существу воля народа, ее выражение…

Алексеевы, Софроновы, Грибачевы, Кочетовы победили. Теперь ничто не будет отравлять им жизнь. Теперь они классики… В общем ясно: „Новый мир“ сожрали сами литераторы или, по крайней мере, те, которые выдают себя за литераторов. И, конечно, при содействии самого передового советского человека… 25 писателей подали голос протеста против исключения Солженицына, 25 из 7 или 8 тысяч. Вдумайтесь только в эти цифры!

Да, из литературы изгоняют Твардовского, первого нашего поэта… Значит, талант нам не нужен. Талант нам враждебен. Да

и вообще нам не нужна литература. Нужна только видимость, суррогат.

А как же новые идеи? Новые мысли? Ведь литература — это и есть новые идеи и новые мысли. Как же без них-то мы будем завоевывать мир? Чем? Чиновниками?»

NB

Ю. В. Андропов. Доклад на торжественном собрании в Москве, посвященном 100-летию со дня рождения Ф. Дзержинского. 9 сентября 1977 года.

«Как уже говорилось, тем, кто заблуждается, у нас стараются помочь, их стараются переубедить, рассеять их заблуждения. По-иному приходится поступать в тех случаях, когда некоторые из так называемых инакомыслящих начинают своими действиями нарушать советские законы. Такие люди в ничтожном количестве у нас еще есть… и потому должны нести наказание в полном соответствии с требованиями советских законов. (Продолжительные аплодисменты.) И пусть нам не твердят в таких случаях о гуманизме. Мы считаем гуманным защиту интересов общества. Мы считаем гуманным пресечь преступную деятельность тех, кто мешает советским людям спокойно жить и работать».

Осадное положение… Вчера. Сегодня. Завтра. Выход один — не думать. Как не смотреть вниз, когда перебираешься через пропасть по шаткому мосту.

Каждая неделя приносит новости. В Абрамцеве участковый, который вдруг решил заниматься историей и просит консультаций. Повод, чтобы часами на улице, у ворот стоял милицейский мотоцикл.

В разные инстанции на нас начали поступать жалобы; в милицию от соседей: на участке нашем много сухих деревьев; у забора лает боксер, мешая липнущим к сетке прохожим. Жалобы пожарным: не так идет дым из труб нашего дома. В энергохозяйство: в нашем саду (которого нельзя рассмотреть с улицы) нависают над проводами ветки берез.

Каждый вечер машина с прожекторами просвечивает участок. Медленно. Обстоятельно. Задерживаясь на каждой мелочи. Сначала с одной улицы. Потом с другой.

При первых звуках знакомого мотора все стараются уйти в дом или мастерскую. Переждать. Пять минут. Десять. Иногда четверть часа. Как на фронте — психическая атака. Война, у которой нет конца.

* * *

На официальном приеме в Кремле накануне наступающего 1979 года министр обороны Дмитрий Устинов скажет Белютину: «Не будьте злопамятны, надо объективно оценивать то, что представляется несправедливостью».

Несправедливостью относительно людей, художников или относительно искусства как такового? Весной среди ученых распространяется слух о разработанной при участии Суслова еще в 1956 году программе «Эхо»: постепенно организовывать некие неофициальные центры или точки притяжения для недовольной интеллигенции, чтобы соответственно выявлять и частично обезвреживать «бунтовщиков», одновременно начав оказывать на нее влияние через передачи западного радио. Цель — убеждать в бессмысленности всяких перемен радикального свойства. Надо удовлетворяться небольшими улучшениями и находить разрядку… в религии.

Именно на это было сориентировано в своей деятельности Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Одновременно материальную поддержку получали уехавшие «диссиденты». Открываемые ими многочисленные органы печати, галереи, создание Александром Глезером Ассоциации русских художников за рубежом и галереи «Москва — Петербург» должны были помочь колеблющимся освободить Советский Союз от своего присутствия. Чего стоило одно передаваемое по радио интервью Зиновьева в Лондоне: «Советский народ заслуживает своего правительства (к которому автор только что принадлежал, работая на Старой площади. — *Н. М.*) и потому ничего для него делать не нужно».

NB

Валери Жискар д’Эстен:

«В 1979 году, в апреле, Леонид Брежнев вновь встречал меня в аэропорту Шереметьево. На этот раз все было скромнее. Уже без школьников. Это был рабочий визит. Я гадал, приедет ли Брежнев в аэропорт или пришлет кого-нибудь вместо себя, так как слухи о плохом состоянии его здоровья распространялись во всем мире. Он часто отменял визиты к нему из-за рубежа.

— Должен признаться, я очень серьезно болен… Я скажу Вам, что у меня, по крайней мере, как говорят мне врачи. Вы, наверное, помните, что я мучился из-за своей челюсти… Но меня очень хорошо лечили, и теперь все

позади.

В самом деле, кажется, дикция стала нормальной и щеки уже не такие раздутые. Но с какой стати он сообщает это все мне? Понимает ли он, чем рискует? Отдает ли себе отчет в том, что рассказ об этом или просто утечка информации губительны для него?

— Они рассчитывают меня вылечить или по крайней мере стабилизировать болезнь. Впрочем, в моем возрасте тут разницы почти нет. Я Вам говорю это, чтобы Вы лучше поняли ситуацию. Но я непременно поправлюсь, увидите. Я малый крепкий!»

* * *

Между двумя магазинами на Малой Бронной втиснулась библиотека домоуправления. Стеллажи с затрепанными книжками. Прилавок, на котором к отобранным с трудом (из чего выбирать?) книгам непременно добавляются политические брошюры. В нагрузку (кто возьмет их добровольно!) и для статистики. Читатели — жители соседних домов. Библиотекарша — хрупкая, сухонькая, закутанная в платок женщина со смуглым, тронутым сетью морщин лицом.

У нее есть мечта, цель жизни. Она приходит в наш дом с моей книгой о Константине Коровине: «Вот здесь у вас так хорошо сказано о Леониде Пищалкине».

Врач. Воспитанник Московского университета. И подопечный Коровина и Серова, по следам которых он едет писать дальний Север, — его учителя только что вернулись из поездки на Кольский полуостров.

У молодого врача несомненный талант живописца. И кто-то из передвижников уже со злостью пишет в одном из своих писем, как два неразлучных друга «носятся» со своим открытием, как гордятся хорошими отзывами о его этюдах.

Доктор Пищалкин не доктор Кульбин, первооткрыватель и экспериментатор. Его живопись выдержана скорее в серовском ключе — тонкая, с безошибочным чувством цвета, неуловимыми переливами настроений. Его ранние работы хранятся в Третьяковской галерее. Более поздние — у библиотекарши с Малой Бронной: она замужем за сыном врача-художника.

«Ради Бога, помогите! Муж болен. Все на мне. Картины, документы надо пристроить на государственное хранение. Денег нам не нужно. Мы привыкли, без денег…»

Это не первая ее попытка. Обратилась в Союз художников —

подняли на смех. Была в Министерстве культуры: «Это дело музеев». Ждала у подъезда выхода министра культуры Серафима Мелентьева — отмахнулся: «К помощникам! Только к помощникам». Из Третьяковки отказались приехать: «Хватит того, что есть».

«Не могу больше. Муж все чувствует, а я неделями плачу. Неужели никому ничего не нужно?»

В двух крохотных комнатенках деревянного дома в Троицком переулке у Самотечной площади не поместилась бы никакая обстановка. Только самое необходимое: кровать, стол. Одежда висит на стенах. У стен большие папки — «вот все, что сберегли».

Мало и много. Свидетельства с выставок. Благодарности за работу военного врача в годы Первой мировой и Гражданской войн. Коротенькие записочки товарищей-учителей. Небрежный почерк Константина Коровина. Что я могу? Написать статью, очерк, попытаться опубликовать, еще раз перезвонить все по тем же телефонам. И так же безрезультатно…

Через много лет раздался телефонный звонок. Это звонил знаменитый психоневролог В. Смирнов. В прошлом руководитель Санитарного управления Кремля, подписывавший заключения о смерти самых великих. В том числе «вождя и учителя».

«Пищалкин! Да знаете ли вы, что это был за человек? Какой блестящий хирург, организатор, педагог — мы все его ученики. В Гражданскую вел колоссальный эвакогоспиталь в Томске. За одно это чего только не заслуживает! Там еще группа поляков оказалась. Их хотели, как выяснили, тут же в расход пустить. Не дал. С командованием Красной Армии на принцип пошел — не дал. Да еще куда-то вовремя переправил… А его разговоры с нами, тогда еще студентами! Об искусстве, живописи, художниках. Все сделаю, чтобы помочь сыну и наследие устроить!»

Все… Дома в Троицком переулке давно уже нет. Исчезли его тихие, безропотные обитатели, а вместе с ними наследие — то, что еще оставалось. Вместе с пачкой писем, адресованных в Польшу, которые доктор, видно, хотел, но не сумел передать.

Незадолго до смерти Павел Кузнецов скажет: «Вырождение. Полное вырождение. Художник не помогает художнику, но хочет за счет его трупа подняться на новую ступеньку благополучия. Выслужиться. Художник — и выслужиться! Доказать свою безупречность в отношении властей. Ненависть — на ней русской культуре не жить. Как и всякой другой. А что письма исчезли, жаль. Может быть, до кого-нибудь и дошли. Хоть в другом поколении. Если не отправлять по почте, а так… самому перевезти туда… в Польшу».

NB

Ю. В. Андропов Выступление на совещании в КГБ СССР. Февраль 1979 года.

«В докладе на XXV съезде КПСС товарищ Леонид Брежнев подчеркнул: „В борьбе двух мировоззрений не может быть места нейтрализму и компромиссам. Здесь нужны высокая политическая бдительность, активная, оперативная и убедительная пропагандистская работа, своевременный отпор враждебным идеологическим диверсиям“. Это указание в полной мере определяет политическую важность работы органов госбезопасности на участке борьбы с идеологическими диверсиями…

Идеологическая диверсия осуществляется в области, охватывающей политические, философские, правовые, нравственные, эстетические, религиозные и другие взгляды и идеи, то есть в сфере идеологии, там, где ведется борьба идей… Идеологическая диверсия — это прежде всего форма подрывной деятельности империализма против социализма. Ее цель — ослабление, расшатывание социалистического строя… Тот факт, что ведется она в области идеологии, не меняет ее подрывного, противоправного характера. Это в первую очередь определяет остроту, бескомпромиссность нашей борьбы с идеологической диверсией, в какой бы она форме ни проявлялась.

Нам иногда задают вопрос: „Разве могут представлять какую-нибудь опасность для советского общества отдельные антиобщественные проявления или негативные действия ничтожной горстки лиц? Разве могут они поколебать устои социализма?“

Конечно, нет, отвечаем мы, если брать каждое такое действие или политически вредную выходку изолированно. Но если брать их в совокупности, учитывая их связь с содержанием и целями идеологической диверсии империализма, то такие действия не являются безвредными… Такие действия мы игнорировать не можем».

Из письма академика П. Л. Капицы председателю Комитета государственной безопасности СССР Ю. В. Андропову. 11 ноября 1980 года.

«…Инакомыслие тесно связано с полезной творческой деятельностью человека, а творческая деятельность в любых областях культуры обеспечивает

прогресс человечества.

Легко видеть, что в истоках всех отраслей творческой деятельности человека лежит недовольство окружающим. Например, ученый недоволен существующим уровнем познания в интересующей его области науки, и он ищет новые методы исследования. Писатель недоволен взаимоотношением людей в обществе, и он старается художественным методом повлиять на структуру общества и на поведение людей. Инженер недоволен современным решением технической задачи и ищет новые конструктивные формы для ее решения. Общественный деятель недоволен теми законами и традициями, на которых построено государство, и ищет новые формы для функционирования общества и т. д.

Таким образом, чтобы появилось желание начать творить, в основе должно лежать недовольство существующим, то есть надо быть инакомыслящим. Это относится к любой отрасли человеческой деятельности. Конечно, недовольных много, но чтобы продуктивно проявить себя в творчестве, надо еще обладать талантом. Жизнь показывает, что больших талантов очень мало, и поэтому их надо ценить и оберегать. Это трудно осуществить даже при хорошем руководстве. Большое творчество требует и большого темперамента, и это приводит к резким формам недовольства, поэтому талантливые люди обладают, как говорят, „трудным характером“. Например, это можно часто наблюдать у больших писателей, так как они легко ссорятся и любят протестовать. В действительности творческая деятельность обычно встречает плохой прием, поскольку в своей массе люди консервативны и стремятся к спокойной жизни.

В результате диалектика развития человеческой культуры лежит в тисках противоречия между консерватизмом и инакомыслием, и это происходит во все времена и во всех областях человеческой культуры… Известно, что силовое административное воздействие на инакомыслящих ученых существует с древних времен и даже в последнее время происходило на Западе. Например, известный философ и математик Бертран Рассел за свое инакомыслие дважды был посажен в тюрьму, правда, только на короткие сроки. Но увидев, что это вызывает в интеллигенции только возмущение, а

на поведение Рассела никак не влияет, англичане отказались от этого метода воздействия.

Я не могу себе представить, как еще мы предполагаем воздействовать на наших инакомыслящих ученых. Если мы собираемся еще усиливать методы силовых приемов, то это ничего отрадного не сулит. Не лучше ли попросту дать задний ход?»

25 января 1982 года умер Суслов. На телеэкране выплыло худое лицо с жидкой прядкой волос на лбу и злым сверлящим взглядом. Несусветное, до земли, пальто, непременные галоши. Вишневая папка, которую почтительно нес за ним охранник. В теплое время он приезжал к дочери на Патриаршие пруды в таком же старомодном, унылом коверкотовом плаще. Его роскошный лимузин — «членовоз», по выражению москвичей, — медленно плыл по московским улицам и загородному шоссе в направлении дачи, не превышая сорока — пятидесяти километров и тормозя общее движение. Никто даже из членов Политбюро не решался нарушить этого замедленного ритуала: Суслова окружала особая аура. Мудрого. Преданного идее. Бескорыстного. Эталонного партийца.

Последние годы он жил в новом многоэтажном доме на Большой Бронной, прямо за бывшим Камерным театром. И по нескольку раз в неделю коротал одинокие вечера именно в этом театре, ставшем едва ли не худшим в Москве и по актерскому составу, и по репертуару. Казалось, сцена мстила за выброшенных отсюда Таирова и Коонен: ничто не удавалось, ничто не поднималось выше уровня посредственности.

Главный идеолог спокойно высиживал все спектакли, не возмущаясь и не восхищаясь. Глядя на сцену пустым неподвижным взглядом. Хотя любимые актеры у него были. Во всяком случае, в театре догадывались, что это игравший всех парторгов (без них не обходилась почти ни одна советская пьеса) круглолицый коренастый Степан Бубнов, параллельно с театром занимавшийся реставрацией икон, и Николай Прокопович, худощавый блондин, игравший в фильмах эсэсовских офицеров. По всей вероятности, трафареты успокаивали идеолога, дарили ощущение прочности и незыблемости.

Но злые московские языки говорили, что к себе на дачу Суслов заказывал фильмы с гейшами. Смотреть их в одиночестве. Утечка информации шла через работавших при нем киномехаников, удивлявшихся однообразию репертуара…

Не все иностранные политологи владели искусством «читать» советские газеты и «рассматривать» опубликованные в них

фотографии членов Политбюро. Место Суслова на снимках было неизменно во втором ряду — он не мог его ни выбрать, ни самовольно изменить. Хотя формально он был главным идеологом, существовал еще Константин Черненко — доверенный из доверенейших, не отходивший от Брежнева и по мере развития его недуга расшифровывавший бессмысленное мычание вождя или, как считали на Старой площади, начавший заменять мысли генсека (если таковые еще оставались) собственными. Черненко не хуже Суслова преуспел в аппаратных играх и имел крепкую группу сторонников.

Когда Брежнев перестал отдавать себе отчет в своих действиях, обе стороны пришли в движение. Началась борьба за власть… Теперь Суслов был в первом ряду на фотографиях, заботился об издании своих «сочинений», под которыми подразумевались всяческого рода доклады, составляющиеся специальными группами спичрайтеров. Он поднимал свой голос на Секретариате, в Политбюро. И — неожиданно сошел со сцены. Это была одна из удивительно своевременных смертей.

И вот траурная рамка. Слова установленной протокольной скорби. Жизнь. Заслуги перед партией. И народом. Редкие человеческие добродетели — простота, откровенность, скромность, отзывчивость, требовательность к себе. Клятвенное обещание — не забыть, сохранить в сердце, идти по пути… Пожалуй, многовато для рядового члена Политбюро.

Специальный диктор для некрологов, как когда-то был диктор для военных сводок Информбюро. Проникновенный голос. Неглубоко спрятанная скупая мужская слеза. Безусловно много — не для «вождя».

И разве не примечательно, что в рассказах и воспоминаниях соратников Суслову всегда будет отводиться первая роль? Зато в мемуарах тех, кто практически проводил в жизнь идеологическую политику Старой площади, это имя отсутствовало. За множеством мелких партаппаратчиков, начальников горкомовских отделов культуры исчезал подлинный смысл происходившего. Как у Конан Дойля: лист лучше прятать в осеннем лесу. Абсурдность сознательно выдуманных объяснений доходила до того, что авангардные выставки начала 1970-х годов стали трактоваться как средство компрометации не имевшего никакого отношения к идеологическим играм первого секретаря московской организации Виктора Гришина.

…По Красной площади метет сухой снег. Перед Мавзолеем на военном лафете гроб. Воинские почести. Караул. Могила рядом с «вождем и учителем». Со временем увенчанная таким же портретным бюстом.

(Пройдут годы, прежде чем командир Кремлевского полка поделится государственной тайной о перезахоронении «вождя и учителя». Как было принято решение на XXII съезде и как никто не осмеливался это решение осуществить. Понадобилось еще одно — Пленума ЦК. Но и тогда были предприняты все меры предосторожности в необъяснимо кощунственный для многих момент.

Земля у Мавзолея была заслонена плотными щитами. Доступ гражданских лиц на Красную площадь прекращен. Но все происходило под грохот танковых колонн — они отрабатывали парадный строй перед очередным ноябрьским парадом. Офицеры вынесли приготовленный, обитый красной тканью гроб. Осторожно опустили в неглубокий склеп из цементных плит и — бросили каждый по горсти земли. Все было уважительно и достойно. Несмотря на мелочи. Что из того, что офицер-хозяйственник в последнюю минуту аккуратно срезал с кителя генералиссимуса пуговицы — ведь золотые же! Что из того, что никто не запасся гвоздями, чтобы заколотить крышку гроба — их в конце концов нашли и, соблюдая все меры предосторожности, вбили. На всякий случай…)

Из слов помощника Горбачева можно было понять: для Старой площади смерть Суслова не была потерей, но началом схватки «дофинов» за престолонаследие. Брежнев уже был полностью сброшен со счетов.

NB

А. Н. Грачев.

«В стенах ЦК в это время развернулось негласное соперничество между двумя кандидатами на престолонаследие: Юрием Андроповым, занявшим после смерти Суслова его пост (и кабинет), и Константином Черненко, совершившим в последние годы стремительное восхождение от заведующего Общим отделом (то есть фактического личного секретаря Брежнева) до члена Политбюро. В этом негласном поединке у каждого из дуэлянтов было свое оружие.

Андропов как главный идеолог занимал стратегически более выгодную позицию полуофициального „дофина“ и мог опереться на все еще подвластный ему аппарат всемогущего и всезнающего КГБ. Черненко пытался извлечь максимальную выгоду из своего положения „первого лица“ при еще живом „самом первом“ руководителе, обладая монопольным правом доступа к нему и распоряжения его подписью…

По мере того как в последние годы слова и мысли вождя становились все менее вразумительными, Черненко все чаще брал на себя роль их толкователя… Суфлер, вылезший из будки, чтобы доиграть роль упавшего на сцене актера.

Образцом брежневской „дипломатии“ того времени останется его фраза, сказанная предшественнику Ярузельскому — Станиславу Канне 5 декабря 1980 года: „Мы не войдем, но если возникнут сложности, то войдем“».

Дело было за малым: очередным ритуальным похоронным действом на правительственном кладбище — Красной площади.

NB

Е. И. Чазов.

«…Как и кого информировать о случившейся ситуации. Я не исключал, что телефоны прослушиваются и все, что я скажу, станет через несколько минут достоянием либо Федорчука (руководителя КГБ), либо Щелокова. Я прекрасно понимал, что прежде всего о случившемся надо информировать Андропова.

(И хотя разыскать по телефону самого Андропова не удалось, Чазов передал через его помощника просьбу с ним связаться — на даче Брежнева. Факт смерти обнародован не был. — *Н. М.*)

Появился взволнованный и растерянный Андропов, который сказал, что сразу после моего звонка догадался, что речь идет о смерти Брежнева. Он искренне переживал случившееся, почему-то суетился и вдруг стал просить, чтобы мы пригласили Черненко. Жена Брежнева резонно заметила, что Черненко ей мужа не вернет и ему нечего делать на даче. Я знал, что она считает Черненко одним из тех друзей, которые снабжали Брежнева успокаивающими средствами, прием которых ему был запрещен врачом».

* * *

В Студии вспоминали, как незадолго до выставки в Манеже к белютинцам решила присоединиться единственная дочь генсека Галина. Но манежные события охладили ее пыл, как и брак с совсем юным сыном известного советского иллюзиониста Кио.

Этим скоропалительным браком Галина отметила в Сочи

приход к власти своего отца. Но именно неограниченность власти позволила Брежневу кардинально решить вопрос. Игорь Кио был доставлен в сочинскую милицию, где у него просто отняли паспорт со штампом о браке (соответствующий чиновник был снят с работы). Сама Галина получила некую фиктивную должность в агентстве печати «Новости» (АПН). Живописью она интересоваться перестала. Но не крутость ли отца толкнула ее на путь беспробудного пьянства?

Дальнейшая жизнь дочери генсека стала своеобразной визитной карточкой его времени. Достаточно было Галине заинтересоваться женатым многодетным майором милиции Чурбановым, как генсек избавил избранника от семейных уз и обеспечил ему головокружительную карьеру, назначив заместителем министра МВД.

Вскоре в жизнь Галины, начавшей быстро тяготиться супругом, вошел Борис Буриадзе, «красавец цыган», как его называла Москва, выпускник театрального института, отделения музыкальной комедии. Теперь роман протекал у всех на глазах с попойками, скандалами, бесконечными подарками избраннику — от перстней с бриллиантами, толстых золотых цепочек до квартиры и места в Большом театре в качестве солиста. Правда, отсутствие голоса не позволило Борису Буриадзе слишком часто пользоваться своим преимуществом. Обслуживал кутежи Юрий Соколов, директор самого популярного московского гастрономического магазина — так называемого Елисеевского на Тверской.

Но единственной непреходящей страстью Галины Брежневой были бриллианты, как и у ее ближайшей подруги — жены министра внутренних дел Щелокова. Подруги выискивали их в ювелирных магазинах, отбирали лучшие экземпляры на открывшейся в Москве алмазной фабрике, скупали перед каждой намечавшейся переоценкой на государственных складах.

Скандал разразился после новогоднего приема, устроенного в канун 1982 года в цирке. Подруги явились залитые бриллиантами. С ними конкурировали только супруга Анатолия Калеватова — актриса Театра Вахтангова Лариса Пашкова, прославившаяся исполнением ролей простеньких комсомолочек, участвовавших в ударных стройках страны, и укротительница тигров Ирина Бугримова, за что на следующий день и поплатилась: все бриллианты были у нее украдены.

Вмешавшийся КГБ арестовал первым «красавца цыгана». Заступничество Галины на этот раз не помогло. И это был признак того, что власть переходила от Брежнева в другие руки. Вопрос заключался в том, волновало ли Андропова

восстановление попираемой повсюду законности или уголовные дела были лишь прикрытием идеологического наступления и восстановления сталинизма.

NB

Из речи Ю. В. Андропова на Пленуме ЦК КПСС 12 ноября 1982 года.

«Здесь, в этом зале собрались те, кто входит в штаб нашей партии, которой 18 лет бессменно руководил Леонид Ильич. Каждый из нас знает, сколько сил и души вложил он в организацию дружной коллективной работы, в то, чтобы этот штаб прокладывал верный ленинский курс. Каждый из нас знает, какой неоценимый вклад внес Леонид Ильич в создание этой здоровой морально-политической атмосферы, которая сегодня характеризует жизнь и деятельность нашей партии.

Жизнь Леонида Ильича оборвалась, когда его мысли, усилия были обращены на решение крупнейших задач экономического, социального, культурного развития, определенных XXVI съездом КПСС, последующими пленумами ЦК…

Пленуму предстоит решить вопрос об избрании генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. Прошу товарищей высказаться по этому вопросу».

Расстрел директора Елисеевского магазина. Тринадцать лет заключения для Анатолия Калеватова, долгие годы покровительствовавшего «цирковым увлечениям» Галины Брежневой — он руководил всеми советскими цирками. Пять лет для «красавца цыгана». Но главное — был снят с министерской должности, исключен из партии Щелоков. Его жена выбросилась из окна.

Общественность была специально оповещена о результатах следствия по делу Щелокова. Из девяти предоставленных государством Министерству внутренних дел «мерседесов» три министр взял для себя, сына и дочери, два БМВ были отданы супруге и невестке. Бесплатные квартиры в лучших районах города получили многочисленные родственники и обслуживающий персонал, включая портного и дантиста.

Штат министра и личного друга Брежнева состоял из архитектора, числившегося инспектором МВД, личного массажиста, фотографа, повара, прислуги, офицера для поручений в чине майора, наконец, биографа с помощником.

Печать все больше привлекала внимание сильных мира сего: наемные перья писали за них и О НИХ.

Щелоковский биограф выпустил баснословно дорогой фильм о министре «Страницы жизни».

Благосостояние семьи Щелокова крепло за счет государства. По личному распоряжению министра из библиотеки МВД все антикварные книги перекочевали в его резиденцию. Когда министру приглянулись ценные старинные золотые часы, они были приобретены на так называемые представительские средства и затем преподнесены Щелокову его заместителем Чурбановым «от учреждения». Семья увлекалась цветами, и это хобби удовлетворялось из тех же представительских средств.

А история с тестем министра?! Его, простого работника краснодарского мебельного комбината, перевели в Москву с чином майора МВД, предоставили превосходно обставленную квартиру, и даже его похороны были устроены за счет государства, вплоть до скорбных венков, которыми почтила его память семья.

А если еще к этому прибавить уникальную коллекцию меховых изделий, самую дорогую французскую парфюмерию!

* * *

Народ не мог не отшатнуться: победа госбезопасности была слишком очевидной, а ее прошлое слишком известным. Но тут же поползли слухи об интеллигентности нового генсека: никакого сравнения с предшественниками. Образование, ограниченное одним речным техникумом, ничего не значило. Зато его мать была преподавательницей музыки. Телевидение показало сюжет, рассказывающий о скромном образе жизни генсека: простая дача, множество книг, одинокая деревянная скамья под деревьями, на которой он любит размышлять.

На моих выступлениях в Центральном Доме работников искусств часто бывала дочь Андропова Наташа с подругами — дочерью секретаря ЦК Зимянина и известной журналисткой. По окончании подходила, благодарила. Интересовалась музыкальной частью вечера — в нем принимали участие музыканты Московской консерватории и певцы Большого театра. Она имела какое-то музыкальное образование и работала в журнале «Музыкальная жизнь».

А между тем все повторялось из года в год. Абрамцевскую мастерскую громили после каждой осенней выставки, разбрасывая по снегу небольшие холсты и графические листы,

иностранные журналы с «формалистическими» репродукциями. Ради этого выворачивали замки, корежили двери, били стекла. Обращаться в местную милицию было бесполезно: там даже не считали нужным составлять протоколы.

У Лидии Ивановны нервы не выдержали: «Остаюсь в следующем году здесь на зиму. Пусть попробуют при мне». Обычно ее решения были окончательными. Домашний врач Ядвига Холодковская посоветовала пройти курс укрепляющей терапии в больнице.

Утром мы отвезли Лидию Ивановну в соседнюю больницу. Вечером пришли навестить, но ее там не оказалось. Из невнятных объяснений медицинских сестер — врачи непонятным образом все исчезли — следовало, что «больную» срочно перевезли в другой госпиталь. На окраину Москвы. В неспециальной машине. Санитарка добавила: «Так торопились, что даже не одели — просто завернули в одеяло». На дворе стоял мороз.

Мы поехали на проспект Маршала Жукова, в этот госпиталь. Попасть к Лидии Ивановне было почти невозможно: отделение закрывалось на ключ, врачи долго допрашивали, зачем мы с Элием пришли, и убеждали, что в нынешнем состоянии больную лучше не беспокоить.

Лидия Ивановна была без сознания. Нам передали снятые с ее рук кольца, личные мелочи, сказав, что они ей не пригодятся. Мы не поняли смысла сказанного: на следующий день мамы не стало. В себя она так и не пришла.

От диагноза врачи уклонились. Патологоанатом покачал головой и дал свое заключение. Только на словах — письменного заключения мы на руки не получили. Госпиталь услужливо оформил все необходимые для погребения формальности.

У гроба было множество народа, в том числе и студийцы. Лидия Ивановна была добрым гением нашего «Острова свободы». Деятельным и безотказным. Ей исполнилось 73 года.

Сразу после похорон я обратилась к медицинскому начальству с требованием провести расследование. Одна специально назначенная комиссия сменяла другую. Все сходились на том, что транспортировка в другой госпиталь была ничем не оправдана, резкое ухудшение состояния практически здорового человека ничем не могли объяснить.

Моя подруга, работавшая главным врачом одного из московских родильных домов, качала головой: «Бесполезно! Ни следствия, ни суда ты не добьешься». Она была права, но не совсем.

Суд последовал со стороны Союза советских художников. Впервые после манежных событий заведующая секцией критики

Нина Баркова предложила мне явиться для… дачи объяснений: «Мы не позволим оскорблять советских медиков и затевать недостойную члена нашего Союза свару». Оставалось положить телефонную трубку и больше никогда не переступать их порога.

NB

Д. А. Волкогонов:

«Когда Ю. В. Андропов и Р. А. Руденко доложили 26 декабря 1979 года свои предложения в Политбюро в отношении академика Сахарова, Брежнев, еще до обсуждения вопроса, выразил с ними согласие. А председатель КГБ и Генеральный прокурор СССР сочинили бумагу, в которой доносили, что Сахаров „в 1972–1979 годах 80 раз посетил капиталистические посольства в Москве“, имел „более 150 так называемых пресс-конференций“, а по его материалам западные радиостанции подготовили и выпустили в эфир „около 1200 антисоветских передач“. Боясь „предания суду“ Сахарова из-за „политических издержек“, на Политбюро 3 января 1980 года решили лишить академика всех высоких званий и „в качестве превентивной меры административно выселить его из Москвы в один из районов страны, закрытый для посещения иностранцами“. Наиболее подходящим оказался Нижний Новгород, тогдашний город Горький.

При всей своей бытовой доброте и сентиментальности Брежнев был идеологически жестким человеком по отношению к инакомыслию, той „швали“ (по выражению генсека), которая думает не так, как он и его соратники. Время застоя и стагнации было временем особенно распространенной „охоты на ведьм“. И Брежнев, почти профессиональный охотник за дичью, внес свой большой вклад в это далеко не богоугодное дело».

Леонид Комаровский-младший был редким гостем в нашем доме. В тот вечер он пришел к нам очень обеспокоенным. На работе ему, опытному врачу, кто-то бросил такую фразу: «И чего вы, поляки, все еще под ногами толчетесь. Уезжали бы, если ваша Польша вас не берет, хотя бы в Израиль. Там всех подберут».

Что это: случайность или новый курс? При третьем генсеке антипольские настроения притихли. Появление «польского вопроса» явственно свидетельствовало о возрождении сталинских установок.

NB

Валери Жискар д'Эстен:

«Эдвард Герек был личным другом Брежнева. Он сообщил мне, хотя я и не могу ручаться за достоверность его слов, так как наша разведывательная служба не имела ни одного гражданского агента в Советском Союзе, что мать Брежнева была полькой.

Брежнев это скрывал, поскольку русские к полякам относятся с сарказмом и презрением. Тем не менее польский был в прямом смысле его родным языком, и с Гереком они нередко говорили по телефону по-польски.

Летом Герек отдыхал в Крыму на даче, расположенной по соседству с дачей Брежнева. Они часто встречались и вели, по-видимому, доверительные беседы.

В октябре 1976 года я нанес Гереку официальный визит. Вечером следующего дня в разговоре наедине Герек сказал мне по секрету:

— Брежнев говорил со мной о своем преемнике… Речь идет о Григории Романове, в настоящее время он возглавляет ленинградскую партийную организацию…

Эдвард Герек не забыл этот разговор. В мае 1980 года я снова встретился с ним в Варшаве специально для того, чтобы через него предупредить Леонида Брежнева о губительных последствиях для разрядки опасной афганской авантюры. Во время нашей встречи Герек вновь обратился к вопросу о преемнике Брежнева:

— Вы, вероятно, помните, что я сказал вам относительно Романова. Теперь это не так. Намерения Брежнева изменились. Он прочит себе в преемники не Романова, а Черненко. Вы его знаете?

Я знал Черненко в том смысле, что замечал его на официальных приемах. Он показался мне человеком преклонного возраста, бесцветным и всячески старающимся угодить Брежневу. Таким образом, режим предпочел замкнуться на самом себе.

Поэтому когда на смену Брежневу пришел Андропов, я понял, что в самой системе произошел какой-то сбой и к власти пришел не тот, кто намечался».

* * *

Казалось, все происходило в глухой провинции. Обветшавшая

колокольня. Вход, напоминавший узкий лаз. Четыре тесные комнатенки с окнами на уровне узкого тротуара. В стороне помещение чуть больше — ярус колокольни, с грехом пополам приспособленный под некое подобие зала. Дощатые полы. Стол президиума под кумачовой скатертью. Ряды исцарапанных шатающихся стульев. Лучшего помещения для Московского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) в столице не нашлось. Или — не должно было найтись.

Всю организацию возглавлял бывший инструктор районного отделения партии некий Толмачев, не имевший ни малейшего представления ни о русской истории, ни о памятниках, ни тем более о том, как их надо защищать и хранить.

Под стать партинструктору были его сотрудницы, заведовавшие придуманными секциями: жена начальника кафедры в Политической академии и жена высокого офицера госбезопасности. В их обязанности входило следить за сбором взносов в районах, но главным образом фиксировать всех приходивших. Приобщение к этому обществу, изначально выступавшему «против правительства» (как иначе назвать возражения против планов партийного руководства по переустройству городов?), было несмываемым клеймом, если только это приобщение не предписывалось своим сотрудникам и осведомителям госбезопасностью.

Старички и старушки из «бывших» тянулись сюда не столько в надежде сохранить старину — даже заикаться о таком многие не решались, — сколько послушать всякие истории «про прошлое». Научный уровень здесь значения не имел, никакой деятельности не предполагалось.

В канун 600-летия битвы с Мамаем на Куликовом поле определилось и второе направление общества — национал-патриотизм в духе Третьего рейха. Ответственным секретарем и идейным вождем Московского отделения стал сын начальника личной канцелярии Суслова, в прошлом военный связист Дьяконов. Речь шла об истовом православии, борьбе с заполонившими русскую землю «иноверцами», о необходимости возвращения к исконно русскому укладу, как его себе представляла сусловская команда, и безусловному изоляционизму.

В городе продолжало разрушаться множество церквей, являвшихся памятниками архитектуры. Но только когда бульдозер затронул абсолютно бездарную в художественном отношении церковь Архангела Михаила, орденский храм черносотенного Союза русского народа, в дело вмешался

официальный вождь национал-социализма художник И. Глазунов. Снос был приостановлен. Однако профашизм не прививался в Москве — его приходилось вводить и распространять насильно. 5-е управление усиливало напор.

Как-то в «андроповские месяцы» ко мне забежала старая приятельница, известная актриса Людмила Касаткина: «Я только что была на приеме у министра обороны (Касаткина была ведущей актрисой Театра Советской Армии. — *Н. М.)*. У него на стене висит… картина Элия!» Да, Советская Армия всегда стояла по другую сторону баррикад по сравнению с КГБ.

Тогда же все кадровые вопросы — Отдел организационно-партийной работы был передан Андроповым в руки секретаря Томского обкома партии Егора Лигачева. Андропова, по-видимому, устраивали его прямолинейность и откровенный недостаток культуры.

* * *

На новогоднем приеме в Министерстве обороны Дмитрий Устинов в частном разговоре заметит: «Полтора года правления — это мало или много?» Для Андропова это оказалось слишком много. Мемуаристы начнут его представлять тяжелобольным человеком. Но это мемуаристы. Известно, что в конце 1983 года предполагалось его развернутое выступление на пленуме. Помощники спешили со сбором материалов, в том числе Аркадий Вольский (в конце столетия — председатель Союза промышленников и предпринимателей). В последний момент обнаружилось, что выступать с докладом генсеку не под силу. В нарушение внутриаппаратного протокола Андропов поручил выступить вместо него с кратким собственным докладом Михаила Горбачева. Текст спешно написали Александр Яковлев и Виктор Болдин. Пошли слухи о неком завещании в пользу Горбачева.

В феврале 1984-го Андропова не стало. Никакого завещания, само собой разумеется, не оказалось.

К величайшему изумлению всех партийных органов место Андропова занял не менее больной и одряхлевший Черненко. Его кандидатуру поддержали Дмитрий Устинов, Николай Тихонов и Андрей Громыко. Эксперимент с Андроповым явно научил их осторожности. Влияние нового генсека не выходило за рамки здания на Старой площади. И это послужило основным доводом в его пользу. Зато кабинет главного идеолога достался бывшему секретарю Ставропольского крайкома, который до этого занимался одним сельским хозяйством. 5-е управление могло

беспрепятственно продолжать свое дело.

Политика в отношении «Новой реальности» оставалась все той же — замалчивание. Стоило говорить о единицах — они представляли исключение, но нельзя было соглашаться на остававшееся по-прежнему многолюдным и развивающимся направление. Нельзя, хотя и приходилось.

* * *

По традиции, после вечеров сценического рассказа, которые я вела, исполнители приезжали в белютинскую квартиру. Обычно здесь бывали только свои. Но однажды без предупреждения артист Малого театра Георгий Куликов привел с собой коренастого круглоголового человека с крупными чертами лица, коротко постриженными волосами и поставленным начальственным голосом.

Объяснение Куликова прозвучало не слишком убедительно. Малый театр гастролировал в Томске. В последний день всю труппу принимал секретарь обкома Егор Лигачев: специальный теплоход, роскошный пикник, разливанное море спиртных напитков. Столичные актеры должны были увидеть настоящий сибирский размах.

Так случилось, что начавшийся на пикнике разговор перешел в добрые отношения. Теперь секретарь обкома оказался по делам в ЦК, и Куликов, по всей вероятности, решил продемонстрировать ему московское застолье. Лигачев был по-советски любезен (эдакий рубаха-парень) и по-партийному памятлив. Во время манежных событий он был заместителем заведующего отделом агитации и пропаганды Бюро ЦК КПСС по Российской Федерации.

«Мы с вами прошли одинаковую мясорубку!» Приглашенный работать в ЦК в 1961 году, Лигачев до этого в качестве секретаря Новосибирского обкома партии обвинялся ни много ни мало — в троцкизме. Шелепин не мог помешать его назначению — выбор был сделан самим Хрущевым, — но и не забывал о каиновой печати нового сотрудника. Сразу после снятия Хрущева Лигачев попросил перевести его подальше от столицы, конкретно — в Сибирь. Так он появился в Томске.

Его интересовала не живопись белютинцев, а сама возможность возникновения такого огромного коллектива: «Как 5-му управлению проводить с вами профилактическую работу? Вот если только начать пропалывать морковку — там отколоть одного, там другого». — «Чем?» — «Жизненными или еще лучше профессиональными благами. Окрик объединяет, блага

разъединяют — прописная истина».

NB

Ж. Кассу — Э. Белютину. Париж. Февраль 1983 года.

«…Наконец я получил возможность почувствовать себя на ежегодной выставке в Абрамцеве. Лента, снятая мсье Риччи, очень удачна. Мы с мадам Изабель смотрели ее на большом экране и как бы шли по фантастической экспозиции под открытым небом.

Об отдельных впечатлениях напишу после вторичного просмотра. Сейчас скажу одно: это большое искусство сегодняшнего дня, оригинальное и трепетное, безо всяких реминисценций прошлого, к которому тяготеет сегодняшний художественный рынок.

Со своей стороны я направляю Вам свои глубокие сердечные и восторженные пожелания вместе с просьбой передать их всем художникам — искателям, творцам, которые продолжают развивать русскую культуру и ее великое человеческое предназначение. Я бесконечно верю, что Ваше собственное искусство и работы Ваших товарищей займут все более и более значительное место в большом концерте международного выражения творчества.

Я неизменно остаюсь Вашим верным старым другом и восторженным поклонником».

Оказалось, у нового генсека тоже множество трудов, которые только и ждали своего часа для появления в свет. Любопытные библиографы подсчитают: с февраля по декабрь 1984 года Черненко опубликовал больше восьмидесяти разных материалов и речей, которые тут же составили собрание сочинений. Но даже по библиотекам, которые комплектовались централизованно, тиражи не удалось распространить.

Неожиданную независимость Черненко проявил в отношении любимца своего бывшего шефа. Следствие против Щелокова было прекращено сразу после кончины Андропова. Щелоков был назначен заместителем министра обороны. На официальных приемах стала появляться Галина Брежнева. Ей назначили пенсию, поскольку увлечение алкоголем лишило ее к тому времени трудоспособности.

Но — о чем большинство не знало — общее следствие по делу Щелокова продолжалось. В результате 6 октября 1984 года Щелоков был разжалован из генералов армии в рядовые и покончил с собой, застрелившись из охотничьего ружья. Черненко оставалось быть у власти всего три месяца.

Конца ждали давно и удивлялись, как долго он не наступал. Подлинное достижение советской медицины! Было мучительно видеть по телевизору дряхлого, немощного старика, шамкающего, повисающего при каждом удобном и неудобном случае на шее собеседника с поцелуями взасос, вызывавшими брезгливость. Было понятно и другое: Евгений Чазов с коллегами будет совершать чудеса, пока не определится расстановка сил в ЦК, а вот она-то затягивалась. В этом шатком равновесии органы явно набирали обороты, главным образом по своим «воспитательным» каналам.

Мой театр сценического рассказа существовал уже более десяти лет. Лучшие сценические площадки Москвы. Всегда переполненные залы.

Все началось с группы актеров Малого театра, с которыми все годы шла работа. Раз за разом весь состав то отзывали на внеплановые репетиции (в выходной день театра!), на общественные поручения, то на неожиданные однодневные выезды за пределы Москвы. Готовить сценарии, проводить репетиции становилось невозможно. Добавились проблемы с площадками: ремонты, изменения планов, неожиданные «мероприятия». Администраторы отводили глаза и ничего вразумительного не могли сказать зрителям.

Одновременно исчезла возможность журналистских выступлений, публикаций в научных журналах. Бесконечно тянулась «работа» редакции над книгой о замечательном русском портретисте второй половины XVIII века Федоре Рокотове, несмотря на положительные отзывы музеев и исследовательских институтов.

Неожиданно откровенным оказался главный редактор издательства «Искусство» Борис Вишняков: «Передайте, пусть не держит на меня зла: ее книгу затребовали „наверх“. Пусть срочно ищет другие ходы. Если они у нее есть». Восемнадцать книг, уже напечатанных в том же издательстве, были не в счет. В игру вступали «высшие силы». Отличие от последних сталинских лет заключалось только в том, что не было кампании.

NB

В. А. Болдин «Воспоминания».

«Брежнев тихо умер в своей постели 10 ноября 1982 года между восемью и десятью часами утра. И был обнаружен остывшим уже своим адъютантом, который пришел будить генсека. Хотя он был давно и серьезно болен, но почему-то ни служба охраны, ни медики не держали вблизи не только врачей, но даже медсестры, и

реанимировать его взялись охранники, делая массаж больного старого сердца. Прибывшие реаниматоры лишь констатировали смерть генсека на маленькой и неуютной его даче в Заречье, в пяти минутах езды от Кольцевой автодороги».

Кремлевское медицинское управление отправило генсека на отдых в Кисловодск, отличающийся резким перепадом дневных и ночных температур. Холодный воздух ночных гор сделал свое дело: у отдыхающего началась тяжелая пневмония. Его доставили на самолете в Москву.

Болезнь удалось пригасить, но самостоятельно передвигаться Черненко больше не мог. 10 марта 1985 года его не стало.

Очередное погребальное действо на Красной площади. Очередные слова признательности, верности, вечной памяти. На первом же заседании Политбюро Виктор Гришин предложил кандидатуру нового генсека Михаила Горбачева. Ответом ему было молчание.

На следующий день должен был состояться Пленум ЦК. По совету писавших для Горбачева текст речи Виктора Болдина и Александра Яковлева в ней были развернуты все лозунги перестройки. Только лозунги — никакой реальной и сколько-нибудь разработанной программы не существовало. Необходимо было произвести впечатление на участников пленума и выиграть тот единственный день — 11 марта.

Усилия спичрайтеров не пропали даром. Чтобы заручиться поддержкой старейшего члена Политбюро Андрея Громыко, Горбачев предложил ему — в случае своего избрания — должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Содержание речи стало простым дополнением к предложению Громыко, выдвинувшего кандидатуру Горбачева.

Теперь место главного идеолога должен был занять Егор Лигачев. Но новый генсек нашел необычное решение: на Старой площади появились два секретаря ЦК по идеологии — Егор Лигачев и Александр Яковлев, два человека, полное несогласие и постоянное противоборство которых было обеспечено. Ни один не имел четко определенного поля деятельности. Каждый должен был себе такое поле завоевывать, неизбежно прибегая к помощи генерального секретаря. Эти расхождения усложняли, но не прерывали работы 5-го управления. Методика «профилактики» и управления деятелями культуры была безупречно налажена.

Перемены стали ощущаться почти сразу, но только на страницах печати. Только! На самом деле материалы, раскрывавшие темные закоулки прошлого, были куда важнее

ассортимента продовольственных магазинов или нехватки модных товаров.

Все становится известно постепенно. И требования Шелепина («железного Шурика»), так отчаянно рвавшегося к власти на сталинских оборотах. И признания исчезнувшего с политического горизонта Семичастного в том, что собственно антисоветских дел во времена «оттепели» не было — их приходилось сочинять, чтобы поддерживать идею незатухающей классовой борьбы, враждебного окружения и — необходимости разрастания аппарата госбезопасности.

Тихон Хренников впоследствии заявил, что доклад по осуждению композиторов в 1948-м его заставили читать по чужой записке. Семичастный — что его не менее печально знаменитое выступление по поводу Бориса Пастернака явилось результатом коллективного сочинения.

> NB
>
> Из воспоминаний А. Н. Шелепина:
>
> «Я помню, нас пригласили к Хрущеву в Кремль накануне пленума… И он сказал: „В докладе надо Пастернака проработать. Давай сейчас мы наговорим, а вы потом отредактируйте. Суслов посмотрит — и давай завтра“. Надиктовал он две странички. Конечно, с его резкой позицией о том, что „даже свинья не позволяет себе гадить“. Там такая фраза еще была: „Я думаю, что Советское правительство не будет возражать, если ему так хочется дышать свободным воздухом, чтобы покинул пределы нашей Родины“. И далее: „Ты произнесешь, а мы поаплодируем. Все поймут“».

Советская жизнь в отражении западной печати и наша реальная жизнь — как мало было между ними общего! Мир как завороженный смотрел на тщательно отобранную горстку актеров, разыгрывавших наконец-то наступивший режим свободы. Именно режим. Потому что, когда удостоенные метались между Советским Союзом и чужими странами, жизнь всех остальных не менялась. Но что могли значить в общественном мнении десятки миллионов по сравнению с таким раскованным, таким контактным и мобильным генсеком, как Михаил Горбачев! Его самолюбование и тщеславие не умещались в рамках одного только Советского Союза.

Пожалуй, именно на почве выхода на международную арену завязался первый узелок отношений генсека с «архитектором перестройки», как станут называть в стране Александра Яковлева. Это Яковлев уговорил Горбачева съездить в Канаду для

ознакомления с сельским хозяйством страны. Яковлев тогда занимал пост посла, Горбачев на Старой площади ведал исключительно сельским хозяйством.

По-видимому, посол возлагал на эту поездку особые надежды. Он тяготился «канадской ссылкой», мечтал о возвращении на Старую площадь. Соответствующего указания Юрия Андропова Горбачеву почти удалось добиться. Препятствием стал ведавший внешней разведкой Крючков, не хотевший лишаться такого посла. Когда один из его сотрудников, работавший в Канаде под «крышей» начальника местного отделения «Аэрофлота», допустил промах и в считаные часы был переправлен в Москву, вмешательства Яковлева оказалось достаточным, чтобы ему не пришлось в полной мере поплатиться за бегство двух сотрудниц с секретными документами.

О работе в КГБ, само собой разумеется, не могло быть и речи, зато в Советском Союзе незадачливый сотрудник стал главным редактором могущественного концерна «ВАПП-информ» с большими средствами и не совсем понятными функциями, связывавшими его едва ли не со всеми странами мира.

Но Александра Яковлева все же вернули в Союз. В 1983 году он был назначен директором Института мировой экономики и международных отношений Академии наук, что вскоре повлекло за собой его избрание членом-корреспондентом.

В декабре 1988 года Александр Яковлев выступает на партийном активе города Перми с анализом действий Ленина незадолго до его смерти: «Для Ленина было жестоко мучительно сознавать, что Маркс и Энгельс ошиблись в моделировании нетоварного, безрыночного способа производства. Гипотеза не прошла проверку жизнью, „военный коммунизм“ был ошибкой, следствием принудительной бестоварной утопии».

Академик сформулировал и суть ленинского переосмысления первоначальной программы, что сами по себе формы собственности (частная или государственная), рынок, деньги, как и ФОРМЫ власти (парламентаризм или советы), еще не создают ни капитализма, ни социализма. Главным является то, кто распределяет конечный продукт.

Приводимые факты, формально не задевая авторитета классика, в действительности дискредитировали его как практика и обосновывали не происходившие, но предполагавшиеся перемены. Все еще предполагавшиеся.

Яковлев напоминал, что до конца 1920 года Ленин точно следовал концепции Маркса. В марте — апреле того же года на IX съезде партии при его поддержке была принята программа полной милитаризации труда: «Мы трудовую повинность…

осуществляем, нисколько не боясь принуждения, ибо нигде революция не производилась без принуждения». По словам Троцкого, милитаризация представляла явление временное — только до победы мировой революции. Ленин никак не оспаривал его тезис: «Если европейский пролетариат завоюет власть… то он возьмет на буксир нашу отсталую… страну, поможет нам технически и организационно и, таким образом, даст нам возможность, путем исправления и изменения методов нашего военного коммунизма, прийти к действительно социалистическому хозяйству».

Летом 1920-го на одном заседании на сцене Большого театра появляется огромная электрифицированная карта страны, демонстрирующая ход наступления Красной Армии на Варшаву и Берлин. Но мигающие стрелки настойчиво указывают дальнейшее направление — на Париж, Вену, Рим…

Разгром Красной Армии в августе того же года под Варшавой привел ко Второму Брестскому миру, а Рижский мир марта 1921-го, на основании которого Польше были переданы Западная Украина и Западная Белоруссия с населением пятнадцать миллионов человек, заставил Зиновьева признаться, что «экспорт революции в Европу» стал «чисто теоретическим». Ленин подведет черту под провалившимся экспериментом в 1923 году: «Мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм». Новую предложенную Лениным модель представлял нэп.

Яковлев напомнил, что 1923–1928 годы были годами материального благополучия, когда Советский Союз «кормил мясом и хлебом Европу». Экспорт достигал ста миллионов рублей золотом. И, между прочим, была возвращена свобода литературе.

Очередная легенда не совмещалась с судьбами миллионов семейств. В частности, с историей Белютиных: Микеле Беллучи расстреляли в стенах Алексеевского монастыря в июне 1927-го.

Восстановление исторической истины по-прежнему не входило в задачи руководства страны. К тому же участники идеологического розыгрыша — два секретаря по идеологии должны были принимать во внимание существование друг друга. Действия обеих сторон в результате не были окончательными, чаще всего не могли иметь и продолжения. На безбрежном море «перестройки» устанавливалась безнадежная мертвая зыбь.

* * *

В одном из писем 1985 года Жан Кассу писал, что у него не укладывается в голове, как при широко анонсируемых шагах либерализации в России письма по-прежнему идут около двух месяцев (такова была обычная разница между датой на штемпеле города отправления и штемпелем московского почтового отделения), и, следовательно, перлюстрация по-прежнему существует. Но это в лучшем случае. Что же касается писем с фотографиями живописи, то они вообще не доходят: «Мы прошли через фашистское и пэтэновское подполья, но у них были временные границы».

Как сказать создателю французского Сопротивления, что в библиотеках Советского Союза нет ни то что 50-томного собрания его сочинений, нет вообще ни одной его книги. Что в справочно-библиографическом бюро тогдашней ленинской библиотеки и Всесоюзной библиотеки иностранной литературы о писателе, чьи сочинения вошли в хрестоматии французских школьников, нет вообще никакого упоминания. И если генерала армии госбезопасности Филиппа Бобкова волновал вопрос, с какими издательствами — коммунистическими или некоммунистическими — будет сотрудничать его подопечный Рой Медведев, то ведь Жан Кассу, не будучи коммунистом, был в Испании и среди тех, кто одним из первых стал разоблачать немецкий фашизм (естественно, задолго до заключения пакта Молотова — Рибентропа). Его набат прозвучал сразу после поджога рейхстага. Вот только принять правила ортодоксальности он не мог. Как и его ближайшие друзья Пикассо и Матисс.

«Думаю, позиция Вашего правительства имеет в виду исключить из истории подведомственной ему страны (и здесь смена отдельных личностей значения иметь не может) существование „Новой реальности“ как слишком очевидного доказательства внутреннего отторжения обществом государства. Своим творчеством вы не оставляете надежды на „смягчающие обстоятельства“, скажем, всеобщую эйфорию от пропагандируемых идей. Но тем интереснее для каждого специалиста, каждого подлинного историка искусства разобраться в характере Вашей реализации принципов современного искусства. Те, кто сейчас у нас на Западе (в основном я имею в виду Германию и ее так называемые научные центры) занимается анализом „подпольных явлений“, слишком

откровенно связаны и направляются в своей деятельности Вашей идеологической инспекцией».

Также категорически Кассу отстранялся от появившихся во Франции диссидентов от изобразительного искусства. С ним полностью соглашался сменивший Кассу на посту директора Национального музея современного искусства Франции Бернар Дориваль, наша переписка с которым тоже длилась годами: «То, что предлагается вниманию французов, представляет лишь отсветы политических игр. О подлинной художественной ценности здесь не приходится говорить. Думаю, музеи Франции никогда не будут участвовать в политике. Это не их предназначение».

Заметно менявшаяся год от года подпись Кассу заставляла уколом тонкой иглы вспоминать о возрасте мэтра — иначе его никто не называл во Франции. И все равно письмо, полученное нами в конце января 1986 года, стало горькой неожиданностью.

Привычный адрес. И незнакомый почерк.

> «Дорогой господин Белютин, не знаю, дошло ли до Вас известие о смерти Жана Кассу через прессу. Да, Жан Кассу скончался 15 января в своем доме, окруженный своими близкими. Он угас тихо, незаметно, не протестуя, так как потерял сознание в последние часы, предшествовавшие смерти. Эта смерть — он знал о ее приближении и ждал ее спокойно.
>
> Начиная с июля он слабел, обнаруживая скорее признаки ослабевающей живости, чем болезни.
>
> И вот эта огромная пустота, но в то же время ощущение его присутствия не оставляет нас, его внутренняя ярость нас спрашивает.
>
> Дорогой мсье, он так любил получать от Вас вести, так дорожил Вашей живописью, и его мысли о Вас были исполнены самой горячей дружбы.
>
> Теперь это я и все его друзья обращаем к Вам дружеские, глубоко дружеские мысли.
>
> Шанталь Бонневиль, литературный секретарь Жана Кассу.
>
> Не откажите в любезности мне написать, чтобы я знала, дошло ли до Вас это письмо. Благодарю».

Единственное, что удалось сделать в память мэтра, — это опубликовать в журнале «Вопросы истории» статью о «Черном Жане», как зовет своего национального героя Франция.

* * *

Все продолжало быть. Советский Союз. Страны народных демократий. Объединивший их Совет экономической взаимопомощи, для которого был сооружен небоскреб рядом с Белым домом — резиденцией правительства страны. Были портреты семьи Горбачевых, написанные официальным портретистом коммунистических вождей Ильей Глазуновым. В открывавшихся одна за другой художественных галереях по-прежнему «отдыхали душой», по выражению ученика Филиппа Бобкова подполковника Андрея Губина, сотрудники 5-го управления, особенно у Марата Гельмана. Не было и не могло быть импровизаций. Там, где не хватало проверенных искусствоведов, объявлялись люди самых различных профессий, с неожиданно прорезавшейся тягой именно к изобразительному искусству и неизвестно откуда появившимися солидными кредитами.

Одни галереи переоборудовали под свои нужды московские церкви, например храм Иверской Божией Матери на Большой Ордынке. Другие занимали помещения бывших замухрышных магазинов на окраинах, третьи устраивались в наспех переделанных квартирах на центральных улицах. Их владельцы не имели никакого отношения к искусству, как в большинстве случаев и спешно набираемые ими «консультанты». Неизвестно откуда брались средства и тем более была непонятна широта, с которой они тратились.

Это снова возникало Зазеркалье: приемы, презентации, статьи в хронике светской жизни (и такая успела появиться!). Разговоры о постоянных продажах, приглашениях за границу, славе. Двести художественных галерей! В одной Москве! И на все хватало и полотен, и «новых русских» с туго набитыми кошельками.

Вот только если весь этот мутный бурлящий поток недодуманных, недоделанных, просто неграмотных произведений разделить на возможности всего европейского рынка (в Советском Союзе просто не существовало привычки увешивать стены квартир картинами), в остатке бы оказалась бóльшая часть продукции. К тому же во всех странах были свои художники.

Что же касается средств, то с ними все обстояло проще. Кредиты! Безвозвратные кредиты, особенно легко дававшиеся под так называемые культурные программы. Разворовывание государственных средств приобретало вполне открытый характер.

Неожиданно расцветшая «художественная жизнь» имела еще и другое назначение — витрина, свидетельствовавшая о расцвете

«перестраивавшегося» государства. Достаточно было появиться новому генсеку, как все обретало европейский характер, исчезали особенности советского строя, счастье обретения капиталистического благополучия становилось реальным и ощутимым.

В этом смысле галереи ничем не отличались от первых магазинов иностранных фирм, первых ночных клубов и первого ресторана «Макдоналдс», к которому выстраивались многочасовые очереди. Самая дешевая, на скорую руку, еда, которой стеснялись американцы, становилась глотком воздуха того все еще непонятного и заманчивого мира, куда с начала 1970-х рвались толпы так называемых отказников — отказавшихся от жизни в Советском Союзе.

Кто думал о вкусовых качествах первого гамбургера или хот-дога, главное — они существовали на тех же московских улицах и были доступны. В обратной перспективе становится очевидным: и в галереях не могло существовать художественных критериев. Важно было поразить, еще лучше шокировать, выдать что-то, дающее почву для сложных умствований, за которыми не стояли ни подлинная мысль, ни подлинное переживание.

Невольно приходила на память узкая улица в верхней части парижского Бульмиша — бульвара Сен-Мишель. Усыпанный гравием ухоженный двор с огромными агавами. Стеклянная дверь подъезда. Медленный лифт с дверью в кабинет, выдержанный в стиле Людовика XVI. Стены, обставленные книжными полками. У обрамленного атласными портьерами окна заваленный книгами стол. И голос хозяина — директора Центра Помпиду Бернара Дориваля: «Музейщики — не критики. Они историки искусства. И в торговых галереях нам делать нечего. Практически мы там не бываем». — «А исключения?» — «В отношении себя не припомню».

Когда-то Станислав Понятовский, приглашенный своей любовницей императрицей Екатериной Второй совершить совместное путешествие в Крым, заметил, что все время поездки ощущал себя в каком-то полусне. Картины, открывавшиеся его глазам, впечатляли, но не убеждали. Существовали и не существовали одновременно — эффект потемкинских деревень, как назовут его историки. Не этот ли эффект мы наблюдали в горбачевские годы?

Генсек использовал любой повод, чтобы отправиться в заморское путешествие. Его страстью было представительствовать и говорить. Говорить без шпаргалок, зачастую без подготовки, легко, свободно и — ни о чем. Сказанная в начале «перестройки» фраза: «Сначала начнем, а там будет видно» превратилась в девиз

его времени. Так и осталось непонятным, в чем заключалось начало и какой именно процесс, по выражению Горбачева, пошел.

Мир восхищался его контактностью, изо всех сил старался разглядеть элегантность в Раисе Максимовне, не только повсюду сопровождавшей мужа, но и в любых условиях продолжавшей им руководить. Газеты за «бугром» привычно перечисляли ее туалеты, умение выбирать драгоценности.

А в Советском Союзе нарастала неприязнь — не только к мужу, но прежде всего к жене, непонятным образом возглавившей Старую площадь. Бесконечно менявшаяся ею прислуга распространяла рассказы о причудах президентши, ее капризном и властном характере, полнейшем презрении к обслуживающему персоналу, да, по сути, ко всем, кто занимал более низкое положение относительно президентского престола. Было известно, что с жалобами бесполезно обращаться на имя Горбачева, зато любая просьба, направленная на имя Раисы Максимовны, будет исполнена.

«Совки», как сами себя называли советские граждане, не могли не видеть, что Раиса Максимовна по сути осталась в своей первой профессии — она окончила философский факультет Московского университета, готовивший преподавателей марксизма-ленинизма. Горбачева-Титаренко не только выступала несколько лет в этой роли, но и написала соответствующую диссертацию: об экономических и идеологических преимуществах колхозного строя на примере Ставропольского края. Раиса Максимовна представляла ненавистный для всего студенчества и коллег тип преподавателя-соглядатая.

* * *

Эта делегация посетила нас неожиданно — профессор Леонард Берецки, директор Национального художественного музея Венгрии в окружении своих заместителей и представителей венгерского министерства культуры. Они хотели приобрести картины «Новой реальности» для музеев Венгрии. Именно многих музеев. Профессор имел в виду заменить представленный в них раздел советской живописи подлинным русским искусством, по его собственному выражению. Работы Белютина, как и произведения художников Студии, на слайдах, которыми располагали Кассу и Дориваль, произвели на него очень сильное впечатление.

В результате просмотра министерство культуры Венгрии приобрело сто двадцать картин.

«Если бы мы знали, что у русского искусства такое лицо! — Профессор забывает о сдержанности. — Сознаюсь, никогда не терпел социалистического реализма. Реализм в нынешних условиях означает приземленность, способ удерживать людей на уровне бытового восприятия. Короче — поп-культура, которая устраивает любое правительство при любом строе. Это же идеальный вариант — человек, поглощенный отправлением физиологических процессов и во всех проявлениях своего „Я“ зависящий только от них.

Но „социалистический“ — это уже и вовсе трагическое дополнение. В мире, кипящем от несостоявшихся жизней, несчастий, разочарований, делать только то, в чем нуждается очередной деспот. Фальсифицировать то единственное, что может приносить людям разрядку, облегчение, возможность сохранять человеческое существо, — искусство!

Из Советского Союза прибывали когорты таких деятелей. У нас их не терпели. А в музеях — что ж, вынуждены были держать. Политика! Но, слава богу, теперь конец! Может быть, навсегда». И общий хор: «Ждем вас как гостей нашего правительства. Вместе с художниками „Новой реальности“».

Представители Третьяковской галереи появятся позже. Директор — скульптор Королев, заведующий отделом советского искусства — Станислав Иваницкий. Первый раз за долгие годы существования «Острова свободы». «Это было чревато, знаете ли…»

Знаем. Как в нашей юности посещение отвергнутых мастеров 1920-х годов. Свою политическую невинность искусствоведы умели блюсти. Идя по аллее абрамцевского сада, мимо расставленной на полянах и под деревьями живописи, Королев будет повторять: «Не может быть! Слышал. Предполагал. Но чтобы такая живопись и столько превосходных работ!»

В ноябре 1988 года приехавший в Абрамцево полный состав ученого совета Третьяковской галереи во главе с тем же директором отберет для галереи 86 полотен.

Будет идти снег с дождем. Прохватывать до костей промозглый осенний ветер. Хрустеть под ногами прихваченная морозом кленовая листва. Петь самовар на краю огромного стола в столовой. И в какую-то минуту Королев скажет: «А может, и стоило провести здесь столько лет, чтобы создать такую живопись? Наверное, стоило».

Месяцем позже большая партия картин уйдет на выставку в Лондон. Вступительная статья к каталогу произнесет свой приговор:

«Элий Белютин является прямым потомком русских

авангардистов 1920-х годов. Они передали своему ученику любовь к свободе, свое бесстрашие, оригинальность и динамизм.

Белютину пришлось претерпеть чрезвычайно тяжелые годы, когда любое экспериментаторство и новшество в искусстве полностью подавлялись, что стало неизменной традицией современного русского искусства. Его картины являются монументальным воплощением его идей и его мужества.

Советская Россия в определенной мере отрезана от Запада, и многие официальные художники своим творчеством свидетельствуют о подобной изоляции наивностью интерпретации развития и направления искусства в Европе. Работы же Белютина, наоборот, показывают, как последние достижения в области искусства могут быть абсорбированы и оценены высоко критическим интеллектом».

Критик «Арт ревю» добавит: «В среде Абрамцева напрасно было бы искать клаустрофобии, казалось бы, неизбежной при работе в искусственно созданном правительством гетто, в которое старались превратить колонию художников. Она насыщена поисками и находками. Освежающий, жизнеутверждающий, выразительный и вместе с тем вселяющий надежду выбор абрамцевских работ находится в разительном, кричащем противоречии со всеми догматическими школами, тенденциями и направлениями Москвы, на что обращает особое внимание критик Илона Медведева. Но Илона Медведева утверждает и другое: „У московских художников по-прежнему остается немало препятствий и трудностей“».

Положим, для Белютина была невозможна поездка в Лондон. Но и когда Министерство культуры СССР само организовало выставку «Новой реальности» в Варшаве, а польские друзья присоединили к ней персональную выставку художника из работ, хранящихся в польских частных собраниях, положение не изменилось. Представителем Белютина на открытие обеих выставок был направлен заведующий отделом советского искусства Третьяковской галереи Станислав Иваницкий. Александру Войцеховскому оставалось написать в предисловии к каталогу:

«Продолжающиеся почти тридцать лет мои контакты с Элигиушем Белютиным типичны для связей польского критика, борющегося за независимость современного искусства в собственной стране, с российским живописцем-диссидентом, которому отвечают эти идеалы.

Необычность нашей дружбы основывалась на том, что, контактируя с Элигиушем с 1961 года, мы ни разу не встретились лично, поскольку он не получал разрешения на приезд в Польшу».

И заключение: «Экспрессия цвета и динамика формы, монументальная трактовка полотен, удивительно благородные в своей простоте графические наброски и темперы — все это образует в сумме творчество единое, находящееся в самом глубинном течении современного мирового искусства и одновременно продолжающее традиции классического русского авангарда».

Маховое колесо начинало набирать обороты. После Варшавы — Калининградская (Кенигсберг) художественная галерея. Первый хроникальный кинофильм. Публикации в журналах о том, что же на самом деле происходило в Манеже и после него. Первый полнометражный телефильм, снятый политическим комментатором московского телевидения Николаем Баранским. Название телефильма: «Заговор молчания». Самым трудным окажется передать его в эфир. До показа Баранского будут убеждать на всех уровнях отказаться от подобной идеи. Больше всех будет волноваться президент Академии художеств Бисти. Инакомыслие продолжало оставаться преступлением.

* * *

Дом был серый и огромный. Когда-то владелица фирмы москательных товаров приобрела этот участок земли на Старом Арбате, чтобы извлечь из него как можно больше доходов. Частная женская гимназия. Редакции. Лечебница. Роскошные частные квартиры. И еще более роскошные магазины на первом этаже. Фигуры закованных в средневековые доспехи рыцарей по углам. Подъезды, напоминающие холлы министерств или банков. Дом Филатовых был единственным в своем роде. Теперь его занимало Министерство культуры Советского Союза. По выложенным малиновыми коврами коридорам неслышно скользили тени чиновников. За двойными дверями — просторные комнаты секретарей — преддверие начальственных кабинетов с огромными письменными столами, модными креслами, журнальными столиками и непременной чашечкой кофе для избранных.

Начальник Управления изобразительных искусств Генрих Попов был почти любезен: поступил приказ о проведении выставки «Новой реальности», и не где-нибудь, а в том самом Манеже, положившем начало изгнанию многих сотен художников. Для душевной сатисфакции оставалось только всячески препятствовать его реализации.

Маленький, словно высохший, человек с темной кожей не

скрывал неприязни к собеседнице. Сподручнее унижать художников, а женщину, да еще журналистку… Попов начал с вопросов. «Сколько вы сможете собрать работ?» — «Больше, чем вмещает Манеж». — «Сколько участников вы имеете в виду?» — «Больше четырехсот». — «А работ?» — «Около полутора тысяч». — «Это нереально! Должно быть значительно меньше». — «Можно ввести дополнительные щиты». — «Не так просто». — «Конечно, но Андо Кескюлла их уже наметил».

Лучший экспозиционер Советского Союза, эстонский живописец Андо Кескюлла был неизменным сторонником «Новой реальности». «Вы что, с ним говорили?» — «Конечно. Раз есть приказ и ассигнования». — «Но, к вашему сведению, председатель Союза советских художников — сам Андрей Васнецов с подобной выставкой не согласен. Вы должны найти с ним компромиссное решение. Он хочет (вместе со своими товарищами) поделить экспозиционную площадь с „Новой реальностью“».

Через минуту я открывала дверь приемной министра: помощник министра скрылся в кабинете шефа. Я не успела сесть: «У вас нет оснований волноваться: все будет выполнено согласно приказу».

В продолжении разговора с Генрихом Поповым действительно не было нужды. Он сделал все, чтобы сорвать сроки. В марте 1990-го, как было намечено, выставка не состоялась. Теперь речь шла о второй половине года. Следующий мой визит — на Старую площадь. Помощник Михаила Горбачева по культуре Виталий Гусенков: «Спасибо, что пришли». Несколько телефонных звонков: «Больше осечек не будет».

NB

Из методической разработки «Историко-культурный аспект выставки „От Манежа до Манежа“ (Студия Элия Белютина)». Авторы — старшие научные сотрудники, искусствоведы Михаил Саблин, Юрий Малецкий, Евгения Горчакова, Алиса Качарова, Рахия Телеспаева, Ольга Шаповалова, Лилия Япеева, Вадим Горчаков.

«Впервые оглядывая от порога безбрежное пространство выставки (автор проекта А. Кескюлла) под названием „Новая реальность“, мы невольно ищем, на чем остановиться, в каком направлении идти? Справа, в полумраке, две стены: сварная, свинченная из листов, со ржавчиной стальная, железная, и другая — полупрозрачная, из промышленных стеклоблоков. Далее — неоновая надпись „Э. Белютин“.

Стены — как наглядные пособия. Не „гнилая: ткни

— развалится“, а как недавно еще казалось — на веки вечные, дабы сохранить нашего советского нового человека от зловредной бациллы свободы. Не все окриком и пыткою, но и ложью, и лестью, и подкупом. А что может один человек (и даже несколько) против чудовищной мощи государства? К стыду нашему призыв: „Не высовывайся“ для абсолютного большинства образованной публики оставался на протяжении десятилетий „руководством к действию“. Но были, кто „высовывались“.

А справа надпись „Хрущев и Манеж“, надпись (и картины, и фотографии), напоминающая о историческом событии 28-летней давности: посещении Хрущевым выставки в Манеже.

Советская цивилизация существует очень давно. На эти несчастные десятилетия столько пришлось всякого, что впору другим столетиям. Третий раз на наших глазах происходит то, что прежде называли НЭПом, „оттепелью“, а теперь зовут „перестройкой“. Коммунистический порядок после поры беспощадного и безмерного ужаса (террора) в борьбе за создание нового человека как бы добреет, расслабляется (ведь и в природе бывают приливы и отливы), меняет методы. В это время особое внимание партия уделяет не только солдату, пытальщику и палачу, но и „инженерам человеческих душ“ (в общем тем, кто, держась за свои чистоплюйские принципы, за свою „неповторимую личность“, более всего мешает созданию нового человека), всяческой, особенно творческой, интеллигенции. Художника пытаются сделать пешкой в политической игре.

У первой Манежной выставки есть предыстория, неотъемлемо связанная с главным героем нашего рассказа — Элием Белютиным. Как известно, „рожденные в годы глухие, пути не помнят своего“. Это с горечью могут повторить многие из нас, большинство. Путь назад, от советской школы к навсегда утраченному старому миру (т. е. всемирной культуре), тяжел и болезнен. Другое дело, когда семья является воплощением преемственности духовного поиска, единственным островком потонувшей цивилизации среди бушующего моря варварства. Такова была семья Белютина…

И все же первые, можно сказать, юношеские работы

Белютина поражают. Откуда это? Дикий, невероятный контраст к общему фону советского искусства тех лет. Как будто не существует культурной пропасти 1930-х годов, социалистического реализма и т. п. Белютин собой восстанавливает связь времен от Серебряного века русской культуры ко второй половине века, послевоенным десятилетиям. И все же это ни на кого не похоже. Вообще, эти экспрессивные, полуабстрактные картины довольно резко выпадают из русской художественной традиции. Они напоминают скорее картины немецких экспрессионистов начала века. Но ни о каких заимствованиях не может идти и речи. Это совпадение на уровне „стиля эпохи“.

Белютин не только блистательный живописец, но и прирожденный идеолог. Впрочем, это слово слишком мало выражает. Скорее Учитель, Наставник, Мастер, как в стародавние времена. Белютин не только сам противостоит тоталитарной культуре, он активно формирует вокруг себя альтернативную контркультуру, своеобразное искусство „сопротивления“. И тем самым, по молодости, вероятно неосознанно, готовит свое столкновение с могучим Молохом рабоче-крестьянского государства. Далее в жизни — творчество, педагогика, гонения неотделимы…

Только в наши дни опала была снята. Итог противостояния неутешителен для государства: искусство Студии явно пережило тоталитарную диктатуру. Белютинцам с завидной последовательностью удалось отстоять свою линию. Они не стали пешками в политической игре, не купили ценой свободы места в советском официальном искусстве, но они с одинаковой тщательностью избегали противоположной участи. Они никогда не подогревали интерес к своему искусству в свободном мире за счет политических заявлений, демонстраций, пресс-конференций и т. п. Свое изгнание из художественной жизни они переносили со спокойным достоинством. Нынешнее признание они заслужили.

Выставка произведений художников Студии Элия Белютина в декабре 1990-го — январе 1991 г. в Центральном выставочном зале несомненно является огромным событием в художественной жизни Москвы и России».

В 35-летнюю годовщину манежных событий газета

«Комсомольская правда» впервые дала точное определение тому, что происходило в декабре 1962-го: Хрущев столкнулся с «бунтом интеллигенции». В 1990-м выставку «От Манежа до Манежа» назвали «взрывом раскрепощения». В канву повседневной действительности, очень неустроенной, неопределенной, лишенной для каждого отдельного человека конкретной цели, черты нового вплетались почти незаметно. И все же по сравнению с коммунистическим режимом эта действительность обладала предпосылками для внутреннего раскрепощения. Но как показала жизнь, слишком многие от этого отшатывались, ставя выше всяких поисков и обретений проверенные временем привычки, представления, нормы общения с государством и властью.

И тем не менее время очередной раз доказало: ни за какой Берлинской стеной или «железным занавесом» нельзя быть изолированным от своих современников, нельзя иначе воспринимать мир, человечество и происходящие в них перемены. Мельчайшие слагаемые происходивших в Советском Союзе перемен на выставке развернулись огромной и цельной панорамой. Симфоническая и инструментальная музыка в исполнении молодых, новый музыкальный театр, театр пластической драмы, современная опера и современный балет составили культурную программу сорока пяти ежевечерних концертов на специально устроенной сцене, среди грандиозных живописных полотен.

Звучали произведения А. Шнитке, С. Губайдулиной, Е. Фирсовой, Е. Шутя, Ю. Каспарова, Д. Шостаковича, О. Мессиана, К. Дебюсси, С. Прокофьева, В. Мартынова, Ф. Пуленка, А. Копленда, Ч. Айвза, С. Франка, П. Хиндемита. Концертные программы не повторялись — у блестящих консерваторских исполнителей накопилось слишком много невостребованных работ.

В создании выставки наряду с Министерством культуры участвовали Советский фонд культуры, Комитет защиты мира, Международная ассоциация творческой интеллигенции «Мир культуры» (но не Союз художников!).

NB

Из выступления на открытии выставки президента «Мира культуры» писателя Николая Самвеляна.

«Уму непостижимо — в это трудно поверить, — но ведь именно Максим Горький решился произнести буквально следующее: „Деревенский житель — особь, по преимуществу зоологическая… народа — нет, есть только классы…“ Вы, Элий Михайлович, эти слова,

конечно, помните. Много бед такое мышление принесло всем нам. И удивительные, непостижимые дела творились в самой середине столетней Русской революции, начавшейся в 1855 году (после поражения Российской империи в Крымской войне) и закончившейся, наверное, в начале 60-х годов нашего столетия, а может быть, продолжающейся и по сей день. Наконец, как же забыть, что мы — единственный в истории случай, когда не столько народ, в ходе естественного развития своего, сформировал государство, а, напротив, государство почти тысячу лет пыталось сформировать нужный его идее народ. И совершенно естественно, что Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Даргомыжский, Мусоргский, Чехов, Кандинский, Набоков, Платонов, Бунин, Булгаков, Солженицын, Белютин — это ведь извечная русская альтернатива. Чему? Наверное, все тому же государству, которое от времен давних так усердно пытается отлить по форме „нужный“ ему народ.

Можно не сомневаться в том, что возникнет своеобразная антология русской альтернативной художественной мысли. И одним из самых блестящих томов, будем думать, станет том, посвященный Элию Белютину. Еще раз поздравляем и гордимся Вами, Элий Михайлович!»

В дальнейшей судьбе выставки наметились два варианта. Первый, широко разглашенный телевидением, — предложение американских дилеров о приобретении всей экспозиции и, как условие, вместе с содержимым абрамцевских запасников. То есть, по словам Пола Картера, «переселение» «Новой реальности» в Соединенные Штаты. Профессор был поражен и тем, что движение продолжало существовать после манежного погрома и что получило такое развитие. «Самое большое чудо, — сказал он Белютину, — что я смог снова увидеть тебя! Вас надо показать во всех университетских центрах Америки. Мы готовимся к этому».

Другой вариант — сохранение выставки как музея современной живописи. В этом случае участники экспозиции готовы были подарить свои работы государству.

Но, как всегда, в судьбу культуры вмешалась политика. На смену еще не пережитым событиям в Карабахе, резко подорвавшим доверие к президенту (телевидение наглядно продемонстрировало его действительное отношение к интеллигенции, возвращение к методу силы, окрика и полнейшее

пренебрежение к общественному мнению), приходят кровавые события в Вильнюсе. Назревавшая трагедия супердержавы усиленно провоцировалась ее собственным президентом. И это при том, что Горбачев, по словам близкого к нему Виктора Болдина, понимал, что лишается популярности, и постоянно думал о ее восстановлении. «Борьба за спасение страны давно перешла в борьбу за выживание и популярность Горбачева», — констатировал автор книги «Крушение пьедестала».

11 января 1991 года отряд десантников захватил здание Департамента охраны края Литовской республики. Другое подразделение захватывает Дом печати. Сотрудников расположенных в нем редакций с поднятыми руками заставили покинуть помещения. В городе началась стрельба. В. Ландсбергис звонил по правительственной связи Михаилу Горбачеву, чтобы остановить кровопролитие в Литве, но президент отказался подойти к телефону.

12 января военные взяли под свой контроль телефонный узел Вильнюса. В Кремле под председательством Горбачева прошло заседание Совета Федерации, на котором президент заявил, что необходимо действовать исключительно политическими методами на основе Конституции.

13 января Вильнюсский телецентр был окружен десятью танками. Начался штурм. Передачи литовского телевидения были прерваны. Последние кадры из телестудии запечатлели, как десантники ворвались в помещение. Передачи литовского радио тоже были прерваны. Войска захватили телеграф.

14 января, отвечая на вопросы депутатов в Верховном Совете СССР, министр внутренних дел Б. Пуго сообщил, что взятие под охрану имущества КПСС в Вильнюсе было осуществлено в связи с соответствующим постановлением Совета Министров СССР.

NB

1991 год. 16 января. Из открытого письма деятелей культуры:

«Все мы хотели дожить до нормальной человеческой жизни. Уверенности не было ни у кого, но, по крайней мере, были надежды. Они рухнули. Теперь мы видим: перестройка, начатая в Москве в апреле восемьдесят пятого, расстреляна в Вильнюсе в ночь на 13 января. Все это время мы поддерживали президента, порой закрывая глаза на непоследовательность его политики. Мы надеялись, что он станет опорой демократии, что он сохранит верность президентской клятве. Однако преступление в Вильнюсе не получило осуждения со

стороны президента и Верховного Совета СССР. После этого больше обманывать себя невозможно. Переворот уже начался. Если он увенчается успехом, нас снова ждут лагеря, репрессии, страх, голод, разруха. Но не только это — наша страна опять отгородится от человечества железным занавесом и станет ядерным пугалом для всего мира… Мы призываем объединяться в широкое демократическое движение, способное противостоять надвигающейся диктатуре. А в качестве первого шага мы призываем добиваться немедленного вывода карательных войск из Прибалтики!»

В конце января Манеж посетили Александр Яковлев и Вадим Бакатин. Их знакомство с экспозицией продолжалось почти полтора часа. Они разговаривали с Белютиным о культуре, о ее отношении с политикой, возможностях воздействия на зрителя. «У вас здесь настоящее государство свободы: очень красиво и как-то особенно легко дышится». Белютин сказал о предложении американских дилеров приобрести выставку целиком, вместе с запасниками Абрамцева, за 200 миллионов долларов.

«А что бы вы лично хотели?» — «Идеальный вариант: сохранить целиком как музей современной живописи». — «А стоимость закупки?» — «Художники готовы подарить свои работы. Все-таки их четыреста человек». Минутное молчание. «Вы правы. Правда, вы плохо себе представляете нынешнее положение в государстве. Но на предложение Америки соглашаться нельзя — это же национальное достояние».

Что значило их мнение? В каком качестве они выступали? Избрание президента произошло годом раньше. Одновременно был сформирован президентский совет во главе с Александром Яковлевым. Но от совета Горбачев поспешил избавиться, и в середине лета 1990 года Яковлев ушел в отставку. Тем не менее он оставался в центре внимания настороженно наблюдающих за происходящим москвичей — никто не забыл, что мнение избирателей по поводу сохранения Советского Союза было просто проигнорировано, хотя результаты референдума были совершенно однозначны: Советский Союз должен существовать.

Ходили слухи о дружбе Александра Яковлева и Вадима Бакатина, о том, что в конце лета они проводили вместе за городом выходные дни. Горбачев ведет переговоры с Ельциным и Назарбаевым и якобы подготавливает снятие министра госбезопасности Крючкова. Его место действительно займет Бакатин.

Однако во всех областях — в жизни, экономике, культуре —

царила сумятица, свидетельствовавшая об ослаблении роли президента. Выставка «Новой реальности» была единственной, которую Министерство культуры собиралось отправлять в Соединенные Штаты в 1991 году в рамках государственной программы. Казалось, не было оснований проверять ход подготовки. Но когда в Манеж приехал представитель таможни, чтобы осмотреть и опломбировать приготовленный к отправке груз, выяснилось, что его даже не начали упаковывать. Картины стояли в штабелях, в то время как американские партнеры уже готовы были их принимать в аэропорту Кеннеди. Ответственность за выставку Генрих Попов передоверил некоему дельцу из общественной организации. Под предлогом, что у министерства не оказалось средств.

Выставка все же ушла. А за верную и безотказную службу Генриха Попова в 1998 году назначили заведующим отделом культуры в аппарате Государственной Думы, его помощник Андрей Аникеев возглавил такой же отдел в аппарате Совета Федерации. Главное условие всех реформ и «перестроек» — неизменность проверенных советским режимом кадров — будет соблюдено. В то, что эти люди способны полностью измениться, как и в то, что их хозяева могут обрести иные цели, чем захват власти, верили только иностранные журналисты и так называемые теоретики в области советского искусства. Может быть, просто не разбирались в происходящем. Может, разбирались слишком хорошо.

Следующей полосой препятствий стало оформление выезда Белютина и двух его учеников, которых должен был сопровождать заместитель Генриха Попова. Все они пересекали советскую границу впервые. Бюрократические формальности были затянуты настолько, чтобы художники не смогли попасть на вернисаж: самолет приземлился в Нью-Йорке после открытия выставки.

Но американская сторона сделала все, что возможно и почти невозможно. Машина у трапа в аэропорту Кеннеди. Обращение старшей стюардессы к пассажирам с просьбой задержаться на своих местах, чтобы пропустить беспрепятственно художников. Частный самолет. И посадка на поляне у музея среди дожидавшейся героев дня толпы. Встреча состоялась! Студенты. Преподаватели. Художники из соседнего Вудстока, исторического центра американских живописцев (знаменитые фестивали рок-музыки появятся в Вудстоке позднее). Критики из Нью-Йорка.

NB

Лиам Нельсон. Из буклета Ассоциации художников Вудстока.

«„Они в Нью-Йорке! Они продолжают жить!“ Это вызвавшее всеобщий энтузиазм телефонное сообщение предварило так долго ожидаемое прибытие русского художника Элия Белютина и членов его до настоящего времени находившегося под запретом творческого объединения — школы „Новая реальность“. После десятидневного опоздания, бесконечных тревог и нервного напряжения их произведения в конце концов прибыли…

Продолжать работать вне закона в течение 29 лет, преподавать и вести за собой сотни учеников, вдохновляя их на самовыражение в искусстве, не подчиняясь контролю государства, — все это является беспрецедентным достижением. Большинство западных художников далеки от такого жизненного опыта, но в то же время подобная позиция глубоко апеллирует к западным идеалам свободы и самовыражения личности.

Возможно, благодаря тому, что они создавались в изоляции от западных и других форм искусства, работы Белютина обладают полной оригинальностью, интенсивностью и своим уникальным наследством.

Мы бы хотели, чтобы выставка совершила путешествие от океана до океана. Судя по истории самого художника и его последователей, стиля их работ, это вполне осуществимо».

«Вудсток артист ассоциэйшен монитор». 30 апреля 1991 года.

«Белютину действительно принадлежит прочное место в истории мирового искусства. Он великолепный теоретик, он мастер живописи и очень мужественный человек, являющийся вдохновителем своих учеников и мучеником в глазах друзей.

Чрезвычайно важно, что Ассоциация художников Вудстока оказалась среди тех, у кого существует возможность показать этого важного для истории живописи художника. Несмотря на то, что в уставе Ассоциации записано, что она помогает только художникам, являющимся членами Ассоциации или нашего национального государственного общества, событие, равное этому, нельзя переоценить и поместить в какие-либо стандартные рамки».

Джон Рид. «Привет, Элий! Массовая премьера

советских художников-бунтовщиков». «Вудсток таймс». 25 марта 1991 года.

«Он говорит о себе как художник и педагог больше, чем сама жизнь. Искусство, которому он учит, восстанавливает талант преодолевать жизненные неустройства. Оно упорядочивает какофонию жизни. Оно ведет к гармонии. Это то, что противостоит нашему сегодняшнему дню. Искусство способно компенсировать даже неудачи личной жизни человека. Не правда ли, многовато? А может быть, в этом заключено дуновение следующей эпохи?»

* * *

Невразумительные слова радиокоммюнике о каком-то перевороте. Необходимость. Срочность. Войска. Танки. Первые телефонные звонки: «Вы понимаете в чем дело?» Конечно, нет.

На московских улицах обычное солнечное утро. Солнце. Безоблачное небо. Торопливые пешеходы. Женщины с сумками у магазинов. Шелест автомобилей. У Белорусского вокзала бесконечные прилавки с цветами. На асфальте горки моркови, пучки лука — обычная торговля второпях, пока не появилась милиция.

Покупаем огромный букет и разворачиваемся на Ленинградское шоссе. Через час самолет из Нью-Йорка. Уверенность: уж он-то ни опоздать, ни задержаться не может.

На шоссе, чем дальше от центра, тем меньше машин. Поворот на Шереметьево — первые бэтээры. Вдали целая колонна. У аэропорта милиционер: «Вы куда?» — «Встречать». — «Может, вам и удастся, а уж дальше…» — «Что дальше?» — «А кто его знает. Похоже, будем закрывать». — «Что?» — «Аэропорт, конечно».

В зале ожидания пустота. На табло нет отлетающих самолетов. Черное поле — и первый раз как укол: неужели конец? Ведь все так просто. И так зыбко. Не видно таможенников. Нет милиции. Одинокие, мелькающие за служебными дверями фигуры служащих. Справочная закрыта, и все киоски тоже. Кроме нас, еще десяток человек: «Может, тридцатый рейс все-таки придет?»

У дверей аэропорта военные: вход закрыт. И неожиданное объявление по радио: «Совершил посадку…»

Первые слова прилетевших: «Нас мало. Почти половина осталась в Шенноне. Виталий Коротич тоже. Там сказали: путч, кто хочет получить право на проживание в Штатах, могут

остаться. Решали минуты. Коротич не колебался…»

Около Белютина толпа студийцев. Цветы. Смех. Шутки. Кортеж из нескольких машин. Охранники у дверей: «Счастливо вам доехать. Билеты на самолет не выбрасывайте. В случае чего…»

На Ленинградском шоссе прямо за нашими машинами стоявшие на обочинах танки разворачиваются поперек дороги. Гарь и дым выхлопных газов. Закрытые люки. Все начинают вспоминать. Да, поговаривали, что Горбачев хотел ввести чрезвычайное положение, но не решился. Известно, что к нему в Форос, куда он уехал отдыхать, ездили Болдин, Варенников, Шеин. Сразу по возвращении объявили чрезвычайное положение!

Что президент? Так его же идея. Болдин в своих воспоминаниях напишет: в Крыму спрашивали Горбачева. Тот, как всегда, не возражал и не давал согласия. Решили взять ответственность на себя. Не «подставлять» первого президента. Он сам будет рассказывать о своем аресте, перипетиях в Форосе. В спектакле освобождения президента приняли участие Язов, Крючков, Лукьянов, Бакланов.

Вызвать сочувствие? Вернуть популярность (если она вообще когда-нибудь была)? Болдин скажет: «Генсек, его домочадцы несколько переиграли роли. Много неестественного было в его словах, в фантастических рассказах всех членов семьи…» Кумир Запада безнадежно проигрывал по очкам.

Иногда казалось, он бежит. Отчаянно бежит за тронувшимся поездом. В какой-то момент хватается за поручни последнего вагона. Подтягивается до ступеньки. Ноги срываются. И он снова бежит, бежит… Такой последней ступенькой, по-видимому, стало и назначение руководителем госбезопасности Вадима Бакатина. Прежде всего, чтобы по мере возможности обезвредить слишком опасный и независимый от правительства аппарат.

NB

В 1997 году начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России генерал-лейтенант Яков Погоний даст интервью газете Союза предпринимателей «Век» (председатель Союза — бывший помощник Юрия Андропова, а затем Константина Черненко Аркадий Вольский). Речь будет идти о доступности архивов Лубянки.

«— Яков Федорович, кто может зайти в самое секретное место Лубянки?

— Доступ туда имеют только сотрудники Центрального архива ФСБ. Это незыблемый принцип

нашей работы… Ни представители других государственных органов, ни даже офицеры оперативных подразделений ФСБ сами войти в помещение архива не имеют права.

— Но, вероятно, представителя аппарата президента пустите куда и когда ему понадобится?

— Порядок один для всех: получить архивную информацию можно только через письменный запрос. А поиск и подбор документов относятся к компетенции исключительно нашей службы.

— Однако в средствах массовой информации нередко появляются сообщения типа „мне удалось откопать в архивах Лубянки…“

— Писать-то пишут, но в архивах Лубянки сам никто не „копается“, да и войти в него просто так невозможно.

— И тем не менее представим нестандартную ситуацию. Предположим, в России начались политические события, переросшие в путч. Группа вооруженных экстремистов врывается в здание Лубянки и пытается проникнуть в помещение архива.

— Мы сами решим, как поступать с архивом.

— Неужели взорвете?

— Надо будет — взорвем. Хотя у нас существует множество других секретных и более эффективных способов уберечь от политических экстремистов тайны Лубянки».

(Отсюда естественный вывод: никакая доброжелательница и помощница Солженицына работать над материалами о ГУЛАГе не могла. Также и сам писатель. Если не работал в соответствующей системе.)

Страна рассыпалась легко и бесшумно. Как карточный домик. Никто не говорил о ее будущей судьбе. Никто не испытывал никакой эйфории, наоборот — глубочайшую апатию. Многие понимали, что подковерные игры Кремля чреваты прежде всего экономическими бедствиями. Но в России экономические катаклизмы никогда и никого не побуждали к действию — их было много, и русское «авось» позволяло теплиться надежде, что и на этот раз надвигающуюся катастрофу удастся пережить.

А главное — так называемая свобода, обеспечиваемая правлением Горбачева, не была настоящей свободой. Сразу стало понятно, что государственные богатства разойдутся по рукам тех, кто еще вчера (а может быть, и сегодня) осуществлял идеологический досмотр. Заведующие отделами Центрального

Комитета комсомола, ответственные аппаратчики Старой площади стали непонятным образом получать огромные и, как оказалось впоследствии, невозвратные кредиты под самые фантастические программы, которые никто не умел или просто не собирался осуществлять. Самой удобной и поощряемой областью становилась культура. Галереи, выставки, фонды, институты по изучению самых замысловатых и никому не нужных предметов поглощали колоссальные средства, не давая никакой отдачи, кроме внешней видимости культурного расцвета — очередной вариант потемкинских деревень.

Предложений включиться в закрутившийся калейдоскоп было множество, и прежде всего начать торговать картинами. Тридцатилетнее служение идее оставалось непонятым ни дельцами от искусства (их обнаружилось множество в советских культурных структурах), ни государственными органами. Впрочем, какого государства? 21 декабря, в день рождения Сталина, перестал существовать в результате подписанного в Беловежской Пуще соглашения Советский Союз. Восторги тех, кто перехватывал власть, оттяпывал кусок огромного пирога, не разделялись народом. Основная черта русской ментальности — недоверие ко всему, что исходит от властей, и убежденность, что каждая перемена имеет в виду ухудшение положения отдельного человека.

Бывшая еще недавно предметом яростных споров выставка «Новой реальности» оказалась брошенной в Соединенных Штатах на произвол судьбы. Министерство культуры Советского Союза перестало существовать, Министерство культуры Российской Федерации не располагало средствами для ее возвращения на родину. Дальнейшая судьба экспозиции зависела от решения американской стороны. В январе — марте 1992 года ей предоставили Роз-музей в Бостоне.

NB

Нэнси Степен «Русский мастер возвращается из небытия». 1992 год.

«Белютин едва мог поверить своим глазам, когда недавно осматривал свои произведения и работы своих учеников, экспонировавшиеся в Роз-музее, — пишет в „Бостон глобе“ Барбара Блюменталь. — „Это великий праздник, — сказал Русский. — Я никогда этого не ожидал“.

Изгнанный из поддерживаемого правительством Советского Союза официального Союза советских художников, лишенный права выставляться и

преподавать, преданный анафеме самим Никитой Хрущевым, этот маститый русский художник 30 лет работал и учил подпольно, вопреки всем запретам. Теперь запрещенная и созданная в таких условиях живопись открыто выставлена в Бриндизи.

Чтобы выжить, большинство художников отреклись от своих прогрессивных взглядов и обратились к соцреализму, этому единственному художественному методу, проводившему в жизнь идеалы коммунистической партии. Но для тонкого и вдохновенного Белютина это не представлялось возможным.

Вопреки существующему всеобщему энтузиазму Белютин очень осторожно высказывается о будущем России при президенте Борисе Ельцине и выражает глубокую национальную привязанность к стране.

„Опасность еще не миновала. Эта выставка стала возможна благодаря Горбачеву и его правлению. Его правление отличается от правления Ельцина. Сейчас у нас начинает давать о себе знать национализм и прорусское движение. Все это свидетельствует об узости мышления. Пусть подобный процесс проходит очень медленно, но он существует и свидетельствует об упадке“.

В течение долгого времени представлялось, что русский мастер живописец Элий Белютин не приедет в Бостон для участия в выставке, организуемой университетом в Бриндизи. Участвуя в диссидентском движении с 1948-го, Белютин привык ко всякого рода эксцессам Империи зла.

„Нынешняя жизнь очень трудна и жестока. Подобный ее прессинг испытывают на себе буквально все, — говорит мастер. — Мы в России испытываем особенно сильное давление правительства, КГБ, экономики. Наша жизнь мрачна и официальна. Наша же цель в искусстве — помочь людям внутренне расслабиться, вернуться к нормальному существованию. Если наш избирательный язык точно выражает всеобщие эмоции — радость, отчаяние, страх, гнев, — мы вызываем на контакт зрителя, рождаем в его душе внутренний отклик и тем самым помогаем ему вступить в тот мир, который и называем „Новой реальностью“. Это не имеет отношения к политике, но исключительно к нашим внутренним процессам, собственно к

духовности“».

Мертвая зыбь — точнее трудно определить то, что происходило в стране. 1 сентября 1991 года Горбачев в интервью для Си-эн-эн сказал, что Союз должен быть сохранен. И почти сразу на внеочередном съезде народных депутатов от имени президента и руководителей союзных республик заявляется об их отказе от идеи федерации. Провозглашаются Нагорно-Карабахская республика, государственный суверенитет Крыма. Парламент Армении объявляет республику независимым демократическим государством. В Таджикистане вводится чрезвычайное положение. И все это за один месяц, который президент Российской Федерации проводит в отпуске.

В середине октября Ельцин признается, что прежде чем приступить к реформам, он решил «доразрушить центр». Постановлением Государственного Совета упраздняется Комитет госбезопасности. Прекращается деятельность расформированной Главной военной прокуратуры.

6 ноября Ельцин прекращает на территории России деятельность коммунистической партии. И вводит чрезвычайное положение в Чечено-Ингушской республике. Парламент не соглашается с этим указом. Сокращаются операции советского Внешторгбанка.

В декабре Украина объявляет о своей независимости. В Тбилиси идет война. Правительство Москвы заявляет о тяжелейшем продовольственном кризисе, который начнется через десять — пятнадцать дней. 24 декабря Советский Союз перестал быть членом Организации Объединенных Наций — его место заняла Российская Федерация. 26 декабря в Кремле верхняя палата союзного парламента объявила о прекращении существования Советского Союза. Горбачев подписал указ о сложении с себя полномочий Верховного главнокомандующего и передал право на применение ядерного оружия президенту России Ельцину.

И статистическая справка. За эти последние месяцы доверие к российскому руководству возросло у двенадцати процентов населения и уменьшилось — у тридцати четырех. С течением времени разочарование будет расти. Энтузиастами «независимости России» окажутся в большинстве те, кто только что отказался от партийных билетов.

Сведения СМИ ежедневно дополняются новостями, которые приносят «киношники», работающие над полнометражным кинофильмом «Элий Белютин и Абрамцевское братство». Студия «Центрнаучфильм» непосредственно связана с хроникальными

съемками. На начало 1992 года в России зарегистрировано шестьдесят тысяч безработных, но предполагается, что уже к октябрю их будет восемь миллионов. Предстоит сокращение армии на семьсот тысяч. В начале февраля правительство признает, что началась гиперинфляция. Уровень инфляции составляет один процент в день. Бастуют московские медики и перекрывают движение по Тверской улице учителя. В мае в пятнадцати городах начинается сбор подписей в поддержку референдума об отставке Ельцина. Провал — так оценивает в июне группа Явлинского экономические действия нового правительства.

В ночь с 22 на 23 июня у телекомплекса «Останкино» происходит столкновение бойцов ОМОНа с участниками митинга. Группа народных депутатов объявляет о недоверии Ельцину и его правительству.

* * *

Утром, когда с первыми, еще неуверенными трелями птиц распахиваются решетчатые ставни, за окнами встает серый клубящийся туман. Сосны. Пинии. Зеленый партер запущенного регулярного сада с позеленевшей мраморной чашей молчащего фонтана и фигурой морского чудовища. Морская галька чуть поскрипывает под ногами проходящего охранника. И огромные залы с расписанными стенами, лепниной, кессонированными потолками оживают. Вилла кардинала Карла Борромео. Святого Карла Борромео, властителя и покровителя этих земель вокруг Милана, где развернута грандиозная выставка работ Белютина — Элиджо Беллучи, как здесь его станут называть. Более двухсот полотен. Пятиметровой высоты фигуры из композиции «Скорбь». Графические листы.

На вернисаже сотни гостей. Повсюду расставлены кадки с цветущими деревьями. Необычайно острое и гармоничное сочетание интерьеров XVI века и современной живописи. Первый отклик миланской газеты «Ла Ноте»: «Элий Белютин приехал в Италию, на историческую родину своих предков. Его подлинное имя Беллучи. Его дед Паоло Стефано происходит из Беллуно и является представителем целой династии художников и музыкантов… Приехав в Италию, куда никогда не ступала его нога, он глубоко взволнован. Он сохранил с Италией внутреннюю связь, любовь к ней и сердечную признательность. И, видимо, в России, где он родился, он больше производит впечатление иностранца, окруженный недоверием и открытой враждой…

„Одно могу сказать с уверенностью, — говорит Белютин, — что за свою жизнь я приобрел безусловное отвращение к советской системе“.

Разрешения, теперь уже от Российской Федерации, на приезд Белютина в Италию добивалась Международная ассоциация творческой интеллигенции вместе с посольством в Москве. В программе его приезда — персональные выставки в 14 городах Северной Италии, Швейцарии, Франции и — в Беллуно, где он впервые окажется в День покровителя города святого Мартина, который отмечается с особой пышностью. На приезд Белютина откликаются все местные газеты.

Беллуно — „Крутификс 1970, городу Беллуно от его сына“. Такую надпись на итальянском языке сделал современный русский художник Элий Белютин, русский, но беллунезского происхождения. У него итальянский, а не славянский характер. Его дед Паоло Стефано, родившийся здесь беллунезский музыкант, во второй половине XIX века переехал в Краков, где стал руководителем оркестра. Его отец — Микеле был вовлечен в русскую революцию, переехал в Россию, где и был казнен в 1920-х годах. Сам Элий, живописец-авангардист, не имел возможности посетить его родной город. И, наконец, сегодня, выполняя семейное завещание, он здесь и делает подарки городу и епископату. Оказавшись в Италии, он приезжает на землю предков в первую очередь.

Коммуне он преподнес крутификс, епископату — две Мадонны и полиптих, представляющий Пьету. Это удивительное произведение представляет „символ моей веры“, выраженный через понимание смертных страданий Христа, оплакивание его людьми и через бесконечную нежность Богоматери. Это сын двух традиций — итальянской и русской, который делает внутренний выбор в пользу беллунезской части своего происхождения. И „его“ город его не забыл, тем более в День святого Мартина. И объятия Родины стали для него более дорогими, чем отношение Польши, а затем и России».

Вся местная пресса сообщала о торжественном приеме в честь Белютина во дворце Крепадона: «К огромной благодарности, выраженной мэром Беллуно Джанклаудио Брессой, присоединился епископ Маттео Дукале, также восхищенный внутренней свободой и пластической выразительностью произведений маэстро, его внутренней одухотворенностью, на которую обратил особенное внимание представлявший художника профессор Армандо Вердильоне, проанализировавший особенности его творческих качеств и место в истории искусства».

Зеленая чаша, окруженная снежными горами. Крутые,

поросшие лесами склоны. Узкие средневековые улочки, вымощенные камнями. Рядом с кампаниллой XV столетия непременная смотровая площадка с видом на ущелье. Здание консерватории. Здание театра. Конечно, оперного. Возвращающегося к прежней жизни, когда летом в нем гастролирует венецианская оперная труппа. Здание превосходного художественного музея. Тоже времен Возрождения, но со стеклянной крышей над глубоким внутренним двором.

Вилла, превращенная в гостиницу. В номерах холодно. Зато в столовой жарко — здесь вовсю пылает камин. Под сервированным столом хозяйский пес украдкой кладет морду на колени: почему бы по рыцарской традиции не спустить вниз кость? А в холле огромный пушистый кролик в специальной корзине. Невозможно удержаться, чтобы не предложить ему листья кресс-салата.

Перед домом, у стволов магнолий, маленькие сугробики тающего снега. Промерзшая трава на лужайке. Ослепительное солнце. Рождество в Беллуно.

До Венеции всего час езды на автомобиле по современной автостраде — скорости меньше 100–120 километров итальянские водители просто не признают. У причала батискаф с штандартом Венецианской республики. Водная дорога среди торчащих, облепленных водорослями бревен — вместо буев. Торжественное скольжение по Большому каналу. Дворец президента, расстеленная до воды красная дорожка. Прием у президента Венеции — составная часть «возвращения блудного сына». Отныне один из модулей Белютина будет украшать зал заседаний Совета Венеции. И признание у венецианских искусствоведов:

«Вместо того чтобы парализовать деятельность художника страхом и лишениями, жизненная ситуация подсказывает ему превратить свое творчество в противоядие жизни. Элий Белютин создает искусство как противовес всем жизненным трудностям. Только искусство, с точки зрения выдвинутой им теории, способно компенсировать человеческой личности все сложности и неудобства реальной жизни. Искусство Белютина, сохранившее свою независимость в условиях преследований, как ни одно другое, демонстрирует справедливость его утверждения. Эти разногласия личности с действительностью воплощаются в язык кода, общего для всего человечества. Таковы его модули. Именно поэтому крупнейший художник современной России Белютин в действительности представляет художника планетарной сущности и славы».

В аэропорту Венеции никаких терминалов. Вместо трапа допотопная шаткая железная лестница, не рассчитанная на

пассажира с объемным багажом. Самолет, больше напоминающий провинциальный автобус. Распахнутая дверь в кабину пилота. Кто-то закусывает, не обращая внимания на пассажиров, кто-то смеется. И вообще, разве это расстояние — до Милана!

Сердце Италии. И тоскливая мысль: а Польша? Дойдет ли до нее очередь?

NB

1993 год. В январе в России цены на основные продукты питания и товары народного потребления выросли на 200 %. Инфляция составила 126 %. Ежемесячный рост цен на 25 и более процентов происходил уже четыре месяца. По данным Госкомстата, в 1992-м впервые за послевоенные годы стала сокращаться численность населения.

22 апреля было распространено сообщение о государственном перевороте, который должен произойти в ночь с 25 на 26 апреля. Министерство госбезопасности заявило, что «рассматривает подобную провокацию как продолжение непрекращающихся попыток втянуть силовые структуры в политическое противостояние и усугубить тем самым существующий в России кризис власти».

1 мая. Во время демонстрации произошло столкновение демонстрантов с милицией. Результат — сотни раненых. 19 мая под председательством Ельцина и Черномырдина состоялось заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ. Расследование, по утверждению Черномырдина, подтвердило наличие плана «политической провокации. В акции против сил правопорядка участвовали заранее подготовленные боевики. К месту беспорядков на грузовиках доставлялись булыжники».

20 мая вышел указ президента о созыве Конституционного совещания в связи с завершением работы над проектом новой Конституции. Верховный Совет отказался принимать участие в работе Конституционного совещания. Лидеры Фронта национального спасения основали Комитет защиты Конституции.

Процесс по делу ГКЧП был возобновлен.

Указом президента Виктора Баранникова освободили от должности министра госбезопасности «за лично им допущенные нарушения этических норм, а также серьезные недостатки в работе».

* * *

Звук был похож на взрыв. Вслед за покачнувшим посуду на столе грохотом по потолку гостиной разбежалась сеть глубоких трещин. В воздухе повисла белесая известковая пыль.

Дверь в расположенную этажом выше квартиру удалось открыть. Стены между комнатами рухнули. Паркетный пол был сорван. В том месте, где висел у нас Леонардо да Винчи, зиял пропил. Последний из пяти полутораметровых отпиленных кусков балок рабочие просто не удержали и выронили. Пятеро здоровых парней в камуфляже смотрели на нас растерянно. Они просто не знали, что ответить на вопрос: зачем вскрыт наш потолок? И почти мгновенно исчезли — кто бы попытался их задержать!

Милиция не сомневалась, что это была попытка ограбления. Мы оказались в квартире в неурочное время: должны были находиться в Италии. Об изменившихся накануне отъезда обстоятельствах руководители «бригады» не успели узнать. Кем они были? Об обыкновенных грабителях говорить не приходилось. Бывшую коммунальную квартиру в считаные дни расселили, ее приобрела фирма «Сватстрой», занимавшаяся отделочными работами на правительственных объектах, в том числе в Белом доме. Владел ею бывший гражданин СССР, ныне гражданин Канады. И в тот же день от него последовало предложение — переправить всю коллекцию на Запад с последующей продажей из расчета половины стоимости за его посреднические услуги.

Отказ поверг бизнесмена в изумление: «Что же в таком случае вы собираетесь делать? Ведь все решено». Бизнесмен был прав: наши правозащитные органы не собирались вмешиваться в это дело. Прозрение, к сожалению, наступило позже: это была охота за нашей коллекцией.

Еще когда студия «Центрнаучфильм» вела в нашей квартире съемки второго фильма, на этот раз посвященного истории семьи Белютина и формированию семейного собрания, у нас появился председатель банка «Москва» Юрий Селищев, в недавнем

прошлом заместитель председателя одного из районных исполнительных комитетов Москвы.

Идея Юрия Селищева была проста: любым способом защитить нашу коллекцию ввиду неспокойной политической обстановки. Один из вариантов предполагал ее перенос в сейфы банка («Если пожелаете, можете туда приглашать для осмотра своих знакомых»). Другой — содействие английских бизнесменов в устройстве выставки на Западе и последующей продажи коллекции.

Хотя сделка была отвергнута, на следующий день после «вскрытия» Юрий Селищев появился со взрослым сыном и начальником охраны своего банка, бывшим офицером КГБ. Осмотр закончился «оптимистичным» выводом: «Вам нечего бояться — это же наши! С ними мы договоримся».

Единственная реальная помощь поступила от Александра Краснова, председателя райисполкома Краснопресненского района Москвы, в котором мы жили. Того самого Краснова, который в дни защиты Белого дома будет назначен мэром Москвы. По его приказу верхняя квартира была опечатана милицией. Для размещения коллекции и нашей личной безопасности он предложил здание так называемого Музея Красной Пресни, специально построенного для экспозиции.

По его же ходатайству Верховный Совет принял меры по защите и сохранению уникального собрания. Председатель Верховного Совета Хасбулатов отдал соответствующие распоряжения министру культуры и мэру Москвы Юрию Лужкову. Контроль за его выполнением был поручен председателю Комитета по культуре Верховного Совета, внуку известного русского живописца Василия Поленова — Федору Поленову.

NB

Из записок президента Б. Н. Ельцина.

«Начало сентября. Я принял решение. О нем не знает никто. Даже сотрудники из моего ближайшего окружения не догадываются, что принципиальный выбор мною сделан. Больше такого парламента у России не будет…

(3 октября 1993-го.) Я старался вывести из состояния стресса, паралича своих боевых генералов. Я видел, что армия, несмотря на все заверения министра обороны, по каким-то причинам не в состоянии немедленно включиться в защиту Москвы. А сил Министерства внутренних дел оказалось недостаточно для того, чтобы вести в столице боевые действия с вооруженными до

зубов боевиками.

…Итак, полтретьего ночи я имел следующую картину. Бой, который продолжал идти в „Останкине“, прямо в здании телецентра. Милиция, от которой требовали не ввязываться в столкновения и которая после первого же нападения ушла, оставив город на растерзание вооруженным бандитам. И армия, численность которой составляет два с половиной миллиона человек, но в которой не нашлось и тысячи бойцов, хотя бы одного полка, чтобы оказаться сейчас в Москве и выступить на защиту города.

(На заседании в Министерстве обороны.) Стали обсуждать вопрос о взятии Белого дома. Черномырдин спрашивает: „Так какие будут предложения?“ В ответ тяжелая, мрачная тишина.

Неожиданно для меня слова попросил начальник охраны Коржаков. Он сказал, что поскольку в августе 91-го ему и нескольким его сотрудникам пришлось вплотную заниматься обороной Белого дома, естественно, все варианты захвата здания рассматривались. Штурм мог начаться со стороны подземных коммуникаций, и с крыши, и т. д. Он попросил, чтобы дали слово его офицеру из Главного управления охраны, у которого есть конкретный план взятия Белого дома.

…Коржаков пригласил в зал седого военного, который представился капитаном первого ранга Захаровым. Захаров сказал, что предлагает сначала использовать танки, десять машин, которые должны будут подойти к Белому дому с двух сторон: пять расположатся у парка имени Павлика Морозова и еще пять со стороны Новоарбатского моста. Несколько выстрелов по верхним этажам подействуют на боевиков из Белого дома парализующе. Затем должны пойти десантные войска, которые создадут прикрытие для спецподразделений. И, наконец, последним ударом станет уже работа внутри Белого дома спецгрупп „Альфа“ и „Вымпел“.

…Черномырдин спросил: „Принципиальных возражений ни у кого нет? План принимается?“ Все одобрительно кивнули. Тут слова попросил Грачев. Он, медленно выговаривая слова, обратился ко мне: „Борис Николаевич, вы даете мне санкцию на применение в Москве танков?“

Я посмотрел на него молча. Он ответил таким же прямым взглядом, потом отвел глаза. Черномырдин не выдержал, сказал: „Павел Сергеевич, ну вы что, вам поручено командовать операцией, почему президент должен решать, какие именно вам для этого необходимы средства?“ Грачев проговорил что-то вроде того, что, конечно, он самостоятельно примет решение, но ему важно было уточнить…

Я встал, попросил дальнейшие детали обсудить без меня, а Грачеву сказал: „Я вам письменный приказ пришлю“. И поехал в Кремль.

…Да, я давил на них, не давая возможности засомневаться, не позволяя расслабиться, закрасться слабости, неуверенности… Я действовал жестко, напористо… Но было не до церемоний».

Залп раздался без четверти восемь утра. Элий очень тихо сказал: «Боевые…» В памяти ожили годы войны. Да, боевые…

Залп повторился. Еще раз. Еще… Из обращенного в сторону Белого дома окна стали видны всплывающие к небу серые облачка. 4 октября 1993 года.

Накануне телевидение показало, как бэтээр, раскрошив стеклянные двери, въехал в холл телецентра в Останкино: отдельные выстрелы в коридорах. Нагруженные сумками с продовольствием сотрудницы, перебегающие из одной двери в другую.

А на улицах были уже десятки расстрелянных, в том числе и карабкавшихся на деревья мальчишек. Борис Годунов навсегда останется в истории запятнанным кровью единственного ребенка, погибшего, кстати сказать, при так и невыясненных обстоятельствах. Это было на рубеже XVI–XVII веков, а теперь рубеж XX и XXI!

На Новом Арбате, единственной магистрали, ведущей от Кремля к Белому дому, пустота. Одинокие прохожие пытаются шмыгнуть в магазины. Но большинство магазинов закрыто или спешно закрывается: как бы грабить не начали. Изредка проносятся легковые машины. Нет ни войск, ни оцепления и на Садовом кольце. Впереди — мост через Москву-реку и ровно расставленные танки, обращенные жерлами к Белому дому. Закопченному черным пороховым дымом. С выбитыми стеклами верхних этажей. Видно, что стрельба ведется прицельно. Аккуратно корректируется: не попасть бы в стены — только в окна! Женщина везет детскую коляску по мосту, сзади танков, и приостанавливается, чтобы посмотреть на невиданное зрелище.

Просто не понимает: там люди! Не все ли равно — поддерживающие президента или выступающие против него. Еще недавно говорилось, что демократия — это право высказывать собственное мнение. Но орудия продолжают бить, и, значит, у людей этого права нет и в помине.

Здание Краснопресненского райсовета на Шмидтовском проезде недалеко от Белого дома. В коридорах мужчины с оружием. Растерянные. Отказывающиеся понимать происходящее. Один из них признается: «Это совсем не просто — начать стрелять в людей, в собственном городе. И ради чего?» Недоумение граничит с отчаянием. Неожиданно приходит известие: Лужков распорядился отключить водо- и энергоснабжение в Белом доме. Что же им теперь делать? Ведь там женщины, журналисты, даже дети… Все ради власти!

NB

Из записок президента Б. Н. Ельцина.

«Ну а как брали парламент, все знают. Вряд ли к этому можно что-то добавить. Программа Си-эн-эн вела репортаж о штурме Белого дома на весь мир, и повторять то, что все отлично помнят, видели своими глазами, не имеет смысла. Были танки, были выстрелы, были автоматные очереди, зеваки, пришедшие посмотреть на спектакль, в котором убивают не понарошку, а взаправду. Были убитые, много убитых. И горе было общее, без дележки на наших и ненаших. Все — наши… „Октябрьская революция“ 1993 года безуспешно завершилась. И помянем погибших…»

Скромные деревянные кресты около Белого дома. Среди травы почти незаметны свежие цветы, которые украдкой кладут к ним старающиеся остаться незамеченными люди. Не появилось памятника и на соседнем стадионе, где погибли десятки, сотни… Их даже не хоронили подобающим образом. Ходили слухи, что печи московских крематориев не справлялись с нагрузкой и в помощь к ним были подключены топки теплоэлектроцентрали. Правда ли это — ответит история.

Ничего удивительного, но в тот день, когда орудия били по парламенту, была впервые открыта разрушенная квартира над нами и в ней началась работа: стучали молотки, топоры, визжали пилы. Именно фирма, прорывавшаяся в нашу квартиру, получила заказ на обновление Белого дома, на уничтожение следов артиллерийского обстрела. И сделала это на редкость обстоятельно и быстро.

А 16 ноября 1993-го в квартире Белютиных появился мэр

Москвы в сопровождении главного архитектора города Леонида Вавакина и суетливой пожилой дамы-суфлера.

По предварительному соглашению визит должен был занять не больше сорока минут: «Сами понимаете, какая нагрузка у Юрия Михайловича!» А продлился три с половиной часа.

Во всем этом было что-то необычное. Лужков не понимал и не чувствовал живописи, но не только рассматривал каждую картину и выслушивал объяснения по поводу ее авторов, сверяясь с каталогом белютинской коллекции, выпущенным в Милане. Повторял громкие имена, которые, не уставая, приводил суфлер. Ходил из одной комнаты в другую. Прослушал лекцию о танагрских статуэтках, египетской и китайской погребальной пластике, флорентийской бронзе XVI столетия и античном мраморе. Но в его взгляде не было любознательности.

Скорее мэр был занят какими-то размышлениями. Он выдал себя единственный раз, сказав: «Нет, ничего здесь трогать нельзя. Все так и должно остаться. Вот такая вот атмосфера. После работы ее ощутить — хорошо!»

Он сказал, что позаботится и о безопасности коллекции, и о ремонте квартиры.

На следующий же день в мэрии была создана специальная комиссия по поводу белютинской коллекции в составе четырнадцати ответственных работников различных служб города, которой предписывалось найти решение в течение десяти дней. Комиссия заседала. Обсуждала. Но без владельцев коллекции.

На одиннадцатый день в доме появилась целая когорта ответственных чиновников: начальник Правового управления мэрии, начальник Управления культуры И. Б. Бугаев со своим первым заместителем А. И. Лазаревым. Они принесли проект соглашения Белютиных с мэрией города Москвы. Белютиным предлагалось написать завещание в пользу мэрии с тем, чтобы с момента его подписания мэрия вступала в права совладельца всего принадлежащего нам имущества. Передо мной лежит акт конфискации семейного собрания, которому насчитывалось уже 120 лет.

Для вящей убедительности одновременно у двери в квартиру был поставлен круглосуточный милицейский пост из двух милиционеров с автоматами Калашникова. Они остались и после того, как мы категорически отказались отдать коллекцию.

Напрасным оказалось вмешательство доброго десятка центральных газет, писавших о вопиющем беззаконии и даже публиковавших вид нашей двери с перегораживающим ее милиционером: широко расставленные ноги, руки на автомате,

лицо под каской.

Только через год удалось избавиться от милицейской охраны, апеллируя к нарушению прав человека. Все остальное оставалось неизменным и в 2001 году: разрушенная квартира над нашими комнатами, незаделанный пропил, невозможность ремонта. Впрочем, к этому прибавилась отселенная и пустующая квартира над нами и рядом с нами. «Мэрский вакуум», как горько шутят московские журналисты. Судьба бесценных полотен, условия их хранения не волновали никого.

Казалось, нормально жить и работать можно было где угодно, только не в России, где по-прежнему властвовали сталинско-брежневские критерии.

NB

Персональная выставка Белютина в Вероне.

Вера Менегуццо: «Разрушая фигуративную реальность, он ищет способ воссоздания ее вновь через свое „я“. Через свое ощущение лесных просторов, разлива рек, необъятности облаков, хлебных полей и всполохов пламени. Обретаемые им формы далеки от реальности внешне, но внутренне сохраняют всю полноту эмоциональных ощущений человека. Они, как толпа, охваченная внутренним порывом, переживаемая Белютиным и как бы мстящая ему тем взрывом цветовых ощущений, который вырывается на его полотнах. Как шампанское, эти впечатления возвращаются к зрителю определенными зрительными аналогами, натуралистическими аллюзиями, но уже заключенными в определенный код, в таинственное кодированное свое обозначение, которое именно заключенным в нем секретом так неудержимо привлекает наш глаз. Цвет у Белютина становится средством выражения драмы, сражения физического и духовного, захватывающего своей энергией, движением, неудержимым беспокойством. Благодаря подобному страстному видению художника, его картины кажутся написанными слезами и кровью. Так возникает из сплава чувств и сознания магма, рождающая его модули, сложность извивов которых абсолютно оправдана их внутренним смыслом. Страстно приникающие друг к другу, то удаляющиеся от нас, то возвращающиеся, они предельно точно выражают всю сложность человеческих переживаний».

Персональная выставка Белютина в Модене.

Винченцо Спаньоло: «По собственным словам Белютина, „сначала побуждение рождается во мне как огромная ностальгия о радости и безграничное отчаяние“. В своей творческой биографии он становится мотором развития подлинно оригинального русского искусства от шестидесятых к восьмидесятым годам».

Персональная выставка Белютина в Болонье.

«Живопись способна трансформироваться в действие мужества у художника, который принужден жить вопреки всеподавляющих современных условий и удушающей социальной среды, которая не в состоянии понять ни его нравственной позиции, ни творческой направленности. Все это демонстрирует сенсационная выставка живописи Элия Белютина. В нее входят тридцать с лишним произведений, созданных в период семидесятых-восьмидесятых годов, в сияющих красках, близких по внутренней раскрепощенности Пикассо и Матиссу, исполненных гнева против любого порабощения, где мастерская линия, широкая живописная манера, геометрические формы трансформируются в бурлящих эмоциональным напряжением композициях, которые удивительно, ошеломляюще полно представляют то, что мы всегда подразумевали под „русской душой“, охваченной страстями и всегда драматической».

Персональные выставки в Ферраре, Падуе, Венеции, во многих других городах и ни одного упоминания о них в «обновленной» России. Хрущев был прав, осмеяв тех, кто утверждал, что цензуры не существует: еще никогда она не была такой суровой. Пожалуй, только первая персональная выставка Белютина в Лозанне удостоилась короткой и маловразумительной заметки в «Независимой газете». Несмотря на взрыв интереса в швейцарской и французской прессе, несмотря на отзывы тамошних искусствоведов.

NB

Урсула Вольф (Артис. Журнал нового искусства, июнь, 1993):

«Представленные здесь произведения составляют часть тех 400 работ, которые можно было увидеть в 1992 году в Сенаго (Италия). Только формально можно было бы отнести Белютина к абстракционистам, по существу в

его произведениях всегда присутствует визуально узнаваемый элемент человеческой фигуры и форм. В точном соответствии с заявленными в его ранних работах принципами „Новой реальности“ развиваются в картинах его формы через Гармонию и Диссонанс, которые находят свое подлинное внутреннее объяснение только через поток происходящих политических событий. Через этого могучего художника эпоха Сталина и тирания, обращенная против человеческой сущности, находят куда более точное выражение, чем через любые слова и словесные разоблачения. Никогда не подчинялся он идеологической цензуре и не склонялся перед ее постулатами. Он всю жизнь действовал в своем регистре своих художнических устремлений и интересов, развивая совершенно специфическую символику, которая отдает безусловное первенство в человеке духовному началу».

Лоренс Кардуччи (Вуар, август, 1993):

«Оригинальное и совершенно независимое, искусство Белютина не позволяет заключить себя в формулы. Это прежде всего человеческая современность, и он поднимает ее главные проблемы, полностью игнорируя политическую шелуху. И он продолжает свое могучее творчество вопреки и наперекор всему, языком, складывающимся иногда из простых на первый взгляд элементов — модулей, из цветов могучих и контрастных, брошенных на активный фон. Его краски обладают способностью вибрировать, подчас двигаться. Они могут жить гладкими и концентрироваться в пятна. Эти модуляции объединяются, пересекаются и в конце концов заключают в себе тайну логики эмоций, но никогда не системы какой-либо обобщенной теории, какие обычно принято вымысливать».

Выставки в Бергамо, Мантуе, галерее Второго Ренессанса в Женеве, в Милане. Празднование в Модене 25-летия членства Белютина в Итальянской академии современного искусства. Международная научная сессия Ассоциации «Виртуальная реальность», посвященная целиком творчеству Белютина. Выставки в Канаде…

Предложенное Госдепартаментом Соединенных Штатов за особые заслуги в области культуры право на постоянное проживание — «гринкарта». Предложенное сеймом Литвы гражданство этого государства. И неизменное упорное молчание

России. Даже выставка «Новой реальности» в Польском культурном центре в Москве не изменила положения. Почему?

«СТРАХ. Животный. Нерассуждающий. Покрывающий липким потом лицо и тело. Сводящий судорогой пальцы рук. Застилающий серым туманом глаза. ПРОСТО СТРАХ. Неужели вы этого не понимали? Столько лет! Всегда рядом, — сказала старая художница Тамара Тер-Гевондян, сотрудница Мейерхольда, племянница книгоиздателя Саблина, в канун своего 90-летия. — Тогда художники не столько радовались, сколько боялись великолепной грандиозной выставки в Манеже. Старались не показываться на экспозиции. Не покупать лишнего каталога с собственными работами. Не приглашать знакомых. Как исчезнувшее счастье, им на каждом шагу вспоминалась мастерская в лесу. Работа среди своих…

Ну, да, да, ни с кем ничего не случилось после того, рокового, Манежа. После истерических воплей Хрущева. Но — кто мог забыть слова о лесоповале, зонах, перевоспитании? Не то время? Полноте, при чем здесь XX съезд?! Ни один из его материалов опубликован не был. Все „товарищи“ оставались на прежних местах. Именем „вождя и учителя“ по-прежнему клялись. В том числе сам Хрущев. Да и сколько лет отделяло Манеж от XX съезда? Всего шесть? И это при наших традициях!

ОНИ победили. Не прибегали к репрессиям, разве что лишали профессиональной работы, подвергали обработке на собраниях. В этом не было ничего незнакомого. Это еще можно было пережить. „Искусствоведы в штатском“ действовали иначе — предупреждали, напоминали, многозначительно недоговаривали, намекали: Белютин все равно обреченный человек, зачем же еще расплачиваться и вам? Подумайте о детях, родителях, простом человеческом спокойствии. И так из года в год.

Вот потому в направлении так много женщин. Вспомните, ученики, апостолы предали Учителя все и по нескольку раз. У подножия Голгофы остались одни женщины. Они пришли и на следующий день с миром. Они — не апостолы. У нас иные внутренние мотивы, иные способы самоутверждения. Женщине свойственно оставаться рядом с тем, кто страдает от несправедливости.

Почему так много людей продолжали заниматься этим искусством? Не скажу за всех, но некоторые бежали таким образом от страха. Холст и краски, работа рядом с единомышленниками освобождали от страха, позволяли внутренне разогнуться. Хоть на время.

Но хуже всего теперь, когда сам себе не можешь простить упущенных возможностей, неполноты жизни. Когда стыдишься

поступков собственных товарищей и своих мыслишек. Сколько и как можно было сделать!..»

2000 год. Девять лет постсоветского пространства. Рыночных отношений? Конечно, нет. Эти отношения не могли сложиться в условиях разора промышленности и сельского хозяйства. Дикий Запад американских Штатов XIX столетия возродился на почве алюминиевых и металлургических гигантов, государственного золотого запаса и алмазных россыпей, стремительно возрастающей утечки капиталов из страны на личные счета ловких и «крутых» дельцов.

Сеанс массового гипноза о наступлении всеобщего благоденствия, предпринятый экономическими недоучками со Старой площади, и на новой почве не состоялся. Востребованность всех способностей и удовлетворение всех потребностей — вплоть до самых минимальных: крыши над головой, тепла в морозы, гарантированного отсутствия чувства голода — В ПРИНЦИПЕ не могли осуществиться. Учебники политэкономии советских лет в этой части, к сожалению, не ошибались.

Некогда превозносимый всеми советологами великий исход «диссидентов» обернулся своей противоположностью. Для Запада с исчезновением «железного занавеса» они перестали представлять политический интерес — творческая сторона здесь никогда значения не имела. А великого возвращения на «освобожденную родину», чью культуру в условиях эмиграции предполагалось сохранять и развивать, не произошло. Риск вторичной эмиграции представился большинству во всех отношениях некомфортным. Страна и в самом деле стала другой. Выросли новые поколения. Утверждаются иные представления о человеческих ценностях. Однако самые деятельные кинулись на оставленную родину искать… средств к существованию. И компенсации — ущемленного самолюбия. И прохудившегося кармана. Призыв к свободе личности и творчества предстал простой беспринципностью. Раз исчез «спрос на увековечение репрессированных», можно подумать о памятнике русской водке. Например, в Угличе, в городе, где пролита кровь царевича Дмитрия. А вот еще идея — построить памятник детям — жертвам пороков взрослых (не материнской жертвенности и отцовской любви!) на площади, где праздновались в Москве первые победы Петра I, звучали первые салюты, на фоне стен и соборов Кремля. И леди Ди — на месте памятника Дзержинскому на Лубянской площади.

Идеологические заветы Суслова продолжают жить. Просто на рычаги использования искусства, культуры как средств

политического воздействия легли другие, но не менее цепкие руки. Президент Академии художеств заявил откровенно: «Дело художника — делать деньги» — так он назвал свою статью. Дело искусства — развлекать, удивлять, само собой разумеется, «элиту», — только не быть искусством как видом человеческой деятельности, высшей формой реализации сущностных, по Гегелю, сил. Таково утверждение искусствоведа-социолога, начавшего с яростной борьбы против 70-метрового памятника Петру на берегу Канавы и легко удовлетворившегося галереей под искусственным небом Гостиного Двора как компенсацией за изменение курса.

* * *

Кажется, что протяжный унылый звук сначала возникает в душе. Потом память подсказывает: журавли! Уже сентябрь. В Абрамцеве редеет золото берез. Сквозь алые листья осин просвечивает синее небо. Гнутся к земле густые заросли сахалинской гречихи, каждое лето совершающей чудо: от еле проклюнувшегося белесого ростка до буйной заросли поднимающихся ко второму этажу большого дома листьев. На гибких тростинках малины кое-где еще горят одинокие ягоды. По асфальту дорожек порывы ветра метут медь облетающей вишни. Врываются в окна гостиной. Вздувают парусами маркизы.

Звук нарастает. Приближается. И вот высоко-высоко, в слепящих лучах остывающего солнца возникает неровный клин больших птиц. Так получалось, что из года в год мы встречали их на скамье среди старых яблонь. Птицы торжественно проплывали, унося с собой еще одно лето, оставляющее в запасниках Абрамцева новые полотна мастеров «Новой реальности».

Теперь здесь появилась вторая просторная мастерская. Полным ходом идет работа над созданием музея «Новой реальности». И подготовка к тому, что все Абрамцево перейдет в собственность Орловского музея изобразительных искусств. Первая выставка направления состоялась там зимой 1998 года. С широкой прессой и восторженными откликами молодежи. Как ни удивительно, «Новая реальность» оказалась ближе тем, кто живет дальше от Москвы, «светской хроники», телевизионной шумихи, расчетливо организуемых презентаций и, можно сказать иначе, — дальше от той видимости культуры, а по существу субкультуры, которую так усердно создают администраторы из остатков брежневских любимцев, артистов эстрады и записных острословов, наделенных редким талантом сатиры, которая ни о

чем не говорит и никого из власть предержащих не может обидеть.

В начале 1998-го В. А. Дмитриев, бывший референт генерального секретаря коммунистической партии и первого президента Советского Союза, заместитель заведующего Отделом прогнозирования, профессор Российской Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, подарит нам свою последнюю научную статью, опубликованную в журнале «Свободная мысль» (для справки: в 1924–1952 годах журнал «Большевик», в 1952–1991-х — «Коммунист»), — «Естественный вывод из прожитых страной лет».

«Поле культуры и поле политики — разные, хотя и имеет место определенная культура политики, как и политика в сфере культуры. Культура занята собой, своим делом, так же и политика. У той и другой — различные функции, разный инструментарий, неодинаковый продукт. В политике это могут быть, к примеру, война или мир. А в культуре — толстовский роман „Война и мир“…

Сущностно культура может обходиться без вмешательства политики. И вполне обходится, если ее оставляют в покое. Тогда как политика — любого сорта — быстро исчерпывает себя, а то и вовсе не может состояться без подключения, поддержки или хотя бы наличия культуры. Но они тесно связаны: политика то и дело вовлекает культуру в свою сферу, да и культура, когда ставит перед собой цель повлиять на политику, втягивается в поле последней.

Культура так или иначе связывается на характеристиках и состоянии политики, политической атмосферы. Со своей стороны политика обитает в атмосфере культуры, сказывается на культурном статусе общества, на самой культуре не вопреки, а благодаря изначальной автономности и культуры, и политики. При всем том имеется своего рода „территория“ взаимопроникновения той и другой непосредственно. Это культурная политика, которую, напомню, корректнее называть политикой в области культуры».

Завещание режима коммунистического, той его разновидности, которую представлял режим ельцинский.

Впрочем, ельцинский режим исчерпал себя. 17 августа 1998-го страна пережила тяжелейшее экономическое потрясение — дефолт. В ночь на новый 2000 год Борис Ельцин в почти трагической речи отрекся от президентской власти, уступив ее Владимиру Путину. Начиналось третье тысячелетие.

NB

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства и укрепление дружбы и сотрудничества между народами награжден орденом Почета Белютин Элего Михайлович — художник, город Москва.

14 сентября 2001 года.

Из правительственной телеграммы Э. М. Белютину. 19 сентября 2001 года.

«Благодаря своему яркому таланту, неутомимой творческой деятельности и деятельности педагогической Вы внесли большой вклад в развитие русского изобразительного искусства.

Вы являетесь автором целого ряда фундаментальных научных трудов по истории художественного образования в России. Созданная Вами студия независимых художников „Новая реальность“ объединила вокруг себя сотни последователей и является единственной в своем роде массовой художественной школой для молодых мастеров.

Желаем Вам доброго здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов на благо российской культуры…»

Нет разницы между веками —
ведь столетия, как горы.
Они даже после землетрясений остаются горами.
А человек?
Ведь не горы придумали эти измерения: месяц, год, век.
Смотрите, говорят часы, как меняются люди, —
другие дома, мебель, картины…
Эти иллюзии заполняют страницы учебников,
тома
книг.
Иллюзии — потому что человек остается тем же
жестоким и безрассудным,
со всем привычным набором желаний и потребностей,
способный главенствовать и приспособляться.
Но есть и другие люди,
сознающие
свои человеческие обязанности.
Вот так и продолжается
из века в век:

те,
которые пришли в мир,
чтобы утвердить
свою жестокость,
и те,
которые мешают им
это сделать.

Элий Белютин (1992)

Иллюстрации

Н. Молева, аспирантка МГУ. 1949 г.

Супруги Лавровы. 1888 г.

Матвеевы-Лавровы. Семейный снимок. Минск. 1915 г.

В. В. Тезавровский, артист МХАТа. Москва. 1911 г.

Г. П. Прокофьев. 1916 г (Фото предоставлено Музеем музыкальной культуры им. М. И. Глинки.)

С. С. Матвеева. Париж. Сорбонна. 1905 г.

Т. И. и М. А. Молевы. 1916 г.

Занятия в анатомическом театре Бестужевских курсов. 1911 г.

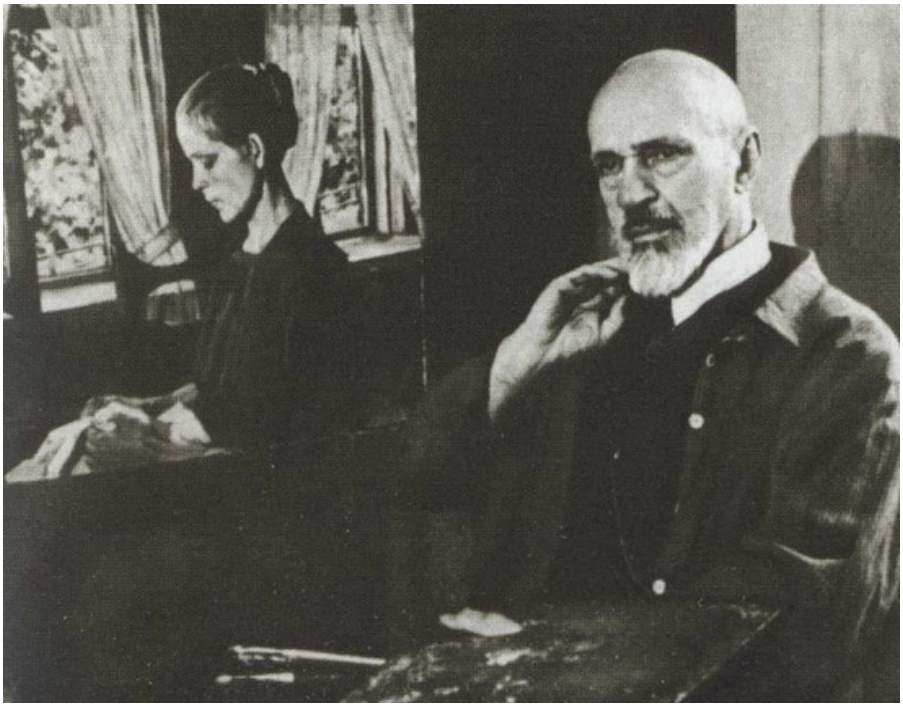
Вс. Э. Мейерхольд. 1929 г.

А. Я. Таиров и А. В. Лентулов на персональной выставке Лентулова. Москва. 1933 г.

С. Д. Кржижановский. 1937 г. (Фото предоставлено РГАЛИ.)

Р. Р. Фальк.

М. В. Нестеров. 1939 г.



К. Ф. Юон у картины «Портрет Шуры». Начало 1930-х гг.

Рождение «Новой реальности». 1959 г.

Красный Стан. Занятия Студии Э. Белютина. 1959 г.

Красный Стан. Э. Белютин и Т. Тер-Гевондян-Косматова.

Творческая поездка по Волге. Город Мышкин. 1962 г.

Абрамцево. Дорога к Большому дому.

Первая зарубежная персональная выставка Э. Белютина. А. Высоцкий, А. Войцеховский и живописец М. Богуш с супругой. Варшава. 1961 г.

Таганская выставка. 26 ноября 1962 г.

Белютин, Суслов, Хрущев, Шелепин на выставке в Манеже.

Мастерская в Абрамцеве. Коллективная работа для души.

1970 г.

Студийцы в бильярдной Большого дома.

Абрамцево. Экспозиция в лесу. 1978 г.

Вернисаж в Абрамцеве. 1978 г.

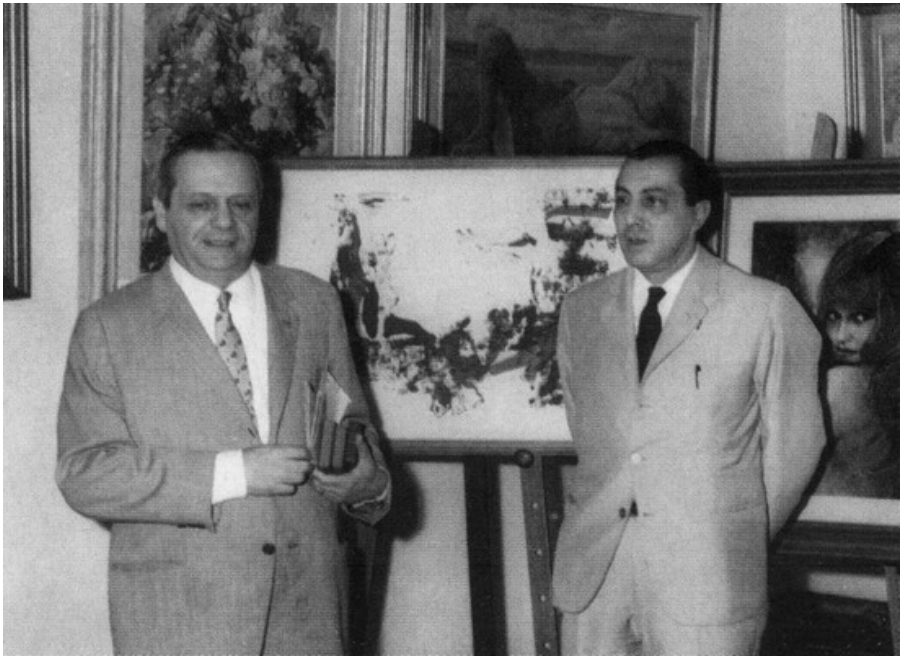
Открытие сезона. 1986 г.

Э. Белютин в мастерской.

Э. Белютин и Л. Вайнтрауб, директор Центра искусств. Нью-Йорк.

Персональная выставка Э. Белютина во Франкфурте.

Н. М. Молева и Е. Н. Гоголева в Центральном доме актера.



М. Питокко, президент коммуны Рима, и профессор Ф. Миеле.

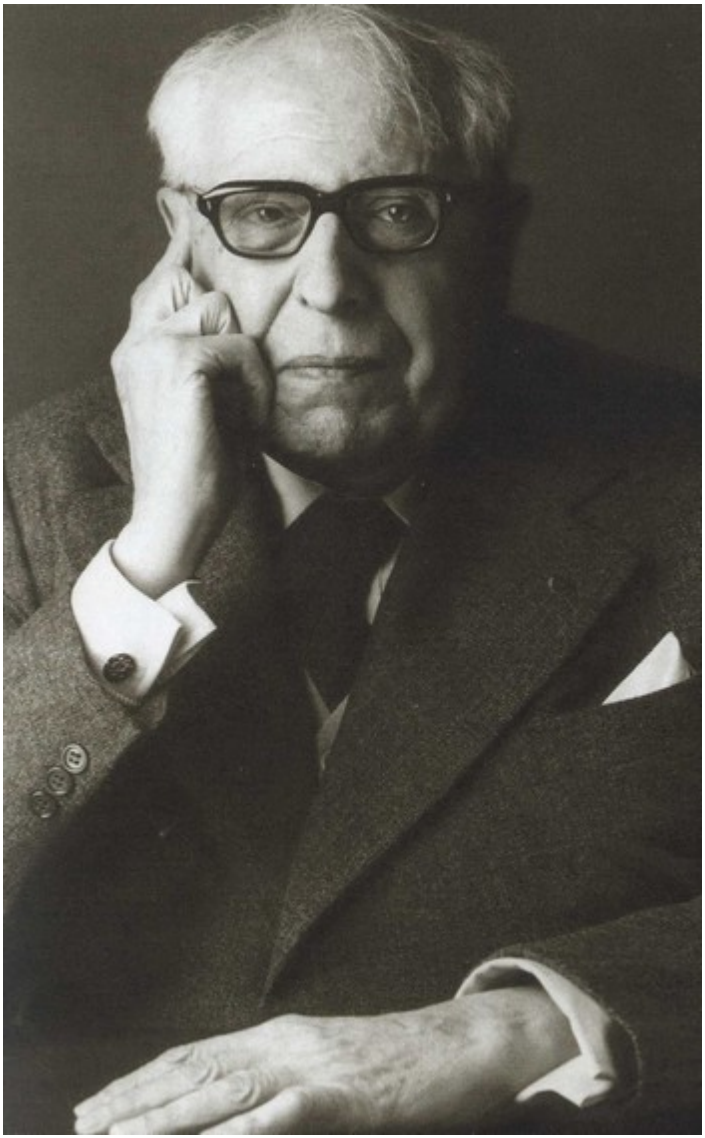
1971 г.

На съемках телесюжета с Ю. Сенкевичем и географами.

Семья Клишко-Доброчиньских.

Чествование Э. Белютина в Ассоциации «Второе Возрождение». Милан.

Работа над проектом новой Москвы. На заднем плане — картина «Похороны Ленина».



Жан Кассу («Черный Жан»).

Э. Белютин, М. Сандецка, Б. Залуцка, Н. Молева, М. Пандерецки, Э. Пандерецка и посол Польши А. Залуцки.

Директор Музея древнерусской иконописи М. Захорук, графиня Ута Ламбсдорф, Э. Белютин.

Н. Молева в московской квартире.

Экспонаты коллекции.

К. Занусси в гостях на Никитском бульваре.

Интерьеры.

М. Петрова, Н. Молева, атташе по культуре посольства Литвы Йозас Будрайтис и Э. Белютин.

Мастерская в Аннандайле-на-Гудзоне.

Атташе по культуре посольства Японии Тахира Кудзуми, Пол Каттер (Шклоха) и Э. Белютин. Выставка «„Новая реальность“ от Манежа до Манежа» 1990–1991 гг.

Фасад Манежа во время выставки.

П. Каттер, Э. Белютин, Л. Вайнтрауб в Манеже. Перед отправкой выставки в Нью-Йорк. 1991 г.

Манеж «в объятиях Хрущева».

Открытие выставки в Манеже. Министр культуры СССР Н. Н. Губенко.

Празднование 50-летия «Новой реальности». Послы Украины, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы и Эстонии с художниками. 2003 г.

Э. Белютин и Н. Молева.

Н. Молева на фоне картины Тициана «Кающаяся Магдалина».

Досса Досси. Отдых Венеры.

Лукас де Хеере. Церера и Бахус поклоняются Венере.

Леонардо да Винчи и Бернардино дей Конти. Мадонна с книгой.

Ж.-А. Ватто. Меццетин.

Виллем I ван де Велде. Осеннее море.

Эль Греко. Кающаяся Магдалина.

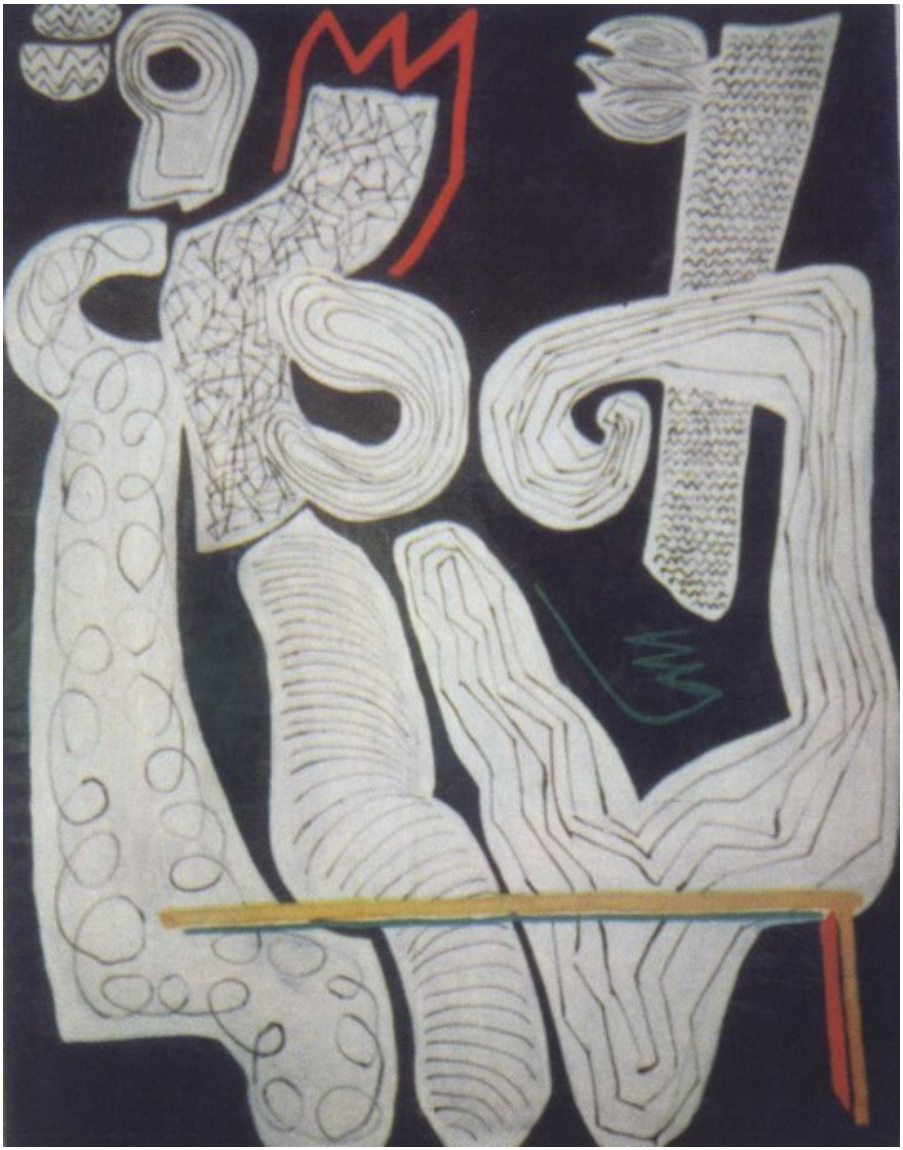
П. П. Рубенс. Портрет кардинала-инфанта Фердинанда Испанского.

А. ван Дейк. Портрет Сюзанны Люнден с дочерью Катериной.

Квентин Массейс. Скорбящая Богоматерь.

Экспонаты коллекции.

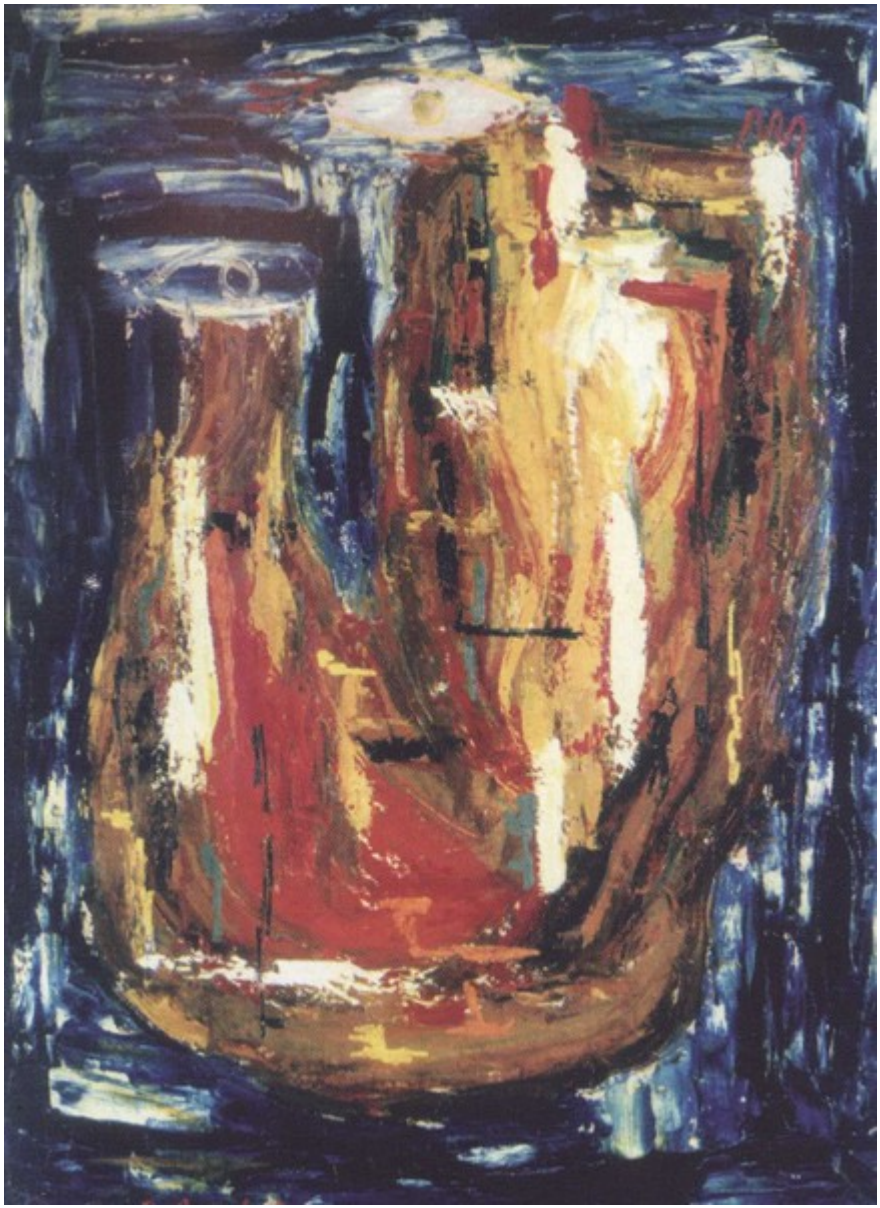
Микеланджело. Юный фавн.



Э. Белютин. Размышления о великом Генри Муре. 1984 г.

Э. Белютин. Мыслитель. 1947 г.

Э. Белютин. Похороны Ленина. 1962 г.

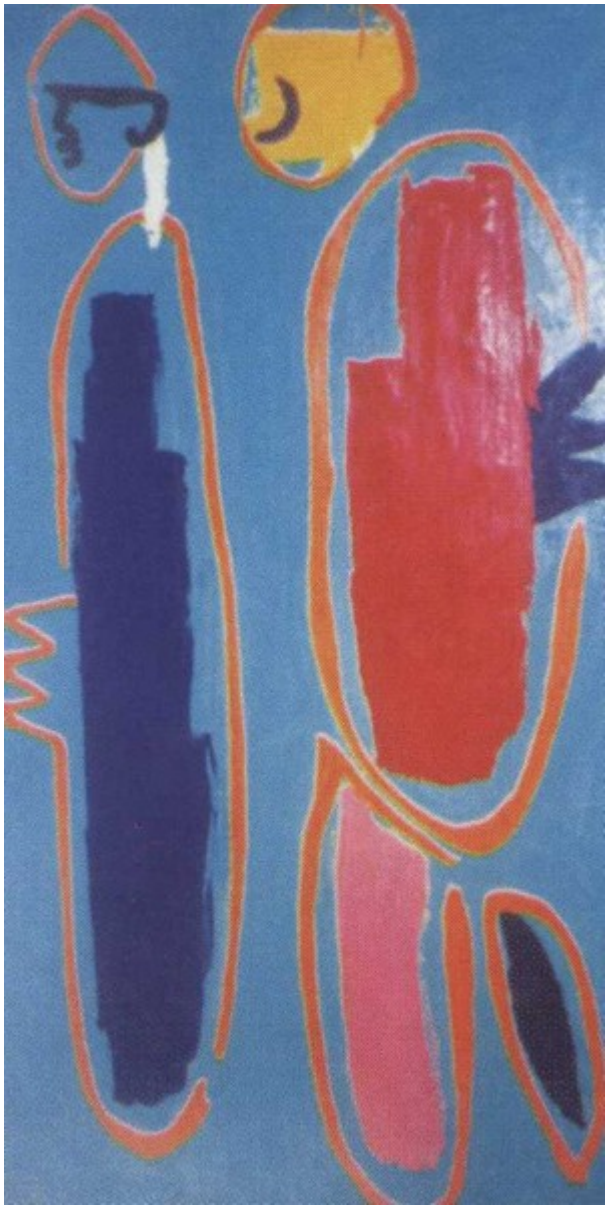


Э. Белютин. Бабушка и внук. 1964 г.

Э. Белютин. Оплакивание жертв репрессий. 1970 г.

Э. Белютин. Святая Дева.1981 г.

Э. Белютин. Идущий человек. 1988 г.



Э. Белютин. Объяснение. 1982 г.

Э. Белютин. Женщина. 1986 г.

Э. Белютин. Разговор. 1989 г.

Э. Белютин. Беженцы. Чечня. 1999 г.

Э. Белютин (эскиз) и художники «Новой реальности». Лаокоон. 2002 г.

Э. Белютин. Виктория. 1988 г.